Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Пурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Резцов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

НИЗАМИ

ПЯТЬ ПОЭМ

ПЕРЕВОД С ФАРСИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1968

Вступительная статья и примечания
А. Бертельса

С (Аз) 1
Н 61

Редакция переводов
А. Бертельса и
С. Шервинского

Иллюстрации: Султан Мухаммеда,
Ага Мирека,
Мирза Али,
Мир Сеид Али и Музаффар Али,
Мир Мусаввир.

7-4-3
Подп. изд.

НИЗАМИ

Читая сейчас Гомера, Вергилия, Данте или Низами в русском переводе и находя у них глубокие мысли, поразительно близкие нам, отдаленным от этих гениев прошлого на много столетий, мы обычно почти не задумываемся о том, как понимали их творения современники. Реконструировать полностью понимание поэзии таким, каким оно было, скажем, в Гяндже XII века, при жизни Низами, конечно, нельзя прежде всего потому, что в наши дни живет поэзия совсем иного типа, и мы невольно исходим из иных, чем в те времена, привычных нам эстетических идеалов. Однако сделать все возможное для такой реконструкции необходимо, иначе мы легко можем впасть в ошибку и начать приписывать стихам Низами свойства, которых у них не могло быть.

Не менее важно попытаться проследить, какие мысли и чувства, выкристаллизованные в поэмах Низами, пройдя сложными путями, незаметно вошли в сокровищницу человеческой памяти, и, по известному выражению Герцена, «на сию минуту в нашем мозгу». И, наконец, самое главное, нам надо постараться осознать, как мы сами сейчас воспринимаем стихи Низами, каково взаимодействие нашего восприятия с его поэзией, что для нас в ней на самом деле важнее всего.

Любое художественное слово, особенно поэтическое, не однозначно, любое стихотворение, написанное в наши дни на родном нам языке, ввиду емкости поэтического слова, вызывает различные толкования критиков и любителей поэзии. Тем более необходимо предварить читателей русского поэтического перевода Низами, постараться по мере возможности описать на этих немногих страницах культурный фон творений скончавшегося семь с половиной столетий назад великого поэта, создателя труднейших философских поэм, написанных на средневековом персидском поэтическом языке, обладающем языковым мышлением,

отличным от нашего. Знатоку и поклоннику античной древности, Карлейлю, принадлежит такой парадокс: «Во всей «Илиаде» Гомера нет ни одного слова, которое мы понимали бы сейчас точно так же, как его понимал сам Гомер». Нам кажется, что при соблюдении должной осторожности, говоря о Низами, мы имеем право быть менее скептичными, тем более что суть важнее деталей.

* * *

Низами родился между 1138 и 1148 годами (точная дата не известна) в Гяндже [1], в Азербайджане. В то время Гянджа была довольно большим и процветающим средневековым восточным городом с зáмком местного правителя в центре, где помещались гарнизон, тюрьма и место казней, с мечетями, медресе, большими базарами под кирпичными сводами, рядами ремесленников, многочисленными кварталами, населенными знатью и купцами, различным трудовым людом, а поближе к окраинам — беднотой, «городской чернью», нищими, а также грабителями, жуликами и торговцами вином, запрещенным исламом. Дворцы и мечети сверкали изумительными поливными изразцами, тончайшими узорами, золотом, кварталы же были глинобитными, пыльными, сожженными солнцем, однообразными, желто-серого «цвета верблюжьей шерсти». Лишь во дворе, за высокой глухой стеной, у хозяина побогаче росли цветы и был расписан красками айван [2]. Одежда, особенно женская, была, в меру возможностей каждого, яркая, расшитая золотом, но беднота ходила в халатах из грубой шерстяной материи, вроде нашей прежней сермяги, и простых войлочных шапках. Через город, позванивая красиво в тон подобранными бронзовыми колокольцами, проходили большие караваны — транспорт и почта того времени,— привозившие товары, рассказы о дальних странах, рукописные книги, слухи, сплетни.

Жизнь была трудной, неспокойной, опасной. Землетрясение наполовину разрушило Гянджу в конце XII века. Монголы смели ее с лица земли вскоре после смерти Низами. При его жизни, по его выражению, город был постоянно «в кольце войн». То являлись пограбить богатых горожан голодающие кочевники, то какой-нибудь князек вдруг решал расширить свои владения и шел войной на соседа, то внутри города вспыхивала «смута» — религиозная или племенная рознь, недовольство

---

[1] Развалины этого древнего города находятся в пяти километрах от новой Гянджи — современного Кировабада.

[2] Объяснения всех непереведенных восточных слов (айван, шариат и т. п.) см. в словаре в конце книги.

«черни» — лилась кровь. Временами город посещала чума или холера и быстро уносила в могилу большую часть жителей.

Князьки творили, что хотели, они могли в любой момент схватить горожанина и бросить его в подземную темницу, обобрать, казнить. О недолгих периодах относительного спокойствия и справедливости, например, о почти сказочных временах царя Хосрова Ануширвана (VI в.) Низами говорит, как о чем-то очень далеком и неправдоподобном. В его время справедливость «на крыльях Симурга улетела куда-то». Горячим стремлением к справедливости, к прекращению кровопролития и произвола полны все поэмы Низами. То старец, надев саван и приготовившись к смерти, является во дворец правителя и бросает ему в лицо тяжкие обвинения, то старуха жалуется самому султану Санджару на творимые его воинами притеснения, то осторожный пастух притчей о псе, таскавшем овец из стада, дает понять шаху Бахраму, что его везир — предатель и насильник. Насилие же, считает Низами, ведет государство к гибели. Даже шах, творящий его, должен быть наказан.

Фанатичное мусульманское духовенство (кази, факихи) зорко следило за еретиками и жестоко их преследовало. Наряду со светским бесправием существовало бесправие шариатское. Поэты XI века Омар Хайям и Насири Хосров горько жалуются на то, что в их время преследуют как еретиков, не уповающих на Аллаха, врачей, составляющих лекарства, астрологов, предсказывающих солнечные затмения, математиков. Само же духовенство, говорят они, под видом борьбы за сухое единообразное правоверие (конформизм, как выразились бы сейчас), стремится лишь к личному обогащению. «Все они — ненасытные шакалы, гиены, акулы, взяточники, а не хранители слова божьего».

Каждое сочинение того времени подвергалось суровой мусульманской цензуре. Преследовали и заставляли переделывать свои поэмы предшественника Низами — Сенаи. Следы духовной цензуры видны во всех поэмах Низами. Например, тогда не разрешалось воспевать в стихах царей и героев древнего Ирана — они ведь не были мусульманами,— и Низами специально мотивирует выбор сюжета «Хосров и Ширин» в начале поэмы, а постыдную гибель Хосрова от руки собственного сына объясняет тем, что этот царь разорвал письмо, полученное от основателя ислама пророка Мухаммеда и отказался принять истинную веру. Объяснение рассчитано, очевидно, на придирчивого читателя, на что Низами и намекает в главе «В оправдание сочинения книги». Упомянутый там фанатичный друг поэта называл немусульманских героев прошлого «всякой падалью».

Поэт в то время мог или состоять при дворе князька и жить его подарками, или принадлежать к тайному религиозному братству. Поэты, бывшие обычно также и учеными, богословами, врачами, астроло-

гами, должны были сносить переменчивый нрав повелителя или терпеть гонения духовенства. Многие из них годами томились в тюрьмах, были изгнаны из родного города, казнены. Другие переезжали от одного двора к другому, скрываясь от разгневанных правителей.

О жизни Низами мы почти ничего не знаем. Можно догадываться, что он происходил из средних слоев городского населения. В поэмах он часто жалуется на бедность, но это, как видно, не подлинная нищета, а скорее отсутствие обеспеченного досуга для раздумий и творчества. Кроме поэзии, у него было какое-то занятие, мешавшее ему писать стихи,— наверное, небольшая торговля или преподавание в медресе.

Поэмы Низами наполнены зарисовками деталей тогдашней городской жизни. Во многих своих сравнениях и образах он намекает на приемы ремесленников (например, стих о мастере, вьющем канаты), прямо сыплет типичными базарными пословицами. Иногда, правда, бывает трудно установить, стих ли Низами стал впоследствии пословицей, или готовая пословица введена им в стих. Некоторые из излюбленных им «острых словечек» встречаются, правда, уже у его довольно далеких предшественников — Фирдоуси и Фахр ад-Дина Гургани.

Всю жизнь Низами тихо и скромно, почти отшельником, прожил в Гяндже, нежно любил свою жену, тюрчанку Аппак, которая подарила ему сына и рано умерла, имел много друзей, пользовался уважением как праведник, мудрец и поэт. Умер он в 1209 году. Не желая терять свободу, он так и не стал придворным поэтом, хотя мог это сделать. Он сурово осуждает поэтов, которые постоянно состоят при дворе, пишут лживые панегирики и ждут подачек. Сам он все свои поэмы только отсылает из Гянджи ко дворам и посвящает различным правителям, иногда одну и ту же поэму — двум-трем подряд. Очевидно, не добившись оплаты своего труда от заказчика, он переадресовывал поэму и отсылал ее другому правителю. В то время это было обычно, даже самые независимые умы искали покровителя — иначе нельзя было прожить.

* * *

Чему же учился Низами, что знал этот поэт, мыслитель и ученый, образованнейший человек своего времени, который почти все свои поэтические образы основывал на данных тогдашней науки? Усвоенное в юные годы обычно так или иначе владеет нами в течение жизни, кажется само собой разумеющимся. Нам очень трудно представить себе, что Низами учился совершенно не тому, чему учили нас. Как это ни очевидно, напомним все же: он жил в XII веке и не мог знать по меньшей мере трех вещей: великих географических открытий, Ньютоновой механики и эволюционной теории. Небосвод у Низами вращается вокруг

неподвижной земли (на этом построено огромное множество его поэтических образов), по небосводу бегут «странники» — семь планет. Десятки раз Низами обыгрывает в поэтических образах представление: земля покоится на рогах быка, стоящего на рыбе. Но он явно не понимает это буквально, для него такая картина — лишь миф, ставший поэтическим штампом. В мифе небо — океан, луна — рыба, бык — солнце, но у Низами «все, что ни есть на свете»,— это «все от луны до рыбы» только потому, что мах (луна) и махи (рыба) по-персидски почти омонимы. В его поэзии своеобразная логика мифа бывает нарушена ради системы образов, но если бы он написал трактат по космогонии, он, вероятно, объяснил бы нам многие детали своих поэм — мы ведь еще не разобрались в использованной им древней символике.

Таковы земля и небо у Низами. Человек же сотворен у него богом вслед за сотворением царства минералов, царства растений и царства животных. Сходство с эволюционной теорией здесь только в последовательности, ведь ее основы — саморазвития материи — у Низами, конечно, нет. К тому же все три царства у него сотворены богом лишь с определенной целью — ради человека, как в Библии.

Кроме этих общих представлений о небе, земле и человеке, Низами часто говорит в своих поэмах об алхимии и астрологии. В конце XIX века французский химик М. Бертело пришел к тому выводу, что вся алхимия — сплошная аберрация, нелепость, слепое ответвление древней, существовавшей более двух тысяч лет назад египетской металлургии. С тех пор над алхимией принято посмеиваться, хотя физикам и химикам нашего времени важная в алхимии идея превращения металлов отнюдь не кажется дикой, и отдельные виды таких превращений осуществляются сейчас в лабораториях. Не вдаваясь в сущность этой сложнейшей проблемы, отметим только, что ученые нашего времени получили от древней алхимии, безусловно, одно: дух неустанного экспериментаторства, дух беспрерывного научного поиска. Низами же ценит в алхимии именно это. Для него гораздо важнее превращения простого металла в золото (которое он презирает) превращения в душе человека, преодоление инертности мышления, блеск идей, величайших духовных ценностей. Именно так он часто понимает «философский камень» — раскованный дух человека, делающий прекрасным все вокруг, «философский камень счастья». А когда это достигнуто, праведник может добыть и золота для благих целей, для помощи бедным.

К астрологии Низами относится двойственно. Презирая шарлатанов-астрологов, сулящих людям предсказание судьбы и избавление от житейских бед (как и шарлатанов-алхимиков, обещающих шахам добыть для них много золота без больших затрат), он верит все же в возможности астрологии. Он только считает, что предсказание судьбы не может

помочь человеку уйти от нее — все предопределено богом и изменить это предопределение может лишь жаркая молитва праведника.

Выше всех наук Низами ставит «мудрость» (хикмат) — универсальное интуитивное знание о душе и теле человека, которым в его время владели на Востоке суфии — мистики, старцы-наставники. В первой поэме «Сокровищница тайн» его преклонение перед этой мудростью, очевидно, только что полученной от старца, безгранично. В последней же поэме, поднявшись, подобно Омару Хайяму, до предельных для его времени высот скепсиса, он говорит, что и мудрость — лишь высшая форма земного человеческого знания, бессильного перед смертью. Там, где кончается знание, начинается область религии, веры, которая одна только и может уберечь человека от полной растерянности и отчаяния.

«Мудрость» времен Низами включала в себя комплекс медицинских, психологических и прочих знаний в сочетании с высокой техникой гипноза, самогипноза и психоанализа. Не разработав методов систематизации, фиксации, экспериментальной проверки и передачи достигнутого — методов нашей современной науки,— эта «мудрость» была уделом немногих тайных групп, передавалась непосредственно, путем особых упражнений, наиболее одаренным единицам и часто переходила в простое шарлатанство типа фокусов, которые показывают иные теперешние индийские факиры за деньги туристам. Суфиев-шарлатанов сурово осуждают и сам Низами, и многие его выдающиеся современники. «Мудрость» в сочетании с религией должна вести только к высшему благу человека — считают они.

Таков вкратце круг близких Низами знаний, резко отличный от современного нам. Практические знания, такие, как описательная география, предназначенная для предводителей караванов и сборщиков налогов, познания врачей-практиков, металлургов, ремесленников, строителей были слабо связаны с описанными теоретическими науками. Лишь, пожалуй, математика была близка к строительному делу и мореплаванию. Производство же было кустарным и в теории почти не нуждалось. Теория была ближе к религии, чем житейской практике — обычная для средневековья картина.

* * *

Следует еще раз оговорить, что все элементы современных Низами наук введены у него в систему поэтических образов, в целом созданную до него и развивавшуюся к его времени уже почти триста лет. Как наука, так и поэзия XII века резко отличались от науки и поэзии нашего времени. Наука создавала априорный, интуитивно добытый свод правил и потом подводила под него разрозненные явления действи-

тельности. Ей было чуждо характерное для нас сейчас объективированное представление о времени, историчности, последовательной регистрации фактов, представление о программе на будущее. На первое место ставилась иерархия ценностей.

Поэзия выработала жесткий свод правил, литературный ритуал, на фоне которого только и можно было создавать различные вариации ранее существовавшего. Новация была возможна только на фоне традиции и в теснейшей связи с ней. Наша современная наука чаще идет по противоположному пути: от накопления фактов к обобщению. Наша современная поэзия также отлична от средневековой: она ищет максимального проявления индивидуальности, личности поэта, наибольших связей с действительностью, простоты, новизны. Напротив, поэзия Низами традиционна, абстрактна и предельно украшена поэтическими фигурами. Сам он не стремится непосредственно связать свои стихи с конкретной действительностью, не стремится быть абсолютно оригинальным, хотя и не чужд дидактике и иногда отстаивает свою авторскую самостоятельность.

Почти все сюжеты поэм Низами взяты из старинных хроник и преданий, внешне построены как дополнения к ним или их систематизация. «Хосров и Ширин» как бы дополняет раздел «Шах-наме» Фирдоуси, не повторяя уже сказанного им. «Лейли и Меджнун» — упорядоченное собрание легенд арабского племени узра, «Семь красавиц» — снова исходит из «Шах-наме», поэмы об Александре Македонском основаны на «Шах-наме», Коране и сведениях об античных философах; эпизоды, связанные с Берда'а, Нушабе, взяты из не дошедших до нас местных азербайджанских хроник. Но как тонко использует Низами предания ради достижения особых целей! Его можно сравнить тут только с Шекспиром, не пренебрегавшим, как известно, хроникой или старинной итальянской новеллой при создании сюжета.

О раннем периоде творчества Низами (приблизительно до 1175 г.) мы почти ничего не знаем. Известно, что он писал лирические стихи. Немногие из них дошли до нас. За последние тридцать лет жизни он создал пять больших поэм («Пятерица»), общим объемом около шестидесяти тысяч строк (тридцать тысяч бейтов). Мы не будем разбирать здесь их содержание — поэмы представлены в этой книге сокращенными поэтическими переводами с изложением содержания пропущенных глав, снабжены комментариями. Укажем только время создания поэм. «Сокровищница тайн» написана между 1173 и 1180 годом, «Хосров и Ширин» закончена в 1181 году, «Лейли и Меджнун» — в 1188 году. Эти три поэмы относятся к периодам молодости и зрелости поэта. Жалобы на старость и болезни появляются в поэме «Семь красавиц», завершенной в 1197 году, когда Низами было около шестидесяти лет. В законченной около 1203 года «Искендер-наме» заметны следы торопливости,

вызванной, надо думать, предчувствием близкой смерти; первоначальный ее план, как видно, полностью не осуществлен, а жалобы на старость и болезни завершаются там главой о смерти самого Низами, над которой многие ломали головы. Одни считают ее позднейшим добавлением, не принадлежащим Низами, другие склонны видеть в ней композиционный прием, навеянный думами о близкой смерти.

Каждый из шестидесяти тысяч стихов «Пятерицы» Низами великолепно отделан, в каждом из них применено по нескольку поэтических фигур тогдашней схоластической поэтики, каждый стих пронизан тончайшими смысловыми и звуковыми ассоциациями. Чтение их в оригинале, даже вне общего содержания поэм, доставляет необыкновенное эстетическое наслаждение. Все пять поэм «прошиты» едиными мыслями, обеспечивающими им единство и композиционную стройность, не похожую на привычную нам логическую, хронологическую и симметрическую композицию. Вся «Пятерица» состоит из плавных ассоциативных переходов, тончайших нюансов слова и мысли, воспринимаемых неискушенным читателем иногда как недостаток логики, иногда как повторения.

Создание такого «поэтического гиганта», как «Пятерица», поэтический подвиг Низами вызывает сейчас удивление. Иному современному читателю кажется, что он мог бы сказать все то же самое и покороче. Но многословие Низами вызвано определенными причинами. Чтобы объяснить их, напомним здесь известные мысли Л. Н. Толстого о роли «большого сцепления» в литературе. Толстой говорил, что если бы от него потребовали сказать все то, что он имел в виду выразить «Анной Карениной», то он был бы вынужден написать весь этот роман вторично от начала до конца. Вне «большого сцепления» мотивов, образов, всех слов романа, говорил Толстой, мысль «страшно понижается», она живет только в этом «большом сцеплении», она в нем выкристаллизовалась. Бессмысленно отыскивать и выхватывать отдельные мысли в романе, его идея выражена во всем его художественном построении, а не в цитатах. Если критики могут запросто говорить об идеях «Анны Карениной», то это только потому, что идеи сперва прояснились в словесной ткани романа. Истинная задача критиков — вести читателей по «лабиринту сцеплений», в котором и состоит сущность искусства.

Цель Низами в его огромной «Пятерице» — добиться кристаллизации мысли в «большом сцеплении», добиться ее усвоения читателем. Как и многие суфии его эпохи, Низами считал, что возвышенная идея, хотя бы и не новая, с большим трудом входит в затуманенное инерцией мысли и условиями жизни, ее бесконечно повторяющимися стереотипами сознание человека. Любую идею надо повторить много раз то в форме прямого поучения, то в форме притчи, своего рода басни, то, наконец, в виде целого сюжета. Идеи «Сокровищницы тайн» проходят у него через всю «Пятерицу» (например, мысль о высшей ценности

чистой духовной жизни человека, по сравнению с богатством, властью, чувственными наслаждениями, мысли о справедливости), обретают разные формы, переливаются всеми цветами радуги в «гремучем жемчуге» его стихов. В них постоянно проявляется великая моральная тенденция «Пятерицы».

Л. Н. Толстой сравнивал моральное и эстетическое в литературе с двумя плечами одного рычага: когда повышается эстетическое, понижается моральное, и наоборот. «Как только человек теряет нравственный смысл, так он делается особенно чувствителен к эстетическому». Поиски наилучшего сочетания морального и эстетического — поиски всей жизни Толстого, Гоголя, Достоевского. Питая глубокое отвращение к безнравственному эстетизму искусства начала XX века, Томас Манн трогательно говорил о «святой русской литературе», которая его воспитала.

В поэзии на персидском языке эпохи Низами (X—XIII вв. и далее) проблема соотношения морального и эстетического была поставлена совсем особенным образом. Собственно, вся эта поэзия, кроме, отчасти, придворной,— одновременно и этика, что отразилось и в определяющем ее слове (адаб — этика, адабиёт — литература). Рудаки, Фирдоуси, Сенаи, Низами, Саади, Джалал ад-Дин Руми — все они прежде всего великие учители очень гибкой и тонкой морали, великие воспитатели. Для Низами главная задача — вывести человека из скотского состояния жадности и сластолюбия, духовно возвысить его. Мораль Низами не всегда совпадает с тем, к чему мы привыкли, встречающаяся у него лобовая дидактика не может нам сейчас импонировать, орнаментальный стиль стиха и символичность образов воспринимаются иногда с трудом, но нельзя забывать, что Низами — наш далекий предшественник, а не современник.

Низами, безусловно, был мистиком. Слово «мистика» сейчас нередко воспринимается как крайне отрицательное, чуть ли не как ругательство. Однако в применении к культуре далекого прошлого это не ругательство, а определение одной из черт, присущих культуре средневековья. По Энгельсу, средневековая мистика — одна из форм протеста против гнета ортодоксальной религии, освящавшей феодальный строй. Диалектика ее развития состоит в том, что, беря начало в религии, используя эти элементы, она переходит к протесту против ее ортодоксальной формы. Таков социальный аспект средневековой мистики.

Если мы попробуем вникнуть в само понятие «мистика» с точки зрения теории познания, то получится следующее. Под мистикой принято понимать веру в возможность непосредственного общения человека со сверхъестественными силами — обычную составную часть всех религий, особенно в средние века, эпоху, когда не было иной идеологии, кроме религиозной. Но сама грань «сверхъестественного» не абсолютна.

Это скорее грань еще не познанного. Для Низами молния, электричество было, безусловно, сверхъестественной таинственной силой. Мы сейчас располагаем более или менее стройной теорией этой силы, а главное, она нам повседневно служит на производстве, в лампочке, утюге. Она перестала быть для нас таинственной.

С внутренним миром человека дело обстоит несколько иначе. Открытия последних десятилетий в области экспериментальной психологии, медицины, логики, изучения мифологии, этнографии, электроники, создания механических аналогов работы мозга, генетики показали, что внутренний мир человека не столь бесконечно многообразен, как казалось еще недавно, и даже в темные пучины подсознательного можно проникнуть и осветить их светом научного знания. Но далеко и далеко не все еще в нем познано, и тут скрывается источник современной мистики, желающей видеть в еще не познанном таинственное и сверхъестественное, отказывающейся от научных объяснений.

Во времена Низами почти все в теле и душе человека, рождении и смерти казалось еще таинственным. И тем не менее Низами смело, страстно стремится все познать, все понять, все объяснить в человеке. Ведь человек для него — главное. Современные исследователи средневековой мистики говорят, что в ней больше всего поражают две черты: страстное стремление все познать, все понять, все охватить именно сейчас, в данный момент, и вытекающая отсюда наивность объяснений еще незрелого метафизического знания, необоснованных аналогий, невнятных нам символов. Эта наивность свойственна и Низами. Странным кажется, например, в его столь подчас светлом сознании панический страх перед «дурным глазом», выраженный десятки раз в «Пятерице».

Для создания общей картины внутреннего мира человека, «моря души», Низами вынужден прибегнуть к его древнему мифологическому описанию, идущему из недр египетской и вавилонской жреческой мудрости, сохраненному в его время суфиями. И не следует искать на карте значительную часть пройденных Искендером у Низами чудесных стран, где вместо земли — сера, серебро или россыпи алмазов. Это — символическое описание внутренних состояний человека, постепенно погружающегося в себя во время мистической медитации — глубочайшего раздумья, сопряженного с самогипнозом — единственного тогда способа изучения психики, это — те же самые круги ада и рая, описанные в иной системе символов Данте. Кстати, ад, очень похожий на дантовский, описал предшественник Низами — Сенаи, на которого Низами ссылается в «Сокровищнице тайн», а зависимость всей схемы Данте от младшего современника Низами — арабского суфия Иби аль-Араби — доказана испанским ученым М. Асин-Паласиосом.

«География души» Низами имеет аналогии, символические соответствия в географии земной. Ведь для Низами человек — «малая вселенная», а вселенная — «большой человек», они построены аналогично, органы человеческого тела соответствуют созвездиям и планетам на небе, частям суши на земле, и человек — сын неба и земли. Такова странная для нас сейчас мифологическая мистическая символика его времени. Чтобы понять, почему источник живой воды находится на крайнем севере, в «стране мрака» («Искендер-наме»), надо знать, что для Низами полярная ночь — земная аналогия погружения во мрак души человека, где бьется живой родник мистического прозрения. Лежащая на севере, всего в сорока днях пути (срок поста перед медитацией) страна, где нет богатых и бедных, где нет угнетения, гнева, болезни и смерти — это также и «град божий» в душе человека, «царство божие внутри нас», а не только чисто земная социальная рациональная утопия, во всем подобная европейским. Описание тела и души человека как звездного неба и как города, страны, где правит падишах-интеллект, обычно для суфиев времен Низами, и это несколько сбивает с толку при чтении его поэм.

Ортодоксальное духовенство считало, что абсолютное счастье и справедливость невозможны, пока дух соединен с материей. Полное счастье возможно только в мире потустороннем, в раю (типичное, говоря словами К. Маркса, религиозное «торжественное восполнение» несовершенных реальных общественных отношений). Если ортодоксальная религия «страну счастья» видела только в рае, куда попадет праведник после смерти, то мистик Низами считает возможной концентрацию счастья и справедливости в душе человека при его жизни — построение в душе «града божия». Социальная же действительность, по его мнению, в силу своей материальности несовершенная, должна все-таки по мере возможности стремиться к идеалу, созданному в душе праведника. Отсюда — осуждение Низами тирании феодалов и прямая связь психологической мистической утопии с мыслями о земной справедливости, мистическое обоснование требования этой земной справедливости. Сила же его утопии, независимо от ее обоснования, очевидна, моральная ценность ее для Востока на долгие века — огромна. Вот — разработанная Низами мысль, давно незаметно влившаяся в общий поток осознания социальной несправедливости и живая до наших дней.

* * *

Мотив любви для Низами — один из главных. Три его поэмы — «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун» и «Семь красавиц» — романтические поэмы, гимны любви, величайшей силе в душе человека, любви, постепенно очищающейся от грубой чувственности и поднимающейся

до подвига самоотвержения ради любимой. История раннего романа, любовного сюжета на Западе и Востоке очень сложна. Полагают, что сюжеты эллинистических романов (истории двух влюбленных — «Геро и Леандр», «Дафнис и Хлоя», «Анфия и Аброкома», «Исмин и Исминия») пришли на Запад с Востока. Получив две тысячи лет назад развитие на Западе, в эллинистический период, романтические сюжеты снова появляются на Востоке в средние века. Предшественник Низами Унсури (XI в.) пересказывает сюжет романа «Геро и Леандр», многие античные сюжеты и мотивы попадают в суфийскую поэзию эпохи Низами. Его «Искендер-наме» почти целиком построена на античном материале, хотя и взятом не из романов. При чтении этой поэмы нас поражает прежде всего то, что греки Низами — совсем не те, к которым мы привыкли, не те, которых мы знаем по нашим школьным учебникам. Объясняется это очень просто. Наше представление о греках сложилось в результате столетий взаимодействия мышления деятелей эпохи Возрождения и последующих поколений европейских ученых с творениями античных авторов. Эти ученые взяли у них прежде всего рационалистическую науку. Взаимодействие мышления мусульманских ученых средневековья отчасти с тем же материалом, а отчасти с признанными у нас второстепенными или даже неизвестными нам античными авторами было, естественно, иным. В VIII—IX веках в халифате появляется живой интерес к античному миру. Его высоко развитая наука была необходима огромному развивающемуся восточному государству. На арабский язык переводят с греческого все, что только сохранилось, кроме поэзии: логику, математику, медицину, философию, астрологию, алхимию. Наступает пора, которую условно называют «мусульманским ренессансом». Восточные мыслители комментируют и развивают Аристотеля, Платона, Пифагора, Галена. При всеобщем засилье ортодоксального ислама надо было как-то оправдать этот поток идей, исламу очень мало соответствовавших. Появляется теория, согласно которой греческие мыслители хотя и жили до ислама и были «неверными», но их мудрость — тоже «свет от лампады пророчества». На первый план выдвигается постепенно античная мистика александрийского периода (гносис), элементы которой есть уже в Коране — священной книге мусульман (начало VII в.). Идеи неоплатоника Плотина (204—270 гг. н. э.) оказываются на Востоке более известными, чем Платона и Аристотеля, а с последним связывают поздние неоплатонические апокрифы — доказательство бытия бога и «Книгу яблока», кратко пересказанную Низами в одной из глав «Искендер-наме». Идет постепенное сближение, синтез ислама и античной культуры, особенно ярко проявившийся в арабской энциклопедии «Чистых братьев» (X в.), несомненно, хорошо известной Низами (его космогонические представления явно идут оттуда). Результат синтеза двух культур, происходившего

на Востоке в средние века, при недостатке положительных знаний и совсем в особой обстановке, был, естественно, совсем иным, чем в Европе XV—XIX веков. Низами, например, знал, что греки обожествляли Александра Македонского (его культ действительно существовал в эллинистическую эпоху), он не мог отказаться от всеобъемлющей мусульманской идеи пророчества, и Искендер у него — завоеватель, мудрец, справедливый правитель и пророк (в соответствии с Кораном, где он, как тогда считали, назван среди второстепенных пророков), а не, к примеру, «Александр, рыцарь без страха и упрека» французской трагедии XVII века (его ведь даже изображали тогда на гравюрах в пудреном парике), и не политик рабовладельческой эпохи позднейших учебников. То, что Искендер — пророк, не мешает Низами сделать его носителем света разума, только разум этот у Низами несколько ближе к мистическому откровению, интуиции, как мы сказали бы сейчас, и дальше от нашей современной рационалистической его концепции.

В позднее средневековье и эпоху Возрождения мысли и чувства, идущие из античной древности и обогащенные на Востоке, широко проникают на Запад. Наряду с непосредственным изучением греческих и латинских источников, переводят с арабского на средневековую латынь (язык тогдашней науки) труды мусульманских мыслителей. Прежде всего это происходит в Испании, где общение Востока и Запада было непосредственным, за ней идут Франция, Италия, Англия. Ученый нашего времени Ф. Хитти доказал, например, что любовные стихи ранних трубадуров — это почти переводы арабской средневековой лирики, а культ Девы Марии и культ «прекрасной дамы» средневековой Европы сложились после крестовых походов под сильным восточным влиянием. К этому времени (XI—XII вв.) старый доисламский (до VII в.) культ любви арабского племени узра развился в мистической арабской поэзии. «Лейли и Меджнун» Низами — тоже развитие легенды об испепеляющей силе любви арабов племени узра. Суфий, теоретик, глубокий арабский мыслитель и психолог, предвосхитивший, как сейчас считают, идеи Фрейда и Юнга — Ибн аль-Араби (жил в Испании) — учил в начале XIII века: «Видение бога в прекрасной женщине — самое совершенное». Его идеи, несомненно, также сыграли роль в развитии культа «прекрасной дамы». Таково сложное переплетение путей романтического мотива «легенды о любви»: с Востока — к грекам, от греков — к арабам, где появляется новое качество, от арабов — к Низами и в Европу.

Религиозное обоснование любви, любви к прекрасной женщине, любви к человеку, любви к прекрасному было высшим в пору безраздельного господства религии. Со временем это обоснование отпало, и в наследство нам достались «рыцарские чувства» в лучшем смысле этого слова, заложенные в крови, почитание женщины, матери, самоотверженная любовь, любовь к прекрасному.

Многие века господства темы любви в мировой литературе — от древней арабской легенды о Лейли и Меджнуне — к «Ромео и Джульетте» — и «прекрасной даме» Блока — несомненный факт.

К концу XIX века эта тема была профанирована, избита и опошлена, например, в английском мещанском романе, что вызвало, в частности, безжалостные насмешки Бернарда Шоу в его авторском предисловии к «Пьесам для пуритан». В последние десятилетия эта тема подвергалась нападкам многих модернистов.

Дело не в заимствованиях, не в том, что «любовная тема пришла с Востока» (хотя, например, чисто арабская основа сюжета драмы «Сид» Корнеля — любовь и кровная месть — очевидна, как очевидна и связь «Принцессы Турандот» Шиллера с «Семью красавицами» Низами), а в том, что культура Востока и Запада едина, что она развивалась на основе постоянного тесного общения, культурного обмена, постепенно кристаллизуя в творениях поэтов и мыслителей главную тему — тему любви к человеку, тему гуманизма. Любовный мотив же, рассказ о двух чистых верных влюбленных, был долгие века наиболее простым и ясным, всем близким выражением этой темы. И тут огромная роль в придании определенной формы и любовной и общегуманистической теме, формы, в которой она только и могла быть тогда осознана, принадлежит Низами.

* * *

Низами закончил «Пятерицу» около 1203 года. Очень скоро появляются так называемые «поэтические ответы» (назира) как на всю «Пятерицу», так и на ее отдельные части. Эти «ответы» представляли собой поэмы, в которых сохранены почти все основные персонажи и сюжетные линии частей «Пятерицы», и отличаются только изложение и трактовка. Ближе всего к «Пятерице» Низами стоят широко известная «Пятерица» индийского поэта Амира Хосрова Дехлеви (1253—1325), написанная также на персидском языке, и «Пятерица» Алишера Навои (1441—1501), написанная на языке староузбекском. Причины создания такого рода «ответов» были настолько непонятны европейским ученым прошлого века, воспитанным на идее оригинальности творчества, что «Пятерица» Навои показалась им первоначально переводом поэм Низами, каковым она на самом деле ни в коей мере не является. По весьма еще неполным данным известно более сорока «ответов» на «Сокровищницу тайн» Низами, написанных на персидском языке, и несколько «ответов» на языках тюркских; более сорока «ответов» и на «Хосров и Ширин» (персидские, азербайджанские, турецкие); десятки (будто бы даже более сотни) «ответов» на «Лейли и Меджнун» на персидском и тюркских языках и т. д. Самый поздний и самый из-

вестный у нас «ответ» — драма в стихах турецкого поэта Назыма Хикмета «Легенда о любви» (1948), представляющая собой развитие сюжета поэмы «Фархад и Ширин» из «Пятерицы» Навои, являющейся, в свою очередь, «ответом» на «Пятерицу» Низами. «Легенда о любви» поныне идет с большим успехом во многих театрах нашей страны и за рубежом.

На первый взгляд такая приверженность традиции может показаться странной. Действительно, зачем было бесконечно повторять сюжеты, сложившиеся у Низами в известной мере случайно, почему нельзя было взять сюжеты совсем новые, скажем, сюжеты «из жизни»? Выше мы говорили уже об особенностях художественного творчества в средние века. Эстонский исследователь М. Ю. Лотман (см. «Поэтика», Тарту, 1964), отдельные мысли которого о средневековой поэзии использованы в этом предисловии, сравнивает персонажи литературных произведений отдаленного прошлого с масками итальянской комедии дель арте. Эти маски (Арлекин, Коломбина, Пьеро) имели, по традиции, всегда определенные костюмы, грим, характеры, даже акценты определенных областей Италии, но игравшие их актеры не располагали заранее готовым текстом, они играли экспромтом, не выходя за рамки характера. Если применить это сравнение к персонажам Низами и поэтов, писавших ему «ответы», то можно сказать, что Низами — и в том его огромная заслуга — создатель масок великой человеческой драмы, десятки раз разыгранной после него на Востоке его талантливыми, а иногда и гениальными продолжателями. Только таким путем повторения можно было сохранить в средние века великое гуманистическое содержание поэм Низами, донести его до разноязычной многомиллионной аудитории народов Востока, сохранить в виде живой традиции до наших дней. Низами, подобно Горацию, Пушкину, Фирдоуси, сознавал, какой памятник он себе воздвиг. Он несколько раз говорит в поэмах о вечной жизни своих стихов, о том, как они откликнутся на призыв последующих поколений.

Следует добавить, что «маски» Низами и его продолжателей (Хосров, Ширин, Фархад, Лейли, Меджнун) — это далеко не только персонажи старых хроник и преданий. Упомянутый выше Ибн аль-Араби толковал известную библейскую легенду об Иосифе Прекрасном, изложенную и в Коране, следующим образом: Иаков, отец Иосифа,— это символ интеллекта человека, Иосиф — символ любящего сердца, познающего бога, десять братьев — символы пяти внешних (слух, зрение и т. п.) и пяти внутренних (мышление, память и т. п.) чувств, предающих Иосифа,— сердце, которое лишь одно силой любви способно достичь истины. Воплощение в двух персонажах злого и доброго в человеке близко к нашему времени выполнено Гете. Ведь Мефистофель — это лишь злое начало в Фаусте, принявшее, ради художественного ис-

следования противоречий души, форму соблазнителя в красных одеждах... И понятно, что преемники Низами не могли произвольно заменять раз найденные маски его поэм, тем более что, например, «семь красавиц» — это одновременно и семь планет вселенной, властвующих, согласно древнему астральному мифу, над соответствующими свойствами человеческой души.

Рядовые читатели воспринимали, конечно, Фархада, Ширин или Лейли лишь как полные обаяния персонажи поэм. Французский писатель XVIII века Ж. Казот вспоминал, как он зачитывался символической поэмой «Освобожденный Иерусалим» великого итальянца Торквато Тассо (XVI в.) и случайно натолкнулся на том, содержавший объяснения аллегорий этой поэмы. Он остерегся раскрыть его. «Он был страстно влюблен в Армиду, Эрминию, Клоринду и безвозвратно утратил бы столь пленительные иллюзии, если бы эти красавицы были сведены к простым символам». Влюбляясь так же в Ширин или Лейли и не вникая в символику Низами, его почитатели незаметно проникались его идеями.

* * *

Стирая случайные черты, мы осознаем современное значение поэм Низами. Нас удивляют повторения сюжетов «Пятерицы» другими поэтами, но то, что современная хорошая пьеса идет сотни раз с разными актерами, по-иному «прочтенная» каждым режиссером, по-иному воспринятая зрителями, нам представляется вполне привычным. Грань между творчеством и его восприятием не абсолютна. Каждое новое прочтение «Пятерицы», если оно осознано,— это вновь разыгранная человеческая драма, драма, разыгранная одним актером-читателем перед самим собой.

Поэмы Низами стали читать в Европе и России очень недавно; Гете узнал о них по рассказам одного востоковеда и переводам отрывков и, обладая чувством всемирной отзывчивости, сразу понял значение Низами, склонился перед его гением, использовал некоторые его притчи в «Западно-Восточном диване». Востоковедение прошлого века почти не смогло донести Низами до массы европейских читателей — слишком он казался труден. Представляется, что его творчество всегда было и остается очень мало известным в Европе. Но дело не в непосредственном знакомстве с поэмами Низами. Как мы постарались показать, мысли и чувства, выработанные и оформленные поколениями мыслителей и поэтов Востока (в том числе Низами) и Запада, путем сложного синтеза, составили основу нашей культуры. И если притчи Низами можно встретить у Чосера или Боккаччо, то дело тут не в непосредственном знакомстве их с переводами «Пятерицы». Эти притчи шли издалека запутанными и часто неизвестными нам путями.

Русский читатель смог ознакомиться с Низами только в 1940—1959 годах. Во время восьмисотлетнего юбилея поэта в 1947 году было обращено особое внимание на то, что человек для Низами, как и для многих мыслителей, начиная с античной древности — существо общественное. Наряду с погружением во внутренний мир, «круги ада и рая», медитациями, попытками, кажущимися нам сейчас иногда наивными, выяснить «анатомию» души и вселенной, Низами ясно видит проблемы, возникающие в обществе. Говоря современным языком, главную задачу он видит в перестройке и человека и общества. Он бесстрашно осуждает тиранию и бесправие, с гневом говорит о власти золота, о жестокости, о бессмысленных кровопролитиях. Как ни абстрактна и ни субъективна его утопия — совершенное общество,— она имеет отношение и к земным делам. Он только считает, что царство справедливости должно быть построено сперва в душе человека, и лишь тогда исчезнет зло мира. Нельзя забывать, что Низами жил восемьсот лет назад.

В наши дни, когда решение главных общественных проблем стало насущной необходимостью и реальной возможностью, мы читаем Низами с иным чувством, чем его современники. За нами еще восемьсот лет опыта всего человечества, мы видим, как гуманизм, активная любовь к человеку постепенно обретала реальность, из абстрактных норм превращалась в общественные институты, закреплялась строем общества. И мы видим одновременно непознанное и несделанное, перед нами стоят проклятые вопросы так же, как они стояли перед Низами. И мы рады осуществленному, оно дает нам основание с надеждой смотреть вперед и неустанно идти путем добра и правды, которым люди идут с трудом, оступаясь, уже тысячелетия.

А. БЕРТЕЛЬС

ПЕРЕВОД
К. ЛИПСКЕРОВА и С. ШЕРВИНСКОГО

ВСТУПЛЕНИЕ

«В прославленье Аллаха, что благом и милостью щедр!»
Вот к премудрости ключ, к тайнику сокровеннейших недр.

Мысли первоисток, изреченных словес завершенье —
Имя божье, и им ограничь ты свое изложенье.

Испокон пребывающий, сущего предбытие,
Вековечней в себе, чем явленное вслед бытие.

Вечный вечности вождь, изначально начальный над нею,
Что каламу времен ожерелье накинул на шею.

Всех творец родников, источающих жизни струю,
Жизнедавец, всему давший быть бытием бытию.

Он раздернул завесу у скрытых завесой небес,
Он, держащий завесу хранителей тайны завес.

Он для пояса солнца их яхонтов создал набор,
Наряжает он землю, на воды наводит узор.

Поощряет он тех, кто свой внутренний мир изощряет,
Сытых хлебом насущным сиянием дня озаряет.

Жемчуг знаний он нижет на тонкую разума нить,
Он для разума — свет, его глаза не даст он затмить.

Ранить лбы он велит правоверным в усердных поклонах,
Он дарует венцы на земных восседающим тронах.

Не дает он сбываться тому, что людьми решено,
Преступленье любое по воле его прощено.

Устроитель порядка средь гама пришедших в смятенье,
Он источник для тех, кто удачные знает решенья.

Он конец и начало извечно и впредь бытию,
Сущим быть и не сущим он может велеть бытию.

При всесилье его, что в обоих мирах не вместится,
Все, что в нас и при нас, лишь коротким мгновением мнится.

В долговечной юдоли вселенной, помимо творца,
Кто воскликнуть бы мог: «Для кого здесь сиянье венца?»

Все и было и не было, все, что высоко и низко,
Может быть и не быть, от не сущего сущее близко.

Даже мудростью тех, кто воспитан с предвечных времен,
Этот трудный вопрос и доныне еще не решен.

Из предвечности знанье его — о пучина морская! —
Вечно божие царство, подобие степи без края.

Все, где действует жизнь, проявляя свое естество,—
Лишь служенье раба перед вечным господством его.

В сад телесный тебе посылает он гурию рая,
Свет нарциссов твоих — это воля его всеблагая.

Благодарности полн, славословит бесчисленный хор
Имя божье на шапке земли и на поясе гор.

За завесою света скрывались щедроты творенья,—
Сахар был с тростником, были с розой шипы в разобщенье.

Но лишь дал он щедротам цветенье, щедроты лия,
Тотчас цепь бытия разрешил он от небытия.

В неуемном стремленье к двум-трем деревням разоренным
Было небо в смятенье, неявное в несотворенном.

Узел, мысль сожигающий, не был еще разрешен,
Локон ночи тогда был ланитами дня полонен.

Только жемчуг небес нанизал он в ряды узорочий,
Пыли небытия не оставил на локонах ночи.

Из кругов, что на небе его изволеньем легли,
Семь узлов завязал он, деля ими пояс земли.

Стало солнце в кафтане являться, а месяц в халате:
Было этому белое, этому черное кстати.

Тучи желчный пузырь из морских он исторгнул глубин,
Светлый Хызра источник из злачных извлек луговин.

Утра полную чашу он пролил над темною глиной,
Только камня устам не достался глоток ни единый.

Из огня и воды, их мельчайшие части смешав,
Создал яхонта зерна и жемчуга жирный состав.

Ветер слезы земли, лихорадя, загнал нездоровый
В печень камня, и яхонт родился, как печень, багровый.

Стал как небо цветущ вертоград его божьих щедрот,
Птицу речи он создал, что небу на радость поет.

Пальме слова он финики дал, что отрадны для духа,
Жемчуг он языка не оставил без раковин слуха.

Посадил за завесу безмолвную голову сна,
Им и водному телу одежда души придана.

Кинул пряди земли он на плечи небесные прямо,
Непокорности мушку навел на ланиту Адама.

С лика золота он отпечаток презренья смыл,
Крови лунные розы он тучкой весеннею смыл.

Рожу воздушную снять поручил он светилам лучистым.
Душу утренних ветров он травам доверил душистым.

В глине бьющую кровь там, где печень сама, поместил,
Где биенье сердца, биенье ума поместил.

В утешенье губ приказал появиться он смеху,
Он Венере велел стать певицею, ночи в утеху.

Полночь — божий разносчик, он мускус продаст дорогой,
Новый месяц — невольник со вдетою в ухо серьгой.

О стопу его речи, чьи силы от века велики,
Камень лоб раздробил у шатра, что достоин владыки.

Легковесная мысль вкруг него исходила пути,
Но с пустыми руками от двери пришлось отойти.

Много троп исходив, сокровенной не вызнали тайны,
Равных с ним не нашли, все дела его — необычайны.

Появился и разум, его я на помощь призвал,—
Но постиг свою грубость и сам же его наказал.

Тот, в кого острием его циркуль однажды вонзился,
Тот, как месяц, навек к постиженью его устремился.

Кто на небе седьмом восседает,— стремятся к нему,
Кто по небу девятому ходит,— стучатся к нему.

Небосвода вершина в уборе его ожерелий,
Страстью недра земли изначально к нему пламенели.

Те сердца, что, как души, святой чистотою горят,
Только прахом лежать притязают у божиих врат.

Но из праха у врат его зернышко вышло такое,
Что пред садом его сад Ирема — сказанье пустое.

Так и прах Низами, что изведал поддержку его,—
Нива зерен его и единства его торжество.

ПЕРВОЕ МОЛЕНИЕ
О НАКАЗАНИИ И ГНЕВЕ БОЖИЕМ

Ты, который во времени быть повелел бытию!
Прах бессильный стал сильным, окреп через силу твою.

Знамя вьется твое над живущею тварью любою,
Сам в себе существуешь, а мы существуем тобою.

Ты вне родственной связи, родни для тебя не найдешь,
Ты не сходен ни с кем, и никто на тебя не похож.

Что одно существует вовек неизменно — не ты ли!
Что истленья не знало и впредь нетленно — не ты ли!

Все мы тленны, а жизнь, что не знает предела,— тебе!
Всесвятого, всевышнего царство — всецело тебе!

Прах земной повеленьем твоим пребывает в покое,
Держишь ты без подпоры венчанье небес голубое.

Кто небес кривизну наподобье човгана возвел?
Соли духа не ты ли подсыпал в телесный котел?

Если сменою ночи и дня управляешь ты въяве,
То воскликнуть: «Я — истина!» — ты лишь единственный вправе.

И когда б в мирозданье покой не пришел от тебя,
К твоему бы мы имени влечься не стали, любя.

Благодати твоей снизойти лишь исполнилось время,
Нагрузила земля себе на спину тяжкое бремя.

Если б только земля не рожала от божьих щедрот,
То земного пупа не извергнуть не мог бы живот.

Поклонения бусы твое лишь нанижет веленье,
Поклоненье — тебе лишь, запретно другим поклоненье.

Лучше вовсе молчать тем, кто речь не ведет о тебе,
Лучше все позабыть, если память пройдет о тебе.

Кравчий ночи и тот перед чашей твоею смутится,
Славит имя твое на рассвете поющая птица.

Выйди, сдернув завесу, единый во всем исконн,
Если я — та завеса, завесу скорее сверни.

Небосвода бессилье лишь ты небосводу покажешь,
Узел мира от мира единственный ты лишь отвяжешь.

Знак теперешних дней уничтожь, будь судьею ты сам,
Новый образ принять повели ты небесным телам.

Изреченным словам прикажи ты к перу возвратиться,
Снова займу земли прикажи ты в ничто обратиться.

Блага света лиши достоянье поклонников тьмы,
Отведи от случайного в сущность проникших умы.

Столик шестиугольный своим разломай ты ударом
И расправься решительно с девятиножным мимбаром.

Глину этой печати ты лунным ларцом раздроби,
В небе чашу Венеры — Сатурна кольцом раздроби.

Ожерелье рассыпь, от которого ночи светлее,
Птице ночи и дня ты крыло обломай не жалея.

Эту глину, прилипшую к телу земли, соскреби!
Тот кирпич, образующий тело земли, раздроби!

Пыли ночи вели ты с чела у небес осыпаться,
Пусть Чело низойдет, а Шатру не вели подыматься.

Долго ль будет звучать этот новый напев бытия?
Хоть бы ноту из прежних вернула нам воля твоя.

Опрокинь же и выбрось согласье всемирного строя,
Выю неба избавь от кружения сфер и Покоя.

Пламя неправосудья — насилья огнем остуди,
Ветер волей своей ниже пыли земной посади.

В пепел ты обрати звездочетов ученых таблицы,
Почитателям солнца вели, чтоб закрыли зеницы.

Месяц ты уничтожь, не достигший еще полноты,
О, отдерни завесу с пустой и ничтожной мечты!

Чтоб явили они божества твоего непреложность,
И свою пред тобой засвидетельствовали ничтожность.

Мы — рабы, нерасцветший цветок в опояске тугой,
Мы — цветы с нетелесною плотью. Мы живы тобой.

Если пролил ты кровь, то за это не платишь ты пени,
Тот, кто в петле твоей, и подумать не смей о замене.

Можешь ночи стоянку по воле своей продлевать,
Закатившийся день поутру ты приводишь опять.

Если даже на нас ты и сильно прогневан, для жалоб
Среди нас никому ни охоты, ни сил не достало б.

Ты душе человеческой разум и свет даровал,
Ты испытывать сердце язык человечий призвал.

Небо движется, полюс недвижен твоим изволеньем,
Влажен сад бытия, не обижен твоим изволеньем.

Взгляд шиповника нежный прозрачен в предутренний час,—
Но не воздух, а пыль твоих ног — исцеленье для глаз.

За завесою светит последнего лотос предела,
Славословить тебя — языка человечьего дело.

О единстве твоем не умолкнет твой раб Низами,
Он в обоих мирах — только пыль пред твоими дверьми.

Та́к устрой, чтобы мысли его лишь тебе отвечали,
Ныне выю его ты избавь от капкана печали.

ВТОРОЕ МОЛЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВСЕПРОЩЕНИИ БОЖИЕМ

В мире не было нас, ты же был в безначальности вечной.
Уничтожены мы, ты же в вечности жив бесконечной.

Твоего изволенья коня запасного ведет
Мир в круженье своем, а попону несет небосвод.

Мы — бродяги твои, о тебе мы бездомны и нищи,
Носим в ухе кольцо, словно дверь в твоем горнем жилище.

Мы тобой таврены, а собаку со знаком чужим
Государь не допустит к державным охотам своим.

Ты же нас допустил, ибо сад твой всевечный над нами,
Мы — с ошейником горлицы, псы мы с твоими таврами.

От создателей всех отклонили мы наши сердца,
Нас лелеешь один, не имеем другого отца.

Наше ты упованье, и ты устрашение наше.
Будь же милостив к нам и прости прегрешение наше.

О, подай же нам помощь, помощника мы лишены,—
Если ты нас отвергнешь, к кому ж мы прибегнуть
должны?

Что же вымолвил я? Что сказал языком я смиренным?
Лишь раскаянья смысл в изреченном и неизреченном.

Это — сердце — откуда? Свобода свершенья — отколь?
Кто я сам? К твоему всевеличью почтенье — отколь?

Как пустилась душа в этом мире в свой путь
скоротечный!
Как стремительно сердце впивало источник предвечный!

Тщась познать твои свойства, у нас ослабели умы,
Но хадис «О постигшем аллаха» усвоили мы.

Речь незрела у нас, своего мы стыдимся усердья,
За незрелость ее да простит нас твое милосердье!

Прибегаем к тебе мы, ничтожнее, нежели прах,
Прибегаем к тебе, на тебя уповая, Аллах.

Утешителей друг, ты утешь нас по милости многой!
О, беспомощных помощь, своей поддержи нас подмогой!

Караван удалился, отставшим вослед посмотри,
Ты на нас, одиноких, как добрый сосед посмотри!

Нет подобных тебе. Не в тебе ли защита, в едином?
Сирых ты покровитель,— к кому же иному идти нам?

Совершая молитву, мы взор обратим на тебя.
Если ты к нам неласков, то кто ж приласкает любя?

Чьи к тебе протянулись с таким упованием руки?
Кто стенает, как мы, чьи сильнее душевные муки?

Слезно молим тебя: отпущение дай нам грехов,
Будь опорой пришедшим под твой защитительный кров!

Чрез тебя Низами и господство узнал и служенье.
Ныне имя его вызывает в любом уваженье.

Дарованью приветствий наставь его скромный язык,
Сделай так, чтобы сердцем твое он величье постиг!

В ПОХВАЛУ БЛАГОРОДНЕЙШЕГО ПОСЛАННИКА

«Алиф», только лишь был он на первой начертан скрижали,
Сел у двери, ее же пять букв на запоре держали.

Дал он петельке «ха» управленье уделом большим,
Стали «алифу»: «даль» ожерельем и поясом «мим».

И от «мима» и «даля» обрел он над миром главенство,
Власти царственный круг и прямую черту совершенства.

Осеняемый сводом из сих голубых изразцов,
Благовонным он был померанцем эдемских садов.

Таковы померанцы: они надлежащей порою
Созревают сперва, а потом зацветают весною.

«Был пророком» — хадис, что со знаменем вышел вперед,
Поручил он Мухаммеду кончить пророков черед.

Хризолитовым перстнем стал месяц с желтеющим светом,
А Мухаммеда знак — драгоценным его самоцветом.

В ухе мира висит его «мима» златое кольцо,
И покорно Мухаммеду мира двойное кольцо.

Ты измерил пространства, тебе и Мессия слугою,
Все — твои благовестники, все они с вестью благою.

Ты, не ведая букв, языком говоришь огневым,
Ты, в ком «алиф» Адама близ «мима» мессиева зрим.

Прям, как «алиф», он клятв не нарушит, пречестный меж честных,
Первый он и последний, всех выше посланцев небесных.

На окружности мира всех точек он ярких ярчей,
Он утонченный смысл всех на свете тончайших речей.

Всем, что он изрекал, возвеличены знаний страницы,
Измеряется небо охватом его поясницы.

Пусть главы никогда не венчал он гордыней мирской,
Пред мирскою гордыней он все ж не склонился главой.

Целомудренных сонм у него за завесой в гареме,
Целомудрие он удовольствовал яствами всеми.

Прах ступней его с глаза дурные поступки сотрет,
С Мекки дань собирает его на чужбину уход.

Немота его — речь, он безмолвием сердце чарует,
Все сжигает порочное в том, кому дружбу дарует.

Чрез него нам отрадно над смутой своей торжество,
Хоть и смуту принять неминуемо нам от него.

Был главою он всех, все главы приводил он в смятенье,
Был он полюсом, тяжким по весу и легким в движенье.

Он с божественным светом свечу своим сердцем возжег
Безначальности и бесконечности понял урок.

Солнце, жизни исток, чье лишь он оправдал назначенье,
Полумесяца меньше, светившего в день вознесенья.

В эту ночь вознесенья все знаки он власти обрел,
Сел в венце и при поясе на высочайший престол.

Там он вольно вздохнул, где ему был приют уготован,
Белый, скачущий ночью, был конь им той ночью
подкован.

Словно ждали поэты, чтоб он возвратился скорей,
И стихи за уздечку держали, как пегих коней.

Но когда уже всех обскакали те пегие кони,
То удел Низами — лишь забота о конской попоне.

О ВОЗНЕСЕНИИ ПРОРОКА

Полунощной порой, лишь полдневного светоч владыки
Из недвижности вышел и мир озарился великий,

Стали солнцу носилками очи небес девяти,
А Венера с Луною огни обязались нести.

Он в святилище здешнем оставил все стороны света,
Бросил семь поясов и все шесть направлений предмета.

День покинули стопы его, отлетевшие прочь,
На его появленье раденьем ответила ночь.

Слиплись веки у тех, что с глубинами тайн незнакомы,
Он меж тем скакуна повернул, удаляясь от дремы.

Вместе с клеткой плотской из земной унеслась западни
Птица сердца туда, где покой и блаженство одни.

Птицы, даже и ангелы с ним не тягались в полете,
И радел небосвод, скинув платье с лазоревой плоти.

У божественной птицы и клетка расправила крылья,
Оболочка его, легче сердца, неслась без усилья.

Шаг за шагом, когда возносился он прочь от земли,
Ввысь и ввысь небеса его в страхе смиренном несли.

И глядели насельцы обоих миров на пророка,
И в поклоне земном головами склонялись глубоко.

Он последней ступени коснулся ногой, но за ней
Поднялся и еще на божественных сто ступеней.

Скакуна с его стойлом высоким внизу он оставил,
О попоне заботу оставшимся здесь предоставил.

Он жемчужиной стал, обретенною в мире земли,
Небеса же ее до венца божества донесли.

Ночью темной, как амбра, жемчужину неба ночного
Бык небесный похитил, изъяв из ноздри у земного.

И когда наступил путешествию должный конец,
Близнецы ему дали свой пояс и Рак — свой венец.

Неба Колос расцвел при одном появленье пророка,
Этот Колос расцветший от Льва он отбросил далеко.

Чтоб измерить, насколько той ночи цена велика,
На Весах ее вес проверяла Венеры рука.

Но столь грузную гирю не взвесить такими весами,—
Легче гири тяжелой весы оказалися сами.

И пока проносился пророк меж сияющих звезд,
Чашу противоядья излил Скорпиону на хвост.

Вдаль метнул он стрелу, где его проходила дорога,
Ею был уничтожен губительный вред Козерога.

Стал Иосифом в Кладезе, солнцу подобно, пророк,
Стал Ионою Рыб, ибо Кладезь от них недалек.

И лишь в знаке Тельца он поставил Плеяды престолом,
Сразу войско цветов разбросало палатки по долам.

И лишь в горнем саду на лужайке раскрылся цветок,
Наступил на земле расцветания вешнего срок.

После с неба седьмого повел он почтительно речи,
У пророков прощенья просил, что зашел столь далече.

Звездный занавес неба шаги разрывали его,
На плече своем ангелы знамя держали его.

Полночь мускус наполнил дыханья его неземного,
Полумесяцем в небе коня его стала подкова.

В эту темную ночь даже молния в беге своем
Не могла бы поспеть за его быстроногим конем.

Словно сокол с шажком куропатки, с пером голубиным,
Уносился Бурак, лучезарен, к небесным глубинам.

Вечный «лотос предела» — сорочки пророка перед,
Край девятого неба задел он, свершая полет.

Стала днем эта ночь — дня прекрасней земля не знавала!
Стал цветок кипарисом — прекрасней весны не бывало!

Из нарциссов и роз, что в небесном саду разрослись,
Глаз-нарцисс лишь один насурьмлен был стихом:
«Не косись!»

Лишь девятых небес по ступени достиг бирюзовой
Цвет нарцисса, руками подхваченный снова и снова,—

Его спутники вдруг побросали щиты в забытьи,
Поломали воскрылья, развеяли перья свои.

А пророк чужестранцем, чья долго тянулась дорога,
В дверь смиренно кольцом постучал на пороге чертога.

И, завесою скрыты, тотчас охранявшие дверь
Пропустили его,— одинок он остался теперь.

Шел он дальше без спутников, по неизвестной дороге,
Сам теперь он не ведал, куда приведут его ноги.

А другие остались и внутрь не проникли за ним,
Он же вдруг изменился: не прежним он был, а иным.

Засияли венцом его ноги на темени мира,
И девятое небо ликуя с ним жаждало пира.

И по буквам девятого неба провел он калам,
С рукава у небес он списал сокровенный «а-лям».

Длилось мерно дыханье в своем обиталище тесном,
Обладатель души подвигался в обличье телесном.

Наконец он и края девятого неба достиг,—
И остались в пророке душа лишь и сердце в тот миг.

К дому сути своей поспешало весомое тело,
Очи стали такими, что нет изумленью предела.

Очи, коим доступен предвечный божественный свет,
Мы представить не в силах, и слов подобающих нет.

Свой возвышенный путь продолжал он, исполнен
величья,—
От себя он отбросил завесу земного обличья.

Лишь на путь запредельный вступил он, его голова
Поднялась, чтоб ее не стеснял воротник естества.

Высочайшие помыслы сердца, чей свет беспределен,
Там достигли привала, где всякий привал уж бесцелен.

За завесу проникнуть стремленье объяло его,
Но смятенье пред местом вперед не пускало его.

И откинула вскоре завесу рука единенья,
И небесный стал виден дворец через дверь поклоненья.

И нога голове уступила способность войти,—
Ничего совершенней душа не могла бы найти!

Он ступил, но стопа не ступала: исчезла основа,
Он подпрянул, но места не мог обрести никакого.

Как значенье из слова, пророка был выявлен свет.
Было принято «слово» и сказано было «привет!»

Чудо вечного света, который вовек не убавить,
Лицезрел он очами,—но их невозможно представить!

Лицезренью его были чужды случайность и суть,
За случайность и суть далеко перешел его путь.

До конца, безусловно, как мудрые молвят неложно,
Бога он лицезрел: лицезрение бога возможно.

Да не будет же скрыто, что на́ небе видел пророк.
Да ослепнет сказавший, что бога он видеть не мог.

Он не зрел божества никакими иными глазами,
Видел этими самыми, видел земными глазами!

Вне пространства и места он эту завесу узрел,
Он вне времени шел, в недоступный проникнув предел.

Каждый, кто ту завесу узреть получил дозволенье,
Был допущен туда, где отсутствуют все направленья.

Есть и будет Аллах, но в каких-либо точных местах
Нет ему пребыванья, и кто не таков — не Аллах.

Отрицая незыблемость божью, порвешь ты с исламом,
Бога с местом связуя, невеждою будешь упрямым.

Бог вино замешал, эту чашу пригубил пророк
И на прах наш невечный из чаши той вылил глоток.

Вечносущего милость его провожала дыханье,
Милосердье его исполняло пророка желанья.

Губы сластью улыбки изволил украсить пророк,
Правоверных к молитве своим он призывом привлек.

Каждый помысл пророка изведал богатство свершенья,
И увидел пророк всех желаний своих исполненье.

Стал он мощен, побыв в той обители рядом с творцом,
И к мирской мастерской, возвратясь, обернулся лицом.

Горний путник любовь нам в подарок принес благодатно,
Он в мгновенье одно отлетел и вернулся обратно.

Ты, чьи речи печатью замкнули наш смертный язык,
Ароматом своим животворно ты в души проник.

Пусть же щедрость твоя, о всевышний, не знает
предела,—
Помоги Низами до конца довести его дело.

ВОСХВАЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Он украсил все девять небес и седмицу планет,
Был последним посланцем, последним пророком Ахмед.

Разум — прах под ногами его, без предела и срока
Мир, и тот и другой, к торокам приторочен пророка.

На лужайках услад гиацинту свежей не цвести,
В море тайн драгоценней жемчужины ввек не найти.

Девой звездной встает гиацинт среди неба дневного,
В алом яхонте солнца его изначальна основа.

Сахар губ не желал он в улыбке раскрыть никогда,
Чтобы жемчуг его у жемчужниц не вызвал стыда.

Сердца тверже, чем камень, вовек не поранил он грубо,—
Как же камень пророку мог выбить жемчужину зуба?

Было каменным сердце у камня, безумствовал он:
Был поступок его лихорадочным жаром внушен.

Муфарри́ха вкусить разве камню нашлась бы причина.
Если б жемчуга он не разбил, не растер бы рубина?

Но одной из жемчужин лишил его камень врага,
Отделил от него, обездолив его жемчуга.

Из темницы ларца от него унеслась драгоценность,—
Удивляться ль, что в камне тогда родилась драгоценность?

Чем уплачивать виру? Мошна ведь у камня пуста,—
Как же вздумал он прянуть и сжатые ранить уста?

Пусть внесут самоцветы, из камня рожденные, плату
За разбитые губы,— оплатят ли зуба утрату?

Драгоценные камни, возникшие в недрах земли,
За жемчужину зуба как вирою стать бы могли?

Стала вирой победа, в боях добыла ее сила,
Добровольно победа главу пред пророком склонила.

Он кровавою влагой омыл свой пораненный рот,
Миру вновь показал, что своих не жалеет щедрот.

Взял он выбитый зуб и врагу, без вражды и без лести,
Отдал в знак благодарности и отказался от мести.

От желаний былых он отрекся затем, что ни в чем
Он в обоих мирах не нуждался, ни в этом, ни в том.

В управлении войск, под его воевавших началом,
Бранным стягом была его длань, а язык был кинжалом.

Зуб кинжалом извергнут его языка, потому
Что остро лезвие и зазубрины вредны ему.

Но зачем же все это? — чтоб люди от терний бежали,
Зная щедрость пророка, и розою дух услаждали.

Для чего же колючки, коль розы обильны твои?
Неужели ты четки на хвост променяешь змеи?

Откажись от ворон, если раз любовался павлином,
В сад иди, если раз был ты пеньем пленен соловьиным.

Розой дух Низами, осененный пророком, цветет,
Он над зарослью роз соловьем сладкозвучным поет.

ВОСХВАЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Ты, с чьей плотью пречистые души и те не сравнимы!
Дух твой кликом взлелеян: «Всю жизнь за тебя отдадим мы!»

Мира центр, над тобой милосердия зданье взнеслось,
Ты у слова «страданье» начальную точку унес.

Караванам арабским звездою ярчайшею самой
Ты в пустыне сияешь, ты — шах венценосцев Аджама.

Им не кажешь пути, и однако же ты их ведешь.
Не живешь ты в селенье,— селенья ты староста все ж.

Те, кто щедры, как ты,— коль захватят на зрелище снеди,
Есть не будут одни, если голодны рядом соседи.

Вдоволь фиников свежих вкусил ты,— со скатерти той
Ты принес ли и нам то, что гость забирает с собой?

О, разверзни уста, чтобы сахар отведать могли мы,
Кушать финики те, что твоею слюною живимы.

О, волос твоих ночь! В ней спасения день навсегда!
Запылает твой гнев,— это пламя — живая вода.

Перед ликом твоим мой смущением ум озадачен,
Но власы твои — цепи для тех, чей рассудок утрачен.

Стал рабом небосвод, и твой пояс на выю его,
Улыбается утро от солнца лица твоего.

Мир тобою спасен, во грехе пребывавший от века,
По твоей благодати священною сделалась Мекка.

Благовонному праху последним приютом дана,
Целиком благовонной арабская стала страна.

Чудодейственней прах твой, чем ветер царя Соломона.
Что скажу о садах? — лучше рая их злачное лоно.

Кааба, тот ковер, где Аллаху вознес ты хвалы,
Жаждет розовой влаги испить из твоей пиалы.

В этом мире твой трон, и твоя здесь сияет корона.
Небеса — твой венец, а земля — основание трона.

Тени нет у тебя, ибо сам ты — величия свет,
Света божьего отблеск,— иди же, препон тебе нет!

На четыре основы твое оперлось мусульманство,
Пять молений на дню — твоего ноубáты султанства.

Ты причина, что прах покрывают цветы и трава,
Ты причина, что спала с очей чужестранцев плева.

Не твои ли шаги, распустившею волосы ночью,
По небесному своду полу провлачили воочью,

И в полу небосвода и злато и жемчуг текут,
И рубаху небес залатал уже солнца лоскут.

Ветер утренний, вея, своею рукою пречистой
Растирает в жемчужнице утра состав твой душистый.

И повсюду, где веет тот ветер,— смятенья полна,
Амбры темная рать уж бросает свои знамена.

Если запах той амбры отдашь, согласившись на мену,
За два мира, то знай: ты назначил дешевую цену.

Дивен «лотос предела» — и им твой престол окаймлен,
А девятое небо — слуга, тебе ставящий трон.

Свет предвечности первый душе твоей влился в окопце,
Что девятое небо? — пылинка в сияющем солнце!

Если б зеркала круг не был утром предвечным воздет,
То на низменный прах не упал бы твой истинный свет.

Сливший в лоне два мира, лежишь ты, землею
покрытый,—
Ты не клад драгоценный,— зачем же таишься зарытый?

И такие сокровища в низменном прахе лежат!
Вот откуда обычай глубоко закапывать клад.

Эта бедность — руина, где клад твоей сути таится,
Тень твоя мотыльком на свечу твоей сути стремится.

Цель твоя — небосвод с дуговидным изгибом его,
Дужка горней бадьи — лишь веревка ведра твоего.

Двое — черный и белый,— что вечно по кругу стремятся,
Извещают тебя, что в дорогу пора подыматься.

Разум ищет здоровья, и врач исцеляющий — ты.
Диво, месяц пленившее, в небе блуждающий,— ты.

Ночь для чающих в день обрати всемогущим веленьем,
Озари Низами нескудеющим благоволеньем!

ВОСХВАЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Ты, с мединским плащом и мекканской вуалью! Доколе
Солнцу сути твоей укрываться во тьме и неволе?

Если месяц ты, дай нам хоть тоненький лучик любви!
Если розой расцвел, нас в божественный сад позови!

У заждавшихся срока уж губ достигает дыханье,
Мы взываем к тому, кто взывающих слышит воззванье.

Правь к Аджаму коня, расставайся с арабской страной,—
Ждет буланый дневной, наготове ночной вороной.

Этот мир обнови, о, устрой благомудро державу,
По обоим мирам ты разлей свою добрую славу.

Сам монеты чекань, чтоб эмир их чеканить не стал,
Сам молитвы читай, чтоб хатиб их читать перестал.

Прах твой лоно земли благовонием розы овеял,—
Только ветр лицемерья сегодня тот запах рассеял.

Отними ты подушку у тех, кому сладок покой,
Ты мимбар от нечистых священным обмывом омой.

Дэвы в дом забрались,— прогони же ты их, прогони же!
В зáкром небытия ниспровергни ты сонм их бесстыжий!

Им убавь содержанье,— и так набивают живот!
Отними их наделы — довольно им грабить народ!

Все мы — тело. О, будь нам душою, и станет светло нам.
Если мы муравьи, ты для нас окажись Соломоном.

Таковы их повадки: и делают в вере пролом,
И они же потайно в засаде сидят за углом.

Ты над стражею главный — а где каравану защита?
Ты начальствуешь центром — и знамя лишь в центре
развито?

Кликни праведным воинам клич боевой: «О Али!»,
Возгласи: «О Омар!», чтоб стопы Сатаны не прошли.

Ночь волос распусти вкруг сиянья луны, о владыка,
Из потемок плаща подыми ты сияние лика.

Препоясайся в бой,— малочисленны эти ханжи.
Вредоносной исламу, их клике конец положи!

Дней пятьсот пятьдесят мы проспали, проснуться нам
впору,
Близок мира конец, поспешай ко всеобщему сбору.

Из могилы восстань, прикажи Исрафилу задуть
Тех светильников пламя, что в небе свершают свой путь.

За завесою тайн в одиноком пребудь отрешенье.
Мы заснули давно — час настал твоего пробужденья.

Этот дом погибает, махни же рукой, отойди
От погибели дома,— но за руку нас поведи.

Все, что ты одобряешь, достойно всегда оправданья,
И никто на тебя наложить не намерен взысканья.

Если взором ты будешь глядеть благосклонным на нас,
Все, что нам на потребу, доставить ты сможешь тотчас.

Круг перстом обведи, указуя предел расстояньям,
Чтобы сущее все оказалось твоим достояньем.

Кто участвовать мог бы в вершимых тобою делах,
Чтоб помилован был уместившийся в горсточке прах?

Только занавес тайны рукой твоей будет откинут,
Власяницы свои оба мира совлечь не преминут.

Прежде мозг Низами о тебе был тоскою томим,—
Ныне вновь оживлен благовонным дыханьем твоим.

Верность в душу поэта вдохни в этом мире коварства
И его нищете подари Фаридуново царство.

ВОСХВАЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Ты в короне посланцев жемчужина выше сравненья!
Тем даруешь венцы, кто возвышен по праву рожденья.

Те, кто здесь рождены или в чуждых пределах живут,
В этом доме толпясь, твоего покровительства ждут.

Тот, кем бейт бытия был во имя посланника начат,
Знал, что имя его только рифмой конец обозначит.

Мир в развалинах был, но когда указанье пришло,
Вновь тобой и Адамом отстроено было село.

В воздвигаемом доме мы лучшей красы не встречали,
Чем последний кирпич и вода, налитая вначале.

Ты — Адам, ты и Ной, но превыше, чем тот и другой,
Им обоим тобою развязан был узел тугой.

Съел Адам то зерно, где исток первородного срама,
Но раскаянье слаще варенья из роз для Адама.

В покаянный цветник благовонье твое пролилось,
И лишь пыль твоей улицы — сахар Адамовых роз.

Лишь по воле твоей роз раскаянья сердце вкусило.
Так раскаялись розы, что сахаром их оросило.

Мяч покорности богу в предвечности был сотворен,
На ристалище сердца посланником брошен был он.

Был Адам новичком,— и, с човганом еще незнакомый,
Мяч он клюшкой повел, этой новой забавой влекомый.

Но когда его конь устремился пшеницу топтать,
Мяч пришлось ему бросить и в угол ристалища стать.

Ной живою водой был обрадован, мучась от жажды,—
Но изведал потоп, потому что ошибся однажды.

Колыбель Авраамова много ль смогла обрести? —
Полпути проплыла и три раза тонула в пути.

Лишь Давиду стеснило дыханье, он стал поневоле
Низким голосом петь, как певать не случалось дотоле.

Соломона был нрав безупречен, но царский удел
Лег пятном на него, и венца он носить не хотел.

Даже явное видеть Иосиф не мог из колодца,—
Лишь веревку с бадейкой, которой вода достается.

Хызр коня своего повернул от бесплодных дорог,
И полы его край в роднике животворном намок.

Увидал Моисей, что он чаши лишен послушанья,
И о гору «Явись мне» сосуд он разбил упованья.

Иисус был пророком, но был от зерна он далек,
А в пророческом доме не принят безотчий пророк.

Ты единственный смог небосвода создать начертанье,
Тень от клюшки один ты накинул на мяч послушанья.

На посланье — печать, на печати той буквы твои.
Завершилась хутба́ при твоем на земле бытии.

Встань и мир сотвори совершеннее неба намного,
Подвиг сам соверши, не надейся на творчество бога.

Твой ристалищный круг ограничен небесной чертой,
Шар земной на изгибину клюшки подцеплен тобой.

Прочь ничто удалилось, а бренность не вышла на поле,—
Так несись же, скачи — все твоей здесь покорствует воле!

Что есть бренность? Из чаши похитит ли воду твою?
Унести твою славу по силам ли небытию?

Ты заставь, чтоб стопа небытья в небытье и блуждала,
Чтобы бренности руку запястие бренности сжало.

Речь дыханьем твоим бессловесным дана существам,
Безнадежную страсть исцеляет оно, как бальзам.

Разум, вспомоществуем твоим вдохновенным уставом,
Спас нам судно души, погибавшее в море кровавом.

Обратимся к тебе, обратясь к девяти небесам,
Шестидневный нарцисс — украшенье твоим волосам.

Наподобье волос твоих мир всколыхнется широко,
Если волос единый падет с головы у пророка.

Ты умеешь прочесть то, чего не писало перо,
Ты умеешь узнать то, что мозга скрывает путро.

Не бывало, чтоб буквы писал ты своими перстами,
Но они никогда не стирались чужими перстами.

Все перстами сотрется, лишится своей позолоты,—
Только речи твои не доставили пальцам работы.

Стал лепешкою сладкою прах из-под двери твоей,
Улыбнулись фисташкою губы, кизила алей.

Хлеба горсть твоего на дороге любви, по барханам,
Это на́ сорок дней пропитанья — любви караванам.

Ясный день мой и утро спасенья везде и всегда!
Я у ног твоих прах, ибо ты мне — живая вода.

Прах от ног твоих — сад, где душа наполняется миром,
И гробница твоя для души моей сделалась миром.

Из-под ног твоих пылью глаза Низами насурьмлю,
И попону коня на плечо, как невольник, взвалю.

Над гробницей пророка, подобной душе беспорочной,
Поднимусь я, как ветер, и пылью осяду песочной.

Чтобы знатные люди из праха могли моего
Замешать галию и на голову вылить его.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ЦАРЯ ФАХРАДДИНА БАХРАМШАХА — СЫНА ДАУДА

Глава содержит восхваление Бахрамшаха, правителя города Эрзинджана в Малой Азии, и посвящение ему поэмы. Низами просит Бахрамшаха принять поэму благосклонно и наградить его за труд.

О ПОЛОЖЕНИИ И ДОСТОИНСТВЕ ЭТОЙ КНИГИ

Я, которым прославлена свежая роза моя,
В розах шахских садов распеваю звучней соловья.

Я дышу лишь тобой и все жарче, и все полновесней,
Словно в колокол, бью я своей призывающей песней.

Для напева слова́ мне никто бы не смел указать,
Говорю только то, что мне сердце велело сказать.

Необычные вещи сегодня показаны мною.
Новый очерк им создан, и каждая стала иною.

Много утренних зорь о премудром раздумывал я.
Из колдующих зорь ныне сшита завеса моя.

В ней высокий удел и покорное нищенство слиты,
И сокровища тайные этой завесой укрыты.

Этот сахар не видел слетевшихся мошек. Я мал,
Словно мошка, но все же я сахар чужой не сбирал.

Этот мир недоступным окажется даже для Ноя,
Даже Хызр свой кувшин разобьет у сего водопоя.

И, взыскуя прекрасного, нужных искал я примет.
Стал я жребий метать, и благой получил я ответ.

В двух краях засверкали две книги. В своей благодати
Два на них Бахрамшаха свои положили печати.

Книга первая — золото. Новый открылся рудник.
А вторая — жемчужина. Дар из пучины возник.

Та — для всех из Газны́ понесла свое знамя. Другая —
На румийском дирхеме чекан поместила, сверкая.

Хоть звенит звонким золотом прежний блестящий дирхем,
Мой дирхем золотой ты сравнить не сумеешь ни с чем.

Пусть моих караванов не так многочисленны вьюки,
Но сдаю свой товар я в прекрасные, в лучшие руки.

Вникни в книгу мою. Книга будто чужда и странна,
Но прими ее ласково. Близкою станет она.

В ней слова — что цветы насажденного правильно сада.
В ней одно лишь свое, ничего ей чужого не надо.

Для стола твоего эти яства готовились мной.
Их прими, государь, их никто не касался иной.

Коль они хороши, то да будет тебе в них услада,
Если нет, то и помнить о яствах подобных не надо.

Ты читай мою книгу, блистая меж звездных гостей,
Со стола своего ты мне кинь хоть немного костей.

Я ведь только твой пес, и расстался я с роком угрюмым,
Услужая тебе этим лаем покорным и шумом.

Мне немало владык благосклонно внимало, но я
Их оставил. Тебе предназначена служба моя.

Будет время, я знаю, на верного глянешь ты с верой.
И, приблизив меня, наградишь меня полною мерой.

Хоть в чертог, где живут только те, чьи сверкают венцы,
Для хвалений вседневных пришли отовсюду певцы.

Оценить Низами кто из них не сумел? Одиноко
Он стоит пред певцами, стоит перед ними высоко.

На стоянке одной повстречался я с ними в пути.
На один переход я их все же сумел обойти.

Мой язык — что алмаз. Этот меч мой,— тебе ведь он ведом.
Я им головы снес, всем за мной появившимся следом.

Этот меч Низами, многим головы сбросивший с плеч,
Не стареет. Ведь он — притупленья не знающий меч.

Хоть мне равных и нет и удел мой высок настоящим,
Но для ног Низами есть предел, еще выше стоящий.

Я к зениту лечу, хоть его и высоки сады,
Но вкушу я, быть может, своих помышлений плоды.

И, быть может, твоим благосклонным утешенный словом,
Возле ног твоих царских склонюсь я под царственным
кровом.

Чтоб достичь небосвода, за пыль твоих стоп ухвачусь.
До созвездий крутящихся как же еще я домчусь?

Быть с тобой два-три месяца так я хотел, чтоб хвалами
Твой порог осыпать. Но суровыми, злыми делами

Занят горестный мир; я в кольце, и заказан мне путь,
И тугое кольцо я не в силах сейчас разомкнуть.

Чтобы быть мне с тобой, чтобы встать мне у тронных
подножий,—
Мне казалось, о шах, из своей мог бы выйти я кожи.

Но хоть множество львов на дорогах предчувствовал я,
Хоть мечей и кинжалов сверкали везде лезвия,

На путях, преграждаемых злыми клинками,— с тобою
Пребываю душой. Утверждаю тебя я хутбою.

Направляю к тебе я бегущую воду речей.
Я — недвижный песок, словословья звенящий ручей.

Я — пылинка. Ты — солнца на утреннем небе явленье.
Я молюсь на заре. Да услышится это моленье!

Сердце — море. В нем жемчуг. Мой жемчуг сияет огнем.
Этот жемчуг — подвески на поясе царском твоем.

Ночь твоя пусть вовек ярче звездных блестит узорочий!
Пусть твои жемчуга озаряют течение ночи!

Пусть тебя в сей обители бедствий не мучает гнет!
Пусть другая обитель тебе еще ярче блеснет!

РЕЧЬ О ПРЕВОСХОДСТВЕ СЛОВА

В час, как начал надзвездный свои начертанья калам,
С первой буквы о слове он начал рассказывать нам.

В час, как с тайны предвечной упали тумана покровы,
Стало первым явленьем — сиянье великого слова.

Слово в сердце проникло, к неведомой жизни спеша.
В глину вольное тело вмесить пожелала душа.

И небесный калам, золотые сплетая узоры,
Мудрым словом раскрыл мировому познанию взоры.

Если б не было слова, то кто бы о мире сказал?
Всё сказали слова, был поток их речистый не мал.

В языке у любви слово — наша душа; это слово —
Сами мы, и оно — освещенье айвана любого.

Нити связанных мыслей, ночную развеявших мглу,
Много слов привязали к стремительной птицы крылу.

В том саду, над которым предвечные звезды повисли,
Что острее, чем слово толкующих тонкие мысли?

Ведай: слово — начало, и ведай, что слово — конец.
Многомудрое слово всегда почитает мудрец.

Венценосцы его венценосцем всевластным назвали.
Мудрецы же его доказательством ясным назвали.

И порою оно величавость дает знамена́м.
И порою его прихотливый рисует калам.

Но яснее знамен оно часто вещает победы,
И калама властней вражьим странам несет оно беды.

И хоть светлое слово не явит благой красоты
Почитателям праха, чьи праздные мысли пусты,—

Мы лишь в слове живем. Нас объемлет великое слово.
В нем бесследно сгореть наше сердце всечастно готово.

Те, что были как лед, засветили им пламенник свой,
А горящие души его усладились водой.

И оно всех селений отраднее в этом селенье,
И древней, чем лазурь, и, как небо, забыло о тленье.

С цветом выси подлунной и шири не сходно оно,
С языками, что слышатся в мире, не сходно оно.

Там, где слово свой стяг поднимает велением бога,
Там несчетны слова, языков там несчитанных много.

Коль не слово сучило бы нити души, то ответь,
Как могла бы душа этой мысли распутывать сеть?

Весь предел естества захватили при помощи слова.
Письмена шариата скрепили при помощи слова.

Наше слово таил вместе с золотом некий рудник.
Пред менялою слова он с этой добычей возник.

«Что ценней,— он спросил,— это ль золото, это ли слово?»
Тот сказал: «Это слово».— «Да, слово!» — промолвил он снова.

Все дороги — до слова. Весь путь неземной для него.
Кто все в мире найдет? Только слово достигнет всего.

Слов чекань серебро. Деньги — прах. Это ведаем все мы.
Лишь газель в тороках у блестящего слова — дирхемы.

Лишь оно на престол столько ясных представило прав.
И держава его всех земных полновластней держав.

Все о слове сказать наше сердце еще не готово.
Размышлений о слове вместить не сумело бы слово.

Пусть же славится слово, пока существует оно!
Пусть же всем, Низами, на тебя указует оно!

ПРЕВОСХОДСТВО РЕЧИ, НАНИЗАННОЙ В ДОЛЖНОМ ПОРЯДКЕ, ПЕРЕД РЕЧЬЮ, ПОДОБНОЙ РАССЫПАННЫМ ЖЕМЧУГАМ

Если россыпи слов, что размерной не тешат игрой
Те, что чтут жемчуга, жемчугами считают порой,

Тонких мыслей знаток должен знать, что усладою верной
Будет тонкая мысль, если взвешенной будет и мерной.

Те, что ведают рифмы, высоко влекущие речь,
Жемчуга двух миров могут к речи певучей привлечь.

Двух сокровищниц ключ,— достижений великих основа,—
Есть язык искушенных, умеющих взвешивать слово.

Тот, кто меру измыслил к напевам влекущую речь,
Предназначил искусным блаженство дающую речь.

Все певцы — соловьи голубого престола, и с ними
Кто сравнится, скажи? Нет, они не сравнимы с другими.

Трепеща в полыханье огня размышлений, они
Сонму духов крылатых становятся часто сродни.

Стихотворные речи — возвышенной тайны завеса —
Тень речений пророческих. Вникни! Полны они веса.

В том великом пространстве, где веет дыханье творца,
Светлый путь для пророка, а далее — он для певца.

Есть два друга у Друга, чья светлая сущность едина.
Все слова — скорлупа, а слова этих двух — сердцевина.

Каждый плод с их стола — ты приникнуть к нему
поспеши —
Он не только лишь слово, он часть вдохновенной души.

Это слово — душа. Клювом бренным ее исторгали.
Мысли полно оно. Зубы сердца его разжевали.

Ключ речений искусных не стал ли водою простой?
От певцов, что за хлеб разражаются речью пустой?

Но тому, для кого существует певучее слово,
Дан прекрасный дворец. Он приюта роскошней земного.

И к коленам своим наклоняющий голову — строг.
Не кладет головы он на каждый приветный порог.

Жарким сердцем горя, на колена чело он положит,
И два мира руками зажать он, как поясом, сможет.

Если он, размышляя, к коленам склоняет лицо,
Он в раздумье горячем собой образует кольцо.

И, свиваясь кольцом, в бездну вод повергает он душу,
И затем, трепеща, вновь ее он выносит на сушу.

То в кольце созерцанья горит он, спешит он,— и вот
Он вдевает кольцо даже в ухо твое, небосвод!

То в ларец бирюзовый — уменья его и не взвесить! —
Только шарик вложив, из него достает он их десять.

Конь, стрекаемый словом, уносит его к высотам;
Дух его замирает и сам приникает к устам.

Чтоб достичь рудника, где свои добывает он лалы,
Семь небес он пробьет, совершая свой путь небывалый.

Как согласных детей, он слова собирает,— и рад
Их к отцу привести. Их отец — им излюбленный лад.

Свод небесный идет, изгибаясь, к нему в услуженье;
Тяжкой службы тогда незнакомо певцу униженье.

И становится благом напев его дышащих слов,
И любовью становится множества он языков.

Тот, кто образ рождает и мчится за образом новым,
Будет вечно прельщаться его вдохновляющим словом.

Пусть его Муштари чародейств поэтических чтут.
Он подобен Зухре. Им повержен крылатый Харут.

Если речи поклажа для дерзостных станет добычей,
Речь унизят они; это всадников низких обычай.

Их набеги готовы мой разум разгневанный сжечь!
Украшатели речи лишают достоинства речь.

Сердца плод, что за душу певец предлагает победный,—
Разве это вода, что за пищу вручает нам бедный?

Уничтожь, небосвод, этот ряд нам ненужных узлов,
Препоясавших пояс! Щадить ли метателей слов?

Ты мизинцем ноги развязать каждый узел во власти.
Наши руки бессильны. Избавь нас от этой напасти!

Те, что ждут серебра, а за золото на смерть пойдут,—
Лишь одно серебро, а не золото людям несут.

Кто за деньги отдаст то, что светит светлее, чем пламень,
За сияющий жемчуг получит лишь тягостный камень.

Что еще о «премудрых»? Ну, что мне промолвить о них?
Хоть восходят высоко, они ведь пониже других.

Тот, носивший парчу, тот, кто шаху казался любезным,
Все же в час неизбежный куском подавился железным.

Тот, кто был серебром, тот, кто к золоту ртутью не льнул,
От железа Санджара — ведь он серебро! — ускользнул.

Речью созданный мед отдавать за бесценок не надо,
Не приманивай мошек. Для них ли вся эта услада!

Не проси. Ведь за верность без просьбы получишь дары.
Для молитвы в стихах нужно должной дождаться поры.

До поры, как Закон не почтит тебя благостным светом,
Не венчайся ты с песней. Смотри же, запомни об этом!

Возведет тебя песня на лотос предельных высот,
И над царствами мысли высоко тебя вознесет.

Коль Закон осенит твою песню высокою сенью,
В небесах Близнецы не твоей ли оденутся тенью?

Будет имя твое возвеличено. Ведает мир,
Что «владеющий ладом в эмирстве речений — эмир».

Небосводу не надо к тебе наклоняться. В угоду
Светлым звездам твой стих будет блеском сродни
небосводу.

С головою поникшей ты будь как подобье свечи.
Днем холодный всегда, пламенеющим будь ты в ночи.

Если мысль разгорится в движенье и жарком и верном,
Станет ход колеса, как движение неба, размерным.

Без поспешности жаркой свою облюбовывай речь,
Чтобы к выбору речи высокое небо привлечь.

Если в выборе медлишь и ждешь ты мучительно знанья,
Лучший лад обретешь ты: дадутся тебе указанья.

Каждый жемчуг на шею ты не надевай, погоди!
Лучший жемчуг, быть может, в своей ты отыщешь груди.

Взвивший знамя подобное — шар у дневного светила
Отобрал,— и луна, с ним играя, свой мяч упустила.

Хоть дыханье его не горело, не мчалось оно,
То, что создано им, все ж дыханьем горящим полно.

В вихре мыслей горя, он похитил — об этом ты ведай —
Все созвездья, хоть сам пристыжен будет этой победой.

Из крыла Гавриила коня он себе сотворил,
И перо-опахало вручил ему сам Исрафил.

Пусть посевов твоих злой урон от нашествия минет!
Пусть конца этой нити никто у тебя не отнимет!

Ведь с инжиром поднос стал ненужным для нас потому,
Что все птицы из сада мгновенно слетелись к нему.

Прямо в цель попадать мне стрелою певучей привычно.
На меня посмотрите. Творенье мое — необычно.

Мною келья стихам, как основа их мысли, дана.
Дал я песне раздумье. Приемных не знает она.

И дервиш и отшельник — мои не прельстительны ль
чары? —
Устремились ко мне. Не нужны им хырка и зуннары.

Я — закрытая роза: она в ожиданье, что вот
На ее лепестки ветерок благодатный дохнет.

Если речи моей развернется певучая сила —
То молва обо мне станет громче трубы Исрафила.

Все, что есть, все, что было, мои услыхавши слова,
Затрепещет в смятенье от властного их волшебства.

Я искусством своим удивлю и смущу чародея,
Обману я крылатых, колдующим словом владея.

Мне Гянджа — Вавилон, тот, которым погублен Харут.
Светлый дух мой — Зухра, та, чьи струны в лазури поют.

А Зухра есть Весы, потому-то мне взвешивать надо
Речь духовную. В этом от всех заблуждений ограда.

В чародействе дозволенном пью я рассветов багрец,
Вижу свиток Харута. Я новый Харута писец.

Я творю — Низами,— и своих я волшебств не нарушу.
Чародейством своим в песнопевца влагаю я душу.

О НАСТУПЛЕНИИ НОЧИ И ПОЗНАНИИ СЕРДЦА

Солнце бросило щит, и щитом черной тени земля
Пала на́ воду неба, прохладу ночную суля.

Сердце мира стеснилось. Светило так тяжко дышало.
Ниспаданье щита все вокруг с желтым цветом смешало.

И спеша войско солнца — его золотые лучи —
Над его головою свои обнажило мечи.

Если падает бык, хоть он был ожерельем украшен,
Все клинки обнажают. Ведь он уже больше не страшен.

Месяц — нежный младенец — за ночь ухватился, а та
Погремушку мерцаний пред ним подняла неспроста:

Ей самой был тревожен сгустившийся мрак, и для мира
Не жалела она серебро своего эликсира.

И дыханьем Исы стал простор благовонный, земной;
Светлой влагой он залил пылание страсти ночной.

И смягчились настоем страдания мира больного,
И о сумраке страстном он больше не молвил ни слова.

Сколько крови он пролил! О, сколько ее он хранил!
Он простерся на ложе, и стал он чернее чернил.

И сказала судьба, все окинувши взором проворным:
«Мир с неверными схож, потому-то и сделался черным!»

И мгновение каждое эта ночная пора
Лицедейство творила, и кукол мелькала игра.

И луна то белела, то в розах подобилась чуду,
И Зухры яркий бубен дирхемы разбрасывал всюду.

* * *

Я в полуночной мгле, что была распростерта кругом,
Был в саду соловьем. Но мечтал я о саде другом.

С кровью сердца сливал я звучание каждого слова;
Жар души раздувал я под сенью полночного крова.

И, прислушавшись к слову, свою я оценивал речь,
И смогли мои мысли меня к этой книге привлечь.

И услышал я голос: «Ты с мыслями спорить не смеешь,
То́ возьми ты взаймы, что отдать ты бесспорно сумеешь.

Почему на огонь льешь ты воду приманчивых дней,
И запасный твой конь — буйный ветер мгновенных
страстей?

Буйный прах позабудь, будто в мире узнал он кончину.
Но огонь ты отдай огневому, благому рубину.

Быстрых стрел не мечи, ведь сужденье разумное — цель.
Плеть свою придержи. Неужель бить себя, неужель?

Но настала пора. Оставаться нельзя неправдивым.
К двери солнца приди водоносом с живительным дивом.

Пусть твой синий кувшин наши взоры утешит сполна;
Пусть он повесть хранит, и да будет отрадна она!

От пяти своих чувств, от злодеев своих убегая,
Путь у сердца узнай; иль не знать ему нужного края?»

Тем, чье чистое племя к девятому небу пришло,
Гавриила пресветлого дивное веет крыло.

От обоих миров отвратить поспешивший поводья,
Встретив нищенство сердца, благие увидит угодья.

«Сердце — глина с водой». Если б истина в этом была,
Ты бы сердце такое у каждого встретил осла.

Дышит все, что живет, что овеяно солнечным светом.
Будь же сердцем горяч; бытие твое только лишь в этом.

Что есть уши и очи? Излишек природы они.
Слышат шорох завес, видят синие своды они.

Правды — ухо не слышит, как розы тугой сердцевина,
Очи разум смущают, они — заблуждений причина.

Что же розы с нарциссами чтишь ты в саду бытия?
Пусть каленым железом сжигает их воля твоя.

Словно зеркало — глаз: отразится в нем каждый ничтожный.
Он лишь в юности тешится мира отрадою ложной.

Знай: природа, что миру твой сватает разум,— должна
Сорок лет ожидать. Денег раньше не сыщет она.

Все же за сорок лет, чтобы стать пред желанным порогом,
Много денег она разбросает по многим дорогам.

Ныне друга зови. Заклинанья иные забудь.
Сорок лет подойдет, и тогда лишь всезнающим будь.

Руки сердца простри и гляди с ожиданием в да́ли.
Пусть разделит печаль тот, кто будет опорой в печали.

Не грусти! Вот и друг; он твою разделяет печаль.
Грусти шею сверни. Вместе с другом к отрадам причаль.

Распростертый в печали, подобной томленью недуга,
Помощь добрую сыщешь ты в помощи доброго друга.

Если дружат друзья так, что будто бы дышат одним,
Сто печалей, умчась, никогда не воротятся к ним.

Только первое утро забрезжит мерцающим светом,
Крикнет утро второе и звезды погасит при этом.

Знаем, первое утро не будет предшествовать дню,
Если дружба второго его не поможет огню.

Коль один ты не справишься с трудностью трудного дела,
Тотчас друга зови, чтобы дружба о нем порадела.

Хоть не каждый наш город богат, как блистательный Хар,—
Каждый найденный друг — небесами ниспосланный дар.

Нужен каждому друг; с ним пойдешь ты в любую дорогу.
Лучший друг — это друг, что приходит к тебе на подмогу.

Два-три чувства твои не премудры; они не друзья;
Их кольцом ты стучишь только в дверь своего бытия.

Руки вдень в торока устремленного сердца! Отрада
Быть добычею сердца. Ему покоряйся. Так надо.

Царь девятого неба к тебе нисходящий в тиши,
Создал видимый мир, создал светлое царство души.

Следом души людей были созданы миром нездешним,
И души устремленье смешал он с обличием внешним.

Эти двое обнявшихся создали сердце. Оно
На земле воцарилось. Так было ему суждено.

И дано ему царством великим владеть, повсеместным.
И телесное все сочетается в нем с бестелесным.

Не Канопом ли сердца людской озаряется лик?
Облик наш, как душа, повелением сердца возник.

Лишь я стал размышлять о пылающем сердце, мой разум
Принял масло в свой пламенник. Многое понял он разом.

Дал я слуху веленье: «Прислушайся к сердцу! Спеши!»
Сделал душу свою я открытой веленьям души.

Красноречье свое напитал я возвышенным знаньем.
В душу радость вошла, а томление стало преданьем.

И взирал я не холодно. Стал я по-новому зряч.
Пламя сердца пылало, затем-то и был я горяч.

Узы сбросил я с рук. О земном я не думал нимало.
Возросла моя мощь, а грабителей сердца не стало.

Бег мой сделался быстрым, никто не поспорил бы с ним.
К двери сердца спеша я пришел переходом одним.

Я направился к сердцу, мой дух — по дороге к исходу.
Полдень жизни прошел. Жаждал этого год я от году.

Я в священной максуре, и я размышляю. Мой стан
Изогнулся, стал шаром, а был он похож на човган.

Где тут шар, где човган, где пределы согнутого стана?
Вот кафтана пола, а прижался к ней ворот кафтана.

Из чела сделав ноги, я голову сделал из ног.
Стал я гнутым човганом, и шаром казаться я мог.

Сам себя позабыв, покидал я себя все охотней.
Сотня стала одним, и одно мог увидеть я сотней.

Смутны чувства мои. Я один. Отправляюсь я в путь.
Мне чужбина горька; одиночеством сдавлена грудь.

Мне неясен мой путь, где-то нужная скрылась дорога.
Возвращенья мне нет, и благого не вижу порога.

И в священном пути застывала от ужаса кровь,
Но, как зоркий начальник, поводья схватила любовь.

Стукнул в дверь. Услыхал: «Кто пришел в этот час
неурочный?» —
«Человек. Отопри! Я любовью ведом непорочной».

Те, что шли впереди, отстранили завесу. Они
Отстранили мой облик. Все внешнее было в тени.

И затем из большого, в богатом убранстве, чертога
Раздалось: «Низами, ты пришел! Что же ждешь у порога?»

Я был избран из многих. Мне дверь растворили, и вот
Голос молвил: «Войди!» Миновал я разубранный вход.

Был я в свете лампад, был я в блеске большого покоя.
Глаз дурной да не тронет сиянье такого покоя!

Семь халифов блистали под ярким лампадным огнем,
Словно семь повестей, заключенных в сказанье одном.

Царство больше небес! Царство властного мощного шаха!
Как богат дивный прах — подчиненный столь дивного
праха!

Вот в селенье дыханья — вдыханье. На царственный трон
Царь полудня воссел: управлял всеми властными он.

Красный всадник пред ним ожидал приказанья, а следом
Прибыл в светлой кабе некий воин, готовый к победам.

Горевал некий отрок, разведчик, пред царственным стоя,
Ниже черный стоял, пожиратель любого отстоя.

Был тут мастер засады, умело державший аркан,
И, в броне серебра, чей-то бронзовый виделся стан.

Были мошками все. Быть свечой только сердцу дано.
Все рассеяны были, но собранным было оно.

И свой отдал поклон я владыке прекрасному — сердцу.
Душу отдал свою я султану всевластному — сердцу.

Взял я знамя воителей жаркого сердца, и лик
Я от мира отвел: новый мир предо мною возник.

И сказало мне сердце: «Ты сердце обязан прославить.
Дух твой, птицам подобный, гнездо свое должен оставить.

Я — огонь. Все иное считай только дымом и сном.
Соль во мне лишь. Нету соли во всем остальном.

Я сильней кипариса с его многомощною тенью.
И над каждой ступенью вздымаюсь я новой ступенью.

Я — сверкающий клад, но Каруну не блещет мой свет.
Вне тебя не дышу, и в тебе я не кроюсь, о нет!»

Так сказало оно. И словес моих бедная птица
Позабыла о крыльях. Пришла ей пора устыдиться.

И в стыде, преклоненный, руками закрыл я лицо,
И в учтивости в ухо я рабское принял кольцо.

Благ, кто сердцем владеет. И вот я опять, как бывало,
Услыхал: «Низами!» Это небо меня прославляло.

Быть подвижником стойким — удел моего бытия.
И, склонясь перед властным, подвижником сделался я.

ПЕРВОЕ ТАЙНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ (О ВОСПИТАНИИ СЕРДЦА)

И наставник высокий, как будто смирял он коня,
От узлов девяти был намерен избавить меня.

Эти девять узлов он решил отстранять понемногу.
На веревки конец он поставил уверенно ногу,

Чтоб узлы перебрать,— все узлы, что достойны хулы,—
И тогда он с веревки последние срежет узлы.

И владеющий сердцем, в желанье высоком, едином
Мне на помощь прийти,— стал отныне моим господином.

В двух обширных мирах начал он мне указывать путь,
Захотел потому-то он в душу мою заглянуть.

Хоть от нас он достойного часто не видит вниманья,
Все же нас никогда своего не лишит состраданья.

Если я, недостойный, почтительность мог позабыть,
Научил он меня неизменно почтительным быть.

От подобного мне не пустился он в бегство. О новом
Он беседовать стал. Бедный прах удостоил он словом.

Из колодца, из мрака он вызволил душу мою,
Словно спас он Иосифа в чуждом, далеком краю.

Погасили огни многозоркой, внимательной ночи,
И чуть видной зари раскрывались блестящие очи.

Поднимался светильник, и яркого ждали огня,
И сапфирный покров стал багряным предвестником дня.

Взял наставник лампаду — мерцала отрадно лампада,—
Дал мне руку, и вот мы направились к зарослям сада.

Из полы моей тотчас он вынул колючки иглу,
И несчетные розы в мою набросал он полу.

Я смеялся, как рот приоткрытый тюльпана; с размаху,
Словно роза, в восторге свою разорвал я рубаху.

Был я крепким вином из прекрасных пурпуровых роз.
Был затянут мой пояс, как пояс затянутых роз.

Я вину был подобен, вину, что отрадно кипело;
Я был розой, чья радость найти не умела предела.

Я меж роз пробирался, спешил я, спешил я туда,
Где меж веток и листьев, журча, зарождалась вода.

И лишь только Любовь добралась до прекрасного края,
Там, где веяла верность, благой аромат разливая,

Дуновенье любимой в речениях, полных красы,
Оживило мне душу, подобно дыханью Исы.

И мой конь побежал непоспешным, умеренным бегом,
Ветерков предрассветных предавшись прельстительным
негам.

Я услышал: «Кичливый, с коня ты сойди своего,
Иль я тотчас тебя увезу из тебя самого».

Я, подобный ладье, уносимой поспешной рекою,
Внемля веянью рая, пришел к золотому покою.

И, поток увидавши, немедля сошел я с коня.
И направился к берегу. Жажда томила меня.

Был поток, словно свет, знать, вовеки не ведал он бури.
Сновидения Хызра не знали подобной лазури.

И как будто во сне, вдоль жасминных он тек берегов;
И дремали нарциссы, усеяв прибрежный покров.

Этот край был причастен лазури небесного края;
Перед амброю здешней склонялось дыхание рая.

И ползучие розы — услада отрадных долин —
Высоко поднимались, порой обвивая жасмин.

Этим розам свой мускус охотно вручили газели,
А лисицы — свой мех, чтоб колючки колоться не смели.

Свежий ветер склонил над прекрасною розой главу.
Молодая газель возле розы щипала траву.

Златоцветы слились; на своем протяженье немалом
Они стали для амбры большим золотым опахалом.

Зелень тешила взоры, ведь взоры в ней радость берут.
Травы змей ослепляли: всегда их слепит изумруд.

Всюду розы с жасмином для мыслей засаду сплетали.
Соловьи с сотней горлинок рифмы по саду сплетали.

Однодневная лилия — счастье для местности сей —
Подняла свою длань, будто поднял ее Моисей.

Дикий голубь лесной, что воркует всегда на рассвете,
Увидал, что вся высь в голубином раскинулась цвете.

На листке черной ивы рукою надежд ветерок
Описать прелесть розы в душистом послании смог.

И всему цветнику приносила весна благодарность.
Розы никли к шипам: ведь за мягкость нужна
благодарность.

Был жасмин словно тюрок; шатром разукрасил он сад.
Над шатром полумесяц вознес он до самых Плеяд.

Сердцевины тюльпанов — индусского храма эрпаты,
Все тюльпаны в молитве великою тайной объяты.

Воды белкой казались, и были они — горностай.
Горностай рядом с белкой — отрадою взора считай.

Ветви сада из света, что слали небесные дали,
У подножий деревьев на землю дирхемы бросали.

Пятна света в тени — золотого сиянья уста,
И песок славословил прекрасные эти места.

Гиацинта лобзанья терзают фиалку; а к розам
Льнут колючки, и розы внимают их нежным угрозам.

В златоцвета колчане не сыщется колющих стрел;
Но щитом золотым все ж прикрыть он себя захотел.

Заколдована ива, дрожит, но тюльпана кадило
В дым ее облекло: чародейство оно проследило.

Весь цветник трепетал, и казалось, вот-вот улетит;
И казалось, жасмин в легком ветре куда-то спешит.

И поднялся тростник, раздавать сладкий сахар готовый;
Желтый конь лозняка,— будто в кровь опустил он подковы.

Дальше дикая роза — нам спеси ее не пресечь —
С пролетающим ветром вела торопливую речь.

Стал небесный простор зеленее листка померанца.
В этот миг захотела рассвета рука померанца.

Разукрасил свой стяг небосвод бирюзовый, но тут
С ним решил состязаться прекрасной земли изумруд.

Каждый узел ковра, что земля распростерла для пира,
Был душою земли, был и сердцем надземного мира.

Будто в свете рассвета, промолвила счастья звезда,
Наклоняясь к земле: «Будь всегда молодою! Всегда!»

Или небо велело сойти своему изумруду
Не к кораллам зари, а к земли воскрешенному чуду?

Весь источник сверкал, взоров гурий являл он привет.
Из источника солнца добыл он сверкающий свет.

И прибрежные травы сверкпили свои омовенья
С благодарной молитвой за светлые эти мгновенья.

Птице в веянье розы печаль Соломона слышна,
И Давидову песню, грустя, затянула она.

На ветвях кипариса за раною новая рана:
Их когтит куропатка за смерть золотого фазана.

Сад указ разгласил, пожелапий своих не тая:
«Да убьет злого ворона сладкий напев соловья».

Совы скрылись; ну что же, ведь это их рок обычайный.
Знать, погибли за то, что владели опасною тайной.

Веял мягкий Сухейль на зеленый раскинутый стан;
И земля — не шагрень; вся земля — это мягкий сафьян.

Встретить утро спеша, был тюльпан преисполнен горенья.
Сердце тяжко забилось: приводит к беде нетерпенье.

Тень ветвистой чинары, влюбленная в стройный тюльпан,
Длань к нему протянула: ей дар врачевания дан.

Лепесточек жасмина, похожий на месяца ноготь,
Ноготь ночи унес, целый мир захотел он растрогать.

Появился Иосиф, небес позлащая предел.
В подбородке жасмина он ямку с высот разглядел.

Как еврей, вся земля в ярко-желтом касабе. Белея,
Заблестела вода, как блестящая длань Моисея.

И земля вместе с влагой составила снадобье. Мгла
Благодатной земле все добытое вновь отдала.

Свет, разросшись, велел ветру свежему снова и снова
Тень деревьев гонять по смарагдам земного покрова.

Тени! Солнца уста! Был и слитен узор и красив,
И расчесывал ветер прекрасные волосы ив.

И поспешные тени мгновенно сменялись лучами,
И лужайки, смеясь, их своими ловили ключами.

Я к алоэ стремился, к нему-то и мчался мой конь.
Стал душистой курильницей пурпурной розы огонь.

Соловью стала роза зеленой мечети мимбаром,
Стал фиалковый пояс для розы пленительным даром.

Птица с песней Давида — всем сердцем ее восприми!
Роза с речью прекрасней речей самого Низами.

ПЛОД ПЕРВОГО ТАЙНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ

Ветер смел покрывало, что мой прикрывало рассказ.
Сердце встретило розу, чей облик — отрада для глаз.

Видит сердце мое, видит розу с улыбкою сладкой;
Сахар с розой она победила мгновенною схваткой.

И в смятенье был месяц, узрев этот белый касаб.
С этим блеском бороться? Для этого слишком он слаб.

Ниспаданием локонов скрыта ее поясница.
Как прельстительна вся! Лишь во сне это может
присниться.

Тот, что узрит ее, не удержит восторженных слез.
Сколько слез пролилось из-за столь восхитительных роз!

В ней и сахар и соль. Хоть красавиц на свете немало,
Для красавиц других больше сахара в мире не стало.

Ей пленять опьяненных, как свежему саду, дано.
Опьянит и отшельников крепкое это вино.

Алый рот — табархун; он багрянцем нежданным и смелым
Оттенил белый сахар. Пленен был он сахаром белым.

О тростник, полный сахара, розе пославший привет!
О сухой леденец! О душистый и влажный шербет!

И душа на алоэ, на родинку нежно взирала.
Амбру с мускусом родинка в ракушке дня растирала.

И, завидуя прелести свежей такого пятна,
Темных пятен узор для себя сотворила луна.

Жарче солнца всю душу сжигали блестящие очи.
Не луной — лалом уст озарялось все таинство ночи.

К ней обозы сердец на фарсанги тянулись, но путь
Был что рот ее узкий. Кто к розе сумел бы прильнуть?

Растерзать все сердца эта роза была бы во власти.
И утратил я сердце, и сердце распалось на части.

Рот прекрасной — что речь, и улыбка — вот сахар его.
Лик подобен молитве, а в черных глазах колдовство.

Этот пурпурный рот — словно ларчик таимых жемчужин.
Все же он приоткрыт; для беседы он также ведь нужен!

И любовь поглядела на ларчик, на жемчуг, на взор,
И для дел лицедейства спеша расстелила ковер.

Облик, зримый для глаз, снять с меня вмиг она захотела,
И на шее души узелочек распутала тела.

И, казалось, во мне человеческих не было сил,
И воды бытия для себя я уже не просил.

Колдовавший мой разум увидел возникшего Дива.
«Заковать бы его!» — пожелал я, исполнен порыва.

Сердце страстью горело, печалям глубоким грозя,
Но источник сиянья ведь глиной замазать нельзя?

Да, лишь только печаль над печалью склоняется нашей.
Исцеляют хмельных только новою винною чашей.

Что ты морщишь свой лоб? Ты на мне видишь множество ран?
Но ведь ты не проведал, что сад мне живительный дан.

Сад мне небом вручен, а тепло его— блещущим оком.
Был мне розой рассвет, были слезы — отрадным потоком.

И, укрытый за тканью меня окружавших завес,
Был мне подлинным другом. Он послан был волей небес.

Многодневно чело на свои опускал я колени,
Чтобы нить путеводная злые рассеяла тени.

И теперь я пошел по прямому, благому пути.
Друг мой, следуй за мною, за мною ты должен идти.

Ты не избран вести. Нужен опыт вседневный, богатый.
Все доверь Низами,— это опытный, верный вожатый.

ВТОРОЕ ТАЙНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ (О НОЧНОМ НАСЛАЖДЕНИИ)

Повелитель сердец начал пиршество в некую ночь;
Побеседовать с равными был он в ту пору не прочь.

Ночь сияла зарей, и на небе мерцали Плеяды.
И к молитвам отзывчивой скоро достиг он услады.

И собрания прелесть был бы всем вёснам в упрек.
И услада была неизбежна, как благостный рок.

Ароматы курильниц в оконца дыхание бросив,
Говорили о ткани, вещавшей, что прибыл Иосиф.

Ночь велела уйти всем отрядам охранных частей
И всех мошек смела. Да ничто не тревожит гостей!

Как за тканью узорной напевы звучали — о диво!
Знатоки песнопений, дивясь, восклицали: «О диво!»

Руки кравчих в шелках. Блещет золотом каждый кувшин.
И в жемчужные чаши расплавленный льется рубин.

Гасла печень, сгорая, и гасли светильники ночи.
Пламень сердца пылал, словно пламени рдяные очи.

И на плоских курильницах, блеском ласкающих взгляд,
Аромат создал сладкое, сладкое жгло аромат.

Сахар с розой в сосудах творил животворные чары.
Свет свечей, колыхаясь, бросал золотые динары.

Было там и вино, что нас тешит и гасит печаль,
Рот и очи любимой и сахар несли и миндаль.

Рот и очи смеялись. И счастьем любовным и ликом
Восхищалась Зухра, предаваясь беседе с Маррихом.

Обещанья любовные слышал влюбленный, и смех
Стал сбирать с милых уст подаянье полночных утех.

Леопарду подобная, мускус душистый газели
Вниз бросает Зухра. Косы черные льва одолели.

Друг схватил ее ворот, его драгоценный рукав
Бросил искры каменьев, к пленительной шее припав.

Словно кравчий — свеча. Пламень — чаша. И кружится пьяный
Мотылек, и вином уже залиты все дастарханы.

Сна не стало, о нет, он сгорел, как сгорел мотылек.
И свеча благодарна, и клонит она фитилек.

И Зухра, запылав и созвучий предавшись усладам,
Жадный слух веселила стремительным, радостным ладом.

Два мышленья друг другу давали мгновенный ответ,
Брал светильник, светя, у другого светильника свет.

То, что многим давало медлительной жизни теченье,
Другом другу дарилось в одно золотое мгновенье.

Посылали дары — ведь восторга нельзя превозмочь! —
Сердце — сердцу, дух — духу и плоти влюбленная плоть.

Иль из пышных чертогов, которые к пиршеству звали,
Все, в чем нет бытия, за предел бытия побросали?

Птица радости ввысь полетела с отрадным письмом,
Чтоб Зухры благодатной обрадовать радостный дом.

Пламень птицы рассвета, попавшей на вертел, прохладу
Даровал двум влюбленным, смиряя разлуки досаду.

Словно петел погибший, был скрытый рассвет недвижим.
Месяц был полонен, и застыл свод небесный над ним.

В дверь кольцом не стучали. Чужой! О, да будет далек он!
Обвивал шею милого нежной красавицы локон.

Что дверное кольцо, хоть мало оно очень? Смотри:
Меньше перстня обычного стала душа Муштари.

Те, что схожи с перй, те, что будто назначены негам,
Все свободные души сломить порешили набегом.

Средь жасминов и роз, чтобы души попадали ниц,
Все колючки они заменили шипами ресниц.

О плоды! Ведь сердца не вкушали столь сладких ни разу.
Млели души. Перй не подобны ли гибкому вязу?

Сладкий рот что орешек! И взоров миндаль. И предлог
Для лобзанья — фисташка, и нежный над нею пушок!

В ночь, что слаще пушка, волхвовали: колдун Вавилона —
Черный взор, да индус — прелесть родинки. Бойся полона!

Ведь от родинки черной, от взоров, таящих обман,
Вся земля — Вавилон и любая страна — Индостан!

Взгляд ответил на взгляды, и сердце в решении скором
В путь священный пошло, чтоб склониться пред
блещущим взором.

Но язык быстрых взоров опасней был множества стрел,
Кудри были запутанней всех человеческих дел.

Каждый взгляд был как лучник, влюбленный, и нежный,
и смелый.
Тяжко сердце разили еще не летящие стрелы.

Не дыханье ль Исы оживляло сердца? И могуч
Из комков красной глины бежал воскрешающий ключ.

Запах роз и жасмина струился влюбленным в угоду,
И попона служенья легла на плечо небосводу.

Сахар сладких ланит... миндали рассыпающий лал...
О, какой сладкий сахар на лике прекрасном лежал!

Каждый взгляд открывал в целый мир неожиданно
дверцу.
В каждой черной реснице был храм, предназначенный
сердцу.

Был у белой щеки черный локон безмерно красив!
Словно мускус лежал на серебряных листиках ив.

Подбородок округлый был с нежною ямкой. Но что же
Ты сравнил бы с лицом? На него только солнце похоже.

Авраамовы кудри — к светилу приникли они.
Исмаила глаза, а ресницы — кинжалам сродни.

Но ресницы чаруют, и милая блещущим ликом
Все сердца опьяняет: душистым он стал базиликом.

Поцелуи томят, убивают. Ну что ж? Ведь уста,
Как Иса, воскресят — чаша жизни не будет пуста.

Капли пота на розе влюбленного радуют взгляды.
Это — жатва луны, и блестят они, словно Плеяды.

Растворилась калитка на вороте гурии. Свет,
Что нежнее зари, нежным взорам направил привет.

Каждый муж многоопытный, каждый бездумный,
немудрый
Обезумел от света, что бросил кумир чернокудрый.

Говорили глаза, коль смолкала усталая речь;
Им хотелось уста от их связанной речи отвлечь.

Золотое вино в светлой чаше — нарцисс. Ароматом
Все оно заполняло в чертоге большом и богатом.

Разум быстро хмелел. Круг за кругом прошел он,
и вдруг
Все терпенье, увы, у него ускользнуло из рук.

Все уста пировавших полны были только лишь смеха.
Было трудно вздохнуть... бесконечная длилась утеха.

Не смиренным найти в этих звуках источник услад.
Только буйным звучал этой песни возвышенный лад.

И сумел этот лад в полнозвучном и мерном рассказе
О Махмуде сказать и сказать о прекрасном Аязе.

И стихи Низами разбросали и сахар и хмель,
Воспевая перй, за газелью поющих газель.

ПЛОД ВТОРОГО ТАЙНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ

Жизни той, что цвела на разостланном богом ковре,
Вновь не стало. Смотри: сколько смен в этой вечной игре!

Ухо сердцу писало о всем, что даровано слуху.
Взор склонялся к земле, всем явлениям близкий по духу.

Сахар сладость утратил от смеха тюрчанок, а глаз
Горячее сверкал, видя гурий, настроивших саз.

И мой тюрок,— мой месяц в касабе сверкающем белом
Разорвал мое сердце набегом внезапным и смелым.

Полумесяц, на темень махнувший с презреньем рукой,
Нам бессменно сиял, осветив наш отрадный покой.

Если взор ее быстрый во взор мой кидался с размаху,
Вся душа, преклоняясь, мгновенно подобилась праху.

Так светила она, что свеча истекала в слезах,
А светильник мигал и от горестной зависти чах.

Пусть чияила она мне любую обиду, я в этом
Видел только лишь благо, и ночи казались мне светом.

И она предо мною сияла прибрежным цветком,
Я, смиренно склонясь, расстилался пред ней ручейком.

Но в те ночи с любимой, лобзанья вкушая с ней вместе,
Словно фиников сладость, не внял я таинственной вести.

Я не ведал, что месяц, которого сладостней нет,
Тайный месяц скрывал,— тот, который воистину свет.

Был влюблен я в себя, но любим был я месяцем дальным.
Он грустил обо мне, но меня заставал беспечальным.

Сердце в страсти шептало: «О, если бы пламенный день
Нашей ночи не сжег, не спугнул ее сладкую тень!»

Но ведь ночи мои не сулили покоя. С испугом
Вдаль гляжу: в Судный день их сочту ли ходатаем, другом?

Жду я ночи, сияющей в солнечном, в дивном огне!
Но желанная ночь мне не видится даже во сне.

Лишь в подобную ночь мне была бы доступна отрада.
Я возжаждал ее, и других мне ночей уж не надо.

И шепчу я: «Господь, ты мне все помоги превозмочь,
Лишь бы только увидел я эту горящую ночь!»

Эта ночь — озаренье, над тягостной тьмою победа,
Эта ночь — словно ночь для надзвездных путей
Мухаммеда.

Чтобы яхонт добыть, месяц роет небесный рудник;
Дивной ночи желая, к кирке он с упорством приник.

День, что только и дышит своей неприязнию к ночи,
Также к ночи благой устремляет горящие очи.

Я проснулся, и солнце, свой меч на дороге зари
Поднимая, промолвило: «Небо, мне дверь отвори!»

И от пламени солнца, узрев эти рдяные розы,
На айвана ковер пролил я бесконечные слезы.

В небе облако встало. Омыло оно с высоты
Ткань, скрывавшую солнце,— душистых деревьев листы.

В голубом водоеме, запруженном солнцем, кувшины
Мы разбили б свои, уцелеть бы не смог ни единый.

Небосвод, полный звезд, отказался от их серебра,
Молвив: «Чистого золота уж наступила пора!»

Утро быстро проснулось и в свете сверкающем, алом
Вслед кровавой заре побежало с блестящим кинжалом.

Битвы с ним я страшился. Я тотчас же бросил свой щит,
Сделав душу щитом. Злое утро смертельно разит.

Перепрыгнув ручей, на мою оно душу напало,
И ночной звездный мост предо мною оно разломало.

И зажглось мое сердце, и так закричало, горя:
«Разве ты — отомщенье? Иль ты — воздаянье, заря?

Знал я много услад, видел нежные очи, бывало,
Я лампады имел, озарявшие ночи, бывало.

Но те ночи ушли, тех лампад мне не видится свет;
Их как будто бы не было, нет их уж более, нет!

Так ужаль мою грудь, ты, мне бывшая сладким напитком,
Ты, что нежила сердце, предай меня сладостным пыткам.

На несветлого сердцем направь свой безжалостный меч,
Ведь того, кто сожжен, без труда можно пламенем жечь!»

Так не мог удержать я ни горького плача, ни стона,
И кровавые слезы заря полила с небосклона.

И сгорел светлый день от моей беспросветной тоски.
Ключ светила замерз, и холодные сжал я виски.

Но хоть яд я вкушал, небеса мои ведали муки,
И ночная змея светлый камень мне бросила в руки.

И когда растворился я в светлом сиянье зари,
Я забыл обо всем и услышал: «Душой воспари!»

Те, чьи взоры могли многоцветной достичь колыбели,
Света больше, чем зори, принять в свои души сумели.

Как бесславны твои беспросветные ночи! Огнем
Им гореть со стыда перед новым ликующим днем.

Я постиг эту ночь, я постиг этой ночи призванье,
Мне в моем постиженье мое помогало познанье.

Ткань завесы безмолвия! Мир одиночества — ночь!
А свеча — наше зренье. Нам сумрак дано превозмочь.

Розы страстных ночей, их душистый джуляб и алоэ —
Многих раненных в сердце беда и мучение злое.

То, что благом ты счел, то, чему оказал ты почет,—
Было только преддверьем той ночи, которая ждет.

Кто во тьме, что чернее, чем негр, провлачил свои годы,
Ржою тот изъязвлен, все нутро ему съели невзгоды.

Но зарей, что к свече так влеклась, как любой мотылек,
Свет свечи заблестел, и к прозренью меня он повлек.

Так возьми же свечу, хоть она угрожает ожогом.
Светоч взял Низами. Этот светоч вещает о многом.

РЕЧЬ ПЕРВАЯ—О СОТВОРЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

До поры, как любовь не явила дыханье свое,
В бездне небытия не могло засиять бытие.

Но счастливец великий в своей непостижной отчизне
Захотел бытия, и завесы раздвинул он жизни.

Он был сыном последним воздушных, летучих пери́,
Первым сыном людским в озарении первой зари.

Получил он от неба халифства величье, но следом
Свой утратил он стяг. После снова пришел он к победам.

«Он творцом был научен». О, сколько в нем чистого есть!
«Бог месил его глину». Какая безмерная честь!

Он и чистый и мутный, хоть золото в нем засияло,
Он и камень для пробы, и он же — пытливый меняла.

Он — любимец крылатых, смутивший их райский покой.
Со щеками в пушке, этот юноша — образ людской.

Взять опястье Адама! Для каждой души это — счастье!
На запястье ему семь небес ниспослали опястье.

Две больших колыбели Адама баюкать могли:
В нем все помыслы неба и все помышленья земли.

В сорок дней он дитя; мир познанья младенцу не дорог.
Он — великий мудрец, если лет ему минуло сорок.

Он предвестник любви, он, любовь порождая, возник.
Он, как розовый куст благодатного рая, возник.

Это — взора всезрящего отблеск; исполнен он света;
Это — птица с ветвей, что над миром раскинулись где-то.

Птиц небесных привлек он к своих поучений зерну.
И глядят они вниз, постигая всю их глубину.

Но ведь он в небесах за пшеничное зернышко, зная,
Что на землю сойдет, отдал все наслаждения рая.

Он попался в силок, хоть одно лишь он видел зерно.
О, как было мало, о, как было ничтожно оно!

И пришел он с молитвою в мир бытия, и в поклоне
Все склонилось пред ним. На земном воцарился он лоне.

Он для всех был кыблóй, он для всех был в сиянии зрим.
Лишь один возмутившийся пасть не хотел перед ним.

Лепестки, что он сыпал, что прежде в Эдеме блистали,
Стали негой для всех, а для дьявола — углями стали.

Но без рода людского он счастья не знал бы совсем.
Для него, одинокого, цвел бы напрасно Ирем.

У кого бы другого была столь великая сила,
Чтобы дел человеческих горе его не сломило?

Было сердце его страстью к светлой пшенице полно.
Как пшеницы зерно, от огня раскололось оно.

И стремленье уйти, и забыть о лазоревом крове,
Есть пшеницу земную — и сладко все было и внове.

Ни отца, ни детей. Как зерно, должен он прорасти
И в камнях быть измолотым. Ждал он такого пути.

Только брошенный в землю, надеждою стал он земною,
Светлоликим он стал. Ведь прощен был он силой иною.

И на тело его зной набросил пшеничную тень.
Как на лунном шагрене, на ней был заметен ячмень.

Ячменю и пшенице ужель не постыла их ссора?
Вновь ячмень загрустил. Ведь пшеница отрадней для взора.

Лишь в эдемском саду съел нежданно пшеницу Адам,
Вскрылось сердце его, и желаньем он был уж не там.

Как унижен он был; жаждал этого демон двурогий.
Съел пшеницу Адам, и свернул он с надежной дороги.

К тяжкой жесткости сердца пшеничное клонит зерно.
Тяготенье к пшенице. К безумью приводит оно.

И лишь только пшеница всеобщею стала едою,
Рот раскрыла она, угрожая всеобщей бедою.

Где истоки души? Миновал им назначенный срок.
Да, пшеничное зернышко — это опасный силок.

Ешь лепешки ячменные. Надо ль к иному стремиться?
Вспомни участь Адама: его обманула пшеница.

Обладающий сердцем! Ты дьяволу молви — не лги!
Мощный лев шаханшаха, не стань ты собакой слуги!

Не свершай омовений; сперва ты избавься от срама
Прегрешений своих; в этом следуй примеру Адама.

Благотворно раскаянье. Шествуй по древним следам.
Испытавши раскаянье, многое понял Адам.

Вожделенье направив к сверканью увиденных зерен,
Стал он нивам земли, стал он темному праху покорен.

Он обман свой увидел. И грех был не легок, не мал:
Соблазненный пшеницей, в силок он навеки попал.

Смятой розе греха многослезный поток он направил
И свой царский шатер в Сарандибе затем он поставил.

От греха он бежал, и свой черный направил он лик
В эту землю, чтоб в ней черный род возле моря возник.

Брал индиго он там из небесного хума, одежды
Красил им в Индустане: еще он не ведал надежды.

Но греха синеву он с ладоней отмыл, и у ног
Новый злак он узрел. А индиго текло, как поток.

Стал он тюрком китайским. Он месяцем стал белоликим,
Спрятав кудри греха покаяния шапкой. Великим

Овладел на земле он престолом, когда от грехов
Он смиреньем избавился. Ждал его царственный кров.

На земле справедливости сеял он истины семя,
Дал он правду в наследье народам на долгое время.

У хранителя рая сокровища взял он и, рай
Покидая, принес их в земной новонайденный край.

Так воспользуйся, смертный, с такого богатства доходом!
Он посеял, а жатву он всем предоставил народам.

От дыханья кадила алоэ дышать тяжело.
Мастер седел виновен, что ослику тяжко седло.

Но ведь все ж не напрасно, о смертный, ты призван для жизни,
Милосердье в своей ты порою встречаешь отчизне.

На реке юных дней, в свежих розах, стремится ладья.
Зацепиться страшись за шипы своего бытия.

Будет осень, так в путь ты весной устремляйся, счастливый,
Ты боязни не знай: все сгорят и сгорит боязливый.

Ты не лев, о трусливый; нет, ты не подобие льва.
И душе твоей робкой отважные чужды слова.

Можно льва написать под высокой дворцовою сенью,
Но и сотней ударов его не принудишь к движенью.

Человеку прекрасных, небесных одежд не дано.
Праху — прах. Никаких ему светлых надежд не дано.

Как бессильна звезда, что горит обещанием счастья.
Плачет сердце твое. А печали не видят участья.

Почему же тебя, разрушителя вражеских стен,—
Огневой небосвод захватил в неожиданный плен?

Ты в круженье небесном, так будь с препоясанным
станом
В услуженье покорном. Его не избегнуть обманом.

Будь подобен огню, ничего нет быстрее огня.
Не отстань от созвездья, свою устремленность храня.

Будь водою ты легкой, которою славятся долы.
Ведь вода не тяжелая много ценнее тяжелой.

Только тонкостью стана людской обольщается глаз.
Только легкие души ценны и желанны для нас.

Ветер мира свершает движенья свои круговые,
Ты, что Каф, недвижим. Где ж порывы твои огневые?

Иль в стремлении к розе шипов одолеть ты не смог?
На себя не гляди, как фиалки склоненный цветок.

Ты лишь только собой населяешь земные просторы,
На себя самого направляя беспечные взоры.

В этом доме обширном ты каждый одобрил предел,
Но ты в доме — ничто. Ведь не этого все ж ты хотел?

Сам в себя ты влюблен, перед зримым в восторге великом.
И, как небо, ты зеркало держишь пред блещущим ликом.

Если б соль свою взвесил, ты спесь бы свою позабыл;
И тогда бы за все небесам благодарен ты был.

Позабудь притесненье. Отправься в иную дорогу.
Что есть люди, скажи? Устремляйся к пресветлому богу.

Ты познай его благость, лишь этим себя мы спасем.
Ты познай свою скверну и небу признайся во всем.

Если ты устыдишься. к молитвам в слезах прибегая,
Милосердной и щедрой окажется сила благая.

ПОВЕСТЬ О ПАДИШАХЕ, ПОТЕРЯВШЕМ НАДЕЖДУ И ПОЛУЧИВШЕМ ПРОЩЕНИЕ

Некий муж справедливый и чтимый в обширной стране
Справедливость не знавшего как-то увидел во сне

И спросил: «Что творец совершает в своей благостыне
С днями злости твоей в ночь, тебя охватившую ныне?»

Тот ответил: «Когда смертный час я готов был принять,
Я весь мир оглядел; мне в томленье хотелось узнать,

Кто бы смог указать мне надежды благую дорогу
Иль поведать, что милость великому свойственна богу.

Но ни в ком из живых состраданья не встретилось мне,
И помочь в моих бедах желанья не встретилось мне.

Стал я иве подобен, в испуге охваченный дрожью,
Пристыженный, смущенный, и я милосердию божью

Всей душой предался, только в нем свой увидев оплот.
На крученье воды я бесплодный оставил расчет

И промолвил творцу: «Я стыжусь, я познал униженье,
Посрамленному, боже, любое прости прегрешенье.

Хоть я воле твоей не внимал до последнего дня,
Хоть отвергнут я всеми, но ты не отвергни меня.

Иль, карая меня, шли любого ко мне лиходея,
Иль мне помощь подай, обо мне в милосердье радея!»

И покинутых друг, избавляющий их от тревог,
Тяжкий стыд мой увидел и мне благосклонно помог.

Отвечая стенаньям, благой преисполнен заботы,
Он приподнял меня и свои оказал мне щедроты».

Тот, кто ведал раскаянье, грешные мысли гоня,
Будет стражем порядка в сумятице Судного дня.

Тот, кто взвешивал ветер, забудет свои упованья;
Он в убытке всегда, он узнает одни лишь страданья.

Если ветер ты взвешивал долгие годы, не год —
Сколько знал ты убытка и сколько узнаешь невзгод!

Камень с жемчугом взвешивать страсти твои да устанут!
Пусть весы будут пусты, а дни твои полными станут!

Этот камень земли ты на мыслей весы не клади;
Ведь земля — шарик глиняный, тешиться им погоди.

Лишь дирхем — жалкий мир, что в тебя поселяет
желанья.
Все, чем дышишь в миру,— твоего легковесней дыханья!

Все, что в жизни находишь, что в ней обретаешь — отдай;
Все, пока на земле ты еще пребываешь — отдай,

Чтобы в день воскресенья ты был бы от груза свободен,
Чтобы ты не молчал, чтоб, ответив, стал небу угоден,

Чтоб ты не был в долгу у детей, свой утративших кров,
Чтобы совесть твою не тягчили стенания вдов.

Брось потертый ковер, уходи из обители мглистой.
Дорожить ли полой, что давно уже стала нечистой?

Иль, чтоб странником стать, собери свой дорожный
припас,
Иль, вослед Низами, скройся в тень от назойливых глаз.

РЕЧЬ ВТОРАЯ — НАСТАВЛЕНИЕ ШАХУ О СПРАВЕДЛИВОСТИ

О властитель, чьи мысли царят над любым из царей,
Что несметным венцам шлет жемчужины многих морей,

Если ты — государь, ты ищи драгоценного крова;
Если ты — драгоценность, венца ты ищи неземного.

Из предвечного света, которым овеян простор,
На тебя не один благодетельный бросили взор.

Ты ценнее всего. Словно городом, правишь ты миром.
Все, что ныне на свете, тебя почитает кумиром.

О, какою страною владеешь безмерною ты!
О, гордись, над страной возвышаешься верною ты.

Времена твои выйдут из круга столетий; с тобою
Не сравнится вселенная ширью своей голубою.

Знаем: зеркало в небе заря поднимает, чтоб ты
В золотом этом зеркале царские видел черты.

Колыбель небосвода затем и забыла про бури,
Чтобы ты, как дитя, отдыхал в безмятежной лазури.

Ты — Иса наших душ, птица сердца, и скажет любой,
Что сравнить тебя можно бесспорно с одним лишь тобой!

Солнце в пламени страсти твоим восторгается ликом,
Потому-то оно и сверкает в пыланье великом.

Месяц так истощился! Он был уж совсем невелик.
Но опять он сияет: он снова увидел твой лик.

Ты превыше других. Наслаждайся всем жизненным миром.
Все печали отбрось. Не склонен, словно раб, ты пред миром.

Будь ко всем снисходителен, будь благодарнее вод.
Будь, как ветер свободный, свободен от тяжких забот.

Будь спокойной землею. Страстей не поддайся насилью.
Если землю встревожить, земля станет черною пылью.

Преклони пред создателем жаркую душу свою.
Вот как царствовать, царственный, должен ты в нашем краю.

Жду ответа, о шах! Отвечай же, вопросам внимая.
Где находимся все мы? Где скрыта обитель иная?

Все известно душе, что возвышенной веры полна,
И о мире ином все доподлинно знает она.

Этот мир ты обрел. Ты о вере подумай. Быть может,
Область веры найдешь, и она тебе в мире поможет.

Если ж мир ты отдашь, чтобы веру купить,— никогда
Не внимай слову дьявола: может нагрянуть беда.

Знай, крупица алмазная веры, ведущей из плена,
Камня магов грузней, хоть он был бы увесистей мена.

Камень темный отдай, а сверкающий камень возьми:
С ним и золото веры, что блещет, как пламень, возьми.

Тот, дающий припасы,— ну трудно ли нам это
взвесить? —
Взяв припас твой единый, припасов пошлет тебе десять.

Состоянье свое поместить как бы лучше ты смог?
Сколько прибыли верной на свой ты положишь порог!

Стало долгом твоим воспитанье праведной веры.
Мудрецы правосудные к этому приняли меры.

Вознеси правосудье, и всех осчастливишь людей.
Угнетателей свергни. Об этом бессменно радей.

Должен городу с войском ты блага желать, и на это
Город с войском ответят. Плохого не будет ответа.

Угнетающий царство — его разрушает, а тот,
Кто внимателен к людям, его к процветанью ведет.

Знай, развязка придет, и пред ней, не знававшей
преграды,
Пусть твои будут мысли всему, что содеял ты, рады.

Дай спокойствие всем. Никому не чини ты обид.
Что за ними придет? Что за ними почувствуешь? Стыд.

Пьяный разум уснет, и, беды не увидев причину,
Правосудья ладья в неизбежную канет пучину.

Если б скорбным и бедным зажал ты безжалостно рот,
Если б отнял ты силой имущество нищих сирот,

Для себя отыскать ты какие бы смог оправданья
В день суда, на который придут все земные созданья?

Лик свой к вере направь, и опору найти будешь рад;
К солнцу стань ты спиной, не молись ему, словно эрпат.

Вышли ветер на мир. Чтоб лампада соблазнов угасла,
Своего в ней ни капли не должен оставить ты масла.

Разве мы — мотыльки? Мир блестит, но не думай о нем.
Не бросай же свой щит перед этим ничтожным огнем!

К той завесе, к которой Иса возлетел без усилья,
Ты стремись, чтоб ты сам за спиной мог почувствовать
крылья.

Кто, подобно Исе, бросит душу в надзвездный полет,
Тот весь мир завоюет. По праву его он возьмет.

Притесняя подвластных, ты править страной не сумеешь.
Лишь призвав правосудье, ты царством своим овладеешь.

То, в чем нет справедливости, твой не умножит доход,
То, в чем нет правосудья, как ветер, тебя унесет.

Справедливость — гонец, что спешит наш обрадовать
разум;
Тот работник, что в царстве все нужное сделает разом.

Справедливость твоя укрепляет сверкающий трон.
Если ты справедлив, вечно будет незыблемым он.

ПОВЕСТЬ О НУШИРВАНЕ И ЕГО ВИЗИРЕ

На охоте одной Нуширван был конем унесен
От придворной толпы; с пышной знатью охотился он.

Только царский визирь не оставил царя Нушировна.
Был с царем лишь визирь из всего многолюдного стана.

И в прекрасном краю — там, где все для охоты дано,
Царь увидел селенье. Разрушено было оно.

Разглядел он двух сов посреди разрушений и праха.
Так иссохли они, будто сердце засохшее шаха.

Царь визирю сказал: «Подойдя друг ко другу, они
Что-то громко кричат. Их беседа о чем? Разъясни!»

И ответил визирь: «К послушанию сердце готово.
Ты спросил, государь. Ты ответное выслушай слово.

Этот крик — некий спор; безотрадно его существо.
Этих сов разговор — не простой разговор, сватовство.

Та — просватала дочь, и наутро должна ей другая
Должный выкуп внести, и внести, ни на что невзирая.

Говорит она так: «Ты развалины эти нам дашь
И других еще несколько. Выполнишь договор наш?»

Ей другая в ответ: «В этом деле какая преграда?
Шахский гнет не иссяк. Беспокоиться, право, не надо.

Будет злобствовать шах,— и селений разрушенных я
Скоро дам тебе тысячи: наши просторны края».

И, услышав про то, что предвидели хищные совы,
Застонал Нуширван, к предвещаньям таким не готовый.

Он заплакал навзрыд,— он, всегдашний любимец удач.
За безжалостным гнетом не вечно ли следует плач?

Угнетенный, в слезах, закусил он в отчаянье палец.
«Ясно мне,— он сказал,— что народ мой — несчастный
страдалец.

Мной обижены все. Знают птицы, что всюду готов
Я сажать вместо кур лишь к безлюдью стремящихся сов.

Как беспечен я был! Сколько в мире мной сделано злого!
Я стремился к утехам. Ужель устремлюсь я к ним снова?

Много силы людской, достоянья людского я брал!
Я о смерти забыл! А кого ее меч не карал?

Долго ль всех мне теснить? Я горю ненасытной алчбою.
Посмотри, что от жадности сделал с самим я собою?

Для того полновластная богом дана мне стезя,
Чтоб того я не делал, что делать мне в жизни нельзя.

Я не золото — медь, хоть оно на меди заблистало.
И я то совершаю, что мне совершать не пристало.

Притесняя других, на себя обратил я позор.
Сам себя я гнету, хоть иных мой гнетет приговор.

Да изведаю стыд, проходя по неправым дорогам!
Устыдясь пред собой, устыдиться я должен пред богом.

Притесненье свое я сегодня увидел и жду,
Что я завтра позор и слова поруганья найду.

В Судный день ты сгоришь, о мое бесполезное тело!
Я сгораю, скорбя, будто пламя тебя уж одело!

Мне ли пыль притесненья еще поднимать? Или вновь
Лить раскаянья слезы и лить своих подданных кровь!

Словно тюркский набег совершил я, свернувши с дороги.
Судный день подойдет, и допрос учинится мне строгий.

Я стыдом поражен, потому повергаюсь я в прах.
С сердцем каменным я, потому я с печалью в очах.

Как промолвлю я людям: «Свои укоризны умерьте!»
Знай: до Судного дня я в позоре, не только до смерти.

Станут бременем мне те, кого я беспечно седлал.
Я беспомощен! Помощь мне кто бы сейчас ниспослал?

Устремляться ли в мире к сокровищам блещущим, к самым
Дорогим? Что унес Фаридун? Что припрятано Самом?

Что указы мои, что мое управленье, мой суд
Мне навеки вручат? Что надолго они принесут?»

Взвил коня Нушинрван. Сожигал его пламень суровый.
От огня его сердца коня размягчились подковы.

И лишь только владыка примчался в охотничий стан,
Запах ласки повеял. Приветливым стал Нушинрван.

В том краю он сейчас же тяжелый калам уничтожил.
И поборы, и гнет, и насилье он там уничтожил.

Разостлав правосудье, насилья ковер он свернул.
Блюл он заповедь эту, покуда навек не уснул.

Испытаний немало узнал он под небом,— и веки
Он смежил, и добром помнинать его будут вовеки.

Многомудрого сердца он людям оставил чекан.
И указ правосудья на этом чекане был дан.

Много благ совершивши, с земным разлучился он
станом,
Справедливого каждого ныне зовут Нуширваном.

Дни земные свои проводи ты на благо сердец,
Чтоб тобой ублажен, чтоб тобой был доволен творец.

Следуй солнечным всадникам, в свете благого устоя.
Беспокойством горя, для других ты ищи лишь покоя.

Ты недуги цели, хворым снадобья ты раздавай,
Чтоб вести ты достоин был небом дарованный край.

Будь горячим в любви, лютой злостью не будь
полоненным.
Словно солнце и месяц, ко всем ты пребудь
благосклонным.

Кто добро совершит, будь он мал или будь он велик,
Тот увидит добра на него обратившийся лик.

От указа творца небеса не отступят ни шагу:
Воздадут они злу, воздадут они каждому благу.

Проявляй послушанье, греха избегай, чтоб не быть
В посрамленье глубоком и скорбно прощенья просить.

Наши дни — лишь мгновенье; вот наше великое знанье.
Ты пребудь в послушанье. Превыше всего послушанье.

Оправданья не надо, не этого ждут от тебя.
Не безделья, в слова разодетого, ждут от тебя.

Если каждое дело свершалось бы с помощью слова,
То дела Низами достигали бы звездного крова.

РЕЧЬ ТРЕТЬЯ — О СВОЙСТВЕ МИРА

О хаджа горделивый, хотя бы на краткие дни
Людям благо подай, рукавом ты над миром взмахни!

Будь не горем для всех, а блаженством живительным, коим
Утешают скорбящих. Отрадою будь и покоем.

Все в великом вниманье, и ты все величье души
На служение бедным направить, хаджа, поспеши.

Соломоново царство ты ищешь напрасно: пропало.
Царство есть, но ведь знаешь: царя Соломона не стало.

Вспомни брачный покой, что украсила пышно Азра,
Где влюбленный Вамик пировать с ней хотел до утра.

Только брачный покой, только кубки остались златые.
А Азра и Вамик — погребли их пределы чужие.

Хоть немало столетий над миром проплыло, мы зрим,—
Он такой же, как был; ни на волос не стал он другим.

Как и древле, земля нам враждебна. И все год из года
Нас карает палач — многозвездный простор небосвода.

С миром злобным дружить разве следует смертным сынам?
Он всегда изменял. Разве он не изменит и нам?

Прахом станет живущий на этом безрадостном прахе.
Прах не помнит о всех, на его распростершихся плахе.

Облик живших скрывается в зелени каждой листвы.
Пядь любая земли — некий след венценосной главы.

Нашу юность благую мы отдали миру. За что же
Нам он старость дает и ведет нас на смертное ложе?

Ведь всегда молодым оставался прославленный Сам,
Хоть склонял свои взоры он к сына седым волосам.

Синий купол бегущий свой круг совершает за кругом,
В вечном споре с тобою, твоим быть не хочет он другом.

То он в светоча мира мгновенно тебя обратит,
То в горшечника глину надменно тебя обратит.

На двуцветном ковре быстросменного мира, в печали
Все, что дышат на нем, все стремятся в безвестные дали.

По равнине идущие молвили: «Счастливы те,
Что по морю плывут,— все твердят о его красоте».

Те, что на море страждут, сказали: «О, если бы ныне
Мы могли находиться в спокойной безводной пустыне!»

Все, живущие в мире, встречают опасные дни.
На воде и на суше злосчастия терпят они.

Юных дней караван на заре поднимается рано.
Но ведь кончится путь. Не сберечь нам поклаж каравана.

От верблюдов отставший, из города юности ты
Будешь изгнан в предел, где стареют людские черты.

Но на всех утомленных во тьме наступающей ночи
Из нездешних пространств уж глядят благосклонные очи.

Трон покинь. Ведь тщеславье опаснее многих сует.
Это — черная тень, от тебя заградившая свет.

Ты отдался утехам, конца им не зная и края,
Ты живешь и играешь, о горестях будто не зная.

Синий купол, вращаясь, похож на забаву, но он
Не для наших забав, не для наших утех укреплен.

До пришествия разума в мире царила беспечность.
О, какая в тебе благодатная сила, беспечность!

Ясный разум взглянул на вершину созданий творца,
И владычество радости тотчас достигло конца.

Не от знанья беспечна мелькающих дней скоротечность.
Безрассудства, возникнув и множась, рождают
беспечность.

О беспечность, очнись, очини поскорее калам,
И царапай листок, и предайся отрадным делам.

Будь меж теми, чья мудрость известна от края до края,
Стан людей просвещенных с отрадой рукой обнимая.

Если с добрым мы дружим, то добрый нам выпадет час;
И поможет нам друг, и все нужное будет у нас.

Где же скрылись все добрые? Встречусь ли я хоть с единым?
Стол, что медом прельщал, ныне сделался ульем пчелиным.

Где ж теперь человечность? Ужель удалилась навек?
Человека любого страшится любой человек.

Где ж познание то, что в сердцах человечьих блистало?
Человеческих свойств в человеке давно уж не стало.

Скрылся век Соломона. О смертный, вокруг посмотри!
Где теперь человек? Он исчез. Он — бесследней пери́.

Хоть дыханье мое слиться с общим дыханьем хотело,
Все же, бегство избрав, совершил я хорошее дело.

Где бы тень я сыскал, что явилась бы тенью Хумы?
Где бы верность нашел? Где бы честные встретил умы?

Если б сеяли верность, прекрасными стали бы нравы.
Надо верность хранить — вот что чести достойно и славы.

Земледелец зерно бросил в землю весною, и вот
Наступает пора — и созревший вкушает он плод.

ПОВЕСТЬ О СОЛОМОНЕ И ПОСЕЛЯНИНЕ

Как-то царь Соломон не имел государственных дел.
И случилось, что ветер светильник задуть захотел.

Царь свой двор перенес в ширь степного просторного дола,
Там вознес он к лазури венец золотого престола.

Скорбен стал Соломон: он увидел, теряя покой,
Старика земледельца, который в равнине скупой,

Зерна в доме собрав — хоть добыча была и убога,—
Поручил закрома одному милосердию бога.

И повсюду в степи разбросал эти зерна старик,
Чтоб из каждого зернышка радостный колос возник.

Но все тайны зерна и все тайны творящего лона
Говор птиц сделал внятными слуху царя Соломона.

Царь промолвил: «Старик! Будь разумным! Коль зерен не счесть,
Можно зерна бросать. Но твои! Их ты должен был съесть.

Для чего ж ты надумал напрасно разбрасывать зерна?
Предо мной быть неумным ужели тебе не зазорно?

Нет мотыги с тобой, что ж царапаешь глину весь день?
Тут ведь нет и воды, для чего же ты сеешь ячмень?

Мы бросали зерно в землю, полную влаги, и что же?
То, что мы обрели, с изобилием было несхоже.

Что же будет тебе под пылающим солнцем дано
На безводной земле, где мгновенно сгорает зерно?»

Был ответ: «Не сердись, мне не нужно обычного блага!
Что́ мне сила земли, что́ посевам желанная влага!

Что́ мне зной, что́ дожди, хоть бы длились они без конца!
Эти зерна — мои, а питает их воля творца.

Есть вода у меня: на спине моей мало ли пота?
И мотыга со мной. Это — пальцы. О чем же забота?

Не пекусь я о царствах, мне область ничья не нужна,
И пока я дышу, моего мне довольно зерна.

Небеса мне мирволят, добычу мою умножая.
Сам-семьсот я беру. Я бедней не снимал урожая.

Надо сеять зерно без мольбы у дверей сатаны,
Чтоб такие всегда урожаи нам были даны.

Только с должным зерном, только с небом нам следует знаться,
Чтобы колоса завязь, как должно, могла завязаться.

Тот, кто с разумом ясным был призван творцом к бытию,
Тот по мерке своей ткет разумно одежду свою.

Ткань одежды Исы не на каждого ослика ляжет,
Не на каждого царь, как на помощь престола, укажет.

Лишь одни носороги вгрызаются в шею слону.
Что пожрет муравей? Саранчовую ножку одну.

От нашествия рек море станет ли злым и угрюмым?
А ручей от потоков наполнится яростным шумом.

Человеку, о царь, все дает голубой небосвод.
Все, чего он достоин, себе он под небом найдет.

Государственный муж быть не крепким, не стойким
не может;
Иль под бременем тягостным до смерти он изнеможет.

Нет, не каждый живущий родился для сладостных нег,
И великие тайны не каждый таит человек».

Пусть несдержан юнец. Я же прожил немалое время,
Низами молчаливо несет свое тайное бремя.

РЕЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ — О БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ ШАХА К ПОДДАННЫМ

Ты — боец без щита. Ты — в гордыне один. Иль тебя
Гуль в пустыню загнал, отчужденную душу губя?

Ты — в венце золотом. Но венцы существуют ли вечно?
Ты — в цвету бытия. Но припомни: оно — скоротечно.

О, спешащий за теми, которым лишь в пиршествах свет,
О, покорный игре бесконечно бегущих планет!

Ты, отбросивший саблю, забывший о чтенье Корана,—
Для чего? Лишь для чаши веселья, для винного жбана.

То ты с гребнем, то с зеркалом, счастлив ты ими вполне.
О ценитель кудрей, ты подобен манящей жене.

Рабию́ ты припомни; она ведь в пустыне однажды
Разлучилась с косой для собаки, понурой от жажды.

В стыд вгоняешь ты доблесть. Деянья твои таковы!
Устыдился б деяния той сердобольной вдовы.

Будешь славить себя или силой кичиться доколе?
Этой сильной жены быть сильней ты, как видно, не в воле.

Человеческий разум и светлая доблесть — одно.
Надо всем правосудье. Всех доблестей выше оно.

Не в твоем ручейке стали воды прозрачными. Стала
Миловидною родинка в блеске чужого овала.

Ты не злой небосвод. Лишь о благе раздумывай ты.
Помни вечно о бедах, что к людям спешат с высоты.

Лишь добро проявляй, отдаваясь крутящимся годам.
Лишь такое имущество радует верным доходом.

На себя ты не должен людскую обиду навлечь,
Бойся честь обескровить и кровью людей пренебречь.

Притязали иные на честь и на доблесть. Быть может,
Честным двум или трем твой пример появиться поможет?

Правосудье твори; бойся мощных карателей зла.
Ночью ждет притеснитель: возмездья ударит стрела.

Мысли зорких грозят. Все подверглись их мощному сглазу.
Сглаз опасен, поверь, не простил он виновных ни разу.

Могут все испытать его страшный, негаданный суд.
Забывать ты не должен: ему подвергался Махмуд.

Сглаз людей беспорочных застигнет тебя ненароком,
И увидишь, бессильный, что ты наказуешься роком.

Те, что схожи с крылатыми, те, что душой в небесах,—
На пути черепашьем не меньше других черепах.

Пусть насилья мечом их дорога не будет задета,
Иль узнаешь стрелу, что метнут они в блеске рассвета.

Если ценишь владычество — ты правосудье цени!
Ты на беды от гнета, что царствуют в мире, взгляни!

Человек, чья душа в доме этом ко благу готова,
Все свершает к ночи к устроению дома второго.

ПОВЕСТЬ О СТАРУХЕ И СУЛТАНЕ САНДЖАРЕ

Как-то шаха Санджара седая старуха одна
За полу ухватила, и в гневе сказала она:

«Справедливость являть, видно, властный, тебе не угодно,
И обида твоя настигает меня ежегодно.

Пьяный стражи начальник вбежал в наш спокойный квартал
И напал на меня. Избивал он меня и топтал.

И, за волосы взявши, меня он повлек от порога,
И царапала щеки мне жесткая наша дорога.

И обидам ужасным меня он речами подверг,
Кулаками позору пред всеми очами подверг.

«Прошлой ночью,— кричал он, исполненный пьяного пыла,—
С кем-то тут сообща человека не ты ли убила?»

Он обшарил весь дом. Беззаконье мы терпим и гнет!
Где же спины людей произвол еще тягостней гнет?

О напившемся страже ужели не верил ты слуху?
Он и был во хмелю, потому-то избил он старуху.

Те, стучащие кубками, весь твой расхитили край,
И ни в чем не повинных уводят они невзначай.

Тот, кто видит все это, и все же помочь нам не хочет,
Тот порочит народ, но тебя ведь он тоже порочит.

Я изранена вся. Еле дышит разбитая грудь.
В ней дыхания нет. Но смотри, государь, не забудь:

Если быть справедливым тебе в этот час неохота,
Все ж получишь мой счет. Ты получишь его в день
расчета.

Правосудья и правды я вовсе не вижу в тебе;
Угнетателя подданных я ненавижу в тебе.

От властителей правых поддержка приходит и сила,
От тебя — только тяжесть, что всех нас к земле
придавила.

Разве дело хорошее — грабить несчастных сирот?
Человек благородный у нищих добра не берет.

На дорогах больших не воруй ты поклажу у женщин.
Не бери, государь, ты последнюю пряжу у женщин.

Притязаешь на шахство! Но ты не властитель, ты — раб!
Лишь вредить ты умеешь, а в помощи людям ты слаб.

Шах, внимательный к людям, порядок наводит в округе,
И о подданном каждом он думает, словно о друге.

Чтоб указом любым всех он радовал в нашем краю,
Чтобы шахскою дружбою нежили душу свою.

Ты всю землю встревожил! Иль я неразумно толкую?
Ты живешь. Ну, а доблесть, скажи мне, явил ты какую?

Стала тюрков держава лишь доблестью тюрков сильна,
Правосудьем всегдашним в веках укрепилась она.

Но грабеж и бесчинство ты в каждую вносишь обитель.
Нет, ты больше не тюрк, ты, я вижу, индусский грабитель.

Города посмотри-ка: в развалинах наша страна.
Хлебопашец ограблен, оставлен тобой без зерна.

Ты припомни свой рок! Приближенье кончины исчисли.
Где от смерти стена? Вот на что ты направил бы мысли!

Справедливость — лампада. Лампады пугается тень.
Пусть же с завтрашним днем будет дружен сегодняшний
день!

Пусть же слово твое будет радовать старых готово!
Ты же дряхлой старухи, властитель, запомнил бы слово:

Обделенным судьбой никакого не делай ты зла,
Чтоб их громких проклятий в тебя не попала стрела.

Стрелы всюду не сыпь иль дождешься недоброго часа!
Есть припасы молитв у несчастных, лишенных припаса.

Чтоб раскрылась вся правда, с железом ключа ты пришел.
Не за тем, чтобы правду ударить сплеча, ты пришел.

Ведай, взявший венец, ты вовек не покроешься срамом,
Если раны недужных ты благостным тронешь бальзамом.

Пусть обычаем немощных станет тебя восхвалять,
А твоим, повелитель,— ласкать их опять и опять.

Береги, словно милость, возвышенных душ благостыню.
Охраняя немногих, что в тихую скрылись пустыню».

Что же стало с Санджаром, что встарь захватил Хорасан?
Знай: не внявшему старой урок был губительный дан.

Где теперь правосудье? Все черным бесправьем объято.
Знать, на крыльях Симурга оно улетело куда-то.

Стыд лазурному своду, всегда пребывавшему в зле!
Вовсе чести не стало на где-то висящей земле.

Слезы лей, Низами, удрученный такою бедою,
Ты над сердцем их лей, что кровавою стало водою.

РЕЧЬ ПЯТАЯ — О СТАРОСТИ

Глава содержит описание старости и ее немощей. Нужно знать цену молодости, говорит Низами, и пользоваться ею для свершения благих дел — старику они уже будут не под силу. Пока есть силы, надо трудиться, чтобы не зависеть от других и иметь свой кусок хлеба. Только труд обеспечивает честную жизнь.

ПОВЕСТЬ О СТАРИКЕ КИРПИЧНИКЕ

Слабый старик лепил кирпичи для сооружения склепов на кладбище. Юноша посоветовал ему не гнуть зря спину — кусок хлеба старику всегда кто-нибудь подаст. Тот ответил: он для того только и трудится, чтобы не протягивать руку к чужому хлебу.

РЕЧЬ ШЕСТАЯ — О СВОЙСТВАХ СОТВОРЕННОГО

В главе говорится о бренности тела и о ценности нетленного сердца — носителя высших духовных способностей (см. комментарий к стр. 57).

Сердце очищается страданиями, и потому не надо страшиться несчастий — за ними не может не прийти радость.

ПОВЕСТЬ О СОБАКЕ, ОХОТНИКЕ И ЛИСИЦЕ

У охотника была прекрасная собака. Она пропала, и он скорбел, но не жаловался. Лисица стала издеваться над ним, а он ей ответил, что в этом мире ни горе, ни радость долго не длятся. В этот миг неожиданно прибежала пропавшая собака и схватила лису.

РЕЧЬ СЕДЬМАЯ — О ПРЕВОСХОДСТВЕ ЧЕЛОВЕКА НАД ЖИВОТНЫМИ

Мир — единое целое, где все занимает определенное место. Не может быть твари, лишенной ценности, всякая тварь — звено в сцеплении мира. Твари служат человеку, но из этого не следует, что он может считать себя свободным от обязательств по отношению к ним. Заботься о животных, говорит Низами, и они отплатят тебе добром.

ПОВЕСТЬ О ФАРИДУНЕ И ГАЗЕЛИ

Царь Фаридун на охоте преследовал газель и был так пленен ее красотой, что рука его дрогнула и его стрела не попала в цель. Он разгневался, но вдруг услышал голоса стрелы и коня, возвещавшие, что ради забавы нельзя истреблять бессловесную тварь.

РЕЧЬ ВОСЬМАЯ — О СОТВОРЕНИИ МИРА

В этой главе речь идет об отношении человека к миру. Грех внесен в мир человеком, поэтому нельзя поддаваться его, мира, «лести», надо спокойно идти своим путем.

ПОВЕСТЬ О ВОРЕ И ЛИСИЦЕ

Вор пытался обмануть лисицу, сторожившую фруктовый сад. Ему удалось это сделать только тогда, когда он притворился спящим и так усыпил бдительность лисы.

РЕЧЬ ДЕВЯТАЯ — ОБ ОСТАВЛЕНИИ МИРСКИХ ДЕЛ

В этой главе Низами говорит о том, что человек в земной жизни должен подготовить себе припас для жизни вечной. Этот припас может быть создан только трудом.

ПОВЕСТЬ О ПОДВИЖНИКЕ, НАРУШИВШЕМ ЗАРОК

Набожный человек внезапно закутил, стал пить вино, превратился в гуляку. Он горько жаловался на судьбу, но получил указание, что должен не жаловаться, а искренне раскаяться и молить о прощении.

РЕЧЬ ДЕСЯТАЯ—О КОНЦЕ МИРА

Ты последний свой круг не спеши совершить, небосвод!
О земля! Отдали ты беды неизбежный приход!

После золота дня вечер стелит багряную ризу.
То, что было вверху, неуклонно склоняется книзу.

Дышат недра земли, смутный ужас во мраке храня.
Будет страшно земле сотрясение Судного дня.

Забушует безумье; и вот не пройдет и мгновенья,—
И небесных цепей разотрет оно крепкие звенья.

Вихри взвихрят весь мир, набежав из нездешних степей,
И земля, обезумев, сорвется с небесных пепей.

Так безумна земля (кто иначе о бешеной скажет?),
Что на стане своем пояс неба мгновенно развяжет.

Вечер цвет позабудет, а утренний час — аромат,
Небосвод от човгана, земля от мяча отлетят.

И ударит земля по лазури тяжелым ударом,
Небосвод ей ответит ударом и ловким и ярым.

И, пылая огнем, он ударит опять и опять,
Он захочет всю землю, удар за ударом, разъять.

Разорвет он свой плащ в этой смене гремящих событий,
И жемчужины звезд разорвут свои светлые нити.

И падет небосвод, и земные взметет он поля,
И, крутясь в исступленье, поднимется кверху земля.

Небосвод и подлунную люди томить перестанут,
Под стопами людей все дороги пылить перестанут.

Высь не будет в заботах о людях и ночью и днем,
И забудет земля о безумном коварстве людском.

Будет стыдно созвездьям за то, что почтительны были
К малой горстке земли — к человеку, подобному пыли.

Как змея, небосвод изовьется лазурным кольцом,
Чтобы землю пожрать пред своим неизбежным концом.

Страждет печень земли: ей безмерно наскучили люди!
Да, одни только вы эту землю измучили, люди!

Почему же земля в этой чаше печали лежит?
Почему эта чаша, синея, о смерти твердит?

Если вам не дано, в вашей скорби тревожной и бурной,
Этот прах ненадежный исторгнуть из чаши лазурной,—

То в потоках семи от нее вы омойте полу,
Чтобы стать непричастными черным невзгодам и злу.

Рвите рубище звезд вы с лазурных высот. Во мгновенье
Зачеркните весь мир. Да настанет его разрушенье!

И над черной землей в быстрых звездах крутящийся свод,
Не промедлив, укажет великих событий приход.

Для всего, что грядет, для прощений, для грозных
возмездий
Мы найдем указанье в круженье горящих созвездий.

Если голову рубят, она отлетает,— и вот
Уж готова земля в этот страшный и мрачный полет.

В черной ракушке неба немало жемчужин, но скрыла
Эта мгла в черном сердце грозящего нам крокодила.

Злая ракушка — небо. Не радость — ее жемчуга.
Звезды взор наш отводят: созвездья — лукавей врага.

Посмотревший на них, как на блеск непонятного чуда,
Как змея, спрячет взор за зеленую мглу изумруда.

Да, прозрения мира у взора воздетого нет.
Сотни раз поглядит, знанья все ж и от этого нет.

Путь в неведомый край ты всегда, человек, ненавидел,
Потому что глазами его — не своими ты видел.

Ноги только свои утомляй ты в нелегком пути;
Ведь нельзя по дорогам ногами чужими идти.

Пусть высоко взойдет, сыпля золото, мощный, но хмура
Будет участь его: смертный час наступил и для Гура.

Не закроешь ворота на улицу смерти; нельзя
Избежать ее кровли. Твоя неизбежна стезя.

Пребывай в этом доме, где заперты окна и двери,
Что на пользу болящим, по слову старинных поверий.

Водяным колесом купол неба поднялся, но ты,
Тесный круг оставляя, безмерной желай высоты.

Разум самый подвижный и самый пытливый и строгий
Пристыжен и смущен вечной тайной безвестной дороги.

Размышленья бессильны: ты зорок, внимателен будь,
Разгадать попытайся для взора неведомый путь.

Ты за волосом каждым другой не разглядывай волос:
Все земное прими, иль разлуки послышится голос.

Коль тебе благодатное в звездной завидится мгле,
Станет грустно тебе оставаться на темной земле.

Мир! О, глиняный холм! Где тут верность и где тут
услада?
И глядеть на него вожделеющим взором не надо.

Для чего твой венец? Он сверкнет над поникнувшим лбом,
В ярком поясе ты, но покорным ты станешь рабом.

Дарование каждое тяжкие слышит укоры.
Даже в сахаре яд. Посмотри, как сверкают узоры

Этих зорь. Яркий пурпур — то сам полыхающий ад!
Из поварни подземной на землю подняться он рад.

Месяц поднял светильник, но, нищий, сверкая над миром,
Не своим он, а солнечным полон украденным жиром.

Влага облака, травам неся благодатный расцвет,
Кровь людей разбавляя, приносит им тягостный вред.

Хоть вкушают у вод утешенье спокойные души,
Корабли знают беды вдали от спасительной суши.

Мастерская земная великих изъянов полна.
Посмотри, ведь она тяжких бед и обманов полна.

На пороки свои ты не смотришь, и людям порочным
Служишь зеркалом ты, перед ними поставленным, точным.

Недостатки других не лови, словно зеркало. Ты
Помутишься, приняв отраженных пороков черты.

Что ж, доволен собой, ты своих не таишь недостатков?
Лучше всем покажи, что своих не хранишь недостатков.

От пороков других ты поспешно глаза отведи,
На себя поглядев, от пороков своих отойди.

Всюду доблести скрыты, и всюду пороков немало,
Ты пороки забудь, чтоб достоинство видимо стало.

Разве яркий светильник не можешь найти ты в ночи?
Если сладостен день, то о вороне темном смолчи.

Видя перья павлина, покрытые блеском, о строгий,
Разве можно твердить про его некрасивые ноги?

Перья ворона мрачны. Красив его блещущий взор.
Ты о перьях забудь. На глаза погляди ты в упор.

ПОВЕСТЬ ОБ ИСЕ

После многих дорог, по которым скитался Иса,
На базар неизвестный его привели небеса.

Там собака валялась; душа уже в ней не ютилась,
Как Юсуф из колодца, из мертвой она удалилась.

И прохожие люди — сказанья о том говорят —
Перед павшей стояли, как сумрачных коршунов ряд.

Молвил кто-то: «О тлен! Удивляться, приятели, надо ль,
Что в наш мозг веет мраком пред нами лежащая падаль?»

И добавил другой: «Здесь не только для разума мгла,
Мне глаза она жалит, и душу она мне сожгла».

Каждый песню пропел все того же печального лада.
Поношенье в ней было, и горечь была, и досада.

Но Иса понимал, что людская толпа не права,
И сказал не о мрачном — о светлом сказал он слова.

И сказал он, с красой сокровенной, невидимой дружен:
«Эти белые зубы прекраснее светлых жемчужин».

Улыбнулись прохожие: мрака распался покров,—
И блеснули их зубы от света услышанных слов.

* * *

Ты других не кори и себя не считай без порока.
Опусти свои очи. В злоречии много ли прока!

Держишь зеркало ты, отраженье родное любя.
Ты разбей это зеркало. Надо ли славить себя?

Ты в наряде весеннем, стоишь ты с весельем во взоре.
Как бы время тебя не заметило в этом уборе!

Чтоб укрыть твой порок, чтоб от ангелов был он вдали,
Девять синих завес милосердно тебя облекли.

Где в лазурном кругу утоленье найдешь и веселье?
Многозвездная цепь — не твое, человек, ожерелье.

Ты — не пес, не тебе предназначен ошейник Плеяд,
Ты — не ослик Исы, что же вьюки тебя тяготят?

Небосвод — вдовий плащ; над земным он склоняется лугом.
Что есть видимый мир? Это плод, пораженный недугом.

Мир, со всем, что придет, и со всем, что исчезло давно,—
Преходящ. Это — малое, это — пустое зерно.

Горький мир ты вкушаешь, хаджа! Разве есть в нем услада?
Не с тобой Низами: для меня его больше не надо.

РЕЧЬ ОДИННАДЦАТАЯ — О НЕВЕРНОСТИ МИРА

В этой главе Низами говорит о том, что чрезмерного значения красотам и прелестям мира (тема десятой речи) придавать нельзя. Жизнь человека все равно прекратится.

ПОВЕСТЬ О ПРОЗОРЛИВОМ МОБЕДЕ

Некий мобед любовался весенним садом, но, увидев тот же сад осенью опустошенным, понял, что в этом мире все непрочно и тленно.

РЕЧЬ ДВЕНАДЦАТАЯ — О ПРОЩАНИИ СО СТОЯНКОЙ ПРАХА

В этой главе Низами говорит о том, что преодолеть соблазны этого мира может всякий, у кого есть мудрость и сила воли.

ПОВЕСТЬ О ДВУХ ПОСПОРИВШИХ МУДРЕЦАХ

Два мудреца поспорили о том, кто из них более мудр. Они решили испытать друг друга. Первый поднес второму чашу со смертельным ядом. Тот выпил яд, сразу понял, из чего он состоит, и уничтожил его действие противоядием. Затем он поднес первому мудрецу цветок, над которым сперва немного пошептал. Первый мудрец так боялся чар второго, в силе которых уже убедился, что, понюхав цветок, сразу умер, хотя никакой отравы в нем не было.

РЕЧЬ ТРИНАДЦАТАЯ — О ПОРИЦАНИИ МИРА

В ней говорится о золоте — кумире, влекущем к себе людей. Оно, говорит Низами, способно приносить пользу, но оно полезнее всего для тебя тогда, когда ты не берешь, а отдаешь, тратишь его.

ПОВЕСТЬ О ХАДЖЕ И СУФИИ

Некий муж уехал в хадж и оставил все свое золото на хранение суфийскому шейху. Тот прокутил его до последней монетки. Вернувшись, паломник узнает, что деньги растрачены, но не требует у шейха их возврата. Шейх теперь стал нищим, а требовать золота можно только у богатых, а не у нищих.

РЕЧЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ — ПОРИЦАНИЕ БЕСПЕЧНОСТИ

О довольный! Ты к миру, в спокойствии сладком, привык.
Ты — осел на лугу, ты к кормушке склонившийся бык.

Что тебе это солнце, лазурных высот сердцевина,
Что тебе эта синь, эта выси просторной равнина!

Это только для тех, в чьем познанье сияющий свет.
У не знающих мира — о нем помышления нет.

Подними же свой взор, не довольно ль ты тешился
дремой?!
Ты назначен идти по дороге, тебе незнакомой.

Почему же ты спишь, иль засада тебе не страшна?
Смертных, полных раздумья, всегда устрашала она.

Очи вскинь, рассмотри эти синие своды печали,
На ничтожность твою не они ли тебе указали?

Твой рассудок — старик, он рассеян. Предался он снам,
Он тебя позабыл. Ну так что ж! Призови его сам.

Кто бы знал о тебе, если б разума свет величавый
О тебе не вещал? Только с ним и добился ты славы.

Разум светлый — мессия; всегда он к познанию вел.
Без него ты — погрязший в дорожную глину осел.

По дороге ума ты иди за сияющим светом
Иль домой возвратись и забудь о скитальчестве этом.

Не пьяни мирный разум, его на пирушках поя.
Разве соколом ловчим ты будешь кормить воробья?

Даже там, где вино восхваляется словом приветным,
Разум сделал его нелюбезным тебе и запретным.

О вино! В пьяной чаше людская качается честь,
Но припомни о том, что вино древней мудрости есть.

Хоть сжигает вино все земные печали, но все же
Не вкушай ты вина; ясный разум сожжет оно тоже.

Ви́на — разум лозы, но вкушать огневое вино
Для утехи души лишь одним неразумным дано.

Всё желая постичь, не вкушай ты в томлении томном
То, что может все в мире таинственным сделать и темным.

Неразумным считай человека, вкусившего то,
Что каламом неведенья все обращает в ничто.

Ослепи ты глаза всех мечтаний непрошеных, чтобы
Вправить ноги в колодки глупцам, устремленным
в трущобы.

Ты «алиф», что влюблен в свой высокий пленительный
стан,
Ты безумною страстью к себе самому обуян.

Коль с «алифом» ты схож — птицей будь, потерявшею
крылья,
Ты склонись буквой «ба», своего не скрывая бессилья.

Украшая собранье, стоишь ты, «прекрасный алиф»,
И к себе ты влечешь благосклонности общей прилив.

Не подобься шипу, что в лазурь устремился спесиво,
Ты склонись кроткой розою: роза смиренна на диво.

Не стремись поиграть, будь разумен. Ведь ты не дитя.
Помни: дни пробегают, не вечно блестя и цветя.

День уходит, и радостных больше не будет мгновений.
Солнце юности гаснет, и длинные тянутся тени.

Это ведомо всем,— ведь когда удаляется день,
Все, что в мире, бросает свою удлиненную тень.

Чтить не следует тени, как чтут ее заросли сада.
Будь светильником: тень уничтожить сиянием надо.

Эту тень побори, а поборешь — и в этот же день
Твой порок от тебя мигом скроется, будто бы тень.

Что сияет в тени? Чья во мраке таится основа?
Мы в тени трепетанье источника видим живого.

О поднявший колени, в колени склонивший лицо,
В размышленье глубоком себя обративший в кольцо!

Солнце таз золотой на воскресшем зажгло небосклоне,
Чтоб омыть от себя ты свои смог бы тотчас ладони.

Если в этом тазу будешь мыть ты одежду свою,
Из источника солнца в него наливай ты струю.

Этот таз для мытья, на который приподнял я вежды,
Стал кровав, стал не чист от твоей заскорузлой одежды.

От большого огня, что в тебе злые выжег следы,
В сердце жизни твоей не осталось ни капли воды.

Если плоть не чиста и томилась алканием страстным,
Что ж! Не всякое золото может быть самым прекрасным.

Если каждый вещать будет только лишь истину рад,
То с утробой пустой ненасытный останется ад.

Прямота не защита пред холодом иль перед жаром,
Но прямой не сгорает в аду, в этом пламени яром.

Если будешь кривить, будешь роком подавлен ты злым.
Беспечален ты будешь, покуда ты будешь прямым.

Будь подобен весам, будь в деяниях точен, размерен.
Взвесив сердце свое, в верном сердце ты будешь уверен.

Все крупинки, что ты будешь в жизни бегущей готов
Бросить в мир, их снимая с твоих благородных весов,—

Обретут свое место, и страшное будет мгновенье:
Пред тобой их размечут в грохочущий день воскресенья.

Надо всем, что ты прятал, суровый послышится глас.
Как немного ты роздал! Как много хранил про запас!

Так не трогай весов — все на них указуется строго —
Иль побольше раздай, а себе ты оставь лишь немного.

Стебель розы согнулся, и шип в эту розу проник.
Лишь своей прямотой добывает усладу тростник.

Водрузи прямоту,— это знамя, угодное богу.
И протянет он руки, склоняясь к тебе понемногу.

ПОВЕСТЬ О ЦАРЕ-ПРИТЕСНИТЕЛЕ И ПРАВДИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Жил властитель один, был с людьми он безжалостно строг.
Словно злобный Хаджадж, издеваться над всеми он мог.

Все, что ночь порождала, наследуя дню,— на рассвете
Открывалось царю. Все пред яростным были в ответе.

Неким утром к владыке явился один человек.
Был он зорче, чем утро. Учился он долгий свой век

У луны хитрым играм, у зорь — появляться с доносом.
Он, с притворною злобой, горящей во взоре раскосом,

Прошептал: «Некий старец убийцею на́звал тебя,
Он сказал, что ты правишь, людей неповинных губя».

И, пугая придворных своим изменившимся ликом,
Царь воскликнул: «Казнить!» И умолк он во гневе великом.

Нат мгновенно постлали, песком весь посыпали нат.
Даже дэв, ужаснувшись, бежал бы из царских палат.

В тот же час от юнца старец злое узнал повеленье,
Услыхал он: «Владыка возвел на тебя обвиненье».

Омовенье свершив, в белом саване старец пошел
Во дворец, и пред ним засверкал величавый престол.

Царь, в решениях быстрый, потер свои руки, и очи
Опустил он на землю, и был он угрюмее ночи.

Молвил он: «Я слыхал, что я очень прогневал тебя.
Ты твердишь, говорят, что я правлю, невинных губя.

Ведь известно тебе, что мой суд — мудрый суд Соломона,
Почему ж ты твердишь, что наш край полон плача и стона?»

И ответил старик: «Говорил я, о царь, не во сне,
И сказал я не все, что известно доподлинно мне.

Всюду юные в страхе, и в страхе не каждый ли старый,
Городам и селеньям грозят беспрестанные кары.

Все пороки твои я собрал воедино, но я
Только зеркало. Я — лишь неправда и правда твоя.

Ты увидел, что образ, показанный зеркалом,— верен.
Иль сломаешь ты зеркало? Будь и во гневе умерен!

Светлой правды возжаждай, и жажду твою утолю,
Иль на шею мою повели ты накинуть петлю».

И правдивого старца такое бесстрашное слово
Смелой правдой своей образумило сердце царево.

Вспомнил царь обо всем, что свершал он в подвластном краю.
И, застигнутый правдой, он понял неправду свою

И сказал: «С мудреца скиньте саван! Парчовым халатом
Вы его облачите, парчу напитав ароматом».

И в царе с той поры пламень гнева и злобы утих,
Справедливым он стал, вспомнил подданных, пекся о них.

И правдивого слова никто не скрывал, и невзгоды
Не томили правдивых, и мирные начались годы...

Ты не бойся погибнуть. Правдивым ты будь до конца.
Побеждает правдивый по воле благого творца.

Если будет правдивость всегдашней твоею повадкой,
Много горького скажешь: ведь правда не кажется сладкой.

Если к речи правдивой сердца ты захочешь привлечь,
Вседержитель поддержит твою благотворную речь,

Знай: сияние правды душой Низами овладело,
И великою правдой его озаряется дело.

РЕЧЬ ПЯТНАДЦАТАЯ — ПОРИЦАНИЕ ЗАВИСТНИКОВ

В этой главе Низами жалуется на стариков, очевидно, придворных поэтов, завидующих его таланту и мешающих ему получить свою долю.

ПРИТЧА О МОЛОДОМ ЦАРЕВИЧЕ И ЕГО СТАРЫХ ВРАГАХ

Молодой царевич после смерти отца вступил на престол. Он только тогда смог начать спокойно править страной, когда отделался от старых сановников своего отца.

РЕЧЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ — О БЫСТРЕЙШЕМ ПРОХОЖДЕНИИ ПУТИ

Здесь Низами снова говорит о себе. Он считает, что одолеть завистников можно только путем известной изворотливости.

ПОВЕСТЬ О РАНЕНОМ РЕБЕНКЕ

Мальчик играл с друзьями, упал и сильно разбился. Его друг хотел бросить мальчика в колодец, чтобы все скрыть и не отвечать перед родителями. Его враг побоялся, что подозрения тогда падут на него, пошел к отцу мальчика и все рассказал ему. Ребенок был спасен.

РЕЧЬ СЕМНАДЦАТАЯ — О ПОКЛОНЕНИИ И УЕДИНЕНИИ

В этой главе речь идет о «низшем я», о земной индивидуальности человека. Она существует лишь до последнего вздоха, после смерти же уничтожается.

ПОВЕСТЬ О СТАРЦЕ И МЮРИДЕ

Некий старец шел с толпою мюридов по дороге. Желая испытать их преданность, он внезапно выпустил громкий ветер из живота. Пораженные его невоспитанностью, мюриды разбежались. Остался лишь один из них. На вопрос старца, почему он не последовал за остальными, мюрид ответил: «Если не ветром меня принесло к тебе, то покину ли я тебя из-за первого же ветра?»

РЕЧЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ — В ОСУЖДЕНИЕ ДВУЛИЧНЫХ

Говоря о своем времени, Низами горько жалуется на падение нравов и двуличность современников. Истинным же другом можно считать лишь того, кто умеет беречь тайны.

ПОВЕСТЬ О ДЖАМШИДЕ И ЕГО ПРИБЛИЖЕННОМ

Царь Джамшид приблизил к себе некоего юношу и доверил ему свои тайны. Юноша так тщательно оберегал эти тайны, что, боясь проговориться, вообще перестал говорить и заболел.

РЕЧЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ — О ПРИЯТИИ ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ

Хоть земное «я» и конечно, но час ухода из мира — не конец всего, а момент расплаты за все. Нашедший правильный путь в жизни, поправший земные блага, может подняться выше ангела.

ПОВЕСТЬ О ХАРУНЕ АР-РАШИДЕ И ЦИРЮЛЬНИКЕ

У Харунаар-Рашида был брадобрей, который, выполняя свои обязанности, внезапно начинал говорить халифу дерзости. Решили, что он, очевидно, случайно наступает на место, где зарыт клад, ибо человека, наступившего на клад, даже если он не знает об этом, всегда обуревает гордыня. Подняли пол, раскопали землю и действительно нашли клад.

РЕЧЬ ДВАДЦАТАЯ — О ЗАНОСЧИВОСТИ СОВРЕМЕННИКОВ

Низами осыпает современников горькими упреками. Они не только не хотят признать его заслуг, но стремятся его опорочить. Поэтому лучше вообще замолчать, чтобы не подвергать себя больше нападкам.

ПОВЕСТЬ О СОЛОВЬЕ И СОКОЛЕ

Сокол потому пользуется почетом и сидит на царской руке, что он безгласен, а сладкогласный соловей живет в унижении и питается червями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КНИГИ

О писец, да пошлет тебе доброе утро Аллах!
Вот я узником стал, как перо у поэта в руках.

Этот род стихотворства превыше небесного свода.
Дал стихам мой калам все цвета, что являет природа.

Я алмазы расплавил, единым желаньем горя,
Коль не сделать кинжал, то хоть ножик сковать для царя.

Ибо в камне таилась руда для меча моих песен,
И кузнечный мой горн был для дела великого тесен.

Если б небо послало мне счастье, простив за грехи,
То полжизни своей не истратил бы я на стихи.

Сердце мне говорит, что я грех совершил в самом деле:
Под каламом моим этой книги листки почернели.

Здесь шатер новобрачных, и все, что таится внутри,
Под пером заблистало за три иль четыре зари.

Вот шашлык из ягненка — что ж дым ты глотаешь и ныне?
Что ты в вяленом мясе находишь, в сухой солонине?

Так иди же и сделай неспешность своим ремеслом,
А начнешь размышлять — размышляй с просветленным умом.

Если в слове моем отойти от добра — искушенье,
Это слово рукою сотри, я даю разрешенье.

Если поднял я стяг, где не истина знанья, а ложь,
То и слово мое, и меня самого уничтожь.

Если б я полагал, что мои сочинения низки,
То по всем городам я не слал бы в подарок их списки.

Стихотворчеством скован, я в этой сижу стороне,
Но все стороны света охотно покорствуют мне.

И сказало мне время: «Ведь ты не земля,— подвигайся!
Что бесплодно лежишь, как в пустыне земля?
Подвигайся!»

Я сказал: «Сокровеннейшим, девственным мыслям моим
Не в чем выйти: по росту одежды не сделали им.

Есть лишь полукафтан, до колен он доходит, не боле,
Потому-то они на коленях стоят поневоле.

Им бы надо украсить нарядной одеждою стан,
Встать им было б прилично, забыли бы полукафтан».

Молодой или старый, в одном все окажутся правы:
Ничего до сих пор не добился я — разве лишь славы.

Ни волненья толпы, ни червонцев не вижу за труд,—
Знай торгуй на базаре! Добьешься ли большего тут?

Как петлею Гянджа захлестнула мне шею; однако
Я, хоть петель не плел, покорил все богатства Ирака.

«Эй ты, раб! — этот крик повсеместно был поднят людьми.—
Что еще за Гянджа? И откуда и кто —Низами?»

Богу слава за то, что дописана книга до точки
Прежде, нежели смерть отказала в последней отсрочке.

Низами эту книгу старался украсить как мог —
В драгоценных камнях утопил с головы и до ног.

Благодатно да будет, что светлую россыпь жемчужин
Подношу я царю, что не менее с щедростью дружен.

Книгу птица пера в высоту от земли вознесла,
Над бумагою птица раскрыла два легких крыла,

Головою ступая, жемчужины с губ расточала:
О сокровищах тайн драгоценную книгу кончала.

Эту книгу пометить, чтоб верно судить о былом,
Надо первым рабиа и двадцать четвертым числом.

Пять веков пролетело со времени бегства пророка,
Года семьдесят два ты прибавишь для точности срока.

ПЕРЕВОД К. ЛИПСКЕРОВА

ВСТУПЛЕНИЕ

Низами просит Аллаха благословить его на создание поэмы, повести его путем истины и дать ему успех, чтобы люди испытывали радость, читая его творение.

В ВОСХВАЛЕНИЕ ЕДИНОГО ТВОРЦА

Глава содержит восхваление творца вселенной, единого и не познаваемого разумом.

В РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЗНАНИЯ РАЗУМОМ И ПРЯМОГО ПОСТИЖЕНИЯ

В главе говорится о том, что причиной вращения небесных сфер может быть только первоначальный толчок, исходящий от творца, и что в поклонении ему следует предельно умалить себя, свое «я».

МОЛЬБА О ПРОЩЕНИИ

Низами молит бога о прощении всех проступков перед ним, и прежде всего греха непокорности его велениям, молит даровать ему правый путь.

В ПРОСЛАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПРОРОКА

Глава содержит восхваление пророка Мухаммеда — последнего и величайшего из всех пророков.

ОБ УКАЗАНИИ, ПОСЛУЖИВШЕМ ПРИЧИНОЙ НАПИСАНИЯ ЭТОЙ КНИГИ

В главе рассказано о том, как иранский Сельджукид Тогрул II предложил Низами написать новую поэму о любви и обещал ему за это награду.

В ПОХВАЛУ ТОГРУЛУ

Низами восхваляет своего первого заказчика Тогрула, его мощь, его обширные владения и желает ему удачи.

В ВОСХВАЛЕНИЕ АТАБЕКА АБУ ДЖАФАРА МУХАММЕДА ДЖАХАН-ПЕХЛЕВАНА

Глава содержит восхваление второго заказчика поэмы, правителя Гянджи из династии Ильдигизидов.

ОБРАЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЦЕЛОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Низами продолжает восхваление Джахан-Пехлевана и далее говорит о своей уединенной, проходящей в молитвах жизни подвижника.

В ВОСХВАЛЕНИЕ КЫЗЫЛ-АРСЛАНА

Глава содержит восхваление третьего заказчика поэмы — Кызыл-Арслана, брата Джахан-Пехлевана, вступившего на престол после смерти последнего.

О ПРОНИКНОВЕНИИ В СУЩНОСТЬ СЕЙ КНИГИ

В этой главе Низами излагает веления тайного внутреннего голоса, голоса сердца, повелевшего ему писать лишь должное, не тратя слов даром:

Писать не надо слов, идущих не от мысли,
Их говорить нельзя. Своими их не числи.
Не сложно нанизать слова свои на стих,
Но крепость дай стихам, чтоб устоять на них.

Далее Низами рассказывает, что он в уединении предался глубоким раздумьям о том, как же ему, праведному отшельнику, создавшему уже «Сокровищницу тайн», духовную поэму, писать теперь о любви:

«Сокровищницу тайн» создать я был во власти,
К чему ж мне вновь страдать, изображая страсти?
Но нет ведь никого из смертных в наших днях,
Кто б страсти не питал к страницам о страстях,
И страсть я замесил со сладостной приправой
Для всех отравленных любовною отравой.

То есть смысл поэмы гораздо глубже, чем простое повествование о любви.

Далее Низами говорит о выборе сюжета. Предание о Хосрове и Ширин было в его времена известно. Все знали изображение коня Хосрова Шебдиза на скале Бисутун, дворец Хосрова в Медаине, выдолбленное Фархадом в скалах русло, по которому текло молоко в замок Ширин. Низами узнал это предание во всех подробностях из древних хроник, хранившихся в городе Берда'а. Рассказано о Хосрове и Ширин и в «Шахнаме» Фирдоуси, но великий поэт, когда писал эту часть эпопеи, был уже стар, любовная тема его не привлекала, и он ее отбросил. Низами решает не повторять рассказанное Фирдоуси, а изложить лишь то, что он опустил.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛЮБВИ

Всех зовов сладостней любви всевластной зов,
И я одной любви покорствовать готов!

Любовь — михраб ветров, к зениту вознесенных,
И смерть иссушит мир без вод страны влюбленных.

Явись рабом любви, заботы нет иной,
Для доблестных блеснет какой же свет иной?

Все ложь, одна любовь указ беспрекословный,
И в мире все игра, что вне игры любовной.

Когда бы без любви была душа миров,—
Кого бы зрел живым сей круголетный кров?

Кто стынет без любви, да внемлет укоризне:
Он мертв, хотя б стократ он был исполнен жизни.

Хоть над любовью, знай, не властна ворожба,
Пред ворожбой любви — душа твоя слаба.

У снеди и у сна одни ослы во власти.
Хоть в кошку, да влюбись. Любой отдайся страсти!!

Дерись хоть за нее, ну что ж — достойный гнев!
Ты без любви ничто, хоть ты и мощный лев.

Нет, без любви ничьи не прорастают зерна,
Лишь в доме любящих спокойно и просторно.

Без пламени любви, что все живые чтут,
Не плачут облака и розы не цветут.

И гебры чтут огонь, его живую силу,
Лишь только из любви к полдневному светилу.

Ты сердце не считай властителем души,—
Душа души — любовь, найти ее спеши!

Любовь поет кыблу, но помнит и о Лате,
К Каабе льнет, горит в языческой палате.

И в камне — если в нем горит любовный жар,—
Сверкнет в добычу нам бесценный гаухар.

И если бы магнит был не исполнен страсти,
Железо привлекать он не был бы во власти.

И если бы весь мир не охватила ярь,
Не мог бы привлекать соломинку янтарь.

Но сколько есть камней, которые не в силах
Привлечь соломинку,— бездушных и застылых.

И в веществах во всех — а можно ли их счесть? —
Стремленье страстное к сосредоточью есть.

Огонь вскипит в земле, и вот в минуту ту же
Расколет землю он, чтоб вздыбиться наруже.

И если в воздухе и держится вода,
Все ж устремиться вниз придет ей череда.

Для тяготения в чем сыщется преграда?
А тяготение назвать любовью надо.

О смертный, разум свой к раздумью призови,
И ты постигнешь: мир воздвигнут на любви.

Когда на небесах любви возникла сила,
Она для бытия нам землю сотворила.

Был в жизни дорог мне любви блаженный пыл,—
И сердце продал я, и душу я купил.

С пожарища любви дым бросил я по странам,
И очи разума задернул я туманом.

Любовью одарить я всех людей готов,
Возжаждавший любви пусть мой услышит зов.

Не для презренных он! Мой стих о них не тужит.
Сладкочитающим, взыскательным он служит.

Вот сказ, но исказит мои стихи певец.
Страшусь: припишет мне свои грехи певец.

В ОПРАВДАНИЕ СОЧИНЕНИЯ ЭТОЙ КНИГИ

В этой главе Низами рассказывает о том, как к нему пришел его друг, отличавшийся фанатическим благочестием и ученостью, и стал его попрекать за то, что он, праведник, автор «Сокровищницы тайн», пишет стихи о царе, жившем давно, до ислама, о зороастрийцах, «неверных», пишет о «всякой падали» вместо прославления единства Аллаха. Низами прочитал ему уже готовое начало поэмы, и благочестивый был покорен сладостью стихов, благословил его на завершение труда, но попытался давать советы. На его похвалы и советы Низами отвечает речью, проникнутой сознанием своей правоты. Фанатизму он противопоставляет светлую радость, в которой не забывают о боге.

НАЧАЛО РАССКАЗА

Так начал свой рассказ неведомый сказитель —
Повествования о канувшем хранитель:

Когда луна Кисры во мрак укрылась,— он
В наследье передал Ормузу царский трон.

Мир озарив, Ормуз державно создал право,
И правом созданным прочна была держава.

Обычаи отца на месте он держал.
И веру с милостями вместе он держал.

И, рода своего желая продолженья,
Он посвящал творцу все жертвоприношенья.

Творец, его мольбы отринуть не хотя,
Дал мальчика ему. О, дивное дитя!

Он был жемчужиной из царственного моря,
Как светоч, он светил, светилам божьим вторя.

Был гороскоп хорош и благостен престол:
Соизволеньем звезд свой трон он приобрел.

Его отец, что знал судьбы предначертанье,
Ему «Хосров Парвиз» дал светлое прозванье.

Парвизом назван был затем царевич мой,
Что для родных он был красивой бахромой.

Его, как мускус, в шелк кормилица укрыла,—
В пушистый хлопок перл бесценный уложила.

И лик его сиял, все горести гоня,
Улыбка сладкая была прекрасней дня.

Уста из сахара та́к молоко любили!
И сахар с молоком младенцу пищей были.

Как роза он сиял на пиршествах царя,
В руках пирующих над кубками паря.

Когда же колыбель ристалищем сменилась,
Им каждая душа тем более пленилась.

Был в те года храним он сменою удач,
Всему нежданному был ум его — толмач.

Уже в пять лет все то, что дивно в нашем мире,
Он постигал, и мир пред ним раскрылся шире.

Парвизу стройному лет наступило шесть,
И всех шести сторон мог свойства он учесть.

Его, прекрасного, увидевши однажды,
«Юсуф Египетский!» — шептал в восторге каждый.

И к мальчику отец призвал учителей,
Чтоб жизнь его была полезней и светлей.

Когда немного дней чредою миновало,—
Искусства каждого Хосров познал начало.

И речь подросшего всем стала дорога:
Как море, рассыпать умел он жемчуга.

И всякий краснобай, чья речь ручьем бурлила,
Был должен спорить с ним, держа в руках мерило.

Он волос, в зоркости, пронизывал насквозь,
Ему сплетать слова тончайше довелось.

Девятилетним он покинул школу; змея
Он побеждал, со львом идти на схватку смея.

Когда ж он кирпичи десятилетья стлал,—
Тридцатилетних ум он по ветру пускал.

Была его рука сильнее лапы львиной,
И столп рассечь мечом умел он в миг единый.

Он узел из волос развязывал стрелой,
Копьем кольцо срывал с кольчуги боевой.

Как лучник, превращал, на бранном целясь поле,
Он барабан Зухре в свой барабан соколий.

Тот, кто бы натянул с десяток луков,— лук
Хосровов гнуть не мог всей силой мощных рук.

Взметнув аркан, с толпой он не боялся схваток.
Обхват его стрелы был в девять рукояток.

Он Зло пронзал стрелой — будь тут хоть Белый див.
Не диво — див пред ним дрожал, как листья ив.

Коль в скалы он метал копья летучий пламень,—
Мог острие копья он вбить глубоко в камень.

А лет четырнадцать к пределу донеслись —
У птицы знания взметнулись крылья ввысь.

Он все укрытое хотел окинуть взором,
Добро и зло своим отметить приговором.

Один ученый жил, звался Бузург-Умид.
Сам разум — знали все — на мудрого глядит.

Все небо по частям постичь он был во власти,
И вся земля пред ним свои вскрывала части.

И были тайны тайн даны ему в удел.
Сокровищниц небес ключами он владел.

Хосров его призвал. В садах, к чертогам близким,
Тот речью засверкал,— мечом своим индийским.

Он в море знания жемчужины искал,
Руками он ловил, царевичу вручал.

Он озаренный дух овеял светом новым,—
И было многое усвоено Хосровом.

Кольца Кайвана свет и весь хребет земли —
Весь мир — именовать слова его могли.

В недолгий срок во власть морские взял он недра,
Все знал он, что открыл ему учитель щедро.

К познанью дух пришел из безраздумных дней.
В своем пути достиг он царских ступеней.

Когда же для него — пределов звездных друга —
Открылись все круги крутящегося круга,—

Он понял: долга нет отраднее, чем долг
Служения отцу, и пред отцом он молк.

Отец его любил сильнее всей вселенной,
Да что вселенная! — сильней души нетленной.

Чтоб долголетие любимый сын узнал,
У длинноруких всех он руки обкорнал.

И, укрощая зло, гласил стране глашатай:
«Беда злокозненным!» — и никнул виноватый.

Гласил: «Пасти коней в чужих полях нельзя,
К плодам чужих садов заказана стезя.

Смотреть на жен чужих — срамнее нету срама.
Не пребывай в дому турецкого гуляма

Иль кару понесешь достойную». Не раз
Шах в этом поклялся,— да помнят все наказ!

Он к справедливости не погашал стремленья,—
И в эти дни земля достигла исцеленья.

И выпустило мир из рук ослабших Зло.
Не стало злых людей, спасение пришло.

ВЫЕЗД ХОСРОВА НА ОХОТУ

Был весел день. Хосров, в час утренней молитвы,
Поехал по местам, пригодным для ловитвы.

Всем любовался он, стрелял зверей, и вот
Селенье вдалеке веселое встает.

И тут над розами зеленого покрова
Раскинут был ковер велением Хосрова.

Пил алое вино на травах он, и, глядь,—
Златая роза вдаль уж стала уплывать.

Вот солнце в крепости лазоревой на стены
Взнесло свой желтый стяг. Но быстры перемены:

Оно — бегущий царь — алоэ разожгло.
Раскрыло мрак шатра, а знамя унесло.

И под гору оно коня, пылая, гнало,
Мечами небосвод, ярясь, полосовало.

Но, ослабев, ушло, ушло с земли больной
И свой простерло щит, как лотос, над водой.

В селении Хосров потребовал приюта.
Для пира все собрать пришла теперь минута.

Он тут среди друзей ночную встретил тень,
Пил яркое вино, ночь обращая в день.

Под органона гул — о, звуков преизбыток! —
Пил аргаванный он пурпуровый напиток.

Во фляге булькал смех. Была она хмельна.
И сыну царскому с ней было не до сна.

С зарей Хосровов конь — безудержный по нраву —
Меж чьих-то тучных трав был схвачен за потраву.

А гурский нежный раб, всем услаждавший взгляд,
Через ограду крал незрелый виноград.

И вот лишь солнце вновь над миром засияло
И ночи голову от тела дня отъяло,—

Уж кое-кто из тех, что носят яд в устах,
Умчались во дворец, и там услышал шах,

Что беззаконие свершил Хосров, что, верно,
Ему не страшен шах, что шепот будет скверный.

Промолвил шаханшах: «Не знаю, в чем вина».
Сказали: «Путь его — неправедность одна.

И для его коня не создана ограда,
И раб его желал чужого винограда.

И на ночь бедняка лишил он ложа сна,
И арфа звонкая всю ночь была слышна.

Ведь если бы он был не отпрыск шаханшаха,—
Он потерял бы все, наведался бы страха.

Врач в длань болящего вонзает острие,
А тело острием он тронет ли свое?»

«Меч тотчас принести!» — раздался голос строгий,
И быстрому коню немедля рубят ноги,

А гурского раба владельцу лоз дают,—
Сок розы сладостной в поток соленый льют.

Оставили в жилье, где пили в ночь охоты,
Как дар, Хосровов трон искуснейшей работы.

Арфисту ногти — прочь, чтоб голос арфы смолк,
А с арфы смолкнувшей сорвать велели шелк.

Взгляни — вот древний суд, для всех неукоснимый,
Суд, даже над своей жемчужиной творимый.

Где ж правосудье днесь великое, как рок?
Кто б сыну в наши дни подобный дал урок?

Служил Ормуз огню. Свое забудем чванство!
Ведь нынешних времен постыдно мусульманство.

Да, мусульмане мы, а он — язычник был.
Коль то — язычество, в чем мусульманства пыл?

Но слушай, Низами, пусть повесть вновь струится:
Безрадостно поет нравоучений птица.

ХОСРОВ СО СТАРЦАМИ ИДЕТ К СВОЕМУ ОТЦУ

Когда Хосров Парвиз увидел свой позор,
Он призадумался, его померкнул взор.

Он понял: для себя он в прошлом не был другом.
Он понял: прав отец — воздал он по заслугам.

Все дело рук своих! И вот руками он
Бил голову свою, собою возмущен.

Двум старцам он сказал, не ощущая страха:
«Ведите кипарис к престолу шаханшаха.

Быть может, вашему заступничеству вняв,
Шах снизойдет ко мне, хоть я и был неправ».

И саван он надел и поднял меч — и в мире,
Как в Судный день, шел плач, звуча все шире, шире.

С мольбою старцы шли. Смотря смиренно вниз,
Подобно пленнику, за ними шел Парвиз.

Лишь к трону подошли,— не умеряя стона,
В прах, грешник горестный, царевич пал у трона.

«Так много горести, о шах, мне не снести!
Великим будь — вину ничтожному прости.

Юсуфа не считай ты виноватым волком.
Он грешен, но он юн, он свет не понял толком.

Ведь рот мой в молоке, и все мне в мире вновь.
Что ж мощный лев испить мою желает кровь?

Пощады! Я — дитя! Сразит меня кручина,
Не в силах вынести я гнева властелина!

Коль провинился я — вот шея, вот мой меч.
Тебе — разить, а мне — сраженным наземь лечь.

Я всякий гнет снесу на перепутьях жизни,
Лишь только б царственной не внять мне укоризне».

Так молвил чистый перл и начал вновь стенать.
И голову свою склонил к земле опять.

Покорность мудрая толпу людей сразила,
И вновь раздался плач — его взрастала сила,—

И вопли понеслись, как шум листвы в ветрах,
И жало жалости почуял шаханшах.

Он видит: сын его, хоть молод он и нежен,
Уж постигает путь, что в мире неизбежен.

Он, для кого судьба не хочет вовсе зла,
Сам хочет одного — чтоб скорбь отца прошла.

Подумай: как с тобой поступит сын,— он то же
Увидит от того, кто всех ему дороже.

Для сына ты не будь истоком зла и мук,
Преемником ему ведь твой же будет внук.

И на сыновний лик склонился взор Ормуза.
Он понял: сын ему — целенье, не обуза.

Он благороден, мудр, и как не разгадать,
Что божия на нем почила благодать.

Целуя сына в лоб, обвив его руками,
Ормуз повелевать велит ему войсками.

Когда, сойдя с крыльца, на двор ступил Хосров,
Мир засиял опять: с него упал покров.

Гадал Хосровов лик — он был для взоров пиром,—
Дано ли в будущем сиять ему над миром?

ХОСРОВ ВИДИТ ВО СНЕ СВОЕГО ДЕДА АНУШИРВАНА

Лишь кудри полночи разлили аромат,
Свет утонул во тьме и свет был тьмой объят,

И, ткани мглы развив, блеснул в выси кудесник,
Не чародей дневной, а страстных игр предвестник,—

Вошел во храм Хосров, и там, склонивши стан,
Он на ступени сел, еще шепча: «Яздан».

Вчера из чаши сна не отпил он нимало,
И дрема сладкая на юношу напала.

И деда своего увидел он во сне.
Дед молвил: «Юный свет! Весь мир в твоем огне.

Ты четырех рабов утратил ненароком.
Четыре радости тебе пошлются роком.

За то, что ты вкусил столь горький виноград,
Но горестным не стал и не померк твой взгляд,

Красавицу, о внук, обнимешь ты. Едва ли
Такую красоту созвездья создавали.

Затем: за то, что ног лишен твой лучший конь,
Но все ж тебя не жжет неистовый огонь,

Шебдиза обретешь. Его летучи ноги.
Следы его подков не врежутся в дороги.

А третья: твой отец дал бедному твой трон,
Но от несчастия в том счастью — не урон.

Утешен будешь ты сверкающим престолом.
Он Деревом златым возвысится над долом.

Четвертое: за то, что, пылкий, не вспылил,
Хоть шах прогнал певца и струн тебя лишил,—

Барбеда ты найдешь; внимать ему услада,—
Припомнившим о нем сладка и чаша яда.

Утратив камешки — клад золотой найдешь,
Костяшки потеряв — ты перлов рой найдешь».

Стряхнул царевич тьму дремотного тумана
И встал, и вновь хвалой прославил он Яздана.

Он целый день молчал, был думой взор одет,
Он будто все внимал тому, что молвил дед.

И, мудрецов созвав, он рассказал им ночью
О том, что видел он как будто бы воочью.

РАССКАЗ ШАПУРА О ШИРИН

И некий жил Шапур, Хосрова лучший друг,
Лахор он знал, Магриб прошел он весь вокруг.

Знай: от картин его Мани была б обида.
Как рисовальщик он мог победить Евклида.

Он был калама царь, был в ликописи скор.
Без кисти мысль его могла сплетать узор.

Столь тонко создавал он нежные творенья,
Что мог бы на воде рождать изображенья.

Он перед троном пал,— и услыхал Хосров,
Как зажурчал ручей отрадных сердцу слов:

«Когда бы слух царя хотел ко мне склониться,
Познанья моего явилась бы крупица».

Дал знак ему Парвиз: «О честный человек!
Яви свое тепло, не остужай наш век!»

Разверз уста Шапур. В струенье слов богатом
Он цветом наделил слова и ароматом.

«Пока живет земля — ей быть твоей рабой!
Да будет месяц, год и век блажен тобой!

Да будет молодость красе твоей сожитель!
Твоим желаньям всем да будет исполнитель!

Да будет грустен тот, кто грусть в тебе родил!
Тебя печаляций — чтоб в горести бродил!

По шестисводному шатру моя дорога.
Во всех краях земли чудес я видел много.

Там, за чредою гор, где весь простор красив,
Где радостный Дербент, и море, и залив —

Есть женщина. На ней блеск царственного сана,
Кипенье войск ее достигло Исфахана,

Вплоть до Армении Аррана мощный край
Ей повинуется. Мой повелитель, знай:

Немало областей шлют ей покорно дани.
На свете, может быть, счастливей нет созданий.

Без счета крепостей есть у нее в горах,
Как велика казна — то ведает Аллах.

Четвероногих там исчислить не могли бы.
Ну, сколько в небе птиц? Ну, сколько в море рыбы?

Нет мужа у нее, но есть почет и власть.
И жить ей весело: ей все на свете всласть.

Она — ей от мужчин в отваге нет отличья —
Великой госпожой зовется за величье.

«Шемору» видел я, прибывши в ту страну.
«Шемора» — так у них звучит «Михин-Бану».

Для месяцев любых, в земли широтах разных,
Пристанищ у нее не счесть многообразных.

В дни розы Госпожа отправится в Мугань,
Чтоб росы попирать, весны приемля дань.

В горах Армении она блуждает летом
Меж тучных нив и роз, пленясь их ярким цветом.

А осень желтая надвинется — и вот
На дичь в Абхазии вершит она налет.

Зимой она в Барде. Презревши смены года,
Живет она, забыв, что значит непогода.

Там дышит радостней, где легче дышит грудь,
Отрадный обретя в делах житейских путь.

И вот в ее дворце, в плену его красивом,
Живет племянница. Ее ты счел бы дивом.

Она что гурия! О нет! Она — луна!
Укрывшая лицо владычица она!

Лик — месяц молодой, и взор прекрасен черный.
Верь: черноокая — источник животворный.

А косы блещущей,— ведь это негры ввысь
Для сбора фиников по пальме поднялись.

Все финики твердят про сладость уст румяных,
И рты их в сахаре от их мечтаний пьяных.

А жемчуга зубов, горящие лучом!
Жемчужины морей им не равны ни в чем.

Два алых леденца, два — в ясной влаге — лала.
Арканы кос ее чернеют небывало.

Извивы локонов влекут сердца в силки,
Спустив на розы щек побегов завитки.

Дыханьем мускусным она свой взор согрела,—
И сердцевина глаз агатом заблестела.

Сказала: «Будь мой взор что черный чародей.
Шепни свой заговор всех дурноглазых злей».

Чтоб чарами в сердца бросать огонь далече,
Сто языков во рту, и каждый сахар мечет.

Улыбка уст ее всечасно солона.
Хоть сладкой соли нет — соль сладкая она.

А носик! Прямотой с ним равен меч единый,
И яблоко рассек он на две половины.

Сто трещин есть в сердцах от сладостной луны,
А на самой луне они ведь не видны.

Всех бабочек влекут свечи ее сверканья,
Но в ней не сыщешь к ним лукавого вниманья.

Ей нежит ветерок и лик, и мглу кудрей,
То мил ему бобер, то горностай милей.

Приманкою очей разит она украдкой.
А подбородок, ах, как яблоко, он сладкий!

Ее прекрасный лик запутал строй планет,
Луну он победил и победил рассвет.

А груди — серебро, два маленьких граната,
Дирхемами двух роз украшены богато.

Не вскроет поцелуй ее уста,— строга:
Рубины разомкнет — рассыплет жемчуга.

Пред шеей девушки лань опускает шею,
Сказав: «Лишь слезы лить у этих ног я смею».

Источник сладостный! Очей газельих вид
Тем, кто сильнее льва, сном заячьим грозит.

Она немало рук шипами наполняла,
Кто розу мнил сорвать, не преуспел нимало.

Узрев нарциссы глаз, в восторге стал бы нем,
Сраженный садовод, хоть знал бы он Ирем.

Как месяц, бровь ее украсит праздник каждый.
Отдаст ей душу тот, с кем встретится однажды.

Меджнуна бы смутить мечты о ней могли,—
Ведь красота ее страшна красе Лейли.

Пятью каламами рука ее владеет
И подписать приказ: «Казнить влюбленных» —
смеет.

Луна себя сочтет лишь родинкой пред ней.
По родинкам ее предскажешь путь ночей.

А ушки нежные! Перл прошептал: «Недужен
Мой блеск! Хвала купцу! Каких набрал жемчужин!»

Слова красавицы — поток отрадных смут,
А губы — сотням губ свой нежный сахар шлют.

Игривостью полны кудрей ее побеги,
А лал и жемчуг рта зовут к истомной неге.

И лал и жемчуг тот, смеясь, она взяла,
И от различных бед лекарство создала.

Луной ее лица в смятенье ввержен разум.
Кудрями взвихрены душа и сердце разом.

Красой ее души искусство смущено,
А мускус пал к ногам: «Я раб ее давно».

Она прекрасней роз. Ее назвали Сладкой:
Она — Ширин. Взглянув на лик ее украдкой,

Всю сладость я вкусил, вдохнул я всю весну.
Наследницей она слывет Михин-Бану.

Рой знатных девушек, явившихся из рая,
Ей служит, угодить желанием сгорая.

Их ровно семьдесят, прекрасных, как луна,
Ей так покорны все, ей каждая верна.

Покой души найдешь, коль их увидишь лики.
От луноликих мир в восторг пришел великий.

У каждой чаша есть, у каждой арфа есть.
Повсюду свет от них, они — о звездах весть.

Порой на круг луны свисает мускус; вина
Там пьют они порой, где в розах вся долина.

На светлых лицах их нет гнета покрывал;
Над ними глаз дурной в бессилье б изнывал.

На свете их красы хмельнее нету зелья.
Им целый свет — ничто, им дайте лишь веселья.

Но вырвут в должный час — они ведь так ловки —
И когти все у льва, и у слона — клыки.

Вселенной душу жгут они набегом грозным
И копьями очей грозят мерцаньям звездным.

О гуриях твердят, что ими славен рай.
Нет, не в раю они,— сей украшают край.

Но все ж Михин-Бану, владея всей страною,
Владеет не одной подобною казною.

Привязан в стойле конь. Дивись его ногам:
Летит — и пыль от ног не ухватить ветрам.

Его стремительность не уловить рассудком.
Он в волны бросится, подобно диким уткам.

Он к солнцу вскинется,— так что ему до стен!
Он перепрыгнет вмиг небесных семь арен.

В горах взрыхлят скалу железные копыта,
А в море пена волн с хвостом волнистым слита.

Как мысли бег его, движенья — бег времен.
Как ночь — всезнающий, как утро — бодрый он.

Зовут его Шебдиз, им целый мир гордится,
О нем грустят, как в ночь грустит Ночная птица».

Умолк Шапур, чья речь свершила все сполна:
Покой свалился с ног, а страсть — пробуждена.

«Ширин,— сказали все,— должны почесть мы
дивом».
Охотно вторят все устам сладкоречивым.

«Все, что возносит он,— возвышенным считай:
Ведь живописью он прельстил бы и Китай».

В мечтах за повестью Хосров несется следом.
Стал сон ему не в сон, а отдых стал неведом.

Слов о Ширин он ждет, и в них — она одна,—
Уму давали плод лишь эти семена.

Дней несколько о ней он был охвачен думой,
Речами ублажен. Но час настал. Угрюмый,

Он руки заломил. Весь мир пред ним померк.
В тоске он под ноги терпение поверг.

Шапура он зовет, ему внимает снова,
Но после сам к нему он обращает слово:

«Все дело, о Шапур, кипучих полный сил,
Ты прибери к рукам, я — руки опустил.

Ты зданье заложил искусно и красиво.
Все заверши. Всегда твои созданья — диво.

Молчи о сахаре. Твой сказ не зря возник.
Будь там, где насажден сей сахарный тростник.

Иди паломником туда, где этот идол.
Хочу, чтоб хитростью ты идола мне выдал.

Узнай, добра ль, узнай,— мне сердца не томи,—
Общаться может ли со смертными людьми.

И коль она, как воск, приемлет отпечаток,—
Оттисни образ мой. Внимай! Наказ мой краток:

«Коль сердце жестко в ней,— лети назад, как
шквал,
Чтоб я холодное железо не ковал».

ПОЕЗДКА ШАПУРА В АРМЕНИЮ ЗА ШИРИН

И мастер слов, Шапур, поклон земной отвесил:
«Да будет наш Хосров и радостен и весел!

Чтоб добрый глаз всегда был на его пути,
Чтоб глаз дурной к нему не мог бы подойти!»

Воздал хвалу Шапур — отборных слов хранитель,
И вот дает ответ: «О мира повелитель!

Когда любой узор мой делает калам,
То славою с Мани делюсь я пополам.

Я напишу людей,— они задышат. Птица,
Написанная мной, в небесный свод помчится.

Мне с сердца твоего пылинки сдуть позволь,
Когда на сердце — пыль, в глубинах сердца — боль.

Все, что задумал я, всегда я завершаю,
Я все несчастия от власти отрешаю.

Утихни, веселись, не думай ни о чем,
За дело я взялся — забьет оно ключом.

Нет, не замедлят путь ни усталь мне, ни хворость.
У птиц — полет возьму, а у онагров — скорость,

Я не усну, пока твой жар не усыплю,
Приду, когда Ширин прийти я умолю.

Пусть, как огонь, она скует чертог железный,
Иль будет, как алмаз, скалистой скрыта бездной.

Я силою ее иль хитростью возьму,
Схвачу алмаз, смету железную тюрьму.

Я стану действовать то розами, то терном,
Все огляжу и все свершу ударом верным.

Коль счастье в Сладостной,— найду добычу я.
Тебе должна служить удачливость моя.

А коль увижу я, что не свершу я дела,—
Вернусь к царю царей и в том признаюсь смело».

Едва сказав сие, сказавший быстро встал,
И нужное в пути поспешно он собрал.

Пустыню пересек, скакал в другой пустыне,
Спешил к Армении, к возвышенной долине.

Ведь там красавицы, бродившие толпой,
В нагорьях дни вели, покинув тяжкий зной.

Поднялся ввысь Шапур, там были в травах склоны,
Там базиликам путь открыли анемоны.

Там каждый склон горы цветов окраску взял
И в складках красных был иль желтых покрывал.

К вершинам этих гор, подъем свершая трудный,
Луга приподняли ковер свой изумрудный.

До пажитей Бугра с большой горы Джирам
Цветы сплетали вязь, подобясь письменам.

В михрабе каменном,— а он — устой Ирака,
И мощный пояс он вершины Анхарака,—

Вздымался монастырь, он был — один гранит.
Монахи мудрые устроили в нем скит.

И спешился Шапур у каменного входа:
Знавал обычаи он каждого народа.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ШЕБДИЗА

Монах рассказывает Шапуру о том, что Шебдиз был чудесным образом зачат кобылой от черной скалы, имевшей очертания коня. Ныне, говорит Низами, эта скала и стоявший неподалеку монастырь погибли, погребенные обрушившейся вершиной горы Анхарак.

ШАПУР В ПЕРВЫЙ РАЗ ПОКАЗЫВАЕТ ШИРИН ИЗОБРАЖЕНИЕ ХОСРОВА

Когда ночных кудрей раскинулся поток,
А жаркий светоч дня сгорел, как мотылек,

И черною доской, промолвив: «Нарды бросьте»,
Закрыли желтые, сверкающие кости,

Всплыл яркий Муштари, держа в руках указ:
«Шах выбрался из пут, Шапуру — добрый час».

И вот в монастыре передохнул немного
Шапур прославленный: трудна была дорога.

И старцам, знающим небес круговорот,
Шапур почтительный вопросы задает.

Не скажут ли они, куда пойдет походом
С зарей красавиц рой, к каким лугам и водам?

Велеречивые сказали старики:
«Для неги дивных жен — места недалеки.

Под грузною горой, там, на дремучих скатах,
Есть луг, укрывшийся меж зарослей богатых.

И кипарисов рой сберется на лужок,
Лишь их проснувшийся овеет ветерок».

Шапур, опередить стремясь кумиры эти,
Свой нояс затянул, проснувшись на рассвете.

И ринулся он в лес, что вкруг лужайки рос.
Чтоб с россыпью сойтись багряных этих роз.

Взяв листик художестве, руки движеньем самым
Скупым, Хосровов лик набросил он каламом.

Рисунок довершил и в сладостную тень
Его он поместил, вложив в щербатый пень.

И, будто бы перп, унесся он отсюда.
И вот перп сошлись: они чудесней чуда.

На луг уселись в круг, смеяся и шутя,
Перевивая букс иль вязь из роз плетя,

То выжимая сок из розы ручкой гибкой,
Сияя сахарной и розовой улыбкой.

И нежит их сердца сок виноградных лоз,
И розы клонятся к охапкам нежных роз.

И, зная, что лужок чужим запретен взорам,
В хмельной пустились пляс, живым сплетясь узором.

Меж сладкоустых лиц Ширин прельщала взгляд,
Сияя, как луна меж блещущих плеяд.

Подруг любимых чтя, Ширин занировала,
Сама пила вино и милым пить давала.

Прекрасная, гордясь, что лик ее — луна,
Глядит — и художестве увидела она.

Промолвила Ширин: «Рисунок мне подайте.
Кто начертал его? Скажите, не скрывайте».

Рисунок подали. Красавица над ним
Склонилась; время шло... весь мир ей стал незрим.

Она от милых черт отвлечь свой взгляд не в силах,
Но и не должно ей тех черт касаться милых.

И каждый взгляд пьянит, он — что глоток вина.
За чашей чашу пьет в беспамятстве она.

Рисунок видела — и сердце в ней слабело,
А прятали его — искала оробело.

И девы поняли, признав свою вину:
Ширин прекрасная окажется в плену.

И в клочья рвут они утонченный рисунок:
Бледнит китайский он законченный рисунок.

И говорят они, поспешно клочья скрыв:
«Поверь, его унес какой-то здешний див.

Тут властвует пери! С лужайки — быстрым бегом!
Вставайте! Новый луг отыщем нашим негам».

Сия курильница в них бросила огонь,
И окурились все, как бы от злых погонь,

И, руты пламенем затмив звезду несчастий,
Коней погнали в степь, спасаясь от напастий.

ШАПУР ВТОРОЙ РАЗ ПОКАЗЫВАЕТ ШИРИН ИЗОБРАЖЕНИЕ ХОСРОВА

Глава почти повторяет предыдущую. Ширин резвится с подругами на новом месте, снова находит изображение Хосрова, рисунок у нее отнимают и уничтожают.

ШАПУР В ТРЕТИЙ РАЗ ПОКАЗЫВАЕТ ШИРИН ИЗОБРАЖЕНИЕ ХОСРОВА

Как души мудрецов — зеленые ковры,
А воздух — ласковость младенческой поры.

Прохладный ветерок приятней ветров рая,
Лужайка в лютиках от края и до края.

Каменья словно храм; обвили их вьюнки,
Причесывая луг, струятся ветерки.

И говор горлинок, и рокот соловьиный
Меж пламенных цветов сплелись в напев единый.

Пернатых волен лёт, не страшно им людей,
Порхают радостно меж трепетных ветвей.

Две пташки здесь и там, прижавшись друг ко другу,
Дают пример цветам, дают отраду лугу.

На луг пришел Шапур, и для услады глаз
Хосрова светлый лик он создал в третий раз.

Узрев безбурный луг под куполом лазури,
Здесь гурия вино решила пить меж гурий.

И вновь увидели красавицы глаза
То, чем смирилась бы души ее гроза.

Она поражена подобной ворожбою,
Уж дев играющих не видит пред собою.

Сосредоточен взор, встает она, идет,
Изображение в объятия берет.

Ведь в нем отражено ее души мечтанье,
И вот оно в руках! И счастье и страданье!

Она в беспамятстве, она стоит едва,
Шепча недолжные — забудем их! — слова.

Да! Коль все меры взять и слить все меры эти,
И дивов, как людей, в свои поймаем сети.

Лишь те, чей лик из роз и что подобны дню,
Столепестковую увидели родню,

Как стало ясно им, что облик сей красивый —
Не зло, что не грешны тут сумрачные дивы.

В работу мастера вгляделись,— не скрывать
Хотят ее теперь, а холить, восхвалять.

Кричат красавицы: «Пусть все придет в движенье,—
Клянемся разузнать, чье здесь изображенье!»

Увидела Ширин, что их правдива речь
И что хотят они печаль ее пресечь.

«Ах, окажите мне,— она взывает,— помощь!
Ведь от друзей друзьям всегда бывает помощь.

Чтоб дело подогнать, порою нужен друг,
Порою нужен он, чтоб дел сомкнулся круг.

Лишь с другом не темна житейская дорога,
Нет ни подобия, ни друга лишь у бога».

Промолвила Ширин с великою тоской:
«Навек утрачены терпенье и покой.

Подруги! Этот лик мы от людей не скроем.
Так выпьем за него! Веселие утроим».

И снова на лугу — веселие одно.
Пир начинается, вино принесено.

И за газелями поются вновь газели,
И голос кравчего приятней пьяных зелий.

Напиток горький пьет сладчайшая Ширин.
О, горечь сладкая! Властнее нету вин.

И с каждой чашею в томлении великом,
Ширин целует прах, склонясь пред милым ликом.

Когда же страсть и хмель ей крепче сжали грудь,
Терпенье тронулось нетерпеливо в путь.

Ширин, одну луну поставив при дороге,—
«Кто ни прошел бы здесь,— приказ дает ей строгий,—

Узнай, что делает он в этой стороне,
Об этом облике что может молвить мне».

Одних спросили вслух, других спросили тайно.
Что ж? Все таинственно и все необычайно!

И тело Сладостной ослабло в злой тоске,
И все от истины блуждали вдалеке.

И, как змея, Ширин в тоске сгибалась грозной,
Из раковины глаз теряя жемчуг слезный.

ПОЯВЛЕНИЕ ШАПУРА В ОДЕЖДЕ МАГА-ЖРЕЦА

Переодетый Шапур приходит к Ширин. Она спрашивает его, кто изображен на портрете. Шапур говорит ей, что это Хосров, и тогда Ширин раскрывает ему свою тайну — она полюбила Хосрова. Шапур признается ей, что портрет рисовал он сам, и советует Ширин отпроситься на охоту, ускакать от сопровождающих и, если она не встретит Хосрова, ехать в Медаин, где у Хосрова есть прекрасный замок. Он вручает ей перстень с именем Хосрова, который она должна предъявить привратнику.

БЕГСТВО ШИРИН ОТ МИХИН-БАНУ В МЕДАИН

Ширин просит Михин-Бану отпустить ее охотиться на быстроногом Шебдизе. Во время охоты она опережает своих спутниц и скрывается от них. Михин-Бану горюет, но она уверена, что Ширин вернется. А Ширин тем временем скачет в Медаин.

КУПАНИЕ ШИРИН В ИСТОЧНИКЕ

Рассвет; уже вдали мерцает бледный свет,
А пзнуренной мгле уже надежды нет.

Нарциссов тысячи с крутящихся просторов
Скатились. Всплыл рубин меж облачных уборов.

Полна и горечи, и страстного огня,
Ширин торопит бег прекрасного коня.

И распростерся луг, мерцающий росою,
И чистый ключ сверкнул эдемскою красою.

Стыдясь блестящих вод источника, поник,
Померк живой воды прославленный родник.

Скиталица Ширин! Ее разбито тело.
Пыль с головы до ног прекрасную одела.

Вокруг источника — услады этих мест —
Все кружится она; безлюдие окрест.

И спешилась Ширин, и скакуна — на привязь,
И взор ее блеснул, безлюдьем осчастливясь.

Источник радости к источнику идет,
Блестя, он взор небес своим блистаньем жжет.

Вот сахарный Сухейль освобожден от шерсти,
И вскрикнул Тиштрия, увидев прелесть перси.

Лазурная вилась вкруг чресел ткань. Кумир
Вошел в ручей, и вот — огнем охвачен мир.

Лазурью скрытые, чуть виделись плеяды.
Шиповник с лотосом сплетаться были рады.

Вот всю ее стеной обводит синева,
Луны над синевой сиял голова.

Сеть, свитую из кос, влачит она в затоне,
Не рыба, а луна попалась ей в ладони.

О, мускус черных кос над бледной камфорой!
Мир гаснул пред ее победной камфорой.

Иль час грядущего ее душе был ведом?
Иль знала, кто за ней сюда прибудет следом?

Из вод ключа Ширин, что сладостней всего,
Готовила джуляб для гостя своего.

ХОСРОВ БЕЖИТ ОТ ГНЕВА ОРМУЗА В АРМЕНИЮ, ПО ДОРОГЕ ОН ВИДИТ ШИРИН В ИСТОЧНИКЕ И НЕ УЗНАЕТ ЕЕ

Рассказчик, на фарси о канувшем читавший,
Рассказывал; узнал рассказчику внимавший:

Когда Хосров послал Шапура в дальний край,
Сказав: «Ты о мечтах Прекрасной разузнай»,—

И день и ночь он был в покорном ожиданье,
Что будет сладкое назначено свиданье.

С зарей и в сумерках — как солнце и луна —
Он службу нес отцу; душа была ясна.

И юный был Хосров, согласно древним сказам,
Отцовского венца излюбленным алмазом.

И хоть сиял отцу сей сладостный алмаз,
Вмиг изменилось все: дурной вмешался глаз.

Тот враг, что кознями весь край бы заарканил,
Дирхемы с именем Парвиза отчеканил.

Он их пустил гулять во многих областях;
Тревогой был объят персидский старый шах.

Он мыслит: сын игру затеял не без толка.
Захватит юный лев престол седого волка.

И царь задумался: какой же сделать ход?
Вот первый: юношу в ловушку он запрет.

О мерах думал он, но думал не глубоко:
Не ведал он игры играющего рока.

Не ведал, что всегда Хосров отыщет путь,
Что месяц молодой в оковы не замкнуть,

Что каждый, истину избрав своим кумиром,
Мир победит, ни в чем не побежденный миром.

О шахских замыслах узнал Бузург-Умид.
Он юношу сыскал, спасая от обид.

«Взгляни, твоя звезда плывет по небу книзу,
Царь в гневе на тебя,— промолвил он Парвизу.—

Пока не схвачен ты, покинь родимый край,
От кары удались и голову спасай.

Быть может, пламень сей останется без дыма,
Взойдет твоя звезда, вернешься в край родимый».

Хосров глядит: беда, плетя за нитью нить,
Ему готовит сеть, желая полонить.

К мускуснокудрым он, в спокойствии великом,
Пошел. И вымолвил Хосров месяцеликим:

«Из замка скучного я на немного дней
Уеду: пострелять мне хочется зверей.

Желаю, чтобы дни вы весело встречали.
Играйте. Никакой не ведайте печали.

Когда ж прибудет та, чей дивен черный конь,
Осанка — что павлин, улыбка — что огонь,—

О луны! Вы ее приветствуйте, в оконце
Взгляните-ка! Она светлей, чем это солнце.

Ее примите вы и станьте с ней близки,
Чтоб знала радости, не ведала б тоски.

Когда ж взгрустнет она в Дворце моем Зеленом,
Прельщенная иным: лугов зеленым лоном,

Вы луг пленительный найдите и дворец
Постройте на лугу владычице сердец».

Уже душа ему пророчила о многом,
И, говоря, Хосров был вдохновляем богом.

Слова он вымолвил, как ветер, и — смотри! —
Пошел, как Сулейман со свитою пери.

Он взвил коня, чтоб был он менее дорогу.
Он покорил себе к Армении дорогу.

Чтоб только не узреть отеческих седин,
Два перехода он, летя, сливал в один.

Но обессилели его гулямов кони
Там, где луна свой лик увидела в затоне.

Гулямам он сказал: «Тут сделаем привал,
Чтоб каждый скакуну тут корма задавал».

Хосров Парвиз один, без этой свиты верной,
Направился к ручью; рысцой он ехал мерной,

И луг он пересек, и вот его глаза
Увидели: блестит затона брюза.

Орел на привязи,— и где восторгу мера? —
Не дивный ли фазан у чистых вод Ковсера?

Конь тихо ел траву у золотых подков,
И тихо, чуть дыша, в тиши сказал Хосров:

«Когда б сей образ лун был мой,— о, что бы стало!
Когда бы сей скакун был мой,— о, что бы стало!»

Не знал он, что луну вот этот вороной
Примчит к нему, что с ней он слит судьбой одной.

Влюбленных множество приходит к нашей двери,
Но словно слепы мы: глядим, любви не веря.

И счастье хочет к нам в ворота завернуть,
Но не покличь его — оно забудет путь.

Провел царевич взор небрежно по просторам,
И вот луна в ручье его предстала взорам.

И он увидел сеть, что рок ему постлал:
Чем дольше он взирал, тем больше он пылал.

Луну прекрасную его узрели взгляды.
И место ей не здесь, а в небе, где плеяды!

Нет, не луна она, а зеркало и ртуть.
Луны Нехшебской — стан. Взглянуть! Еще взглянуть!

Не роза ль из воды возникла, полукроясь,
Лазурной пеленой окутана по пояс.

И миндаля цветком, отрадное суля,
Была вода. Ширин — орешком миндаля.

В воде сверкающей и роза станет краше.
Еще нежней Ширин — в прозрачной водной чаше.

На розу — на себя — она фиалки кос,
Их расплетая мглу, бросала в брызгах рос.

Но кудри вихрились: «Ты тронуть нас посмей-ка!
Ведь в каждом волоске есть мускусная змейка!»

Как будто их слова над ухом слышал шах:
«Ты — раб, мы — господа, пред нами чувствуй страх».

Она была что клад, а змеи, тайны клада
Храня, шептали всем: «Касаться их не надо».

Нет, в руки их не брал, колдуя, чародей,
Сражали колдунов клубки опасных змей.

Наверно, выпал ключ из пальцев садовода,—
Гранаты двух грудей открыли дверцы входа.

То сердце, что узрит их даже вдалеке,
Растрескается все — как бы гранат — в тоске,

И Солнце в этот день с дороги повернуло
Затем, что на Луну и на воду взглянуло.

Парвиз, улицезрев сей блещущий хрусталь,
Стал солнцем, стал огнем, пылая несся вдаль.

Из глаз его — из туч — шел дождь. Он плакал, млея!
Ведь поднялась луна из знака Водолея.

Жасминогрудая не видела его
Из змеекудрого покрова своего.

Когда ж прошла луна сквозь мускусные тучи,
Глядит Ширин — пред ней сам царь царей могучий.

Глядит: пред ней Хумой оседланный фазан,
И кипарис вознес над тополем свой стан.

Она, стыдясь его,— уж тут ли до отваги! —
Дрожит, как лунный луч дрожит в струистой влаге.

Не знала Сладкая, как стыд свой превозмочь,
И кудри на луну набросила, как ночь,

Скрыв амброю луну — светило синей ночи,
Мглой солнце спрятала, дня затемнила очи.

Свой обнаженный стан покрыла черным вмиг,
Рисунок чернью вмиг на серебре возник.

И сердце юноши, кипением объято,
Бурлило; так бурлит расплавленное злато.

Но, видя, что от льва взалкавшего олень
Пришел в смятение, глазами ищет сень,—

Не пожелал Хосров приманчивой добычи:
Не поражает лев уже сраженной дичи.

В пристойности своей найдя источник сил,
Он пламень пламенных желаний погасил.

Скрыть терпеливо страсть ему хватает мочи,
И от стыдливой честь его отводит очи.

Но бросил сердце он у берега ручья.
Чья ж новая краса взор утолит? Ничья.

Взгляни: две розы тут у двух истоков страсти.
Здесь двое жаждущих у двух глубин во власти.

Хосрову в первый день путь преградил поток,
Луну во глубь любви ручей любви повлек.

Скитальцы у ручьев свои снимают клади,
Размочат жесткий хлеб и нежатся в прохладе.

Они же у ключей большую взяли кладь,
И ключ все мягкое стал в жесткость обращать.

Но есть ли ключ, скажи, где путник хоть однажды
Не увязал в песке, горя от страстной жажды?

О солнце бытия! Ключ животворных вод!
И ты, рождая страсть, обходишь небосвод.

Когда он от пери отвел глаза, взирая,
Где паланкин для той, что прибыла из рая,—

Пери, схвативши плащ, из синих водных риз
Вспорхнув, бежит к коню,— и мчит ее Шебдиз.

Себе твердит она: «Коль юноша, который
Кружился вкруг меня, в меня вперяя взоры,

Не должен вовсе стать возлюбленным моим,—
Как сердце взять он мог, как завладел он им?

Сказали мне: «Хосров весь облечен в рубины»,—
На всаднике ж рубин не виден ни единый».

Не знала, что порой одет не пышно шах —
Ему грабители в пути внушают страх.

Но сердце молвило, путь преградив с угрозой:
«Стой! Этот сахар ты смешай с душистой розой.

Рисунок зрела ты, а здесь — его душа.
Здесь — явь, там — весть была. Вернись к нему спеша».

Вновь шепчет ум: «Бежать! Мой дух не будет слабым.
Не должно смертному молиться двум михрабам.

Вино в единый круг нельзя нам дважды пить.
Служа двум господам, нельзя достойным быть.

А если самого я встретила Хосрова,—
Здесь быть мне с ним нельзя. С ним встретимся мы снова.

Пусть под покровами меня увидит шах:
Кто тканью не покрыт, того покроет прах.

Ведь все еще пока укрыто за завесой,
И мне одна пока защита — за завесой».

И взвихрила орла, и вот уж — далека.
И гром копыт смутил и Рыбу и Быка,

И ветр, гонясь за ней, узнал бы пораженье.
Она была быстрей, чем времени движенье.

Победа в быстроте. Прекрасная пери
От дива унеслась. Смотри! Скорей смотри!

Мгновенье — и Хосров взглянул назад,— и что же!
Не встретил никого. Нет, мой рассказ неложен!

И начал он, дивясь, коня гонять окрест,
Но сердце взявшая ушла из этих мест.

Вот у источника он спешился; пытливый,
Склонясь, искал следов жемчужины красивой.

Дивился дух его: как быстрая стрела,
Куда направиться красавица могла?

То зорко он взирал на древние деревья...
Хосров! Иль птицами взята она в кочевья?

То очи омывал он водами ручья,—
В ручье ль его луна? О, где она, о, чья?

Он пальцев мостики облил своей слезою,
Он мост двух рук своих ломал над головою.

Поток прелестного! Ширин! Ее одну
Он видел. Он упал, как рыба в глубину.

Он горестно стенал. Поняв его стенанье,
Заплакал небосвод, пославший испытанье.

Шебдиза он искал и светлую Луну.
«Где ворон с соколом?» — будил он тишину.

Носился он кругом, как на охоте сокол.
Где ворон? Вместе с ним ушел в полете сокол.

Злой ворон быстротой какое создал зло!
Весь мир так черен стал, как ворона крыло.

День — ворон сумрачный, не сокол он красивый.
Он что колючий лес — не мускусные ивы.

Царевич ивой стал. Душа его мрачна.
И слезы падают, как ивы семена.

Где солнце? Скорбен вид согнувшегося стана.
Стан — ива. Вот и стал он клюшкой для човгана.

Из сердца пылкого пошел палящий стон:
«Да буду, как щепа, я пламенем спален!

Лишь миг я зрел весну! Горька моя утрата!
Не освежил я уст прохладою Евфрата!

Жемчужину найдя, не смог ее схватить!
Что ж! Камень я схвачу, чтоб камнем сердце бить!

Я розу повстречал, да не сорвал с зарею,—
И ветер взял ее, и мгла сказала: «Скрою».

Я снежный зрел нарцисс над гладью синих вод,—
И воды замерли и стали словно лед.

Бывает золото в воде под льдистой мутью.
Что ж сделалась она вмиг ускользнувшей ртутью!

Хума счастливую мне даровала тень,
И трон мой вознесла в заоблачную сень.

Но, как луна, я тень покрыл своей полою,
И света я лишен, и стал я только мглою.

Мой нат уже в крови. Уж близок я к беде!
Меч палача, он где еще свирепей? Где?

Возникла из ключа сверкающая роза.
Все видел я во сне. Мне этот сон угроза:

Теперь, когда в ключе уж этой розы нет,
Не броситься ль в огонь? К чему мне божий свет!

Кто мне велел: «Красу и взором ты не трогай.
Блаженство повстречав, ступай другой дорогой»?

Какой злокозненный меня попутал див?
Я сам покинул рай, разлуку породив.

Терпеньем обладать — полезен сей обычай.
Лишь мне он вреден стал: расстался я с добычей.

Я молнией души зажечь костер смогу.
На нем напрасное терпенье я сожгу.

Когда б вкусил я вод источника, такое
Из сердца своего не делал бы жаркое.

Из моря скорбных глаз я слезный жемчуг лью.
Готов наполнить им я всю полу́ свою.

Излечится ли тот, кто болен злым недугом,
Пока не пустит кровь? О рок, ты стань мне другом!»

Рыдал он у ручья меж зарослями роз,
Ладонями со щек стирая капли слез.

И падал наземь он, рассудку не внимая,
Как розы цепкие, источник обнимая.

Где стройный кипарис? Исчез! Его уж нет!
Стан юноши поник, и роз не розов цвет.

О стройный кипарис! Вот он лежит во прахе,
Трепещет, как от бурь трава трепещет в страхе.

Он шепчет: «Коль она — лишь смертный человек,
То бродит по земле, меж пажитей и рек.

Когда ж она — пери, то к ней трудна дорога,
Ведь у ключей лесных видений бродит много.

Остерегись, Хосров, уста свои запри.
Не разглашай, что ты влюбляешься в пери.

Что обрету я здесь? Мечтать ли мне о чуде?
Пери бегут людей, всегда им чужды люди.

Ведь сокол с уткою — не пара, и вовек
С пери свою судьбу не свяжет человек.

Да! Сделаться сперва я должен Сулейманом,
Потом смирять пери, за их гоняться станом!»

Он горестно роптал: «Забудь ее, забудь!»
Он жалобы вздымал, терзающие грудь.

Он сердце бедное от девы светлолицей
Отвел. К армянской он отправился столице.

ПРИЕЗД ШИРИН В ЗАМОК ХОСРОВА В МЕДАИНЕ

Судьба, нам каждый шаг назначивши, порой
Намерена своей потешиться игрой.

Пускай для бедняка придет достатка время,—
Обязан он сперва труда изведать бремя.

«Когда им на пути от тернов нет угроз,
Они,— решает рок,— не ценят нежность роз».

Верь: за чредою дней, что шли с клеймом разлуки,
Отрадней взор любви и дружеские руки.

Ширин от ручейка была уж далека,—
Но за царевичем неслась ее тоска.

И вот она, узнав, где пышный сад Парвиза,
Пылая, в Медаин направила Шебдиза.

За суженым спеша, обычай дев презрев,
Уж не была Ширин в кругу обычных дев.

И спешиться Ширин с кольцом Хосрова рада,—
Ходячий кипарис возник в ограде сада.

Прислужницы, смотря на дивные черты,
От зависти свои перекусали рты.

Но знали чин дворца — и под царевым кровом
Различья не было меж гостьей и Хосровом.

Ей молвили они: «Знать, севши на коня,
Для поклонения Хосров искал огня.

И вот достал огонь, блистающий, как зори,
И зависти огонь зажег он в нашем взоре».

И хочет знать рабынь шумливая гурьба,
Как привела сюда красавицу судьба.

«Как имя? Где взросла? Что в думах на примете?
Откуда, пташка, ты? Из чьей вспорхнула сети?»

Ширин уклончива. Не опустив ресниц,
Она им бросила крупицы небылиц.

Она, мол, о себе сказать могла бы много,
Да скоро и Хосров уж будет у порога.

«Пред сном он вас в кружок сберет, и при огне
Он сам потешит вас рассказом обо мне.

А этого коня беречь и холить надо,
Ведь ценный этот конь ценней любого клада».

Так молвила Ширин веселая,— и вот
Окружена она уж тысячью забот.

Сосуд с водой из роз ей дан для омовенья.
В конюшнях царских конь привязан во мгновенье.

Ей принесли наряд. Он был ей по плечу.
Узором жемчуга украсили парчу.

В саду ее надежд раскрылась роза встречи.
Отрадно спит Ширин, тяжелый путь — далече.

Сахароустую хранившие чертог
Рабынею сочли,— кто б вразумить их мог?

Сахароустая не чванилась. Отныне,
Играя с ними в нард, была она рабыней.

ПОСТРОЙКА ЗАМКА ДЛЯ ШИРИН

Перенесенная в цветущий Мединн,
Ко всем приветливой умела быть Ширин.

И месяц миновал в спокойствии, и снова
Покой пропал: твердят, что нет вблизи Хосрова.

Что он охотился, а будто бы потом
В Армению бежал, отцовский бросив дом.

Чем горе исцелить? Упало сердце, плача.
Воистину бежит за нею неудача!

Не долго охранял красавицу дворец,—
Уж сердце страстное измучилось вконец.

Все стало ясно ей: тот юноша, который,
Попридержав коня, во взор ей бросил взоры,

Был сам Хосров; свой путь забыв, ее одну
Он видел, он взирал, как солнце на луну.

Она бранит себя, хоть мало в этом проку,
Но вот — отвергла скорбь, но вот — покорна року.

Но вот — терпением как будто бы полна,
Но вот воскликнула: «Я тягостно больна!

Мне замок надлежит на высоте просторной
Построить, чтоб синел мне кругозор нагорный!

Горянка я. Меж роз я рождена. Тут зной
Их все желтит. На мне — нет алой ни одной!»

Подруге молвила подруг лукавых стая:
«Напрасно, как свеча, ты изнываешь, тая.

Велел властитель наш создать тебе приют
В горах, где ветерки прохладу подают.

Когда прикажешь ты — приказов исполнитель
Построит на горе отрадную обитель».

Ширин сказала: «Да! Постройте мне скорей
Дворец, как приказал вам это царь царей».

Рабыни — ревности их всех пронзало жало —
Там, где ничья душа словам их не мешала,

Строителю жужжат: «Из Вавилонских гор
Колдунья прибыла; ее всесилен взор.

Велит она земле: «Взлетай, земля!» — поспешно
Поднимутся пески, день станет мглой кромешной.

Прикажет небесам застыть — и вмиг тогда
Застынут небеса до Страшного суда.

Она велела там построить ей жилище,
Где обращает зной и камни в пепелище,

Чтоб не было окрест из смертных никого:
В безлюдии творит колдунья колдовство.

Для ве́щей ты сверши свой путь необычайный.
Найди тлетворный лог, и огненный и тайный.

Там замок сотвори не покладая рук,
А плату с нас бери какую знаешь, друг».

Потом несут шелка, парчу несут и злато:
Ослиный полный груз — строителя оплата.

Строитель принял клад. Обрадованный, в путь
Он тронулся, в пути не смея отдохнуть.

Ища безлюдных мест, он в горы шел, и горы,
На горы вставшие, его встречали взоры.

Есть раскаленный край, на мир глядит он зло.
Дитя в неделю б там состариться могло.

В фарсахах десяти он от Кирманшахана.
Да что Кирманшахан! Он марево тумана.

Строитель приступил к работе: «Не найду
Я края пламенней,— сказал он,— я в аду.

И тот, кого б сюда загнать сумели бури,
Поймет: чертог в аду построен не для гурий».

На вечер мускусом ночная пала мгла.
Не жарко,— и Ширин свой путь начать смогла.

Отроковицы с ней. Но было их немного —
Не знавших, что любви злокозненна дорога.

И в замкнутой тюрьме, в которой жар пылал,
Ширин жила в плену, как сжатый камнем лал.

И, позабыв миры, полна своим недугом,
Своих томлений жар она считала другом.

ПРИЕЗД ХОСРОВА В АРМЕНИЮ К МИХИН-БАНУ

Покинувши ручей, Хосров печален. Он
Струит из глаз ручьи; его покинул сон.

Пленительный ручей! Виденьем стал он дальним!
И делался Парвиз все более печальным!

Но все ж превозмогал себя он до поры:
«Ведь не всплыла еще заря из-за горы.

Ведь если поспешу я в сторону востока,
Мне солнца встретится сверкающее око».

И роза — наш Хосров — достиг нагорных мест,—
И к стражам аромат разносится окрест.

Вельможи у границ спешат к нему с дарами:
С парчой и золотом. Он тешится пирами.

И не один глядит в глаза ему кумир —
Из тех, что сердце жгут и услаждают пир.

Ему с кумирами понравилось общенье.
Тут на немного дней возникло промедленье.

Затем — в Мугани он; затем, свой стройный стан
Являя путникам, он прибыл в Бахарзан.

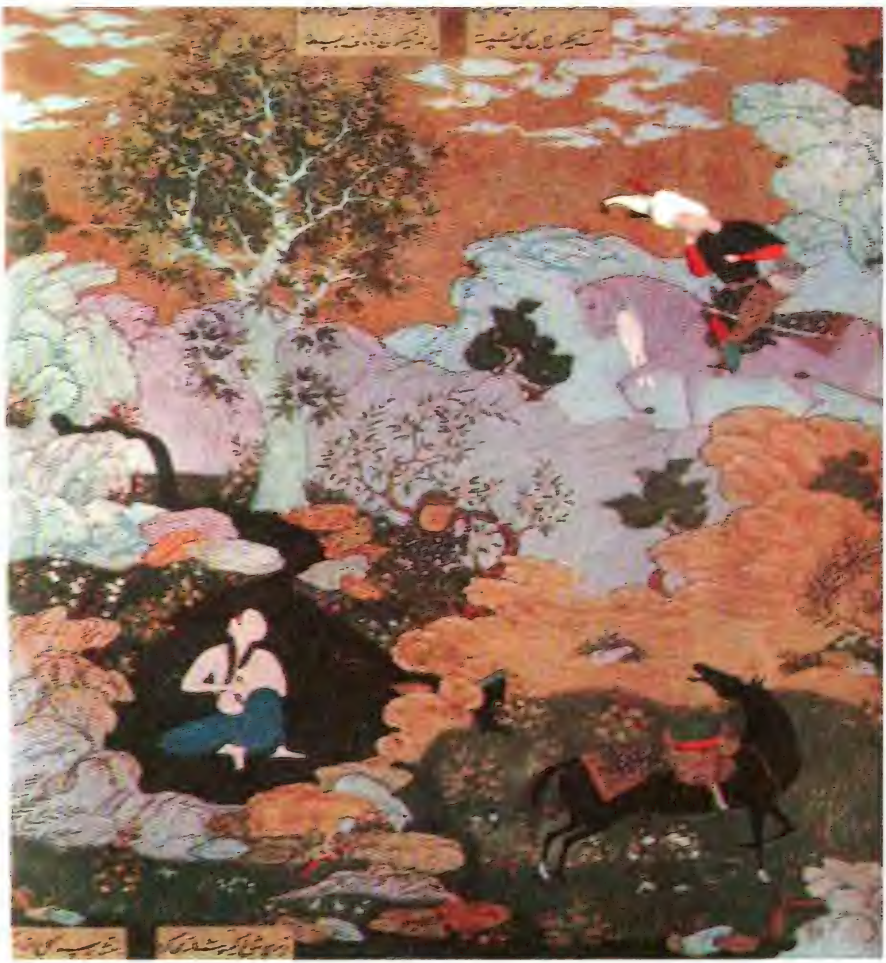
Гласит Михин-Бану: «Царевич недалече!» —
И вот уж к царственной она готова встрече.

Навстречу путнику, в тугом строю, войска,
Блестя доспехами, спешат издалека.

В казну царевичу, по чину древних правил,
Подарки казначей от Госпожи направил.

Жемчужин, и рабов, и шелка — без конца!
Изнемогла рука у каждого писца.

К Великой Госпоже вошел Парвиз в чертоги.
Обласкан ею был пришедший к ней с дороги.



Вот кресла для него, а рядом — царский трон,
Вокруг стоит народ. Садится только он.

Спросил он: «Как живешь в своем краю цветущем?
Пусть радости твои умножатся в грядущем!

Не мало мой приезд принес тебе хлопот.
Пускай нежданный гость беды не принесет».

Михин-Бану, познав, что речь его — услада,
Решила: услужать ему достойно надо.

Ее румяных уст душистый ветерок
Хвалу тому вознес, пред кем упал у ног,

Кто озарил звездой весь мир ее удела,
Любой чертог дворца своим чертогом сделал.

Неделю целую под свой шатровый кров
Подарки приносил все новые Хосров.

Через неделю, в день, что солнце почитало
Прекраснейшим из всех, каким дало начало,

Шах восседал, горя в одежде дорогой.
Он был властителем, счастливый рок — слугой.

Вокруг него цветов сплетаются побеги,
С кудрями схожие, зовя к блаженной неге.

На царственном ковре стоят рабы; ковер,
Как стройноствольный сад, Хосрову нежит взор.

Застольного в речах не забывают чина,—
И все вознесены до званья господина.

Веселье возросло,— и в чем тут был отказ?
Налить себе вина проси хоть сотню раз.

Михин-Бану встает. Поцеловавши землю,
Она сказала: «Шах!» Он отвечает: «Внемлю».

«Мою столицу, гость, собой укрась; Берда
Так весела зимой! Ты соберись туда.

Теплей, чем там зимой, не встретишь ты погоды.
Там травы сочные, там изобильны воды».

Согласье дал Хосров. Сказал он: «Поезжай.
Я следом за тобой направлюсь в дивный край».

Привал свой бросил он, слова запомнив эти,
И, званный, в «Белый сад» помчался на рассвете.

Прекрасная страна! Сюда был привезен
Венец сверкающий и государев трон.

Зеленые холмы украсились шатрами
И все нашли приют меж синими горами.

В палате царственной Хосрова — ни одну
Услугу не забыть велит Михин-Бану.

У шаха день и ночь веселый блеск во взоре:
Пьет горькое вино он Сладостной на горе.

ПИРШЕСТВО ХОСРОВА

Хосров весело пирует в Берда'а у Михин-Бану. Глава завершается рассуждением о бренности всего земного и о том, что в этой жизни надо ловить мгновения радости.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ШАПУРА

Хосров уже хмелен. Не медлит кравчий. Звуки
Порхают: чанг поет о встречах, о разлуке.

Рабыня нежная вошла, потупя взгляд,
И вот услышал он — пропавший найден клад:

«Шапур приема ждет. Впустить его иль надо
Сказать, что поздний час для встречи с ним —
преграда?»

Хосров обрадован. Вскочил, затем на трон
Себя принудил сесть, к рассудку возвращен.

Он входа распахнуть велит сейчас же полог.
Дух закипел: ведь был срок ожиданья долог.

И жил с душою он, раздвоенной мечом,
И скорбной тьмой одет, и радостным лучом.

Мы ждем — и сердце в нас разбито на две части.
Взор не сводить с дорог — великое несчастье.

Невзгода каждая терзает нашу грудь,
Невзгоды худшей нет — безлюдным видеть путь.

Коль в горести, о друг, ты смотришь на дорогу,—
Со счастьем дни твои идти не могут в ногу.

И вот Шапур вошел — Парвиз его позвал,—
И поцелуями он прах разрисовал.

И, стан расправивши, стоял он недвижимо,
С покорностью, что нам в рабах вседневно зрима.

И, на художника склонив приветный взор,
Хосров сказал: «Друзья, покиньте мой шатер».

Шапура он спросил про горы и про реки,
Про все, на что Шапур в скитаньях поднял веки.

С молитвы начал речь разумный человек:
«Пусть шаха без конца счастливый длится век!

Войскам его всегда лететь победной тучей.
С его чела не пасть венцу благополучий.

Его желаниям — удаче быть вождем.
Пусть дни его твердят: «Мы лишь удачи ждем».

Все бывшее с рабом, в пути его упорном,
Является ковром — большим, хитроузорным.

Но если говорить получен мной приказ,
Приказ я выполню; послушай мой рассказ».

С начала до конца рассказывал он мерно
О непомерном всем, о всем, что беспримерно.

О том, что скрылся он, как птица, от очей;
Что появился он, как между скал ручей;

Что он у всех ручьев был в предрассветной рани;
Что смастерил луну, уподобясь Муканне;

Что к лику одному — другой припал с алчбой;
Что бурю поднял он умелой ворожбой;

Что сердцу Сладостной, как враг, нанес он рану
И к шахскому ее направил Туркестану.

Когда его рассказ цветка весны достиг,
Невольный вырвался у властелина крик.

«Мне повтори, Шапур,— вскричал он в ярой страсти,—
Как сделалась луна твоей покорна власти?»

И геометр сказал: «Я был хитер, и рок
Счастливый твой пошел моим уловкам впрок.

Был в лавке лучника твой мастер стрел умелый
И выбрал нужный лук, давно имея стрелы.

Едва сыскав Ширин, не напрягая сил,
Серебряный кумир уже я уносил.

Уста Ширин ни к чьим устам не приникали.
Лишь в зеркале — в хмелю — свои уста ласкали.

И рук не обвила вкруг человека. Ночь
Своих кудрей не вить лишь было ей невмочь.

Так тонок стан ее, как самый тонкий волос,
Как имя Сладостной, сладки уста и голос.

Хоть весь смутила мир прекрасная луна,
Пред образом твоим смутилась и она.

Ей сердце нежное направивши в дорогу,
Я на Шебдиза речь направил понемногу.

Летящую луну конь поднял вороной.
Так все исполнено задуманное мной.

Здесь, утомившийся, остался я на время,
Хоть должен был держать я путницу за стремя.

Теперь, все трудности пути преодолев,
Она в твоем саду, среди приветных дев».

Художника обняв, подарками осыпал
Его Хосров,— и день Шапуру светлый выпал.

На рукаве своем «Сих не забыть заслуг» —
Парвизом вышито. Был им возвышен друг.

Луна в источнике, миг их нежданной встречи,
Поток ее кудрей — все подтверждало речи.

Смог также государь не мало слов найти,
Чтоб рассказать о том, что видел он в пути.

Да, пташка милая — им вся ясна картина —
Перепорхнула вмиг в пределы Медаина.

Решили всё. «Я вновь,— сказал Шапур,— лечу,
Подобно бабочке, к прекрасному лучу.

Вновь изумруд верну я руднику. Дурмана
Жди сладкого опять от нежного рейхана».

ШАПУР ВТОРОЙ РАЗ ЕДЕТ ЗА ШИРИН

Хосров во время пира сообщает Михин-Бану весть, принесенную ему Шапуром. Он решает отправить Шапура в свой родной город за Ширин. Шапур уезжает. Он находит Ширин в построенном для нее замке и поражен тем, что замок стоит среди бесплодных скал. Ширин рассказывает ему о кознях наложниц Хосрова. Ширин и Шапур отправляются в Берда'а.

ХОСРОВ УЗНАЕТ О СМЕРТИ ОТЦА

Чуть опьяненный шах вздремнул; мечтает он:
Его благой удел свой позабудет сон.

И вот спешит гонец, и вот он в шахском стане,—
И развернул Слону рассказ об Индостане.

«Где шах? Один взирай на все его края.
Ему лишь посох дан, уж нет ему копья!

Владыка мира, верь, уж не увидит мира,
А ты — владычествуй, тебе дана порфира».

И приближенные, а было их не счесть,
Друг другу не сказав, ему послали весть.

«Остерегайся. В путь сбирайся во мгновенье.
Мир выскользнет из рук, опасно промедленье.

Хоть в глине голова,— ты там ее не мой.
Хоть слово начал ты,— умолкни, как немой».

Когда Хосров узрел, что дней круговоротом
Он трону обречен и горестным заботам,—

Постиг он: с йндиго хранит поспешный рок
Бакан, и уксус дней от меда недалек,

И воздух, что родят земли неверной долы,—
То шершня кружит он, то в нем летают пчелы.

Опала, почести, любовь, и злость, и яд
С напитком сладостным — все это дни таят.

Земля! Какой ручей ты не засыплешь прахом?
Твой камень много чаш одним ломает взмахом.

Кто скован бытием — идет путями бед.
Покой — в небытии. Пути другого нет.

Брось на ветер скорей свой груз напрасный — душу!
Замкни темницу зла, моря забудь и сушу.

Весь мир — индусский вор; чтоб он не отнял кладь,
Чтоб не скрутил тебя — с грабителем не ладь.

Знай, в этой лавочке ты не отыщешь нитки
Без колющей иглы, лишь иглы в ней в избытке.

Вот тыквенный кувшин, вода в нем что кристалл.
Что ж от водянки ты, как тыква, желтым стал?

Деревьям лишь тогда в весенней быть одежде,
Когда все почки их разломятся,— не прежде.

Пока не сломит рок согнувшийся хребет,—
Он снадобья не даст для исцеленья, нет!

Наденешь саван ты, зачем же — молви толком,—
Как шелковичный червь, ты весь облекся шелком?

Зачем роскошество — носил бы полотно.
Тебя в предбаннике разденут все равно.

В простой одежде будь, она пойдет с тобою,
Пока ты бродишь здесь, дорогою любою.

Ты отряхни подол от множества потреб,
Доволен будь, когда один имеешь хлеб.

Творить неправду, мир, намерен ты доколе?
Тебе — веселым быть, мне — корчиться от боли?

Я в горе — почему ж твой слышится мне смех?
Я свержен — и тебе я не хочу утех.

Ты продаешь ячмень, а нам кричишь: пшеница!
В пшенице той ячмень сгнивающий таится.

Пшеницы я зерно, и желт я, как ячмень,
Пшеницы вкус забыл, измолот что ни день.

Довольно предлагать да прибирать пшеницу!
А мне — быть жерновом, перетирать пшеницу!

Была б ячменная лепешка, хоть одна,
Я разговлялся б ей, как по ночам луна.

О Низами! Из дней уйди ты безотрадных,
Весь этот грустный мир оставь для травоядных.

Питайся зернами да езди на осле.
Ты жди Исы, томясь в земном, житейском зле.

Ты — ослик. Вот и кладь! Одну ты знай заботу.
Ведь ослики — не снедь. Их ценят за работу.

ХОСРОВ ВОСХОДИТ НА ТРОН ОТЦА

Когда промчалась весть, что царствованья груз
Велением творца сложил с себя Ормуз,

Шах, в юном счастии не ведавший урона,
В столице поднялся на возвышенье трона.

Хоть в мыслях лишь к Ширин влекла его стезя,
Все ж царство упустить наследнику нельзя.

То государства он залечивал недуги,
То взоры обращал он в сторону подруги.

И за строительство его уж люди чтут,
Уж много областей он охранил от смут.

В несчастья ввергенных залечивалась рана:
Шах справедливостью затмил Ануширвана.

Но вот закончились насущные дела,
Опять к любви, к вину душа его влекла.

Мгновенья не был он без чаши, без охоты.
Когда ж он о Ширин вновь полон стал заботы —

Спросил придворных он, что слышали о ней.
Ему ответили: «Уже не мало дней,

Как из дворца, что там, где сумрачно и хмуро,
Она умчалась прочь. С ней видели Шапура».

Круговращеньем бед внезапно поражен,
Шах небо укорял. Но что мог сделать он?

Воспоминания он предавался негам,
И черный конь прельщал его горячим бегом.

Как ночь его Шебдиз, ну, а луны — все нет!
Он камнем тешился, но помнил самоцвет.

ШАПУР ПРИВОЗИТ ШИРИН К МИХИН-БАНУ

Ширин в ее края примчал художник снова,—
Но встреча не сбылась: там не было Хосрова.

С Гульгуна сняв Ширин, в цветник Михин-Бану
Ее он снова ввел, как светлую весну.

И снова гурия меж роз родного края
Дарила свет очам, огнем очей играя.

И приближенные, и слуги, и родня,
Которые давно такого ждали дня,

Увидевши Ширин, ей поклонились в ноги,
И, прахом ставши, прах лобзали на дороге.

И благодарственным моленьям и дарам
Предела не было, и был украшен храм.

А что с Михин-Бану? Да, словно от дурмана,
Ей тесно сделалось в пределах шадурвана,

Как сердцу старому, что стало юным вновь,
Что мнило умереть, а в нем взыграла кровь.

Беглянки голову Бану к себе прижала —
И пробудился мир, и начал жить сначала.

Как ласкова Бану! Какой в ней пламень жил!
Ну кто хоть в сотне строк все это б изложил?!

Введя Ширин в простор дворцового предела,
Ей предложила все: «Что хочешь, то и делай!»

Покровами стыда ей не затмив чела,
Ей омрачить чела печалью не могла.

Ведь понимала все: ее побег — сноровка
Неопытной любви, влюбленности уловка.

И в шахе виделись ей признаки любви.
Ей шепот лун открыл огонь в его крови.

Вино бродящее укрыть она старалась,
Свет глиною укрыть — хоть солнце разгоралось.

Бану твердит Луне: «Покорной надо стать,
Домашний, тихий мир, как снадобье, принять».

И с ней она нежна и создала — в надежде
Все прошлое вернуть — все то, что было прежде.

И снова куколок, прекрасных, как весна,
Дано ей семьдесят,— чтоб тешилась она.

Круговорот небес, что кукольник, баюкал
И пробуждал к игре сереброгрудых кукол.

Ширин, увидев их,— как прежнею порой,
Луною рассекла веселый звездный рой.

Вновь у себя Ширин. Как праздник новоселья —
Опять открыл базар досуга и веселья.

БЕГСТВО ХОСРОВА ОТ БЕХРАМА ЧУБИНЕ

Победы ключ сверкнул и грозен стал: могуч
Рассудок — золотой преодолений ключ.

Рассудок победит могучих с их мечами.
Венец, прельщая всех, царит над силачами.

Лишь разуму дано тьму воинов смести,—
Мечом ты их сметешь не больше десяти.

На трон взошел Парвиз. Все помыслы Бехрама
К Парвизову венцу влекли его упрямо.

И он схватил венец, когда к нему простер
Он руку ловкую. Был ум его остер.

И клевету творить Бехраму — не в обузу,—
Он всем шептал: «Хосров пронзил глаза Ормузу»,

Хоть знал он, что, когда Юсуф умчится вдаль,
Якубу — света нет: все затемнит печаль.

Он тайно разослал посланья людям разным,
Благое исказив рисунком безобразным.

«Ребенку ли владеть вселенной суждено?
Отцеубийце быть владыкой не дано.

Ста братьев кровь прольет он за глоток напитка,
Напитка, что в домах имеем до избытка.

Арфисту — царство даст: над арфами дрожит.
Что царство! Песнею он больше дорожит.

Горячий — он путей к делам не примечает,
Незрелый — он добра от зла не отличает.

Клеймо любовных игр горит на нем. И страсть
К неведомой Ширин над ним простерла власть.

Злой, обезглавливать за малое готовый;
Утратив голову, не обретают новой.

Оковы бы сковать, чтоб им греметь на нем!
Исправить бы его железом и огнем!

Пусть покорится нам! Не покорится — верьте,
Отцеубийцу нам предать разумней смерти.

Ему закройте путь, нежданный меч воздев,
И знайте — я иду, могущественный лев».

Вот так-то этот лев, взыскующий признанья,
Свел шахских подданных с дороги послушанья.

И видит шаханшах — счастливый рок смущен,
И подданных своих в смятенье видит он.

И силу счастья он крепил казной златою,
И слепоту врага он множил слепотою.

И так тянулись дни. Но враг привел войска,—
И тотчас поднялась восстания рука.

Опоры не было — был сломлен трон Парвиза,—
И с трона пересел он на спину Шебдиза.

От вихрей, взвившихся из-за камней венца,
Он голову унес: она ценней венца,

Уж венценосца нет. Владычества порфира
И мира — брошена возжаждавшему мира.

Когда по воле звезд узрел смятенный шах
Меча Бехрамова над головою взмах,—

В сей шахматной игре, что бедами богата,
Без «шаха» для него уж не было квадрата.

С уловок сотнею, свой потерявши сан,
По бездорожию проникнул он в Арран.

Оттуда он в Мугань направился: в Мугани
Жила Ширин; в сей храм свои понес он дани.

ВСТРЕЧА ХОСРОВА И ШИРИН НА ОХОТЕ

Хосров приезжает в Мугань, во владения Михин-Бану. Он едет в степь охотиться и случайно встречает Ширин, которая тоже выехала с подругами на охоту. Узнав друг друга, они теряют сознание. Придя в себя, Ширин приглашает Хосрова во дворец Михин-Бану. Михин-Бану устраивает пиршество.

НАСТАВЛЕНИЕ МИХИН-БАНУ ШИРИН

Михин-Бану видит: Хосров и Ширин любят друг друга. Она боится, что охваченная страстью Ширин раньше времени уступит домогательствам Хосрова и будет опозорена и брошена великим шахом, непостоянным в своих увлечениях. Она умоляет Ширин быть стойкой — лишь тогда Хосров пойдет на сватовство, и Ширин станет царицей. Ширин клянется, и Михин-Бану разрешает ей постоянно видеться с Хосровом.

ХОСРОВ И ШИРИН ИГРАЮТ В ЧОВГАН

Хосров со своими приближенными и Ширин с подругами целый месяц то играют в човган, то охотятся. Девушки не уступают юношам в силе и ловкости. Хосров зовет как-то Ширин на пир, но она отвечает: «Спокойной ночи, шах!»

ОПИСАНИЕ ВЕСНЫ И ВЕСЕЛИЯ ХОСРОВА И ШИРИН

Наступает прекрасная весна — пора любви. Хосров и Ширин бродят по горам, собирают цветы, пируют. Хосров счастлив — «Ширин с ним хороша».

ХОСРОВ УБИВАЕТ ЛЬВА ВО ВРЕМЯ ПИРА

С Ширин гуляет шах меж радостных долин.
Прекрасно все окрест, прекрасно, как Ширин.

Когда желанная — вершина мирозданья,
То место каждое есть место любованья.

И, отдыха ища, глядят: невдалеке
Лишь лилии цветут на сладостном лужке.

И, колышками прах в таком раю ударив,
С поспешностью шатер воздвигли государев.

Гулямы, девушки вокруг шатра видны —
Иль вереница звезд блестит вокруг луны?

Сидят Хосров с Ширин и песен внемлют звуку,—
Они ведь за ноги повесили разлуку.

Вот кравчий накренил рубиновый сосуд,
И струны говорят: дни радость принесут.

Влюбленность и вино! В них — неги преизбыток.
Пьянит царя царей сей смешанный напиток.

Но вот внезапно лев скакнул из-за куста,
И в воздух взвил он пыль ударами хвоста.

Как пьяный, бросился к стоянке он с размаха,
И наземь воины попадали со страха.

И, подскочив к шатру и яростью горя,
Сын логовищ лесных взметнулся на царя.

В рубахе, без меча, в свою удачу веря,
Нетрезвый шаханшах опережает зверя.

До уха натянул он лука тетиву —
И грузно рухнул лев: пронзил он сердце льву.

Льва обезглавили. И вскоре светло-бурой,
Умело содранной, все любовались шкурой.

И повелось в стране с Хосрововых времен:
Хоть пиршествует царь — меч сохраняет он.

Хоть мощен был Парвиз, как лев пустыни дикой,
Но был владыкой он — медлительны владыки.

В хмелю он победил своим уменьем льва.
Не хмелем славен стал, а одоленьем льва.

И эту крепкую, прпученную к луку,
Спасенная Луна поцеловала руку.

Как розовой воды коснулся сладкий рот.
И вот в ладонь царя горсть сахару кладет.

С прекрасных уст печать уста царя сломали,
Чтоб не ладони сласть, а губы принимали.

Поцеловав уста, он вымолвил: «Вот мед!
Вот поцелуев край, куда наш путь ведет».

Тот поцелуй гонцом был первым, чтоб второго,
Такого же, ей ждать от жадного Хосрова.

Но хоть и множество мы выпьем ночью чаш,
Все ж чаша первая милей всех прочих чаш.

О хмель, что нам испить дают впервые чаши!
Что́ вин изведанных — пусть огневые — чаши!

При первой чаше мы восторг найдем в вине,
Испив последнюю, печаль найдем на дне.

И роза первая среди весенних станов
Благоуханнее десятка гюлистанов.

В жемчужнице зерну отрадно первым быть.
Что зерен перед ним последующих нить!

И мало ли плодов мы сладостных встречали,
И что же! Каждый плод нам сладостней вначале.

И вот напиток нег обжег влюбленным рот,—
И отвели они поводья всех забот.

Спеша к безлюдному чертогу или лугу,
Как молоко к вину тянулись друг ко другу.

Так руку за добром протягивает вор,
Увидевши, что страж смежил беспечный взор.

И за врагом они одним следили глазом,
Другим они к цветам тянулись и к алмазам.

Лишь на мгновенье враг позабывал свой страх,—
Они лобзание хватали второпях.

Когда в руках Ширин вина не примечалось,—
То птица райская к ее устам не мчалась.

Когда ж она была беспечной от вина,
То и на ней была любовная вина.

Так мощно он сжимал ее в объятье рьяном,
Что горностай ее в шелку скрывался рдяном.

Так рот его впивал атлас ее щеки,
Что меж румяных роз возникли васильки.

Тогда, из-за стыда пред синими следами,
И по небу луна шла синими садами,

Держа в час трезвости и в ночи пьяных гроз
Белила в скляночке, подобно розе роз.

РАССКАЗЫВАНИЕ ПРИТЧ ХОСРОВОМ, ШИРИН, ШАПУРОМ И ДЕВУШКАМИ

Весна. Ночь. Хосров и Ширин, окруженные придворными, пьют вино, слушают пение. Хосров велит подругам Ширин рассказывать притчи. Каждая рассказанная притча имеет один и тот же смысл: Хосров, наконец, обрел Ширин. Затем Ширин и Хосров говорят о своей любви.

ХОСРОВ И ШИРИН ОСТАЮТСЯ ОДНИ

Весной, в такую ночь, каких у нас немного,
Блеснул блаженства лик, судьбы пришла подмога.

В день обратила ночь высокая луна:
Ведь чашу подняла огромную она.

И в лунном пламени — о, света переливы! —
Вновь полилось вино под зыбкой сенью ивы.

И пересвисты птиц и крики: «Нушануш!» —
И где разлуки грусть? Она ушла из душ.

Луна ручью в стихах передавала тайны;
Их ветер толковал — толмач необычайный.

Сад кипарисов-слуг сновал на берегах.
Весенняя пора кипела в их сердцах.

Один не кубок взял, а бубен. У другого
Сосуд с водой из роз. И вина льются снова,

И чаша не один свершила круг,— и сна
Сердца возжаждали от сладкого вина.

И, разрешения спросивши у Хосрова,
Все с пиршества ушли, с веселого, с царева.

И виночерпиям уж не хватало сил.
И дремный дух певцов покоя запросил.

Без соглядатаев укромный пир! Подобен
Он розе без шипов: он сладок и незлобен.

С пути терпения шах удалился; он
Уж загоняет дичь в желания загон.

Он кудри Сладостной своими сжал перстами,
Забывши о перстах, простершихся над нами.

Ее целует он: «Я — в рабстве, ты — мой рок.
Я — птица. Дай зерна. Попал я в твой силок.

Ты прошлому скажи: быть не хочу с тобою.
Упьемся новым днем и новою судьбою.

Здесь только ты да я! Ну, оглянись, взгляни!
Чего страшиться нам? Ты видишь — мы одни.

Горит моя душа! Я жажду благостыни!
Ведь ты — моя судьба; будь ею ты и ныне!

Любовь — плодовый сад, родиться должен плод.
Во мне надежда есть, а в чем ее оплот?

Пускай воздвигнут мост из камня голубого,—
Коль мост непроходим, о нем не молвят слова.

Овечьей печени ждет пес у мясника,—
Да знает лишь свою: в ней горькая тоска.

И тьма солончаков, казавшихся водою,
Рты жаждущих воды зарыла под землею.

И в чашу для чего смертельный налит яд,
Который сладостью является на взгляд?

Сверлят жемчужину, когда она влажнее.
Сверлить ее потом ведь было бы сложнее.

Молочным следует барашка свежевать —
Его, подросшего, ведь может волк задрать.

Лишь только голубок начнет взлетать высоко, —
Ласк не увидит он: в него вопьется сокол.

Подобной льву не будь, смири ненужный гнев.
Есть руки у меня, чтоб стал смиренным лев.

Хоть горд нагорный путь прыгучего джейрана,
Есть руки длинные у хитрости аркана.

Пускай быстрей ветров газель несется вскачь,—
Собака шахская не знает неудач.

Что родинки беречь, таить под спудом кудри?
Ты, подать уплатив, поступишь всех премудрей.

Купец! Где сахар твой? Знать, сто харваров есть?
Что ж двери на замке, коль сахара не счесть?

Ведь и́ндиго, торгаш, находит спрос; уныло
Не хмурься. Вскрой тюки, будь ты хоть в глубях Нила».

ПЕРВЫЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

И сахар дать ответ ему был нежный рад.
И был ответ его — сладчайший табарзад.

«Я прах,— и пребывать со мной на царском троне
Для шаха значило б — в напрасном быть уроне.

Сочту ль за скакуна я своего осла?
Коня арабского догнать я б не смогла.

И хоть как всадница могу я подвизаться,—
С охотником на львов мне все ж не состязаться.

Моя уклончивость имеет цель, о да!
Кто сахар ест в жару? Не вышло бы вреда!

Остынем, государь! Немного подождать бы,
Чтоб сахар был тебе и мне... во время свадьбы».

Тут на ее губе жемчужинка зажглась.
И змеями она от уст обереглась.

Хоть мысль ее — строга, но, клятву дам, иное
Вещала ей душа, в томленьях тайных ноя.

Пусть, рассердясь, она, как острие, остра,—
Не страшно: розы жар — роскошнее костра.

Пусть гнев ее встает жестокой львиной гривой,—
В нем нежный горностай укрыл свои извивы.

Пусть лук ее бровей натянут — не грозна
Стрела ее очей, а томности полна.

Пусть взор ее — копье,— ведь круг войны все шире,—
Но взор к боям готов и к сотням перемирий.

«Не наноси мне ран»,— твердят уста; спроси
Ты их еще разок, услышишь: «Наноси».

Хотя ее уста прикрыло покрывало,—
Но все ж свое ушко она приоткрывала.

Колечко рта сомкнув и отклонив лицо,
Все ж понесла в ушке покорности кольцо.

То прихотливый взгляд ввергал в одни мученья,
То милосердного он полон был значенья.

Лик отвратит,— и вот: прельстительна коса.
«Простите лик»,— твердит ее спины краса.

Ширин, узрев царя в алчбе кипучей, страстной
И честность в сей игре увидевши напрасной,—

Явила блеск спины, моленья отклоня:
Ведь белой серою не загасить огня.

Иль, может быть, явя в стыдливом бегстве спину,
В нем думала зажечь раскаянья кручину?

Не то! Ее спины слоновокостный трон
Напоминал царю, чтоб трон свой занял он.

А может быть, она так поступила, дабы
Он знал, что у любви есть разные михрабы.

Что странного? Одна исчезла сторона,
Сказав: прельстись другой, еще светлей она.

Игра лукавых дев: прогонят с глаз,— и рады
Метать в изгнанников приманчивые взгляды.

Суровый скажет взгляд: «Уйди» — но погляди,—
Взгляд утешающий сказал: «Не уходи».

«Нет»,— молвила, но, глянь, «да» молвила б охотней.
За это я годов пожертвовал бы сотней!

ОТВЕТ ХОСРОВА ШИРИН

Хосров говорит Ширин о любви, умоляет ее хотя бы об одном поцелуе.

ШИРИН СНОВА ОТВЕЧАЕТ ХОСРОВУ

Ширин упрекает Хосрова в беспощадности. Мужество, говорит она, не в том, чтобы овладеть любящей женщиной, а в том, чтобы смирить себя.

ХОСРОВ УМОЛЯЕТ ШИРИН

Хосров упрекает Ширин в жестокости и снова молит о поцелуе, молит хотя бы подать ему надежду. Шепча слова любви, истомленный бесплодной страстью, он засыпает. Наутро он снова домогается Ширин, но она непреклонна.

ПОСЛЕДНИЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

И, распалившимся увидевши царя,
«Не надо,— молвила,— безумствовать, горя.

Что распалять себя? Ведь жребий незавидный
Мне сделаться, о шах, в твоих глазах бесстыдной.

Нехорошо, что ты таким огнем объят:
Ведь с разогретых роз чуть веет аромат.

Коль господин с рабом в своих речах не сдержан,
Соблазнам дерзостным его слуга подвержен.

Зачем пытаешься с рабами рассуждать,
Коль надо промолчать иль наказанье дать?

Царь, ежели под ним царевый конь хромает,
Как нужного достичь, смутясь, не понимает.

Когда минует срок твоей невзгоде,— верь,
Тобой любимое к тебе ворвется в дверь.

И пьяный для очей разумных не находка,
Коль с чашей он сидит, а на ногах — колодка.

Ты к царству устремись, а я невдалеке,
Ты в руку власть возьми, а я в твоей руке.

Венчанный! Без твоей быть не хочу я чести.
И честь твоя, и я — мы быть желаем вместе.

Честолюбива я и под ноги тебе
Повергну душу. Я — верна твоей судьбе.

Возрадуйся, ведь ты откроешь двери власти,
Ликуй, твой светел рок, минуют все напасти.

От царственных удач к любви пойдет стезя...
В тревоге отыскать сокровища нельзя.

С терпеньем ты найдешь все, что тебя чарует,
В покое обретешь ту, что покой дарует.

Язык, потом — слова; глаза, а после — свет.
Поднимется лоза, вино приходит вслед.

Не в яростном жару у мудрых дело зреет,
«От жаркой беготни козел не разжиреет».

Не должно мне, о нет, в изгнании твоем
Быть прихотью твоей, с тобою быть вдвоем.

Могу ли дружбою связаться я нестрогой,
Быть другом, что ведет недоброю дорогой?

Пусть ты и власть твоя — вы будете друзья,
Тогда, о шаханшах, с тобой сдружусь и я.

Боюсь, что, коль во мне одна твоя услада,
Меж царством и тобой останется преграда.

Коль будешь возвращен к могуществу судьбой,
То буду я, увы, утрачена тобой.

Наследьем древним был весь мир в роду Хосрова.
Ему ль наследьем стать наследника другого!

Ты хочешь мир схватить — не медли же, не стой!
Завоеватели владеют быстротой.

Чреда верховных дел идет путем размерным,
Но царство должно брать ударом быстрым, верным.

В любого шаха ты попристальней вглядись,—
Решеньем быстрым он в свою вознесся высь.

Ты юн, и мощен ты, ты создан для державы.
Ты родом царственен, прекрасный, величавый.

Стреножена страна; сбрось узы мятежа.
Очнись, и робкий враг покается, дрожа.

Рука царя, что все добудет в жизни нашей,
То быть должна с мечом, то с пиршественной чашей.

Ты должен меч поднять и кликнуть клич; ведь шесть
Пределов мира есть, и войска в них не счесть.

Удача, вымолвив: «С Хосровом рядом встану»,—
Направит камень твой ко вражескому стану.

Иль руку приложу я к делу твоему,
Иль руки за тебя в молитве подниму».

ХОСРОВ ПОКИДАЕТ ШИРИН И НАПРАВЛЯЕТСЯ В РУМ. ВЕНЧАНИЕ ХОСРОВА С МАРИАМ

И царь был распален ее великим жаром,
И на Шебдиза он вскочил во гневе яром.

Он грозно выкрикнул: «Меня не скоро жди!
Коль море иль огонь увижу впереди,

Клянусь: я от огня не отвращу Шебдиза;
И что его прыжку морей кипучих риза!

Не думаешь ли ты, что буду спать и впредь?
Ручаюсь: дремлющим Хосрова не узреть.

На высоту слона теперь я землю взрою,
И боевых слонов для смотра я построю.

И стану я как слон, могучий, грозный слон.
Я на подушке спал. Я ныне пробужден.

Я, все забыв, осла завел на эту крышу!
Свести сумею вниз! Я зов рассудка слышу.

Кувшин, что сделал я, теперь на берегу.
Сумел его слепить — разбить его смогу.

Меня ли разжигать, в меня вперяя очи,
Иль обучать гореть во мраке долгой ночи,

Не исполнением желанья устрашать
Иль мужеству меня надменно обучать?

Моя любовь к тебе меня миров лишила!
О, страсть! Тьму тем людей она голов лишила!

Я знал бы, коль во мне ты не родила б смут:
Опять края венца мне волосы сожмут.

Не голову ль мою поймала ты арканом?
Сняла его, но все ж я пленным был и пьяным.

Ты мне дала вина смертельнее огня,
И опьяненного связала ты меня.

И опьяненному твердишь ты: «Поднимайся,
На трезвого врага неистово бросайся».

Да, мы сразимся с ним! Я вражий сброшу гнет.
Но дай сперва уйти из тягостных тенет.

Душа, опомнившись, движенья захотела.
По следу двинусь я мне радостного дела.

Да, наставленье мне хорошее дано.
И совершится все, что ныне быть должно.

Ты мне сказала все о том, каков я ныне,
Ты мне поведала о зле, о благостыне.

В былом подвластен мне был необъятный дол.
Мой славен был венец, мой славен был престол.

В скитальца ты меня мгновенно обратила,
В того, кто в горестях бессменно, обратила.

Я был пришит к седлу любовною тоской.
Какой бы вихрь занес сюда меня? Какой?

Пока твоя приязнь сверкала мне украдкой,—
И речь твоя ко мне текла, как сахар, сладкой.

Тобою от любви я ныне отрешен.
На мой отъезд приказ тобою мне вручен.

Я знал, что я уйду, лишь срок укажет небо,
Ведь злонамеренным я гостем вовсе не был.

Был потчеван тобой,— и медлил потому.
Уйду, коль хлеба ты мне сунула в суму».

Гилянского коня направив из ограды,
Путем гилянским он повел свои отряды.

Сердитый на Ширин, он мрачен был, угрюм.
Поход ускоривши, направился он в Рум.

Он знал: стрела врага лететь в него готова.
Венца не стало. Шлем — вот он, венец Хосрова!

Он, зная, что пути оберегал Бехрам,
Скакал без устали по долам и горам.

Четырехкрылый был под ним орел; дракона
Хранил у пояса. Бехрам! Страшись урона!

И вот к монастырю примчался он; монах
Ютился там. То был «Всепостиженья шах».

Ему грядущее немало дел открыло,
И для Хосрова он истолковал светила.

Все стало явственней. Он мудрый дал совет.
Он изреченьями открыл Хосрову свет.

И к морю поспешил Хосров, и переходы
Он делал одвуконь. И вот сверкнули воды.

Он гнать вдоль берега гнедого не устал,
В Константинополе кайсару он предстал.

И призадумался тогда Владыка Рума,
И важное чело избороздила дума.

Удачею он счел для дома своего
Приезд Хосрова в Рум; и обнял он его.

Узнав, что в числах звезд приязнь, а не коварство,
Прибывшему решил свое вручить он царство

И дать — хоть воздвигал он христианства храм —
Парвизу в жены дочь, царевну Мариам.

И меж владыками в ночь свадьбы было много
Условий скреплено; все обсудили строго.

О Мариам, о нем, кто счастья встретил свет,
О том, какой он смог румийцам дать ответ,

Как с Ниатусом он хитро, хвостом павлина,
Построил рать, о всех походах властелина

Не стану говорить; о том сказал иной —
Бреду, а он уснул — пройдя свой путь земной.

Коль захочу я сбить былым рассказам цену,
Сказитель будущий собьет мне разом цену.

СРАЖЕНИЕ ХОСРОВА С БЕХРАМОМ И БЕГСТВО БЕХРАМА

Хосров ведет на Иран войска византийского императора. Жестокий бой. Хосров на боевом слоне — в гуще сражающихся. Бехрам повержен палицей Хосрова, но остается жив. Ему удается бежать на Восток. Войско его разбито. Глава завершается рассуждением о бренности всего земного, силе рока и непостоянстве удачи.

ВОСШЕСТВИЕ ХОСРОВА НА ПРЕСТОЛ В МЕДАИНЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ

Хосров снова восседает на троне отцов в своей столице. Он благодарен отцу Мариам за помощь, его брак с Мариам счастлив, но он не может забыть Ширин. Он вспоминает свое недолгое счастье с ней и тоскует. Перед ним встает выбор: любовь или царство? Он чувствует, что «окован золотой цепью».

СТЕНАНИЯ ШИРИН В РАЗЛУКЕ С ХОСРОВОМ

Ширин рыдает в одиночестве. Она то упрекает злую судьбу, то вновь надеется на свидание, то ей кажется, что она должна была уехать с Хосровом. Из муганских степей она едет к Михин-Бану. Та утешает ее, уговаривает набраться терпения и надеяться. Ширин успокаивается.

ЗАВЕЩАНИЕ МИХИН-БАНУ

Михин-Бану призывает Ширин, передает ей ключи от сокровищницы и говорит, что больна и смерть ее близка. Она умирает. Низами говорит далее о бренности, призывает не обольщаться быстротечным миром. Ведь смерть неизбежна, а прожившему сладостную жизнь она будет особенно горькой. Мудрец ценит в себе лишь чистую сущность, бессмертную душу.

ВОЦАРЕНИЕ ШИРИН

Ширин восходит на престол после смерти Михин-Бану. Она правит справедливо. освобождает узников, отменяет налоги. Народ ее полюбил, страна процветает. Но молодая царица не может забыть Хосрова. Для нее, как и для ее любимого, любовь ценнее власти. Она узнает о победах Хосрова, о его браке с Мариам, о данной им Мариам клятве верности и горюет. Через год Ширин, не выдержав тоски, передает власть наместнику и едет в замок, построенный для нее в Иране по приказу Хосрова.

ПРИБЫТИЕ ШИРИН В ГОРНЫЙ ЗАМОК

Гульгун навьючен; в путь пуститься вышло время.
Ширин в седле, Шапур ее хватает стремя.

Ширин сбиралась в путь, окружена гурьбой
Красавиц; только тех взяла она с собой,

От коих в дни трудов и в час досужий смеха
И помощь ей была, и светлая утеха.

Динары и парчу с собой она взяла.
Четвероногих взять приказ она дала:

«Верблюдов и коней, овец, коров!» И долам
Дано наполниться потоком их веселым.

К чертогу горному спешит она; стада
За нею тянутся, как зыбкая гряда.

И в раковине блеск вновь затаился щедрый.
И драгоценный лал вновь погрузился в недра.

Индийской топи мгла клад убрала от глаз,
В кремнистый лог тоски запрятался алмаз.

Но от жемчужины блеснул окрестный камень.
Так мрачный храм огня вмиг озаряет пламень.

От лика Сладостной, что розовей весны,
Тюльпаны меж камней нежданные видны.

От пламени Ширин, что разгорался яро,
В горячем воздухе все больше было жара.

И царь, проведавши, что друг невдалеке,
В надежде возомнил: срок миновал тоске.

Но страх пред Мариам сражал огонь порыва:
Глядела Мариам в глаза его пытливо.

Не знал он, как завлечь Ширин в свой паланкин,
Не ведал, как бы мог он встретиться с Ширин.

Лишь вестью о Луне, лишь ветром он доволен,
Что плыл с ее путей. Он вновь любовью болен.

Взывая каждый миг: «Где милая моя?»,
Он извивается в томленье, как змея.

ХОСРОВ УЗНАЕТ О СМЕРТИ БЕХРАМА ЧУБИНЕ

Власть Хосрова укрепляется, его могущество растет. Его двор великолепен. Однажды утром ко двору прибывает гонец и сообщает, что Бехрам Чубине умер. Хосров произносит назидательную речь о коварстве и хитростях Бехрама, о вреде заносчивости и необходимости чувства меры, о справедливости. Вельможи плачут. Хосров три дня скорбит по поводу смерти своего заносчивого врага. Эта смерть — напоминание о тщете всего земного.

ХОСРОВ ПРИЗЫВАЕТ БАРБЕДА

На четвертый день — пир. Хосров велит позвать знаменитого певца Барбеда, обещанного ему Ануширваном в вещем сне, чтобы певец развеял его тоску по Ширин. Барбед дивно поет. Следуют названия его песен. После каждой песни Хосров испускает одобрительный возглас «зих» и дарит Барбеду по кошелю с золотом. В заключение Низами гордо говорит о своей честной бедности отшельника:

Я не храню мошны, лишь речь моя богата,
Царь злата не давал, и не просил я злата.

ХОСРОВ ПРОСИТ У МАРИАМ СНИСХОЖДЕНИЯ К ШИРИН

Лишь из кармана тьмы явился месяц,— горы
Прикрыли им чело, явив свои просторы,

Из трапезной пошел в опочивальню шах.
Опять одну Ширин в своих он видел снах.

Но лишь его слова о Сладкой зазвучали,
Рот грустной Мариам стал горьким от печали.

В своей тоске поник пред Мариам Хосров,
Ису он поминал среди потока слов.

«Я знаю: хорошо то, что Ширин далеко.
Мне в рану сыпать соль ее не может око.

Все ж радостны враги, поступок мой браня,
И обесславлена она из-за меня.

Когда б сюда Ширин явилась без опаски,
Все к справедливой бы приблизилось развязке.

Из горного дворца позволь Ширин мне взять,
Среди дворцовых дев приют ей оказать.

Когда на лик Ширин взгляну хоть ненароком,
Пускай расстанусь я с моим горячим оком».

Сказала Мариам: «О мародержец! Ты,
Как звезды, на людей взираешь с высоты.

С тобою распрю мир оставил за вратами,
Склоняешь небеса ты властными словами.

Коль имя Сладостной твоей душе — халва,
Тебе не сладостна и неба синева.

Ты с мягкою халвой свои уста сливаешь.
К чему ж остывший рис ты все подогреваешь?

К чему тебе шипы? Здесь каждый финик — твой.
Верь, лишь бездымною все тешатся халвой.

В один ларец меня упрятать с ней — затея
Не вавилонского ли это чародея,

Что знает множество присказок,— и, народ
Сзываючи, пустить готов любую в ход?

Нас разлучат с тобой Ширин лукавой руки.
Тебе — довольным быть, мне ж — горевать в разлуке.

Ведь чары Сладостной я знаю хорошо.
Такие сказки я читаю хорошо.

Есть жены, до пяти не сосчитают с виду,
А хитростью пути отрежут Утариду.

На обливных горшках узоры рассмотри:
То — жены: ясный блеск, да мерзостно внутри.

И верности искать в миру, что полон яда,
У сабли, у коня, у женщины — не надо.

Мужскую верность ты жене не вложишь в грудь.
Промолвил «женщина» — о верности забудь.

Мужчины ищут путь, что служит им защитой.
Но в женах не найдут игры они открытой.

Из левого бедра мы вышли. Должен знать,
Что в левой стороне вам правой не сыскать.

Что тянешься к Ширин? Она не знает бога.
Тебе лишь бедами грозит ее дорога.

Узнаешь ревность ты, она — причина бед.
Когда ж ты не ревнив, ты не мужчина, нет!

Так шествуй же один,— и, лилии подобно,
Веселое чело ты вознеси свободно».

И молвит Мариам с горячностью большой:
«Клянусь я разумом, и мудрою душой,

И кесаря венцом, и шаханшаха саном,—
Коль двинется Ширин к прекрасным нашим странам,

Петлею мускусной тоску я утолю,
Тобой обижена, себя я удавлю.

Пусть ей меж голых гор чертог послужит кровом.
Ведь населенных мест не видеть лучше совам».

Из речи Мариам Хосров постиг одно:
Двум женщинам вовек ужиться не дано.

Он после речь свою с конца другого строил,
Терпенье проявил и ласковость утроил.

И приезжал Шапур к Хосрову: из долин
Печальных привозил он вести о Ширин.

И возвращался он с уловкою привычной.
От кровопийцы вез ответ он горемычной.

Ширин такой игре дивится: столько дней
Томленье сносит шах, все думая о ней!

Все ж сердцем ведала: его любовь — не ржава,
Но в терпеливости нуждается держава.

ХОСРОВ ПОСЫЛАЕТ ШАПУРА ЗА ШИРИН

Шапуру вымолвил однажды властелин:
«Доколе тосковать я должен по Ширин?

Ты в башню Лунный Свет введи ночной порою,
И, словно лал в ларце, я там его укрою.

Свои возвратив престол, державу берегу
И быть с желанною открыто не могу.

Страшусь, что Мариам в неистовой печали
Сама себя распнет, как их Ису распяли.

Для сладостной луны не лучше ль — посмотри —
Мне тайным другом быть; так дружатся пери.

Хоть на ее пути себе обжег я ноги,
Хочу ее беречь, как руку, что в ожоге.

Коль явно все свершу, жене не угодив,—
Вмиг, дива оседлав, она мелькнет, как див».

«Спокоен будь,— сказал художник островзорый,—
Я начерчу тебе китайские узоры».

И прибыл к замку он. Был замок — пенный шквал,
Шквал, что не пену вод, а пену вин взвивал.

Склоняясь пред Ширин, сказал Шапур с участьем,
Что следует порой заигрывать со счастьем:

«Чтоб гнаться за тобой, есть Рахш, но остриям
Царевых стрел сверкать мешает Мариам.

Он должен чтить ее. Он молвил мне угрюмо:
«В том клятву шахскую я дал владыке Рума».

Так выйди же со мной, мы сядем на коней,
В укромной башне ждут,— и мы помчимся к ней.

Будь с милым, час назначь утехи, а не плача.
Сумеешь — улетит соперницы удача».

УПРЕКИ ШИРИН ШАПУРУ

Ширин возмущена унизительным для нее предложением. Если бы даже сама Мариам пришла звать ее на таких условиях, говорит она, дочь кесаря была бы с позором прогнана из замка. Она упрекает Хосрова, унизившего ее, а не его посланца Шапура. Излив свой гнев, она диктует Шапуру послание к Хосрову. Сквозь новые упреки в этом послании просвечивает любовь, надежда на возвращение счастья.

НАЧАЛО ЛЮБВИ ФЕРХАДА

Серебряный кумир был весь исполнен гнева.
Подобная пери, в шелках шуршащих дева,

Там, где меж хмурых гор раскинулась тоска,
Не знала ничего приятней молока.

Хотя бы сто сортов халвы пред нею было,
И то бы молоко ей пищею служило.

Но далеко паслись ей нужные стада,
И путь к ним требовал немалого труда.

Вкруг логова тоски, по скатам гор разлитый,
Желчь источающий, рос лютик ядовитый.

И гнал стада пастух, проведавши про яд,
Туда, где пастбища угрозы не таят.

Ночь локоны свои широко разметала,
В ушко продев кольцо из лунного металла.

В кольцо тоски Луна, что жжет, тоской поя,
Кольцом, до самых зорь, свивалась, как змея.

Пред ней сидел Шапур; готовясь вновь к дорогам,
Он с грустною Луной беседу вел о многом.

В заботы, что несла услада рая, он
Вникал, и обо всем он был осведомлен.

Узнав, что пастбища в такой дали от стана,
Внимающий расцвел, как лепестки тюльпана.

Индусом пред Луной он свой склоняет лик.
Как пред Юпитером — Меркурий, он поник.

«Есть мастер-юноша,— сказал он,— будешь рада
Ты встретить мудрого строителя Ферхада.

Все измерения он разрешает вмиг.
Евклида он познал и Меджисте постиг.

С искусною киркой склонясь к кремнистой глыбе,
Начертит птицу он, сидящую на рыбе.

Он розе пурпурной даст пурпур, и меж гор
Скале железом даст китайский он узор.

Пред ним поник весь Рум, и, сделав камень плоским,
На нем рисует он, его считая воском.

Помочь твоей беде, я знаю, он бы смог,
Он — ключ, и каждый шип он обратит в цветок.

Без мастера ни в чем достичь нельзя предела.
Но мастера найдешь, и завершится дело.

Мы с ним — ровесники; в Китае рождены.
И мастером одним нам знания даны.

Тот мастер ведал все; как лучшую награду,
Мне бросил он калам, кирку вручил Ферхаду».

Когда умолк Шапур, с души Сладчайшей гнет
Был снят — докучный гнет хозяйственных забот.

День зеркало свое подвесил, и закрыла
Ночь многоокая все очи — все светила.

И стал Шапур искать, и вскоре разыскал
Того, кто был сильней неколебимых скал.

Он ввел его к Ширин. Приветливо, с поклоном,
Как гостя важного, его почтил он троном.

Вошел, с горою схож и всех ввергая в страх,
Ферхад, что груды скал раскидывал в горах.

Был высотой силач — что мощный слон; почила
В Ферхаде двух слонов чудовищная сила.

И каждый страж из тех, кем был гарем храним,
Его приветствуя, склонился перед ним.

Он засучил рукав. Как должен был по званью,
Он, препоясанный, встал пред широкой тканью.

В смущенье был Ферхад: рок на своем пиру
Вел за завесою какую-то игру.

И вот — ночной набег! Внезапное злодейство!
Рок развернул свое за тканью лицедейство.

С улыбкой, что в себя весь сахар собрала,
Вся сладость Сладостной свой голос вознесла.

Два сахарных замка сняла Ширин с жемчужин.
Стал сахар с жемчугом в одном звучанье дружен.

И Пальма Сладкая те финики дала,
Чья сладость финики терзала, как игла.

И сахар, сладость слов,— о, молоко с хурмою! —
Почтя, сказал, что мед без них пойдет с сумою.

И сахар услыхал: мир сахарный возник,—
И отряхнул полу от Хузистана вмиг.

Ее ведь Сладкою назвали,— и на диво
Беседу Сладкая вела сладкоречиво.

Ну что сказать еще? Да все, что хочешь, друг!
Пленял и птиц и рыб ее речений звук.

Когда уста Ширин свой сахар источали,
С поклопом леденцы Сладчайшую встречали.

Едва на сборище Ширин откроет рот,—
Сердца внимающих в полон она берет.

Сражала речью всех! От Сладкой оборона,
Клянусь, не найдена была б и для Платона.

В Ферхада слух вошла речь Сладостной — и жар
В нем запылал, и дух в нем стал кипуч и яр.

Смятенная душа вздох извергает жгучий,—
И падает Ферхад, как падают в падучей.

Удар по темени Ферхада жег,— и он
Крутился, как змея, ударом оглушен.

Ширин, увидевши, что сердце у Ферхада,
Как птица трепеща, свой плен покинуть радо,

Взялась его лечить, но лишь сумела сеть,
Рассыпав зерна слов, вновь на него надеть.

«О мастер опытный,— услышал он от Сладкой,—
Ты разрешенною обрадуешь загадкой.

Желание мое, о мастер, таково,
Чтоб услужили мне твой ум и мастерство.

Ты, зная мудрый труд и замыслами смелый,
Сей заверши дворец своей рукой умелой.

Ведь стадо — далеко, а в молоке — нужда,
Дай талисман, чтоб нам иметь его всегда.

Меж стадом и дворцом в фарсанга два преграда:
Уступы скал, и в них проток устроить надо,

Чтоб пастухи в него вливали молоко,
Чтоб мы сказать могли: достали молоко».

И, сладкоречия журчанию внимая,
Впал в немощность Ферхад, речей не понимая.

В свой жадный слух вбирать еще он мог слова,
Но что в них значилось, не знала голова.

Хотел заговорить,— да нет! — умолк он сразу.
Он перст беспомощно прикладывает к глазу.

Он вопрошает слуг: «Что приключилось тут?
Я пьян, а пьяные — те ощупью бредут.

Что говорила мне, мне говорите снова,
Что просит у меня, о том просите снова».

И слуги речь Ширин пересказали вновь,
По приказанию слова связали вновь.

Когда постиг Ферхад красавицы веленье,
Его запечатлел в душе он во мгновенье.

И в мыслях приступил он к сложному труду,
Подумав: «Тонкое решение найду».

Он вышел, сжав кирку; за ремесло он снова
Взялся; служить любви рука его готова.

Так яростно дробил он мускулы земли,
Что скалы воском стать от рук его могли.

Был каждый взмах кирки, когда ломал он камень,
Достоин тех камней, чей драгоценен пламень.

Он рассекал гранит киркою, чтоб русло,
Что он вытесывал, меж кряжами прошло.

Лишь месяц миновал,— и путь, киркой пробитый,
Вместить бы смог поток в разъятые граниты.

От пастбища овец до замковых ворот
Он камни разместил, укладывая ход,

И так он все свершил, что водоемы рая
Пред ним простерлись бы, ступни его лобзая.

Так слитно плитами он выложил проток,
Что между плитами не лег бы волосок.

Ложбиной, созданной рукой творца умелой,
Сумели струи течь, гонимы дланью смелой.

Пусть кажется порой: безмерного труда
Рука преодолеть не сможет никогда.

Но сто булатных гор, воздвигнутых от века,
Сумеют разметать ладони человека.

Где то, чего б не смял всесильный род людской?
Лишь смерти не сразить певечною рукой.

ПРИЕЗД ШИРИН К МЕСТУ РАБОТ ФЕРХАДА

И вот возникло то, что людям не знакомо:
Стекает молоко в пределы водоема.

И мастером Луне известие дано:
Водохранилище им сооружено.

И гурия, прибыв, всему дивясь глубоко,
Вкруг водоема шла, прошла и вдоль протока.

Ей мнилось: водоем и новое русло
Здесь только божество расположить могло.

Не дело смертного водоразделы рая,
Где бродят гурии, у млечных рек играя!

Услышал от Ширин хваление Ферхад:
«Да будешь промыслу божественному рад!»

И счастлив он, призыв от Луноликой слыша,
И был посажен он всех приближенных выше.

«Мне нечем наградить такое мастерство.
Тут и помощникам не сыщешь ничего».

У дивной, меж камней, и в полумраке ясных,
В ушах светились две жемчужины прекрасных.

И каждая красой венцу была равна.
Дань города была — жемчужинам цена.

И, серьги сняв, Ширин с пьянящею мольбою
Сказала: «О, прими! Продай ценой любою.

Когда смогу добыть я лучшее — ценой
Достойной оплачу все то, что предо мной».

Жемчужины приняв, их восхвалив, проворно
Ферхад к ногам Ширин бросает эти зерна.

И устремился он, смиряя горе, в степь.
Слезами заливал он, словно море, степь.

Нет! Страстью не затмит он созданного дела!
Он ждал, чтоб даль его забвением одела.

ПЛАЧ ФЕРХАДА ОТ ЛЮБВИ К ШИРИН

Ферхад воскрешает в памяти красоту Ширин и терзается любовью к ней. Он убегает в пустыню, в горы и безутешно рыдает там, катаясь по земле и разрывая на себе одежду. Утешать его приходят дикие звери. Его связи с миром нарушены, он отбросил свое «я» и живет лишь любовью к Ширин. Видеть издали ее замок для него — высшее счастье. Весть о его одержимости распространяется среди людей.

ХОСРОВ УЗНАЕТ О ЛЮБВИ ФЕРХАДА

И передал царю один из царских слуг
То, что сказал ему его ближайший друг.

Он слышал, что Ферхад, рыдающий в пустыне,
Лишь о себе весь мир твердить заставил ныне,

Что устремления любовного напасть
В пустыню бедняка заставила попасть.

От страсти к красоте, что всем сжигает очи,
Стеная, бродит он во мраке долгой ночи.

Он говорит: «Душа из-за Ширин больна!»
И речь его громка, и всем она слышна.

Ни стрелы, ни мечи, разящие с размаха,
Ни старцы, ни юнцы в нем не рождают страха.

Но знаю: лишь душой привязан он к Луне,
Лишь слухом о красе довольствуясь вполне.

Серебротелую всечасно поминая,
Про самого себя не помнит он, стеная.

В неделю раз он к ней приходит в замок; есть
Ему услада в том: «о ней услышит весть».

Едва лишь внял Хосров нежданному рассказу,
К грабительнице душ страсть возрастает сразу.

В соревновании бойцы отважней бьют,
Два соловья нежней над розою поют.

Коль двое второпях становятся у лавки,
Ты должен от купца ждать на товар надбавки.

Хосрова сердцу вновь ристалище дано:
Тот, сердце бросивший, с Хосровом заодно.

И по-иному шах заревновал подругу.
Придал соратник жар ревнивому недугу.

Все просит мысль его: «Ты делу помоги».
Не в глине ль он увяз? Не вытащить ноги!

Когда недуги нас охватят или скорби,
То стройный кипарис свой стан высокий сгорбит.

Очам болящего подмога не видна,
Ведь мысль болящего, как сам больной, больна.

Во здравье человек — и мысль его здорова,
А хил — всех дел его колеблется основа.

Врач, щупавший, леча, биенье многих жил,
В жару свой щупать пульс другому предложил.

СОВЕЩАНИЕ О ФЕРХАДЕ

И, отобрав людей из приближенной знати,
Шах в совещательной задумался палате.

«Как одержимого неистовство сдержать?
Как этой костью нам игральною сыграть?

Коль сохранить его — мое погибнет дело.
Сразить невинного — мне честь не повелела.

В могуществе царя я мыслил быть один.
На праздник мой прийти решил простолюдин.

Прекрасною Луной мне празднество готово.
Безумца позвала, чтоб радовать Хосрова».

И дали мудрецы царю такой ответ:
«Удача лишь тебе свой зажигает свет.

И венценосные перед тобой во прахе,
И прахом ног твоих окрест клянутся шахи.

Да будут, словно мир, твои бессмертны дни,—
Да счастью вечному сопутствуют они!

Ему, чтоб для царя не стало вновь обузы,
Из золота скуем, не из железа, узы.

Ведь зелье от тоски — липь золото, да, да.
Да! С золотом та смесь целебная всегда.

Ты призови его, ты в нем роди надежды,
Чтоб он на золото свои приподнял вежды.

За золото Ферхад и веру отметет,
За сладость звонкую от Сладкой отойдет.

Ведь с золотом мошна не мало глаз гасила.
В железе от него оскудевала сила.

Коль золотой глупца не отмести метлой,
Тогда займи его работой над скалой.

Чтоб до поры, когда его иссякнет время,
Напрасно бы он бил в скалы гранитной темя».

ХОСРОВ ВЫЗЫВАЕТ К СЕБЕ ФЕРХАДА

И, речи выслушав, уж не бродя впотьмах,
Гор сокрушителя велел доставить шах.

И вот ввели его, могучего, как горы.
Вокруг стоял народ, в него вперяя взоры.

В страданье он склонил открытое чело,
Забвение всего на мощного нашло.

Он в тягостной тоске, в смятении глубоком,
Стоял, овеянный неблагодатным роком.

На шаха не взглянув и не взглянув на трон,
Ногами в прах, как лев, уперся крепко он.

Он, унесенный прочь томленьем по прекрасной,
Счел думу о себе и о царе напрасной.

Ферхаду мощному оказан был почет.
Предложенным дарам ты потерял бы счет.

Слоноподобный сел, почтен многообразно.
Ларь с золотом, как слон, вздымался для соблазна.

Но в госте яхонтов огни сохранены,
И золото и прах для чистого равны.

Поняв, что лучший дар могучему не нужен,
Хосров разверз уста — ларец своих жемчужин.

На острые слова, что складывал Хосров,
Гость острые слова был складывать готов.

СПОР ХОСРОВА С ФЕРХАДОМ

Хосров спросил: «Ты кто? Тут все я знаю лица».
Ферхад: «Мой край далек, и Дружба — в нем столица».

Хосров: «Чем торг ведут, зайдя в такую даль?»
Ферхад: «Сдают сердца, взамен берут печаль».

Хосров: «Сдавать сердца — невыгодный обычай».
Ферхад: «В краю любви не каждые с добычей».

Хосров: «Ты сердцем яр. Опомниться спеши».
Ферхад: «Разгневан ты, я ж молвил — от души».

Хосров: «В любви к Ширин тебе какая радость?»
Ферхад: «Сладчайшая душе влюбленной — сладость».

Хосров: «Ты зришь ее всю ночь, как небосклон?»
Ферхад: «Когда усну. Но недоступен сон».

Хосров: «Когда гореть не станешь страстью злою?»
Ферхад: «Когда усну, прикрыв себя землею».

Хосров: «А если ты войдешь в ее чертог?»
Ферхад: «Я голову склоню у светлых ног».

Хосров: «А коль она твое порушит око?»
Ферхад: «Скажу: рази, второе — недалеко».

Хосров: «Когда б другой прекрасную сыскал?»
Ферхад: «Узнал бы меч, хоть был бы тверже скал».

Хосров: «Коль к ней дойти тебе не станет мочи?»
Ферхад: «Что ж! Издали луна ласкает очи».

Хосров: «Быть вдалеке не надо от луны».
Ферхад: «Больным нужна ограда от луны».

Хосров: «Коль «все отдай» она промолвит строго?»
Ферхад: «Я с воплями прошу об этом бога».

Хосров: «Коль вымолвит: «Где ж голова твоя?»
Ферхад: «...то сей заем вмиг с шеи сброшу я».

Хосров: «Любовь к Ширин исторгни ты из тела».
Ферхад: «О, чья б душа погаснуть захотела!»

Хосров: «Найди покой, не жди благого дня».
Ферхад: «Спокойствие запретно для меня».

Хосров: «Твоя стезя — явить свое терпенье».
Ферхад: «Горя, нельзя явить свое терпенье».

Хосров: «Стань терпелив, и в сердце будет свет».
Ферхад: «Хотел бы я... да вот уж сердца нет».

Хосров: «Полно скорбей любви опасной дело».
Ферхад: «Чего милей любви всевластной дело?»

Хосров: «Ей сердце дал, хоть душу сбереги».
Ферхад: «Томлюсь. Душа и сердце — не враги».

Хосров: «Чего-нибудь страшишься в этой муке?»
Ферхад: «Лишь тягости мучительной разлуки».

Хосров: «Хотел бы ты наложницу? Ответь».
Ферхад: «Хотел бы я и жизни не иметь».

Хосров: «Зачем горишь в такой любви великой?»
Ферхад: «Осведомись у сладостного лика».

Хосров: «Ты принужден о Сладостной забыть».
Ферхад: «Но без души, нам сладостной, не жить!»

Хосров: «Она — моя, забудь, что в ней услада».
Ферхад: «Забвения не стало для Ферхада».

Хосров: «Коль встречусь с ней, что скажешь мне — врагу?»
Ферхад: «Небесный свод я вздохом подожгу».

Разгневался Хосров; едва лишь не простерла
Его рука булат, чтоб вражье ранить горло.

Но мыслит: «Не страшусь, хоть все ему суля.
Не взрыть ему горы,— там скалы, не земля.

А хоть бы и земля — и с ней не будет сладу!
А хоть бы взрыл ее — куда снесет громаду?»

И быстро говорит: «Согласен я; когда
Забуду договор — да будет мне беда!

Явп в своем труде, стан подтянув потуже,
Всю силу, что живет в таком могучем муже».

И вымолвил Ферхад, не ведающий лжи:
«О справедливый шах, мне гору укажи!»

И подведен к горе, что Бисутуном ныне
Зовут, каменотес, терзавшийся в пустыне,

И явно, что Ферхад свой блеск не сохранит,
Что вся гора — тверда, что вся гора — гранит.

Но с радостной душой, подбодренный Хосровом,
Шел разрыватель гор, горя порывом новым.

Взлетел он на гору, как бурный ветер яр,
И подпоясался, и первый дал удар.

И вот он первым же руки своей движеньем
Стал покрывать скалу одним изображеньем:

Киркою стан Ширин он высек; так Мани
Свой украшал Эрженг, творя в былые дни.

И, лишнего киркой не совершая взмаха,
На царственном коне изобразил он шаха.

Так юная творить ему велела кровь.
Он был возвышенным, вела его — любовь.

Но с юным — злая весть должна коснуться слуха —
Что сделала судьба — горбатая старуха!

РАССЕКАНИЕ ГОРЫ ФЕРХАДОМ И ЖАЛОБЫ ЕГО

Недолго высекал те образы Ферхад,
Был изваянием покрыт гранитный скат.

И рассекать скалу с утра до темной ночи
Он начал. Сладостной пред ним сияли очи.

Чтоб гору побороть, свою он поднял длань,
За гранью грозная откалывалась грань.

Ударит он киркой в расщелину гранита,—
И башня тяжкая от стен его отбита.

Ударит — гору с гор руки низвергнет взмах,
Свержением громад людей ввергая в страх.

И яхонты сверлил алмазами ресниц он,
И гору умолял пред ним склониться ниц он:

«Гора! Хоть встала ты гранитною стеной,
Ты дружелюбней будь — рассыпься предо мной.

Ну, в честь мою лицо ты раздери немного!
Дай, чтоб кирке моей везде была дорога!

А нет,— клянусь Ширин! — кроша тебя, круша,
Покуда будет жить во мне моя душа,

Тебя терзать начнет, клянусь, мое упорство,
Поставлю душу я с тобой на ратоборство».

По вечерам, когда, сходя с равнин судьбы,
Свет солнца горные окрашивал горбы,

Когда по светлому узор стелился мглистый,
И поднимался стяг, и ник султан огнистый,

Близ образа Ширин Ферхад стоял в тиши,
Ища в граните след ее живой души.

Он прижимал уста к стопам изображенным,
В горах цимбалами его звучали стоны:

«Очам художников единственный михраб!
Целительница душ! Твоей поникает раб.

Ты, с сердцем каменным! Ты, с телом серебристым!
Ты сердце путника влачишь путем тернистым.

Ты в камне поймана, как драгоценный лал.
Лал сердца моего твой камень разломал».

Пред изваянием смирив свои рыданья,
За них прощенья он просил у изваянья.

Он восходил затем до каменной гряды,
Взваливши на спину все тяжести беды.

И к замку направлял он взор свой неустанно,
Стенал: «О кипарис! О ты, розовостанный!

Вся печень выжата! Ты светом сердца будь!
Ты сбитого с пути направь на верный путь!

Желание мое ты пожелай исполнить!
Дай безнадежный дух надеждою наполнить!

Я знаю, что меня нет в памяти твоей.
От милого тебе свет в памяти твоей.

Я ж друг, что о тебе грустит под звездным лоном.
Миросжигающим я мир сжигаю стоном.

Пока в твоей душе царит Хосров один,
Скитальца бедного припомнишь ли, Ширин?

Нет, роза радостна. И в мыслях розы снова
Слова, что сахар шлют для жданного Хосрова.

А сладостную жизнь безрадостный Ферхад
Для розы сладостной отдать сегодня рад.

Хоть ты, о светлая, подобная алмазу,
Меня, покорного, не вспомнила ни разу,—

Ты все же — светоч мой. Но надо мною тень
Простерлась черная. Мой сумеречен день.

Мне сделалась земля скупой отчизной — камнем,
И жизнь свою зову я с укоризной камнем.

Не ведал я, душой спеша к такому злу,
Что рок меня схватил с угрозой за полу.

Нет, не из камня я, и ты все не близка мне!
Что ж верности искать в железе мне и в камне?!

Ты душу, о Ширин, не унижай мою.
Не бей меня в камнях, как бьют в камнях змею!

Барашек я. Зачем ждут мясники приказа?
Рази! Ведь мясники — твои два черных глаза.

На пастбище твоем остался только я.
Я — хил! Отвержен я! Горька судьба моя!

Я мотылек. Страшусь. Я и вдали сгораю.
Сгорю, приблизившись к сверкающему раю.

К тебе приблизиться? Но я ведь только прах.
Быть приближенным? Нет! Меня объемлет страх!

Тебе покорен я! Быть жертвою — отрада!
Убей меня! Клянусь — мне лучшего не надо!

Развей тоску мою. Как справиться мне с ней?
Мне смерть отраднее всей смены этих дней.

Пусть не рождает мать сынов с такой судьбою.
Пусть им звезды моей не видеть над собою!

Иль молвила мне мать: «Далек да будешь ты
От цели сладостной, от сладостной мечты!»

Поспешный меч судьбы не всем приносит муку:
Тем тронет ноготки, а мне отрубит руку.

От рока благости добиться не легко.
Что ж мне он дарит кровь, тебе же молоко?

Я молоком прошу, тебя вскормившим,— дома
Когда ты молоко черпнешь из водоема,

Припомни ты о том, кто весь горит в огне,
И пегу сладкую оно пошлет и мне.

Дай молока, пастух! Стою с пустою чашей.
Как дети к молоку, стремлюсь ко встрече нашей.

Вкушая молоко, меня не позабудь.
Я буду молоком, а ты ребенком будь.

Ты сладости таишь. Я таю, голодаю,
Но именем твоим свой рот я услаждаю.

Где утешители? Взираю я вокруг.
Будь утешителем! Ты вымолви: «Мой друг».

Мне увлажни уста; они иссохли. К свету
Ты черный мрак направь, дня укажи примету.

Перед тобой бедняк. Но вымолвить спешу:
Тебе я ценный дар, я дупу подношу.

Богатство бедняка,— оно такого рода,
Что, и безденежный, желает он дохода.

Мне душу не сжигай, ведь мой хранитель — ты!
Что мне подлунный мир! Мой утешитель — ты!

Ты блещешь красотой и радостной и томной.
Не покидай меня с моей душой бездомной.

Ведь ты, прекрасная, бездомной не была.
Бездомным не желай бездомности и зла!

Я жизнью дорожил, ценил ее когда-то.
Я верил в молодость, далекий от заката.

Но жизнь и молодость во мне уж не поют.
Беда! Моя душа — отчаянья приют.

Тот, кто с тобою был, тебе приветно вторя,
Уходит от тебя в минуту злого горя.

Ты крикнешь: «Руку дай!» — а друг твой дорогой
На скорбный твой порог не ступит и ногой.

Ты кровь мою не пей — молю тебя со страхом,
И в городе твоем я схож лишь только с прахом.

За что же, говори, ты мне готовишь месть?
В чем ты винишь меня? Подай об этом весть.

Вина ль, что пред твоим я преклоняюсь ликом?
Припомнишь о каком ты мне грехе великом?

Ты друга не предай, о сладостный кумир!
Таких безбожных дел еще не ведал мир!

Ты — кипарис, я — ветр, исполненный порыва,—
И ветру бурному кивни ты, словно ива.

Я — прах, ты — дивный клад. Приди ко мне, и я
Прославлюсь. Станет прах — «Священные края».

Коль мне ты не велишь, моя свеча Тараза,
В светильнике твоем растаять,— жду приказа:

«Ты должен умереть!» Да лягу я вдали
От лика светлого в объятия земли!

Я — птица полночи. Блеснет ночная риза,
И слышен горький плач и стоны шебавиза.

Приди ко мне хоть раз, как призрак, и услышь,
Как вопли и мольбы тревожат эту тишь.

Будь сердце у тебя суровей камня, все же
Взгрустнешь над бьющимся о каменное ложе.

Мне столько от тебя обид нанесено!
Ты ж почитаешь их за малое зерно.

Как вол измученный, свалился я на землю,
Ты ж гонишь ослика: печали, мол, не внемлю.

Я мертв, но я был твой. Помилосердней будь!
Ведь сердце ты взяла, мою рассекши грудь!

Знай, это не игра. Взгляни: я камни рою.
Я пригожусь тебе. Не тешусь я игрою.

Незыблемой горы сильней мои ладони.
Страшны ли мне войска, и всадники, и кони!

Коль меч я обнажу пред диким зверем, то
Шебдиз не нужен мне. Мне и Парвиз — ничто!

Ширин, Парвиз, Ферхад,— в нас родственного много:
У каждого из нас, ты знаешь, по два слога.

Зачем же одному победы так легки
И всех сильнее мощь Парвизовой руки?

Нет, пораженья тень не надо мной нависла!
В таблице вещих звезд мои победны числа.

Но счастья моего отхлынули года,
А над соперником — счастливая звезда.

Мой злобен темный рок, и хитрый он предатель.
А счастье знает враг — мой вечный зложелатель.

Но пусть никто вовек не ведает врага,
Чья светлая судьба созвездьям дорога!

Сгораю я в борьбе, я в схватке,— все же вскоре
Мой враг добудет все, а я — добуду горе.

Тот, кто послал меня на схватку со скалой,
Мне гибели желал, мучительной и злой.

Я, смерти пожелав, за камнем камень рушу,
Я горя захотел и в горе ввергнул душу.

Кремнист мой путь любви. Вокруг сгустилась тень.
И давит сердце мне безжалостный кремень.

Знай, это не игра. Взгляни: я камни рою.
Я пригожусь тебе. Не тешусь я игрою.

Я в горе жестким стал, созвездиям грозя,
Железа устыдить мне все ж таки нельзя.

Я, словно желтый воск, сгораю в жаркой страсти.
Я сердца уберечь уж больше не во власти.

Где серебро мое и золото? Тюков
Тебе не принесу. Я — нищий. Я — таков.

Желт горестного лик. О, золото печали!
О, горе! Серебром лишь слезы замерцали.

Свеча моей тоски! Весь мир в твоем огне!
Я стражду светлым днем, я стражду и во сне.

И хоть горячим днем мучительно я стражду,
Но в дремах я любви еще страстнее жажду.

И днем со мною ты, и ты — в виденьях сна.
Прибежище мое одна лишь ты, одна.

Приди! Любя весь мир, тебе я отдал душу!
Не див я,— как с людьми я связь свою нарушу!

Нет сердца пламенней среди людских сердец,
Чем у того, кто сжал ваятеля резец.

Злосчастнее меня кто ныне во вселенной?
Я будто в горестной пустыне — во вселенной.

Любвеобильного где друга я найду,
Кто мне промолвит: «Встань!», коль наземь я паду?

Да! Косяки людей бесчисленны,— но кто же,
Когда скончаюсь я, мое оправит ложе?

Моя душа — в тоске, я в мире — одинок.
Как жертву, голову кладу на твой порог.

Хоть просижу сто лет я в глубине колодца,
Лишь свой услышу стон: никто не отзовется.

Хоть проброжу сто лет, в свои уйдя края,
Пойдет за мною вслед одна лишь тень моя.

Я — пес? Иль бешенства низвержен я напастью?
Мечусь, как тот, кто был укушен песьей пастью.

Есть место и для псов, а для Ферхада — нет!
Для трав простор готов, а для Ферхада — нет!

И барса в логове лощина приютила,
И есть меж вод речных приют для крокодила.

А я лишен всего, моя душа во мгле,
И камнем я не стал и не лежу в земле.

Так если на земле я только горю внемлю,
Чтоб обрести покой, уйти я должен в землю.

Столь обездоленным не должно быть, как я!
Как жить, коль никнет жизнь, одной тоской поя?

К тебе меня влечет погибели ветрило,
К погибели меня земля приговорила!

Коль существуешь ты, так что же значу я!
Селение — твое, а где в нем жизнь моя?

Скажу ли: «ты» и «я»? Нас мир одной судьбою
Объединил. Ну как склоняться пред собою?

Могу ль я отступать своим путем крутым?
Горенья моего все застилает дым.

Безмерно утомлен, пришел я на стоянку.
Я запоздал прийти,— уйду я спозаранку!

Коня пускаю в путь я верною рукой.
Куда ж мне гнать коня? Где ждет меня покой?

Я в горе каждый миг. Я плачу о кумире,
И счастье не хочу ничье я видеть в мире.

Душа моя, тебе ведь память дорога
О том, как мудрецы низали жемчуга:

«Недужный человек, что страждет и пылает,
Здоровья никому вовек не пожелает».

Как благотворное увидеть мне в любви,
Когда я весь в шипах, когда я весь в крови?

Хотя в моем мозгу уж больше нету масла,
Но горе душу жжет; душа все не погасла.

Страданием своим я весь испепелен.
Но в пепле есть огонь: укрыт под пеплом он.

Я — прах, я ветром взвит. Не жду уж я участья.
В ногах не стало сил, в руках не стало счастья.

Коль ноги обрету,— их тотчас под полу́
Я подтяну. Свою покину ль я скалу?

Как точку, спрячу лик под циркулем. Я спрячу
Себя в своей скале, лишь в ней найду удачу.

Я огражу себя оградой многих стен,
Чтоб образы ничьи мой не смущали плен.

Лишь образ твой со мной! Ему вручил я душу.
Я верности ему вовеки не нарушу!»

Так восклицал Ферхад, стенал и плакал вновь,
И сердца своего так расточал он кровь.

И ночь ушла из гор, и, полные отваги,
Войска зари, блестя, свои взметнули стяги.

И вновь безумный — днем, и вновь бессонный — в ночь,
Ударами кирки мнил гору превозмочь.

Все ночи наполнял он только жемчугами,
А камни он сверлил пылающими днями.

Так много жемчуга он сыпал и камней,
Что отличать не стал жемчужин от кремней.

И по подлунному промчалась весть простору
Об исстрадавшемся, об разрывавшем гору.

И не один к нему пришел каменотес,
Чтоб видеть, как булат вонзается в утес.

И каждый — недвижим; свой закусивши палец,
Глядел, как рвет скалу неистовый страдалец.

ШИРИН НАПРАВЛЯЕТСЯ К ГОРЕ БИСУТУН, И КОНЬ ЕЕ ПАДАЕТ

В один счастливый день тех благостных годин
Сидела меж подруг прекрасная Ширин.

И в дружеских речах, рожденных для услады,
Невзгод и радостей раскидывались клады.

Одна припомнила отраду прошлых дней,
И сердцем радостным все радовались с ней.

Другая, новых дней предсказывая сказку,
Грядущей радости придумала завязку.

Немало плавных слов, ласкающих сердца,
Подруги заплели — не видно и конца!

Но речь звенящая сцепляется не втуне:
Услышала Ширин слова о Бисутуне.

И молвит весело подательница благ:
«Я водрузить хочу на Бисутуне стяг.

Шепнула мне душа, что мне увидеть надо,
Как рушится скала под натиском Ферхада.

Быть может, искорка, ничтожная на вид,
От камня отлетев, мне сердце оживит».

И оседлать коня велит она,— и гибкий
Оседлан ветерок разубранною зыбкой.

Гульгун был далеко,— и, полного огня,
Другого взять Ширин позволила коня,—

И скачет, заблестев весною золотою,
Красавицам Ягмы равняясь красотою,

И скачет, заблестев нарциссами очей,
Как сто охапок роз под россыпью лучей.

Пусть большей нежности, чем в ней, и не приснится,—
Но на коне Ширин стремительна, как птица.

Она, что гурия, взлетела на седло,
Ничто с ней быстротой равняться не могло.

Вбивают гвозди в синь ее коня подковы,
И над землей она — бег небосвода новый.

Когда, бросая вкруг и мускус и жасмин,
К горе, вся серебро, подъехала Ширин,—

Сиял, как солнце, лик, и перед нею рдяно
В скале заискрились рубины Бадахшана.

К горокопателю, подобному горе,
Мчит гору гурия, сверкая в серебре.

Ее рубины чтя, покорный приговору,
Ферхад, как рудокоп, рубил упорно гору.

Как смерить мощь его, когда он рыл гранит?
И мер таких наш мир безмерных не хранит!

С гранитным сердцем друг бросал в него каменья,
Но, чтобы гору срыть, он все напряг уменье.

Сам с гору, гору рыл и днесь, как и вчера,
А горе перед ним, как Демавенд-гора.

Но для того края отбил он от гранита,
Что радости он ждал и милой от гранита.

Он омывал гранит рубином жарких слез.
Но час пришел: гранит к нему рубины взнес.

Когда же уст Ширин увидел он два лала,
Пред ним сокровище в граните запылало.

Булат в его руке стал сердца горячей,
И стала вся скала что глинистый ручей.

Одной рукой вздымал он, словно глину, камень,
Другой бил камнем в грудь, скрывающую пламень.

Вонзалась в грудь любовь; он видел светлый мир.
Что идол каменный! Ведь перед ним — кумир.

И с молоком в руке у Сладкоустой чаша.
И молвила она: «Испей во здравье наше».

И чаша Сладостной к устам поднесена.
И чаша сладкая осушена до дна.

Коль кравчий — Сладкая,— о, счастия избыток! —
Не только молоко, яд — сладостный напиток.

Рассудка этот пир влюбленного лишил,
И кравчий пиршество оставить порешил.

Стан Сладкой отягчен: парчи не гибки струи.
Конь Сладкой утомлен под гнетом пышной сбруи.

Будь золотой скакун под нею той порой,
Все ж под серебряной склонился бы горой.

Конь, равный ветерку, что мчится лугом росным,
Упал под ездоком своим жемчугоносным.

Но лишь увидел тот, в ком трепетала страсть,
Что с вихря милая готова наземь пасть,—

Коня усталого, отдавшийся порыву,
Он поднял над землей, схватив его за гриву.

Он в замок снес Ширин; Ферхадова рука
Обидеть не могла на ней и волоска.

И положил ее он на ковер, и снова
Он к Бисутуну шел, к труду опять готовый.

И вновь с киркою он, вернувшись из палат.
И те же камни вновь дробит его булат.

На горный кряж взошел, хоть сердце мучил пламень.
На кряже головой вновь бился он о камень.

ХОСРОВ УЗНАЕТ О ПОЕЗДКЕ ШИРИН. ГИБЕЛЬ ФЕРХАДА

Вседневно хитростно искал владыка мира
Каких-нибудь вестей о действиях кумира.

Он больше тысячи лазутчиков имел.
Был каждому из них дан круг особых дел.

Лишь пальчиком Луна дотронется до носа,
Они спешат к царю для нового доноса.

Когда на Бисутун взошла Ширин и там
Узрела кряж, сродни булатным крепостям,—

Все соглядатаи промолвили владыке:
«Ферхад увидел рай в ее прекрасном лике,

И сила дивная в Ферхаде возросла:
Силач взмахнет киркой — и валится скала.

Восторгом блещет он, в его душе разлитым,
Он, меж гранитных глыб, сам сделался гранитом,

Железом, что дробит угрюмых скал табун,
Сутулой сделает он гору Бисутун.

Воинственен, как лев, твой недоброжелатель
И рвет недаром кряж, ведь он — кладоискатель.

Лисица победит, в уловках зная толк,
Хоть в состязание с ней вступит сильный волк.

Хоть груда ячменя увеснстей динара,
Весы шепнут: «Динар, ты ячменю не пара».

Коль с месяц он свою еще промучит грудь,—
То из спины горы наружу выйдет путь».

И шах изнемогал от этой ярой схватки,
Как сохранить рубин? Не разрешить загадки!

И старцев он спросил, гоня кичливость прочь:
«Какими мерами могли бы вы помочь?»

И старцы молвили, не медля ни минуты:
«Коль хочешь, шаханшах, распутать эти путы,

Ты дай Ферхаду знать, среди его вершин,
Что смерть внезапная похитила Ширин.

Немного, может быть, его ослабнут руки,—
И он прервет свой труд от этих слов разлуки».

И принялись искать глашатая беды,
Чей хмурый лоб хранит злосчастия следы,

Того, кто как мясник в крови вседневной сечи,
Того, кто из усов огонь смертельный мечет.

И вот научен он дурным словам; сулят
Иль золото ему, иль гибельный булат.

Идти на Бисутун, свершить худое дело
Он должен. Для него иного нет удела.

И дерзостный пошел, вот перед ним — Ферхад.
Кирку сжимала длань, не знавшая преград.

Ферхад, что дикий лев, с себя сорвавший путы.
Рыл гору он, как лев, напрягшийся и лютый.

О лике сладостном слагая песни, бил
Он яростно гранит; он, словно пламень, был.

Ферхаду вымолвил нежданного глашатай,
Как будто горестью неложною объятый:

«Беспечный человек! Вокруг себя взгляни.
Зачем в неведенье свои проводишь дни?»

Ферхад: «Я друга чту, и для него с охотой
Я время провожу, как видишь, за работой.

Того я друга чту, чьи сладостны слова
И кем на жизнь мою получены права».

И вот когда узнал горькоречивый вестник:
Тут ворожит Ширин — пленительный кудесник,

Он, тягостно вздохнув, сказал, потупя взгляд:
«О смерти Сладостной не извещен Ферхад!

О, горе нам! Когда сей кипарис веселый
Был сломлен бурею, подувшей в наши долы,

Мы амброю земли осыпали Луну,
Снесли дорогой слез на кладбище Весну.

И, прах похоронив прекрасной черноокой,
Направились домой мы в горести глубокой».

В Ферхада за клинком он направлял клинок,
Вздымал за стоном стон, чтоб сильный изнемог.

Когда «О, Сладкая! — сказать посмел.— О, горе!» —
О, как такой вещун не онемел, о, горе!

Чье сердце этих тайн хотело б не хранить?
Внимал им или нет — не смеешь говорить!

Когда в Ферхадов слух метнули весть злою,—
С вершины пал Ферхад тяжелою скалою.

Вздохнул Ферхад, и вздох был холоден: копье,
Казалось, в грудь его вонзило острие.

Рыдая, молвил он: «Не зная облегченья,
Я ведал тяжкий труд, и смерть полна мученья.

Пускай пастух овец бесчисленных пасет,
Волк жертву нищего из стада унесет.

Да, цветнику сказал шербетчик, рвущий розу:
«Вернуть все взятое не забывай угрозу».

Проворный кипарис покрылся прахом! Ах,
Зачем же мне чело не осыпает прах?

Румяных лепестков развеяна станица!
Зачем же мне сады, когда вокруг — темница?

Уж пташка унеслась в край отдаленный свой!
Зачем же не кричу я тучей громовой?

Погас над миром свет, горевший звездным знаком!
Зачем же в этот день мир не покрылся мраком?

В небытии с Ширин свидание мое!
Я, не промедливши, уйду в небытие!»

Оповестил о ней он и моря и сушу,
И, прах поцеловав, свою он отдал душу.

Всем ведомо: судьбе иного дела нет —
Как души отнимать, гасить для смертных свет.

К злосчастному стремясь, рок позабыл о мере,—
И входят бедствия, все распахнувши двери.

Он видит: счастья нет, лишь горечь дни сулят;
Он вложит сахар в рот,— тот обратится в яд.

За розу ухватясь, он скажет: «Ты близка мне».—
Не росы на него посыплются, а камни.

Увидит: бурный мир, увидит: мир — не гладь.
Из мира этого свою забрать бы кладь!

Поводья свеслись, неудержимо время,
А юности нога попасть не может в стремя.

Свой рок преодолеть придет тебе пора,
Лишь только ты уйдешь из этого шатра.

В четвертых небесах прибудешь к серафимам,
Чтоб в сонме светочей все ж сделаться незримым.

Мир — див; храни свой дух — да будет скован див! —
Дух добронравием от дива оградив.

Не делай для себя свой нрав суровый адом.
Пусть раем станет он, ведя других к усладам.

Коль человечен ты, послушай речь мою:
Не только в небесах, но ты и здесь — в раю.

О глаз! Беспечный глаз! Ты мир узри воочью.
Мир обними, как те, недремлющие ночью.

Как долго под землей ты будешь спать, о друг!
Крутящихся небес тебя забудет круг.

Лет пятьдесят игры злокозненной промчится,—
Сей костью глиняной доколь тебе кичиться?

Пусть и пять тысяч лет — срок воровской игры —
Брось кость, ведь все равно играешь до поры.

Что крепче, чем кремень? Под ветра частым
взмахом
Он все же стал песком, он стал зыбучим прахом.

О, коврик кожаный — земля! И вновь и вновь
На этот коврик льют одну лишь кровь да кровь!

Кровавые дожди впитала эта суша.
Кто мог бы из-под них спасти и Сиавуша?

В песчинках взвившихся, что закрутил бурун,
Несется Кейкобад иль мчится Феридун.

И людям не найти на всем земном покрове
Горсть глины без людской, людьми пролитой,
крови.

Кто знает, что таил сей вековечный храм,
Счет вечерам его и счет его утрам?

Столетие пройдет,— и все течет сначала.
Лишь век умчится прочь,— уж век другой
примчало.

И с веком человек свой также кончит век,
Чтоб он на сущность дней своих не поднял век.

Но что в крупицах дней среди тысячелетий
Увидеть сможешь ты иль услыхать на свете?

Все ж и добро и зло в столетье каждом есть,
И в том для мудрого о некой тайне весть.

Коль ты не хочешь быть в гонении бескрайном,
Ты век не поучай другого века тайнам.

Чреда ночей и дней, что пегий конь, летит.
От бега времени ничто не защитит.

Хоть ты на сто наук свершил свои набеги,
Тобой не будет взят в поводья этот пегий.

Себя боготворить не должен ты, о нет!
Забвение себя — спасения завет.

Котел земли кипел по воле звезд, но что же?
Необработанной земля подобна коже.

Небес игорный дом, незримый для очей,
Все деньги отобрал у многих богачей.

Иль кажется тебе, что ты с невестой? Мудрый!
Мечту на ветер брось, не будь с сереброкудрой.

Быть может, грянет смерч, и злой его полет
Невесту — жизнь твою — с землею разведет.

Придет ли смерч иль нет, забудь свою усладу.
Не зажигай в ночи напрасную лампаду.

На горсти праха ты. В твоей горсти лишь прах.
Хоть руку для земли зажег бы ты впотьмах,—

Ей будет нипочем твою увидеть муку,
Ей не присыпать, нет, пораненную руку!

Нам тягостная плоть созвездьями дана,
Так часто мучима недугами она!

Ведь с кровли прыгнуть вниз нетрудно. Только
в злости
Твой неизбежный рок тебе сломает кости.

Но люди, что во сне не ощущают тел,
Не смогут пострадать от многих сотен стрел.

Свое дыханье, что управляет нами,
Мы ветром осени прикармливаем сами.

Но мертв твой каждый вздох, когда в нем нет
любви.
Твой каждый вздох сочтен; ты страстно проживи.

Ты, умирая, смерть встречай бесстрашным
взглядом,
Но в страсти, человек, ты должен быть Ферхадом.

Любил, чтоб на кирку приладить рукоять,
Строитель дерево гранатовое брать.

Была ему кирка помощницею верной,
Всегда сподручною в борьбе его безмерной.

Когда его вещун тоскою захлестнул,
Кирку он за гору в отчаянье метнул.

Кирка впилась в гранит, а рукоять отбило,—
Вошла во влажный прах, а после вот что было:

Гранатовый побег из рукоятки взрос,
И, ставши деревом, гранаты он принес.

И каждый этот плод всех снадобий полезней
И немощных любых излечит от болезней.

Не зрел их Низами, но измышлять не стал,
А в древней книге он об этом прочитал.

ПИСЬМО ХОСРОВА К ШИРИН, ВЫРАЖАЮЩЕЕ СОЧУВСТВИЕ, НО НАПИСАННОЕ В НАСМЕШКУ

Хосров отправляет Ширин письмо, в котором лживо объясняет гибель Ферхада холодностью к нему Ширин, делая ее виновницей его гибели. Он издевается над ее скорбью. Это злое письмо вызвано ревностью. Ширин огорчена письмом, она его не заслужила.

СМЕРТЬ МАРИАМ

Не радуйся, Хаким, так волили созвездья:
За все свои дела дождешься ты возмездья.

Знай, будет оценен поступок твой любой!
Рок препоясался — следит он за тобой.

Когда Хосров послал, все зная про Ферхада,
Ширин свое письмо, исполненное яда,

Так было сумрачным угодно небесам,
Чтоб в Руме царствовать не стала Марнам.

Твердят: «Отравы злой ее убила сила.
Ведь это месть Ширин, что также яд вкусила».

Но, истину блюдя, не слушай, что твердят:
Низвергнул Марнам лишь властной мысли яд.

Индусы, видел я, являли силу мысли,—
Вмиг листья свежие, как мертвые, повисли.

И, одурманив люд, они порой луну,
Как шар сияющий, бросали в вышину.

Лишь только Марнам прекрасная навеки
Замкнула сладкий рот и опустила веки,—

Как, ощутив себя уж не в ее руках,
Всю вольность прежнюю вкушает шаханшах.

Когда сгорел престол, как дерево Марни,
Как пальма — шах расцвел, как «дерево Марни».

Но все же Марнам оказан был почет,
И в сумрачном дворце день горестно течет.

И месяц шах провел в молитвенном обряде,
Не трогал тронных дел и в черном был наряде.

Лишь обо всем Ширин была извещена,
Почуяла меж роз и терний она:

Ей было радостно свою оставить гневность,
Ведь чистоту души уничтожает ревность.

Но все ж росли печаль и сокрушенье в ней:
Прозрела Судный день за сменой смертных дней.

В теченье месяца, чтоб быть душой с Хосровом,
Веселья под своим она не знала кровом.

А месяц миновал — и в душах нету ран,
И мир уже забыл свой горестный изъян.

СОЧУВСТВЕННОЕ ПИСЬМО ШИРИН ХОСРОВУ ПО ПОВОДУ СМЕРТИ МАРИАМ, НАПИСАННОЕ В ОТМЕСТКУ

Ширин, выражая сочувствие Хосрову, намекает на то, что он рад смерти Мариам, намекает на его непостоянство — он утешится с другой, у него в гареме так много наложниц.

ПИСЬМО ШИРИН ПРИХОДИТ К ХОСРОВУ

Прочитав резкое письмо Ширин, написанное в отместку за его злое и лживое послание, Хосров горько сожалеет о том, что он его когда-то отправил. Любовь к Ширин разгорается в нем с новой силой. Он пишет ей нежное письмо. Но теперь Ширин проявляет непреклонность, «набивает себе цену», как говорит здесь Низами. Тогда Хосров решает завести себе новую подругу, чтобы вызвать ревность Ширин и привлечь ее к себе.

ОПИСАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ ХОСРОВА

Хосров выстраивает просителей в пять рядов: богачи, бедняки, больные, заключенные и осужденные на смерть убийцы. Убийц он помиловал, затем велел каждому ряду посмотреть на следующий. И богачи обрадовались, что они не бедняки, бедняки — что не больные, и так далее. Все хвалили Хосрова.

ХОСРОВ, ПИРУЯ, ВОСЦЕДАЕТ НА ТРОНЕ ТАКДИС

Хосров восседает на своем знаменитом троне Такдис, подробно описанном в «Шах-наме» Фирдоуси. Низами также дает его краткое описание, говорит об изображениях на нем планет и сфер, звезд, о солнечных часах и так далее. Изображения эти двигались, по ним можно было составлять гороскопы. Далее Низами говорит о щедрости, о том, что сам он избрал «бедность золотую». Он хвалит сказочную щедрость Хосрова, задававшего без конца пышные пиры, задаривавшего просителей. Золото надо не копить, а раздавать — повторяется здесь тема одной из речей «Сокровищницы таин».

ХОСРОВ ВЫСЛУШИВАЕТ ОПИСАНИЕ ШЕКЕР ИСФАХАНСКОЙ

Хосров пирует в кругу правителей всех стран мира — своих вассалов. Выпив вина, он теряет скромность и задает им вопрос: «Где краше женщины, пригодные для ложа?» Самым красноречивым оказывается правитель Исфахана, который расхваливает распутную красавицу Шекер. Низменные чувства Хосрова — похоть и желание отомстить Ширин — возбуждены этим рассказом. Хосров решает «распутать узами весь узел прежних уз». Не желая звать Шекер из Исфахана, Хосров ждет целый год.

ПОЕЗДКА ХОСРОВА В ИСФАХАН ЗА ШЕКЕР

Хосров приезжает в Исфахан и пирует там. Исподволь он узнает, где живет Шекер. Ночью, без свиты, с одним рабом он отправляется к ней в сад и пьет с ней вино. Шекер обманывает Хосрова — посылает на его ложе рабыню, очень похожую на нее, затем, наутро, беседует с этой рабыней, потом идет к нему сама. Она говорит Хосрову, что у него дурно пахнет изо рта, что она не может быть с ним, и велит ему год есть чеснок и лилии — средство от этого порока. Через год она принимает излечившегося Хосрова. Тот упрекает ее за распутство. Шекер отвечает, что она девственна. Она всегда подсылала захмелевшим гостям вместо себя рабыню.

РАССПРОСЫ ХОСРОВА О ШЕКЕР И ЕГО СВАТОВСТВО

Исфаханские вельможи удостоверяют Хосрову невинность Шекер. Хосров сочетается с ней браком и едет с ней в Медаин. Вскоре он пресыщен Шекер и вновь тоскует о Ширин. Следует тонкая игра слов: «Шекер» — значит «Сахар», «Ширин» — «Сладостная». Хосров пресыщен чистым сахаром, слишком грубым наслаждением, и стремится к духовной сладости. Следует внутренний диалог Хосрова, которого обуревают противоречивые чувства. Ему то хочется сближения с Ширин, то он решает дальше терпеть разлуку, то он жаждет снова оскорбить, даже прибить любимую. Свою тайну он никому не может доверить. Кончается глава рассуждением Низами о необходимости хранить тайны:

Про тайну каждую, все оглядев кругом,
Так с другом говори, как говоришь с врагом.

Таким образом, здесь снова повторяется один из мотивов «Сокровищницы тайн», характерный для суфийской поэзии.

ОДИНОЧЕСТВО ШИРИН И ЕЕ СТЕНАНИЯ

Хосров отнимает у Ширин ее последнего утешителя — Шапура. Ширин одна. Ночь кажется ей бесконечной. Она призывает наступление утра.

ВОСХВАЛЕНИЕ УТРА

После тяжкой ночи наступает прекрасное утро. Таким утром нельзя удержать в душе молитву, она сама рвется к небу.

ШИРИН ВОЗНОСИТ ХВАЛУ БОГУ

Лишь утро в золото все в мире обратило,
Отвергла и Ширин сребристые белила.

Она терпеньем раскрыла птиц крыла;
Петух терпения пропел, что тьма ушла.

И в келейке к земле она склонилась ликом,
Припомнив в должный час о господе великом.

«Творец! И ночь мою преображая в день,
Меня, как целый мир, ты радостью одень.

Освободи, господь! Я сжата тесным горном,
Пусть я блесну, как лал, забыв о камне черном.

Всегда откликнуться молящим ты готов,
Услышь, о господи, и мой молящий зов.

Без меры стражду я! Нет сил моих! О боже!
Ты помогаешь всем — так помоги мне тоже!

Клянусь потоком слез всех брошенных сирот
И горем стариков, что в скорби сжали рот,

Клянусь покоем всех скитаться обреченных,
Клянусь покорностью в колодцы заключенных,

Клянусь моленьями под сводами суда,
Клянусь я стоном злых, горящих от стыда,

Клянусь я истиной и тем стихом Корана,
Которым лечится души болящей рана,

Клянусь я верою, что праведным дана,
И тайной, что тобой пророкам вручена,

Клянусь я бедными, что к нам не тянут руки,
Клянусь увечными, что стойко терпят муки,

Клянусь я путником, что скорбью обуян,
И тем покинутым, чей скрылся караван,

Клянусь я пламенем, укрывшимся за тканью,
Клянусь я всем, что нам твоей дается дланью,

Клянусь я верой жен, склоненных пред тобой,
И каждою в твой слух проникшею мольбой,

Клянусь я возгласом последнего взыванья,
Клянусь я именем, что вне истолкованья!

О, сжалься, господи! Я жду твоей руки,—
Из омута беды меня ты извлеки.

На голове моей, создатель, каждый волос
К тебе бы воззывал, когда б имел он голос.

Нет, я не подняла до слуха твоего
Из тьмы достойных слов еще ни одного.

Хотеть постичь тебя! О, немощность хотений!
Ты существуешь, ты! А все иное — тени!

За пологом небес ты светишь. Ты — един.
Ты свода синего творец и господин.

Где грани для тебя, творения начало?
Познанье никогда об этом не вещало.

Ты продлеваешь дни, ты сделал смертной плоть,
Что хочешь, соверши, ты знаешь все, господь.

Хоть все, что ты пошлешь, пусть и несчастий стаю,
На жизнь я и на смерть, создатель, принимаю,—

Но все ж я немощна, больна душа моя,
Дай муки только те, что вынесла бы я.

Я в странствии земном все не сыщу дороги,
Но, не сыскав, дождусь благой твоей помоги.

Мне ниспошли дары былых твоих щедрот:
Я обретала их вблизи твоих ворот.

Что скрою от тебя? Печаль моя — бескрайна.
Как тайну утаить? Все для тебя — не тайна».

Затем, что дух Ширин совсем не знал о зле,
И вся она, моля, лежала на земле,—

Ее утешил бог, к ней опуская вежды,
И дал железный ключ, ключ от ее надежды.

И радости Ширин расцвел румяный куст,
И вновь был сладок лал ее сладчайших уст.

Горячих слов ее жар долетел к Парвизу,—
Как небо, сердце в нем кружилось кверху-книзу.

ПОЕЗДКА ХОСРОВА К ЗАМКУ ШИРИН ПОД ПРЕДЛОГОМ ОХОТЫ

Хосров отправляется на охоту и едет по направлению к замку Ширин. На привале он пирует со своими приближенными и, возбужденный вином, скачет к замку. Ширин, узнав об этом и боясь позора, приказывает запереть ворота замка. Хосров разгневан, но он просит Ширин о встрече. Ширин распоряжается разбить для Хосрова шатер у стен замка и передает ему, что поднимется на крышу дворца и там будет слушать его речи.

СВИДАНИЕ ХОСРОВА С ШИРИН

Узрев Луну, что свет простерла по округам,
Для тополя сего он сердце сделал лугом.

Увидел гурию, что здесь, в земном краю,
Ворота заперла, как гурия в раю.

Увидев светлый ум, готовый к обороне,
Чуть не повергся в прах сверкающий на троне.

И с трона он вскочил, чтоб вмиг облобызать
Пред ней свои персты,— и сел на трон опять.

С мольбой о милости он к ней приподнял длани;
Он осыпал ее сластями пожеланий:

«Как тополь, ты стройна, юна и хороша.
Да будет радостна всегда твоя душа!

Твое лицо — заря; с ним блещет вся природа.
Ты — стройный кипарис, опора небосвода.

От свежести твоей во мне весенний свет.
Поработил меня учтивый твой привет.

Ты ткани и ковры постлала по дорогам,
И мчался я к тебе, как будто бы чертогом.

Ушных подковок лал, исполненный огня,
Дала ты для подков мне верного коня.

За ценным даром вновь я одарен был даром;
От жарких яхонтов мой лик пылает жаром.

Ты — россыпь радостей! Как лучший дар возник
Передо мной твой лик! Да светится твой лик!

Я — молоко, ты — мед. Твои усладны речи.
И выполнила ты обряд почетной встречи.

Но для чего врата замкнула на замок?
Ошиблась ты иль здесь мне что-то невдомек?

Меня назначила ты в плен земле и водам —
Сама же в высоте явилась небосводом.

Но я не говорил, что, мол, вознесена
Хосрова мощь над той, что светит, как луна.

Нет, я ведь только гость. Гостей приезжих взоры
Не упираются в железные затворы.

Опасным пришлецом могу ли быть и я?
Ведь для меня лишь ты — источник бытия!

Приветливых гостей, приблизившихся к дому,
Высокородные встречают по-иному».

ПЕРВЫЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Ширин, объясняя свои поступки Хосрову, ведет хитрые речи. Унижая себя перед великим шахом, она корит опьяненного вином Хосрова, примчавшегося к замку, не боясь ее опозорить, «как сокол за куропаткой», вместо того чтобы почтительно прислать сватов к своей любимой. Она упрекает Хосрова за брак с Шекер, повторяя уже бывшую выше символическую игру слов: «Ведь Сахар, шаханшах, у Сладости во власти». Далее Ширин требует от Хосрова верности ей одной, возвышенной любви, внимания, нежности, подвигов. Она не хочет стать лишь его забавой. Глава кончается бейтом:

Ты только пировал, свой кубок сжав рукою,
Когда Шапур творил, Ферхад гремел киркою!

ПЕРВЫЙ ОТВЕТ ХОСРОВА ШИРИН

Хосров говорит о своей любви, о тоске по Ширин, молит простить ему заблуждения, не гнать его. Он предавал свою любовь ради власти, теперь же любовь ему дороже царства.

ВТОРОЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Ширин призывает Хосрова отбросить тщеславие и кичливость и избрать иной путь — путь любви. Сама она закалила свою любовь в одиночестве, в горном замке, отказавшись от власти. Она говорит далее, сколь она еще прелестна, сколько в ней страсти, и... гонит Хосрова. Глава кончается бейтом:

Иди прямым путем, ведь на кривом пути
Тебе от рук моих лишь гибель обрести.

ВТОРОЙ ОТВЕТ ХОСРОВА ШИРИН

Хосров с нежностью говорит о прелестях Ширин, но упрекает ее в себялюбии. Он молит ее снизойти к нему, быть милосердной. Он отказывается уйти.

ТРЕТИЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Ширин упрекает Хосрова за то, что он стремится удовлетворить лишь свои желания, не думая о ее желаниях. Она требует, чтобы он отказался от Шекер, если он хочет Ширин. Она говорит, что ее страсть к Хосрову уже отпылала, что ей унизительно отбивать его у соперниц. Она прощается с Хосровом, немного медлит, но все же уходит. Хосров молит ее вернуться, и она снова выходит на крышу.

ТРЕТИЙ ОТВЕТ ХОСРОВА ШИРИН

Хосров вновь обращается к Ширин с нежными мольбами, просит ее смириться. Если же она по-прежнему будет такой гордой, он уйдет — его ждут пиры, Шекер.

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Ширин по-прежнему ведет гордые речи. Она просит Хосрова удалиться. Сейчас не время для свиданья, потом, возможно, она вновь позовет его.

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТВЕТ ХОСРОВА ШИРИН

Хосров униженно молит Ширин впустить его — надвигается ночь, идет снег, пусть она хоть пожалеет шаха! Но если она так боится своей страсти, что не решается впустить его даже в преддверье, то пусть это будет любовное свиданье, лукавит Хосров. Если же она останется непреклонной, то пусть пеняет на себя, ей же будет хуже. Хосров может найти и лучшую, чем она.

ПЯТЫЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Вновь Сладкая велит скитаться по местам,
Где зреют финики, благим своим устам.

С жемчужин, приподняв два рдеющие лала,
Она жемчужины и лалы рассыпала.

И молвила она: «О юный царь, чей трон
Так блещет! Твой венец! Всех озаряет он!

Твой стоек царский стяг! Твои так стойки ноги.
Как длань твоя — твой меч, необоримый, строгий.

Одев твой мощный стан, горда твоя каба.
Пред властью рук твоих стрела судьбы слаба.

В друзьях будь счастлив ты, от горести далече,—
Горбатый свод небес твои поддержат плечи».

И следом, распалясь, вся пламенем полна,
«Гордец воинственный! — промолвила она.—

Ты шах, так уходи, тебе присуща слава.
А вся игра в любовь для шаха лишь забава.

Влюблен лишь тот, пред кем в обители земной
И небо и земля — в единственной, в одной.

Не упрекай меня влюбленностью Ферхада,—
Скитальца мертвого с печалью помнить надо.

Ферхад, чей жаркий дух и скорбен был и сир,
Лишь брат названый мой, наш посетивший мир.

Для глаз его была я лишь подобьем духа,
Лишь только голос мой его коснулся слуха.

От Сладкой горечь знал. Но запах горьких трав
Он пил, как аромат, а не как дым отрав.

Я сладкому огню речей его внимала.
Подобных ты не знал: речей подобных мало.

Приятней мне шипы из розовых садов,
Чем пышный кипарис, не знающий плодов.

На ложе каменном я лучше бы лежала,
Чем видеть недруга хоть с золотым кинжалом.

Дай медный мне браслет. Не нужен мне огонь,
Что, плавя серебро, сжигает мне ладонь.

Нам дорог тот огонь, что осветит жилище,—
Не тот, что обратит жилище в пепелище.

Но коль упреками осыплешь ты меня,—
То обвинителю я стану неровня.

Порою поутру мы видим,— о, досада! —
Порыв нежданных бурь унес листок из сада.

Вот так унес меня порыв моей тоски.
А ты сбирайся в путь! Увязывай тюки!

Я вся в кольце огня; он вьется, вьется снова...
Ты видишь? Так беги! Страшись огня такого.

Что дивного: с небес несется камфора.
Вот и в моей душе холодная пора.

Глянь: облако весь мир осыпать хочет солью.
Ступай! Не сладостью являюсь я, а болью.

Летучей мыши, царь, отраден мрак ночной.
Будь соколом. В полет пускайся в час дневной.

Они давно ушли — те сказки, что ты ведал.
Они давно ушли — те ласки, что ты ведал.

Уж ни шаира ласк в душе царицы нет.
А вот с арабского: уж ни крупицы нет,

Не турок я, о царь! Я знаю речь араба.
А злоязычья речь да козней — знаю слабо.

Напал злословья мрак на дом, на кокон мой,
А ведь коварен, верь, лишь черный локон мой.

О царь! Твоей души бескрыла птица, ведай.
Твоей души заря не разгорится, ведай.

Со стражами веду иль с шаханшахом спор,
Твой дротик будто бы дейлемский их топор.

Так собирайся в путь! Под эту сень не вступишь,
Хоть молвил, что, любя, ты стал как тень,—
не вступишь.

О мощный! В жадности не следует коснеть.
Для пищи ты ищи питательную снедь.

Стяни потуже грудь, нет пользы в лживом стоне;
На рот свой наложи печать своей ладони.

Что соколы едят? Им лучшее дают,
А падаль мерзкую — стервятники клюют.

Немало я себе уже стяжала славы
За то, что мне милы сладчайшие забавы:

Одним печальных слез я в чашу лью струю.
Мне сокровенную, другим я сладость лью.

Да, я вода из роз, и я горька. Ну что же,
Ведь в розовой воде всегда есть горечь тоже.

Я крепче, чем набиз. Пригубишь — и беда! —
Я с ног тебя свалю на долгие года.

Коль создана Ширин для сладкого улова,
Пусть горстку горечи ее содержит слово.

Две сладости зараз? Не жди столь сладких дрем.
Ведь финик — с косточкой, орешек же с ядром.

Я не сродни ежам, не наношу увечья,
И нежность спрятала в язвительную речь я.

И финик прячется в шипах, и в камне — лал.
Клад золотой не раз в развалинах пылал.

Твоим вожатым будь терпение. Но все же
С приниженностью пусть оно не будет схоже.

Что сокол без крыла? Не вьется, хоть убей.
И победит его ничтожный воробей.

Отбившийся верблюд! Он и за мышью ловкой
Пойдет безропотно, потянутый веревкой.

Сражаешься со львом и не желаешь пасть? —
Так обнажай клыки, раскрой пошире пасть.

Собаки сцепятся, да вмиг оставят схватку,
Увидев блеск зубов и зная их повадку».

И поклялась она, взор поднимая свой,
Всезрящим разумом, душою огневой,

Предвечным куполом, высоким, бирюзовым,
Истоком пламени и солнцем вечно новым,

Всей райской красотой, всей прелестью небес,
И каждой буквою всех, всех земных словес,

Тем поклялась живым, кто будет жить вовеки,
И тем взирающим, кто не опустит веки,

Тем щедрым богачом, кто всю насытил тварь,
Все души возрастил и всем живущим — царь:

«Всевластный шах! Сдержу я слово обещанья:
Я для тебя ничто — до нашего венчанья!»

И отвратила лик, исполненный огня,
Уже добытый клад рукою отстраня.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХОСРОВА ОТ ЗАМКА ШИРИН

Уж солнце, как газель хотанскую, уводит
Веревка мрака в ночь — и вот на небосводе

Газелей маленьких за рядом вьется ряд,—
То звезды на лугу полуночном горят.

Царь, что газель, в чью грудь стрела вошла глубоко,
Внял яростным словам Ширин газелеокой.

И хлопья снежные помчались в мрак ночной,
И капельки дождя мелькали, как весной.

От горести гора слезливой стала глиной.
И сердце ежилось, бредя ночной долиной.

Снег, словно серебро, пронзал окрестный мрак;
И на Шебдиза пал серебряный чепрак.

Звучал упреками Хосрова громкий голос,
Черноволосую не тронув ни на волос!

Как долго он молил, как жарко! Для чего?
Сто слов,— да не годны! Все! Все до одного!

Молил он и вздыхал — был словно пьян — все глубже.
Вонзались стрелы в грудь — о, сколько ран! — все
глубже.

И вот еще текла в своем ненастье ночь,
А царь, нахмурившись, от врат поехал прочь.

То он к Шебдизу ник, то, будто от недуга
Очнувшись, все хлестал и торопил он друга.

Он оборачивал лицо свое к Ширин,
Но ехал, ехал прочь. Он был один! Один!

И ночи больше нет,— ее распалась риза,
Но нет и сильных рук, чтоб направлять Шебдиза.

Царь воздыханья вез, как путевой припас;
Он гроздья жемчуга на розы лил из глаз.

«Когда бы встретил я,— так восклицал он в горе,—
Колодезь путевой, иль встретил бы я взгорье,

Я спешился бы здесь, и я б не горевал,
Навеки близ Ширин раскинувши привал».

То вскинет руки царь, то у него нет мочи
Не плакать,— и платком он прикрывает очи.

И вот военный стан. Царем придержан конь,
А сердце у царя как вьющийся огонь.

Серебряный цветок освободили тучи,
И месяц заблистал над этой мглой летучей.

И царь вознес шатер до блещущих небес,
Для входа подвязав края его завес.

Но не прельщался царь всей прелестью вселенной,
Он сердце рвал свое, как рвет одежды пленный.

Он, позабыв покой, сжав пальцами виски,
Не поднимал чела с колен своей тоски.

Придворным, и ловцам, и стражам, и дестурам
Царь повелел уйти; остался он с Шапуром.

Как живопись творя, стлал пред царем Шапур
Узоры, говоря: «Не будь, владыка, хмур».

На пламень горести он лил благую влагу.
Смеяться в горький час имел Шапур отвагу.

«Тебя от горечи хочу я уберечь,
Поверь, нежна Ширин. Ее притворна речь.

Столь омрачившимся останешься доколе?
Ты рвешься к финикам, так знай — и пальма колет».

Хосров — он не сводил с Шапура жадных глаз —
Обильным жалобам открыл потайный лаз:

«Ведь видел ты, с какой пришла ко мне отравой
Та, что весь мир смутит улыбкою лукавой?

И бог не страшен ей! Смела, дерзка она!
Ну что же, женщина, так значит — нескромна.

Я шапку снял пред ней и бросил пред собою.
Как стройный кипарис, я встал пред ней с мольбою.

Но оттолкнула трон с порфирою она,
Ствол царственный снесла секирою она.

В мороз ее душа не сделалась горячей.
Ее безжалостность увидел каждый зрячий.

И речь ее была — секира и стрела.
В словах почтительных так много было зла.

Есть тернии в любви, но в этот час вечерний
Без меры я познал уколы этих терний.

Но и в моей груди ведь тоже сердце есть.
И злоба тоже ведь у страстотерпца есть.

Пусть, как Харут она, слетавший с небосклона,
Пусть в родинке ее все чары Вавилона,

Но так был холоден ее зимы налет,
Что для меня Ширин уж не Ширин,— а лед.

Но от моей любви, терпевшей поношенья,
Мне ведом — о Шапур! — источник утешенья.

Ребенка скверный нрав известен мамке. Нет
Соседа, чтоб не знал, каков его сосед.

Ширин — мой тайный враг! Мрак под личиной света.
Таится ненависть под нежностью привета.

Как жаден был мой пыл, как был напрасен он!
И вот, отверженный, рассудка я лишен.

Не слушала она; крутилась непогода;
И речь моя текла как будто больше года.

Мне в тьме полуночной свечи не принесла.
Бальзама мне от ран в ночи не принесла.

Хоть встретить Сладкую для каждого отрада,
Хоть сладостна Ширин,— мне новых встреч не надо!

Ведь встреча всех обид мне не искупит, нет!
Ведь с горьким вкусом хлеб никто не купит, нет!

Быть под ногой слона, быть мертвым на кладбище
Отрадней, чем просить у злого скряги пищи.

Быть лучше под водой, быть рыбой, чем свои
Моления нести в пристанище змеи.

Отрадней землю рыть. Да! Лишь не довелось бы
В дом недостойного свои направить просьбы!

Жемчужин чистых блеск не в чистых ли морях?
Кто роет черный прах,— найдет лишь черный прах.

Покинь пустую копь! Иль, чтоб душа угасла,
Мне быть светильником, в котором нету масла?!

Жизнь стоит ли вручать той прихотливой, той
Лукавой, для кого она лишь звук пустой?

Клянусь, еще таит подлунная долина
С павлином равную подругу для павлина».

ОТВЕТ ШАПУРА ХОСРОВУ

Шапур убеждает Хосрова, что все поведение Ширин — лишь обычный женский каприз. Она еще сама придет к шаху. Следует подождать.

ШИРИН СОЖАЛЕЕТ ОБ ОТЪЕЗДЕ ХОСРОВА

Тот, ветхий днями, муж, что положил начало
Рассказа,— продолжал. И вот что зазвучало:

Жестокосердая, прогнавшая царя,
Себя бьет камнем в грудь, раскаяньем горя.

Она корит себя, и что ни слово — слезы.
И снова все текут, текут все снова слезы.

Как птица сбитая, металась и не раз
На землю падала, закрыв нарциссы глаз.

Клеймя свой гордый дух, рыдала,— в то же время
Бия ладонями и грудь свою, и темя.

И вздохами ее был воздух обожжен.
Земля столь горьких слез не видела у жен.

Нет силы, чтоб сдержать порывы горькой страсти,
Чтоб сердце усмирить, нет во вселенной власти.

Когда ж душа ее вконец изнемогла,
Стыда тяжелого ее объяла мгла.

И вот подпружен конь — Гульгун ее прекрасный.
Душа ее в крови, и конь кроваво-красный.

На рыжеогненном и взвихренном коне
Она — как блеск воды на трепетном огне.

Тропа узка, как бровь; как у прекрасной косы,
И небеса черны, и горные откосы.

И на крутой тропе, стегая жеребца,
На помощь в этой тьме звала она творца.

Но глушь и трудный путь Гульгуну — не препона,
И он помчал Ширин быстрее небосклона.

Одеждою слуги свою стянувши грудь,
Она Шебдизу вслед направила свой путь.

И вот сквозь гулкий гром, сквозь громозвучный топот
Порой был слышен плач, порой был слышен ропот,

И взор вперяла в тьму Луна прекрасных лун...
К шатрам охотничьим примчал ее Гульгун.

Военачальники уснули; тишь; и даже
У царского шатра нет переклички стражи.

Все, словно опиум, впивая лунный свет,
В курильне ночи спят. Нигде движенья нет.

И смущена Ширин: к царевому порогу
Она приблизилась, да в ком найдет помогу?

Но из-за полога Хосровова шатра
Шапур глядит,— что там? Не света ли игра?

Лишь миг тому назад, охваченный истомой
Сиянья лунного, царь был окован дремой.

И, слугам не сказав, туда, где встал Гульгун,
Шапур идет взглянуть, кого примчал скакун.

Он молвил всаднику: «Как призрак, ты прекрасен,
Но если ты не тень, то твой приезд опасен:

Тут и с напавших львов кичливость мы собьем.
Заползшая змея тут станет муравьем».

Но отступил Шапур пред этим нежным дивом,
Смущен его лицом и действием учтивым:

Ширин художника узнала; отняла
Сапожки от стремян и спрыгнула с седла.

Лик разглядел Шапур; длань поднял он к кулаху
И вскинул ввысь кулах, а лбом склонился к праху.

И молвил он: «Луна! Всем страждущим глазам
Прах из-под ног твоих — целительный бальзам».

Ответила Ширин словам его достойным
Со взглядом ласковым, для женщины пристойным.

И за руку она взяла его, и он
Услышал все и был не очень удивлен.

Услышал он о том, что слезные потоки
Стыда, раскаянья ей обжигают щеки,

Что речь ее с царем была дерзка и зла,
Что недостойные слова произнесла,

Что лишь умчался царь,— укоры зазвучали
В ее душе и дух попал в силок печали.

И говорит она: «Меня объяла тьма,
И не внимала я велениям ума.

Решилась я на все: рок становился хмурым.
Ведь свойственен в беде прыжок тигриный гурам.

И провидением небесным ты сочти,
Что я разбойников не встретила в пути.

Но так как был огонь стремления безмерен,
То путь мой — путь прямой, он правилен, он верен.

Мое доверие ты принял, и оно
Твердит: «Грядущее тебе же вручено».

Две просьбы у меня. Тебе исполнить надо
Их обе, чтоб ко мне опять пришла отрада.

Вот первая, Шапур: когда придет Хосров
На пиршество, под крик: «Да будешь ты здоров!»,

Ты усади меня в укромный угол. Тайна
Да сохраняется! Не выдай и случайно!

Веселый нрав его, подобную лучу
Всю красоту его увидеть я хочу.

Вторая: если царь глазами уж не злыми
Мой встретит взор, то пусть он скажет о калыме.

Коль хочешь, о Шапур, исполнить все точь-в-точь,—
Все подготовь, Шапур, покуда длится ночь.

Не хочешь,— на коня я снова сяду; снова
В свой замок возвращусь, не повидав Хосрова».

Две просьбы услыхав, Шапур отверз уста
И клятвы ей дает; их было больше ста.

Гульгуна в стойло ввел он, будто бы Шебдиза.
В шатер он ввел Ширин, как будто бы Парвиза.

Два царственных шатра имел Хосров; они
Мерцали в жемчугах, как звездные огни.

Ближайший — для пиров, а полускрытый, дальний
Служил для отдыха. Он был опочивальней.

Повел Шапур пери воздушную. Вдвоем
Они вошли в шатер, назначенный для дрем.

И прочь пошел Шапур, ей указав на ложе,
И полог опустил, с небесной ризой схожий.

Царя как бы меж роз уснувшим обретя,
Шапур был радостен, как утро, как дитя.

Вкруг «сада роз» кружась и не стремясь к покою,
Он оправлял свечу заботливой рукою.

СНОВИДЕНИЕ ХОСРОВА И ТОЛКОВАНИЕ СНА ШАПУРОМ

Хосров видит во сне прекрасный сад и светильник. Шапур говорит ему, что Ширин со временем смирится.

ХОСРОВ УСТРАИВАЕТ ПИР

Хосров пирует в шатре. Барбед и Некиса услаждают слух пирующих своим пением и игрой. Хосров потрясен, растроган. Он слушает их всю ночь. Наутро Шапур идет к шатру, в котором прячется Ширин. Она просит Шапура, чтобы тот прислал к ней одного из певцов. Так начинается объяснение Хосрова и Ширин устами Барбеда и Некисы.

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ НЕКИСЫ, ПОДСКАЗАННАЯ ШИРИН

Ширин сожалеет о своей заносчивости и согласна пойти к Хосрову хоть в служанки — лишь бы он не грустил.

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ БАРБЕДА, ПОДСКАЗАННАЯ ХОСРОВОМ

Хосров догадывается, что Ширин здесь. Он рад ей, он ей покорен, он страшится лишь разлуки.

ВТОРАЯ ПЕСНЯ НЕКИСЫ, ПОДСКАЗАННАЯ ШИРИН

Ширин изнемогает от любви. Она просит Хосрова, чтобы он ей наконец сказал, убьет он ее или обласкает.

ВТОРАЯ ПЕСНЯ БАРБЕДА, ПОДСКАЗАННАЯ ХОСРОВОМ

Хосров призывает Ширин. Он клянется, что, если Ширин придет к нему, он навек сделает ее своей подругой, будет ей рабом.

ТРЕТЬЯ ПЕСНЯ НЕКИСЫ, ПОДСКАЗАННАЯ ШИРИН

Ширин снова молит о прощении. Она может принадлежать лишь Хосрову.

ТРЕТЬЯ ПЕСНЯ БАРБЕДА, ПОДСКАЗАННАЯ ХОСРОВОМ

Хосров вновь призывает Ширин. Тогда Ширин велит Некисе:

Спой так, чтобы вконец обворожить Хосрова,
Чтоб сбился он с пути, чтоб он не спорил снова,

ЧЕТВЕРТАЯ ПЕСНЯ НЕКИСЫ, ПОДСКАЗАННАЯ ШИРИН

Ширин зовет помириться «сегодня к ночи». Хосров в тоске, он разрывает на себе одежды. Он велит Барбеду:

Пусть твой сладчайший стих Сладчайшей станет ведом.

ЧЕТВЕРТАЯ ПЕСНЯ БАРБЕДА, ПОДСКАЗАННАЯ ХОСРОВОМ

Хосров молит о прощении. Он просит простить ему его измены. Он будет вечно верен Ширин... Песнь кончилась. Ширин, не вынеся томленья, страстно вскрикнула в своем шатре. Хосров отвечает ей криком. Он хочет тут же идти к Ширин. Шапур его останавливает.

ВЫХОД ШИРИН ИЗ ШАТРА

Ширин выходит навстречу Хосрову и падает к его ногам. Хосров склоняется к ней, целует перед ней землю. Он клянется сделать ее своей супругой. Они пируют вместе. Хосров сперва не решается и прикоснуться к Ширин, но потом робко ласкает ее. Ширин уезжает в свои владения, а Хосров спешит в Медаин готовить свадьбу. Звездочеты составляют гороскоп, чтобы узнать день свадьбы, который будет счастливым.

ПРИЕЗД ШИРИН ДЛЯ ВЕНЧАНИЯ В МЕДАИН

Хосров посылает Ширин сказочно щедрые свадебные подарки — выкуп за нее. Ширин везут в шахскую столицу. Хосров вызывает мобедов и говорит им о великой чистоте и твердости Ширин: она осталась чиста, несмотря на его домогательства. Мобеды назначают сумму брачного выкупа и совершают обряд.

СВАДЬБА ХОСРОВА И ШИРИН

Всем розам небеса, сперва сказав: «Пробудим
Вас в день весны»,— потом их предлагают людям.

Великий рок, венцу жемчужины даря,
Венец в жемчужинах наденет на царя.

Пловцы ныряют вглубь на поиски жемчужин,—
Чтоб стал жемчужин блеск с венцом царевым дружен.

Став слаще, чем джуляб, прекрасней, чем пери,
Ширин, позвав царя, промолвила: «Бери,

Пей сладкий кубок мой, пребудь в истоме сладкой.
Ты сладостно забудь все в мире, кроме Сладкой».

В словах, являющих величие и честь,
Ширин потайную царю послала весть:

«Не прикасайся ты сегодня ночью к чаше:
Два опьянения не входят в сердце наше.

Что яство для людей, чей ум затмит вино?
Поймет ли — солоно ль, не солоно ль оно.

Хмельной, найдя все то, к чему стремился страстно,
Промолвит: «Я был пьян, все бывшее — неясно».

И те, что во хмелю откроют свой замок,
Потом бранят воров, и все им невдомек».

По нраву эта весть пришлась владыке мира.
«Исполню,— молвил он,— веления кумира».

Но пьют в веселый день!.. Будь сломлена печать!
Себя на празднике не надо огорчать!

Пел снова Некиса́, бренчал бербет Барбеда,—
Звенела над Зухре их нежная победа.

То, полный сладости, пел мелодичный руд:
«Пусть длятся радости, пусть чаши все берут!»,

То кубок прозвенит, сверкая пред Барбедом:
«Всегда удачи свет тебе да будет ведом!»

И в сладостных мечтах о сладостной Ширин
Хосров испробовал немало терпких вин.

И промежутки царь все делает короче
Меж кубками. И вот проходит четверть ночи.

Когда же должен был, почтителен и тих,
К невесте царственной проследовать жених,—

Его, лежащего без памяти и речи,
К ней понесли рабы, подняв к себе на плечи.

И вот глядит Ширин: безвольный, допьяна
Царь упоен вином. Себя укрыв, она

Тому, кто, все забыв, лежит, как бы сраженный,
Другую милую отдаст сегодня в жены.

Она схитрила, что ж,— ты так же поступай
С тем, кто придет к тебе, упившись через край.

Из рода матери всегда жила при Сладкой
Старуха. Словно волк была она повадкой.

И с чем ее сравнить? О, диво! О, краса!
Скажу: как старая была она лиса,

Две груди старая, как бурдюки, носила.
От плеч ушла краса, колен исчезла сила.

Как лук изогнутый, была искривлена,
С шагренью схожая, шершавая спина.

Ханзол, несущий смерть! Кто глянул бы некосо
На щеки,— в волосках два колющих кокоса.

Ширин, надев наряд на это существо,
Послала дряхлую к Парвизу для того,

Чтоб знать, насколько царь повержен в хмель могучий,
И сможет ли луну он отличить от тучи.

Старуха полога раздвинула края,—
Как будто из норы к царю вползла змея.

Как сумрак хмурая,— таких не встретишь часто,—
Была беззубая, но все ж была зубаста.

Царю, когда к нему вошла сия лиса,
Уже овчинкою казались небеса.

Но все ж он мог понять,— он на усладу падкий:
Не так весенние ступают куропатки.

Не феникс близится,— ворону видит он.
Влез в паланкин Луны чудовищный дракон.

«В безумстве я иль сплю? — он прошептал со стоном.—
Где ж поклоняются вот этаким драконам?

Вот кислолицая! Горбунья! Что за стать!
Да как же горькая сумела Сладкой стать?»

Хосрова голова пошла как будто кругом.
Решил он: сей карге он сделался супругом.

...Старушки слышен крик... Промолвила Луна:
«Спасти ее!» И вот — к царю идет она.

К лицу прибавив семь искусных украшений,
Откинув семь завес, вошла; плавней движений

Не видел мир. Пред ней — ничто и табарзад.
Вся сладость перед ней свой потупляет взгляд.

Она́ — что кипарис, сладчайший из созданий.
Она — сама луна, закутанная в ткани.

Что солнце перед ней, хотя она лупа!
Ста драгоценней стран подобная весна!

Подобной красоты мир не смущали чары.
Все розы в ней одной, в ней сладости — харвары.

Она — цветы весны. О них промолвишь ты:
Одним счастливцам, знать, подобные цветы!

Блестящий Муштари пред ней померкнет. Пава
Пред плавною Ширин совсем не величава.

Ее уста — любовь. О, как их пурпур густ!
Но все ж ее уста еще не знали уст.

Весь Туркестан попал в силок ее дурмана.
Лобзания Ширин ценнее Хузистана.

О розы свежих щек! Вода из роз, взгляни,
Льет слезы от стыда; ее печальны дни.

Ты, томный взор, нанес сердцам несчетным раны!
О поволока глаз! Ты грабишь караваны!

Ширин! Ведь ты — вино: уносишь ты печаль.
Нет горя там, где ты. Оно уходит вдаль.

О сахар сахара, о роза роз! О боже!
Она явилась в мир — сама с собою схожей.

И царь протер глаза: они ослеплены.
Так бесноватых жжет сияние луны.

И как безумцы все, смущен он был Луною
И хмеля сонного затянут глубиною.

...И пробудился царь. Свершился ночи ход.
Царь видит пред собой наисладчайший плод.

Невесту светлую ему послало небо,—
Пылающий очаг, назначенный для хлеба.

Ушел небиза хмель за тридевять земель.
Сладчайший поцелуй согнал с Парвиза хмель.

Он словно вин испил необычайных, новых.
И сад расцветных роз был сжат в руках царевых.

Лишь покрывало с уст, как эта ночь,— ушло,
Терпение царя мгновенно прочь ушло.

Краса весь разум наш вмиг обратит в останки.
Мани своим вином отравят китаянки.

Ворвался в Хузистан в неистовстве ходжа,
Лобзаний табарзад похитил он, дрожа.

Таких рассветных вин, как эти,— не бывало;
Таких блаженных зорь на свете не бывало!

И начал он сбирать охапки сладких роз,
И сам он розой стал в часы веселых гроз.

И молвил он любви, что миг пришел, что надо
Уже вкушать плоды раскрывшегося сада.

То яблок, то гранат он брал себе к вину,
То говорил, смеясь: «К жасмину я прильну».

И вот уже слились два розовые стана.
И две души слились, как розы Гюлистана.

Сок розы в чашу пал, о радости моля,
И сахар таял весь в плену у миндаля.

Так сутки протекли, и вот вторые сутки.
Нарцисс с фиалкой спит, и сладок сон их чуткий.

Так два павлина спят в тиши ночных долин...
Поистине красив склонившийся павлин!

Они, покинув сон, прогнав ночные тени,
Послали небесам немало восхвалений.

И, тело жаркое очистивши водой,
Молитвы должные свершили чередой.

Все близкие к тому, кто был на царском троне,
Окраской свадебной окрасили ладони:

В хне руки Сементурк, в хне руки Хумаюн,
В хне руки Хумейлы́, и лик их счастья — юн.

Однажды царь сидел в своем покое, взглядом
Окидывая дев, с ним восседавших рядом.

Им драгоценности он роздал. Запылал
В их ожерелиях за лалом рдяный лал.

Он отдал Хумаюн Шапуру,— сладким садом
Его он наградил, сладчайшим табарзадом.

Затем дал Хумейлу царь Некисе, а вслед
Красотку Сементурк в дар получил Барбед.

Ну, а Хотан-Хотун премудрую и видом
Прелестную Хосров связал с Бузург-Умидом.

С почетом отдал царь Шапуру всю страну,
В которой некогда цвела Михин-Бану.

Когда вступил Шапур в предел своих владений,
В них множество воздвиг прославленных строений.

Та крепость в Дизакне́, чья слава немала,
Шапуром, говорят, построена была.

И одаряет вновь всей радостью Хосрова
Благожелательство небесного покрова.

Свершенья, молодость и царство,— лучших уз
Вовек не видел мир, чем их тройной союз.

И дня без лютни нет, и ночи нет без кубка...
Всё в мирных днях забыть,— нет правильней поступка.

Лишь радости вкушай, в них так приятен вкус —
И огорчений злых забудешь ты укус.

Он пил, дарил миры, он радовал народы.
И в наслажденьях текли за годом годы.

Когда ж прошли года и духом он прозрел,
То устыдился он всех дерзновенных дел.

И белый волос встал у щек нежданным стражем;
«О молодость, прощай!» — его увидев, скажем.

Быть в мире иль не быть? Граница — волосок.
И волосок — седой. И час твой — недалек.

Для взора смертного все чернотой одето,—
Но только до зари, до вспыхнувшего света.

Мы греемся в саду, пока снежинок рой
Не ляжет на листву сребристой камфорой.

Постигни молодость! Она — пыланье страсти.
Весь мир, вкушая страсть, в ее всесильной власти.

Но седовласый рок возьмет права, и он
Твою изгонит страсть. Таков его закон.

«Как быть? — у старика спросил красавчик с жаром.—
Ведь милая сбежит, когда я буду старым».

И отвечал старик, уже вкушавший тишь:
«Друг, в старости ты сам от милой убежишь».

Коль ртуть на голове,— она бежит от мира,
Бежит от серебра напрасного кумира.

От мрака локонов печаль умчится вдаль.
Черноволосых взор,— пугает он печаль.

Войска тоски бегут перед тобой, нубиец.
Ведь, только радуясь, живет любой нубиец.

Окраска черная глазам на пользу: рьян
И радостен, юнец стремится в Индостан.

Все понял царь, и внял он белому жасмину.
Он в юных днях — как я — постиг свою кончину.

Хотя Хосров сдержал любой бы свой обет,
Но мир обманывал, и царь страшился бед.

То на златой доске он в нард играл, то бегом
Шебдиза тешился, былым отдавшись негам.

То он Барбеда звал, то слушал водомет,
То обнимал Ширин, как бы вкушая мед.

Ширин и царский трон, Барбед и бег Шебдиза,—
Излюбленный предел всех радостей Парвиза.

И вспомнил он, смутясь, все предвещавший сон,
И сад его души был мраком полонен.

Все то, что создали, он знал, земля и воды,
Хоть так прекрасно все,— сотрут, разрушат годы.

До полнолуния растут лучи луны,
Потом — уменьшатся, потом — уж не видны.

Я дереву в саду, в саду плодовом внемлю:
«Созревшие плоды — повергну я на землю».

НАСТАВЛЕНИЯ ШИРИН ХОСРОВУ О СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗНАНИИ

Был светлый день; Ширин про мудрость, про дела
Правления с царем беседу повела:

«О царь! Есть мудрецы, по их направься следу!
О справедливости давай вести беседу.

Стремился долго ты мечты осуществлять,
Ты чаянья свои осуществишь опять.

Ты милостиво дал цвести твоим пределам,
Но их не погуби несправедливым делом.

Страшись! Отшельники молитвословный жар
Вздымают с просьбою о ниспосланье кар.

И старой женщины молитва на рассвете
Тебя за зло твое в тугие схватит сети.

Без пользы закричишь, горе́ глаза воздев,
Когда тебя сметет их справедливый гнев.

Был древле ряд зеркал в руках владык взнесенных —
Зеркал, затмившихся от вздохов угнетенных.

Когда счастливым дням с тобой не по пути,
Удачу не во всем сумеешь ты найти.

Когда листок древес уже свисает хилый,
В нем с ветром осени бороться нету силы.

Насилий не чини, не угнетай свой край,
И подданных своих приветливо ласкай.

Я в страхе: может быть, то повторится снова,
Что некий царь сказал. Его я помню слово:

«Я счастьем был храним,— оно ушло, и вот
Оковы разомкнул озлобленный народ».

Он думал, что народ был обделен вселенной.
Он думал, что владел один лишь он вселенной.

Чванливо чтя себя и мня, что все течет
Лишь только для него, утратил он почет.

Другой счастливец встал,— и царь, всем несший муку,
С напрасною мольбой протягивает руку,

А если б не язвил он сотней жал народ,
Его бы одного всегда желал народ.

Ты знаньем овладел и царством целым тоже,
Ты с черным волосом, но ведь и с белым тоже.

Будь к вечности готов, дни хрупки и легки...
Недолог твой привал,— увязывай тюки.

Ты злато с серебром сольешь в единый слиток,
Но Судный день сотрет сокровищ преизбыток.

Храни тебя господь, но все же посмотри,
Что унесли с собой ушедшие цари?

Когда хранишь свой скарб,— то он твой враг
и мститель;
Раздашь его, и он — твоих путей хранитель.

Ты летопись прочти: где Дарий, где Джемшид?
Всех солнечный огонь посменно сокрушит!

Напевов девяти внимая всем усладам,
Ты умудряй свой дух их сокровенным ладом».

ВОПРОСЫ ХОСРОВА БУЗУРГ-УМИДУ И ЕГО ОТВЕТЫ

Глава содержит мудрые ответы на философские вопросы: что такое первоначальное движение, каково небо и т. п. Последний вопрос — о смерти. Лишь пророки, побывавшие при жизни на том свете, могут поведать о ней.

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОРОКА

Хосров не признает Мухаммеда пророком — это ему не дано. Бузург-Умид предсказывает, что вера арабов — ислам — будет истинной. Ширин просит Бузург-Умида рассказать о Калиле и Димне.

СОРОК ПРИТЧ ИЗ «КАЛИЛЫ И ДИМНЫ» С ВЫСКАЗЫВАНИЕМ СОРОКА ТОНКИХ МЫСЛЕЙ

Каждая назидательная притча вложена в один стих, сопровождаемый пояснением. Конечный вывод притч — «шах должен быть справедливым»,— чему Хосров и решает следовать.

МУДРОСТЬ И НАСТАВЛЕНИЯ НИЗАМИ

Низами говорит в главе о своей мудрости, о том, что он все на земле постиг, затем он говорит о сотворении мира, о необходимости самопознания.

РАССКАЗ О ШИРУЙЕ И КОНЦЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ХОСРОВА

Хосров премудрости достигнул высоты,
И наглухо забил он лавку суеты.

Был у Хосрова сын от Мариам. С пеленок,
Дыша, он дурно пах. Казалось — это львенок.

Он звался Шируйе. Знал я и ведал свет,
Что он, когда ему лишь девять было лет,

Промолвил про Ширин во дни отцовской свадьбы:
«Ширин под пару мне! Вот мне кого поймать бы!»

О вере ли его поведать, о любви,
Про знанье иль про злость, горящую в крови?

Весь наполнял дворец он мрачным дымным смрадом,
И на него Хосров взирал суровым взглядом.

И так сказал Хосров: «Мудрец Бузург-Умид!
От сына этого душа мся скорбит.

Он отвратителен, а в некие минуты
И страшен. От него в грядущем жду я смуты.

Злокознен он, как волк, что рыщет, что не сыт;
Он и для матери опасности таит.

Хорошего не ждать от тех, кто полон скверны.
Все в пепел обратит огонь такой неверный.

Кого бы речью он сумел к себе привлечь?
Ему лишь самому его приятна речь.

Нет фарра, сана в нем. В нем только смрад пожара.
Он на фарсанг бежит от сана и от фарра.

Он дым, всклубившийся из моего огня.
И, мною порожден, бежит он от меня.

Я голову в венце вознес над целым светом,
Но, коль наследник он,— какая польза в этом?

Не любит он Ширин, сестер не любит он.
И, глядя на меня, он злобой омрачен.

Что красота ему! Он что осел: закрыто
Ослу прекрасное. Ему милей корыто.

Змееныш мной рожден, так, стало быть, и я
(Наверно, думает мой «славный» сын) — змея.

Чтоб сделаться плодом, цветок возник не каждый.
И сладость сахара сокрыл тростник не каждый.

В былом отцеубийц немало я найду.
Железо — из руды и все же бьет руду.

И множество чужих, с врожденным чувством чести,
Нам ближе, чем родня, исполненная лести».

«О прозорливый шах! — сказал Бузург-Умид.—
Твой ум — познать и свет и тьму себя стремит.

Пускай твоя душа в нем злое примечала,
Но сущности твоей в нем кроются начала.

Ты с сыном не враждуй, на нем твоя печать.
От кровной связи кровь не надо отлучать.

Ты благ — и сын твой благ. Ведь схож бывает точно
С чесночной долькою весь корешок чесночный.

Когда кроят парчу, владыка, то к чему
Обрезки отвергать? — Берут их на каймy.

Пускай строптив твой сын, забудь свои невзгоды.
Строптивость не страшна,— ее смиряют годы.

Он юн. Но буйных дней промчится череда,—
От буйства в старости не станет и следа».

ХОСРОВ УЕДИНЯЕТСЯ В ХРАМ ОГНЯ. ШИРУЙЕ ЗАКЛЮЧАЕТ ЕГО В ТЕМНИЦУ

Решает царь Хосров, уже усталый телом,
Что должен храм огня быть царственным пределом,

Что суеты мирской забыть он должен след
И лишь огню служить, как праведный мобед.

И в храм ушел Хосров, земному чуждый долу.
И прыгнул Шируйе, как лев, к его престолу.

Ликует Львенок, пьет,— сильна его рука,
Но все ж за шахом он следит исподтишка.

И вот отвергшему житейские обузы
Он мрак темничный дал, дал не свободу — узы.

Он злобствовал; блестел зубов его оскал.
И лишь одну Ширин к царю он допускал.

Но говорил Хосров: «Я пью живую воду:
С Ширин и в сотнях уз я чувствую свободу!»

И молвил царь Луне, ему подавшей пить:
«Ты не грусти, Ширин, так может с каждым быть,

Нагрянувших ветров нежданные оравы
Терзают кипарис, им незаметны травы.

Стрела, возжаждавши желанного достичь,
Всегда охотится на избранную дичь.

Землетрясение раскалывает горы,—
Возвышенным страшны созвездий приговоры.

Пусть счастья больше нет, твое участье — есть.
Но если ты со мной, то значит счастье — есть».

И сладкоустая чело к нему склоняла,
И от чела его печали отгоняла:

«Текут дни радости, дни плача,— чередой,
За неудачею удача — чередой.

Коль рок смешает все в неистовстве упорном,
Погибнет тот, кто все увидит в цвете черном.

Ты цепи мыслей злых из разума гони,—
С цепями на ногах свои проводишь дни.

Чтоб рок свой победить, в тебе не хватит силы,—
Но многие спаслись и на краю могилы.

Не всех здоровых, верь, минует страшный жар.
Не каждый жар больных — погибельный пожар.

Порою думаешь: замóк ты видишь сложный,—
Глядь, это не замок: ты видишь ключ надежный.

Очисть премудрый дух, забудь свою тоску:
Ведь к горю горе льнет, как влага льнет к песку.

Кто трон твой захватил? Ведь это лишь Муканна,—
Он сотворит луну для вящего обмана.

Но с этакой луной мир все же будет мглист:
Его не озарит железа круглый лист.

В стране, где черный дух во все проникнул тьмою,
Снежинки черными покажутся зимою.

Бесчинствам не дивись, будь стойким до конца,—
Встречай насмешкою деяния глупца.

Бесстыдны наши дни, им в совести — нет нýжды.
Чуждайся этих дней, они величью чужды.

К кому, по совести, относится наш свет?
К тому, кто не рожден и в ком уж жизни нет.

Кто на века войдет в непрочную обитель?
Так не грусти, что в ней и ты не вечный житель.

Когда бы мир забыл про смену дней, про тлен,—
То не было бы, верь, и в царствах перемен.

Хосрову небеса, крутясь все снова, снова,—
Трон царский отдали, забыв про Кей-Хосрова.

И розовый цветок, украсивший цветник,
Блеснул слезой росы, но тотчас же поник.

Утративши товар, что ценит наше племя,
Вздохни и вымолви: «С меня свалилось бремя».

Пусть ценится людьми все, что имеешь ты,—
Пускай твой скарб возьмут, но уцелеешь ты!

Влекомый к радости, ты с лютней схож. Невольно
Вскричишь: когда колки подкручивают — больно.

Как сладко не иметь заботы никакой;
Из всех мирских услад всех сладостней покой.

Дремли, коль у тебя вода с краюхой хлеба.
Беспечность — вот страна под ясным светом неба.

Ты голову держи подъятою всегда.
О ней заботиться тяжелая беда!

Пусть в крепких узах ты, пусть ты в кругу ограды,
Ведь крепко берегут сокровища и клады.

Ты не считай, что ты низвергнут с высоты.
Два мира — два твоих везира. Ты есть ты.

Ты — сердце мира, царь! Для плеч твоих — порфира.
И снова ты в игре свой вырвешь мяч у мира.

Ты избран меж людьми! Творец, тебя любя,
Весь мир сверкающий раскинул для тебя.

Будь радостен! Забудь тоску земного дола!
Что этот плен венца! Что этот тлен престола!

Для царства сделай ты, печали отстраня,
Престолом целый мир, венцом — светило дня».

И царь внимал Ширин. И каждое реченье
Одушевляло дней поспешное теченье.

И чтобы скорбь царя утишить, превозмочь,
Не раз Ширин с царем всю коротала ночь.

ШИРУЙЕ УБИВАЕТ ХОСРОВА

Полуночь, скрыв луну, как будто гуль двурогий,
Сбивает небеса с назначенной дороги.

Бессильны времена, хоть мощь у них и есть.
И слепы небеса, хоть звездных глаз не счесть.

Ширин стопы царя в цепях червонных, пени
Сдержав, взяла к себе на белые колени.

И сладостный кумир с цепями черных кос
На золотую цепь ронял алмазы слез.

Прекрасные стопы, натертые до крови,
Ласкала и, склонясь, к ним прижимала брови.

Журчала речь ее, как струй чуть слышных звон:
Под звуки нежных слов исходит сладкий сон.

И в слух царя лила, лила она усладу.
Слова царя в ответ к ее склонялись ладу.

Когда уснул Хосров, когда умолкнул он,
Передался Ширин его спокойный сон.

Спит нежная чета, а звездные узоры
Свои бесстыдные на них бросают взоры.

Хотела крикнуть ночь: «Злодейство у ворот!»,
Но мгла гвоздями звезд ее забила рот.

И бес сквозь роузан, взор устремивши книзу,
Уже спускается к Сладчайшей и к Парвизу.

Он беспощадностью похож на мясника.
Рот — пламень, а усы — два черные клинка.

Как вор укрытый клад, глядя сурово, ищет,—
Так ложе царское, так он Хосрова ищет.

Нашел... и пересек он тяжестью меча
Хосрова печень... Так! Погашена свеча!

И крови под мечом взметнулся ток летучий,
Как пурпур молнии бросается из тучи.

И, разлучив чету, сей бес, удачей пьян,
Как сумрачный орел, взметнулся в роузан.

И царь, в блаженном сне погубленный навеки,
Все ж приоткрыл уста и чуть приподнял веки.

Весь кровью он залит... Глядит он, чуть дыша...
Смертельной жаждою горит его душа.

Подумал царь: «Ширин — жемчужину жемчужин —
Я пробужу; скажу: глоток воды мне нужен».

Но тут же вспомнил тот, чей взор покрыла мгла,
Что множество ночей царица не спала.

«Когда она поймет, к какой пришел я грани,
Ей будет не до сна среди ее стенаний.

Нет, пусть молчат уста, пусть дышит тишина,
Пусть тихо я умру, пусть тихо спит она».

Так умер царь Хосров, ничем не потревожа
Ширин, уснувшую у горестного ложа.

ПРИТЧА

Вот видишь ты цветник в благом сиянье дня,
Под солнцем дышит он, прохожего маня.

И вдруг угрюмый гром обрушен бурной тучей,
И кровь струит рейхан под молнией летучей.

Опустошился сад, проснулся садовод.
Все розы поломал поток бурлящих вод!

Заплачет садовод, и литься станут слезы:
Течь «розовой воде», когда не стало розы.

ПРОБУЖДЕНИЕ ШИРИН

Кровавый ток лился, все расширялся он...
Нарциссы глаз Ширин свой позабыли сон.

Порой, в былых ночах, о горестях не зная,
Она бросала сон при сладких звуках ная.

А ныне — не гляди, иль сердце заболит! —
Кровь жаркая царя проснуться ей велит.

Как птица, вскинулась от хлынувшего света;
Ее ужасный сон ей предвещал все это.

И сорвана Ширин с Хосрова пелена,—
И видит кровь она, и вскрикнула она.

Увидела не сад, не светлое созданье:
Встречает взор ее разрушенное зданье.

Престол, что без венца, ее увидел взор,
Светильник брошенный: все масло выкрал вор.

Разграблена казна, ларец лежит разъятый,
Войска ушли. Где вождь? Сокрылся их вожатый!

И мраком слов своих Ширин чернила ночь
И плакала; затем пошла неспешно прочь.

И с розовой водой вернулась к изголовью,
Чтобы омыть царя, обрызганного кровью.

Льет амбру с мускусом,— и крови больше нет.
И тело царское сверкает, словно свет.

И тот последний пир, что делают для властных,
Устроила Ширин движеньем рук прекрасных.

И, ароматами овеявши царя,
На нем простерла ткань, алее, чем заря.

Усопшего царя как будто теша взоры,
Надела и сама роскошные уборы.

ШИРУЙЕ СВАТАЕТСЯ ЗА ШИРИН

Для сердца Шируйе Ширин была нужна,
И тайну важную да ведает она.

И молвил ей гонец, его наказу вторя:
«С неделю ты влачи гнет выпавшего горя.

Недельный срок пройдет — покинув мрак и тишь,
Ты двухнедельною луной мне заблестишь.

Луна! В твоей руке над миром будет сила.
Все дам, о чем бы ты меня ни попросила.

Тебя, сокровище, одену я в лучи,
От всех сокровищниц вручу тебе ключи».

Ширин, услышав речь, звучащую так смело,
Вся стала словно нож, вся, как вино, вскипела.

И молвила гонцу, потупясь: «Выждем срок!»
Так лжи удачливой раскинула силок.

И скоро Шируйе такой внимает вести:
«Когда желаешь ты царить со мною вместе,

Ты совершя все то, что я тебе скажу.
Я благосклонностью твоею дорожу.

Уже немало дней я чувствую всей кровью,
Что я полна к тебе растущею любовью.

И если в дружбе я, как ведаешь, крепка,—
Все для меня свершить должна твоя рука.

В своих желаниях я так необычайна,—
Но есть в них, Шируйе, и сладостная тайна.

В тот час, когда с тобой соединимся мы,
Я все тебе скажу среди полночной тьмы.

Прошу: ты пышный свод дворцового айвана
Снеси, хоть он достиг до яркого Кейвана.

И дальше: повели, чтоб выкинули вон
Из царского дворца Хосрова древний трон.

Чтоб след могущества разрушили, чтоб рьяно
Взыграл огонь и сжег весь пурпур шадурвана.

Джемшида чашу, царь, вели сломать, чтоб к ней
Не мог нас привлекать узор ее камней.

И коль Парвиза власть уже не ширит крылья,
Пускай Шебдизу, царь, подрежут сухожилья.

Когда исполнят все, исполнят все подряд —
Пусть погребения свершается обряд.

Дай шахматы царя из яхонтов на зелье
Целебное — сердцам подаришь ты веселье.

Пусть голубой поднос разломят,— бирюза
Пусть в перстнях и серьгах всем радует глаза.

Не слушай, как Хосров, ты без конца Барбеда,
Навеки изгони ты из дворца Барбеда.

Когда моих забот исчезнет череда,
Служением тебе как буду я горда!

И я склонюсь к тебе той сладкою порою
И тайну замыслов, как молвила, открою».

И сердце Шируйе отрадою полно,
По слову Шируйе все было свершено.

Все замыслы Ширин свершились друг за другом:
Все сделал Шируйе, чтоб стать ее супругом.

«Твой выполнен приказ»,— услышала она.
И пылом радостным прекрасная полна.

Все из вещей царя, все из одежд царевых,
От обветшалых риз и до нарядов новых,—

Все нищим раздавать велит она скорей.
Все на помин души — души царя царей.

СМЕРТЬ ШИРИН В УСЫПАЛЬНИЦЕ ХОСРОВА

Заря меж облаков встает не в зыби ль сладкой?
Но сладкий день, взойдя, принес погибель Сладкой.

Хабешский негр, во тьме несущий камфору,—
Рассыпал тюк — и луч прошел по серебру.

Из крепости смотрел на месяц чернокожий,—
И вдруг оскалил рот, смеясь, как день пригожий.

Вот кеянидские носилки, лишь заря
Блеснула,— сделала царица для царя.

Носилки в золоте; в кемарское алоэ
Рубины вправлены, напомнивши былое.

И царь, как повелел времен древнейших чин,
На ложе смертное положен был Ширин.

В назначенный покой — Ширин услышав слово —
На царственных плечах цари внесли Хосрова.

И там пред мраморным бесчувственным лицом
Носилки обвили торжественным кольцом.

И каждый палец стал у бедного Барбеда
Калам расщепленный. Весь мир был полон бреда.

На этот хмурый мир взирал Бузург-Умид.
Он, миру верящий, от мира ждал обид.

Стенал он: «Небеса да внемлют укоризне:
Лишился жизни шах,— и нас лишил он жизни.

Где всех народов щит? Где слава всех царей?
Где стяг и острый меч, что всех мечей острей?

Где тот, чья на миры легла победно риза?
Где скрылся наш Кисра? Где нам сыскать Парвиза?

Коль к переезду ты далекому готов,
Равно: Джемшид ли ты, Кисра, иль ты — Хосров!»

Прислужниц и рабов понура вереница;
Средь них, как кипарис, идет Ширин-царица.

В кольце ее серег сокровища морей,
На плечи за кольцом легло кольцо кудрей.

Насурьмленных бровей растянутые луки,
Хной, как пред свадьбою, украшенные руки.

И золотой покров течет с ее чела,
И ткань Зухре огнем вдоль стана потекла.

Кто мог бы смертные так провожать посилки?
Прохожих опьянял и страстный взор и пылкий.

Как опьяненная, сопровождала прах,
Идя с припляскою, как будто на пирах.

Все, глядя на Ширин, решали вновь и снова:
«Не в горести она от гибели Хосрова».

И думал Шируйе, в себе таящий тьму,
Что сердце Сладостной склоняется к нему.

И всю дорогу шла с припляскою царица.
Вот купол перед ней... Вот шахская гробница.

Рабыни скорбные столпились за Ширин,
Роняя жемчуг слез на щек своих жасмин.

Внесли царя под свод. Вкруг сумрачного ложа
Встал за вельможею, безмолвствуя, вельможа.

И у Ширин жрецом был препоясан стан,
И в склеп вошла Ширин — и ею знак был дан

Гробничный вход прикрыть. И вот в наряде алом
К носилкам царственным идет она с кинжалом.

И, рану обнажив носителя венца,
Прижала алый рот ко рту ее рубца.

И так же в печень, в бок царица захотела
Свой погрузить кинжал, свое пронзая тело.

И ложе царское ее покрыла кровь,
Как будто кровь царя, растекшаяся вновь.

И вот она с царем без возгласа, без речи,
Уста прижав к устам, к плечам прижавши плечи.

Но вскрикнула она, от рта отъявши рот...
И слышит за дверьми сгрудившийся народ:

Что две души слились, что в теле нету муки,
Что нет в душе тоски, что нет сердцам — разлуки.

Тебе, чьим пламенем для смертных озарен
Был этот брачный пир,— да будет сладок сон!

Пусть тот да ощутит всевышнего десницу,
Кто тихо вымолвит, прочтя сию страницу:

«Аллах, оберегай могильный этот прах!
Двух пламенных прости, о благостный Аллах!»

Осанна Сладостной, осанна сладкой смерти!
О смертные, любви, все победившей, верьте!

Так умирают те, что страстно влюблены,
Так души отдавать влюбленные должны.

И женщина ли та, в которой столько воли?
Муж с женщиною схож, когда боится боли.

Порою сладостно бегущая с плеча
Скрывает тканых львов изгибами парча.

Взмыл на дорогах зла самум слепой и дикий,
Жасмин он оборвал, снес кипарис великий.

И тучи поднялись из-за морей беды,
И грозы грянули из черной их гряды.

И ветер из равнин, как бы единым взмахом,
Весь воздух слил в одно с взнесенным черным прахом.

Лишь о случившемся сумели все узнать,—
Восславили Ширин. И возгласила знать:

«Прославим этот час! Земля в просторах злачных
Невест, подобных ей, рождай для пиршеств брачных!

Мутриба в Африке, мутриба на Руси
Создать подобный пир — напрасно не проси».

...Все, положив с царем прекрасный прах царицы,
Ушли и наглухо замкнули дверь гробницы.

И размышляли все над сладостным концом.
И на гробнице так начертано резцом:

«Одна Ширин, чей прах взяла сия могила,
Себя своей рукой в знак верности убила».

В ОСУЖДЕНИЕ МИРА

Низами говорит в этой главе о беспощадности судьбы, о бренности мира и советует не вверяться соблазнам земной жизни.

В НАЗИДАНИЕ

Продолжение речей о бренности земного, о неизбежности смерти, о необходимости духовной жизни.

СМЫСЛ СКАЗА О ХОСРОВЕ И ШИРИН

Низами говорит, что написал эту поэму в память о своей умершей жене Афак, и умоляет Аллаха защитить своего рожденного Афак сына.

В НАСТАВЛЕНИЕ СЫНУ СВОЕМУ МУХАММЕДУ

Низами советует своему семилетнему сыну прежде всего учиться.

ХОСРОВ ВИДИТ ВО СНЕ ВЕЛИЧАЙШЕГО ПРОРОКА

Хосрову снится пророк Мухаммед, основатель ислама. Все беды Хосрова объяснены далее тем, что он, увидев во сне Мухаммеда и услышав его совет принять ислам, этого все же не сделал. Пробудившись, Хосров

идет в сокровищницу и находит там древний талисман, на котором также начертано предсказание прихода Мухаммеда. Ширин уговаривает его внять этим знамениям, но Хосров не решается отказаться от веры предков.

ПОСЛАНИЕ ПРОРОКА ХОСРОВУ

Глава передает содержание письма, согласно легенде, отправленного пророком Мухаммедом Хосрову Парвизу. Хосров разорвал послание. Тогда по молитве Мухаммеда власть его пала, и он был убит Шируйе, страна его была завоевана арабами, вера отцов Хосрова исчезла.

ВОЗНЕСЕНИЕ ПРОРОКА

Описание ми'раджа Мухаммеда, аналогичное тому, которое есть в «Сокровищнице тайн» (см. стр. 34—39).

НАСТАВЛЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ КНИГИ

В главе речь идет снова о неизбежности смерти, бренности земного мира, о силе случая. В конце главы Низами говорит о силе поэтического слова, о нетленности созданной им поэмы. Завершают главу строки, подобные «Памятнику» Горация.

ПОРИЦАНИЕ ЗАВИСТНИКОВ

Низами жалуется на завидующих ему соперников-поэтов. В конце главы он говорит о символическом значении поэмы.

КЫЗЫЛ-АРСЛАН ТРЕБУЕТ К СЕБЕ ШЕЙХА НИЗАМИ

Рассказ о том, как шах — третий адресат поэмы,— проезжая недалеко от Гянджи, потребовал к себе Низами, как поэт приехал к нему и был принят в соответствии со своим положением святого отшельника, как шах принял от Низами поэму и дал ему награду — грамоту на владение деревней, оказавшейся впоследствии разоренной и не приносящей дохода.

СОЖАЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ ШАМСЕДДИНА МУХАММЕДА ДЖАХАН-ПЕХЛЕВАНА

Второй, после Тогрула, адресат поэмы умер, обещав Низами награду. Низами подносит поэму Кызыл-Арслану, брату Джахан-Пехлевана, и выражает ему свое соболезнование по поводу кончины Джахан-Пехлевана.

ПЕРЕВОД П. АНТОКОЛЬСКОГО

МОЛИТВА

Глава, по традиции, содержит восхваление единства Аллаха, построенное как молитва, как ряд обращений Низами к богу. Молитвенные обращения перемежаются с очень кратким (один-два стиха) изложением отдельных религиозно-философских положений (роль разума в познании и т. п.).

ВОСХВАЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗ ПРОРОКОВ (МУХАММЕДА), ДА БУДЕТ НАД НИМ МОЛИТВА И МИР

Восхваление пророка, построенное так же, как молитва. Содержит ряд философских положений и завершается хвалой четырем первым наместникам пророка — халифам Абу Бекру, Омару, Осману и Али.

О ВОЗНЕСЕНИИ НА НЕБО ПОСЛАННИКА АЛЛАХА

Описание вознесения Мухаммеда на небо, схожее с содержащимся в «Сокровищнице тайн» (см. стр. 34—39). Глава завершается молитвой.

МУДРЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ И ПОУЧЕНИЯ

Низами говорит, что надо быть душою щедрым, как туча, и радостным, как расцветшая роза, странствующим, как солнце, и рассыпающим, как оно, повсюду золото мудрости. Далее он утверждает высшую ценность духовной жизни человека, стремления к познанию, по сравнению с грубыми чувственными удовольствиями от сна и еды, доступными и ослам. Затем он говорит о сотворенности мира Аллахом, о мере его познаваемости и путях познания.

ВСТУПЛЕНИЕ

Я был в тот день столь счастлив и богат,
Что позавидовал бы Кейкубад.

Не хмурил я изогнутых бровей,
Читая строки повести своей.

Казалась верным зеркалом судьба.
И, волосы откинув мне со лба,

Дышало утро благовоньем роз,
И счастливо то утро началось.

Как мотылек в огне златой свечи,
Как соловей в садах Барды в ночи,

На башне слов я знамя водрузил,
Свое перо в чернила погрузил,

Его расщеп алмазами точа.
Язык мой был болтливей турача.

Себе сказал я: час пришел, восстань!
Тебе судьба приносит счастья дань.

Где твоему безделию предел?
Не отстраняйся от великих дел.

На благородный лад настрой свой саз.
Кто спорит с жизнью, тем она далась.

Кто с поднятой проходит головой,
Тот человек бывалый, боевой.

Как зеркало, верна душа его,
Не отражает криво ничего.

А тот, кто чужд народу своему,—
Как бы закутал лживый лоб в чалму.

Судьба благая! Требуешь ли ты,
Чтоб были руки делом заняты?..

Так я мечтал. И вдруг звезда летит.
Вот он, мой жребий,— что мне возвестит?

Найду ль почет за столько дней труда,
И дастся ль мне сокровище тогда?

Так я гадал... И вижу наконец,
Посланье шаха мне принес гонец.

Как он писал, чудесный каллиграф,
Витиеватым почерком убрав

Страниц пятнадцать! Что ни буква — сад.
Как шаб-чираг, слова его горят:

«О друг и брат, ближайший меж людьми!
Словесных дел волшебник, Низами!

Проснись! Восстань от сладостного сна.
Яви нам чудо. Мощь тебе дана,

Чтоб на арене слова своего
Нам доказать благое мастерство.

Хотим, чтоб в честь Меджнуновой Любви
Гранил, как жемчуг, ты слова свои.

Чтобы, Лейли невинность обретя,
Ты был в реченьях свежим, как дитя,

Чтоб, прочитав, сказали мы: «Ей-ей!
Клянемся мы державою своей,

Что сладость книги стоит сотен книг».
Ты перед нами некогда возник

В чертоге слов, как некий шах Хосров.
Так не жалей опять своих даров,—

Арабской ли, фарсидской ли фатой
Украсишь прелесть новобрачной той.

С твоим искусством дивным, Низами,
Знакомились мы прежде. Так пойми:

Для чьей отрады, для чьего лица
Ты панизал свой жемчуг из ларца?

Мы знаем толк в речениях людских,
Мы замечаем каждый новый стих.

Но к тюркским нравам непричастен двор,
Там тюркский неприличен разговор.

Раз мы знатны и саном высоки,
То и в речах высоких знатоки!»

Прочел я... Кровь мне бросплась в лицо,—
Так, значит, в ухе рабское кольцо!

И не поднять из мрака мне чела,
И на глазах как пелена легла,

И не найти сокровищ золотых...
И замер я, и ослабел, затих,

И голову запрятал от стыда...
Где близкий, кто бы понял, в чем беда?

Вновь дополнять творенье — смысла нет.
А рядом сын любимый, Мухаммед,

Как тень моя скользящая, был тих.
Он подошел и сел у ног моих

И говорит: «Не раз ты мяч бросал,
«Хосров — Ширин» недаром написал;

Сердца людей еще повесели
И напиши Меджнуна и Лейли,

Чтоб две поэмы были двойники.
Он — Ширваншах. Вы оба высоки.

Твое владенье — не Ширван, а мир.
Но он знаток, он знатен, он кумир.

Нарядных он потребовал прикрас,—
Садись пиши, как ты писал не раз».

Я отвечал: «Уместна эта речь!
Ты чист, как зеркало, остер, как меч.

Но как мне быть? Душа раздвоена.
Мысль широка. Дорога к ней тесна.

И узок вход рассказу моему.
Хиреет речь, зажатая в тюрьму.

Мне площадь как ристалище нужна,
Как поле для лихого скакуна.

Такая радость, ведомая всем,
Мне не дана. Вот отчего я нем.

Изящество и легкость — вот узда,
Чтоб речь была отважна и тверда,

А от печали рабской и цепей
Она звучит трусливей и слабей.

И если нет на волю мне пути,
Откуда слово ценное найти?

Где музыка, где вина, где меджлис,
Где сад, чтоб мысли светлые зажглись?

Сухой песок, пустыня, темя гор...
Иной народу нужен разговор:

Чтоб слово было сердцем рождено,
Чтобы звенело радостью оно!

Рожденное без радости — мертво.
Но шах велит, чтоб именем его,

Закованный в наряд чужих прикрас,
Я все же точно выполнил приказ!

Чтобы его величество, сочтя
Мой жемчуг, забавлялся, как дитя!

Чтобы влюбился будущий мой чтец
В творенье, кто бы ни был — хоть мертвец!

Я начал рыть и средь глубоких ямин
Набрел на клад, на философский камень.

Природе нужен только краткий путь,
Чтоб не терялся в беспорядке путь.

И путь мой краток был, и голос ясен,
И сладостен напев, и строй согласен.

Размер стиха как море в пляске волн,
Но сонных рыб — живой добычи — полн.

Иные ищут сладости словесной,
Но свежести не знают полновесной.

Но никому среди глубин морских
Не попадалось раковин таких!

И каждый бейт мой, свежестью сверкая,
Дороже, чем жемчужина морская.

Когда искал я эти жемчуга,
Не поскользнулась смелая нога.

Я спрашивал — а сердце отвечало.
Я землю скреб — нашел ключей начало.

Весь мой избыток, весь душевный пыл
Я отдал, чтоб рассказ закончен был.

Четыре тысячи стихов и больше
Сложил в четыре месяца, не дольше.

Свободный от житейских мелочей,
Сложил бы их в четырнадцать ночей.

В ВОСХВАЛЕНИЕ ЦАРЯ АХСИТАНА — СЫНА МИНУЧИХРА

Низами, по традиции, восхваляет заказчика поэмы, говорит о древности его царского рода, о его щедрости, о могуществе, о том, как он крут с врагами и мягок с друзьями и т. п. В заключение Низами молит Аллаха, чтобы он ему, отшельнику, послал с помощью этого шаха пропитание.

ОБРАЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЦЕЛОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Глава содержит ряд традиционных восхвалений, обращенных к Ахситану.

В ВОСХВАЛЕНИЕ СЫНА ШАХА (АХСИТАНА, МОЛОДОГО МИНУЧИХРА) И О ПРЕПОРУЧЕНИИ ЕМУ (НИЗАМИ) СВОЕГО СЫНА (МУХАММЕДА)

Низами восхваляет юного наследника Ахситана и просит его благосклонно принять как поэму «Лейли и Меджнун», так и своего сына Мухаммеда, который отвезет поэму ко двору Ширваншахов. Он просит назначить своему сыну постоянное жалованье.

НАСТАВЛЕНИЯ СЫНУ

Четырнадцатилетний сын мой скромный,
Едва проникший взглядом в мир огромный,

Я помню, как ребенком лет семи
Ты розой мне казался меж людьми.

Ты вырос ныне стройным кипарисом:
Бегут года,— смиренно покорись им!

Беспечных игр окончилась пора.
Расти, учись познанию добра.

Ищи свой путь, заранее готовясь
Чертог построить не на страх — на совесть.

Ребенка спрашивают: — Чей сынок? —
Но взрослый отрок в мире одинок.

И если час ребяческий твой прожит,
Тебе мое отцовство не поможет.

Будь сам как лев, сам побеждай в бою,
Надейся лишь на молодость свою.

Добыв успех, не расставайся с честью,
Не оскорбляй чужого благочестья.

И если сказку вздумаешь сложить,
Сумей и в сказке истине служить.

Так поступай и делай, чтобы только
В грядущем не раскаиваться горько.

И верь нелицемерно в мой совет,—
Тебе послужит верно мой совет.

В привычках, свойственных тебе, отмечу
Заносчивость и склонность к красноречью.

Со стихотворством только не дружи:
Чем глаже стих, тем ближе он ко лжи.

Нет, стихотворство — не твое блаженство.
Здесь Низами достигнул совершенства.

Стих, может статься, громко прозвенит,
Но пользой он, увы, не знаменит.

Пускай созреет сущность молодая,
Одним самопознаньем обладая.

Познай себя, познать себя стремись,—
Таким стремленьем отчеканишь мысль.

Пророк учил, что правая дорога —
Познанье жизни и познанье бога.

Стоят у двери этих двух побед
Лишь двое в мире: врач, законовед.

Так будь врачом, что воскрешает к жизни,
Не костоправом, что лишает жизни!

Законоведом, любящим закон,—
Не крючкотворцем, губящим закон!

Будь тем иль этим,— уважаем будешь,
Учителем людей, служа им, будешь!

Я все сказал. Исполнить должен ты.
Работой жизнь наполнить должен ты.

Что слово! Беглый плеск воды проточной.
Поменьше слов,— тогда значенье точно.

Пусть бьет ключом студеная вода,
Не в меру выпьешь — берегись, беда!

Цени слова дороже всех жемчужин,
Чтоб голос твой услышан был и нужен.

Нанизывай слова, как жемчуга,—
Лишь редкостная снизка дорога.

Нам кажется чистейший жемчуг сказкой
И в кипени волны, и в глине вязкой.

Пока он цел — краса морских зыбей.
Растертый в прах — лекарство от скорбей.

Что россыпь звезд на пажити полночной!
Одно лишь солнце согревает мощно.

Все мириады звезд во тьме ночей —
Ничто пред славой солнечных лучей.

НИЗАМИ ПОМИНАЕТ СВОИХ УСОПШИХ РОДНЫХ

Встань, виночерпий, и налей вина,
Дай жаждущей душе моей вина!

Пускай светла, пускай, как слезы наши,
Прозрачна будет влага пирной чаши.

И только пригублю я чашу,— пусть
В стесненном сердце замирает грусть.

Так много в жизни видел я веселья,—
Оно прошло, но памятно доселе.

Потом и память сгинет без следа...
Потом и я исчезну навсегда...

Встань, виночерпий, и налей мне чашу
Рубинового сока, ибо вновь

От складных слов я стал мудрей и краше,
Моложе стала старческая кровь.

Да, мой отец, Юсуф, сын Муйайеда,
Ушел навек, догнал кончиной деда.

Что с временем бороться? Все течет.
К чему вопить, что неоплатен счет?

Я видел смерть отца. Одним ударом
Я разорвал с его наследьем старым.

Я вырвал жало медоносных пчел
Из тела и забвенье предпочел.

Встань, виночерпий, не сиди без дела!
Налей мне чашу жидкого огня!

Чтоб тварь немая речью овладела,
Чтоб сразу в пот ударило меня.

Да, мать моя, из курдского селенья,
Скончалась. Все земные поколенья

Должны пройти. Все матери умрут.
И звать ее назад — напрасный труд.

Но глубже всех морей людское горе.
И выпей я все реки и все море,

Хоть сотней ртов прильни к его волне,—
Не исчерпать соленой чаши мне.

Один бальзам враждебен этим волнам:
Он называется забвеньем полным.

Встань, виночерпий, встань! Мой конь хромает.
Но чтобы он идти спокойно мог,

Налей вина, которое ломает,
Бросает в жар, но не сбивает с ног.

Хаджа-Умар — брат матери. Мне вскоре
Расстаться с дядей предстояло горе.

Когда я выпил горький тот глоток,
По жилам пробежал смертельный ток,

Во флейте горла пенье оборвалось,
А цепь молчанья вкруг него свивалась.

Встань, виночерпий! В погребе прохладном
Найди вино, как пурпурный гранат.

Глотнув хотя бы раз усильем жадным,
Посевы жизни влагу сохранят.

Где ближние? Где цвет моей семьи?
Где спутники — товарищи мои?

Чтоб улей полнился медовым соком,
Он должен жить в содружестве высоком.

Червяк растит свой шелковичный кокон,
Но в тесной келье той не одинок он.

Китайцы шелк своей обновки ткут
И под ноги друзьям циновки ткут.

И муравей под тяжестью хлопочет:
С товарищами он делиться хочет.

И если ты друзьям и близким рад,
Настройся сам на их согласный лад.

Пусть голос твой не прозвучит, как скрежет,
И стройного напева их не режет.

В чем равновесье? В помощи от всех.
Лишь этим достигается успех.

Встань, виночерпий, и вина мне брызни
Душистого, как мускус,— ибо в нем

Есть выжимки быстробегущей жизни
И сладостное дружество с огнем.

Доколе дом повергнут мой во прах?
Доколе пить отраву на пирах?

Ведь паутина рану то затянет,
То снова нас царапает и ранит,

То на руке нам остановит кровь,
То кровь из мух высасывает вновь.

Ведь этот дом, в котором столько горя,—
Непрочен, значит — распадется вскоре.

Встань, виночерпий, не беги от сборищ
И в чашу дивной горечи налей!

Все тайное мое откроет горечь,
Чем обнаженней, тем душе милей.

Забудь о прошлых днях, тоской увитых,
Давным-давно запечатлен их свиток.

О прошлых жизнях, сгинувших во мгле,
Не поминай, пока ты на земле.

Пускай прочел ты семь седьмых Корана,
Пускай семь тысяч прожил лет, но рано

Иль поздно на краю твоих дорог
Семь тысяч лет пройдут, настанет срок.

Раз нам расти, чтоб сгинуть, суждено,—
Великим быть иль малым — все равно.

Встань, виночерпий! Утро наступило.
Налей вина, что можно и не пить,

Чтоб солнцем бы глаза мне ослепило,
Пред тем как их водою окропить.

Шел в Каа́бу курд и потерял осленка,
И начал бедный курд ругаться звонко:

«Куда в пустыню джинн меня завел?
Куда девался подлый мой осел?»

Кричал, кричал, внезапно оглянулся —
Осленок рядом... Тут он усмехнулся

И говорит: «Мне ругань помогла,
Без ругани я б не нашел осла».

Честней же, слово крепкое, служи нам!
Не то с ослом простимся и с хурджином.

А у кого коровья кротость, тот
Нигде потерянного не найдет.

Встань, виночерпий, не жалей глотка мне,
Налей такого жгучего вина,

Что только вымоешь простые камни —
И в яхонты их грязь превращена.

Не стоит возвеличивать ничтожных,
И слушаться их приказаний ложных,

И пред насильем голову склонять,
И пред глупцом достоинство ронять.

Как на скале воздвигнутая крепость,
В бореньях с жизнью прояви свирепость.

Кто небреженье вытерпел,— тот слаб.
Кто униженье вытерпел,— тот раб.

Носи копье, как шип несет шиповник,—
Тогда ты будешь многих роз любовник.

Что силу ломит? — Бранные слова.
А в жалобах немного торжества.

Встань, виночерпий,— ибо вечереет.
Я умственным насытился трудом.

Налей вина, оно меня согреет.
Я вспомню о рассвете золотом.

Двух-трех кутил возьмем мы на подмогу.
Веселье разгорится понемногу.

Луч солнца и пылинку золотит,
А шах твоих пиров не посетит.

Остерегайся жалованья шаха:
Кто служит в войске — недалек от праха.

Остерегайся милостей владык,
Не то сгоришь, как пакля, в тот же миг.

Огонь владыки жарок и прекрасен,
Но лучше быть подальше: он опасен!

Как мотыльков огонь свечи влечет,
Так манит нас и губит нас почет.

Дай мне вина такого, виночерпий,
Чтобы услышал я призывный клич,

Чтоб снова мысль была не на ущербе!
Меня, как Кейкубада, возвеличь!

Все твари мира, кроме человека,
В своей норе блаженствуют от века.

Лишь человек проклятья голосит,
Когда не слишком он, жадюга, сыт.

Хотя б один глоток его не допит,
Он тотчас небо жалобой торопит.

Хотя бы каплей вымочен дождя,
Он с облаком бранится, весь дрожа.

Хотя бы малость зной его и сушит,
Он в солнце камни с яростию рушит.

Сам будь как свет, чтоб мощь твоя росла,
Не замарайся от добра и зла.

Сам, как вода, любезен будь и нежен,
Сам, как вода, прозрачен и безбрежен.

Встань, виночерпий, хватит отговорок!
Найди мне ту волшебную струю,

Что на пиру сулит веселья ворох,
Становится оружием в бою!

Пляши, как ночью пляшут звезды в небе!
Пускай тебе изранит ноги щебень!

Пускай хромает конь — иди пешком.
На зуботычину ответь смешком.

Ты бремя всех поднять на плечи вышел.
Освобождать других,— что в жизни выше?

Когда же сам под тяжестью падешь,
Плечо, чтоб помогло тебе, найдешь.

Пришла пора кочевья и блужданья!
Не на себя смотри — на мирозданье!

Тяжел твой путь, а ноги в волдырях.
В путь, труженик! Все остальное — прах.

А если слаб, клади мешок заплечный,
Укройся дома. Время быстротечно.

Раз в обществе нет пищи для ума,
Запри свой ум в глухие закрома.

Чем привлечет пустая нас страница?
Куда без ветра челноку стремиться?

Встань, Низами! Твой замысел возник.
Тебе укажет Хызр благой родник,

И увлажнит твой самоцвет неюный
Студеная вода, любовь Меджнуна.

ЖАЛОБЫ НА ХУЛИТЕЛЕЙ

Кипи, душа! Пришла пора кипенья.
Вселенной всей мое владело пенье.

Зачем же я в молчанье погружен,
Когда словами в бой вооружен?

С любым трудом я справился доселе,
Своим напевом славился доселе.

Тем волшебством, что по утрам творил,
Я семь седьмых Корана повторил.

Владел я даром необыкновенным
И назван был зерцалом сокровенным.

И красноречьем острым, словно меч,
Я, как Мессия, мог сердца привлечь.

Стихи такого жара достигают,
Что берегись их трогать,— обжигают!

А те, что и без соли хлеб сожрут,
В моей тени достаток свой берут.

Лев не скупится львиною добычей:
Сыта лисица львиною добычей.

Богат мой стол, велик мой оборот,
Щедротами осыпан весь народ.

Завистник же со мной пиров не делит,
Поэтому он всякий вздор и мелет.

Всегда внизу он, словно тень, лежит
И где-то сзади, словно тень, бежит.

Едва начну я складывать газели,
Он их подделывает еле-еле.

Едва налажу строй моих касыд,
Он в подражанье вяло голосит.

А если обо мне сказать посмеет,—
Что ж удивляться! — лжет и не краснеет.

Я отдал от души вам мой чекан,—
Он делает фальшивым мой чекан.

Людей мартышка корчит неуклюже.
Звезда и в мутной отразилась луже.

На чье-то тело упадает свет,—
Страдает тень, но не страдает свет.

А тень любое тело искажает
И мешкотно ему не подражает.

Но океан, когда прозрачен сам,
Дает охотно выкупаться псам.

И я охотно в берег бью, как волны,
Отнюдь не горьким сожаленьем полный.

Я честно бью киркой и рою рвы,—
Вот почему мой враг без головы.

Все те, что мастерство мое порочат,
Своей кончины близкой не просрочат.

Когда поймали у ворот воров,
Воры кричат: «Держи, народ, воров!»

Так нет же! Если вправду он без денег,—
Открыта дверь, пускай войдет бездельник!

Когда бы я нуждался в чем-нибудь,
Не постыдился б руку протянуть.

Но если правлю я двумя мирами,
Зачем же мне глумиться над ворами!

Я подаянье нищим подаю,—
Пусть расхищают житницу мою!

Весь жемчуг, все сокровища ты видишь,
Меня ты этим, право, не обидишь.

ИЗВИНЕНИЯ ЗА ЖАЛОБЫ

С тех пор что я самим собою стал,
От рук моих и червь не пострадал.

Не трогал я ничьих чужих жемчужин
И был с любой чужой заботой дружен.

По доброте не ведал бранных слов
Ни для собак, ни для тупых ослов.

Не гневаясь и ближних не ругая,
Все сказанное выше — отвергаю!

Но я недаром часто примечал,
Что мало чести тем, кто промолчал.

Моим друзьям известно, кто я родом,
Откуда мой товар, куда он продан.

А тем, что нам завидуют сейчас,
Отпор найдется и помимо нас.

Молчи, душа, иди своей дорогой,
Обидчиков не помни и не трогай.

Спокойна будь, не трать пустых речей,
Не прячь лучей от бедности ничьей.

Будь как цветок на горном перевале,—
Целуй те пальцы, что тебя сорвали!

НАЧАЛО ПОВЕСТИ

Рассказчик начинет речь,— и тут
Пусть жемчуг, им нанизанный, сочтут.

В краю арабов жил да был один
Славнейший между шейхов властелин.

Шейх амиритов жизнь провел свою
В цветущем этом солнечном краю.

Взметенный им песков сыпучих прах
Душистей был, чем чаша на пирах.

Исполнен добродетелей и сил,
Под солнцем гордо он чело носил,

Был самовластен, как султан иной,
Как сам Карун с несчитанной казной.

Приветлив с бедняками, справедлив
И славен меж арабов, как халиф.

Но лишь одна ждала его беда!
Он — раковина полая, куда

Не вложена жемчужина. Он — ствол,
Что ни одним побегом не зацвел...

Да, как ни жаждал сына он, грустя,
Как ни вымаливал себе дитя,

Каких дирхемов нищим ни давал,
Каких красивых жен ни целовал,—

Как он ни сеял — не всходил росток:
Все сына нет, все пуст его чертог!

Отцу и невдомек, что не слаба,
Но мешкает в решениях судьба.

Пусть поиски напрасны! Не ропщи,
Причину лучше тайную ищи.

Так связано все на земле узлом,
Что счастье вечно следует за злом.

И вот Аллах вознаградил отца
За должное смиренье до конца.

И родился младенец дорогой —
Такой любимый, слабенький такой.

Родные совершить обряд пришли
И мальчугана Кейсом нарекли.

И год прошел — ребенок рос и рос,
Стройней тюльпана, прихотливей роз,

Весь упоен предчувствием любви,
Чья сущность разлита в его крови,

Как будто от него исходит свет,
И весь он — мирозданию привет.

Семь лет прошло,— растет он все быстрей,—
Тюльпан в венке фиалковых кудрей.

А через десять лет по свету шла
Из уст в уста его красе хвала.

И счастлив был и ликовал отец,
Когда пошел он в школу наконец.

Был выбран и наставник, старший друг,
Знаток — преподаватель всех наук.

И рядом с Кейсом в тот же день и час
Шумит ватага сверстников, учась.

И каждый мальчик, ревностен и строг,
Готов учить и повторить урок.

А рядом с мальчиками у доски
Есть девочки. Друг другу не близки,

Они сошлись из разных стран и мест,
От всех племен, что ведомы окрест.

И Кейс меж них ученьем поглощен,
Но и другим предметом увлечен!

С ним рядом есть жемчужина одна,
Как бы с другого поднятая дна,

Еще не просверленная, в красе
Нежнейшей,— украшенье медресе.

Разубрана, как куколка, стройна,
Как кипарис, прелестна, как луна.

Шалунья! Взмах один ее ресниц
Пронзает сердце, повергает ниц.

Газель, чей смертоносен тихий взор,
Чья кротость в мире вызовет раздор.

И если кудри — ночь, то светлый лик
Как бы в когтях у ворона возник.

А крохотный медоточивый рот —
Предвестие всех будущих щедрот.

Но сладостное диво с нежным ртом
Рассеет войско мощное потом,

Войдет, как трижды чтимый амулет,
В мечты влюбленных через много лет.

Когда войдет ее звезда в зенит,
Она стихом касыды прозвенит,

И капля пота на ее челе
Священной будет зваться на земле.

Румянец, родинки, сурьма очей —
Все станет завтра звездами ночей.

От черных кос, что стан ей обвили,
Зовут ее, как ночь саму,— Лейли.

Ее увидел Кейс и стал иным,
И сердце отдал за нее в калым.

Но и она, но и она полна
Предчувствием,— как будто от вина,

Которого пригубить ей нельзя,
Все закружилось, медленно скользя.

Пришла любовь. И первый же глоток
Из этой чаши — пламенный поток.

Но как им трудно в первый раз пьянеть,
Как странно им, как дивно пламенеть,

Как сладко им друг с другом рядом жить,
И с каждым часом все нежней дружить,

И ежечасно сердце отдавать,
И никогда его не открывать!..

Товарищи учением полны,
А эти два влечением пьяны.

Те говорят словами, как и встарь,
У этих — свой учебник, свой словарь.

Те много книг прочтут, чтоб не забыть,
А эти миг цветут — лишь бы любить.

Те сочетают буквы для письма,
А эти лишь мечтают без ума.

Те знатоки в глаголах, в именах,
А эти онемели в смутных снах.

О ТОМ, КАК ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН ПОЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА

И каждый день, едва взойдет заря
И солнце, как Юсуфов лик горя,

Окаймлено пыланьем светло-синим,
Полнеба красит цветом апельсинным,—

Лейли подставит золоту чело,
Чтобы зарделось нежно и светло.

И многие всем сердцем засмотрелись
На девственную утреннюю прелесть

И, отозвавшись на младой огонь,
Ножом себе царапали ладонь.

И Кейс бродил, влюбленный и безмолвный,
Как зрелый плод, румяным соком полный.

Дни шли и шли. И день настал, когда
Пришла взаимных вздохов череда.

Жилища их любовь опустошила,
С мечом в руке над ними суд вершила.

И между тем как немы их уста,
Уже роились слухи неспроста,

И сорвана завеса с детской тайны,
И весь базар взволнован чрезвычайно.

И как они ни сдержанны,— не смолк
Всеобщий пересуд и кривотолк.

Ведь и в засохших зернышках нетленный
Благоухает мускус для вселенной.

Как будто ветер, вея поутру,
Приподымал за уголок чадру

С чела любви. Они терпели честно:
Ведь тайна лишь двоим была известна.

Но что терпеть, что пользы им молчать,
Когда с запрета сорвана печать?

Любой их взгляд красноречивей слова.
Найдется ль средство от мученья злого?

Путь пламени любовь нашла сама —
И вырвалась. И Кейс сошел с ума.

Да, он, глядевший на Лейли украдкой,
Снедаем был безумной лихорадкой

И рядом с ней, и близко от нее —
Лишь растравлял отчаянье свое.

Ведь сердце — путник над скалистой бездной,—
Когда сорвешься — помощь бесполезна.

А тот, кто этой доли не знавал,
Его Меджнуном странным называл.

Да, был он одержим. Не оттого ли
Он кличку подтверждал помимо воли?

За то, что люди брешут, будто псы,
Он был лишен возлюбленной красы.

За толки их, насмешками плененных,
Похищен был у лани олененок.

Лила Лейли бесценный жемчуг слез,
И Кейсу плакать горестно пришлось.

И он бродил по рынку и вдоль улиц,
И все, кто с ним, рыдающим, столкнулись,

Что на него дивились и глазели,
Что слышали напев его газели,—

Все ринулись за ним оравой шумной,
Кричали вслед: «Меджнун, Меджнун, безумный!»

А он и впрямь с рассвета до звезды
Не признавал ни сбруи, ни узды.

Он будто гнал осла над черной кручей.
Но из-под ног ушел песок горючий,

Посыпался непрочный тот карниз,
И сорвался осел с поклажей вниз.

Он, как свечи слабеющий огарок,
Непужный днем, и ночью был не ярок.

И что ни утро он спешил босой,
Чтоб повстречаться с милою красой.

Простоволосый, он бежал в пустыню,
Чтоб увидать любимую святыню.

Он шел, чтобы к шатру ее прильнуть.
И долог был его обратный путь.

Быстрее ветра он спешил туда,—
Назад он плелся будто сквозь года.

К ней он летел на сотне крыл летучих,
Назад — дорога в терниях колючих.

К ней — водопада пенистый полет,
Назад — ползущий по ущельям лед.

Он не боялся волдырей и ссадин,
Летел, как будто несся вихорь сзади.

Как на коне летел, не чуя ног,
А шел назад — разбит и одинок.

И будь судьба к нему благоприятна,
Он не пришел бы никогда обратно!

ОПИСАНИЕ ЛЮБВИ МЕДЖНУНА

Рассказ о том, как Меджнун, совсем обезумев от любви, бродит с друзьями по городу и в степи около кочевья племени Лейли. Он обращается к ветру с мольбой донести до возлюбленной слова о его страсти и его мучениях.

О ТОМ, КАК МЕДЖНУН ОТПРАВИЛСЯ ВЗГЛЯНУТЬ НА ЛЕЙЛИ

Меджнун идет с друзьями в горы Неджда к кочевью племени Лейли и видит ее издали в распахнутом шатре.

ОТЕЦ МЕДЖНУНА ОТПРАВЛЯЕТСЯ СВАТАТЬ ЛЕЙЛИ

Опущена фата над ненаглядной,
И сломан мост через арык прохладный.

Меджнун в разлуке с милой горевал
И по ночам газели распевал,

И по утрам он брел на то же взгорье
С толпой друзей таких же нищих. Вскоре

Стал повсеместной притчей их позор.
И жаловались все, потупив взор,

Отцу на сына. Вздохи, укоризны
Сын услыхал. Но сделан выбор в жизни!

Что рассужденья здравые, когда
Влюбленному мила его беда!

Отец скорбел о сыне и, поведав
О том родне, просил ее советов.

По мнению старейшин, лишь одна
Дорога здесь пригодна и честна:

Не медлить с начинанием, из мрака
Извлечь Меджнуна и добиться брака.

Шейх амиритов быстро собрался
В дорогу. Провожала челядь вся.

Уже достигли Неджда. В это время
Все родичи красавицы, все племя,

Все — знать и челядь — вышли из шатров,
Чтоб чужеземцам предоставить кров.

С почетом принят был шейх амиритов.
«В чем ты нуждаешься? Скажи открыто».

Тот отвечал: «Хочу быть ближе к вам,
Прошу вас верить искренним словам».

И без утайки все сказал соседу:
«Ищу родства с тобою, не посетуй!

Как сочетать твое дитя с моим?
Мой сын рожден в пустыне и томим

Тоской по родниковой, свежей влаге.
А я забочусь о сыновнем благе

И говорю об этом без стыда.
Моя семья богатствами горда

И знатностью и пышностью известна.
Есть у меня желанье дружбы честной,

А для вражды всегда оружье есть.
Мне — жемчуг твой. Тебе — хвала и честь.

Ты продаешь. Товар в цене сегодня.
Торгуйся, чтоб я выше цену поднял,

Запрашивай, покуда спрос велик».
Так кончил речь отец, и в тот же миг

Второй отец ответствовал учтиво:
«Ты говорил весьма красноречиво.

Но пусть судьба решает за меня.
Могу ль сидеть у жгучего огня,

Не опаливши нашей дружбы честной?
Твой сын прекрасен, и родство мне лестно,

Но он для нас не родич и не друг,
Он счастья не внесет в семейный круг.

Он одержим безумием и болен.
Ты исцелить его, конечно, волен

Молитвами — тогда и приходи
Со сватовством. Но это — впереди!

Прощай, купец! А жемчуг твой с изъяном
Не предлагай ни в братья, ни в зятья нам.

В таких делах арабы знают толк;
Боюсь молвы». И тут отец умолк.

И амириты после этой речи
Почувствовали стыд и горечь встречи.

Не принятые в племени Лейли,
С обидой по домам они ушли.

У всех у них одна забота ныне —
Как исцелить Меджнуна от унынья.

И каждый на советы был хитер,
Но что ни речь, то хворосту в костер:

«Немало есть у племени красавиц,
Пленительных и ласковых на зависть,

Чьи косы — мускус, и рубин — уста,
Есть и у нас на выбор красота!

Зачем же ты своей сердечной раной
Обязан той девице чужестранной?

Как плавно выступают, как стройны!
А ты чуждаешься родной страны!»

ПЛАЧ МЕДЖНУНА

Все выслушал Меджнун. И для него
Все стало окончательно мертво.

Он тотчас разодрал свою рубаху:
Не нужен саван тлеющему праху!

Тому, чье царство где-то вне миров,
Весь мир — кочевье, а не отчий кров.

Он стал бродить по выжженной пустыне,
С одной лишь думой об одной святыне,

По кручам горным странствовал пешком,
Как тюрк, с заплечным нищенским мешком.

И «Ла хауль» прохожие кричали,
Когда он шел в смятенье и в печали,

Когда слыхали по ночам вдали
Протяжный вопль его: «Лейли, Лейли!

Я — выродок. Я джинном одержим.
Сам злобным джинном я кажусь чужим,

А для родни — всех бед ее виновник,—
Исколот сам, колюсь я, как терновник.

Товарищи веселья и труда,
Прощайте, о, прощайте навсегда!

Прощайте, о, прощайте же навеки!
Забудьте о несчастном человеке!

Бутыль с вином в руках моих была —
Она разбита, и куски стекла

Усыпали дорогу пылью колкой.
Потоком слез несет ее осколки,

Ко мне легко ты можешь подойти,—
Ног не изранишь на своем пути.

Я — ветвь сухая, ты же — ветвь в цвету.
Ну, так сожги сухую ветку ту.

Преступник ли, что жажду исцеленья?
В чем грешен, если не в одном моленье?

О, будь моей, моей, Йемена дочь,
Из тысячи ночей одну лишь ночь!

Звезда моя! Луна моя младая,
Одной болезнью дикой обладая,

Я потому и болен, что люблю
Тебя одну, тебя, луну мою!

Так он сказал и молча наземь лег.
И плакал, кто был часом недалек

От юноши, и бережно и нежно
Повел его домой дорогой прежней.

Бывает, что любовь пройдет сама,
Ни сердца не затронув, ни ума.

То не любовь, а юности забава.
Нет у любви бесследно сгинуть права:

Она приходит, чтобы жить навек,
Пока не сгинет в землю человек.

Меджнун прославлен этим даром верным,
Познаньем совершенным и безмерным,

Прославлен тяжким бременем любви.
Он цвел, как роза, дни влача свои.

От розы той лишь капля росяная
Досталась мне, едва заметный след.

Но, в мире аромат распространяя,
Не испарится он и в сотни лет.

ОТЕЦ ВЕЗЕТ МЕДЖНУНА В ХРАМ КААБЫ

Все небо закрывала, словно пламя,
Его любовь могучими крылами.

Но чем в любви был совершенней он,
Тем громче слышались со всех сторон

Насмешки, подозренья и упреки,
А сам больной, от всех забот далекий,

Вне общества людского, вне среды,
Причиной стал неслыханной беды

Для бедного отца. И ежечасно
Томился тот о юноше несчастном.

У всех святынь он руки воздевал,
Во всех паломничествах побывал,

Везде родня усердная молилась,
Чтобы снискать целительную милость.

И наконец решила вся родня,
Что следует, не мешкая и дня,

Идти всем скопом до священной Каабы,
Как бы она далеко ни была бы,

Поскольку там за каменной стеной
Михраб любви небесной и земной.

К началу хаджа вышли амириты.
Верблюды их носилками покрыты.

В одну из шатких колыбелей тех
Посажена утеха из утех,

Любимый сын,— насильно упросили,
Не пожалели родственных усилий.

Приехал в Каабу страждущий отец.
Росло волненье искренних сердец.

Шейх амиритов, нищих утешая,
Бесценный жемчуг с золотом мешая,

Сынам песков рассыпал, как песок,
Все достоянья, всех сокровищ сок.

И взял он сына за руки и нежно
Сказал ему: «Теперь молись прилежно.

Не место для забавы этот храм,
Поторопись, прильни к его дверям,

Схватись же за кольцо священной Каабы,
Молись, чтобы мученья отвлекла бы,

Чтоб исцелить бессмысленную плоть
И боль душевной смуты побороть,

Чтоб ты приник спокойно к изголовью,
Не мучимый безжалостной любовью».

Но слушать более Меджнун не стал.
Он зарыдал, потом захохотал,

И, как змея, с земли пружиной прыгнул,
И, за кольцо дверей схватившись, крикнул:

«Велят мне исцелиться от любви.
Уж лучше бы сказали: не живи!

Любовь меня вскормила, воспитала,
Мой путь она навеки начертала.

Моей, Аллах, я страстию клянусь,
Твоей, Аллах, я властию клянусь,

Что все сильней тот пламень разгорится,
Все горячей в крови он растворится,

Что в час, когда земной истлеет прах,
Любовь моя останется в мирах.

И как бы пьяным нежностью я ни был,
Налей еще пьянее — мне на гибель!

Мне говорят, чтоб я Лейли забыл.
Но ты, Аллах, раздуй мой страстный пыл,

Всю жизнь мою, все радости, все муки
Отдай в ее младенческие руки.

Пусть буду тоньше волоса Лейли,
Но только бы чело ей обвили

Те вьющиеся — черной смольной чащей!
Будь раной я сплошной кровоточащей —

Пускай она по капле выпьет кровь!
И, как ни велика моя любовь,

Как много дней о ней я ни тоскую,—
Продли, Аллах, подольше боль такую!»

Слыхал слова сыновние отец.
Он замолчал и понял наконец,

Что сыну суждено остаться пленным,
Что тот огонь пребудет век нетленным.

И он пошел к своей родне домой
И так сказал: «Сын безнадежен мой.

Он так молился у святыни Каабы,
Что кровь моя вскипела и могла бы,

Как ток Земзема, хлынуть кипятком.
Я полагал — святынями влеком,

Страницу прочитает он Корана,
Но он о ней молился невозбранно,

Забыв меня и молодость губя,
Хвалил ее и проклял сам себя».

ОТЕЦ МЕДЖНУНА УЗНАЕТ О ЗАМЫСЛАХ ПЛЕМЕНИ ЛЕЙЛИ

Отец Лейли узнает, что обезумевший Меджнун бродит по пустыне и сочиняет стихи о Лейли. Эти стихи знают многие. Он потрясен, ибо такая огласка — позор для Лейли, для ее племени, и решает убить Меджнуна. Племя Меджнуна узнает об угрозе его жизни. Его разыскивают в пустыне и не могут найти. В конце концов отец Меджнуна находит его. Несчастный говорит, что жизнь его кончена, и прощается с отцом.

СОВЕТ ОТЦА МЕДЖНУНУ

Отец умоляет Меджнуна подумать не только о Лейли, но и о своих родителях, умоляет не падать духом, надеяться на счастье.

ОТВЕТ МЕДЖНУНА

Меджнун отвечает, что избранный им путь любви и страдания не зависит от его воли — такова его судьба. Жизнь без Лейли ему не нужна. Отец все же отвозит его домой. На третий день после возвращения Меджнун снова убегает в пустыню Неджда и скитается там, сочиняя стихи.

ПРИТЧА

Куропатка поймала муравья и сжала его в клюве. Муравей захохотал и спросил куропатку: «А ты можешь так хохотать?» Куропатка обиделась: «Хохотать — мое умение, а не твое!» (На востоке крик куропатки обычно сравнивают со смехом.) Она показала муравью, как надо хохотать и, конечно, выронила его из клюва. Муравей спасся, а куропатка огорчилась. Радоваться, смеяться, говорит Низами, надо ко времени, иначе попадешь в положение этой куропатки, смех твой приведет к плачу. Влюбленный, говорит далее Низами, как гази, воин, борец за истинную веру (ислам), меча не боится. Ему лучше умереть, чем отступить.

ЧУВСТВА ЛЕЙЛИ

Семи небес многоочитый свод,
Семи планет хрустальный хоровод,

Наложница услады и томленья,
Подруга неги, кипарис моленья,

Михраб намаза верных прихожан,
Светильник жизни, всей подлунной джан,

Бесценный жемчуг в створчатых зажимах.
Влекущая всех джинном одержимых,

Лейли, Лейли, соперница луны,
Предмет благоговенья всей страны,

Росла в благоуханной гуще сада.
Две зрелых розы, юношей услада,

Круглились и, как чаши, налились.
Был стан ее как стройный кипарис,

И губы нинным пурпуром пьянили,
И очи поволокою манили,—

Украдкой взглянет, и конец всему:
Арабы заарканенные стонут,

И турки покоряются ярму,
В волнах кудрей, как в океане, тонут.

Охотится она,— и грозный лев
К ней ластится, смиреньем заболев.

И тысячи искателей безвестных
Томятся в жажде губ ее прелестных.

Но тем, кто целоваться так горазд,
Она промолвит только: «Бог подаст!»

За шахматы садится — и луну
Обыгрывает, пешку сдав одну.

Вдруг две руки, как две ладьи, скрещает,
И шах и мат светилам возвещает.

Но несмотря на обаянье то,
Кровавой музой сердце залито.

И ночью втайне, чтоб никто не слышал,
Проходит девушка по плоским крышам,

Высматривает час, и два, и три,
Где тень Меджнуна, вестница зари.

О, только б увидать хоть на мгновенье,
С ним разделить отраду и забвенье,—

С ним, только с ним! Как тонкая свеча,
Затеплилась и тает, лепеча

Возлюбленное имя. И украдкой
Полна одной бессонницею сладкой,

То в зеркало страдальчески глядит,
То за полетом времени следит,

То, словно пери, склонится послушно
К веретену, жужжащему так скучно.

И отовсюду, словно бы назло,
Газели друга ветром к ней несло.

И мальчуган, и бойкая торговка
Поют газели, слаженные ловко.

Но и Лейли, смышленое дитя,
Жемчужины чужих стихов сочтя,

Сама способна нежный стих составить,
Чтобы посланье милому отправить,

Шепнуть хоть ветру сочиненный стих,
Чтоб он ушей возлюбленных достиг.

Иль бросить на пути проезжем, людном
Записку с изреченьем безрассудным,

Чтобы любой прочел, запомнил, сжег,—
А может статься, взглянет и дружок.

А может статься, в передаче устной
К нему домчится этот шепот грустный.

Так между двух влюбленных, двух детей,
Шел переклик таинственных вестей.

Два соловья, пьянея в лунной чаще,
Друг другу пели все смелей и слаще.

Два напряженья двух согласных струн
Слились: «Где ты, Лейли?» — «Где ты, Меджнун?»

И скольких чангов, скольких сазов ропот
Откликнулся на их неслышный шепот!

От их напева мир обременен
Мутрибами всех будущих времен.

Но чем согласней этот лад звучащий,
Тем о двоих враги злословят чаще.

Год миновал, а юная чета
Живет в мечтах, да и сама — мечта.

ЛЕЙЛИ В САДУ

В садах плодовых, в рощах тонкоствольных
Цветы — как лица щедрых и довольных.

Из розовых и ярко-красных роз
Над миром знамя пестрое взвилось.

А между тем всю ночь в листве зеленой
Неистовствует соловей влюбленный.

Фиалка шепчет свой смиренный стих,
Два локона на землю опустив.

Набрякла почка и хранит в колчане
Шипы, что встанут вкруг ее венчанья.

И ненюфары, солнцем залиты,
Прудам без боя отдали щиты.

Нарядный бук еще нарядней станет,
Затейливой своей прической занят.

Нарцисс, огнем пылая изнутри,
Проснулся в лихорадке, ждет зари,

Открыла роза поцелуям очи:
Кто равен розе в благовоньях ночи?

Все птицы в бестолковости своей
Хотели бы запеть, как соловей.

Лишь голубь, к счастью мирному готовясь,
Подруженьке рассказывает повесть.

А соловей, как бесноватый, пьет
Глотками воздух — и поет, поет!

В такой благословенный час цветенья
Лейли выходит из дому в смятенье.

Вокруг Лейли — приставленные к ней,
Как ожерелье блещущих камней,

Тюрчанки, гостьи в крае аравийском.
В оправе гурий, в их соседстве близком,

Идет Лейли,— да сгинет глаз дурной! —
Чтоб надышаться раннею весной

И венчиком затрепетавших губок
Пригубить вслед нарциссу влажный кубок.

Со всех цветов и трав, куда ни глянь,
Благоуханья требует, как дань.

И, с тенью пальмы тень свою скрещая,
К родным вернется, радость возвещая...

Но нет! Иная цель у красоты —
Не кипарис, не розы, не цветы.

Лейли в саду, в убежище укромном,
У ветерков о страннике бездомном

Выспрашивала робко. Соловью
Шептала тайну горькую свою.

Вздохнула глубоко и замолчала —
И на сердце как будто полегчало.

Есть пальмовая роща в той стране.
Казалось, это блещет в глубине

Китайская картина. Дивной кистью
Рисованы густые эти листья.

Нигде клочка подобного земли
В песках арабы встретить не могли.

И вот Лейли с подругами под сенью
Приветных пальм стоит без опасенья.

Казалось, в изумруде трав возник
Тот движущийся розовый цветник.

Казалось, розы на лужок присели,
Наполнив рощи звуками веселья.

Но вот затих их говорок и гам.
Одна блуждает дева по лугам.

И в зарослях цветочной кущи тонет.
И мнится — соловей полночный стонет:

«О верный друг, о юный кипарис!
Откликнись мне, на голос мой вернись!

Приди сюда, в мой сад благоуханный,
Дай мне вздохнуть, от горя бездыханной.

А если нет в наш край тебе пути,
Хоть ветерком о том оповести».

И не успела смолкнуть, слышит дева:
Раздался отклик милого напева.

Какой-то путник, недруг или друг,
Прислушался, и зазвучала вдруг,

Как жемчуг, скрытый в море мирозданья,
Газель Меджнуна, просьба о свиданье:

«О бедность издранной одежды моей!
О светлый привратник надежды моей!

Меджнун захлебнулся в кровавой пучине,—
Какое до этого дело Лейли?

Меджнун растерзал свое сердце и тело,—
Чей пурпур багряный надела Лейли?

Меджнун оглашает пустыню рыданьем,—
Какое веселье владело Лейли?

Меджнун догорел, как его пепелище,—
В какие сады улетела Лейли?

Меджнун заклинает, оборванный, голый,—
В чьи очи, смеясь, поглядела Лейли?»

Едва лишь голос отдаленный замер,
Лейли такими жгучими слезами

Заплакала, что камень был прожжен.
Одна из юных бывших рядом жен

Все подсмотрела и пошла украдкой
К родным Лейли с отгаданной загадкой.

И мать, как птица бедная в силках,
Зашлась, затрепыхалась впопыхах:

«Как ты сказала? Очень побледнела?
Тот — полоумный! Эта — опьянела!

Все кончено! Ничем им не помочь!
И нечем вразумить такую дочь».

И все осталось тщетным. Где-то рядом
Изнемогала дочь с потухшим взглядом,

С тоской, с отравой горькою в крови.
Но это же и есть цепа любви!

СВАТОВСТВО ИБН САЛАМА

Когда Лейли гуляла в пальмовой роще, ее увидел знатный и богатый юноша Ибн Салам из арабского племени бени асад. Он влюбился в нее и послал к ее родителям сватов. Родители Лейли дают согласие, но просят отложить свадьбу — их дочь больна.

НОУФАЛЬ ПРИХОДИТ К МЕДЖНУНУ

Богатый араб, смелый воин Ноуфаль, на охоте встречает Меджнуна, окруженного дикими зверями. Ему рассказывают историю этого несчастного. Ноуфаль решает помочь Меджнуну. Они пируют вместе. Ноуфаль предлагает Меджнуну добыть Лейли. Меджнун отказывается — ведь он безумен. Ноуфаль уговаривает его. Меджнун живет в шатре Ноуфаля. Его красота снова расцветает.

МЕДЖНУН УПРЕКАЕТ НОУФАЛЯ

Во время пира Меджнун неожиданно упрекает Ноуфаля: он подал ему надежду на соединение с Лейли, а сам ничего для этого не делает.

БИТВА НОУФАЛЯ С ПЛЕМЕНЕМ ЛЕЙЛИ

Ноуфаль тут же решает идти войной на племя Лейли, чтобы отбить ее. Он ставит условие племени: или они отдают Лейли добром, или он сейчас их разгромит. Предводители племени решают биться с Ноуфалем. Бой. Меджнун в бою рядом с Ноуфалем, но он сочувствует племени Лейли — он ведь любит ее. Воинам кажется, что он изменник.

Меджнун отвечает им:

Если враг любовь,
Не нужен меч и бесполезна кровь...

Племя Лейли устояло против натиска Ноуфаля. Наступает ночь. Наутро Ноуфаль снова посылает сватов и, не дождавшись ответа, отступает с остатком войска.

УПРЕКИ МЕДЖНУНА

Меджнун, который во время битвы сочувствовал племени Лейли, после поражения Ноуфаля набрасывается на него с упреками: Ноуфаль сделал только хуже, теперь все племя Лейли — его смертельные враги, возлюбленная далека от него, как никогда. Ноуфаль собирает новое войско.

ВТОРАЯ БИТВА НОУФАЛЯ

Ноуфаль с огромной ратью идет на племя Лейли. Поражение неизбежно, но понятия о чести не дают племени отступить. Бой, Ноуфаль победил. Старейшины племени Лейли идут к нему просить о милости. Отец Лейли говорит, что он лучше сейчас же убьет ее, но Меджнуну он ее не отдаст. Воины Ноуфаля помнят, что Меджнун их чуть не предал в первой битве, они уговаривают Ноуфаля отказаться от его требования. Ноуфаль соглашается с ними. Меджнун бежит снова в пустыню.

МЕДЖНУН ОСВОБОЖДАЕТ ЛАНЕЙ

Меджнун коня быстрее ветра гонит.
Его тоска гнетет и долу клонит.

О вероломстве песню он поет,
Поет, и плачет, и летит вперед.

Вот перед ним капкан, и в том капкане,
Испуганные насмерть, бьются лани.

Запутались копытца, топоча.
А зверолов готов уж сгоряча

Взмахнуть ножом над пойманною дичью.
«Постой! Велит охотничий обычай,—

Сказал Меджнун,— чтоб ты по старине,
Как гостю, этих ланей отдал мне.

Открой капкан, избавь зверей от боли
И отпусти, трепещущих, на волю.

Зачем лишать их жизни, так спеша?
У твари есть дыханье и душа.

В ее глазах написано прекрасных:
«Не тронь меня, не гневайся напрасно!»

Как смеешь ты железом их колоть,
Невинную изранить эту плоть?

Будь в волчьей шкуре, а не в человечьей,
Тогда невинным наноси увечья!

Ведь их глаза — глаза любви твоей,
Их мордочки — весенний мир полей.

Ты ради глаз простишь ее, товарищ,
И в честь весны ей счастие подаришь.

В ее слезах коварства нет и лжи.
Дай ей дышать и путы развяжи.

Ужель уснуть под холмиком зеленым
Глазам, самой природой насурьмленным?

Ужели этот юный тонкий стан
Лишь на закланье жертвенное дан?

Иль этой серебром блеснувшей груди
На вертеле дымиться иль на блюде?

Иль эти ножки, кожу снявши с них,
Сломаешь ты, как молодой тростник?

Иль спину ту, не знающую вьюка,
Предсмертная вдруг передернет мука?»

Был изумлен, испуган зверолов.
Он сунул пальцы в рот от этих слов

И отвечал: «Совет совсем не вреден,
Но ты, дружок, не знаешь, как я беден!

И как судьба несчастлива моя!
Ведь у меня детишки и семья.

Ты упрекнешь, свирепым называя,
Что по нужде я дичь не прозеваю.

Но если так жалеешь ты зверей,
Возьми живьем, но выкупи скорей».

Когда Меджнун нужду его постигнул,
Со скакуна легко тотчас же спрыгнул

И отдал зверолову скакуна —
За ланей справедливая цена.

Был счастлив зверолов, коня увел он.
Не жалостью Меджнун — любовью полон,

Целуя ланей черные глаза,
Как будто то Лейли, а не коза.

Он целовал их в память о любимой,
Молясь о жизни их неистребимой.

В капкане ланей он не задержал,
В пустыню вслед за ними побежал.

Он побежал, смиренный и вопящий,
По выжженным пескам и сам кипящий

От зноя, как котел на тагане,—
Весь в жалости, весь в гибельном огне.

Он разрывал о тернии одежды.
Уже была в вечерние одежды

Облачена нагая плоть земли.
Как волос, еле видный издали,

Он вполз в пещеру, сумраком повитый,
Как ящер от гадюки ядовитой.

Он наземь лег и слезы лил земле,
Как самоцветы, рдевшие во мгле.

И как колючка, брошенная в пламень,
Иль, как змея, взвивался он на камень,

Не спал всю ночь и слезы лил всю ночь,
Чтобы к рассвету духом изнемочь.

МЕДЖНУН ОСВОБОЖДАЕТ ОЛЕНЯ

Когда счастливым предзнаменованьем
День подымал свой стяг над мирозданьем,

Когда исчезла синь ночная вся,
Вскочил мечтатель на ноги, взвился,

Как легкий дым от амбры благовонной.
Пустился в новый путь Меджнун влюбленный,

Слагая, как бывало, нежный стих,
И вот уже расселины достиг

И увидал на склоне в отдаленье
В тугих силках могучего оленя.

Над ним, дрожавшим с головы до ног,
Уже занес охотник свой клинок.

Меджнун окликнул громко зверолова,
И подбежал к нему, и молвил слово:

«Постой, мучитель слабых! Стой, тиран
Безжалостный! Стой, наноситель ран!

Прекрасного оленя ты не трогай!
Безропотно он шел своей дорогой.

Пускай хоть день ликуя проживет
И трубным криком милую зовет,

И к логову подруги устремится,
Ведь, может быть, она уже томится,

Что ночь близка, а рядом нет самца!
И не опустишь ты пред ней лица?

О милая! Нас так же разлучают,
Такой же болью сердце отягчают.

О, горе злым разлучникам четы!
Поберегись, охотник жадный, ты,

Чтобы не стало предопределеньем:
Ему — ловцом быть, а тебе — оленем.

Но как заплатишь ты за торжество,
Что он — твой пленник, а не ты — его?»

Охотник был взволнован этой речью
И отвечал: «Я не противоречу.

Губить невинной твари не хочу,
Но плату за оленя получу:

Тебе понравилась моя добыча —
Купи ее, чудак,— таков обычай!»

Меджнун сорвал одежду и кинжал.
И торга зверолов не задержал:

Увидел он, что в барыше остался,
И со своей добычею расстался.

И, как отец к ребенку, подошел
Меджнун к оленю гордому, провел

Ладонью вдоль хребта его в тревоге,
Перевязал израненные ноги,

Погладил нежно, счистил пыль и грязь
С боков оленя и, в глаза смотрясь,

Сказал: «Ты тоже разлучен с подругой,
Вожак рогатых стад, бегун упругий,

Красавец горных пастбищ, милый брат!
Как влажные глаза твои горят,

Как ясно выраженье их живое!
Так радуйся, вас скоро будет двое.

Пускай не в золотой оправе зуб,
А в раковине этих мягких губ.

А коже быть не тетивой со свистом,—
Твоей одеждой с ворсом шелковистым.

В глазах твоих целебней есть бальзам,
Но лучше не пролиться тем слезам.

Живи, широкогрудый, с мощной шеей,
Ветвись рогами, статью хорошея,

Спеши, бегун, в недальнюю страну,
Где ждет Лейли. Оповести луну,

Что я все тот же, как она хотела.
Меж нами — расстоянье без предела,

И средств общенья между нами нет,
Ничто не донесет ей мой привет,

Стрела и долететь туда не смеет.
А ветер, что ее дыханьем веет,—

О нем я не хочу и вспоминать.
Как след найти, как ветер тот догнать?

Для разума темна его дорога».
Так говорил он, повторяясь много,

Распутал узы хитрого силка,
Поцеловал оленя и, пока

Тот убегал, смотрел вослед оленю.
А зной дошел до белого каленья.

Безумец обессилел, стих шепча,
Потом стоял и таял, как свеча.

МЕДЖНУН РАЗГОВАРИВАЕТ С ВОРОНОМ

Меджнун грустит у родника. Его горестные возгласы безответны. Вдруг он видит ворона и умоляет его полететь к Лейли и подать ей весть о нем. Ворон улетает. (Эта глава — развернутый традиционный образ арабской поэзии, где ворон — символ разлуки.)

СТАРУХА ВЕДЕТ МЕДЖНУНА К ПАЛАТКЕ ЛЕЙЛИ

Однажды, чуя смутную надежду,
Пошел он к племени любимой, к Неджду,

Увидел издали жилья дымок —
Сел на краю дороги, изнемог

И так вздохнул, как будто бы влетела
Душа в его безжизненное тело.

Вдруг видит он: старуха там идет,
Она безумца дикого ведет.

Весь в путах был безумец, и как будто
Его не раздражали эти путы.

Старуха торопилась и вела
Безумца на веревке, как козла.

И стал Меджнун расспрашивать со страхом,
И заклинал старуху он Аллахом:

«Кто ты и твой попутчик кто таков,
Чем заслужил он множество оков?»

И прозвучал ответ ее короткий:
«Не узник он, не заслужил колодки.

Мы — нищие. Я — горькая вдова,
От голода бреду, едва жива,

По нищенству веду его, как зверя,
Чтоб он плясал и пел у каждой двери.

Легко нужда научит шутовству.
Так вот подачкой малой и живу.

Что соберу, поделим без обмана,
Без спора пополам на два кармана».

Меджнун едва услышал, в тот же миг
В отчаянье к ногам ее приник:

«Все это — цепь, веревки и колодки —
Мне подойдет. Я тот безумец кроткий,

Несчастный раб любви, достойный уз;
Я быть твоим товарищем берусь,

Веди меня, укрой в своем позоре
Мою любовь, мое шальное горе!

Куда угодно, нищенка, веди!
И все, что ни сберешь ты впереди,

Бери себе без всякого раздела».
Старуха на добычу поглядела

И оценила выгоду на глаз.
Немедленно от друга отреклась,

Запутала цепями и веревкой
И заковала кандалами ловко,

Колодкою сдавив его слегка,
И повела по свету новичка.

И счастлив был он ссадинам на шее.
И, от цепей как будто хорошея,

Он пел свои газели и плясал,
А если камень кто-нибудь бросал,

То он еще подпрыгивал для смеха!
Или кривлялся. Вот была потеха!

И вот однажды нищие пришли
На взгорье Неджд, к шатру самой Лейли.

Тогда Меджнун воспрянул, умиленный.
Приник он, как трава, к земле зеленой

И бился головой, простершись ниц.
И хлынул дождь весенний из глазниц:

«Любимая! Смотри, как мне отраден
Зуд этих черных ран и грязных ссадин.

О, если за постыдный мой порок
Еще не миновал возмездья срок,

По твоему благому повеленью
Казнимый, не хочу сопротивленья.

На бранном поле нет моей стрелы.
Смотри! Я здесь, я жду твоей стрелы,

Простертый ниц, достойный смертной кары
За то, что наносил тебе удары.

За то, что ноги шли в песках, пыля,
Сейчас на шее у меня петля.

За то, что пальцы не держали лука,
Их скрючила такая злая мука.

За все невольно сделанное зло,
За все, за все возмездие пришло.

Не позволяй мне в униженье биться
О твой порог. Убей меня, убийца!

А если корневищами страстей
Еще я крепок,— вырви из костей

Те гвозди, что мое распяли тело.
Любить меня живым ты не хотела,

Не возложила на голову рук.
О, может быть, когда погибнет друг,

Опустишь ты мне на голову руки.
Хоть обезглавь,— что мне любые муки!

Когда свечу уродует нагар,
Обрежь фитиль — и ярче вспыхнет жар.

Раз в голове огонь моей болезни,—
Туши огонь, а голова — исчезни!»

Так он сказал и взвился, как стрела,
И сразу путы плоть разорвала.

И, испугавшись собственного горя,
Достиг он быстро Неджда и на взгорье

Бил сам себя руками по лицу.
Когда ж об этом весть дошла к отцу

И к матери,— они пошли за сыном,
Хоть им и не пристало знаться с джинном.

Увидели — и обуял их страх,
И бросили безумного в горах,

И он один остался в мирозданье,
Он шаханшах страданья, раб страданья.

И кто бы с ним в беседу ни вступал,
Он убегал или, как мертвый, спал.

ВЕНЧАНИЕ ЛЕЙЛИ

Отец сообщает Лейли об исходе второго сражения с Ноуфалем и о бегстве Меджнуна в пустыню. Лейли рыдает. К ее родителям многие посылают сватов. Ибн Салам узнает об этом и приезжает к племени Лейли с богатыми дарами. Отец Лейли дает согласие на их брак. Лейли в отчаянии, но она вынуждена быть покорной. Брачный пир. Ибн Салам ее увозит.

ИБН САЛАМ ПРИВОДИТ ЛЕЙЛИ В СВОЙ ШАТЕР

Когда разбило солнце в час рассвета
Шатер в долине голубого цвета

И ночь скликала звезды в легкий челн,
Чтобы уплыть к Евфрату синих волн,—

Жених проснулся, радостный и пылкий,
Он приготовил для Лейли носилки.

И девушка вошла под паланкин,
Повез ее довольный властелин,

И дома, в знак любви и благородства,
Вручил над всем добром своим господство.

Пытаясь воск учтивостью смягчать,
Он и не знал, что делать, как начать.

Но вот едва лишь дерзость в нем проснулась,
За фиником созревшим потянулась,

Едва качнул он гибкой пальмы ствол,
Как о шипы все пальцы исколол.

Так по щеке Лейли ему влепила,
«Попробуй, только тронь!» — так завопила,

Что замертво он наземь полетел.
«Тронь — и, клянусь, не уберешься цел.

Клянусь Аллахом, ибо не напрасно
Он сотворил меня такой прекрасной.

Как ни желай, не дамся нипочем,
Хоть бей меня, хоть заколи мечом!»

Муж эту клятву страшную услышал
И, радуясь, что невредимым вышел,

Решил,— не будет близости меж них.
Отказу подчинился и притих,

Настойчивый, учтивый, безответный,
Повсюду рядом с ней он незаметно,

Просозерцав недели две луну,
Сам очутился у нее в плену.

Тогда решил: «Я от любви бледнею
И молча отступаю перед нею.

Уж лучше, созерцая издали,
Довольным быть, что не ушла Лейли».

А ей сказал: «Будь от меня далеко,
Будь проклят я, не перейду зарока».

И после перемирья был он рад,
Скрещая с ней, хоть и случайно, взгляд.

А роскошь сада, дева-недотрога,
Уставившись на пыльную дорогу,

Ждала, чтоб ветер, дующий до слез,
Пыль из-под ног любимого занес.

Вдруг из шатра немилого выходит,
Рыдает громко, безутешно бродит,

Вдруг побежит, как будто опьянев:
Все спуталось — печаль, и стыд, и гнев,

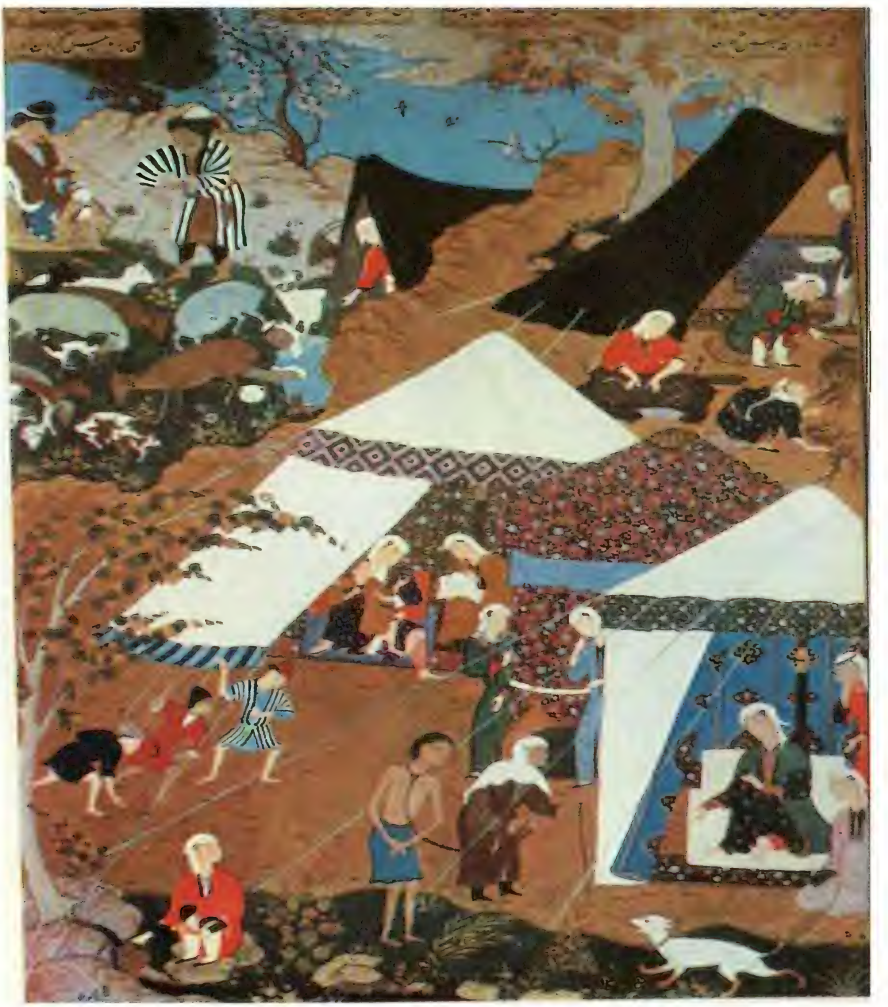
И горько ей и страшно, что бесславно
Все скрытое разоблачилось явно,

Но страха нет пред мужем и отцом —
Она проходит с поднятым лицом.

Когда любовь становится алмазом,
Что ей отец, что муж с его приказом!

МЕДЖНУН УЗНАЕТ О ЗАМУЖЕСТВЕ ЛЕЙЛИ

Меджнун разрывает цепи и убегает от нищей старухи в пустыню. Он лежит простертый на земле. К нему подъезжает путник на верблюде и кричит ему, что Лейли вышла замуж, предала и забыла его. Он убеждает Меджнуна забыть о неверной возлюбленной — ведь от жен-



щины верности ждать вообще нельзя. Меджнун бьется головой о камни в бурном приступе отчаяния... Тогда вестник пытается его утешить, говорит, что Лейли уже год как замужем, но все еще верна Меджнуну.

МЕДЖНУН ЖАЛУЕТСЯ МЫСЛЕННОМУ ОБРАЗУ ЛЕЙЛИ

Меджнун в мыслях обращается к образу Лейли с речью, напоминает ей об их детстве, любви, их верности, говорит, что никогда не откажется от любви к ней.

СНОВА ОТЕЦ ПРИХОДИТ К МЕДЖНУНУ

Иранец некий сказывал: отныне
Отец Меджнуна пребывал в унынье,

Напрасно тратил время, денег тьму,
Чтоб угодить больному своему.

Мой эфиопа трижды и семижды,
Но эфиопа тем не обелишь ты.

Отец уже был немощен и стар.
Он чувствовал, что близится удар

И распахнет последние ворота.
И старцу опостылела забота

И тесен показался дом родной.
Охрипла флейта горла. И струной

Ночного чанга в нем росла тревога,
Что смерть уже стучится у порога.

Тогда он посох странический взял,
Двум отрокам сбираться приказал

И вышел в путь в надежде и в веселье.
Вновь перед ним скалистые ущелья,

И зелень трав, и чахлые пески,
Кто странствует, не чувствует тоски.

Но нет нигде следов родного сына.
Вдруг кто-то рассказал, что есть трясина,

Есть ямина зловонная в парах,
Казан горючих смол, гниющий прах,

Туманом отвратительным одетый,
Обитель кары, спрятанная где-то.

И поспешил отец, не опоздал.
Он сына в страшном облике узнал!

Узнал — и сердце жить не захотело,
Пред ним нагое, высохшее тело,—

Костяк недвижный в кожаном чехле,
Свивающийся, как змея, во мгле,—

Изгнанник ослепительного мира,
Поклонник изменившего кумира,—

Цеп, молотящий призраки и сны,—
Тончайший волос, вихрем быстрины

Носимый и зачем-то сбереженный,—
Бродячий пес, чумою зараженный,—

Котел, который выкипеть не смог,—
Воспламененный разум, сбитый с ног,—

Зверь со звериной шкурою на бедрах,—
Таким был этот одичалый отрок!

И робко подошел отец, присел,
По волосам погладить не посмел.

Два сердца, сына и отца, стучали
Родною кровью, равною печалью.

Меджнун глядит из-под усталых век,
Не понимает, что за человек,

Что за старик заботливый с ним рядом,
И он впился в отца безумным взглядом

И спрашивает: «Кто же ты такой?»
И машет тощей, слабою рукой.

И отвечает старец: «Я отец твой».
И сын тогда припоминает детство

И падает в слезах к ногам отца.
И горьким поцелуям нет конца...

Старик всмотрелся пристальней и зорче
В дитя свое, истерзанное порчей,—

И кажется отцу, что перед ним
Нагой мертвец на Страшный суд гоним.

Тогда он из мешка одежду вынул
И на плечи дрожащему накинул,

И бледный лоб закрыл ему чалмой.
«Душа моей души, любимый мой!

Не время спать! Дни мчатся, словно кони,
Друг друга нагоняют в злой погоне!

Беги от этой гибельной горы,
Где ливни смертоносны и остры,

Где молния на диких кручах блещет,
А кровь твоя из ран горючих хлещет.

Дни считанные, гол и одинок,
Побудешь здесь, но свалишься ты с ног

Добычей для стервятника иль волка.
Остерегись! Ждать гибели недолго.

Последний пес хозяйский на цепи
Счастливее изгнанника в степи.

То русло, где река текла безмолвно,
Разрушат завтра яростные волны.

А та гора, где родился поток,
Когда-нибудь расколется,— дай срок!

Будь из любого камня иль металла,
Беда нагрянет,— и тебя не стало.

Обуглился, почти дотла сгорел,
А все еще не вырос, не созрел.

Какого ты верблюда на смерть гонишь?
В каких песках непроходимых тонешь?

Мушриф казны, что див заворожил,
Ты пьявкой стал своих открытых жил.

Обрадуйся хотя бы ласке ветра,
Ведь и она обогащает щедро.

Она не лжет, слетя на миг один.
Обрадуйся хотя на миг один.

Быть может, ветерок умчится завтра.
Никто не знает, что случится завтра.

Ты жил в пустом пространстве,— отдохни.
Не надо больше странствий,— отдохни.

У пса есть дом и собственная миска,
А ты бездомен. Ты упал так низко,

Как будто бы не человек, как мы,
А бестелесный див, созданье тьмы,

Иль оборотень, что по свету рыщет
И воплощенья собственного ищет.

Ты мне родной, будь также другом мне
И не хвались своим недугом мне.

Но берегись: сегодня не ответишь,
А завтра ты нигде меня не встретишь.

Я скоро свиток жизненный сверну.
Пей кубок за меня! Я отдохну.

Останься на пиру, как виночерпий.
Мой пир окончен. Солнце на ущербе.

Пыль золотит закатный путь. Пора!
Жизнь прожита. В обратный путь пора!

Но страшно мне, что буду я в дороге,
И ты придешь обнять отцовы ноги,

На тленный прах рыдая упадешь,
Но отклика у праха не найдешь.

Пускай твой вздох взовьется дымом чадным,—
Молчанье праха будет беспощадным.

Огонь тоски тебя испепелит,—
Но мертвый пальцем не пошевелит».

ОТВЕТ МЕДЖНУНА

«Твое дыханье — жизненная влага,
Твое сужденье — жизненное благо.

Мой разум раб пред разумом отца.
И ухо жаждет рабского кольца.

Но если я так нищ и так несчастен,
То и отец спасти меня не властен.

Одной любовью движима душа,
Мир для нее не стоит и гроша.

Все, что я значу в этом мире щедром,
Все, что я знал и помнил,— смыто ветром.

В любом моем «сегодня» нет «вчера».
Не помнят дней пустые вечера,

Да, ты — отец, твое влиянье знаю,
Но для чего пришел ты,— я не знаю.

Не только память близких истребя,
Я позабыл и самого себя.

Влюбленный пль любимый, где я? Кто я?
Владею всем иль ничего не стою?

Едва лишь вырван был я из пелен,
Стал молнией, и сам испепелен.

Любой шалаш среди любой пустыни
Дороже мне отцовской благостыни.

На мельнице судьбы моей давно
Молчит вода, не смолото зерно...

Перед лицом природы одичалой
Где мой удел, где дней моих начало?

Мои лишенья со зверьми деля,
Я некрасив и черен, как земля.

Весь разрушенье, вихрь и произвол,
Я город свой в развалинах обрел.

В твоей стране, богато населенной,
Одной травинки нет испепеленной.

Нет слова одного между письмен,
Нет одного зачатья у племен:

В ту ночь меня ты и не вызвал к жизни.
Забудь о том. Нет места укоризне,

Нет места увещанью и мольбе.
Тот дальний путь, что предстоит тебе,—

Из вас, живых, его страшится каждый,—
Но я его уже прошел однажды.

И если ты скончаешься, отец,—
Другой тебя оплачет, не мертвец».

ОТЕЦ ПРОЩАЕТСЯ С МЕДЖНУНОМ

«Дай руку, сын, прощай, пока не поздно.
Смой пыль мою хотя бы влагой слезной,

Чтоб эта влага вспомнилася мне
В последней колыбели, в смертном сне,

Чтоб я запасся для дороги дальной
Не только ношей грустной и печальной.

Здесь прихоть неуместна. Обними
Отца, как подобает меж людьми.

Прощай! Меня ты больше не увидишь.
Прощай! Один в грядущее ты выйдешь.

Прощай! Я увязал пожитки в путь —
Поторопись в глаза мне заглянуть.

Прощай! Прощай! Сейчас корабль отчалит.
Но если и прощанье не печалит

Единственного сына моего,
Тогда прощай. Кончается родство».

Так вымолвил он горько и сурово
Последнее напутственное слово,

И поспешил старик в обратный путь.
Но дома не успел он отдохнуть.

Два дня иль три, недомоганьем мучась,
Посетовал старик на злую участь.

Но смерть в засаде долго не ждала
И человечьи кончила дела.

Его душа, как из капкана птица,
Рванулась, чтобы с жизнию проститься,

И мертвый прах ушел в земную твердь,
Все исцелив, все рассудила смерть.

Наш мир — вертеп. Кто ищет в нем покоя,
Пусть не дружит с печалью и тоскою,—

Пусть, как луна, свершит круговорот,
Как молния, родится и умрет.

Дом на стоянке временной непрочен,—
Не отдыхай, да и горюй не очень.

Когда селенье встретишь на пути,
Не вздумай там оседлость обрести,

Лишь тот, кто душу вынес из чертога,
Ее сохранно донесет до бога.

Подобье дива с ангельским лицом,
Мир забавляется твоим концом.

Кипят сердца в его застольной чаше,—
Всмотрись в нее: там будущее наше.

Ты на долины предъявил права,—
Всмотрись же: там, как острый нож, трава.

Живи и впредь, об этом твердо зная,
В таком познанье честь твоя земная.

Возрадуйся, что ярче ярких роз
Твое познанье в мире разрослось.

Не будь змеей, свернувшейся в ущелье.
Да будет жизнь твоей единой целью.

Цепляйся за нее, борись за жизнь,
А кончится — спокойно откажись.

Летят века, шальные мчатся кони.
Вчитайся в длинный свиток их погони.

Прошли огнепоклонники, как сон.
Кто из ушедших в свиток занесен?

Где племена, зарытые в пустыне?
Кто обитает на могилах ныне?

Свершай добро, не обольщайся злом.
Добро к добру привязано узлом.

Свершай добро. Оно со дна колодца
Когда-нибудь к тебе добром вернется.

Когда звучит его благая весть,
Под куполом вселенной отклик есть:

Скажи горе свой замысел заветный,—
Раздастся тут же гул ее ответный.

МЕДЖНУН УЗНАЕТ О СМЕРТИ ОТЦА

Однажды от охотника, что вышел
Ночной порою, брань Меджнун услышал:

«Эй ты, забывший, где живет родня,
Беспамятный, без крова, без огня!

С одной Лейли ты нянчишься, как с куклой.
Мать и отец, все для тебя потухло.

Отец и мать ничто. Да это срам!
Уж лучше бы лежал в могиле сам.

Ты сыном называться недостоин.
Пока живет отец, сынок спокоен

По глупости, по молодости лет.
Но час пришел, отца на свете нет,—

Хоть помянул бы словом над гробницей,
Сходил бы раз родному поклониться,

Хоть признак сожаленья об отце
Возник бы на дурном твоем лице!»

И тотчас в раздирающей печали
Как будто струны чанга прозвучали,—

Таким он был, сыновний первый стон.
К могиле свежей устремился он.

Он увидал отцовское надгробье
И к вязкой глине, к земляной утробе

Припал всем телом, и в потоках слез
Его шальное горе прорвалось.

Он заболел горячкой в ту же ночь.
Ему не трудно было изнемочь:

И без того всей этой жизни краткой
Хватило лишь для встречи с лихорадкой.

Но каково в душевной смуте той
Внезапно очутиться сиротой!

Так он лежал, над прахом распростертый,
И был Меджнун еще мертвей, чем мертвый.

«Отец мой, где ты? Где душа отца?
Не отвращай от первенца лица.

Ты предпочел существовать без сына,—
Вот почему меж нас легла пучина.

А я не знал, как больно одному.
Я скоро сам уйду в такую тьму.

На помощь! О, как ты далек! На помощь!
Жизнь тлеет, словно уголек. На помощь!

Ты мой советчик, лучший друг — все ты.
Отвага сердца, сила рук — все ты.

Все, чем душа моя богата,— ты.
Благой наставник тариката — ты.

В такой дали безлюдной без тебя!
О, как идти мне трудно без тебя!

Не попрекай меня своей кончиной.
Я знаю сам, что был тому причиной.

Наездник, не объездивший коня,
Зачем ты не сумел взнуздать меня?

Я был жесток — ты кроток бесконечно.
Я злой мороз — ты жар любви сердечной.

Ты мучился, что первенца родил,—
А я кругом да около бродил.

Пушинку ты сдувал с моей постели,—
А мне и сны присниться не хотели,

Ковры стелил ты для моих пиров,—
А я забыл про милый отчий кров.

Прости, отец, молю о том усердно.
Обидел я тебя, обидел смертно».

Так он взывал, и плакал, и кричал,
И белый день слезами омрачал.

Ночь развернула черные знамена,
Скликая в небо звезды поименно.

И снова зори были высоки.
И снова бил он в барабан тоски.

Алхимик-солнце эликспром утра
Природу всю позолотило мудро.

Но прах живой над прахом мертвеца
Еще вопил, не поднимал лица.

Не только об отце, почившем ныне,—
О всей своей неслыханной судьбине,

О той любви, которой не помочь,
О юности он плакал день и ночь.

ДРУЖБА МЕДЖНУНА С ДИКИМИ ЗВЕРЯМИ

Однажды он опять явился к Неджду
И увидал на старых свитках, между

Иных письмен, что правдою влекли,
Два имени — Меджнуна и Лейли.

Два имени друг к другу жались тесно.
Он разорвал сейчас же лист чудесный,

Он милой имя ногтем соскоблил.
И некто удивился и спросил:

«Что это значит, что второе имя
Руками уничтожено твоими?»

Он отвечал: «Не нужен знак второй
Для двух влюбленных. Ведь в земле сырой

Истлеет прах — и все равно услышат,
Что двое рядом после смерти дышат».

«Зачем же соскоблил ты не себя,
А милую?» Ответил он, скорбя:

«Безумный, я — лишь кожура пустая.
Пускай во мне гнездится, прорастая,

Любимая, пусть эта кожура
Ее от глаз укроет, как чадра».

Так он сказал и вновь ушел в пустыню,
И жил как скот, и привыкал отныне

К сухим корням и к стеблям горьких трав,
Так со зверьми он жил, как зверь, поправ

Закон людей, дикарский их обычай,
Далек от униженья и величья.

И звери с ним дружили и, дружа,
Не знали ни рогатин, ни ножа.

Лисицы, тигры, волки и олени
Шли рядом с ним иль ждали в отдаленье

Любого приказанья, как рабы.
Шах Сулейман, властитель их судьбы,

Надменно он в своих скитаньях длинных
Шел под зонтом из мощных крыл орлиных.

Он достигал таких монарших прав,
Что подобрел звериный хищный нрав.

Не трогал волк овечки нежноокой,
Не задирал онагра лев жестокий,

Собака не бросалась на осла,
И молоко пантеры лань пила.

Когда же он задремывал устало,
Хвостом лисица землю подметала,

Ложилась кротко лань у пыльных ног,
А прислониться он к онагру мог

И голову клонил к бедру оленя.
И падал лев пред спящим на колени.

Оруженосец верный и слуга.
Коварный Волк, чтоб отогнать врага,

Глаз не смыкал, всю ночь протяжно воя,
А леопард, рожденный для разбоя,

Отвергнул родовое естество.
Так все бродяги жили вкруг него,

Построясь в боевом порядке станом,
В общенье с ним живом и неустанном.

И, встретив эту стражу на пути,
Никто не смел к Меджнуну подойти —

Разорван был бы хищниками тотчас.
Глаза в глаза, на нем сосредоточась,

Пускали звери в свой опасный круг
Лишь тех, кто был Меджнуну добрый друг.

Учась у повелителя прилежно,
Таких гостей они встречали нежно.

С такою паствой жил он, как пастух,
Утешился его смятенный дух,

Доверясь этой первобытной мощи.
Он становился все смелей и проще,

И люди удивлялись дружбе той,
Звериной свите, смелой и простой.

И где бы ни был юноша влюбленный,
Он шел сюда, к пустыне отдаленной,

Чтоб на Меджнуна хоть разок взглянуть.
Паломник, совершая длинный путь,

Стоянку разбивал с Меджнуном рядом.
И стало для паломников обрядом

Делить с Меджнуном бедный свой обед,
Чтоб услыхать любви его обет.

И, съев крупицу из дареной доли,
Он все бросал зверям по доброй воле.

Так он кормил их летом и весной
И получал от них поклон земной,

Кормилец их, дающий хлеб насущный.
И рос и рос его отряд послушный,

Привыкли к рабству звери без числа.
Вся вольница их в челядь перешла.

Поклонник Зороастра, маг приучит
К подачкам пса — и пес, как кот, мяучит.

ПРИТЧА

В Мерве был царь, который осужденных им на смерть бросал своре разъяренных псов. У царя был приближенный юноша, которого он очень любил. Однако юноша не очень доверял царской любви. Поэтому он тайно сдружился с царскими псарями и начал каждый день приходить на псарню кормить собак. Случилось то, чего он ожидал: царь разгневался и велел бросить его псам. Но те знали юношу и только ласкались к нему. На следующее утро царь стал раскаиваться и послал посмотреть, что случилось с юношей. Псарь доложил, что это, наверное, не человек, а ангел — собаки его не тронули. Царь поспешил убедиться сам и спросил у юноши, как это случилось. Тот объяснил и прибавил: «Десять лет я служил тебе — и вот мне награда! Собаки же добро помнят лучше и оценили мои старания». Царь раскаялся и прекратил свои жестокие расправы. Мораль притчи: сделанные человеком благодеяния — ограда его жизни.

МЕДЖНУН ВЗЫВАЕТ К НЕБУ

Глава начинается с описания ночи и звездного неба. Меджнун смотрит на звезды и планеты и начинает беседовать с ними. Он обращается к Венере, Юпитеру. Но планеты двигаются по небу, заходят. Меджнун понимает, что от них нельзя ждать помощи, и обращается к богу, моля дать хоть какой-нибудь просвет в окружающей его темной ночи. В молитвах он засыпает.

МЕДЖНУН ПОЛУЧАЕТ ПОСЛАНИЕ ОТ ЛЕЙЛИ

Глава начинается с описания дня. Меджнун сидит на горе, окруженный дикими зверями. Подъезжает всадник. Меджнун приказывает зверям лечь и идет к нему. Тот рассказывает, что видел Лейли и говорил с ней. Она тоскует по Меджнуну, и ей даже тяжелее, чем ему, ибо хотя горе его и велико, но все же он — мужчина. Она хочет бежать от мужа, но боится позора. Всадник говорит, что, увидев верность Лейли, он рассказал ей все, что ему было известно о Меджнуне. Она просила передать письмо, вот оно... Меджнун — в припадке исступленной радости.

ПИСЬМО ЛЕЙЛИ МЕДЖНУНУ

Когда он развязал письмо Лейли,
Вот что в письме глаза его прочли:

«Во имя вседержителя, чья сила,
Врачуя разум, душу воскресила,

Мудрейшего из мудрых, кто знаком
И с тварей бессловесных языком,

Кто птиц и рыб в своей деснице держит
И семя звезд в ночное небо вержет,

На землю человека ниспослав.
Он есть предвечный обладатель слав,

Он вечно жив и беззакатно ярок,
Вручил он душу каждому в подарок

И целый мир,— возможно ль больше дать,
Чем эта световая благодать,—

Сокровище его благой порфиры?»
Рассыпав так смарагды и сапфиры,

Лейли затем писала о любви:
«Страдалец! Пусть утрет глаза твои

Мой нежный шелк — слова, что я слагаю.
Я, как в тюрьме, одна изнемогаю,

А ты живешь на воле, мой дружок,
Ты клетку позолоченную сжег.

Благой источник Хызра в царстве горя,
Пусть кровь твоя окрасила нагорья,

В расселины ушла, как сердолик,
К моей свече ты мотыльком приник,

Из-за тебя война пришла на землю,
А ты, онаграм и оленям внемля,

Мишень моих упреков и похвал,
Ты собственное тело разорвал

И пламенем закутался багровым.
А помнишь ли, когда ты был здоровым,

Ты в верности мне вечной поклялся.
Из уст в уста шла повесть наша вся.

Я клятве ранней той не изменяю,
А ты не изменил еще? — не знаю.

Где ты теперь? Чем занят? Чем храним?
Чем увлечен? А я — тобой одним.

Мой муж — я не чета ему, не пара.
Замужество мое — как злая кара.

Я рядом с ним на ложе не спала,
И, сломленная горем, я цела.

Пусть раковину море похоронит,
Ничем алмаз жемчужины не тронет.

Никто печати с клада не сорвет,
Бутона в гуще сада не сорвет.

А муж — пусть он грозит, смеется, плачет!
Когда я без тебя — что он мне значит?

Пускай растет, как лилия, чеснок,
Но из него не вырастет цветок.

Ты ждешь меня. Я бы хотела тоже
С тобой одним шатер делить и ложе.

Но раз с тобою вместе жить нельзя —
Моя ль вина, что я такая вся?

Твой каждый волосок — моя святыня.
Твоя стоянка и твоя пустыня —

Они мой сад, цветущий без конца.
Узнав о смерти твоего отца,

Разорвала я саван и вопила,
Лицо себе царапала и била,

Как будто это умер мой отец.
Так весь обряд исполнив, под конец

Я лишь к тебе прийти не захотела.
Ну что ж, пускай в разлуке гибнет тело,

Зато с тобой душа моя всегда.
Я знаю — велика твоя беда.

В одном терпенье вся твоя награда.
А я, поверь, минуте краткой рада.

На зимней ветке почка спит, мертва,
Придет весна — распустится листва.

Не плачь, когда быть одиноким больно.
А я — ничто. Я близко — и довольно.

Не плачь, что в одиночестве убог.
Запомни: одиноким близок бог.

Не плачь и об отце своем. Рассейся,
Дождями слез, как облако, не лейся.

Отец в земле, над сыном — солнца свет.
Разбита копь, сверкает самоцвет».

Меджнун, когда он прочитал посланье,
Был как бутон, раскрывшийся в пыланье

Торжественной полуденной земли.
Он только и сказал: «Лейли, Лейли,

Лейли, Лейли»,— и плакал безутешно.
Затем пришел в себя и стал поспешно

Посланнику он ноги лобызать,
И долго ничего не мог сказать,

Как будто не владел людскою речью.
И вдруг воскликнул: «Как же я отвечу,

Когда нет ни бумаги, ни пера!»
Но ведь смекалка у гонцов быстра,

И посланный, раскрыв ларец дорожный,
Вручил перо Меджнуну осторожно.

ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО МЕДЖНУНА

Вступленье к письму, его начало
Благоговейным гимном прозвучало:

«Во имя вседержителя-творца,
Кто движет все светила и сердца,

Кто никогда ни с кем не будет равным,
Кто в скрытом прозревает, как и в явном,

Кто гонит тьму и раздувает свет,
Кто блеском одевает самоцвет,

Кто утолил любую страсть и жажду,
Кем укреплен нуждающийся каждый.

Затем писал он о любви своей,
О вечном пламени в крови своей:

«Пишу я, обреченный на лишенья,—
Тебе, всех дум и дел моих решенье.

Не так, ошибся: я, чья кровь кипит,—
Тебе, чья кровь младенческая спит.

У ног твоих простерт я безнадежно,
А ты другого обнимаешь нежно.

Не жалуясь, переношу я боль,
Чтоб облегчила ты чужую боль.

Твоя краса — моих молений Кааба,
Шатровая завеса — сень михраба.

Моя болезнь, но также и бальзам,
Хрустальный кубок всем моим слезам.

Сокровище в руке чужой и вражьей,
А предо мной одна змея на страже.

О, сад Ирема, где иссох ручей!
О, рай, незримый ни для чьих очей!

Ключи от подземелья — у тебя.
Мое хмельное зелье — у тебя.

Так приголубь, незримая,— я прах.
Темницу озари мою,— я прах.

Ты, скрывшаяся под крылом другого,
По доброй воле шла на подлый сговор.

Где искренность, где ранний твой обет?
Он там, где свиток всех обид и бед!

Нет между нами лада двух созвучий,
Но есть клеймо моей неволи жгучей.

Нет равенства меж нами,— рабство лишь!
Так другу ты существовать велишь.

Когда же наконец, скажи, когда
Меж нами рухнут стены лжи,— когда

Луна, терзаемая беззаконно,
Избегнет лютой нежности дракона,

И узница забудет мрак темницы,
И сторож будет сброшен с той бойницы?

Но нет! Пускай я сломан пополам!
Пускай пребудет в здравье Ибн Салам!

Пускай он щедрый, ласковый, речистый,—
Но в раковине спрятан жемчуг чистый!

Но завитки кудрей твоих — кольцо,
Навек заколдовавшее лицо!

Но, глаз твоих не повидав ни разу,
Я все-таки храню тебя от сглаза.

Но если мошка над тобой жужжит,
Мне кажется, что коршун злой кружит.

Я — одержимость, что тебе не снилась,
Я — смута, что тебе не разъяснилась,

Я — сущность, разобщенная с тобой,
Самозабвенье выси голубой.

А та любовь, что требует свиданья,
Дешевле на базаре мирозданья.

Любовь моя — погибнуть от любви,
Пылать в огне, в запекшейся крови.

Бальзама нет для моего леченья.
Но ты жива,— и, значит, нет мученья».

СЕЛИМ ИЗ ПЛЕМЕНИ АМИР ПРИЕЗЖАЕТ НАВЕСТИТЬ МЕДЖНУНА

Дядя Меджнуна Селим из года в год заботится о нем и раз в месяц привозит ему пищу и одежду. Однажды он разыскал Меджнуна и, боясь зверей, издали приветствовал его. Меджнун узнал его и подозвал. Селим надел на него привезенное платье и достал пищу. Но Меджнун не стал ничего есть и все отдал зверям. Селим удивился и спросил, чем же он жив. Меджнун отвечает, что его пища — трава. Селим одобряет это и рассказывает притчу.

ПРИТЧА СЕЛИМА

Однажды некий царь проезжал мимо обители отшельника. Увидев его жалкое жилище, шах был поражен и отправил к нему приближенного спросить, чем он живет в этой пустыне. Отшельник показал приближенному растертую траву — это его пища. Приближенный презрительно сказал: «Иди на службу к нашему царю, и ты избавишься от необходимости питаться травой». Отшельник ответил: «Если ты приучишься есть эту траву, то перестанешь служить царям». Меджнуна этот рассказ порадовал. Он стал расспрашивать Селима о друзьях и родных. Речь зашла и о матери Меджнуна. Селим отправляется за ней и привозит ее к Меджнуну.

СВИДАНИЕ С МАТЕРЬЮ

Лишь издали на сына поглядела,
Лишь поняла, как страшен облик тела,

Как помутилось зеркало чела,—
Вонзилась в мать алмазная стрела,

И ноги онемели на мгновенье.
И вот уже она в самозабвенье

Омыла сына влагой жгучих слез,
Расчесывает дикий ад волос

И, каждый волосок его голубя,
Ощупывает ссадины и струпья,

Стирает пыль и пот с его лица,
И гладит вновь, ласкает без конца,

Из бедных ног колючки вынимая
И без конца страдальца обнимая,

Мать шепчет: «Мой сынок, зачем же ты
Бежишь от жизни для пустой мечты?

Уже числа нет нашим смертным ранам,
А ты все в том же опьяненье странном.

Уже уснул в сырой земле отец,
Уже не за горами мой конец.

Встань, и пойдем домой, пока не поздно.
И птицы на ночь прилетают в гнезда,

И звери на ночь приползают в дом.
А ты, бессонный, в рубище худом,

В ущелье диком, в логове змеином,
Считаешь жизнь людскую веком длинным,—

А между тем она короче дня.
Встань, успокойся, выслушай меня.

Не камень сердце, не железо тело.
Вот все, что я сказать тебе хотела».

Меджнун взвился, как огненный язык.
«Мать! Я от трезвых доводов отвык.

Поверь, что не виновен я нисколько
Ни в участи своей, ни в жизни горькой.

Не приведут усилья ни к чему.
Я сам себя швырнул навеки в тьму.

Я так люблю, что не бегу от боли,
Я поднял ношу не по доброй воле».

МЕДЖНУН УЗНАЕТ О СМЕРТИ МАТЕРИ

Меджнун бродит по горам, распевая стихи. К нему снова приезжает Селим, привозит одежду и пищу и сообщает о смерти матери Меджнуна. Меджнун идет на могилу родителей и рыдает над ней. На его стоны собирается вся родня. Они хотят увести Меджнуна в дом, но он вырывается и убегает в горы. Низами заключает главу рассуждениями о краткости жизни и о том, что не нужно ни от кого зависеть.

ЛЕЙЛИ ПРИЗЫВАЕТ МЕДЖНУНА

Лейли? — Да нет! То узница в темнице.
И все-то ей мерещится и мнится,

Что где-то между милых строк письма
Надежда есть, сводящая с ума.

А муж стоит на страже дни и ночи,
Следит, и ждет, и не смыкает очи.

У самой двери тщетно сторожит,
Видать, боится, что Лейли сбежит.

И что ни день, готов из состраданья
Отдать ей жизнь, не поскупиться данью.

Но мрачно, молчаливо и мертво
Сидит жена, не глядя на него.

И удалось однажды ускользнуть ей
От зорких глаз и выйти на распутье:

Быть может, тот прохожий иль иной
О милом весть прослышал стороной.

Так и случилось. Встретился, по счастью,
Ей странник-старичок, знаток по части

Всесветных слухов и чужих вестей.
Он сообщил красноречиво ей,

Что пламя в сердце друга, в сердце страстном —
Как бушеванье волн на море Красном,

Что брошен он в колодец, как Юсуф,
Что бродит до рассвета, не уснув,

И в странствиях «Лейли, Лейли!» вопит он.
И для него весь мир Лейли пропитан,

И кара и прощение — Лейли,
И всех дорог скрещение — Лейли.

«Я та Лейли,— в ответ она вскричала,—
Я жизнь его годами омрачала,

Из-за меня он теплился и гас.
Но есть, однако, разница меж нас:

К вершинам гор ведет его дорога,
А я — раба домашнего порога».

И, вынув серьги из ушей, Лейли
Швырнула дар прохожему: «Внемли!

Не откажись за жемчуг мой от службы!
Ступай к нему, найди предлог для дружбы

И в наши приведи его края,
Чтобы на друга поглядела я,

Оставь его в любом укромном месте.
Все может быть. Сюда приходят вести

О сложенных им песнях. Может быть,
Он не успел и старые забыть.

А может быть, еще другие сложит
И дальше жить мне песнями поможет».

И полетел, как вихрь, ее гонец
По людным рынкам, по краям безлюдным

И встретился в ущельях наконец
Он со страдальцем этим безрассудным.

Вкруг хищники рычат, разозлены,
Как стражники несчитанной казны.

Меджнун сейчас же к старцу обернулся,
И, как дитя к родному, потянулся,

И на зверей прикрикнул, и зверье
Смирило сразу бешенство свое.

И странник, не жалея красноречья,
Упрашивал безумного о встрече,

Привет Лейли ему передавал
И между извинений и похвал

Так говорил: «Споешь ей две газели,
Чтоб воскресить минувшее веселье.

Есть пальмовая роща в той стране.
Она — как память о твоей весне.

В той заросли зеленой и прохладной
Ты встретишься с подругой ненаглядной.

Там все ключи от ваших дум и дел».
И на Меджнуна платье он надел,

Своих пожитков развязавши ворох,
И снова не скупился в уговорах.

Но и Меджнун безропотно вскочил,
Старательному старцу облегчил

Благие сборы к спешному возврату.
И, как стремится жаждущий к Евфрату,

Еще нетерпеливей и быстрей
Спешил Меджнун со свитою зверей.

Всего лишь шаг до цели остается.
Послушен жребий. Дело удается.

Достигли рощи пальмовой они.
Безумный ждет в прохладе и тени.

И вот гонец встал у шатровой двери,
И оповещена и мчится пери:

Там, в десяти шагах, ее любовь!
Но сразу в ней остановилась кровь.

«Нет! — говорит, и вся затрепетала.—
Нет, невозможно! Сил моих не стало.

Как быстро тает бедная свеча!
Ступлю я шаг — и гасну, трепеща.

Нет, нет! Идти к нему — идти на гибель.
Сюда он для богохуленья прибыл.

Я знаю, как он грешен и речист.
Пускай же свиток остается чист.

Пускай, представ пред судиею высшим,
Ни слова мы на свитке не напишем,

Не зная срама за дела свои.
В том совершенство истинной любви».

Гонец, к Меджнуну возвратившись снова,
Нашел почти в беспамятстве больного,

В прохладе пальм простертого без сил.
Старик его слезами оросил.

Тот, постепенно приходя в сознанье,
Не вспомнил, что обещано свиданье,

И, выпрямиться толком не успев,
Уже слагал он сладостный напев.

ПЕСНЯ МЕДЖНУНА

Где ты? Где я? О том не знаю,
Чья ты? Ничья? О том не знаю.

Взял только песню в дальний путь.
Во имя бога — не забудь!

За ворох бед я душу продал,
Шелка за грязный ворох отдал,

Зато не стал ничьим рабом
И в горе радуюсь любом.

Повсюду зван в друзья и в гости.
Не надо мне игральной кости,

Не надо зрителей вокруг —
Дивить их ловкостию рук.

Не надо мне коня в дороге.
Печаль несет меня в дороге.

Но не печальна та печаль.
Где ты? Не знаю — и не жаль.

Как я ни медленно кочую,
Но на стоянках не ночую.

И скоро знак мне будет дан,—
Ударю в смертный барабан.

Не говори мне «доброй ночи».
Раз нет зари — нет доброй ночи:

Не приходя, ушла навек,
Так и не тронув сонных век.

С твоим прпходом я в разладе,
С твоей душой моя в разладе.

Из тела выйти ей пора,—
Тогда ты выйдешь из шатра.

Но ты и я — едины оба.
И нам достаточно до гроба

Двух тел для сердца одного.
Да будет свято их родство!

Одним лучом рассветным брызни,
И проживу я сотню жизней.

Как вслед за утром белый день,
Мы вечно рядом — с тенью тень.

Нас две стрелы смертельных ранят.
На двух монетах нас чеканят.

Но разницы меж нами нет:
Века сотрут чекан монет.

Я ослеплен в твоем сиянье.
Но на далеком расстоянье

Я гибну, с тленьем не борясь,—
Башмак, с поги упавшпй в грязь.

Я — войско, мчащееся к бою,
Когда-то послан был тобою,

И вот в погоне до сих пор,
Трубя в рога, скликаю сбор.

Весна в дождях несносных плачет,
Меджнун о ранних веснах плачет.

Ночь в лунных славится лучах.
Меджнун живет в твоих очах.

Я — черный раб, индус на страже,
Ты — пальма в солнечном мираже.

Я — опьяненный соловей,
В слезах над розою своей.

О, если бы не в отдаленье
Со мной делила ты томленье,

И в лунной пламенной тени
Мы — ты и я — вдвоем, одни,

Щека к щеке прижались нежно,
Глаза в глаза впились прилежно,

И в лунном пламенном плену
Тебя я тронул, как струну!

И кольца кос твоих ласкал бы,
И влажных губ твоих искал бы,

Пылал огнем и вновь желал,
И в скалах прятал, словно лал.

Не в одиночестве печальном,
Но на пиру твоем венчальном

Я пил бы сладкое вино.
Оно в раю разрешено».

Так спел Меджнун и вновь бежал в пустыню,
Без благодарности, без благостыни.

И та, кто тайно слушала, в слезах
Ушла назад, привета не сказав.

САЛАМ ИЗ БАГДАДА ЗНАКОМИТСЯ С МЕДЖНУНОМ

В Багдаде живет знатный юноша по имени Салам, испытавший много невзгод из-за любви. Рассказы о любви Кейса распространяются повсюду, всюду поют его грустные любовные стихи. Салам слышит эти стихи и решает пойти повидать Меджнуна. Несчастный, увидев Салама, позволяет ему подойти. На вопрос о том, зачем он пришел, Салам отвечает, что хочет запомнить все стихи Меджнуна. Салам пытается утешить Меджнуна — он сам тоже испытал много горя от любви.

Тот упрекает его и просит не считать его обычным влюбленным: Меджнун — «шаханшах любви», любовь — его сущность... Салам и Меджнун живут вместе в пустыне. Каждую строку, сложенную Меджнуном, Салам запоминает. Когда продовольствие, взятое с собой Саламом, пришло к концу, ему пришлось покинуть Меджнуна. Салам вернулся в Багдад и привез туда стихи Меджнуна.

О ВЕЛИЧИИ ДУХА И НЕПОРОЧНОСТИ МЕДЖНУНА

Низами просит не считать Меджнуна обычным безумцем — ведь не каждый безумец слагает стихи, подобные жемчугу. Его возлюбленная — лишь повод пойти по пути к духовному совершенству; он никогда не искал сближения с ней, чтобы сохранить совершенство духовной любви. (Эту главу иногда считают интерполяцией, не принадлежащей перу Низами.)

РАССКАЗ О ЛЮБВИ ЗЕЙДА И ЗЕЙНАБ

Во времена Меджнуна был другой влюбленный безумец, чистый душой, слагавший стихи, по имени Зейд. Он любил свою двоюродную сестру. Зейд был беден, родители Зейнаб — богаты. Зейд посватался к Зейнаб и получил отказ. В горе он слагает стихи. Зейнаб держат взаперти, потом отдают замуж за богатого. Зейд, подобно Меджнуну, приходит в безумное отчаяние, его заковывают в цепи, друзья его покидают. Лейли узнает об этом, призывает Зейда к себе, угощает. Зейд передает послание Лейли Меджнуну, записывает стихи Меджнуна и отвозит их Лейли. Зейд, читая стихи Меджнуна, спрашивает его, в чем же его безумие. Ни один разумный таких стихов не слагал. Зейд уговаривает Меджнуна хотя бы принимать обычную пищу — сам он тоже в горе, но может есть. Меджнун просит его не говорить лишних слов. Его безумие — не одержимость злыми духами, а милость Аллаха. Это чувствуют даже дикие звери, окружающие Меджнуна. Он — не пленник в «колодце тела», его душа вечна. Он не жалуется на свою судьбу, ведь нет лучше жребия... Зейд молчит, пораженный глубиной речей Меджнуна. С тех пор он был лишь посредником между Лейли и Меджнуном и не пытался больше говорить с ним. (Эту главу также считают иногда интерполяцией, однако она, как и предыдущая, имеется во всех рукописях пяти поэм Низами.)

СМЕРТЬ ИБН САЛАМА

Лейли продолжает терзаться тоской, хотя и скрывает это от мужа. Тот все же видит ее страдания. Постоянная тревога о любимой жене подтачивает его здоровье. У него началась лихорадка. Он слег и более не встал... Следуют назидательные строки о бренности жизни. Лейли делает вид, что оплакивает мужа, на самом деле она плачет о Медж-

пуне. По обычаю арабов, жена после смерти мужа должна два года не выходить из дома, ни с кем не видеться. Под этим предлогом Лейли уединяется и дает волю своей скорби.

ЗЕЙД ИЗВЕЩАЕТ МЕДЖНУНА О СМЕРТИ МУЖА ЛЕЙЛИ

Зейд скорбит в разлуке с Зейнаб. Родные решают ему помочь и устраивают влюбленным тайное свидание. Зейд и Зейнаб остаются целомудренными, они лишь молятся вместе... Самое главное в жизни, говорит Низами, оставить после себя доброе имя... Зейд узнает о смерти Ибн Салама и спешит с этой вестью к Меджнуну. Тот то пляшет от радости, то скорбит, вспоминая о неизбежности смерти. Неделю Меджнун ведет мудрые беседы с Зейдом, затем Зейд возвращается домой.

ЛЕЙЛИ МОЛИТСЯ ВСЕВЫШНЕМУ

Тяжкая темная ночь. Лейли одна, она рыдает. Она молит бога приблизить утро.

СВИДАНИЕ ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУНА

Наступает утро. Лейли, обманув сторожащих ее, не боясь отца и матери, выходит на улицу. Она ищет пути к возлюбленному. Появляется Зейд. Лейли просит его отвести ее к Меджнуну. Зейд идет к нему с радостной вестью. Меджнун счастлив. Он совершает омовение, молится, надевает принесенные Зейдом одежды и отправляется в путь, распевая стихи. Звери идут за ним... Лейли разбивает в степи шатер. Меджнун приближается. Лейли, не боясь зверей, выбегает к нему навстречу из шатра и без чувств падает к его ногам. Меджнун тоже падает перед ней без памяти на землю. Звери окружают их и охраняют. Приходит Зейд и приводит влюбленных в чувство розовой водой. Лейли ведет Меджнуна в шатер. Зейд со зверями сторожат их. Любовь Лейли и Меджнуна, говорит Низами, была истинной, не загрязненной похотью и посторонней целью — даже звери покорились влюбленным... Лейли и Меджнун в супружеских объятиях. Они не разлучаются сутки, все время теряя сознание. Лейли спрашивает Меджнуна, почему он молчит, почему не говорит стихи, как обычно. Меджнун, рыдая, говорит о том, что он обрел Лейли, но потерял себя, он — лишь тень Лейли. Теперь нет уже «я» и «ты» подобно тому, как в вере Меджнуна бог — един. Далее идет ряд метафор, говорящих о высшем духовном единстве Лейли и Меджнуна. Лейли начинает снова ласкать возлюбленного. Он впадает в экстаз, разрывает на себе одежды, испускает вопль и убегает в пустыню, распевая стихи. Зейд следует за ним и запоминает их. Глава завершается стихами о чистой истинной любви, стремящейся к разлуке. Когда любовь достигает такого совершенства, заключает главу Низами, она приносит доброе имя. (Последние три главы также считают интерполяцией.)

О ТОМ, КАК НАСТУПИЛА ОСЕНЬ И УМИРАЛА ЛЕЙЛИ

Так повелось, что если болен сад,—
Кровавых листьев слезы моросят,

Как будто веток зрелое здоровье
Подорвано и истекает кровью.

Прохладна фляга скованной воды.
Желты лицом, осунулись сады.

А может быть, на них совсем лица нет.
Лист золотой, но скоро пеплом станет.

Цветы пожитки чахлые свернули,
В кочевье караваном потянули.

А там, под ветром, на дороге той
Пыль завилась, как локон золотой.

Простим сады за то, что в опасенье
Осенней стужи, гибели осенней,

Бросают за борт кладь былой весны.
Изнеженные, как они больны!

Пьянеют лозы в сладостном веселье.
Садовник их срезает, чтоб висели,

Как головы казненных удальцов
На частоколе башенных зубцов.

И яблоко, вниз головой вися,
Кричит гранату: «Что не сорвался?»

Гранат, как печень треснувшая, страшен.
Он источает сок кровавых брашен.

Так осенью израненный цветник
На бранном поле замертво поник.

Лейли с престола юности цветущей
Сошла в темницу немощи гнетущей.

Кто сглазил молодой ее расцвет?
Кто погасил ее лампады свет?

Повязку золотую головную
Зачем Лейли сменила на иную?

И тело, в лен сквозной облечено,
Зачем само сквозит, как полотно?

Жар лихорадки тело разрушает,
Сыпь лихорадки тело украшает.

Лейли открыла матери, как друг,
Смертельный свой и тайный свой недуг.

«О мать! Что делать? Смертный час
объявлен.
Детеныш лани молоком отравлен.

В кочевье тянет караван души.
Не упрекай за слабость, не греши.

Моя любовь? — пет, кровь на черной ране.
Моя судьба? — не жизнь, а умиранье.

Немая тайна так была нема,
И вот печаль достигла уст сама.

И так как с уст уже душа слетает,
Пускай тихонько медленно растает

Завеса тайны. Если ты стара,
Прости мне, мать! А мне и в путь пора.

Еще раз обними меня за плечи.
Прости, прощай! А мне пора далече.

Вручаю небу душу оттого,
Что друга не встречала своего.

Сурьмой мне станет пыль его дороги,
Моим индиго — плач его тревоги,

Моим бальзамом — слез его бальзам.
О, только бы он волю дал слезам!

И я вздохну тогда еще раз тайно
Над ним в благоуханье розы чайной

И камфоры. А ты мне саван дай,
Как для шахида, кровью пропитай

Льняной покров. Пускай не траур мрачный
Тот будет день, а праздник новобрачной.

Пускай невестой, не прервавшей сна,
Навек земле я буду предана.

Когда дойдут к скитальцу злые вести,
Что суждено скитанье и невесте,

Я знаю — он придет сюда рыдать,
Носилки с милым прахом увидать.

Он припадет в тоске к их изголовью,
Над горстью праха, что звалась любовью.

Сам бедный прах, он страшно завопит
Из состраданья к той, что сладко спит.

Он друг, он удивительно мне дорог.
Люби его без всяких отговорок!

Как можно лучше, мать, его прими,
Косым, враждебным взглядом не томи,

Найди в бездомном нищем человеке
То сердце, что теряешь ты навеки,

И эту повесть расскажи ему:
«Твоя Лейли ушла скитаться в тьму.

Там, под землей, под этим низким кровом,
Полны тобой опять ее мечты.

На переправе на мосту суровом
Она высматривает: где же ты?

И оборачивается в рыданье,
И ждет тебя, и ждет тебя она.

Освободи ее от ожиданья
В объятьях с ней, в сокровищнице сна».

Сказавши все и кончив эту повесть,
Лейли рыдала, в дальний путь готовясь,

И с именем любимым на устах
Скончалась быстро, господу представ.

Мать на нее как всмотрится, как взглянет,—
Ей кажется, что Страшный суд нагрянет.

Срывала с головы седой чадру
И растрепала кудри на ветру.

Вопила, чтобы смерть переупрямить,
Все причитанья, что пришли на память,

По-старчески, склонившись к молодой,
Ее кропила мертвою водой.

Лежало тело дочери в бальзаме
Живой любви, омытое слезами.

И стон такой последний раздался,
Как будто то стонали небеса.

Старуха же в отчаянье великом
Над камнем мертвой крови, сердоликом,

Все сделала, что приказала дочь.
И, проводив ее навеки в ночь,

Не жаловалась больше на кончину,
Не ужасалась, что ушла из глаз

Жемчужина в родимую пучину.
О жемчуге забота улеглась.

ЗЕЙД ПРИНОСИТ МЕДЖНУНУ ВЕСТЬ О СМЕРТИ ЛЕЙЛИ

Зейд узнает о смерти Лейли, рыдая, надевает траурные одежды и идет к Меджнуну. Он сообщает ему горестную весть. Меджнун падает без чувств, словно сраженный молнией. Придя в себя, он обращает к небу упреки в жестокости, затем спешит к могиле Лейли. Зейд следует за ним. Придя на могилу, Меджнун бьется в рыданиях (предположительно — интерполяция).

ПЛАЧ МЕДЖНУНА О СМЕРТИ ЛЕЙЛИ

«О роза! Ты увяла раньше срока,
Дитя, едва раскрыв глаза широко,

Закрыла их и крепко спишь в земле.
Шепни мне, как очнулась там, во мгле.

Где родинка на круглом подбородке,
Где черный глаз, где глаз газели кроткий?

Что потускнел смарагд горячих уст?
Что аромат волос уже не густ?

Для чьих очей твое очарованье,
Кто твой попутчик в дальнем караване,

По берегам какой реки спеша,
Не кончила ты пиршества, душа?

Но как ты дышишь в подземельях ночи?
Там только змей мерцают злые очи,

Гнездиться только змеи там вольны,
Не место там для молодой луны.

Иль, может быть, как клад, ушла ты в землю,
И я твоей подземной тайне внемлю

И, как змея, пришел тебя стеречь,
Чтобы, клубком свернувшись, рядом лечь.

Ты, как песок, взвивалась легче ветра,
И, как вода, ушла спокойно в недра,

И, как луна, земле теперь чужда,—
Что ж, так с луной случается всегда.

Но, ставши от меня такой далекой,
Ты стала всей моею подоплекой.

Совсем ушла, совсем ушла из глаз,
Но заново для сердца родилась.

Должно истлеть твое изображенье,
Чтоб вечно жить в моем воображенье!»

Сказал, и руки заломил, и вдруг
Затрепетал, сломав браслеты рук,

Со сворой всех зверей ушел оттуда,
И танцевал, и гнал вперед верблюда,

Мешая слезы горькие с песком,
О камень бился огненным виском...

Но захотел он быть поближе к милой,
И с гор его потоком устремило

К могиле, где покоится Лейли.
Он подошел, склонился до земли,

И вся от слез могила стала влажной.
И хищники вокруг уселись важно,

Глаз не сводя внимательных с него.
И стало вкруг безлюдно и мертво,

И путник проходил возможно реже
Дорогой той, недавно лишь проезжей.

Так буйствуя, печалясь и губя,
Он истязал и разрушал себя.

Так два-три дня провел он, горько плача.
Уж лучше смерть, чем жизнь его собачья!

И так он обессилел и устал,
Что книги жизни сам не дочитал.

САЛАМ ИЗ БАГДАДА СНОВА ПРИХОДИТ К МЕДЖНУНУ

Салам с великим трудом разыскивает Меджнуна. Меджнун спрашивает его, зачем он пришел. Салам отвечает, что хочет слышать его прекрасные стихи. Меджнун, рыдая, говорит о смерти Лейли — ее душа теперь в раю. Салам остается с Меджнуном несколько месяцев и записывает его стихи, потом уезжает в Багдад.

СМЕРТЬ МЕДЖНУНА

Ладья его тонула в темных водах.
Да, наконец-то обретал он отдых!..

Размолотый на мельнице судьбы,
Он напоследок взвиться на дыбы,

Встать на ноги, разрубленный, пытался,
Но, как змея, с обрубком не срастался.

Закрыв глаза, к нагой земле прильнув,
Он молвил, руки к небу протянув:

«Внемли, создатель всех земных созданий,
Освободи мне душу от страданий,

Соедини с любимою женой
И воскреси изгнаньем в мир иной».

Так он сказал, могилу обнял нежно,
Всем телом к ней прижался безмятежно.

Сказал: «Жена!» — и перестал дышать.
Теперь ему осталось не сплошать

На той последней темной переправе,
Что миновать никто из нас не вправе.

О ты, сидящий крепко на земле,
Под крепким кровом в неге и тепле!

Вставай, не спи! Жилье твое непрочно,
Должна река разлиться в час урочный,

И рухнет каждый мост когда-нибудь.
Встань, не зевай! Гони верблюда в путь!

Земля есть прах. Расстанься с нею быстро.
Душа твоя истлеет малой искрой.

Без сожаленья растопчи свой сан,
Незнатным ты предстанешь к небесам.

Заранее мертво, что не навеки,
Не обожай того, что не навеки!

ПЛЕМЯ МЕДЖНУНА УЗНАЕТ О ЕГО СМЕРТИ

Так на могиле милой он лежал,
И весь огонь с лица его сбежал.

Так целый месяц тлел он на могиле
Иль целый год (иные говорили).

Не отходили звери ни на шаг
От мертвого. И спал он словно шах

В носилках крытых. И охраной мощной
Вокруг стояли звери еженощно,

И кладбище травою заросло,
Сынам пустыни логово дало.

И, сторонясь встречаться с хищной сворой,
Про кладбище забыли люди скоро.

А тот, кто видел издали порой
Роящийся, подобно пчелам, рой,

Предполагал, что то паломник знатный
В тени перед дорогою обратной,

Надежно охраняемый, уснул.
Но если бы он пристальней взглянул,

Он увидал бы лишь нагое тело,
Что до предела ссохлось и истлело,

В чьем облике от всех живых частей
Была цела одна лишь связь костей.

Столь дорогой гиенам и шакалам,
Зиял костяк нетронутым оскалом.

Пока оттуда звери не ушли,
Запретным слыло кладбище Лейли.

Год миновал, и вновь ушли в пустыню
Все хищники, что стерегли святыню.

Сначала смельчаки, потом и все,
Путь проложив к таинственной красе,

Заметили и умилились слезно
Нагим костям, и мертвый был опознан.

Проснулась память, заново жива,
Пошла по всей Аравии молва.

Разрыли землю, и бок о бок с милой
Останки Кейса племя схоронило.

Уснули двое рядом навсегда,
Уснули вплоть до Страшного суда.

Здесь — клятвой обрученные навеки,
Там — в колыбели спят, смеживши веки.

Пропел недолгий срок, когда возник
На той могиле маленький цветник,

Пристанище всех юношей влюбленных,
Паломников селений отдаленных.

И каждый, кто пришел тропой такой,
Здесь находил отраду и покой.

Могильных плит касался он руками,
Чтоб исцелил его холодный камень.

ЗЕЙД ВИДИТ ВО СНЕ ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУНА — ОНИ В РАЮ

Зейд часто приходит на могилу Лейли и Меджнуна. Он слагает повесть об их любви и всем рассказывает ее. От него эта повесть и пошла по миру... Зейд все думает о влюбленных — где они? Спят под землей, или они — украшение рая? Как-то раз он видит во сне райский сад. В этом саду на берегу ручья стоит трон. На троне восседают два ангела. Они пьют вино, ласкают друг друга. У трона стоит старец, осыпающий временами ангелов драгоценными камнями. Зейд спрашивает у старца имена этих ангелов. Старец отвечает, что это души верных влюбленных, на земле их звали Лейли и Меджнун. При жизни они не добились счастья, здесь же они вкушают вечное блаженство. Зейд просыпается и раскрывает людям тайну, поведанную ему старцем. Глава завершается рассуждениями о бренности этого мира и о том, что вечное счастье достижимо лишь в мире потустороннем, путь же к нему — самоотверженная любовь (предположительно — интерполяция).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Низами снова обращается к шаху Ахситану. Он надеется, что шах милостиво взглянет на поднесенную ему поэму, и просит разрешения заключить ее несколькими советами. Хотя Ахситан и справедлив, но будет неплохо, если он еще умножит свое правосудие. Пусть он не доверяет врагам, пусть советуется с друзьями, пусть не торопится казнить того, кто в его власти. «Впрочем,— заключает Низами.— ты не нуждаешься в таких советах. Я же буду молиться о твоем благополучии». Глава завершается пожеланиями успеха и долголетия.

ПЕРЕВОД В. ДЕРЖАВИНА

ВОСХВАЛЕНИЕ

Ты, чьей благодатной мощью создан мир живой,—
Все в тебе! Во всех явленьях виден образ твой.

Ты — начало сотворенья и конец вещей,
В бесконечном — завершенье и конец вещей.

Это ты привел в движенье вечный круг светил,
Мир и жизнь в нерасторжимый круг объединил.

В беспредельном светит щедрость вечная твоя,
О создавший, населивший лоно бытия,

Зодчий мира, устроитель всех частей его,
Ты — во всем, ты — созидатель сущего всего!

Жизнь и смерть — и все начала мира и концы —
Всё в тебе,— так в откровеньях молвят мудрецы.

Но не в зримой оболочке ты — всегда, везде —
В бесконечности явлений, в вечной их чреде.

Тайной сутью жизни живы в мире существа,
Но тобой — твоею сутью, жизнь сама жива,

О великий, сотворивший мир из ничего,
Ты питаешь все живое и хранишь его.

Имя — всех имен начало — тайное творца —
Начинания начало и конец конца.

Самый первый ты средь первых на счету веков.
И последний из последних при конце концов.

Необъятный круг свершая, льется бытие,
Возвращаясь снова в лоно вечное твое.

На незыблемых, ведущих к истине вратах
Никогда не оседает разрушенья прах.

Ты вовеки не рождался, породив других...
Ты велик. Другие — ветер на путях твоих.

Ты единой мыслью дальний озаряешь путь.
Ты предвидения светом наполняешь грудь.

Но врата твои закрыты множеством замков
Пред мольбою лицемерной низких и лжецов.

Утру ты даешь сиянье, цвет и блеск — весне.
Ты повелеваешь солнцу, звездам и луне.

Черный ты шатер и белый над землей простер,—
Белый — солнцу дал, а черный — месяцу шатер.

Как рабы твои, посменно пред твоим дворцом
Ночь и день чредой проходят пред твоим лицом

И добро и зло твоею волею творят,
Ничего своею волей в мире не вершат.

Разум яркий, как светильник, ты в мозгу вместил —
Он светлее всех горящих на небе светил.

Но светящий ярко разум — так устроил ты —
Смотрит в глубь себя и светит вне своей черты.

Если разум будет твердым на твоем пути,
Не забудется в сомненьях на любом пути.

Жизни суть — душа, и в тело наше вмещена,
Но никто из нас не знает, где живет она.

В мире всё — от мрака ночи до дневных лучей,—
Все нуждается в могучей помощи твоей.

Ты рождаешь из гранита и бесплодных глин
Жар огня рубиноцветный, огневой рубин.

Весь вращающийся в мире звездный небосвод
Суетится и кружится у твоих ворот.

Разве доброе и злое людям — от светил?
Сами звезды под влияньем злых и добрых сил.

Среди многих звездочетов разве ты встречал
Одного, что путь по звездам к кладу отыскал?

Тайны звездного движенья и пути планет
Изучал я — и в науке мне открылся свет.

Но напрасно в древних книгах тайну я искал...
Ты открылся мне! И новый путь мне заблистал.

Ты, под чьей благой защитой дух живой окреп,
Сам для нас в печи бессмертья выпекаешь хлеб.

У ворот своих, о боже, ты меня возвысь,
У ворот людской гордыни в прахе не унизь.

Сам, о боже, дай мне хлеб мой — не из рук чужих,
Ты — кормящий птиц небесных и зверей степных.

С юных лет не отвращал я от тебя мой взгляд,
Не ходил к вратам другим я от заветных врат.

И дверей своих пред нищим я не закрывал,
Ибо хлеб мой и достаток сам ты мне давал.

Я состарился на службе у тебя в саду,
Помоги мне — чтобы вновь я не попал в беду!

Ты, могучий, чьей защиты просит Низами,
У него своей опоры ты не отними.

Ты возвысь его превыше всех земных владык,
Пусть он будет благородством истинным велик

До поры, когда предстанет он перед тобой
Вместе с сонмом пробужденных судною трубой.

ВОСХВАЛЕНИЕ ПРОРОКА МУХАММЕДА

Глава содержит восхваление Мухаммеда и изложение мусульманской религиозно-философской концепции пророчества.

О МИ'РАДЖЕ ПРОРОКА

Описание вознесения Мухаммеда на небо, аналогичное содержащемуся в «Сокровищнице тайн» (см. стр. 34—39).

О ПРИЧИНЕ СОСТАВЛЕНИЯ КНИГИ

В день, когда, благоволеньем истинным даря,
Прибыло ко мне посланье тайное царя,

Ощутил я за спиною крылья, как орел,
Перья на широких крыльях новые обрел.

Было в свитке начертанье царственной руки:
«Друг, из бездны этой ночи месяц извлеки!

Но чтобы его завесой гений твой облек,
Чтоб его непосвященный увидать не мог.

Воск преданий над багряным жаром размягчи,
Мы за то тебе вручаем милости ключи.

Не тащись в носилках тесных, в этой пыльной мгле,
О певец мой, полно ездить на хромом осле!

Ты деянием нелегким будешь утружден,
Но сокровищами шаха будешь награжден.

Ждем начала представленья! На людей взгляни,
Темный занавес раздерни и зажги огни!»

Я в тот день, когда посланье это прочитал,
С мирной радостью простился и в смятенье впал.

Тут искать я в старых книгах начал без конца
Быль и сказки, что могли бы радовать сердца.

К «Шах-наме» я обратился. Прочитал я в ней
О деяньях древних шахов и богатырей.

Фирдоуси — певец великий — все в стихах своих
Сладкозвучно нам поведал о веках былых.

И когда он драгоценный выгранил рубин,
Многие обогатились от его крупин.

И от «Шах-наме» — рубина — я осколок взял
И оправил, чтоб осколок ярко засверкал,

Чтобы люди во вселенной песнь мою прочли,
Чтоб мою перед другими книгу предпочли.

Что учитель подсказал мне — я договорил
И в забвенье пребывавший жемчуг просверлил.

Углубился я в сказанья, стал вникать во тьму
Тайн, рассеянных когда-то по́ свету всему.

На арабском прочитал я все и на дари,
Книгу Бухари прочел я, книгу Табари.

Чтобы не было пробелов, не было потерь,
Переполненных хранилищ отпирал я дверь.

Пехлевийские в подвалах свитки я искал,
Со свечою — по листку их бережно сшивал.

И когда все книги предков изучил я сам,
Изощрился, окрылился быстрый мой калам.

Я сказал, что подобает мудрому сказать,
А не то, что мудрый может после осмеять.

Словно Зенд, я сказ украсил пламенным пером.
Юных семь невест блиста́ют красотою в нем.

Пусть Небесные Невесты раз на них взглянут
И еще светлей и чище над землей блеснут!

Хоть Бахрама нить в сказаньях криво шла досель,
Правда в мире не исчезла и ясна мне цель.

Я — певец — по этой нити в лабиринт спущусь,
В сторону от этой нити верной не собьюсь.

В сотнях речек омовенье, верный, соверши,
Лишь тогда найдешь источник света и души.

Низами! Вот твой Мессия, твой живой калам!
Память же твоя подобна пальме Мариам.

Ты плодоноси, покамест ты и бодр и жив.
Счастье ты познаешь, ибо ты уже счастлив.

ХВАЛА СЧАСТЛИВОМУ ПАДИШАХУ, ДА ОЗАРИТ ЕГО АЛЛАХ

В начале этой книги, говорит Низами, идут четыре главы: восхваление Аллаха, восхваление пророка, молитва о шахе и советы шаху... Затем он переходит к восхвалению заказчика поэмы Корпа-Арслана, за восхвалением следуют молитвы о нем.

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕЛУЮЩЕГО ЗЕМЛЮ

Глава начинается с восхваления могущества и щедрости Корпа-Арслана, которое постепенно переходит в поучения и наставления. Дух выше тела, говорит Низами, будь же душою государства, будь справедливым и мудрым, милосердным, слушай советы Низами, заключенные в этой книге, как слушали мудрые советы великие шахи прошлого. Затем следует посвящение книги Корпа-Арслану и речь о нетленности стихов, которые ценнее сокровищ. Глава завершается добрыми пожеланиями шаху.

ВОСХВАЛЕНИЕ СЛОВА И НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МУДРОСТИ

Мира древнего древнее то, что вечно ново,—
Много сказано об этом, ибо это — слово.

Вечность — древняя праматерь — землю создала
И творенья увенчанье — слово нам дала.

Слово тайны, слово мощи, чистое, как дух;
Страж сокровищ. К тайне слова приклони свой слух...

Ведь оно неслыханные повести скрывает,
В мире ненаписанные повести читает.

Все, что ныне народится, завтра прочь уйдет,
Кроме слова. Только слово в мире не умрет!

Сад иссохнет, шелк истлеет, рухнет зданья свод.
Слово вечно. Остальное — ветер унесет.

Вникни, мудрый, в суть растений, почвы и камней,
Вникни в суть существ разумных, в суть природы всей,—

И в любом живом творенье можешь ты открыть
Главное, что и по смерти вечно будет жить.

Все умрет, все сгубит время, прахом истребя.
Вечно будет жить познавший самого себя.

Обречен на смерть, кто сути жизни не прочтет;
Но блажен себя познавший: будет вечен тот.

Если ты себя, как свиток, правильно прочтешь,
Будешь вечен. В духе — правда, остальное — ложь.

Коль не обретешь познанья высшего теперь,
В дверь одну вошедший, выйдешь ты в другую дверь.

Дом жилой, но лишь над кровлей не клубится дым.
Здесь живут, но знанья польза неизвестна им.

Кто доволен преходящим — слеп, как жалкий крот,
И чертога вечной жизни он не возведет.

Повод для духовной лени выдумать легко;
И не скажут здесь: «Прокисло наше молоко».

Опытом вооруженный, сведущий в делах
Муж порой не смыслит в сути дела и в корнях.

Видит далеко, кто знаньем наделен средь нас,
А незнанье пеленою скроет мир от глаз.

Если, человек богатый, ты собрался в путь —
От разбойников охрану взять не позабудь.

И купцы, что из Китая мускус к нам везут,
В оболочке из камеди мускус берегут.

Хоть перед орлом могучим слаб и мал удод,
Но, в полете быстр, всегда он от орла уйдет.

Вкруг прославленного зависть злобная шипит,—
Эта злоба, эта зависть бедных не страшит.

Коршун мчится за добычей, позабывши страх,
А посмотришь — обе лапы у него в сетях.

Жадный тигр, задрав корову, верно, будет сыт,
Не пожрет он пищи больше, чем нутро вместит.

Не проесть амбаров мира, даже на зерно
Не уменьшатся запасы; столько нам дано.

Сколько бы ячменных зерен птицам ни скормить —
Все вернется! Как и звездам, зернам не убыть.

Золотым венцом ты хочешь, как свеча, блистать,
Но подумай, как придется под конец рыдать!

В этом зелье веселящем — так уж повелось —
Смеха радостного меньше, больше горьких слез.

Но, рассеянные в мире, есть друзья у нас,
Что подать нам помощь могут в самый трудный час.

Разум — главный наш помощник, наш защитник — он.
Муж разумный всем богатством мира наделен.

Кто от разума и мысли духом отвращен —
Человек он по обличью, див по сути он.

Люди разума подобны ангелам с небес,
Дар провидения дан им — чудо из чудес.

Все начертано заране, что произойдет.
И никто предначертанья судеб не уйдет.

Делай дело здесь, задачу исполняй свою;
Дело и в аду почтенней праздности в раю.

Но и доброе деянье вряд ли будет впрок,
Если делом поглощенный человек жесток.

Кто злоумышляет втайне, ближних невзлюбя,
Жало зла он обращает сам против себя.

Благородный, мыслей добрых полный человек,
Зла не делая, запомнит доброе навек.

Так живи, чтоб в час кончины в хоре голосов
Не услышать ни упреков, ни хулы врагов;

Чтоб один из них не молвил: «Смерть в его дому!»
Чтоб другой не засмеялся: «Поделом ему!»

Пусть тебя и не поддержат под локоть рукой,
Так живи, чтоб не валяться ни под чьей ногой.

Тот, кто доброе запомнит средь твоих друзей,
Лучше тех, кто рад печальной участи твоей.

Хлеб не ешь среди голодных. Если будешь есть,
За накрытый стол с собою пригласи их сесть.

Пред завистником сокровищ не считай своих,
Чтобы, как дракон на кладе, он не сел на них.

Если друг твой, как весенний ветер, мягок, все ж
Знай — лампаду и под легким ветром не зажжешь.

Создан не для пожиранья мяса и хлебов
Человек. Нет, он источник умственных даров.

И собака благородней низкого того,
Кто живет лишь для услады брюха своего.

Мудрый, будь полезен людям, мир добром укрась!
Это — выше всех сокровищ и сильней, чем власть.

Будь открыт добру, как роза! От твоих щедрот
Пусть всегда благоуханье по земле идет.

Помнишь мудрого реченье? Что сказал нам он:
«Кто заснул, добро содеяв, видит добрый сон».

В чьей душе укоренится зло и возрастет,
Тот во зле всю жизнь влачится и во зле умрет.

Тот же, в чьей душе открытой возрастет добро,
Проживет в добре и миру принесет добро.

Бойся алчности и помни: небосвод не спит,—
Сонмы алчных истреблял он и тебя сразит.

В пору оскуденья веры правду зло гнетет,
Хищным волком стал Иосиф, а отшельник пьет.

Ныне жить двояко можно: совершая зло
Или — с чистою душою — одобряя зло.

И не дай Аллах всевышний, чтоб рабы твои
Наложили эти цепи на ноги свои!

Полно в мире божьем пламя ада разжигать,
Полно гаснущее пламя нефтью поливать!

Встань же, растопчи нечестье, смуту потуши
И всевышнего веленье в мире соверши!

Полно бедствовать у вечных, полных злата скрынь!
Все сокровищниц засовы смело отодвинь.

На тюльпан взгляни,— как ветер истрепал его,
Из-за трех монет фальшивых ощипал его.

А полынь растет, как прежде; у полыни нет
Ни поддельных, ни червонных золотых монет.

Я оружье сбросил, словно лепестки цветок,
И от зависти язвящей и от зла далек.

Что мне тлеющая зависть? Что мне дым ее? —
Пусть огни ее потушит рубище мое.

Мир — далекий и опасный путь, из мрака в мрак,
И пройти дорогой дивов можно только так,—

Помни: кто свое обжорство сможет обуздать,
Снова перлом драгоценным сможет заблистать.

Очищается и крепнет сильный дух в беде,
Гребешок тысячезубый нужен бороде.

Тысячи отрав изведать в мире нужно нам,
Чтоб вкусить животворящий времени бальзам.

Погляди: в обширной этой лавке мясника
Ты добытого без муки не найдешь куска.

Тысячи надежд погибли, многих сгублен век,
Чтоб один обогатился в мире человек.

Сто голов мечом палачьим где-то снесено,
Чтоб седло баранье было избранным дано.

Золото ногами топчет человек один,
Тысячи за грош потеют в муках до седин.

Благо ль, что всего достиг ты и желаний нет?
В неисполненных желаньях свет грядущих лет.

Коль желанного достигнет поздно человек,
Это весть ему, что долгий проживет он век.

Пусть же поздно долговечный цели досягнет.
Кто всего достигнет быстро, рано тот умрет.

Образуется веками лал, живет века,
А тюльпан весенний гибнет и от ветерка.

В двери древние входящий небу говори:
«Гость я, странник здесь! Ты волю сам свою твори!»

Низами, доколь в оковах этих пребывать?
Не пора ль оковы сбросить, не пора ль восстать?

Встань, не бойся наважденья мира отвести,
Чтобы вечное блаженство в мире обрести!

НАСТАВЛЕНИЕ СВОЕМУ СЫНУ

Низами обращается к сыну с мудрыми поучениями. Только знание, говорит он, истинный друг. Приобрети доброе имя, советует он далее. Дружи только с мудрыми, избегай плохих людей — они тебя могут опорочить. Стремись с единобожию, избегай соблазнов христианства и зороастризма. Избери светлый путь... В заключение главы Низами жалуется на старость и слабость. Но он все же полон решимости завершить свой труд.

НАЧАЛО ПОВЕСТВОВАНИЯ О БАХРАМЕ

Тот, кто стражем сокровенных перлов тайны был,
Россыпь новую сокровищ в жемчугах раскрыл.

На весах небес две чаши есть. И на одной
Чаше — камни равновесья, жемчуг — на другой.

А двуцветный мир то жемчуг получает в дар
Из небесных чаш, то — камня павшего удар.

Таково потомство шахов. Камнем тусклым стать
Может шахский сын — и перлом ценным заблистать.

Не во всем отцу подобен сын и не всегда.
И жемчужину рождает камень иногда.

Есть в былом пример подобный, в поученье нам,—
Яздигерд был грубым камнем, жемчугом — Бахрам.

Тот — карал, казнил, а этот одарял добром,—
Был булыжник рядом с перлом, острый шип с плодом.

Тем, кто в кровь о тот булыжник ноги разбивал,
Сын его для исцеленья свой бальзам давал.

И когда в глазах Бахрама первый луч дневной
Омрачен был этой ночи славою дурной,

Мудрецы и звездочеты вещие страны,
Искушенные в деяньях солнца и луны,

Взвесили созвездья неба, думая, что тут
Лишь дешевый блеск свинцовый вновь они найдут.

Но они чистейшей пробы золото нашли,
Жемчуг в море, драгоценность в камне обрели.

И увидели величье, славный путь побед,
Лучезарный свет в тумане предстоящих лет.

Пламенел тогда в созвездье Рыбы Муштари,
А Зухра горела справа, под лучом зари.

Поднялась в ту ночь к Плеядам месяца глава,
Апогей звезды Бахрама был в созвездье Льва.

Утарид блеснул под утро в знаке Близнецов.
А Кейван от Водолея отогнал врагов.

Встал Данаб против Кейвана, отгоняя тень,
Мирно в знак Овна входило Солнце в этот день.

Так сошелся в гороскопе вещий круг светил.
Муштари в созвездье Рыбы счастье возвестил.

Со счастливым гороскопом, что описан вам,
При благоприятных звездах родился Бахрам.

Яздигерд — его родитель, неразумный шах,
Стал раздумывать в прискорбье о своих делах.

Что ни делал он — все тщетно, прахом все ушло,
Ибо семена насилья порождают зло.

Хоть имел детей и раньше этот властелин,
Умирали все, остался лишь Бахрам один.

И к решенью звездочеты мудрые пришли,
Что воспитывать Бахрама надобно вдали,

Что его в страну арабов надо отослать,
Что его у мужа чести надо воспитать.

Молвили, что там, быть может, счастье он найдет
И друзей в Арабистане верных обретет.

Вопреки установленьям строгой старины,
Перенесть росток решили в сад иной страны.

Яздигерд себялюбивый сына не любил,
Он спокойно на чужбину сына отпустил.

Для него решил в Йемене он поставить трон,
Чтоб от смут земли Аджама был он удален.

И в страну Йемен к Нуману он послал гонца,
Чтобы царь Нуман Бахраму заменил отца.

Он просил, чтобы Бахрама взял к себе Нуман,
Чтоб в саду Нумана вырос и расцвел тюльпан,

Чтоб его наукам царским обучили там,
Чтоб страною научился управлять Бахрам.

Сам Нуман за ним приехал и увез домой
Сына шаха,— скрыл в чертоге месяц молодой.

Тот родник, чей морем позже разлился поток,
Сохранил и как зеницу ока он сберег.

Минуло четыре года; мальчик подрастал;
Как степной онагр, он резвым и красивым стал.

И тогда Мунзиру — сыну — молвил властелин:
«Он растет, но огорченьем скован я, мой сын.

Климат здесь сухой, весь край наш солнцем раскален,
Он же — с севера, и нежен по природе он.

Нам возвышенное место надо отыскать,
Нам его в прохладе горной надо содержать,

Где бы северный лелеял тело ветерок,
Где бы отдых был приятен, сон ночной глубок,

Чтобы в климате хорошем рос он, как орел,
Чтобы крылья он и перья крепкие обрел,

Чтобы запятнать природу шаха не могли
Этот зной и сухость праха, дым и пыль земли».

О ПОСТРОЕНИИ ХАВАРНАКА И О ДОСТОИНСТВАХ СТРОИТЕЛЯ СИМНАРА

Ездил шах Нуман с Мунзиром среди гор и скал,
Мест хороших для Бахрама долго он искал,

Где б от солнечного зноя не было вреда,
Где бы ветерок прохладу приносил всегда.

Не могли в стране такого места отыскать,
Где бы вырастить Бахрама им и воспитать.

И решили светлый замок с башней возвести.
Нужно было для постройки зодчего найти.

Много было иноземных зодчих и своих,
А для дела не годился ни один из них.

Но однажды до Нумана долетела весть:
«Шах! Такой, тебе пригодный, мастер в Руме есть.

Слава дел его по странам катится рекой;
Словно воск, податлив камень под его рукой.

Строить быстро и красиво он имеет дар,
Он из рода Сима, имя славному — Симнар.

Красотой его построек всякий изумлен,
В Сирии, в горах Ливанских зданья строил он,

И в стране, где Нил лазурный падает с небес,
Каждое его созданье — чудо из чудес.

Хоть себя Симнар лишь зодчим скромно называл,—
Он художников славнейших миру воспитал.

Стоя там, где строить зданье он предполагал,
Паутину балок в небе взором он свивал.

Он, как Булинас Румийский, разумом глубок;
Открыватель талисманов, маг и астролог,

Знает он о нападенье яростной луны
И о мести солнца — тайну звездной вышины.

Он для вас дворец, как платье царское, соткет.
На дворце такой высокий купол возведет,

Что созвездья, словно пояс, купол обовьют,
И ему Плеяды сами светоч отдадут».

Сердце вспыхнуло в Нумане, жгли его, как жар,
Эти вести, это имя чудное — Симнар.

Он послал гонца, который бойко говорил
По-румийски. Тот Симнара быстро соблазнил

Бросить Рум. И вот к Нуману зодчий привезен.
Услыхав, чего хотели от него, и он

Воспылал желаньем — дело начинать скорей,
Возвести дворец, достойный отпрыска царей.

Пятилетие трудился над постройкой он.
Был рукою златоперстой дивно возведен

Замок, башенки вздымавший к звездам и луне,
Сновиденьем возникавший в синей вышине.

И второй Ка́бой в мире этот замок стал.
Был резьбой он весь украшен, золотом блистал,

Горною лазурью, краской, что красней зари.
Наподобье неба сделан купол изнутри;

Опоясывали небо девять сфер вокруг.
Полный образов, что создал Север, создал Юг,—

Купол был тысячеликим, сказочным Лушой.
Созерцая свод, усталый отдыхал душой.

Дивною дарил прохладой он и в летний зной.
А когда горел, как солнце, купол под зарей,

Гурия завязывала очи полотном.
Словно рай, красив, удобен был прекрасный дом.

Будто небо в славе солнца, свод горел огнем.
Бычьей кровью камень с камнем скован в своде том.

Был подобен купол небу, влаге и огню;
Трижды цвет свой и сиянье он менял на дню.

Как невеста, он одежды пышные сменял.
Синим, золотым и снежным светом он сиял.

Пред зарей, когда лазурным небосвод бывал,
Плечи мглою голубою купол одевал.

А когда вставало солнце над земной чертой,
Свод пылал, как солнце утра,— ало-золотой.

Тень от пролетающего облачка падет —
Снежно-белым делается весь дворцовый свод.

Цвета неба — он миражем в воздухе висел,
То румийцем белым был он, то, как зиндж, чернел.

Вот Симнар работу кончил — снял леса со стен,
Красотой своей постройки взял сердца он в плен.

Стен и купола сиянье разгоняло мрак.
Замку новому названье дали — «Хаварнак».

И великую награду шах Симнару дал.
Половины той награды он не ожидал.

С золотом и жемчугами длинный караван
Тяжко вьюченных верблюдов дал ему Нуман,

Чтоб и в будущем работал на него Симнар.
Если впору не раздуешь ты в тануре жар,

Злополучное жаркое будешь есть сырьем,
Но сторицей возвратится, что за труд даем.

А когда такую милость зодчий увидал,
Молвил: «Если б ты мне раньше столько обещал,

Я, достойное великой щедрости твоей,
Зданье создал бы — красивей, выше и пышней!

Багрецом, лазурью, златом башни б расцветил,
И поток столетий блеска б их не погасил.

Коль желаешь — будет мною зданье начато
Завтра ж! Этот замок будет перед ним ничто.

В этом здании — три цвета, в том же будет сто!
Это — каменное, будет яхонтовым то.

Свод единственный — строенья этого краса,
То же будет семисводным — словно небеса!»

Пламенем у падишаха душу обняла
Эта речь и все амбары милости сожгла.

Царь — пожар; и не опасен он своим огнем
Только тем, кто в отдаленье возведет свой дом.

Шах, что розовый кустарник, ливнем жемчугов
Сыплет. Но не тронь — изранит жалами шипов.

Шах, лозы обильной гроздья на плечи друзей
Возложив, их оплетает силою ветвей.

И, обвив свою опору, верных слуг своих,—
Из земли, без сожаленья, вырвет корень их.

Шах сказал: «Коль этот зодчий от меня уйдет,
Он царю другому лучший замок возведет».

И велел Нуман жестокий челяди своей
Зодчего схватить и сбросить с башни поскорей.

О, смотри, как небосводом кровожадным он
Сброшен с купола, который им же возведен!

Столько лет высокий замок он своей рукой
Строил. И с него мгновенно сброшен был судьбой!

Он развел огонь и сам же в тот огонь попал.
Долго восходил на кровлю — вмиг с нее упал.

В высоте ста с лишним гязов замыкая свод,
Он не знал, что, труд закончив, гибель там найдет.

Выше хижины он замка строить бы не стал,
Если бы свою кончину раньше угадал,—

Возводя престол, расчисли ранее всего,
Чтобы не разбиться, если упадешь с него.

И взвилось петлей аркана до рогов луны
Имя грозное Нумана с дивной вышины.

И молва, что он волшебник, с той поры пошла.
И владыкой Хаварнака шаха нарекла.

ОПИСАНИЕ ДВОРЦА ХАВАРНАКА И ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НУМАНА

Хаварнак, когда он домом для Бахрама стал,
Чудом красоты в подлунном мире заблистал.

И, прославленный молвою, окружен хвалой,
Назвался «Кумирней Чина», «Кыблою второй».

Сотни тысяч живописцев, зодчих, мудрецов
Приходили, чтоб увидеть лучший из дворцов.

Тот, кто видел, восхищенья удержать не мог
И вступал с благоговеньем на его порог.

Там — на всех дверях чертога, что вздымался ввысь,
Изречения узором золотым вились.

Над Йеменом засияла вновь Сухейль-звезда
Так светло, как не сияла прежде никогда.

Полн красавиц, как под звездным куполом Йемен,
Стал тот замок, словно полный жемчугом Аден.

И, прославленный молвою, стал известен всем
Хаварнаком озаренный берег, как Ирем.

Как Овен на вешнем небе ярко светит нам,
Хаварнак светил, и рядом с ним светил Бахрам.

Проводил Бахрам на кровле ночи до утра.
В небе чашу поднимала за него Зухра.

Видел стройные чертоги в отсветах зари,
Полная луна — над кровлей, солнце дня — внутри.

В глубине палат сияли факелы в ночи,
С кровли путникам светили, как луна, в ночи.

И всегда отрадный ветер веял меж колонн,
Запахом садов, прохладой моря напоен.

Сам Бахрам, лишь постепенно обходя дворец,
Дивное его величье понял наконец.

За одной стеной живую воду нес Евфрат,
Весь в тени дерев цветущих и резных оград.

А за башней, что, как лотос, высока была,
Молока и меда речка, скажешь ты, текла.

Впереди была долина, сзади — свежий луг,
Пальмы тихо шелестели и сады вокруг.

Сам Нуман, что здесь Бахраму заменил отца,
Часто с ним сидел на кровле своего дворца.

Над высокой аркой входа он на зелень нив
Любовался с ним часами, светел и счастлив.

Даль пред ними — вся в тюльпанах, как ковер, цвела,
Дичью полная — к ловитве души их звала.

И сказал Нуман Бахраму: «Сын мой, рад ли ты?
Хорошо здесь! Нет подобной в мире красоты».

Рядом был его советник. Чистой веры свет
Мудрому тому вазиру даровал Изед.

И сказал вазир Нуману: «В мире все пройдет,
Только истины познанье к жизни приведет.

Если свет познанья брезжит в сердце у тебя,
Откажись от блеска мира — правду возлюбя!»

И от жара этой речи, что, как пламя, жгла,
Содрогнулся дух Нумана, твердый как скала.

С той поры как семь небесных встали крепостей,
Не бывало камнемета этих слов сильней.

Шах Нуман спустился с кровли в час полночной мги,
Молча он, как лев, к пустыне устремил шаги.

Он отрекся от сокровищ, трона и венца.
Прелесть мира несовместна с верою в творца.

От богатств, какими древле Сулейман владел,
Он отрекся; сам изгнанья он избрал удел.

Не нашли нигде ни шаха, ни его следов,
Он исчез, ушел от мира, словно Кей-Хосров.

Хоть Мунзир людей на поиск тут же снарядил,
Не нашли, как будто ангел беглеца укрыл.

Горевал Мунзир, потерей удручен своей,
Он провел в глубокой скорби много долгих дней.

Выпустил кормило власти из своей руки...
Стал дворец его высокий черным от тоски.

Но утихло в скорбном сердце горе наконец;
Власть его звала, к правленью призывал венец.

Он искоренил насилье твердою рукой,
Ввел законы, дал народу счастье, мир, покой.

А когда он полновластным властелином стал,
Яздигерд ему признанье и дары послал.

А Бахрама, словно сына, шах Мунзир растил,
Был отцом ему. Нет, больше и роднее был.

Сын Нуман был у Мунзира; вырастал, как брат,
Он с Бахрамом. Оба шахский радовали взгляд.

Ровня был Бахрам по крови, одногодок с ним,
Он не разлучался с братом названым своим.

Вместе обучаться стали грамоте они,
За игрой веселой вместе проводили дни,

На охоту выезжали вместе в дни весны,
Никогда, как свет и солнце, не разделены.

Так Бахрам в высоком замке прожил много лет,
Помыслы его премудрый направлял мобед.

К знанью был Бахрама разум с детства устремлен.
Как достойно сыну шаха, был он обучен.

Изучал Бахрам арабский, греческий язык,
Старый маг его наставил тайне древних книг.

Сам Мунзир, многоученый и разумный шах,
Объяснял ему созвездий тайны в небесах.

Ход двенадцати созвездий и семи светил
Ученик его прилежный вскоре изучил.

Геометрию постиг он, вычислял, чертил.
Алмагест и сотни прочих таинств изучил.

Он, ночами наблюдая звездный небосвод,
Стал читать светил движенье и обратный ход.

Ум его величьем мира стройным был объят.
Знанья перед ним раскрылись, как бесценный клад.

И, увидя в восхищенье, что его Бахрам
Зорок мыслью, в постиженье знания упрям,

Шах ему меридиана показал отвес
И открыл пред ним науку высшую небес.

Все, что разум человека за века постиг,
Все, чем стал он перед небом и землей велик,—

Все Мунзир законов стройных кругом вместе слил
И, как книгу, пред Бахрамом наконец открыл.

И Бахрам, учась прилежно, стал в конце концов
Искушен во всех науках — даре мудрецов.

Были внятны все таблицы звездные ему,
Сокровенное он видел сквозь ночную тьму.

Астролябией и стержнем юга он владел,
Он узлы деяний неба развязать умел.

И когда наукой книжной был он умудрен,
Боевым владеть оружьем стал учиться он.

Он игрою в мяч, искусством верховой езды
Мяч выигрывал у неба и его звезды.

А когда в степи он ветер начал обгонять,
На волков и львов с арканом начал выезжать.

А в степи заря рассвета и лучи ее
Пред копьем его бросали на землю копье.

Вскоре он в стрельбе из лука равного не знал,
Птицу в высоте небесной он стрелой пронзал.

Полный весь колчан порою посылал он в цель,
Каждою своей стрелою попадал он в цель.

Так пускал он стрелы густо, так рубил мечом,
Что никто бы не укрылся от него щитом.

На скаку, в пылу охоты он копье метал,
На скаку в кольцо копьем он метким попадал.

Острием копья колечко с гривы льва срезал
И кольцо с замка сокровищ он мечом снимал.

На ристалище, когда он лук свой брал порой,
В волосок он за сто гязов попадал стрелой.

Все, что в поле на ловитве взгляд его влекло,
От летящих стрел Бахрама скрыться не могло.

Так в науках и в охоте перед ним всегда
Реяла его удачи яркая звезда.

Доблестью его гордились ближние царя,
С похвалою о Бахраме всюду говоря.

Говорили: «То он в схватку с ярым львом вступил,
То он барса на охоте быстрого сразил».

И такие о Бахраме всюду речи шли,
И его «Звездой Йемена» люди нарекли.

ОХОТА БАХРАМА И КЛЕЙМЕНИЕ ОНАГРОВ

Мунзир и Бахрам дружат, как родные братья. Они ездят вместе на охоту, пируют. Бахрам больше всего любит охотиться на онагров верхом на своем рыжем коне. Жеребят-онагров, пойманных во время охоты, Бахрам щадит, клеймит их шахским тавром и отпускает в степь.

БАХРАМ ОДНОЙ СТРЕЛОЙ УБИВАЕТ ЛЬВА И ОНАГРА

Бахрам во время охоты видит льва, напавшего на онагра. Он искусно пронзает их обоих одной стрелой. Арабы, пораженные его умением стрелять из лука, дают ему прозвание «Бахрам-Гур» («Бахрам-онагр»). Подвиг Бахрама изобразили на стене в Хаварнаке.

БАХРАМ УБИВАЕТ ДРАКОНА И НАХОДИТ КЛАД

Бахрам пьет вино. Опьяненный, он отправляется в степь охотиться на онагров. Он целый день преследует необыкновенно быстроногую самку онагра и никак не может ее догнать. Неожиданно онагр исчезает в пещере среди скал. Приблизившись к пещере, Бахрам видит, что вход в нее охраняет огромный дракон, который проглотил ускользавшего от него онагра. В возмездье за онагра Бахрам решает убить дракона. Сперва он ослепляет дракона стрелой с двужалым наконечником, затем пронзает его копьем и отсекает ему мечом голову. Распоров дракону брюхо, Бахрам освобождает проглоченного онагра. Онагр бежит в пещеру, шах идет за ним и находит там несметные сокровища. Онагр исчезает. Подоспевают спутники Бахрама. Они разрывают пещеру и вывозят клад на трехстах верблюдах. Этот клад — воздаяние Бахраму, спасшему онагра из утробы дракона. Обретенные сокровища Бахрам раздаривает. И этот подвиг Бахрама изображают на стене в Хаварнаке.

БАХРАМ НАХОДИТ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕМИ КРАСАВИЦ

В Хаварнак однажды прибыл из степей Бахрам,
Предался отдохновенью, лени и пирам.

По бесчисленным покоям как-то он блуждал,
Дверь закрытую в проходе узком увидал.

Он ее дотоль не видел и не знал о ней;
Не входил в ту дверь старейший царский казначей.

Тут не медля ключ от двери шах у слуг спросил.
Ключник ветхий появился, ключ ему вручил.

Шах открыл и стал на месте — сильно изумлен;
Будто бы сокровищницу там увидел он.

Дивной живописью взоры привлекал покой.
Сам Симнар его украсил вещею рукой.

Как живые, семь красавиц смотрят со стены.
Как зовут, под каждой надпись, из какой страны.

Вот Фурак, дочь магараджи, чьи глаза черны,
Словно мрак, и лик прекрасней солнца и луны.

Вот китайского хакана дочерь — Ягманаз,—
Зависть лучших дев Китая и твоих, Тараз.

Назпери — ее родитель хорезмийский шах.
Шаг ее как куропатки окрыленный шаг.

В одеянии румийском, прелести полна,
Насринуш идет за нею — русская княжна.

Вот магрибского владыки дочь Азариюн,
Словно утреннее солнце девы облик юн.

Дочь царей румийских — диво сердца и ума,
Счастье льет, сама счастлива, имя ей — Хума.

Дочь из рода Кей-Кавуса, ясная душой
Дурасти — нежна, как пальма, и павлин красой.

Этих семерых красавиц сам изобразил
Маг Симнар и всех в едином круге заключил.

А посередине круга — будто окружен
Скорлупой орех — красивый был изображен

Славный витязь. Бирюзовым осенен венцом,
Он блистал, как солнце утра, молодым лицом.

Словно кипарис, он строен, с гордой головой.
Взгляд горит величьем духа, ясный и живой.

Семь кумиров устремили взгляды на него,
Словно дань ему платили сердца своего.

Он же ласковой улыбкой отвечает им,
Каждою и всеми вместе без ума любим.

А над ним Бахрама имя мастер начертал.
И Бахрам, себя узнавши, надпись прочитал.

Это было предсказанье, речь семи светил:
«В год, когда воспрянет в славе витязь, полный сил,—

Он добудет семь царевен из семи краев,
Семь бесценных, несравненных, чистых жемчугов.

Я не сеял этих зерен, в руки их не брал:
Что мне звезды рассказали, то и написал».

И любовь к семи прекрасным девам день за днем
Понемногу овладела молодым царем.

Кобылицы в пору течки, буйный жеребец —
Семь невест и льву подобный юный удалец.

Как же страстному желанью тут не возрастать,
Как же требованьям страсти тут противостать?

Рад Бахрам был предсказанью звездному тому,
Хоть оно пересекало в жизни путь ему.

Но зато определяло жизнь и вдаль вело,
Исполнением желаний дух его влекло.

Все, что нас надеждой крепкой в жизни одарит,
Силу духа в человеке удесятерит.

Вышел прочь Бахрам, и слугам дал такой наказ:
«Если в эту дверь заглянет кто-нибудь из вас,

Света солнечного больше не видать тому:
С плеч ему я без пощады голову сниму».

Стражи, слуги, и вельможи, и никто другой
Даже заглянуть не смели в тайный тот покой.

Только ночь прольет прохладу людям и зверям,
Взяв ключи, Бахрам к заветным подходил дверям,

Отпирал благоговейно и, как в рай, вступал:
Молча семь изображений дивных созерцал.

Словно жаждущий, смотрелся в чистый водоем.
И, желаньем утомленный, забывался сном.

Вне дворца ловитвой вольной шах был увлечен,
Во дворце же утешался живописью он.

БАХРАМ УЗНАЕТ О СМЕРТИ ОТЦА

Отцу Бахрама доносят о возрастающей мощи его сына. Яздигерд, злобный и подозрительный, начинает опасаться Бахрама. Внезапно Яздигерд умирает. В Иране собирается совет. Решают не пускать в страну Бахрама, сына грешного и злого отца, получившего к тому же воспитание среди арабов. Мобеды возводят на иранский трон старца, дальнего родственника Бахрама... В стране смута. Бахрам узнает об этом. Он решает завоевать трон отца и установить в Иране покой и справедливость.

БАХРАМ ПРИВОДИТ ВОЙСКО В ИРАН

Низами начинает эту главу с небольшого отступления, в котором говорит, что, хотя он и не любит повторять чужие слова, ему придется сейчас повторить многое из рассказанного до него Фирдоуси. Он надеется превзойти его красотой стиха... Бахрам идет на Иран с арабскими войсками. В Иране узнают об этом. Сидящий на троне старец напуган. Собирается совет. Решают не пускать Бахрама в Иран и отправить ему письмо. Старцы, посланные из Ирана, передают письмо Бахраму.

ПИСЬМО ИРАНЦЕВ БАХРАМУ

Глава начинается велеречивым традиционным посланием старика шаха Бахраму. Он стар, его томят тяготы царских забот. На трон он взошел только потому, что его упросили, сам он этого не хотел. Он завидует беззаботной жизни Бахрама, отданной охоте и пирам. Сам он не ведает сна от забот. Далее он говорит о тяжкой вине грешного отца Бахрама и советует ему не пытаться захватить престол — его все равно не примут вельможи. Он предлагает Бахраму выкуп. В конце письма он лицемерно соглашается стать наместником Бахрама... Бахрам в гневе, но он не теряет рассудка. Следует его мудрый ответ гонцам. «Трон при-

надлежал моему отцу,— говорит Бахрам.— Я признаю, что отец был грешен. Но нельзя упрекать сына за грехи отца, и не надо говорить дурно об умершем. Я — другой человек и править буду иначе, буду милостив, справедлив, разумен, не буду мстить за старое, не буду никого обирать, буду прислушиваться к советам мудрецов». Гонцы признают, что Бахрам прав, его речи — речи истинного шаха, к тому же происхождение его безупречно. Но они выдвигают новые препятствия: они присягнули старику и не могут нарушить клятву. Бахрам отвечает, что он сам силой лишит старика престола, и им не придется нарушать присягу. Пусть устроят испытание: выведут двух свирепых львов и положат между ними шахский венец. Кто сможет его взять — тот и будет шахом. Условие записывают и отправляют в Иран. Старик, прочитав его, тут же снимает с себя корону и отказывается от престола в пользу Бахрама. Вельможи и мобеды удерживают его. Пусть Бахрам попытается взять венец, говорят они. Если это ему не удастся, престол достанется старику.

БАХРАМ БЕРЕТ ВЕНЕЦ

Утро. Предводители арабских и иранских войск подъезжают к шахскому зверинцу. Выводят львов, между ними кладут царский венец. Бахрам, не дрогнув, подходит к львам, убивает их и завладевает отцовским венцом.

БАХРАМ ВОСХОДИТ НА ПРЕСТОЛ ОТЦА

Бахрам вступает на престол. Звездочеты составляют гороскоп — он, как и гороскоп рождения Бахрама, оказывается счастливым. Бахрам добр и щедр. Даже свергнутый им старец восхваляет его. Мобеды нарекают его «Шахом мира». Весь народ его хвалит.

ХУТБА СПРАВЕДЛИВОСТИ БАХРАМА-ГУРА

По обычаю иранских царей, Бахрам произносит тронную речь, которую Низами называет арабским словом «хутба» (см. словарь).

В этой речи он возносит хвалу богу, который даровал ему шахский венец, обещает быть справедливым, идти правым путем и карать всякую неправду и несправедливость. В заключение главы Низами говорит, что Бахрам следовал своим обещаниям.

О ТОМ, КАК ПРАВИЛ БАХРАМ-ГУР

Счастливо на трон Ирана шах Бахрам взошел,
Совершенством и величьем озарил престол.

На семи златых подножьях трон его стоял,
Поясом с семью значками стан он повязал.

Шах в румийских был одеждах белых и парчах,
Чинский шелк переливался на его плечах.

Он добром с пределов Рума подати взимал,
Благом он с хакана Чина обложенье брал.

Он законы правосудья учредил в стране,
Злобу покарал, а правду наградил вдвойне.

Справедливых и гонимых сам он ограждал,
Угнетателей унизил, алчных покарал.

И ключом к замку печалей стал его дворец,
Благоденствие настало в царстве наконец.

Государство процветало, обретя покой,
И при нем дышать свободно стал народ простой.

Овцы множились, богатый расплодился скот,
На полях лилось живое изобилье вод.

Всякий плод пошел обильно на деревьях зреть,
Чистым золотом монеты начали звенеть.

Шах Бахрам вникал повсюду сам во все дела;
Если видел зло, искал он тайный корень зла.

И последовали шаху все князья земли,
И окраины Ирана также расцвели.

Все, что глохло в запустенье в дни его отца,
Расцвело и разрешилось у его дворца.

Стражи кладов и владельцы замков крепостных
Крепости ему вручили и ключи от них,

Дневники приказов свыше каждый обновлял,
Каждый жизнь свою на службу шаху отдавал...

Шах делами государства окружал себя,
Подданным добра желая, утруждал себя.

Разоренные хозяйства вновь обогатил,
Беглецов в родное лоно лаской возвратил.

Он овец своих от волка злого защитил,
Сокола своею властью с голубем сдружил.

Обольщенья старой смуты он изгнал навек,
Хищничество, лихоимство всякое пресек.

Сокрушил, разбил опоры он врагов своих,
Поддержал друзей надежных он в делах мирских.

Человечность он законом для себя избрал.
«Лучше благо, чем обида»,— людям он сказал.

«Оскорбленье унижает. Лучше убивать
Ненавистников, но душу их не оскорблять.

Лучше смерть, чем оскорбленье. Коль нельзя простить
Нераскаянных злодеев, лучше уж казнить.

И бичи и униженье — гибели лютей».
Справедливостью своею он привлек людей.

Был он щедр. И по величью духа своего
Не оставил без вниманья в царстве никого.

Видел он: лишь пыль печали, скорби и забот
Древняя обитель праха мудрому несет.

Но душой своей в печали не поник Бахрам,
Предался веселью, неге, ласкам и пирам.

Да, в непрочности вселенной убедился он,
И душою в наслажденья погрузился он.

Он лишь день один в неделю отдавал делам.
Шесть же дней — любви и неге отдавал Бахрам.

Без любви теперь не мог он даже дня дышать,
В ворота любви стучал он. Как же не стучать?

Есть ли смертный, что любовью не был бы пленен?
Кто лишен любви, ты скажешь, жизни тот лишен.

И любви провозгласил он в мире торжество,
И четы влюбленных стали свитою его.

ЗАСУХА И МИЛОСЕРДИЕ БАХРАМА

Были в некий год жарою спалены поля,
И зерна не уродила щедрая земля.

Был такой во всем Иране страшный недород,
Что голодный пахарь начал есть траву, как скот.

Мир от голода в унынье голову склонил,
Хлеб у скупщиков для бедных недоступен был.

Весть о бедствии народном шаху принесли,
Молвили: «Простерся голод по лицу земли.

Смерть, страданья, людоедство на земле царят;
Словно волки, люди падаль и людей едят».

И Бахрам решил немедля бедствие избыть,
Двери всех своих амбаров он велел открыть.

А правителям окраин отдал он приказ,
Чтобы людям царских житниц роздали запас.

Написал: «Во всех селеньях пусть и в городах,
Люди хлеб берут бесплатно в наших закромах.

У богатого за деньги забирайте хлеб,
Голодающим бесплатно раздавайте хлеб.

А когда не будет ведать голода страна,
Птицам высыпьте остатки вашего зерна.

Чтоб никто в моих владеньях голода не знал,
Чтоб никто от недостатка пищи не страдал!»

А когда голодных толпы к житницам пришли
И домой мешки с пшеницей царской унесли,

Шах зерно в чужих владеньях закупать велел
И закупленное снова раздавать велел.

Он усердствовал, сокровищ древних не щадя,
Милости он сыпал гуще вешнего дождя.

Хоть подряд четыре года землю недород
Посещал, зерно от шаха получал народ.

Так в беде он истым Кеем стал в своих делах,
И о нем судили люди: «Подлинный он шах!»

Так избыл народ Ирана горе злых годин;
Все ж голодной смертью умер человек один.

Из-за этого бедняги шах Бахрам скорбел,
Как поток, зимой замерзший, дух в нем онемел.

И, подняв лицо, Яздана стал он призывать,
И о милости Яздана стал он умолять:

«Пищу ты даруешь твари всяческой земной!
Разве я могу сравняться щедростью с тобой?

Ты своей рукой величье малому даешь,
Ты величью истребленье и паденье шлешь.

Как бы я ни тщился, хлеба в житницах моих
Недостанет, чтоб газелей накормить степных.

Только ты — победоносной волею своей —
Кормишь всех тобой хранимых — тварей и людей.

Коль голодной смертью умер человек один,
То поверь, я неповинен в этом, властелин!

Я не ведал, что бедняга жил в такой нужде,
А теперь узнал, но поздно, не помочь беде».

Так молил Бахрам Яздана, чтобы грех простил,
И Бахраму некий тайный голос возвестил:

«За твое великодушье небом ты прощен,
И в стране твоей отныне голод прекращен.

Да! Подряд четыре года хлеб ваш погибал,
Ты ж свои запасы людям щедро раздавал,

Но четыре года счастья будет вам теперь,
Ни нужда, ни смерть не будут к вам стучаться в дверь!»

И четыре круглых года, как сказал Яздан,
Благоденствовал и смерти не видал Иран.

Счастлив шах, что добротою край свой одарил
И от хижин смерть и голод лютый удалил.

Люди новые рождались. Множился народ.
Скажешь: не было расхода, был один доход.

Умножалось населенье. Радостно, когда
Строятся дома; обильны, людны города.

Дом за домом в эту пору всюду возникал,
Кровлею к соседней кровле плотно примыкал.

Если б в Исфахан из Рея двинулся слепец,
Сам по кровлям он пришел бы к цели наконец.

Если это непонятно будет в наши дни,
Ты, читатель, летописца — не меня — вини.

Народился люд, явилось много новых ртов,
Пропитанья было больше все ж, чем едоков.

На горах, в долинах люди обрели покой,
Радость и веселье снова потекли рекой.

На пирах, фарсанга на два выстроившись в ряд,
Пели чанги и рубабы и звучал барбат.

Что ни день — то, будто праздник, улица шумна.
Возле каждого арыка был бассейн вина.

Каждый пил и веселился, брань и меч забыл,
И, кольчугу сняв, одежды шелковые шил.

Ратный шум, бряцанье брани невзлюбили все,
О мечах, пращах и стрелах позабыли все.

Всякий, у кого достаток самый малый был,
Радовался, услаждался и в веселье жил.

Ну, а самым бедным деньги шах давать велел
На потехи. Всех он видеть в радости хотел.

Каждого сумел приставить к делу он в стране.
Чтобы жизнь была народу радостна вдвойне,

На две части приказал он будний день разбить,
Чтоб сперва трудиться, после — пировать и пить.

На семь лет со всей страны он подати сложил,
Ствол семидесятилетней скорби подрубил.

Тысяч шесть созвать велел он разных мастеров:
Кукольников, музыкантов, плясунов, певцов.

Он велел их за уменье щедро наградить
И по городам, по селам им велел ходить,—

Чтоб они везде бывали с песнею своей,
Чтобы сами веселились, веселя людей.

Меж Тельцом и Близнецами та была пора,—
Рядом шла с Альдебараном на небе Зухра.

Разве скорбь приличествует людям тої порой,
Как Телец владычествует на небе с Зухрой?

БАХРАМ И РАБЫНЯ

Знаменитый эпизод предания о Бахраме, имеющийся в другом изложении в «Шах-наме» Фирдоуси,— сюжет многочисленных миниатюр, изображений на чашах, кувшинах и т. п. Бахрам едет на охоту со своей любимой певицей — рабыней Фитне. Он показывает ей искусство в стрельбе из лука, но она замечает, что тут нет ничего удивительного: всякий, мол, кто долго упражняется в каком-либо искусстве, достигает

в нем совершенства. Тут видна выучка, а не сила. Бахрам в гневе хочет убить рабыню, но не считает возможным пролить своей рукой кровь женщины и поручает убить ее своему военачальнику. Тот уводит Фитне. Она умоляет его отложить исполнение приказа Бахрама. Пусть он доложит Бахраму, что убил Фитне. «Если шах выразит удовлетворение, убей меня, если же он огорчится — я спасена»,— говорит рабыня. Военачальник поступает так, как она его просила. Бахрам раскаивается в своей жестокости и горько рыдает. ...Военачальник отправил Фитне в свою деревню, около которой была высокая башня. В деревне родился теленок. Фитне стала брать каждый день этого теленка на спину и относить на вершину башни. Теленок рос, но росли и силы рабыни и через некоторое время она носила уже на вершину башни взрослого быка. Прошло шесть лет. Как-то раз Бахрам на охоте заехал в эту самую деревню. Фитне просит военачальника пригласить Бахрама на пир. Пир устраивают на верхней площадке башни. Во время пира военачальник говорит Бахраму, что в соседней деревне есть девушка, которая поднимается на эту башню, неся на спине быка. Бахрам поражен. Зовут Фитне, и она, закрыв лицо покрывалом, показывает свое умение. Бахрам говорит, что в этом нет ничего удивительного: просто она долго упражнялась, все дело в выучке. Фитне отвечает: «Когда хорошо стреляют из лука, то это не благодаря выучке, а когда носят быка на башню, то это только благодаря выучке, а не силе». Бахрам по этому ответу узнает Фитне, срывает с нее покрывало и заключает ее в объятия. Военачальник получает щедрую награду, а Фитне становится женой шаха. (Намек на вторую часть этой легенды, очевидно, очень древнюю, имеется в «Сатириконе» Петрония: «Снесла теленка, снесет и быка». У Фирдоуси этой части нет. Бахрам в гневе растаптывает рабыню конем.)

ХАКАН ЧИНА ВТОРГАЕТСЯ В ИРАН

Бахрам поручает управление страной трем везирам, а сам веселится. Хакан Чина прослышал, что Бахрам предался одним забавам и любовным утехам. Он решает, что Иран не сможет защищаться, собирает огромное войско — триста тысяч лучников и с востока вторгается во владения Бахрама. Войско Бахрама долгие годы бездействовало, обленилось, двинуть его на врага просто опасно. Наместники вступили в тайные сношения с хаканом. Бахрам не принимает боя и бежит из столицы. Хакан торжествует и на радостях устраивает пиршества. Бахрам же, отобрав триста лучших всадников, внезапно ночью нападает на ставку хакана и одерживает блестящую победу. Войска Чина бегут в панике, хакану с трудом удается спасти жизнь. Бахрам возвращается в столицу.

БАХРАМ ПОРИЦАЕТ НАЧАЛЬНИКОВ ВОЙСКА

Бахрам, воссев на престол, собирает своих военачальников и обращается к ним с гневной речью. «Я не видел вас во время недавних сражений,— говорит Бахрам,— вы способны, очевидно, лишь хвастаться древностью рода и знатностью, а не воевать! Да, я пью вино,— продолжает Бахрам,— но я, как видите, не забываю и о благе государства, мой враг побежден». Военачальники обращаются к Бахраму с подобострастными речами. Победа Бахрама, говорят они, затмила все подвиги древних царей. Шах всегда настороже, он не дремлет, страна при нем процветает. Затем слово берет везир Бахрама Нуман, сын Мунзира, царя Йемена. Он просит отпустить его на родину. Бахрам щедро одаривает Нумана, и тот уезжает.

БАХРАМ ЖЕНИТСЯ НА ДОЧЕРЯХ ПАДИШАХОВ СЕМИ СТРАН

Всей душою в наслажденья погрузился шах,
Ибо он устал в походных пребывать трудах.

Судьбы подданных устроил сам сперва Бахрам,
А уж после приступил он и к своим делам.

Он попрал врагов Ирана твердою пятой
И предался неге мира с чистою душой.

И пристрастие былое стал он вспоминать.
Что в трудах — за недосугом — начал забывать.

Как Аржанг, семи блиставший мира поясам,—
Образы семи красавиц вспоминал Бахрам.

И в душе Бахрама-Гура разгорелась вновь
К этим гуриеподобным девушкам любовь.

Семь волшебных эликсиров в мире он открыл
И семью огнями пламя страсти погасил.

Первая была — царевна Кеева дворца,
Но у ней в живых у ту пору не было отца.

Он засватал перл бесценный рода своего
И за тысячи сокровищ получил его.

А потом к хакану Чина он послал гонцов
И письмо с угрозой, скрытой средь любезных слов.

Дочь просил он у хакана и казну с венцом
И вдобавок дань двойную на году седьмом.

Отдал дочь хакан Бахраму и послал дары:
Груз динаров и сокровищ, чаши и ковры.

Вслед за тем Бахрам кайсару вдруг нанес удар,—
Вторгся с войском в Рум. Немалый там зажег пожар.

Спорить с ним не стал объятый ужасом кайсар,
Выдал дочь свою и с нею дал богатый дар.

И людей в Магриб к султану шах послал потом
С чистым золотом в подарок, с троном и венцом.

Что ж! Магрибскую царевну получил Бахрам.
Посмотри, как в той женитьбе ловок был Бахрам.

А когда был кипарис им стройный увезен,
В край индийский за невестой устремился он.

Разумом раджу индусов так пленил Бахрам,
Что и дочь индийца в жены получил Бахрам.

И когда в Хорезм направил шах Бахрам посла,
Хорезм-шаха дочь женою в дом к нему вошла.

Он царя саклабов даром дорогим почтил,
Дочь его — алмаз чистейший — в жены попросил.

Так вот — от семи иклимов — у семи царей
Взял он в жены семь прекрасных перлов-дочерей;

И привез к себе, и с ними в счастье утопал,
Юности и наслажденью полностью воздал.

ЗИМНИЕ ПИРЫ БАХРАМА И ПОСТРОЕНИЕ СЕМИ ДВОРЦОВ

В некий день, едва лишь солнце на́ небо взошло,
Небосвод в сребристом блеске обнажил чело.

Радостен и лучезарен, ярко озарен
Был тот день. Да не затмится он в чреде времен!

В это утро шах собранье мудрецов созвал.
Как лицо прекрасной девы, дом его блистал.

Не в саду садились гости, а входили в дом,
Ибо день тот был отрадный первым зимним днем.

Все убра́нство в дом из сада унесли. И сад
Опустел, погасло пламя множества лампад.

Смолкли соловьи на голых, мокрых деревах.
Крик ворон: «Держите вора!» — слышится в садах.

От индийца родом ворон, говорят, идет,—
Диво ль, что индиец вором стал и сам крадет.

Вместо соловьев вороны царствуют в садах.
Вместо роз шипы остались на нагих кустах.

Ветер утренний — художник, что снует везде,
Он серебряные звенья пишет на воде.

Холод у огня похитил мощь,— и посмотри:
Из воды мечи кует он под лучом зари.

И с копьем блестящим вьюга всадником летит,
Над затихшей речкой острым снегом шелестит.

Молоко в кувшинах стало твердым, словно сыр.
Стынет в жилах кровь живая, воздух мглист и сыр.

Горы в горностай оделись, долы — в белый пух,
Небосвод в косматой шубе дремлет, хмур и глух.

Хищник зябкий травоядных стал тропу следить,
Чтоб содрать с барана шкуру, чтобы шубу сшить.

Голова растений сонно на землю легла,
Сила их произрастанья в глубь пещер ушла.

Мир-алхимик на деревьях лист позолотил
И рубин огня живого в сердце камня скрыл.

В благовонья тот алхимик розы превратил
И в кувшине под печатью крепкой заключил.

Словно ртуть, вода густая стынет на ветру
И серебряной пластиной скрыта поутру.

Теплый шахский дом, блистая стеклами окон,
Совмещал зимою свойства четырех времен.

Золотым углем жаровен и живым огнем
Леденящий зимний воздух нагревался в нем.

А плоды и вина сладко усыпляли ум,
И от сердца отгоняли рой докучных дум.

На углях горел алоэ, жарко тлел сандал;
Как индийцы на молитве, дым вокруг вставал.

Для поклонников Зардушта рдел живой огонь,
Был источником веселья золотой огонь.

В золоте, в дыму алоэ брачный был чертог,
Пиршественный, как гранатный розовел цветок.

Яркие шелка блистали в зале пировом.
Куропатка с перепелкой над живым огнем

Вместе жарились, вращаясь. С ними чередой,
Оперенье сняв, кружился вяхирь молодой.

Желтый пламень дров горящих, дымом окружен,
Кладом золотым казался, дым на нем — дракон.

Адом был огонь и раем. В суть огня вникай:
Ад он — жаром пепелящим, ярким светом — рай.

Обитателям кумирен он — горящий ад,
Сад он райский для прошедших узкий мост — Сират.

Древний Зенд Зардушта гимны пламени поет,
Маг, как мотылек крылатый, вкруг огня снует.

В славный зимний день с друзьями пировал Бахрам,
Пил вино, как подобает пить вино царям.

Вина сладкие, жаркое, музыка, друзья,—
Это зимнею порою одобряю я.

Как улыбка уст румяных, в чаше блеск вина,
Коль вином горячим в стужу чаша та полна.

Музыкой разгорячен был у застольцев мозг,
Сердце в теплоте отрадной таяло, как воск.

Мудрецы путем веселья за вином пошли,
Искрящийся остроумьем разговор вели.

Каждый радостно, открыто шаху говорил
То, что в сердце благородном ото всех таил.

Некий славный иноземец среди них сидел,
Князь по крови, он, великий, знанием владел.

Светлый ликом, словно солнце, звался он Шида;
Живописец — чувств исполнен, вдохновлен всегда,

Геометр и математик, врач и астроном,
Был он в зодчестве прославлен дивным мастерством.

Словно воск, податлив камень был в его руках,
Яркий блеск его мозаик не погас в веках.

Он узорною резьбою зданья украшал
И по извести картины красками писал.

Поднялся он из застолья, перед шахом встал,
Поклонился, сел на место и царю сказал:

«Если будет мне согласье шаха и указ —
Устраню я от Ирана наговор и сглаз.

Я ученый и астролог. До высоких звезд
Мною знанья тайн небесных перекинут мост.

Был провидения дан мне при рожденье дар,
Зодчеству меня премудрый научил Симнар.

Предначертано мне было, чтобы я пришел
И для шаха семь высоких здесь дворцов возвел.

Чтобы семь цветов небесных радуги я взял,
Чтобы дом семи чертогов семицветным стал.

Семь прекрасных жен Бахраму судьбами даны,
Семь красавиц; каждой свойствен цвет ее страны.

Надо, чтоб дворец у каждой ей по цвету был,
Чтобы с цветом сочетался цвет семи светил.

В соответствии с движеньем неба и планет,
За семь дней своих неделя изменяет цвет.

И в согласии с движеньем вечных звезд и дней,
Каждый день пускай приходит шах к жене своей.

Шах ответил: «Я согласен. Эти семь дворцов
Златоверхих ты построишь средь моих садов.

Но и мне в свой срок придется к богу отойти,
Так зачем же здесь заботы лишние нести?

Говоришь, что семь чертогов мне построишь ты,
Что внутри, подобно раю, их устроишь ты?

В тех чертогах поселится только страсть моя,
Ну, а где же буду бога славословить я?

Коль в семи чертогах славить буду божество,
Где же будет храм? Где бога встречу моего?»

Но подумал про себя он: «Заблуждаюсь я,
Маловер, во всюду сущем сомневаюсь я.

Тот, кто землю наполняет и небесный свод,
Слово искренней молитвы всюду он поймет».

И, представ с душой открытой пред лицом творца,
Заложил Шида основу первого дворца.

Семь чертогов он два целых года возводил,
Ежедневно на рассвете на леса всходил.

Да! Поистине — ты скажешь — зодчий был велик!
Семь невиданно прекрасных он дворцов воздвиг.

Был у каждого свой тайный гороскоп, свой цвет.
С честью выполнил строитель данный им обет.

Шах Бахрам, придя, увидел средь своих садов
Семь дворцов, как семь небесных светлых куполов.

Знал он, что достигли слухи отдаленных стран,
Как безжалостно с Симнаром поступил Нуман.

Был Нуман за то сурово всюду осужден,
Что премудрого Симнара смерти предал он.

Чтоб Шида был им доволен, счастлив был весь век,
Шах ему богатый город подарил — Бабек.

Он сказал: «Нуман ошибку тяжкую свершил,
Я судить его не волен,— знал он, что творил».

Не по скупости Нуманом был Симнар убит,
Не по щедрости так щедро и Бахрам дарит.

Таково предначертанье в жизни сей земной,—
Здесь всегда один в убытке, с прибылью — другой.

Этот жаждою томится, гибнет тот в воде,
И награду за Симнара воздают Шиде.

Мудрый ведает: грядущий день от нас закрыт.
Поражен своей судьбою — человек молчит.

ОПИСАНИЕ СЕМИ ДВОРЦОВ

Встало семь дворцов — до неба — в пышных куполах,
Каждый купол был воздвигнут на семи столбах.

Окружил дворцы стеною зодчий. И Бахрам
Поднялся на эту стену, словно к небесам.

Семь дворцов Бахрам увидел, словно семь планет.
В соответствии планетам у дворцов был цвет.

И во всем Шида премудрый дал отличья им
В соответствии великим поясам земным,

Первый купол, что Кейвану зодчий посвятил,
Камнем черным, словно мускус, облицован был.

Тот, который был отмечен знаком Муштари,
Весь сандаловым снаружи был и изнутри.

А дворец, что был Бахрамом красным озарен,
Розовел порфиром, красен был в основе он.

Тот, в котором зодчий знаки Солнца усмотрел,
Ярко-желтым был, как солнце, золотом горел.

Ну, а купол, чьим уделом был венец Зухры,
Мрамором лучился белым, как венец Зухры.

Тот же, чьею был защитой в небе Утарид,
Бирюзой горел, как в небе Утарид горит.

А построенный под знаком молодой луны
Зелен был, как счастье шаха, как наряд весны.

Так воздвиг Шида для шаха славных семь дворцов,
Семь цветных, как семь планетных в мире поясов.

Цвет свой семь пределов мира шаху принесли.
Как хозяйки семь царевен в семь дворцов вошли.

Каждая царевна замок выбрала себе
По ее происхожденью, цвету и судьбе.

Внутреннее все убранство в каждом из дворцов
Свойственных ему оттенков было и цветов.

В те дворцы по дням недели шах Бахрам входил
И с одною из красавиц время проводил.

Он в субботу, в день Кейвана, в черный шел дворец,
Как ему по гороскопу предсказал мудрец.

В воскресенье — желтый замок посещал Бахрам,
И по очереди в каждом пировал Бахрам.

И в каком дворце за чашей ни садился он,
В цвет дворца и цвет планеты был он облачен.

И, полна очарованья, блеска и ума,
Госпожа дворца садилась близ него сама.

Каждая хотела сердце шахское пленить,
Привязать его, халвою шаха накормить.

И они ему, за пиром тайным без гостей,
Рассказали семь волшебных старых повестей.

Хоть воздвиг Бахрам когда-то дивных семь дворцов,
Но не спасся все ж от смерти он в конце концов.

Низами! От сада жизни отведи свой взгляд!
В нем шипами стали розы, и шипы язвят.

Вспомни: в ад поверг Бахрама рай его страстей
В этом царстве двух обманных, мимолетных дней.

Повесть первая. Суббота
ИНДИЙСКАЯ ЦАРЕВНА

Образы семи красавиц сердцем возлюбя,
Шах Бахрам в неволю страсти отдал сам себя.

В башню черную, как мускус, в день субботний он
Устремил стопы к индийской пери на поклон.

И в покое благовонном до ночной поры
Предавался он утехам сладостной игры.

А когда на лучезарный белый шелк дневной
Ночь разбрызгала по-царски мускус черный свой,

Шах у той весны Кашмира сказки попросил —
Ароматной, словно ветер, что им приносил

Пыль росы и сладкий запах от ночных садов,—
Попросил связать преданье из цветущих слов,

Из чудесных приключений, что уста слюной
Наполняют, приклоняют к ложу головой.

Вот на мускусном мешочке узел распустила
Та газель с глазами серны и заговорила:

«Пусть литавры шаха будут в небесах слышны
Выше четырех подпорок золотой луны!

И пока сияет небо, пусть мой шах живет,
Пусть к его ногам покорно каждый припадет.

Пусть не будет праздно счастье шахское сидеть,
Пусть он все возьмет, чем хочет в мире овладеть!»

Рассказала, взор потупя в землю от стыда,
То, о чем никто не слышал в мире никогда.

СКАЗКА

«Мне поведал это родич царственный один,
Величавый старец, в снежной белизне седин:

«Некогда сияла в сонме райского дворца
Гурия с печальным видом нежного лица.

Каждый месяц приходила в замок наш она,
И была ее одежда каждый раз черна.

Мы ее расспрашивали: «Почему, скажи,
В черном ты всегда приходишь? Молим: удружи

И открой, о чем горюешь, слиток серебра?
Черноту твоей печали выбелить пора!

Ты ведь к нам благоволеньем истинным полна;
Молви, почему ты в черном? Почему грустна?»

От расспросов наших долгих получился толк.
Вот что гостья рассказала: «Этот черный шелк

Смысл таит, имеет повесть чудную свою.
Вы узнать ее хотите? Что ж, не утаю,

А от вас расспросов многих я сама ждала.
Я невольницею царской некогда была.

Этот царь был многовластен, справедлив, умен;
В памяти моей живет он — хоть и умер он.

Скорби многие при жизни он преодолел
И одежду в знак печали черную надел.

«Падишах в одежде черной» — в жизни наречен,
Волей вечных звезд на горе был он обречен.

Весел в юности — печальным стал он под конец.
Смолоду он наряжался в золото, в багрец;

И, за ласку и радушье всюду восхвален,
Людям утреннею розой улыбался он.

Замок царский подымался до Плеяд челом.
Это был гостеприимный, всем открытый дом.

Стол всегда готов для пира — постланы ковры.
Гостю поздней или ранней не было поры.

Знатен гость или не знатен, беден иль богат —
Всех равно в покоях царских щедро угостят.

Царь расспрашивал пришельца о его путях,
Где бывал и что изведал он в чужих краях.

Гость рассказывал. И слушал царь его рассказ,
До восхода солнца часто не смыкая глаз.

Так спокойно год за годом мирно протекал.
От закона гостелюбья царь не отступал.

Но однажды повелитель, как Симург, пропал,
Время шло. Никто о шахе ничего не знал.

Горевали мы; в печали влекся день за днем,—
А вестей, как о Симурге, не было о нем.

Но внезапно нам судьбою царь был возвращен;
Словно и не отлучался, снова сел на трон.

Молчалив он был и в черном — с головы до пят.
Были черными — рубаха, шапка и халат.

После этого он правил многие года,
Только в черное зачем-то облачен всегда.

Без несчастья — одеяньем скорби омрачен,
Вечно, как вода живая, в мраке заключен.

С ним была я, и светили мне его лучи...
И однажды — с глазу на глаз — горестно в ночи

Он мне голосом печальным жаловаться стал:
«Посмотри, как свод небесный на меня напал,

Из страны Ирема силой он меня увлек
И навеки в этот черный погрузил поток.

И никто меня не спросит: «Царь мой, где ты был?
Почему седины черной ты чалмой покрыл?»

И, ответ обдумывая к словам его
Молча внемля, прижималась я к ногам его.

Молвила: «О покровитель вдов и горемык...
О властитель справедливый, лучший из владык!

Искушать тебя — что небо топором рубить,—
Кто дерзнет? Один ты волен тайное открыть».

Что достойна я доверья, понял властелин —
Мускусный открыл мешочек, просверлил рубин

И сказал: «Когда я в мире сделался царем,
Возлюбил гостеприимство, всем открыл свой дом.

И у всех, кого я видел,— добрых и дурных,—
Спрашивал о приключеньях, что постигли их.

И пришел однажды ночью некий гость в мой дом,
Были плащ, чалма и туфли — черные на нем.

По обычаю, велел я угостить его.
Угостивши, захотел я расспросить его.

Начал: «Мне, не знающему повести твоей,
Молви,— почему ты в платье — полночи темней?»

Он ответил мне: «Об этом спрашивать забудь.
Никогда к гнезду Симурга не отыщешь путь».

Я сказал: «Не уклоняйся, друг, поведай мне,
Что за чудеса ты видел и в какой стране?»

Отвечал мой гость: «Ты должен, царь, меня простить,
Мне ответа рокового в слово не вместить».

Но, увидев, как встревожен я, как угнетен,
Своего молчанья словно устыдился он.

Вот что он поведал: «Город есть в горах Китая.
Красотой, благоустройством он — подобье рая,

А зовется «Град Смятенных» и «Скорбей Обитель».
В нем лишь черные одежды носит каждый житель.

Люди там красивы; каждый ликом что луна,
Но, как ночь без звезд, одежда каждого черна.

Всякого, кто выпьет в этом городе вина,
В черное навек оденет чуждая страна.

Что же значит одеяний погребальный цвет,—
Не расскажешь, но чудесней дел на свете нет.

И хотя бы ты велел мне голову снести,
Больше не могу ни слова я произнести».

Молвил это и пожитки на осла взвалил,
Двери моего желанья наглухо закрыл.

Проходила предо мною странников чреда.
Всех я спрашивал. Никто мне не открыл следа...

И решил я бросить царство,— хоть бы навсегда!
Родичу вручил кормило власти и суда,

Взял запас одежд и денег я в своей казне,
Чтоб нужда в пути далеком не мешала мне.

И пришел в Китай. И многих встречных вопрошал
О дороге — и увидел то, чего искал.

Город убранный садами, как Ирема дом.
Носит черные одежды каждый житель в нем.

Молока белее тело каждого из них,
Но как бы смола одела каждого из них.

Дом я снял, расположился отдохнуть в пути
И присматривался к людям целый год почти.

Но не встретил я доверья доброго ни в ком,
Губы горожан как будто были под замком.

Наконец сошелся с неким мужем-мясником.
Был он скромен, благороден и красив лицом.

Дружбы с ним ища, за ним я следовал, как тень.
И встречаться с новым другом стал я каждый день.

А как с ним сумел я узы дружбы завязать,
Я решил обманом тайну у него узнать.

Часто я ему подарки ценные дарил,
Языком монет о дружбе звонко говорил.

И мясник, под непрерывным золотым дождем,
Стал к закланию готовым жертвенным тельцом.

Наконец меня однажды он в свой дом привел.
Был там сказочно богатый приготовлен стол.

А когда мы, пир окончив, речи повели,—
Множество подарков ценных слуги принесли.

Счесть нельзя богатств, какие мне он расточил.
Все мои — к своим подаркам присоединил.

Отдав мне дары с поклоном, сел и так сказал:
«Столько, сколько ты сокровищ мне передавал,

Ни одна сокровищница в мире не вмещала!
Я доволен и своею прибылью немалой.

Стану, как ты пожелаешь, я тебе служить.
Жизнь одна во мне, но если смог бы положить

Десять жизней я на чашу тяжкую весов,—
Я не смог бы перевесить данных мне даров!

Слушай же — отныне буду я твоим рабом,
Иль свои дары обратно унеси в свой дом».

И когда я убедился в дружбе мясника,
Увидал, что бескорыстна дружба и крепка,—

Я ему свою поведал горестную повесть,
Ничего не скрыв, поведал, как велела совесть.

А когда мясник почтенный выслушал меня,
Стал овцой. Овцой от волка, волком от огня —

Он шарахнулся, и, словно сердце потерял,
Словно чем-то пораженный, долго он молчал.

И промолвил: «Не о добром ты спросил сейчас.
Но ответ на все должник твой нынче ж ночью даст».

И когда под амброй ночи скрылась камфора
И к покою обратились люди до утра,

Мой хозяин молвил: «Встанем, милый гость, пора,
Чтоб увидеть все, что видеть ты хотел вчера.

Встань! Неволей в этот день я послужу тебе,
Небывалое виденье покажу тебе!»

Молвив так, со мною вышел из дому мясник,
Вел меня средь сонных улиц, словно проводник.

Шел он, я же — чужестранец — позади него.
Двое было нас. Из смертных с нами — никого.

Вел меня он, как безмолвный некий властелин.
За город привел, в пределы сумрачных руин.

Ввел в пролом меня, где тени, как смола, черны,
Словно пери, скрылись оба мы в тени стены.

Там увидел я корзину. И привязан был
К ней канат. Мясник корзину эту притащил

И сказал: «На миг единый сядь в нее смелей.
Между небом и землею будешь поднят в ней.

Сам узнаешь и увидишь: почему, в молчанье
Погруженные, мы носим ночи одеянья.

Несказанная корзине этой власть дана,
Сокровенное откроет лишь она одна».

Веря: искренностью дружбы речь его полна,
Сел в корзину я. О — чудо! Чуть ногами дна

Я коснулся — словно птица поднялась она,
Понеслась корзина, словно вихрем взметена,

И в вертящееся небо повлекло меня.
Чары обняли корзину поясом огня.

До луны вздымавшаяся башня там была.
Сила чар меня на кровлю башни подняла.

В узел, черною змеею, свился мой канат.
Брошен другом, там стоял я, ужасом объят.

Я стонал, об избавленье господа моля.
Сверху небо — и во мраке подо мной земля.

Высоко на кровле башни, в страхе чуть дыша,
Я сидел. От этой казни в пуп ушла душа.

Было страшно мне на небо близкое взглянуть,
А глядеть на землю с неба как я мог дерзнуть?

И от ужаса невольно я глаза закрыл,
И покорно темным силам жизнь свою вручил,

И раскаивался горько я в своей вине.
Горевал я об отцовском доме и родне...

Не было от покаянья радостнее мне.
Полный горьких сожалений, я горел в огне.

Надо мною проплывало время, как во сне,
Вдруг примчалась птица с неба, села на стене,

Где один я плакал в горе. Села, как гора,
Велика, страшна, громадна,— черного пера.

Хвост и крылья, как чинары — густы и тенисты.
Лапы, как стволы деревьев, толсты и когтисты.

Как колонна Бисутуна — клюв ее велик,
Как дракон в пещере — в клюве выгнулся язык.

И чесалась эта птица, перья отряхала,
Расправляла хвост и шумно крыльями махала.

И когда она подкрылье черное чесала,—
Раковину с перлом алым на землю бросала,

Пыли мускусной вздымала облако до звезд
Каждый раз, как расправляла крылья или хвост.

Вскоре птица погрузилась надо мною в сон,
И в ее пуху дремучем был я схоронен.

Думал: «Коль за птичью ногу крепко ухвачусь,
С помощью ужасной птицы наземь я спущусь,

Пусть внизу беду любую для себя найду...
Силой же своей отсюда вовсе не сойду.

Злобный человек со мною подло поступил,
Предал мукам, клятву дружбы низко преступил.

Или он моим богатством завладеть желал —
И затем меня на гибель верную послал?..»

Так томился я, покамест не зардела высь.
Смутно голоса земные снизу донеслись.

Сердце птицы застучало бурно надо мной.
Птица крыльями всплескала бурно надо мной.

Крылья шире корабельных поднятых ветрил.
Встал я, лапу страшной птицы крепко обхватил.

А она поджала лапы, крылья развела
И, как буря, сына праха к солнцу понесла.

И меня с утра до полдня птица та носила.
Солнце гневно жгло. От зноя я лишился силы.

Вдруг — увидел: небо стало надо мной вращаться;
То — огромными кругами начала спускаться

Птица на землю. Земная тень ее влекла:
И когда копья не выше высота была,

Возблагодарил я птицу: «Ну, спасибо, друг».
И ее кривую лапу выпустил из рук.

Словно молния, упал я на цветущий луг,—
Весь в росе благоуханной, он блестел вокруг.

Добрый час, смежив зеницы, я в траве лежал.
Где я, что со мною будет, я тогда не знал.

В сердце у меня тревога улеглась не вдруг,
Наконец открыл я веки, поглядел вокруг.

Цвета бирюзы небесной почва там была.
Пыль земная на густую зелень не легла.

Сотня тысяч разновидных там цветов цвела.
Зелень листьев бодрствовала, а вода спала.

Тысячами ярких красок взоры луг пленял.
Ветер, полный благовоний, чувства опьянял.

Гиацинт петлей аркана брал гвоздику в плен,
Юной розы рот багряный прикусил ясмен.

И язык у аргавана отняла земля,
Амброю благоуханной там была земля.

По долине той струился голубой поток,
А на дне ручья лучился золотой песок.

У его кристально-светлых и холодных вод
Блеска, словно подаянья, клянчил небосвод.

А в ручье играли рыбы ярче серебра.
Берега как два огромных сказочных ковра.

Изумрудные предгорья в полукруг сошлись.
Лес в предгорьях — дуб индийский, кедр и кипарис.

Там утесы были чистым яхонтом, опалом.
Дерева горели цветом золотым и алым.

Сквозь кустарники алоэ пахнущий сандалом
Ветер веял по долине и окрестным скалам.

Чащей шел я; чуя голод, рвал плоды и ел.
Отдохнуть под кипарисом свежим захотел.

Лег, уснул, тревог не зная и докучных дел,
Небеса благословляя за такой удел.

Только полночь погрузила землю в синь и тьму
И, убрав багрец, на тучи нанесла сурьму,

Мне в лицо пахнул отрадно с горной вышины
Легковейный и прохладный ветерок весны.

Пронеслась гроза, апрельской свежестью полна,
Быстрым дождиком долину взбрызнула она.

Напоился дол широкий свежестью ночной
И наполнился красавиц молодых толпой.

Прелестью была любая гурии равна,
Шли они передо мною, как виденья сна.

Будто чудом породила ночи глубина
Мир красавиц светозарных, свежих, как весна,

Золотых запястий змеи на руках у них.
Перлы крупные на шее и в серьгах у них.

А в руках красавиц свечи яркие горят;
Хоть нагара не снимают,— свечи не коптят.

Стана гибкостью любая в плен брала мой взгляд,
Обещая и скрывая тысячи услад.

На траву ковер постлали, водрузили трон.
Ждал я, что же будет дале,— словно видел сон.

Только время миновало малое с тех пор,
Нечто ярко засияло, ослепляя взор.

Будто бы луна спустилась наземь с высоты,
Легким шагом приминая травы и цветы.

То владычица красавиц — не луна была.
Эти пери лугом были, а она была

Кипарисом среди луга и над их толпой,
Словно роза, возвышалась гордой головой.

Вот воссела, как невеста, госпожа на трон,
Спал весь мир, а только села — мир был пробужден.

Еле складки покрывала совлекла с лица —
Некий падишах, казалось, вышел из дворца,

Белое румийцев войско впереди него,
Черное индийцев войско позади него.

А когда одно мгновенье, два ли миновало,
Девушке, вблизи стоявшей, госпожа сказала:

«Я присутствие чужое ощущаю здесь.
Чую — существо земное между нами есть.

Встань скорее и долину нашу обойди
И, кого ни повстречаешь,— всех ко мне веди».

Та, рожденная от пери, мигом поднялась,
Словно пери над долиной темной понеслась.

Изумясь, остановилась, лишь меня нашла,
За руку меня с улыбкой ласково взяла

И сказала: «Встань скорее, полетим, как дым!»
Ждал я этих слов, ни слова не прибавил к ним.

Как ворона за павлином, я за ней летел,
Перед троном на колени встать я захотел.

Стал я в самом нижнем круге средь подруг ее.
Молвила она: «Ты место занял не свое.

Не к лицу тебе, я вижу, выглядеть рабом;
Место гостя — не в скорлупке, а в зерне самом.

Подымись на возвышенье, рядом сядь со мной.
Ведь приятно и Плеядам плыть перед луной».

Я ответил: «О царица из страны зари,
Своему рабу подобных притч не говори!

Трон Балкис ему не место, это знает он.
Только Сулейман достоин занимать твой трон».

Молвила: «Здесь ты хозяин. Подойди и сядь.
Станешь ты у нас отныне всем повелевать.

Буду властна над тобою только я одна.
Сокровенное открою только я одна.

Ты мой гость, а мой обычай — почитать гостей».
Понял я, что мне осталось покориться ей.

Стол для пира повелела госпожа принесть.
Принесли нам стол служанки,— яств на нем не счесть.

Чаши были — цельный яхонт, стол же — бирюза.
Вызывал он вожделенье, радовал глаза.

А когда я сладкой пищей голод утолил
И напитком благовонным сердца жар залил,—

Появились музыканты, кравчие ушли.
И неведомое бедным жителям земли

Счастье, думал я, доступно, близко стало мне...
Нежно песня дев хвалою зазвучала мне.

Струны руда зазвенели, бубен забряцал.
Вихрь веселой многоцветной пляски засверкал.

Не касаясь луга, несся легкий круг подруг.
Будто ввысь их поднимали крылья белых рук.

А потом — поодаль сели девы пировать.
Кравчие не успевали чаши наполнять.

От вина и сильной страсти обезумел я.
Мне казалось — закипела в жилах кровь моя.

К госпоже сахароустой руки я простер,
У нее живым согласьем засветился взор.

Начал я у девы милой ноги целовать,
Возразит — я с большей силой стану обнимать.

Уж надежды птица пела мне из тьмы ветвей,
Если б двести душ имел я,— все бы отдал ей.

«О скажи, услада сердца,— я молил ее,—
Кто ты, сладостная? Имя назови свое!»

«Я тюрчанка с нежным телом,— молвила она.—
Нежною Тюркназ за это в мире названа».

Молвил я: «Как дивно сходны наши имена!..
Звуком имени со мною ты породнена.

Ты — Тюркназ, что значит — Нежность. Я — Набег — Тюрктаз.
Я молю тебя: немедля нападем сейчас

На несметных дивов горя — их огнем сожжем,
Утолим сердец томленье колдовским вином!

Все забудем... Обратимся к радости любви...
И душою погрузимся в радости любви!»

Я прочел в ее улыбке и в игре очей:
«Видишь — счастие судьбою занялось твоей!..

Видишь, час благоприятен... Нет вокруг людей...
Снисходительна подруга — так целуй смелей!»

Предо мною дверь лобзаний дева отперла —
Тысячу мне поцелуев огненных дала.

Вспыхнул я от поцелуев, словно от вина.
Шум моей кипящей крови слышала луна.

«Нынче — только поцелуи,— молвила она,—
Взявши в руку эту чашу, пей не вдруг до дна.

И пока еще ты можешь сдерживать желанья —
Кудри гладь, кусай мне губы, похищай лобзанья.

Но когда твой ум затмится страстью до того,
Что узды уже не будет слушать естество,—

Из толпы прислужниц,— в коей каждая девица,
Словно над любовной ночью вставшая денница,—

Ту, какую б ты ни выбрал, я освобожу,
И служить твоим желаньям тут же прикажу,

Чтоб она в шатре укромном другу моему
Предалась, была невестой и слугой ему.

Чтобы притушила ярость твоего огня,
Но — чтобы в ручье осталась влага для меня.

Каждый вечер, только с неба сгонит мрак зарю,
Я тебе один из этих перлов подарю».

Молвив так, толпу прислужниц взором обвела.
Ту, которую для ласки годною сочла,

Мановеньем чуть заметным к трону позвала
И ее, с улыбкой нежной, мне передала.

И луна, подаренная мне, меня взяла
За руку и в сумрачную чащу увела.

Был пленен я родинкою, стал рабом кудрей.
Под навесом листьев шел я, как во сне, за ней.

И меня в шатер богатый привела она.
Я поладил с ней, как с нижней верхняя струна.

Там постель была роскошно раньше постлана,
Легким шелком и коврами ярко убрана.

И затылками подушки ложа смяли мы.
Целовались и друг друга обнимали мы.

Отыскал я роз охапку между ивняков,
Потонул в охапке белых, алых лепестков.

Редкий жемчуг, сокровенный в раковине был,
Я жемчужницы бесценной створки отворил.

И ласкал свою подругу до дневной поры
В ложе, амброю дышавшем, полном камфоры.

Встал я из ее объятий при сиянье дня.
Приготовила проворно дева для меня

Чистый водоем, сиявший яхонтовым дном.
И водой благоуханной я омылся в нем.

Знойный полдень был, когда я вышел из шатра.
Гурии, что пировали на лугу вчера,

Все исчезли. Я остался там у родника
Одинокий — наподобье желтого цветка.

Наступает вторая ночь. Повторяется все то, что произошло в первую. Тюркназ снова отказывает царю. Страсть его возрастает. Наступает третья, четвертая, наконец, тридцатая ночь. Царь, «обладая блаженством, ищет большего». Его снова приводят к Тюркназ.

Дивы похоти с каната снова сорвались,
Бесноватого канатом связывать взялись.

В паутине кос тяжелых мухой я застрял,
В эту ночь канатоходцем я невольно стал.

Как осел, я бесновался, видящий ячмень,
Или — словно одержимый в новолунья день.

И, как вор сребролюбивый пред чужим добром,
Весь дрожа, я потянулся вновь за серебром.

Обнял стан ее. Ослаб я. Так мне тяжко было.
Руку на руку тогда мне дева положила.

Руку эта зависть гурий мне поцеловала,
Чтоб убрал от клада руку. И, смеясь, сказала:

«Не тянись к запретной двери, ибо коротка,
Чтоб ее достать, любая длинная рука.

Вход в рудник закрыт печатью, и печать крепка,
И нельзя сорвать печати с двери рудника.

Пальмою ты обладаешь — так терпи, крепись,
Фиников незрелых с пальмы рвать не торопись.

Пей вино и знай, жаркое скоро вслед придет.
На зарю гляди, за нею солнца свет придет».

Я ответил ей: «О солнце сада моего,
Свет очей моих, услада взгляда моего!

У меня душа, ты видишь, подошла к губам.
Жарче поцелуй!.. Не надо слов холодных нам.

Как мне быть, коль вьюк с верблюда моего упал?
Помоги, избавь от муки, ибо час настал.

Скоро волк свирепых высей — хищный небосвод —
И по-волчьи и по-лисьи нападать начнет.

Словно лев голодный, прянет прямо на меня.
И повергнет ниц, как пардус пламенный, меня.

Если дверь не отопрешь мне нынче, знай, к утру
От томления и муки жгучей я умру.

Как цари и падишахи к гостю снизошли б,
Снизойди к моим моленьям, ибо я погиб!..

Изнемог я... И терпенья у меня не стало!»
«Руку удержи... Все будет...— госпожа сказала,—

Увенчать твое желанье — в том моя судьба.
Ибо ты — мой повелитель, я — твоя раба.

Бедный дар такому гостю будет ли хорош?
Все же — то, что ищешь ныне, позже обретешь.

У меня бери сегодня все, что сердцу любо:
Щеки, грудь и губы,— кроме одного, что грубо.

Кроме перла одного лишь — всей моей владей
Кладовой. И помни: ждет нас тысяча ночей,

Полных счастья. Но коль сердце пышет от вина,
Дам тебе служанку, словно полная луна,

Но чтоб нынче ты подол мой выпустил из рук».
Я, не разумея смысла, слышал только звук

Сладкой речи. Сам себе я говорил: «Не тронь!»
Но железо было остро и горяч огонь.

Молвил я: «Ты, струны тронув, их лишила лада,
Тысячи погибли с горя, не нашедши клада.

Слышишь? Кровь во мне бушует... Так поторопись
С казнью, чтоб палач скорее оборвал мне жизнь!»

Тут — как мне кипенье крови и безумья пыл
Повелели — на цветок я натиск совершил.

Страсть мою, что пламенела, не утолена,
Страсть мою меня молила удержать она.

И она клялась мне: «Скоро будет все твое.
Завтра ночью ты желанье утолишь свое.

Потерпи одни лишь сутки. Завтра — говорю —
Дверь к сокровищу сама я завтра отворю.

Ночь одну лишь дай мне сроку! Быстро ночь пройдет.
Ведь одна лишь ночь — подумай: только ночь, не год!»

Так она мне говорила. Я же, как слепой
Иль как бешеный, вцепился в пояс ей рукой,

И во мне от просьб желанной девы возросло
Во сто раз желаний пламя. До того дошло,

Что рванул я и ослабил пояс у нее.
А царица, нетерпенье увидав мое,

Мне сказала: «На мгновенье ты глаза закрой.
Отомкну сейчас сама я двери кладовой.

Отомкнув перед тобою дверь, скажу: «Открой...»
И тогда, что пожелаешь, делай ты со мной».

Я на сладкую уловку сразу пойман был,
Выпустил из рук царицу и глаза прикрыл.

И — доверчиво — ей сразу дал я миг, другой.
И когда услышал слово тихое: «Открой...» —

Я, с надеждою на деву бросив быстрый взгляд,
Увидал: пустырь, корзину и над ней канат.

А перед моей корзиной друг мясник предстал.
Заключил меня в объятья, извиняться стал.

«Если бы сто лет твердил я,— мне мясник сказал,—
Ты б не верил, если б это сам не испытал.

Тайное ты нынче видел,— что нельзя узнать
Иначе. Кому ж об этом можно рассказать?»

И, палимый сожаленьем горьким, я вскипел,
В знак тоски и утесненья черное надел.

Пребывающим в печали черной и в молчанье —
Черное лишь подобает это одеянье.

Шелк на голову набросив черный, словно ночь,
Я из града вечной скорби ночью вышел прочь.

С черным сердцем появился я в родном дому.
Царь я — в черном. Тучей черной плачу потому!

И скорблю, что из-за грубой похоти навек
Потерял я все, чем смутно грезит человек!»

И когда мой шах мне повесть эту рассказал,—
Я — его раба — избрала то, что он избрал.

В мрак ушла я с Искендером за живой водой!..
Ярче месяц — осененный неба чернотой.

И над царским троном черный должен быть покров.
Ибо цвет прекрасен черный — лучший из цветов.

Рыбья кость бела, но скрыта. Спины рыб черны.
Кудри черные и брови юности даны.

Чернотой прекрасны очи и осветлены.
Мускус — чем черней, тем большей стоит он цены.

Коль шелка небесной ночи не были б черны,—
Их бы разве постилали в колыбель луны?

Каждый из семи престолов свой имеет цвет,
Но средь них сильнейший — черный. Выше цвета нет».

Так индийская царевна в предрассветный час
Пред царем Бахрамом дивный кончила рассказ.

Похвалил красу Кашмира шах за сказку-диво,
Обнял стан ее и рядом с ней заснул счастливый.

Повесть вторая. Воскресенье

ТУРКЕСТАНСКАЯ ЦАРЕВНА

В час, когда нагорий ворот и пола степей
Позлатились ярким блеском солнечных лучей,

В воскресенье, словно солнце поутру, Бахрам
В золотое одеянье облачился сам.

И, подобен солнцу утра красотой лица,
Он вошел под свод высокий желтого дворца.

Сердце в радости беспечной там он утопил,
Внемля пенью, из фиала золотого пил.

А когда померк лучистый тот воскресный день
И в покое брачном шаха воцарилась тень,

Шах светильнику Китая нежному сказал,
Чтоб она с прекрасным словом свой сдружила лал.

Попросил звезду Турана повесть рассказать
Сказочную,— дню, светилу и дворцу под стать.

Просьбу высказав, он просьбы исполненья ждал,
Извинений и уверток шах не принимал.

И сказала дочь хакана Чина — Ягманаз:
«О мой шах, тебе подвластны Рум, Туран, Тараз.

Ты владык земли встречаешь пред дворцом твоим,
И цари хвалу возносят пред лицом твоим.

Кто тебе не подчинится дерзостной душой,
Под ноги слону да будет брошен головой».

И рассказ царевны Чина зазвучал пред ним;
Он струился, как кадильниц благовонный дым.

СКАЗКА

«В неком городе иракском, я слыхала, встарь
Жил и правил добрый сердцем, справедливый царь.

Словно солнце, благодатен был и ясен он,
Как весна порой новруза, был прекрасен он.

Всякой доблестью в избытке был он наделен,
Светлым разумом и знаньем был он одарен.

Хоть, казалось, от рожденья он счастливым был,
В одиночестве печальном жизнь он проводил.

В гороскопе, что составил для него мобед,
Он прочел: «Тебе от женщин угрожает вред».

Потому и не женился он, чтоб не попасть
В бедствие, чтоб не постигла жизнь его напасть.

Так вот, женщин избегая, этот властелин
Во дворце и дни и ночи проводил один.

Но владыке жизнь такая стала докучать,
По неведомой подруге начал он скучать.

Несколько красавиц юных он решил купить.
Только не могли рабыни шаху угодить.

Он одну, другую, третью удалить велел.
Ибо все переходили данный им предел.

Каждая хотела зваться — «госпожа», «хатун».
Жаждала богатств, какими лишь владел Карун.

В доме у царя горбунья старая жила,
Жадной, хитрой, словно ведьма, бабка та была.

Стоило царю рабыню новую купить,
Как старуха той рабыне начинала льстить.

Начинала «госпожою Рума» называть,
Принималась о подачке низко умолять.

И была любая лестью той обольщена,
И царю невыносимой делалась она.

А ведь в мире этом речи льстивые друзей
Многим голову кружили лживостью своей.

Лживый друг такой — в осаде, не в прямом бою,
Как баллиста, дом разрушит и семью твою.

Шах иракский, хоть и много разных он купил
Женщин, но средь них достойной все не находил.

На которую свой перстень он ни надевал,
Видя: снова недостойна,— снова продавал.

С огорченьем удаляя с глаз своих рабынь.
Шах прославился продажей молодых рабынь.

Хоть кругом не уставали шаха осуждать,
Не могли его загадки люди разгадать.

Но в покупке и продаже царь, от мук своих
Утомившись, утешенья сердцу не достиг.

Он, по воле звезд, супругу в дом ввести не мог,
И рабыню, как подругу, в дом ввести не мог.

Провинившихся, хоть в малом, прочь он отсылал,
Добродетельной рабыни, скромной он искал.

В этом городе в ту пору торг богатый был,
И один работорговец шаху сообщил:

«От кумирен древних Чина прибыл к нам купец
С тысячей прекрасных гурий, с тысячей сердец.

Перешел он через горы и пески пустынь,
Вывез тысячу китайских девственных рабынь.

Каждая из них улыбкой день затмит, смеясь,
Каждая любовь дарует, зажигает страсть.

Есть одна средь них... И если землю обойти,
Ей, пожалуй, в целом мире равных не найти.

С жемчугом в ушах; как жемчуг, не просверлена.
Продавец сказал: «Дороже мне души она!»

Губы как коралл. Но вкраплен жемчуг в тот коралл.
На ответ горька, но сладок смех ее бывал.

Необычная дана ей небом красота.
Белый сахар рассыпают нежные уста.

Хоть ее уста и сахар сладостью дарят,
Видящие этот сахар втайне лишь скорбят.

Я рабынями торгую, к делу приучен,
Но такою красотою сам я поражен.

С веткой миндаля цветущей схожая — она
Верная тебе рабыня будет и жена!»

«Покажи мне всех, пожалуй,— шах повеселел,—
Чтобы я сегодня утром сам их посмотрел!»

Тот пошел, рабынь привел он. Быстро шах пришел,
Долгий с тем работорговцем разговор повел.

Оглядел рабынь. Любая как луна была,
Но из тысячи — прекрасней всех одна была.

Хороша. Земных красавиц солнце и венец,—
Лучше, чем ее бывалый описал купец.

Шах сказал торговцу: «Ладно! Я сойдусь с тобой!
Но скажи мне — у рабыни этой нрав какой?

Знай, купец, когда по нраву будет мне она,
И тебе двойная будет выдана цена...»

Отвечал купец китайский шаху: «Видишь сам —
Хороша она, разумна, речь ее — бальзам.

Но у ней — дурная, нет ли — есть черта одна:
Домогательств не выносит никаких она.

Видишь: китаянка эта дивно хороша,
Истинно она, скажу я, во плоти душа.

Но откроюсь я: доныне, кто б ни брал ее,
Вскоре — неприкосновенной — возвращал се.

Кто б ее ни домогался, шах мой, до сих пор,
Непреклонная, давала всем она отпор.

Коль ее к любви хотели силою склонить,
На себя она грозила руки наложить.

Нрав несносный у рабыни, прямо я скажу,
Да и сам, о шах, придирчив ты, как я гляжу.

Если так ты непокладист нравом, то навряд
С ней дела пойдут, о шах мой, у тебя на лад.

Если ты ее и купишь и к себе возьмешь,
То, поверь, ко мне обратно завтра отошлешь.

Прямо говорю — ты эту лучше не бери,
Из моих рабынь другую лучше присмотри.

Если выберешь согласно нраву своему,
То с тебя и за покупку денег не возьму».

Шах всю тысячу красавиц вновь пересмотрел,
Ни одной из них по сердцу выбрать не сумел.

Вновь он к первой возвратился. В сердце шаха к ней
С каждым взглядом страсть живая делалась сильней.

Полюбил ее, решил он в дом рабыню взять,
Хоть не знал еще, как в нарды будет с ней играть.

Раз увидев, не хотел он расставаться с ней.
Ласково решил он мягко обращаться с ней.

Он свою предосторожность в сердце усыпил,
В нем любовь возобладала, деву он купил.

И велел он казначею заплатить скорей
Серебром за ту, чьи ноги серебра белей.

Чтоб убить змею желанья, взял рабыню он,
Но ему разлуки с нею угрожал дракон.

Периликая, в гареме шахском поселясь,
Как цветок на новой почве в доме прижилась.

Как бутон, она раскрылась — в ярких лепестках,
Но ни в чем ее влюбленный не неволил шах.

И, в домашние заботы вся погружена,
Исполнительной хозяйкой сделалась она.

Все она в своих покоях двери заперла,
Только дверь одна — для шаха — отперта была.

Хоть вознес ее высоко шах, как кипарис,
Но она, как тень, клонилась головою вниз.

И явилась та горбунья и взялась ей льстить,
Чтоб согнуть тростник высокий и ее сгубить.

Что ж рабыня? Волю гневу тут дала она;
Разбранив в сердцах, старуху прогнала она.

«Я невольница простая, не царица я,
Быть не госпожой, служанкой доля здесь моя!»

Падишах, когда все это дело разобрал,
Понял все он и старуху из дому прогнал.

А к невольнице такая страсть горела в нем,
Что своей рабыни вскоре сам он стал рабом.

И, прекрасную тюрчанку сильно полюбя,
Он любви не домогался, сдерживал себя.

Хоть в ту пору, несомненно, и сама она
Уж была, должно быть, втайне в шаха влюблена.

С нею был в опочивальне как-то ночью шах,
Завернувшись в шелк китайский, кутаясь в мехах.

Окружил ее — как крепость, скажешь, ров с водой,
Страстью изнывал влюбленный рядом молодой.

И не менее, чем в шахе, страсть пылала в ней.
И, открыв уста, с любовью так сказал он ей:

«О трепещущая пальма в шелесте ветвей,
О живое око сердца и душа очей!

Кипарис перед тобою крив,— так ты стройна!
Как отверстие кувшина пред тобой луна!

Знаешь ты сама — тобою я одной дышу...
На вопрос мой дать правдивый я ответ прошу.

Если от тебя услышу только правду я,
То, как стан твой, распрямится и судьба моя».

Чтоб ее расположенье разбудить верней,
Розы свежие и сахар стал он сыпать ей.

И такую рассказал он притчу: «Как-то раз
О Балкис и Сулеймане слышал я рассказ.

Радостью их и печалью сын прелестный был,
Только не владел руками он и не ходил.

Молвила Балкис однажды: «О любимый мой,
Посмотри — здоровы телом оба мы с тобой.

Почему же сын наш болен? Силы рук и ног
Он лишен! За что так горько покарал нас бог?

Надо средство исцеленья для него открыть.
Ты премудр, и ты сумеешь сына исцелить.

И когда придет от бога Джабраил к тебе,
Расскажи ему о нашей бедственной судьбе.

А когда от нас на небо вновь он улетит,
Пусть в «Скрижаль запоминанья» там он поглядит:

Есть ли средство исцеленья сына твоего?
Пусть он скажет: что за средство? Где достать его?

Может быть, наш сын любимый будет исцелен,
Может — жар моей печали будет утолен!»

Сулейман с ней согласился и поклялся ей
Все исполнить. Джабраила ждал он много дней.

И когда к нему спустился с неба Джабраил,
Он его об исцеленье сына попросил.

Скрылся ангел и вернулся вскоре в дом его,
От кого же? Да от бога прямо самого.

Джабраил сказал: «Два средства исцеленья есть —
Редкие, но под рукою оба средства здесь,—

Это — чтобы, сидя рядом со своей женой,
Был ты с ней во всем правдивым, а она с тобой.

Коль правдивыми друг с другом сможете вы быть,
Вы сумеете мгновенно сына исцелить».

Встал тут Сулейман поспешно и Балкис позвал,
Что от ангела он слышал, ей пересказал.

Радовалась несказанно тем словам Балкис
И что средства исцеленья сыну их нашлись.

Молвила: «Душа открыта пред тобой моя!
Что ни спросишь ты, отвечу только правду я!»

Сулейман — вселенной светоч — у нее спросил:
«Образ твой желанья будит, всем очам он мил.

Но скажи мне, ты желала только ли меня
Всей душой и сердцем, полным страстного огня?»

И ответила царица: «Верь душе моей:
В мире ты источник света! Кто тебя светлей?

Но хоть молод и прекрасен ты и мной любим,
Хоть никто с тобой в подлунном мире несравним,

Хоть красив ты, добр и нежен, повелитель наш,
Хоть велик и лучезарен, словно райский страж,

Хоть над явным всем и тайным назван ты главой
И хоть властен над вселенной дивный перстень твой,

Хоть прекрасен ты, как солнце яркое в лучах,
Хоть счастливый ты владыка и вселенной шах,

Но коль юношу-красавца вижу — то не лгу:
Побороть своих желаний все ж я не могу!»

И едва лишь прозвучало слово тайны сей,
Сын ее безрукий с ложа руки поднял к ней.

«Мать! Руками я владею! — громко крикнул он.—
Исцелен я и от чуждой помощи спасен!»

Потрясенная смотрела пери на него,
Исцелившегося видя сына своего.

И сказала: «О владыка духов и людей,
Ты всех доблестней, всех выше в мудрости своей!

Ты открой мне тайну, сына нашего любя!
Ноги исцелить — зависит ныне от тебя.

На единственный вопрос мой дай ты мне ответ:
Счета нет твоим богатствам и числа им нет.

Горы золота собрал ты, перлов, серебра,
Молви: втайне ты чужого не хотел добра?»

И пророк творца вселенной так ответил ей:
«Да, богат я, всех богаче я земных царей.

И сокровища от Рыбы все и до Луны
Под моей лежат печатью в тайниках казны.

Здесь меня богатством щедро вечный одарил,
Но и все же, кто б с поклоном в дом мой ни входил,

На руки ему смотрю я: с чем, мол, он идет?
И хороший ли подарок мне, царю, несет?»

Только Сулейман великий те слова сказал,
Сын пошевелил ногами, поднялся и встал.

Он сказал: «Отец! Взгляни-ка, вот я стал ходить!
Ты меня сумел, премудрый, словом исцелить!»

«Если сам посланник бога,— деве шах сказал,—
Сухоруких и безногих дивно исцелял,

То правдивыми, конечно, нам не стыдно быть
И стрелу в добычу прямо с тетивы спустить.

О единственная в мире, о моя луна,
Я люблю тебя, но что же так ты холодна?

Я страдаю и тоскую, мукой я горю,
На тебя в томленье сердца издали смотрю.

Ты прекрасна несравненной, дивной красотой!..
Почему же так сурова и жестка со мной?»

И красавица владыке своему вняла,
И ответа лучше правды чистой не нашла.

«Это все,— она сказала,— не моя вина!
А у нас в роду, к несчастью, есть черта одна:

Мать, и бабка, и прабабка у меня, о шах,
Все, едва лишь выйдя замуж, умерли в родах.

Знать, на нас на всех проклятье — в браке умирать,
Потому — мужчине сердце я боюсь отдать.

Не хочу я, мой владыка,— я не утаю,—
Ради радостей мгновенных жизнь губить свою.

Жизнь дороже мне. И лучше мне безмужней жить,
Чем испить отраву страсти и себя сгубить.

Не любви, о шах, я жажду — жизни жажду я!
Вот тебе и явной стала тайна вся моя.

Крышку с тайны сняв, как хочешь, так и поступай,
У себя оставь, коль хочешь, а не то продай.

Вот, о царь, я все сказала, правду возлюбя,
Я не спрятала, не скрыла тайны от тебя.

Я надеюсь, шах вселенной, что и ты теперь
Предо мной своей загадки приоткроешь дверь:

Почему рабынь прекрасных падишах берет
В дом к себе — и их меняет чуть не сотню в год?

И недели не живет он ни с одной из них,
И души не отдает он ни одной из них?

Приголубит и приблизит к своему лучу,
А потом ее поспешно гасит, как свечу?

До небес сперва возносит, холит и дарит,
И с презрением отбросит, и не поглядит?»

Шах ответил: «Путь возвратный открывал я им,
Так как не был ни одною искренне любим.

Поначалу все бывали очень хороши;
А потом — куда девалась доброта души?..

В царском доме, как царицы, привыкали жить.
Мне они переставали преданно служить.

Ведать меру должен каждый, кто душой не слеп,
Не для всякого желудка годен чистый хлеб.

Нет, железный лишь желудок может совладать
И с несвойственною пищей, чтоб не пострадать.

Если к женщине мужчина страстью ослеплен,
Много ей недостающих свойств припишет он.

Но ведь женщина — былинка, ветер мчит ее,—
Как же сердцем положиться можно на нее?

Если золото увидит, то — в конце концов —
Голову она склоняет чашею весов.

Скажем: жемчугом незрелый полон был гранат,
А когда созрел он — зерна лалами горят.

Женщина, что виноградник,— нежно зелена,
Недозрев; когда ж созрела, то лицом черна.

Наполняет ночь сияньем яркий блеск луны,
И в достоинстве мужчины чистота жены.

Все рабыни, что бывали здесь перед тобой,
Были заняты всецело только лишь собой.

Мне из всех из них служила только ты одна,
Вижу — истинным усердьем ты ко мне полна.

Хоть любви твоей лишен я, все же я не лгу,—
Без тебя теперь спокойно жить я не могу».

Много шах своей рабыне слов таких сказал,
Но к желаемому ближе ни на пядь не стал.

От него она, как прежде, далека была.
Как и прежде, не попала в цель его стрела.

И под бременем печали этот властелин
Шел по каменистым скалам день за днем один.

Рядом был родник желанный, жаждой он горел
Нестерпимой. Проходило время, он терпел.

Та горбунья, что когда-то во дворце жила
И которую рабыня в гневе прогнала,

Услыхала, что несчастье дома терпит шах,
Что пред собственной рабыней он склонен во прах,

Что лишился, околдован, сил могучий муж,
И сказала: «Ну, старуха! Мудрость обнаружь!

Не пора ли на гордячку чары навести
И заставить эту пери в дивий пляс пойти?

Я-то в паланкине солнца живо брешь пробью!
Не гордись, луна! Разрушу крепость я твою,

Чтобы мною не гнушались, чтоб ничья стрела
Угодить в мою кривую спину не могла!»

Весь свой ум пустила бабка в ход и наконец
Умудрилась и проникла к шаху во дворец.

Чтобы пал и посрамился гордый тот кумир,
К хитрости она прибегла древней, словно мир.

Шаху молвила: «Неужто с молодым конем
Ты не сладишь, чтоб ходил он под твоим седлом?

Ты послушайся старуху: два-три дня пред ней
Ты оседлывай бывалых под седлом коней.

Иль тебе не приходилось самому, видать,
Норовистого трехлетка в табуне хватать?»

И попался шах на хитрость, и подумал: «Что ж,
Из такой колодки будет и кирпич хорош!..»

Вскоре новая явилась дева во дворце —
Огнеокая, с улыбкой милой на лице.

Хороша она, учтива и ловка была,
Нравом добрая, живая, всем она взяла.

В доме живо осмелела, осмотрясь, она,
И игрой азартной с шахом занялась она.

Сам хозяин ставить нарды стал проворно ей
И проигрывать все игры стал притворно ей.

С первой девою, как прежде, дни он проводил,
Со второй — в опочивальню на ночь уходил.

Целый день бывал с одною, ночь бывал с другой.
Нежен был с одной, желанья утолял с другой.

Оттого, что со второю уходил он спать,
Стала первая пожаром ревности пылать.

И хоть шаха ревновала все сильней она
Омрачилась, как за тучей ясная луна,

Но она ему, как прежде, преданной была,
И ни на волос от службы шаху не ушла.

Думала: «Судьба, как видно, чудеса творит!
Не из печки ли старушки мне потоп грозит?»

И терпела и таила жар она в крови,
Но — ты знаешь — от терпенья пользы нет в любви.

Улучивши время, к шаху раз она пришла
И такую речь смущенно с шахом повела:

«О хосров благословенный! — начала она.—
Ведь тобой живут законы, вера и страна!

Ты со мной однажды начал правду говорить,
Так со мной и дальше должен ты правдивым быть.

Если радостны и ясны дни весны с утра,
Так зачем же так ненастны, мглисты вечера?

Я хочу, мой шах, чтоб вечно дни твои цвели,
Чтоб тебе любовь и счастье вечера несли.

Поутру ты мне напиток сладкий дал... Так что ж
Ты мне этот едкий уксус вечером даешь?

Не вкусив, ты мной пресыщен и меня отверг.
В жертву льву меня ты отдал, в пасть дракона вверг.

Был так нежен ты, но что же стал ты так жесток?
Иль не видишь, что от муки дух мой изнемог?

Ты змею завел,— ты хочешь гибели моей?
Коль убить меня задумал, так мечом убей!

В дом к себе меня привел ты, сильно полюбя?..
Кто такой игре жестокой научил тебя?

Так открой же мне всю правду! Я изнемогла! —
Коль не хочешь, чтобы здесь я тут же умерла!

Заклинаю, шах мой, жизнью и душой твоей —
Если правду скажешь — снимешь ты замок с дверей,—

Я и свой замок открою, небом я клянусь,
Что во всем тебе, о шах мой, нынче ж покорюсь!»

Шах, ее в своих оковах крепких увидав,
Эти речи, эти клятвы девы услыхав,

Ничего от милой сердцу укрывать не стал,
Все, что нужно и не нужно, он ей рассказал:

«Страсть к тебе — давно, как пламя, обняла меня,
Довела до исступленья и сожгла меня.

Я терпел, но все сильнее сердцем тосковал,
Я от муки нестерпимой полумертвым стал.

И горбатая старуха мне помочь пришла
И, как зелье колдовское, мне совет дала.

И велела мне похлебку бабка та сварить,
Той похлебкою сумел я душу исцелить.

Но была тебе, как видно, ревность тяжела.
Ты ее душой и сердцем, видно, не снесла.

А ведь воду нагревают только над огнем,
И железо размягчают только над огнем.

С горечью на это средство все ж решился я.
И прости — твоею болью исцелился я.

Охватил от малой искры жизнь мою пожар,
А старуха, как колдунья, раздувала жар.

Но теперь, когда со мною ты чиста, как свет,
Больше в старой той колдунье надобности нет.

Надо мной сегодня солнце подошло к Тельцу,
И, как видно, зимний холод не грозит дворцу».

Так он много слов прекрасных деве говорил
И вниманием тюрчанки очарован был.

Звезды счастья над главою шахскою сошлись,
Он с любовью тонкостанный обнял кипарис.

Соловей на цвет, росою окропленный, сел,
И расцвел бутон, певец же сладко опьянел.

Попугай взлетел из клетки, как крылатый дух,
И поднос сластей увидел без докучных мух.

Рыба вольная из сети в водоем ушла,
Сладость фиников созревших в молоко легла.

Сладостна была тюрчанка, прелести полна,
Отвечала страстью шаху своему она.

Шах завесу с изваянья золотого снял,
Под замком рудник, сокровищ полный, отыскал.

Драгоценностей нашел он много золотых,
Золотом своим богато он украсил их.

Золото нам наслажденья чистые дарит.
И халва с шафраном, словно золото, горит.

Не гляди на то, что желтый он такой — шафран!
Видишь смех, что вызывает золотой шафран?

Золото зари рассветной по душе творцу.
Поклонялись золотому некогда тельцу.

И в румийских и багдадских банях — только та
Глина ценится, что, словно золото, желта».

Так кумир прекрасный Чина сказку завершил,
Шах Бахрам ее с любовью обнял и почил.

Повесть третья. Понедельник
ХОРЕЗМСКАЯ ЦАРЕВНА

Только свет свой понедельник над землей простер,
Шах Бахрам разбил зеленый поутру шатер.

И зеленую зажег он для себя звезду,
Как зеленый дух в зеленом ангельском саду.

Утром во дворец зеленый шах Бахрам вступил,
Наслажденью и веселью день свой посвятил.

А когда погас над миром дня того закат
И на небе изумрудном вспыхнул звездный сад,

Стал хорезмскую царевну шах Бахрам просить
Сладкого повествованья тюк пред ним раскрыть.

И в шелку зеленом пери просьбе той вняла
И пред Сулейманом двери тайны отперла.

Начала она: «Ты душу в жизнь вдохнул мою,
Пусть все души мира будут жертвой за твою.

Твой престол — опора счастья милостью творца,
Слава прошлого — преддверье твоего дворца.

Высоко венец Бахрама в мире вознесен.
Солнце счастья озарило твой высокий трон.

Света, мира и величья дух — в твоей судьбе,
Солнце вечное опору обрело в тебе!..»

Кипарис Хорезма славу шаху завершил
И средь яхонтов источник сахарный открыл.

СКАЗКА

Начала царевна: «В Руме жил когда-то муж,
Был хорош собой, и весел, и умен к тому ж.

Всем, что может человека в мире украшать,
Обладал он,— и душою телу был под стать.

Перлом был он, украшеньем всей его страны;
И желал он чистой, доброй для себя жены.

У людей других примером почитался он
И «Душою чистым Бипром» — назывался он.

Беззаботно Бишр,— а был он издавна таков,—
Шел однажды меж тенистых городских садов.

Но нежданной встречей разум Бишра был смущен.
Был внезапно он любовью в сердце поражен.

Пред собою он увидел женщину одну,
Как завернутую в облак полную луну.

Кто была она, откуда? Бишр не знал ее...
Ветер кисею откинул покрывал ее,

Из-за облака взглянула светлая луна,
Взглядом Бишра поразила, как стрелой, она.

Подкосились ноги Бишра; был он потрясен,
Будто выстрелом на месте был он пригвожден.

Лик увидел, пред которым ни один аскет
Не задумался б нарушить данный им обет.

Стан стройнее кипариса, а в глазах — любовь,
На щеках румянец свежий, как фазанья кровь.

Словом, кто б ее увидел, был бы уязвлен
И утратил бы навеки свой покой и сон.

И, как будто на колючку наступил ногой,
Бишр невольно вскрикнул громко, словно сам не свой.

Подхватила покрывало быстро та луна,
И, напуганная Бишром, скрылась вмиг она.

Так, когда кровопролитье втайне совершит,
Полн смятения — убийца от людей бежит.

Бишр, как ото сна очнулся, вдаль вперил свой взор:
Улица пуста; ограблен дом, а вор ушел.

Он сказал: «Ее теперь я вовсе упустил!
Где искать? А для терпенья мне не хватит сил...

Но терпеть мне и терзаться молча надлежит.
По следам за нею гнаться — нестерпимый стыд.

Муж я — не умру от горя. Должен все снести.
Страсть к жене меня не может совратить с пути.

Мощь духовная в уменье — страсти побеждать...
Это главное условье можно ль забывать?

На осла шатер навьючив, не пора ли с ним
Двинуться к святому дому мне — в Йерусалим?

Та десница, что небесный утвердила свод,
Я надеюсь, облегченье мукам принесет!»

Воротясь домой, он сборы быстро завершил
И к святым местам, гонимый горем, поспешил.

Он бежал в безумном страхе пред самим собой.
Свой смятенный дух он воле поручил святой.

В древнем храме умолял он, плача, божество
Защищать от дивов страсти скорбный дух его.

Так он долго там молился богу и святым,—
И домой решил вернуться, к берегам родным.

Спутник на пути обратном увязался с ним,
Внешне добрый, а в душе он низким был и злым.

Страшный спорщик и придира тот попутчик был,
В каждом благе он изъяны мигом находил.

Начинал ли Бишр о добром мысли излагать,
Принимался этот спутник доброе ругать.

«Нет, не так!» и «Нет, не эдак!», «Не болтай-ка зря!» —
Обрывал его попутчик, злобою горя.

Хоть в пути добросердечный Бишр молчать решил,
Спутника он и молчаньем в ярость приводил.

Он спросил: «Как ты зовешься? Я желаю знать,
Как по имени тебя мне, о попутчик, звать?»

Тот ответил: «Божий раб я. Имя же мое
Бишр. Теперь ты, друг, мне имя назови твое».

«А, ты — Бишр презренный? Слава у тебя плоха!
Ну — а я, я вождь духовный смертных — Малиха!

Все творение — небесный мир и мир земной —
Это все объял могучий, дерзкий разум мой.

Я в познанье всеобъемлющ, как никто — велик!
И добро, и зло, и тайны мира я постиг.

Выше дюжины мудрейших — мудрости я друг.
Знай, невежда! Я двенадцать изучил наук!

Для меня нигде сокрытой тайны в мире нет.
Я — о чем меня ни спросишь — дам на все ответ.

Если капища науки все ты обойдешь,
Равного среди ученых мне ты не найдешь!»

Так дорогою надменно похвалялся он,
Хвастовством его бесстыдным Бишр был поражен.

Тут от гор вдали большая туча отошла,—
Этой тучи дымно-черен цвет был, как смола.

Малиха спросил: «Вон — туча! Почему черна,
Как смола, она? Ведь свойство облак — белизна!»

Бишр ответил: «То — Яздана воля. Он творит
Непостижное. Явленьям свойства он дарит».

Малиха сказал: «Увертки про себя оставь!
Если можешь, отвечая, в цель стрелу направь!

Тучи черные рождает пережженный дым,—
Это признано бесспорно разумом самим».

Вдруг повеял им в ланиты ветер невзначай,
И промолвил тот зазнайка: «Ну-ка, отвечай,—

Знаешь ли, что движет ветром? Надо размышлять!
А во мраке, как скотине, стыдно пребывать!»

Бишр ответил: «Это — воля бога самого.
Не свершается без воли божьей ничего».

Тот сказал: «Пора бы в руки повод знаний взять,
А не бабушкины сказки вечно повторять!

Сущность ветра — это воздух; он течет рекой
И земные испаренья гонит пред собой».

Тут гора большая встала пред глазами их.
«Почему,— спросил он,— эта выше всех других?»

Бишр ответил: «Так Язданом решено самим,
Что одним горам быть ниже, выше быть другим».

Тот ответил: «Доказательств не приводишь ты,—
Все от божьего калама производишь ты!

Знай: рождаясь от потоков бурных дождевых,
Сили размывают горы, разрушают их.

Та вершина, что всех выше над лицом земли
Поднялась, стоит от силей дождевых вдали».

Бишр не выдержал и в гневе спутнику вскричал:
«Не противься воле неба! Лучше б ты молчал!

Ведь пути к завесе древней здесь не знаем мы,
Что ж о тайнах за завесой рассуждаем мы?

Я боюсь, когда завеса эта упадет,
Дерзких и высокоумных гибель злая ждет.

В листьях шепчущих на вечном древе бытия
Тайны веют! Да не тронет их рука твоя!»

И хоть Бишр заклятьем этим дал отпор греху,
Див зазнайства не покинул все же Малиху.

Долго шли они. В пустыне путь им предстоял.
Малиха не унимался, спорил и болтал.

А в пустыне раскаленной, средь песков нагих,
От бессонницы и зноя мозг испекся их.

Еле шли они, стеная, охая в пути,
И казалось, что жару им не перенести.

Наконец они к большому дереву пришли
И в тени ветвей могучих отдыхать легли.

К небу подымалась древа шумная глава,
У подножья зеленела мягкая трава.

У корней кувшин огромный в землю был зарыт,
Кем-то доверху водою чистою налит.

Малиха в кувшине этом воду увидал,
Повернулся живо к Бишру и ему сказал:

«Погляди-ка, друг любезный! Молви наконец,—
Что, кувшин с водою тоже здесь зарыл творец?

Здесь кувшин с водою в землю до краев зарыт,
Но скажи мне — почему он крышкой не покрыт?

И скажи — откуда взяться чистой здесь воде?
Видишь сам, вокруг пустыня, нет воды нигде».

Бишр ответил: «Некто — добрый — здесь кувшин
зарыл,
Чтоб идущий по пустыне жажду утолил.

А чтоб как-нибудь случайно не был он разбит,
Потому кувшин и в землю до краев зарыт».

Малиха, смеясь, ответил: «Ох ты, голова!
Недомыслие пустое все твои слова.

Никому, поверь, до нашей дела нет беды!
Здесь за тысячу фарсангов не найдешь воды,

Знай, охотники зарыли в землю здесь кувшин.
Это же — капкан для дичи средь нагих равнин!»

Бишр ответил: «О проникший в тайну бытия,
Люди все различны; розно мыслим ты и я.

Знать, подозревают люди в помыслах других
Доброе или дурное — то, что в них самих».

Сели, скатерть расстелили в лиственной тени,
Ели, воду из кувшина черпали они.

Им обоим показалась та вода вкусна,
Как хрусталь чиста, прозрачна, дивно холодна.

Малиха тут крикнул Бишру: «Ну-ка, отойди
От воды и там в сторонке малость посиди.

В воду чистую я тело погрузить хочу,
Освежиться, пыль пустыни с тела смыть хочу.

Обжигающим, соленым потом я покрыт,
Покрывающая тело грязь меня томит.

Я очищусь и отмоюсь. А потом с тобой
Двинусь дальше, освеженный, с легкою душой.

Но кувшин перед уходом должен я разбить,
Чтоб животных от ловушки этой защитить.

Бишр сказал: «О благонравный, не злоумышляй!
Ты дурного понапрасну здесь не совершай!

Нам кувшин был дан судьбою — жажду утолить,
Как же можно эту божью воду загрязнить?

Кто живительную воду из колодца пьет,
Если он не злой безбожник, в воду не плюет.

Сам подумай, ведь другие путники придут,
Здесь же вместо чистой влаги грязь они найдут».

Но, злокозненный, упорен муж в нечестье был,
Подлую свою натуру вновь он проявил.

Снял с себя тюрбан и сумку, в плащ их завернул,
И, согнувшись, как в источник, он в кувшин нырнул.

Не кувшин в земле, колодец то глубокий был,
И до дна того колодца путь далекий был.

В «мудрости» своей спасенья мудрый не нашел,
Он на дне того колодца смерть свою обрел.

Наглотался он, нырнувши храбро в глубину,
Изнемог и опустился наконец ко дну.

Бишр приблизился, тревогой тайною смутясь,
Стал товарища искать он — к влаге наклонясь.

И увидел, что бедняга утонул давно,
Как кувшин, сложив покорно голову на дно.

Бишр утопленника вынул. В скорби, хоть без слез,
Из воды в колодец праха тело перенес;

И, засыпав и камнями тело заложив,
Над могилою бедняги сел он, молчалив.

«Где же был твой ум и разум,— скорбно думал он,—
Ты хвалился, что в раскрытье тайн ты изощрен.

Хвастал, что небес высоких тайну ты прочтешь,
Что арканом ты вселенной тайну захлестнешь.

Говорил, что ты не знаешь, что такое страх...
Где же мужество? Величье? Ты теперь лишь прах.

Ты считал: взамен капкана тут поставлен жбан,
Что же? — сам, как дичь степная, ты попал в капкан.

За глоток воды я небу благодарен был...
Не за это ли всевышний жизнь мне сохранил?..»

Так сказал добросердечный Бишр. И встал с земли,
И погибшего пожитки подобрал с земли.

И египетского шелка плащ его цветной,
И тюрбан его, и пояс поднял дорогой.

А когда с его одежды он печать совлек,
То увесистый оттуда выпал кошелек.

Жаром в кошельке блеснуло, увидавши свет,
Больше тысячи магрибских золотых монет.

Бишр сказал: «Его пожитки мне нельзя бросать,
Это все связать я должен и с собою взять.

Сохранить, не растерявши ничего в пути,
И на родине бедняги родичей найти».

Так пустынней, невредимый, шел он много дней
И в знакомый прибыл город на краю степей.

Ночь он в караван-сарае отдохнуть решил.
Выспался, потом едою силы укрепил.

На́ люди потом с тюрбаном вышел он с утра,—
Мол, не знают ли владельца этого добра?

Некий честный муж одежду Малихи признал:
«Как же, знаю! Здесь живет он!» — Бишру он сказал.

Как пойдешь ты по такой-то улице в конец,
Там увидишь ты богатый царственный дворец.

Это дом его. О странник, ты иди смелей —
И стучись, не сомневайся, у его дверей!»

И немедля Бишр с тюрбаном, с золотом, с узлом
В путь направился. И вскоре отыскал тот дом.

Постучался в двери. Вышла некая жена,
Как задернутая белым облаком луна.

«Что за надобность,— спросила,— у тебя ко мне?»
И ответил Бишр с поклоном важной той жене:

«Я, о госпожа, с хозяйкой должен говорить,
Я тюрбан и узел этот должен ей вручить.

Если только это можно, в дом меня пусти,
Я, увы, рассказ печальный должен повести.

Малиха несчастный вместе был в пути со мной —
И погиб, убит коварно грозною судьбой».

Женщина его с собою привела в покой,
На краю ковра велела сесть перед собой.

Села женщина, покровом белым лик свой скрыв,
Молвив: «Слушаю. Да будет твой рассказ правдив».

По порядку Бишр подробно молвил обо всем,
Как с беднягой повстречался он в краю чужом,

И добавил: «Утонул он. Вечный мир ему! —
Он в земле. А ты хозяйкой будь в его дому.

Я собрал его пожитки. Думал: разыщу
Где-нибудь его жилище и родне вручу».

Тут он узел принесенный развязал, простер
Золото, одежды, пояс пестрый на ковер.

Женщина была, как видно, опытна, умна,—
Слово за словом тот свиток весь прочла она.

Молча слезы изронила из очей своих,
Слез она лила немного и отерла их.

И ответила: «О добрый сердцем, чистый муж,
Благомысленный и честный, в вере истый муж!

Как приятен, откровенен, благороден ты.
Сердцем редкостный, для доли лучшей годен ты.

Кто бы так же благородно в мире поступил
В отношенье к негодяю, что весь мир осквернил?

Благородство в том, чтоб в чести бреши не пробить,
Блеском чуждого богатства душу не прельстить.

Малиха живых покинул, превратился в прах,
А душе его укажет место сам Аллах.

Он, к несчастью, хоть недолго, мужем был моим,
Но из всех, кого я знала, самым был дурным.

Вижу — бог меня избавил, я вольна теперь,
Я от злобы и насилья спасена теперь.

Но тому, что было, видно — надлежало быть...
И не следует о мертвых плохо говорить.

Он ушел, его далеко увела судьба.
Брак мой с ним сама отныне прервала судьба.

Ты же мужествен и верен — это вижу я,
И с любовью избираю я тебя в мужья».

И она с лица густую кисею сняла,
Будто бы печать сухую с лала сорвала.

Он узнал ее мгновенно, был он потрясен,
То была она, что прежде как-то встретил он.

Вскрикнул он и без сознанья рухнул на ковер,
Он у ног ее, как мертвый, голову простер.

Поняла она, что страстно Бишр любил ее,
И возрос десятикратно страстный пыл ее.

Нежно Бишра обласкала женщина... А там
Вышел из дому он в город по своим делам.

Он по вере и закону с нею в брак вступил,
За сокровище Яздана возблагодарил.

С пери той вкушал он счастье у нее в дому,—
И завидовали втайне многие ему.

Царственную он от злого наваждения спас,
Ясную луну младую от затменья спас.

Разницы меж ней и пери он не находил
И зеленые ей платья, как у гурий, сшил.

Зелень одеяний лучше желтой полосы.
Стройный кипарис в зеленом — образец красы.

Скорбь сердечную зеленый утешает цвет.
Светлых ангелов зеленый украшает цвет.

И душа другим зеленый предпочла наряд.
Рощам и лугам зеленым радуется взгляд.

Любит цвет листвы зеленой свежая весна,—
Потому — всегда и всюду — свежесть зелена».

А когда луна Хорезма кончила рассказ,
Обнял шах отраду сердца, утешенье глаз.

Повесть четвертая. Вторник
СЛАВЯНСКАЯ ЦАРЕВНА

В некий Дея месяца день, что был короче
Ночи Тира месяца, самой краткой ночи,—

Хоть все дни недели он красотой затмил,
Это пуп недели был — красный вторник был,

День Бахрама — рдел он, блеском равен был огню,
Ну, а шах Бахрам был тезка и звезде и дню...

В этот день все красное шах Бахрам надел,
К башне с красным куполом утром полетел,

Там розовощекая славянская княжна —
Цветом сходна с пламенем, как вода — нежна —

Перед ним предстала, красоты полна,
Словно заблистала полная луна.

Только ночь высоко знамя подняла
И на своде солнца шелк разорвала,

Шах у девы-яблони, сладостной, как мед,
Попросил рассказа, что отраду льет

Слушателю в сердце. И вняла она
Просьбе, и рассказывать начала она:

«Ясный небосвод — порог перед дворцом твоим,
Солнце — только лунный рог над шатром твоим.

Кто стоять дерзнет перед лучом твоим?
Пусть ослепнет тот под лучом твоим!»

И, свершив молитвы, яхонты раскрыла
И слова, как лалы, к лалам приобщила.

СКАЗКА

Начала: «В земле славянской был когда-то град,
Разукрашен, как невеста, сказочно богат.

Падишах, дворцы и башни воздвигавший в нем,
Был единой, росшей в неге, дочери отцом,

Околдовывавшей сердце, чародейноокой,
Розощекой, стройной, словно кипарис высокий.

А вздохнет — и кипарисом всколыхнется стан,
Лик прекрасный разгорится, как заря румян.

Не улыбкой сладкой только и красой она,—
Нет,— она в любой науке столь была сильна,

Столь искушена, что в мире книги ни одной
Не осталось, не прочтенной девой молодой.

Тайным знаньям обучалась; птиц и тварей крик
Разумела, понимала, как родной язык.

Но жила, лицо скрывая кольцами кудрей,
Всем отказом отвечая сватавшимся к ней.

Та, которой в мире целом равной не сыскать,
Разве станет о безвестном женихе гадать?

Но когда молва по свету вести разнесла,
Что с высот Ризвана к людям гурия сошла,

Что ее луна и солнце в небе породили,
А созвездья и планеты молоком вскормили,—

Каждый был великой страстью к ней воспламенен,
И мольбы любви помчались к ней со всех сторон.

Взять один пытался силой, золотом другой,
Ничего не выходило. Падишах седой,

Видя дочки непреклонность, выбился из сил,
Но спастись от домогательств средств не находил.

А красавица, которой был на свете мил
Только мир уединенья, чьей душе претил

Пыл влюбленных, отыскала гору в тех краях —
Крутобокую, с вершиной, скрытой в облаках.

Замок на горе воздвигла, где клубится мгла...
Скажешь ты: на круче горной выросла скала.

И она отца просила — отпустить ее.
Тот, хоть не желал разлуки, детище свое

Отпустил: как соты меда, спрятал в замке том,
Чтоб назойливые осы не влетали в дом.

Этот замок над обрывом каменным стоял,
В небо бронзовые башни грозно он вздымал.

В высоте над облаками он витал, как сон,
Опоясан пропастями, крепко защищен.

И оттоль княжна разбою тропы заперла,
Глотки алчные заткнула, хищных изгнала.

Но когда в том замке стихли все тревоги в ней,
Диво-дева отвратила душу от людей.

И поставила у входа в горное нутро
Много грозных талисманов, созданных хитро.

Из гранита и железа — замка сторожа
Высились, мечи в ладонях кованых держа.

Смельчака, который входа в замок тот искал,
Талисман — меча ударом — тут же рассекал.

А врата твердыни, к небу высившей отвес,
Для людей незримы были, как врата небес.

И была хозяйка замка — пери красотой —
Рисовальщицей китайской царской мастерской.

Челке гурии подобный — был калам ее
Полем раковин, дающим перлам бытие.

И княжна однажды краски и калам взяла,
В рост на белый шелк свой образ светлый нанесла.

На шелку, как бы из света, тело соткала,
И в стихах прекрасных надпись, как узор, сплела:

«Если в мире кто желает мною обладать
И твердынею, которой силою не взять,

Пусть, как бабочка, бесстрашно он летит на свет,
Пусть он будет храбрым. Места здесь для труса нет.

Пусть вся жизнь на трудный будет путь устремлена,
И четыре ты условья соблюди сполна:

Имя доброе, во-первых, доброту имей.
Во-вторых, умом раскинув, победить сумей

Чары грозных талисманов, ставших на пути.
В-третьих,— коль, разрушив чары, сможешь ты пройти,

То найди ворота. Мужем станет мне лишь тот,
Кто ко мне не через крышу, через дверь войдет.

И четвертое: направься в город. Буду там
Ждать тебя я и загадки трудные задам.

Только тот, кто все условья выполнит вполне,
Только тот отважный витязь мужем будет мне.

Но погибнет тот, кто, взявшись, дела не свершит.
Пусть он был велик,— унижен будет и убит».

К городским воротам лунный образ прикреплен,
Кто его хоть раз увидел — навсегда влюблен.

И молва о нем все страны мира обошла,
Вновь князей и падишахов с места подняла.

Бросив трон, презрев величье, из любой страны
Скачут, притчей необычной воспламенены.

Этих нрав сгубил горячий, молодость — других.
Всякий жизнь бросал на ветер. И не стало их.

Всюду строится из камня городов стена,—
Этот город окружила черепов стена.

Некий юноша в то время благородный жил,
Хитроумный и прекрасный, смелый, полный сил.

Для его стрелы добыча — что онагр, что лев,
Как-то, жаждою охоты в сердце возгорев,

Он поехал в поле — сходен с юною весной,
Увидал волшебный облик девы над стеной,

Но, прекрасный женский облик с головы до пят
Окружая, угрожая — головы висят.

«Как бегу? Куда укроюсь,— юноша вздохнул,—
От жемчужины, хранимой стаею акул?

Если страсть моя от сердца прочь не отойдет,
Голова на плахе жертвой страсти упадет.

И хоть облик тот прекрасный душу мне томит,
Но змея лежит у клада, пальму шип хранит.

Коль не унесешь из плена голову свою,
Оцени не выше тлена голову свою!

Нет! Навстречу мощным чарам грозной красоты
Не ходи без чар сильнейших, иль безумен ты.

Нет! Сперва такое средство должен я найти,
Чтобы мог свою отару от волков спасти.

Что ни день пройдет, то с плахи голова падет,
А палач ее насадит на кол у ворот.

К двери тайны подбирал он тысячи ключей.
Нить в руках держа, искал он кончика у ней.

Находил концов у нити сразу тысяч сто,
Где ж один и настоящий, не сказал никто.

Он наперсников повсюду мудрых стал искать,
Кто помог бы этот узел хитрый развязать.

Он искал, забыв про гордость, друга... Наконец
Услыхал — есть заклинатель дивов и мудрец,

И старик его заветным знаньем подарил.
И всезнающего витязь возблагодарил.

В путь он выступил, одежды красные надев —
Кровн знак и гневных жалоб на небесный гнев.

Ты сказал бы: в море крови плащ он обагрил,
И глаза его горели, как в ночи берилл.

Объявил: «Не для себя я путь пробить хочу,
Я за кровь ста тысяч храбрых отомстить хочу!»

Вот за городской чертою, под пятою гор,
Пред железным замком девы он разбил шатер.

И едва о том в народе протекла молва,
Что явился юный мститель мужественней льва,—

Всяк ему в великом деле помогать хотел,
Чтоб скорее он чудесным замком овладел.

Так заботами народа и умом своим
Он облекся, как надежным панцирем стальным.

И затем идти на подвиг разрешенья он
Испросил у падишаха, как велел закон.

Вот в ущелье талисманов удалец шагнул,
Брешь пробил и заклинанье первое шепнул.

Разом чары талисмана первого разбил,
Связи прочих талисманов он разъединил.

И искать в стене ворота начал он, ремянной
Колотушкой ударяя в шкуру барабана.

Вслушался, как отдается звук вокруг стены.
И по отзвуку ворота были найдены.

Откликаясь барабану, пел подземный ход.
Он подвел подкоп и выше к створам тех ворот.

Лишь о том хозяйка замка мудрая узнала,
Тут же человека с вестью к витязю послала:

«Я тебя в дому отцовском повстречать хочу,—
Я загадками твой разум испытать хочу.

У тебя четыре тайны стану я пытать;
Коль ответы на вопросы ты сумеешь дать,—

О, навек тогда ты другом будешь для меня.
И желанным и супругом будешь для меня».

И когда свою удачу витязь увидал,
Повернул коня и в город быстро поскакал.

Шелк сорвал с ворот высоких и рабу вручил,
Оживил в сердцах веселье, горе умертвил.

Головы со стен на землю опустить велел,
И оплакать, и с почетом схоронить велел.

И, благословляем всеми, воротясь домой,
Горожан велел к себе он звать на пир большой.

И рассказывала дева все, что было с ней,
Что судьба за это время совершила с ней.

Вспоминала тех, что в битве сбиты ею были,
Яму рыли ей и сами в яму угодили.

О влюбленных, что отважно, словно львы, рвались
И вотще теряли силы и теряли жизнь.

Вот жених перед невестой сел лицом к лицу,—
Мол, в какой игре лукавый спор придет к концу?

Вот за витязем царевна стала наблюдать,
Им, как куклою таразской, начала играть.

Из ушей своих два перла вынула сперва
И такие казначею молвила слова:

«Гостю нашему два перла эти отнеси —
И ответа на вопрос мой у него проси».

И посланец не замедлил выполнить приказ.
Гость объем жемчужин смерил, взвесил их тотчас.

И из драгоценных перлов, что с собой носил,
Три других, подобных первым, сверху положил.

Дева-камень, вместо первых двух увидев пять,
Взявши гирьку, также стала вес их измерять.

Взвесив и узнав, что равен вес у пятерых,
Той же гирькой раздавила, в пыль растерла их.

Пыли сахарной щепотку бросила туда,
Все смешала и послала гостю вновь тогда.

Но ему была загадка трудная легка,
У прислужника спросил он чашу молока,

Сахар с жемчугом в ту чашу всыпал, размешал.
Принял все гонец и чашу к госпоже помчал.

Этот дар пред ней поставил. Выпила невеста
Молоко, а из осадка замесила тесто.

И на пять частей, по весу равных, разделила.
И сняла свой перстень с пальца и гонцу вручила.

То кольцо надел на палец витязь и в ответ
Отослал пославшей перстень — дивный самоцвет,

Яркий, чистый и блестящий, как полдневный свет,
Изнутри лучил он пламень, блеском был одет.

Этот камень положила дева на ладонь,
Ожерелье распустила. Яркий, как огонь,

Самоцвет в нем отыскала, первому во всем
Равный, блещущий во мраке солнечным лучом:

Третьего не подобрать к ним, их не подменить:
На одну их нанизала золотую нить.

И когда на них разумный взоры обратил,—
Самоцвет от самоцвета он не отличил.

Дать себе он голубую бусину велел,
С самоцветами на нитку бусину надел.

Воротил их той, что с пери спорит красотой.
Та же — бусину на нитке видя золотой —

Сладко рассмеялась, губок распечатав лалы,—
Бусину на ожерелье тут же навязала,

Самоцветы в уши вдела и отцу сказала:
«Встань, отец, и делай дело,— спор я проиграла!

Две жемчужины послала я ему сначала:
«Жизнь — два дня лишь! Понимаешь?» — я ему сказала.

К двум моим он три прибавил. Это говорит:
«Если даже пять — так тоже быстро пролетит».

Я растерла и смешала сахар с жемчугом
И в ответ ему послала сахар с жемчугом.

Пыль жемчужная, что с пылью сахарной смесилась,
Означает жизнь, что сильной страстью омрачилась,

Оторвать их друг от друга, разлучить нельзя,
Ни заклятьем, ни наукой отделить нельзя.

В чашу молока тогда он всыпал эту смесь,
И на дно тяжелый жемчуг опустился весь,

И растаял легкий сахар в чаше молока.
И была ему загадка трудная легка.

А как молоко из чаши этой испила,
Я себя пред ним дитятей малым назвала.

А когда ему я перстень свой отослала,
Тем на брак со мной согласье витязю дала.

Самоцвет мне дав бесценный, он хотел сказать,
Что ему во всей вселенной пары не сыскать.

Я вернула вместе с первым равный самоцвет.
«Видишь, мы с тобою пара»,— мой гласил ответ.

К самоцветам этим третий подбирать он стал,
Третьего ж на белом свете он не отыскал,

Бирюзой меня решил он чистой одарить,
Чтобы счастье от дурного глаза защитить.

И украсилась я тою светлой бирюзой,
Пред его склонилась волей, словно пред судьбой».

Шах, увидев, что объезжен конь и укрощен,
Что под плеткой сыромятной выровнялся он,

По обрядам брачных празднеств, тут же поутру
Приготовил все, рассыпал сахар на пиру.

Как звезду Зухру Сухейлю, отдал дочь свою.
Пир устроил несказанный, как пиры в раю.

Благовоньями в чертоге пол осыпан был.
Там он кипарис и розу рядом посадил.

Вот последний гость покинул падишахский дом.
Витязь наконец остался с милою вдвоем.

И когда искавший лалы россыпей достиг,
Умирал и воскресал он в свой предсмертный миг.

Целовал в ланиты, в губы он стократ ее,
Он покусывал то финик, то гранат ее.

Жил он в радости с любимой, лучших не просил.
Цвета щек ее — он платья красные носил,

Ибо в первый день успеха, в белый день надежды,
Предзнаменованьем выбрал красные одежды,

Ибо тою красотою он рассеял мрак.
Он всегда имел убранство красное, что мак.

«Шах в багряных бармах» — был он прозван потому,
Что в багряном цвете радость выпала ему.

Красный цвет красою блещет, коей в прочих нет,
Этим лал ценней алмаза — алый самоцвет.

Если красоты телесной в мире ищешь ты,
Помни: розы щек — основа всякой красоты.

Роза лучшая не будет ханшею садов,
Если нет у ней горящих кровью лепестков!»

А когда рассказ царевна кончила чудесный,
Словно россыпь роз, зарею вспыхнул мрак небесный.

И лицо Бахрама в этом блеске алых роз
Стало красным, с ароматным сходно соком роз.

Он к славянской красной розе руку протянул,
Обнял стан ее и в неге близ нее уснул.

Повесть пятая. Среда

МАГРИБСКАЯ ЦАРЕВНА

В среду, только озарилась солнцем высота
И блеснула бирюзою неба чернота,—

В бирюзовом одеянье к башням голубым
Шах направился — призывом сладостным томим.

День был короток, да долог про него рассказ.
Только в черном покрывале полночь поднялась,—

Попросил Бахрам царевну сказку рассказать.
И сняла луна Магриба с повести печать,—

Молвила: «У шаха стремя держит небосвод,
Круг созвездий славословье перед ним поет.

Я и сотни дев прекрасных — пери красотой —
Рады целовать, о шах мой, прах перед тобой.

Пред тобою, перед чистым родником живым,
Торговать не подобает уксусом простым.

Коль мою ты благосклонно выслушаешь речь,
Я могла б тебя одною повестью развлечь».

СКАЗКА

«Жил один купец в Египте — именем Махан,
Золотой луне подобен, строен и румян.

Красотой, умом, богатством, как Юсуф, блистал.
Тысячу отважных тюрков стражей он держал.

Так Махана все любили, что в саду своем
Каждый рад бывал устроить в честь его прием.

Некий знатный горожанин раз к нему пришел,
В загородный сад свой гостем юношу увел.

В свежем том саду, друзьями тесно окружен,
Целый день вином, беседой утешался он.

Пир их был великолепен и прекрасен сад,
А друзья его прекрасней были во сто крат.

Вслед забаве их забава новая ждала,
Что ни час, то лучше прежней смена блюд была.

Вот и полночь мускусное знамя подняла,
Серебро смолой покрыла и луну зажгла.

Но в стемневшей чаще сада продолжался пир,
Сладким звуком флейт и песен оглашался пир.

Будто гости саду сердце отдали в залог,
Обновлял сердец веселье пенных вин поток.

Ярко озаряла небо полная луна,
Лучезарностью — полудню ночь была равна.

И Махан, разгоряченный чарами вина,
Увидал: луну качает быстрая волна.

Он побрел, шатаясь, в чащу — от вина тяжел.
Заплутался. К незнакомой роще пальм пришел.

И увидел человека он вдали сквозь тьму.
Этот человек с приветом подошел к нему.

Внешность же его знакома юноше была,—
Вел он за морем с Маханом общие дела.

Сразу друга по торговле в нем Махан узнал
И воскликнул: «Как! Откуда ты сюда попал?»

Молвил тот: «По завершенье дальнего пути —
Не терпелось мне,— тебя я захотел найти,

Рассказать, что свыше меры наши барыши.
Ты мне будешь благодарен — знаю — от души!

Я не рано с караваном к городской стене
Подошел. Ворота были заперты, и мне

Перенесть пришлось богатства позднею порой
В караван-сарай, лежащий за градской стеной,

В темном поле. И, оставив стражу при тюках,
Я к тебе пришел, проведав, что ты здесь в гостях.

Вовремя тебя нашел я: о, пойдем со мной,
Не замедлив! Мы, возможно, в темноте ночной

Грузы в город переправим, пошлин избежим!»
И Махан был рад богатству и пошел за ним.

Тайно отперли калитку. И — как вихри взвились —
Понеслись... Пока две стражи ночи не сменились,

Быстро, быстро — друг Махана впереди шагал,
А Махан, как пыль от пяток, позади бежал.

Уж последние остались за спиной дома.
И пустыня перед ними, и ночная тьма.

«Что я — сплю? — Махан подумал.— Близится рассвет,
И сейчас от нас до Нила сотни гязов нет!

Пройдена дорога нами пятичасовая,
А до сей поры не видно караван-сарая;

Лишь пустыня перед нами, и над ней — туман».
И еще Махан подумал: «Может быть, я пьян...»

Мчались так они, покамест первый не пропел
Вдалеке петух. Последний призрак улетел

По следам дремучей ночи, снов растаял дым.
И внезапно стал Махану друг его незрим.

Увидал Махан смущенный: сбился он с пути.
Сразу отказались ноги вдаль его нести.

Догорающей свечою юноша упал,
Плача, наземь и до полдня жаркого проспал.

А от солнечного зноя голова его
Раскалилась жарче муки той, что жгла его.

Сел, пустыню воспаленным взором он обвел,
Сада роз искал глазами, сада не нашел.

Будто собственное сердце в ранах видит он —
Тысячей пещер изрытый видит горный склон,

И змея в пещере каждой — больше, чем дракон,
Он бежать хотел, но страхом силы был лишен.

Ногу ставит на дорогу, а нога тяжка,
Как свинец; в пути безвестном нет проводника.

Брел он и пугался тени собственной своей.
Вот расставил свой треножник властелин ночей.

Снова тьма деяний черных образы сплела,—
Дню-белильщику до света отдохнуть дала.

У пещерного упал он черного жерла,
И в глазах его былинка каждая ползла,

Как змея. Лежал он долго, памяти лишен.
Звуки голоса живого вдруг услышал он,

И, открыв глаза, увидел двух людей вдали.
Женщина с мужчиной ношу на плечах несли.

И, лежащего увидя на своем пути,
Сразу поспешил к Махану путник подойти.

Он купца окликнул: «Кто ты и откуда есть?»
Тот сказал: «Я иноземец, погибаю здесь,

Хоть меня Маханом мудрым прежде всякий звал».
Путник вновь спросил: «А как же ты сюда попал?

Людям здесь бывать опасно. Дивы здесь живут.
Даже львы, встречаясь с ними, в ужасе ревут».

И тогда Махан воскликнул: «Кто ты — я не знаю:
Добрый человек иль демон! Богом заклинаю,

Дело человеколюбья ныне соверши,
Выведи меня отсюда! Скорбь моей души

Утиши! Вчерашней ночью в сладостных садах
На ковре в садах Ирема я сидел в гостях.

И когда свой ум затмил я чашей пировой,
Мне явился некто, молвив: «Я товарищ твой».

Он привел меня из рая в ад. А только день
Наступил — мой друг растаял, как ночная тень.

То ли — в дружбе нерадивый — промах совершил,
То ли в злобе против нашей дружбы погрешил...

Дело доброе, прохожий, соверши — молю!
В город верную дорогу укажи — молю!»

Молвил путник: «Ты от верной гибели ушел.
Дива, страшного для смертных, человеком счел.

Этот див — «Хаиль пустынный». Он с пути сбивал
Сотни путников. В пустыне каждый погибал.

Но твои друзья мы оба. Мы спасем тебя,
Сбережем в пути и в город приведем тебя.

Так мужайся! Встань меж нами, веселей шагай
По дороге шаг за шагом! Лишь не отставай!»

И поплелся шаг за шагом им вослед Махан.
А когда петух рассвета грянул в барабан

И ударило в литавры утро на верблюде,—
Без ключа темницей темной стали эти люди

И растаяли, как тени... А Махан упал,
Изнуренный, и до полдня на песке проспал.

Встал Махан, побрел по склону, ужасом томим.
Видит: скалы,— львов и тигров логово пред ним.

Шел, теряя силы, ибо не имел еды,
Кроме воплей и страданий, кроме слез — воды.

Истомленный, не решался он прервать пути.
По пустыне без дороги продолжал брести.

И когда небесный белый купол черным стал,
В яму вполз и до полночи в яме он проспал.

И далекий конский топот в полночь услыхал.
На коне горячем всадник по степи скакал,

В поводу держал другого доброго коня,
С буйной гривой и закосом глаз, как два огня.

Подскакал к Махану всадник взоры обратил.
«Эй, хитрец, сидящий в яме, кто ты? — он спросил.—

Что ты ждешь? Коль скажешь правду — пощажу тебя,
А солжешь — мечом вот этим поражу тебя!»

И затрепетал от страха перед ним Махан.
Быстро горсти слов рассыпал, как мешок семян.

Молвил он: «О гордый всадник, выслушай раба!»
Все поведал, что с ним злая сделала судьба,

Как в пустыне беспредельной заблудился он.
Всадник был его рассказом сильно изумлен,

Молвил: «За тебя молитву, друг, я произнес!
Знай, что ты от двух чудовищ голову унес.

Это гули-людоеды, самка и самец,
По степи тебя кружили, чтобы наконец

Съесть тебя живьем в ужасном логове своем,
Но промедлили. Спасен ты первым петухом!

Знай: Хала прозванье самки, а самца — Гила.
Поблагодари светила, что избегнул зла.

А пока ты жив, отсюда убегай со мной.
Вынесет тебя из ада конь мой заводной.

Но в пути храни молчанье. Повод подтяни,
От меня не отставая, скакуна гони».

Всадником могучей птицы злополучный стал:
Так скакал, что за собою ветер оставлял.

Путь они в ущельях грозных миновали длинный,
Наконец с горы открылась их глазам долина.

Как ладонь гладка, просторна. И со всех сторон
Раздавались песни, руда и барбата звон.

«К нам иди, прекрасный!» — справа голоса слышны.
Слева крики: «К нам! За чашу — гость чужой страны!»

Не цветы и не деревья,— нет! В долине той
Гуль на гуле громоздились черною горой,

Дивов тысячи на дивах, копошась, сидели,
Подымая вой. Другие лезли из ущелий.

Словно смерчи, головами к тучам взметены,
Как огромные пиявки, длинны и черны.

Так плясал их сонм ужасный, так рукоплескал,
Так вопил, что мозг от шума в черепе вскипал.

Что ни миг, то шум сильнее, вой и плеск страшней,
Через час вдали блеснули тысячи огней.

И толпа громадных, страшных чудищ подошла.
Губы как у негров. Платья, шапки как смола.

Каждый с хоботом, с рогами,— сразу — бык и слон.
Каждым чудищем горящий факел принесен.

Каждый безобразен, словно адский страж. Клубясь,
Вылетало пламя — только див разинет пасть.

Пели все они, в трещотки черные треща,
И вокруг плясали скалы, в лад рукоплеща.

Громче взвыла, заплясала дивов черных рать.
Под Маханом злополучным начал конь плясать.

В страхе он на пляшущего скакуна взглянул.
Увидал, что конь кривые крылья развернул.

Увидал беду и горе под собою он:
Семиглавый и двукрылый был под ним дракон.

Словно осенивший землю свод семи небес,
Сделался семиголовым этот див иль бес.

Заплясал дракон крылатый, разыгрался — лют.
Топал он и извивался, словно длинный кнут.

А Махан был как валежник, что потоком вод
Бурный силь в весенней балке с крутизны несет.

Сокрушенным и бессильным злополучный стал,—
Так его дракон свирепый вниз и вверх швырял.

Вверх подбрасывал,— и снова на лету сажал
Юношу себе на шею, и трубил, и ржал.

Издевался над Маханом — на сто сот ладов.
А когда раздался голос дальних петухов

И раскрылся львиным зевом алый край небес,
Этот змей семиголовый, словно тень, исчез.

Хор чудовищ стих, умолкли руд и барабан,
И отклокотал в долине черных гулей чан.

И Махан, упав на землю, память потерял.
Словно ранен был смертельно, словно умирал.

И без чувств, не помня — где он, что творится с ним,
Он лежал в пустыне, солнцем яростным палим.

А когда от зноя полдня голова вскипела,
Воротилась жизнь в больное, страждущее тело.

Поднялся Махан, стеная, и глаза протер.
Огляделся он, увидел лишь степной простор,

Слева — даль пустынь, а справа — скал бесплодный скат.
Все кругом, как кровь, багрово-знойно, словно ад.

Как ковер пред казнью стелют кожаный у ног
И палач угрюмый сыплет на него песок,

Так же, только знак для казни подал полдня взор,
Был песок насыпан, постлан кожаный ковер.

На усталой шее чудом разорвав аркан,
Выход с площади погибших отыскал Махан.

Зелень свежую скиталец, воду увидал.
Сердцем был от горя стар он, снова юным стал.

Напился воды, умылся и, хвалу судьбе
Вознеся, для сна пещеру стал искать себе.

Тысячеступенный кладезь в глубине пещерной
Отыскал. Лишь тень спускалась в кладезь тот, наверно.

Как Юсуф, в глубокий кладезь опустился он
И, дойдя до дна, мгновенно погрузился в сон.

Ты б сказал: достигла птица своего гнезда.
В безопасности улегся там он. А когда

Выспался, во мрак пещеры вглядываться стал,
Будто образы на черном шелке увидал.

Разглядел, что раскололся той пещеры свод,
А луна с ночного неба в щель сиянье льет.

Начал расширять отверстье, и сквозь потолок
Вскоре голову наружу высунуть он смог.

Голову в дыру просунул и увидел сад,
Свежих цветников учуял сладкий аромат.

Свод разрыл еще, на волю выбрался совсем
И увидел сад цветущий — словно сад Ирем.

Сад мерцал, сиял, лучился — в лунный свет одет.
Думалось: деревьям свежим в нем и счета нет.

И к плодам он потянулся, рдеющим в листве,
Эти ел, а те рассыпал по сырой траве.

Вдруг: «Держите вора!» — слышит он громовый крик.
Гневный, яростью кипящий, выбежал старик,

На плече держа дубину. «Кто ты? — заорал.—
Как ты, див, плоды крадущий, в сад ко мне попал?

Как посмел ты? Здесь немало прожил я годов,
Но не ведал беспокойства от ночных воров!

Кто такой? Что ты такое? Как тебя зовут,—
Говори по правде. Помни: я во гневе лют».

Обмирал Махан от страха. Он сказал: «Беда
Надо мной стряслась. Невольно я попал сюда.

Заблудившегося призри! Не гони в беде,
Чтоб тебя за гостелюбье славили везде!»

Оправданиям Махана гневный внял старик.
Подобрел его суровый бородатый лик.

В сторону свою дубину старец отложил
И, усевшись перед гостем, ласково спросил:

«Расскажи, что ты изведал в странствиях твоих,
Сколько ты обид увидел от глупцов и злых?»

Увидал Махан, что старец гнев сменил на милость.
Рассказал он по порядку все, что с ним случилось;

Как, блуждая, попадал он из беды в беду:
Ночь — горел в огне, другую — замерзал во льду.

Как на верном очутился наконец следу,
Как от бед укрылся в этом сладостном саду.

Молвил старец изумленный: «Мы должны судьбу
Возблагодарить и небу принести мольбу,

Что от чудищ, подлых нравом, ты освобожден
И от горя этим добрым кровом огражден!

Ты с себя, злосчастный, сбросил цепи наваждения,
Заповедного достиг ты места избавленья.

А лежит за этим садом дикая страна,
Зелени, воды и жизни лишена она.

Ты, счастливец, чудом спасся от великих бед!
Джинны здесь живут и дивы; каждый — людоед.

В лжи — бессилье. Только в правде — божья благодать.
Чудеса от наваждения должно отличать.

Вижу я — простосердечен по природе ты.
Жертвой лжи бывают люди, что душой просты.

Злобный дух в ночной пустыне на тебя напал
И, твоим воображеньем овладев, играл.

Но коль позади осталась призраков страна,
Не глотай осадок, выпей чистого вина!

Этой ночью ты как будто заново рожден,
Из иного мира наземь снова приведен.

Вот богатый сад — награда за твои мученья.
Я же — сам хозяин сада, в этом нет сомненья.

Каждый кустик тут я знаю. Эти все плоды
Мною взращены с любовью. Лучшие сады

Поясов земных мне дали саженцы дерев,
Самых щедрых в пору сбора сладостных плодов.

Прокормился б целый город их осенним даром.
У меня в саду обширный есть дворец с амбаром.

Словно обмолоченные зерна на току,
Горы золота хранит он и — мешок к мешку —

Жемчуга и самоцветы пламенней огня...
Я богат, и только нету сына у меня.

Но, на счастие, с тобою повстречался я,
И к тебе, как к сыну, сердцем привязался я.

Если ты захочешь сыном стать мне — о, тогда
Полноправным властелином ты войдешь сюда!

Завтра ж на твое я имя все переведу,
Чтобы ты, вкушая негу, жил в моем саду.

А захочешь, и невесту я тебе найду;
Отведу от милых сердцу всякую беду,

И служить я буду вашим прихотям любым.
Коль согласен, дай мне руку,— договор скрепим!»

И Махан сказал: «Как можешь это говорить?
Может ли терновник сыном кипариса быть?

Но когда меня ты верно примешь в сыновья,
То — поверь — тебе примерным сыном буду я!»

Радостно поцеловал он руку старика.
Радостно ему сказал он: «Вот моя рука!»

И старик Махана руку быстро ухватил,
Дал обет ему и клятвой договор скрепил.

Молвил: «Встань». Махан поднялся. И повел его
Старец в глубину густого сада своего.

Ввел его в чертог высокий: стены в нем и пол —
Мрамор, а суфа коврами крыта, как престол.

Галерея в нем просторна; и, как свод, над ней
Переплет ветвей платанов, ив и тополей.

Водоем блестит под сводом. И звездой своей
Небосвод целует кольца медные дверей.

Широковетвящееся — над суфой стояло
Дерево сандаловое. До земли свисало

Благовонное убранство листьев, как пола
Занавеса. На развилье мощного ствола,

Там, где ветвь от ветви толстой в сторону ушла,—
В высоте тахта из досок сделана была.

На тахте — ковры, подушки, словно ложе хана,
Как листва сандала мягки и благоуханны.

И старик сказал: «На это дерево залезь;
Отдохни пока с дороги. Если пить иль есть

Пожелаешь ты,— там скатерть с белым хлебом есть,
И кувшин с водой лазурной. Оставайся здесь,

И — покуда не вернусь я — терпеливо жди.
Из опочивальни этой наземь не сходи.

Кто б ни говорил с тобою — ухо уклоняй,
Кто б ни соблазнял — соблазны молча отгоняй.

Ни на чей вопрос лукавый — слова не роняй.
А не стерпишь — сам тогда ты на себя пеняй.

Лишь когда назад приду я,— зорче ты вглядись
И уверься — я ли это. И тогда спустись.

Я пойду, тебе покои во дворце устрою.
Клятва крепкая — навеки — меж тобой и мною;

Молока и меда наши обещанья чище,
И теперь мое жилище — и твое жилище.

Берегись дурного глаза нынешнюю ночь...
Утром отойдут навеки все несчастья прочь».

Так старик его наставил, слово с гостя взял,
И исполнить наставленья гость пообещал.

Там ременная свисала лестница с ветвей.
«Подойди,— сказал хозяин,— и взберись по ней!

Будь сегодня ремненогом, а потом ремни
Эти длинные с собою кверху подтяни.

Опоясайся сегодня кожаной змеей,
Чтоб никто шутить не вздумал снова над тобой.

Утром ты доволен будешь! Хоть халва у нас
С вечера была готова,— есть нельзя сейчас».

Разговор старик закончил и пошел домой,
Чтобы гостю приготовить во дворце покой.

Гость на дерево взобрался, лестницу убрал.
Там сандал листвою свежей так благоухал,

Что, когда Махан из легких воздух выдыхал,
Он, как ветер, ароматы миру посылал.

Сверток хлебцев золотистых и лепешек белых
Развернул, почуяв голод, путник и поел их.

Из прохладного кувшина, что студил ночной
Ветер, жажду утолил он чистою водой.

И на той тахте румийской, под густой листвой,
На ковре китайском, мягком он нашел покой.

На руку облокотился; озираться стал.
И вдали семнадцать ярких свеч он увидал.

Шли красавицы по саду, светочи несли.
Преклонился бы пред ними каждый до земли.

Светочи в руках у каждой, платья их богаты.
Полотно скрывает розу, кисея — гранаты.

Шли — стройны, светлы, как свечи, озирая мир.
На суфе они уселись за веселый пир.

Столько блюд, напитков столько — знает только бог.
Ледяной шербет с шафраном и гранатный сок.

Там барашек был, поенный только молоком,
И откормленная птица, и форель, и сом;

Хлебы — камфоры белее и светлей луны,
Как спина и груди гурий, мягки и нежны.

О пирожных не умолкла до сих пор молва.
Сахарная напоследок подана халва.

И когда на стол такие блюда принесли,—
Словно мир, где все явленья чудо, принесли,—

Госпожа невест сказала девушке одной:
«Чувствую я: скоро четом станет нечет мой.

На меня алоэ дышит, от сандала вея.
К дереву сандаловому подойди скорее.

Так иди и к нам пришельца ласково зови.
Молви: «Ждет тебя подруга, полная любви;

Стол накрыт, поставлен кубок чистого вина;
Но без гостя не коснется вин и яств она.

Поспеши, вкуси блаженство от союза с ней.
Не держи ее в оковах, приходи скорей!»

К дереву сандаловому дева подошла.
Узок рот ее, а просьба широка была.

Отворив уста, запела, словно соловей.
Как цветок с куста, Махана сорвала с ветвей.

Речь посредницы услышав, он пошел за ней.
Сам посредника искал он для любви своей.

Но как только пред соблазном душу он открыл,
Тут же предостереженья старца позабыл.

И любовь метлой с дороги стыд и долг смела.
И Махан к луне спустился, что его ждала.

Груди мягче молодого творога у ней,
Слаще сахара и меда, молока нежней.

Яблоки ланит — услада для живых сердец,
Где под кожей — сок багряных роз и леденец.

Вся она как ртуть живая или как ручей,
А глаза светлей и ярче пламенных свечей.

Средь подруг своих сияет, как свеча, она,
Взглядом насмерть поражает без меча она,

Полною луной блистает, горяча, она,
Двери сердца отмыкает без ключа она.

Во сто тысяч раз в Махане страсть к ней возросла.
Розу уст ее сосал он, как сосет пчела.

И когда рука Махана стан ей обвила,
Диво-дева застыдилась, взоры отвела.

Но как розу прижимает к сердцу соловей,
Он прижал Китая чудо ко груди своей.

А когда взглянул на этот сладостный поток,—
Он от ужаса дыханье перевесть не мог.

Перед ним — от пят до пасти скаляся — сидит
Порожденный божьим гневом адский дух ифрит.

По рогам — свирепый буйвол, по клыкам — кабан.
Не дракон — страшней дракона, это — Ахриман!

От надира до зенита пасть его разъята;
А спина — спаси нас боже! — как гора горбата.

Словно лук, хребет зубчатый выгнут; рачья морда.
На сто верст кругом зловонье от него простерто.

Нос — как печь, где обжигают кирпичи огнем.
Пасть — как чан, где известь гасят, чтобы красить дом.

Губищи ифрит разинул, словно крокодил;
Гостя ухватил, колючей грудью придавил,

Целовал в лицо смердящей пастью, и душил
Смертным дыхом, и, целуя, гостю говорил:

«А-а! Ты в лапы мне попался! Грудь твою сейчас
Разорву! Гулял сегодня ты в последний раз.

Ты меня хватал руками, зубы в ход пускал,
Ты мне нежный подбородок, губы целовал!

Видишь: когти — словно копья, зубы — как ножи!
Где еще такие зубы ты видал — скажи?

Ах, как горячо сначала страсть твоя пылала,
А теперь куда девалась? Почему пропала?

Эти губы — те же губы, полные огня,
Личико мое — все то же, так целуй меня!

Не пируй в кругу коварных, где царит позор!
Дома не снимай, в котором управитель вор!»

Так шутил и издевался злобный див над ним,
Хохотал, пускал из пасти то зловонный дым,

То огонь в лицо Махану. И увидел он:
Что красавицею было, то теперь — дракон.

Среброногая внезапно стала вепреногой
Гадиной — с хвостом воловьим, черной и двурогой.

И, упав, под тем драконом он лежал, крича,
Как дитя. Текла от страха из него моча.

Но едва забрезжил смутно темный край небес
И пропел петух далекий, сгинул черный бес.

Ночь ушла, влача с собою черный шелк завес.
Дымом унеслись виденья, пышный сад исчез.

Ниц поверженный, лежал он у дверей дворца.
Сокрушался, предавался горю без конца.

И от зноя дня в сознанье он пришел. И вот
Осмотрелся: горе! видит свалку нечистот.

Видит он на месте рая — раскаленный ад.
Нет свирелей, лишь стенанья ужаса звучат.

Ну, а то, что прошлой ночью он дворцом считал,
Стало грудой безобразно взгроможденных скал.

Стал кустарником колючим благовонный сад,
А взамен суфы лишь камни голые лежат.

Грудки птиц, плоды и спины жареных козлят
Стали падалью зловонной, гнусною на взгляд.

Стали руды и свирели тех ночных певцов
Грудою костей верблюдов и степных ослов.

Сделался гнилою лужей чистый водоем.
Все, что с блюда золотого ел он за столом,

И вино, что пил вчера он, это,— бог с тобой! —
Это было только мерзость, и навоз, и гной.

Вонью стал благоухавший на столе рейхан.
Вновь запутался в невзгодах мученик Махан;

Стал молиться. В путь пуститься сил он не имел,
Но и оставаться в месте страшном не хотел.

«Удивительное дело,— он себе сказал,—
Это что за круг, в который я теперь попал?

Прошлой ночью пировал я в сказочном саду,
А сегодня вижу снова ужас и беду.

Чем в руках пышнее роза, тем острей шипы.
Вот так урожай приносят нам сады судьбы!»

И Махан несчастный думал: «Лишь уйду от зла,
Изберу я целью жизни добрые дела!»

Брел он, горькими слезами щеки обливал,
Каялся, что не всечасно справедлив бывал.

Чистых вод достигши, слезы смыл и пот с лица.
Униженно пал на землю и молил творца:

«Вяжешь ты и разрешаешь! Боже, развяжи
Узел бед моих,— дорогу к дому укажи!

Указующий правдивым верные пути,
Мне — идущему стезею темной — посвети!»

Так, в молениях простертый, долго он лежал.
Наконец, лицо поднявши, путник увидал

Пред собою человека,— был он, как Нисан,
Весь в зеленом, словно утро свежее, румян.

И Махан спросил: «О, кто ты, в этот горький час
Мне явившийся? О, кто ты, ясный, как алмаз?»

Тот сказал: «Я — Хызр, скорбящий о твоей судьбе.
Я пришел, благочестивый, чтоб помочь тебе.

Донеслись твои обеты к сердцу моему,
И они тебя доставят к дому твоему;

Будь им верен! Крепче руку мне сожми рукой
И закрой глаза — и снова через миг открой».

В руку Хызра, не замедля, руку он вложил;
И глаза свои зажмурил, и тотчас открыл.

Там, откуда был впервые дивом уведен,—
В том саду благословенном очутился он.

Он открыл калитку сада, в свой дворец пришел,
И друзей в молчанье, в скорби у себя нашел.

Каждый в синей был одежде — скорби знак по нем.
Он о горестном поведал им пути своем.

Люди, что его любили, с ним душой сжились,
Милого оплакивая, синим облеклись.

А Махан во всем согласным с ними быть хотел:
Он лазурные одежды на себя надел.

Цветом бирюзы до смерти был он облачен;
Цветом времени покрылся, словно небосклон.

Высота небес одежды лучшей не нашла.
И лазурный шелк одеждой вечной избрала.

У людей, что избирают цвет лазурный неба,
Солнце на столе сияет, как лепешка хлеба.

Голубой цветок, что платье носит голубое,
Сердцевиною имеет солнце золотое.

И куда свой огнезарный лик ни устремит
Солнце,— все цветок лазурный на него глядит,

И любой цветок, что цветом голубым цветет,—
«Поклоняющимся солнцу» Индия зовет».

А когда луной Магриба сказ окончен был,
Шах в объятия с любовью пери заключил.

Повесть шестая. Четверг

РУМИЙСКАЯ ЦАРЕВНА

День четверг ничем от века злым не омрачен,
Муштари — планете светлой — древле посвящен.

Лишь сандаловый с зарею заклубился прах,
В цвет сандаловый оделся утром славный шах.

Из чертогов бирюзовых золотом тропы
Он к сандаловым чертогам устремил стопы.

И царевною румийской чистое вино,
Словно гурией, Бахраму там поднесено.

И пока не омрачился ясный небосклон,
В том сандаловом чертоге веселился он.

Только раковина ночи, встав из океана,
Перлами наполнила пасть Левиафана,—

Ту, которая в прекрасном Руме расцвела,
Попросил Бахрам, чтоб с сердца пыль она смела.

Юная княжна морщинку согнала с чела
И из финика источник сладкий извлекла.

Так сказала: «Дух вселенной жив душой твоей,
Первый ты из падишахов, славный царь царей.

Больше, чем песка в пустыне и воды в морях,
Дней счастливых в этой жизни да получит шах!

Ты, как солнце, свет даруешь, троны раздаешь.
Я боюсь, что для рассказа слог мой нехорош.

Все же, если сердцу шаха надобна утеха
И шафрана съесть сегодня хочет он для смеха,

Я раскрою свиток — пусть он писан вкривь и вкось,
Может быть, развеселится мой прекрасный гость.

Может быть, ему по вкусу быль моя придется,
И запомнится, и в сердце долго не сотрется».

Завершила славословье юная луна,
И поцеловала руку шахскую она.

СКАЗКА

«Двое юношей, покинув как-то город свой,
По делам торговым в город двинулись иной.

Первый звался — Хейр, что значит — Правда.
А другой? —
Шерр, что значит — Кривда. Каждый в жизни шел стезей,

С именем своим согласной. Путь их был далек.
Хейр в пути свои припасы ел, а Шерр берег.

Так, идя, они вступили через два-три дня
В знойную пустыню, словно в полную огня

Печь огромную, где бронза плавилась, как воск,
В голове вскипал от зноя пышущего мозг.

Ветерок степной ланиты обжигал огнем,
Не было воды в пустыне,— ведал Шерр о том,

И в дорогу мех немалый он воды припас
И берег его, как жемчуг, не спуская глаз.

Хейр пустыней шел беспечно и не ждал беды,
И не знал он, что в пустыне вовсе нет воды.

Он в ловушку, как в колодец высохший, попал.
День седьмой уже дороги трудной наступал.

Кончилась вода у Хейра. А у Шерра был
Мех воды, что он от взглядов друга утаил.

Видел Хейр, что Шерр коварный, полный водоем
У себя воды скрывая, пьет ее тайком,

Как благоухающее светлое вино.
Он, хотя сгорал, палимый жаждою давно,—

Губы до крови зубами начинал кусать,
Чтоб язык от недостойной просьбы удержать.

Так терзался Хейр, когда он на воду глядел,
И, как трут, от лютой жажды иссыхал и тлел.

Два прекрасных чистых лала он имел с собой,
Их вода ласкала зренье блеском и игрой,—

Так сияла ярко влага — в лал заключена.
Но была усладой взгляда, а не уст она.

Вынул Хейр свои рубины, Шерру предложил,—
На песок, впитавший воды, камни положил.

«Друг! Спаси меня,—сказал он,— от лихой беды!
Я от жажды умираю... Дай глоток воды!

Естество мое водою чистой освежи,
А взамен — мои рубины в пояс положи!»

А жестокий Шерр,— да грянет божий гром над ним,—
Развернул пред Хейром свиток с именем своим.

Он сказал: «Из камня воду выжать не трудись,
И, как я, от обольщений ты освободись.

Без свидетелей рубины ты мне хочешь дать,
Чтобы в городе на людях взять себе опять?

Я не глуп! Я на приманку эту не пойду.
Я, как див, кого угодно сам в обман введу.

Сотни хитростей, хитрее, тоньше, чем твоя,
Над хитрейшими когда-то сам проделал я.

Мне такие самоцветы не накладно взять,
Коих ты не сможешь позже у меня отнять!»

«Молви, что за самоцветы? — Хейр его спросил.—
Чтоб я за́ воду скорее их тебе вручил!»

«Это пара самоцветов зренья твоего! —
Шерр сказал.— И нет ценнее в мире ничего.

Дай глаза мне и водою жар свой охлади.
Если ж нет,— от сладкой влаги взгляды отведи

И не жди! Не дам ни капли!» Хейр сказал: «Земляк!
Неужель меня на муки и на вечный мрак

За глоток воды осудишь? Сладостна вода
Жаждущим! Зачем же очи вырывать тогда?

Ты счастливее не станешь, я же, свет очей
Потеряв, несчастным буду до скончанья дней.

О, продай за деньги воду! Всю казну мою,—
В том расписку дам,— тебе я здесь передаю

И такою сделкой счастлив буду весь свой век.
Дай воды, глаза оставь мне, добрый человек!»

Шерр ответил: «Эти баспи слышал я не раз.
У тебя, видать, немалый выдуман запас.

Мне глаза нужны! Что толку мне в твоей казне?
Для меня глаза живые выше по цене!»

Растерялся Хейр и понял, что он здесь умрет,
Что из огненной пустыни ног не унесет.

Он взглянул на мех с водою, сердца не сдержал
И, вздохнув, промолвил Шерру: «Встань, возьми кинжал,

Огнецветные зеницы сталью проколи!
И за них огонь мой влагой сладкой утоли!»

Молвив так, имел надежду Хейр в душе своей,
Что не выколет угрюмый Шерр его очей.

Но клинок в руке у Шерра мигом заблестел.
Он к измученному жаждой вихрем подлетел,

В светочи очей стальное жало он вонзил
И не сжалился — и светоч зренья погасил.

Сталью дал он двум нарциссам — розы цвет кровавый.
Словно вор выламывает лалы из оправы,—

Яблоки глазные ранил он своим клинком,
Но потом не поделился влагой со слепцом.

Платье, ценности, пожитки отнял у него
И безглазого беднягу бросил одного.

Понял Хейр, что вероломным Шерром брошен он.
Жженьем ран палим и жаждой, наг, окровавлён,—

Он упал на раскаленный огненный песок.
Хорошо еще, что видеть он себя не мог.

Некий из старейшин курдских, знатный муж, тогда
От него неподалеку гнал свои стада.

Без числа у курда было доброго скота.
Конь — вихрь, верблюды — чудо, овцы — красота!

Курд, как ветер, — друг равнины, легкий странник гор,—
По степям своим кочует, любит их простор.

Место, где трава и воды, он облюбовал
И на месте том недолгий делает привал.

А съедят траву и воду выпьют наконец,—
Дальше гонит он верблюдов и стада овец.

Этот курд случайно, за два дня до злодеянья,
Там, как лев, расправить когти возымел желанье.

Дивной красоты имел он молодую дочь.
Родинка у ней — индиец, очи — словно ночь.

У отца родного в неге дева возросла,
Под палящим небом степи розой расцвела.

Как тяжелые канаты, за собой влекла
Косы цвета воронова черного крыла.

Кудри тенью осеняют золото ланит.
Лик у выросшей на воле свету дня открыт.

Взгляд ее чудесным блеском души обжигал,
Силу обольщений рока, дивов побеждал.

Тот, кто в сети вавилонских чар ее попал,
Счастлив был и лучшей доли в мире не желал.

Черноту в кудрях у девы — полночь обрела.
А луна у лика девы свет взаймы брала.

Вот она кувшин с высоким горлышком взяла,
К потаенному колодцу за водой пошла.

Доверху кувшин холодной налила водой,
На плечо его поставив, понесла домой

И внезапно услыхала стоны вдалеке.
И пошла и увидала Хейра на песке,—

Весь в крови, в пыли лежал он, раной истомлен,
И стонал от жгучей боли, и метался он,

Бил руками и ногами оземь, умолял
Бога, чтоб от мук избавил, смерть скорей послал.

И, беспечная, беспечность мигом позабыв,
Подошла к нему с участьем, ласково спросив:

«Молви — как сюда попал ты? Кто ты — объяви,
Здесь без помощи лежащий, весь в пыли, в крови?

Кто насилие такое над тобой свершил?
Молви, кто тебя коварством адским сокрушил?»

Хейр сказал: «Земная, с неба ль ты — не знаю я;
Повесть необыкновенна и длинна моя.

Умираю я от жажды; зноем я спален:
Коль не дашь воды — я умер; напоишь — спасен».

И ключом спасенья стала дева для него.
Чистой влагой оживила Хейра естество.

Он, внезапно ободренный, как живую воду,
Воскрешающую мертвых, пил простую воду,

И воспрянул понемногу в нем увядший дух.
Тем был счастлив и случайный мученика друг.

А когда водою чистой дева смыла кровь,
То на раны глаз взглянула; хоть покрыла кровь

Их белки и туз их белый рделся, как порфир,
Цел был яблоки глазные облекавший жир.

Склеив ранки глаз поспешно, дева наложила
Чистую на них повязку. Сил еще хватило

У него подняться с места с помощью своей
Избавительницы милой и пойти за ней.

Жалостливая — страдальца за руку взяла
И, поводырем слепому ставши, повела

К месту, где шатер отцовский на холме стоял
Среди пастбища и голых раскаленных скал.

Нянюшке, которой было все доверить можно,
Поручив слепца, сказала: «Няня! Осторожно —

Чтоб ему не стало хуже — гостя доведи
До шатра!» И побежала быстро впереди.

И, войдя в шатер прохладный — к матери своей,
Все, что видела в пустыне, рассказала ей.

Мать воскликнула: «Зачем же ты с собой его
Не взяла? Ведь там загубит зной дневной его!

Здесь же для него нашлось бы средство, может быть,
Мы б несчастному сумели муки облегчить!»

Девушка сказала: «Мама, если не умрет
У порога он, то скоро он сюда придет.

Я его и напоила, и с собой взяла».
Тут в шатер просторный нянька юношу ввела.

Хейр усажен на подушки и обласкан был,
Отдохнул и отдышался, голод утолил.

Жаждой, ранами и зноем изнуренный, он,
Голову склонив, невольно погрузился в сон.

Из степей хозяин прибыл вечером домой,
Необычную увидел вещь перед собой.

Он устал, проголодался долгим жарким днем,
Но при виде раненого желчь вскипела в нем.

Словно мертвый, незнакомец перед ним лежал.
Курд спросил: «Отколь несчастный этот к нам попал?

Где, зачем и кем изранен он так тяжело?»
Хоть никто не знал, что с гостем их произошло,

Но поспешно рассказали, что его нашли
Ослепленного злодейски, одного, вдали

От жилья в пустыне знойной. И сказал тогда
Сострадательный хозяин: «Может быть, беда

Поправима, если целы оболочки глаз.
Дерево одно я видел невдали от нас.

Надо лишь немного листьев с дерева сорвать,
Растереть те листья в ступке, сок из них отжать.

Надо место свежей раны смазать этим соком,
И слепое око снова станет зрячим оком.

Там, где воду нам дающий ключ холодный бьет,—
Чудодейственное это дерево растет.

Освежает мысли сладкий дух его ветвей.
Ствол могучий раздвоился у его корней;

Врозь расходятся широко два ствола его,
Свежие, как платья гурий, листья одного

Возвращают зренье людям, горькой слепотой
Пораженным. А соседний ствол покрыт листвой

Светлой, как вода живая. Он смиряет корчи
У страдающих падучей и хранит от порчи».

Только эту весть от курда дочка услыхала,—
Со слезами на колени пред отцом упала,

Умоляя, чтоб лекарство сделал он скорей.
Тронут был отец мольбами дочери своей;

К дереву пошел и вскоре листьев горсть принес,
Чтоб от глаз любимой дочки воду горьких слез

Отвести, а воду мрака вечного — от глаз
Юноши. И молодая дева в тот же час

Листья сочные со тщаньем в ступке измельчила,
Осторожно, без осадка, сок их отцедила.

Юноше в глаза пустила чудодейный сок.
Крепко чистый повязала на глаза платок.

Тот бальзам страдальцу раны, словно пламя, жег.
Лишь под утро боль утихла, и больной прилег.

Так пять дней бальзам держали на его глазах
И повязку не меняли на его глазах.

И настал снимать повязку час на пятый день.
А когда лекарство смыли с глаз на пятый день,

Видят: чудо! Очи Хейра вновь живыми стали.
Стал безглазый снова зрячим, зорким, как вначале.

С ликованием зеницы юноши раскрылись,
Словно утром два нарцисса свежих распустились.

А давно ль с волом, вертящим жернов, схож он был!
Горячо хозяев милых он благодарил.

И с мгновенья, как открыл он зрячие зеницы,—
Мать и дочь сердца открыли, но закрыли лица.

Дочка курда полюбила гостя своего
От забот о нем, от страхов многих за него.

Кипарис раскрыл нарциссы вновь рожденных глаз,—
И сокровищница сердца в деве отперлась.

Сострадая, возлюбила юношу она,
А прозрел — и вовсе стала сердцем не вольна.

Гость же для благодарений слов не находил
И за многие заботы деву полюбил.

И хоть никогда не видел он лица ее,
Но пришельцу раскрывалась вся краса ее

В легком шаге, стройном стане и в очах ее,
Блещущих сквозь покрывало, и в речах ее

Сладких — к гостю обращенных... Ласки рук ее
Часто гостю доставались. Новый друг ее

Был прикован к ней могучей властью первой страсти.
Дева — к гостю приковалась,— это ли не счастье?

Что ни утро — Хейр хозяйский покидал порог.
Он заботливо и мудро курда скот берег.

Зверя хищного от стада отгонять умел.
Ввечеру овец несчетных в гурт собрать умел.

Курд, почуяв облегченье от забот, его
Управителем поставил дома своего

И добра. И стал он курдам тем родней родни,
И взялись допытываться в некий день они,

Что с ним было, кем в пустыне был он ослеплен.
И от них не скрыл он правды. Им поведал он

Все — и доброе и злое, с самого начала:
Как у друга покупал он воду за два лала

И о том, как рапил сталью Шерр зеницы глаз,
И, коварно ослепивши, бросил в страшный час

Одного его в пустыне, и, воды не дав,
Скрылся, платье и рубины у него украв.

Честный курд, лишь только повесть эту услыхал,—
Вознеся молитву небу, в прах лицом упал,

Возблагодарив Яздана, что не погубил
Юношу, что цвет весенний в бурю сохранил.

Женщины, узнав, что этот ангелоподобный
Юноша исчадьем ада мучим был так злобно,—

Всей душою привязались к гостю своему.
Слугам дочь не позволяла услужить ему,

А сама у них и яства и кувшин брала,
Воду Хейру подавала, а огонь пила.

И пришлец без колебаний отдал сердце ей,
Ей — которой был обязан жизнью он своей.

И когда он утром в степи стадо угонял,
Вспоминал о ней с любовью, с грустью вспоминал.

Думал он: «Не дружит счастье, вижу я, со мной.
Нет, не станет мне такая девушка женой.

Беден я, она — богата, совершенств полна.
Ей немалая на выкуп надобна казна.

Я — бедняк, из состраданья принят ими в дом...
Как же можно о союзе думать мне таком?

От того, чего я жажду и чему не быть,—
Без чего мне жизнь не радость,— надо уходить».

В размышлениях подобных он провел семь дней.
Как-то вечером пригнал он стадо из степей.

Перед курдом и любимой он своею сел.
Словно нищий перед кладом, перед нею сел,

Словно жаждущий над влагой, жаждущий сильней,
Чем когда лежал, томимый раною своей.

И во всем он им признался. Через брешь его
Сердца — скорбное открылось Хейра существо

Перед курдом. Хейр промолвил: «О гостелюбивый
Друг несчастных и гонимых! Ты рукой счастливой

Оживил мои зеницы, горькой слепотой
Пораженные! Мне снова жизнь дана тобой!

Ел и жажду утолял я с твоего стола,
Жизни чистый хлеб вкушал я с твоего стола.

Осмотри внутри, снаружи осмотри меня:
Кровью всей моей, всей жизнью благодарен я!

Отдарить же я не в силах,— в том моя вина.
Голову мою в подарок хочешь? Вот она!

Мне в беспечности отныне стыдно пребывать
И твоею добротою злоупотреблять.

Ведь за то добро, что здесь я получил от вас,
Неимущий — я не в силах отплатить сейчас.

Может, смилуется вечный надо мною бог:
Даст мне все, чтоб я пред вами долг исполнить мог.

Затоскую, лишь от милых сердце удалю...
Но уволь меня от службы, отпусти, молю!

Много дней, как я оторван от краев родных,
От возможностей немалых и трудов своих.

Завтра поутру собраться я хочу домой...
Хоть от вас и удаляюсь, но всегда душой

Буду с вами я, о ясный свет моих очей!
Я душой прикован к праху у твоих дверей.

Я уйду, но ты из сердца Хейра не гони.
Хоть и буду я далеко, Хейра не вини

За уход! Великодушья разверни крыла,
Чтобы память сожаленьем душу мне не жгла».

Лишь на этом речь окончил юноша свою,—
Будто бы огонь метнул он в курдскую семью.

Все сошлись к нему. Рыданья, стоны поднялись.
Вздохи слышались, и слезы по щекам лились.

Плачет старый курд. Рыдает дочка вслед за ним.
Стали мокрыми глаза их, мозг же стал сухим.

Кончили рыдать, в унынье головы склонив,—
Старый курд сидел в раздумье долгом, молчалив...

Поднял голову с улыбкой. Он, казалось, был
Озарен счастливой мыслью. Он освободил

Свой шатер от посторонних — пастухов и слуг,
И сказал: «О мой разумный, благонравный друг!

Может, прежде чем достигнешь города родного,
Встречными в пустыне будешь ты обижен снова!

Жил ты — окружен заботой, как родной, у нас.
Был, как приведенный небом и судьбой у нас.

Добрый же своих поводьев злу не отдает
И друзей от всяких бедствий зорко бережет.

Дочь одна лишь — дар бесценный бога у меня.
Сам ты знаешь. А богатства много у меня.

Дочь услужлива, любезна, и умна она.
Я солгал бы, коль сказал бы, что дурна она.

Спрятан мускус, но дыханьем внятен для людей,
И чадрой красы не скроешь дочери моей.

Если, друг, ты расположен к нам душой своей,
Сыном стань моим и мужем дочери моей.

Избираю нашей дочке я тебя в мужья.
Чтобы жили вы безбедно, дам богатство я,

И в покое, в ласке, в счастье буду я средь вас
Жить, покамест не наступит мой последний час!»

Только Хейр такое слово курда услыхал,
Радостный, лицом на землю он пред ним упал.

Весело они беседу в полночь завершили.
Разошлись и в благодушье, в мире опочили.

Лишь проснулось утро, словно шахский часовой,
И в степи запела птица, словно золотой

Колокольчик часового, и на трон высокий,
Со счастливым гороскопом, сел султан востока,—

Встал отец добросердечный первым с ложа сна
И устроил все, чем свадьба у людей красна.

Дочь свою с любовью Хейру отдал поутру,
Пир устроил — с Утаридом повенчал Зухру.

Ожил вялый цвет, от жажды умиравший дважды,
И в живой воде нашел он утоленье жажды.

Жаждущему сладкоустый кравчий дал во благо
Влагу слаще и целебней, чем Ковсара влага.

И они в довольстве жили — дружною четой.
И обычай древних чтили — простоты святой.

Старый курд отдает все свои богатства — стада — молодой чете... Пастбища истощились, курдам приходится откочевать. Хейр набирает запас листьев, которые исцелили его глаза, а также листья со второй ветви дерева, исцеляющие от падучей... Хейр с родными приходит в столицу. Дочь падишаха больна — у нее падучая. Шах обещает отдать ее в жены тому, кто ее вылечит. Если же кто возьмется лечить, но не сможет вылечить, тому отрубят голову... Многих врачей шах уже казнил. Хейр жалеет шахскую дочь и решает ее вылечить. Это ему удается, и он получает шахскую дочь в жены. У везира этого шаха дочь слепа. Хейр исцеляет и ее и тоже берет в жены. Два дня он проводит у дочери шаха, день — у дочери везира и три дня у дочери курда... Шах умирает и престол достается Хейру... Как-то раз случайно Хейр видит Шерра. Он велит схватить его и привести к нему в сад. Шерр вынужден во всем сознаться. Он умоляет простить его, ссылаясь на свое имя — «Шерр» — «зло»,— которое толкает его на дурные поступки. Хейр, вспоминая, что его имя значит «добро», отпускает его. Но курд — тесть Хейра, который всегда был около него с обнаженным мечом, настигает негодяя и одним ударом сносит ему голову.

И устроилось счастливо все, как Хейр хотел.
И народ благодеянья от него узрел,

Ибо в той стране, где правду властелин хранит,
Делается терн плодами, золотом — гранит.

И железо обретает свойства серебра.
Свет зениц живой у Хейра ожил для добра.

Справедливость — нерушимый был закон его,
И стоял неколебимо в мире трон его.

Листья с дерева целенья, что с собой он взял,
Людям страждущим на благо он употреблял.

А порой, коль не хватало вдруг листа ему,
К дивному он отправлялся дереву тому.

Под густой его листвою спешивался он
И степям, его взрастившим, отдавал поклон.

Он сандаловому древу благодарен был,
Одеянье соком древа ярко расцветил.

Все, чем окружал себя он, украшал сандал,
Запахом сандала шахский дом благоухал.

Скорбь любую дух сандала исцелит в тиши.
Есть в дыхании сандала признаки души.

Ты вдохнешь его — и боли головной конец,
Он смиряет лихорадку и огонь сердец».

Так на ломаном персидском языке рассказ
Кончила тюрчанка Чина в полуночный час.

Шах Бахрам ее с любовью обнял, поместил
Внутрь души и от дурного глаза защитил.

Повесть седьмая. Пятница
ИРАНСКАЯ ЦАРЕВНА

В пятницу, когда светило, вставши из-за гор,
Белым светом озарило ивовый шатер,

Шах — в одежде белой, в блеске белого венца —
Устремил шаги к воротам белого дворца.

В пятом знаке зодиака белая Зухра
Пять поклонов пред Бахрамом отдала с утра.

И покамест не напали Зинджи на Хотан,
Шах счастливый не покинул радостей майдан.

А когда сурьмой небесной сумрак обострил
Взгляд луны прекрасноликой и глаза светил,

Стал Бахрам подругу ночи нежную просить —
Сладостный рубин речений перед ним открыть,

Чтобы эхом, отраженным от дворцовых стен,
Пела повесть, забирая слух и сердце в плен.

И царевна, славословье трону вознеся
И о шахском долголетье небосвод прося,

Прочитав сперва молитву вечному творцу,
Чтобы дал сиянье счастья трону и венцу,

Молвила: «Коль шаху сказка надобна моя,
То — поведать все, что знаю, рада буду я».

СКАЗКА

«Мать моя была душевной доброты полна,
Средь старух была ягненком истинным она.

Чтобы мне не скучно было, помню, как-то днем
Мать моих веселых сверстниц пригласила в дом.

К трапезе она радушно всех их позвала,
Кушаньям — как говорится — не было числа.

Дичь, баранина и с тмином всяческая снедь,—
Перечислить угощений мне и не суметь.

Не припомню я названий лакомств дорогих,
Розовой халвы, миндальной — и сластей других.

Все там было, чем осенний урожай богат —
Яблоки из Исфахана, рейский виноград.

Но о гроздьях и гранатах речь я отложу,
Лучше о гранатогрудых девах расскажу.

Сыты лакомой едою были все давно
И пригубливать устали сладкое вино.

Смех, веселье, разговоры тут пошли у нас.
За смешным рассказом новый следовал рассказ.

Та — про чет, а та про не́чет,— все наперебой...
Каждой рассказать хотелось о себе самой.

Очередь до среброгрудой девушки дошла,
Хороша она, как сахар с молоком, была.

Лишь она заговорила — птичий хор в саду
Смолк и рыбки золотые замерли в пруду.

Упоительный открыла слов она родник,
А язык ее рассказа — был любви язык.

Нас она повеселила повестью такой:
«Жил-был юноша — любезен и хорош собой.

Юному Исе в науках был подобен он,
Как Юсуф, был светел сердцем и беззлобен он.

Люди знанья за ученость славили его,
Верующие примером ставили его.

Сад был у него — прекрасный, как Ирема сад,
Амброю благоухавший, радовавший взгляд.

В нем рождались, раскрывались райский плод и цвет,
Шла молва, что им подобных в целом мире нет.

Все сердца тянуло в этот лучший из садов,
Где росли и расцветали розы без шипов.

Если поискать,— конечно — шип один нашли б,
Но защитою от сглаза вырос этот шип.

Под тенистыми ветвями там ручьи текли.
Там нарциссы над ручьями, лилии цвели.

Этот сад благоуханный с четырех сторон
Был высокою стеною крепко огражден.

Окружил свой сад хозяин глиняной стеной,
Чтобы в тень его проникнуть глаз не мог дурной.

Не один богач о саде сказочном вздыхал
И завистливые взгляды издали бросал.

Юноша хозяин часто заходил в свой сад —
Отдохнуть от шума, зноя городского рад.

Подрезал он кипарисы и сажал жасмин,
Мускус смешивал и амбру сада властелин.

На лужайках сам фиалки сеял он весной,
Новые сажал нарциссы там он над водой.

Проводил в саду хозяин целый день порой
И лишь поздно возвращался вечером домой.

Вот однажды ранним утром в сад он свой пошел,
Изнутри калитку сада запертой нашел.

Но в саду своем он звуки чанга услыхал,
Хоть вчера к себе он в гости никого не звал.

Песни радости услышал он в саду своем,—
Веселились, и смеялись, и играли в нем.

Множество в саду звучало женских голосов,
Изнутри закрыты были двери на засов.

Горожанки молодые, видно, здесь сошлись;
Знать, они в его владенья с ночи забрались.

Наконец не стало силы у него терпеть.
Ключ забыл, как видно, дома,— нечем отпереть.

В двери, стража вызвать силясь, он стучал и звал.
Гости — слышно, веселились, а садовник спал.

Вкруг стены своей высокой юноша пошел,
Трещину в углу дувала ветхого нашел.

И, увидев, что не может он войти в свой дом,
В собственной своей ограде выломал пролом.

Так забрался потихоньку в сад и, осмотрясь,
Словно вор, в своих владеньях он пошел таясь.

Чтоб увидеть, что за гости у него гостят,
И проведать, что за повод был для входа в сад,

Чтоб разведать потихоньку, что за шум в саду,—
Не попал ли уж садовник-старичок в беду?

Среди этих — озарявших сад его — цветов,
Наполнявших свод зеленый звоном голосов,

Были две жасминогрудых, привлекавших взгляд,
Вдоль стены они ходили, охраняя сад.

Чтоб не перелез ограду дерзкий кто-нибудь
И не мог луноподобных гурий тех спугнуть.

Только он вошел в пределы сада своего
Эти девушки за вора приняли его.

Палками его избили; на землю потом
Повалив, его связали крепким кушаком.

По незнанью — в преступленье ими обвинен,—
Был избит, и исцарапан, и унижен он.

Девушки, связав беднягу, перестали бить,—
Но зато его словами начали казнить:

«Был бы всяк твоим поступком дерзким возмущен!
Нет хозяина на месте! Жаль — в отлучке он!

Если дерзкий вор посмеет брешь пробить в стене,
То садовник властен вора наказать вдвойне!

Ты немного поцарапан. В цепи заковать
Надо бы тебя, негодный, и властям предать.

Ах ты, вор, сломавший стену! — не уйдешь теперь!
Если бы ты вором не был, ты вошел бы в дверь!»

А хозяин им ответил: «Этот сад — мой сад.
Я захлебываюсь дымом — от своих лампад.

Как лиса, в дыру пролез я... И к чему слова,—
Вход сюда открыт всегда мне шире пасти льва.

Если кто в свои владенья входит воровски —
Упустить их быстро может из своей руки».

Сильно девушки смутились. Все же — им пришлось
О приметах разных сада повести расспрос.

Верно он на все ответил. Повиниться им
Приходилось. И осталось помириться им.

Девушки владельца сада впрямь признали в нем,
Он красив был, юн, любезен и блистал умом.

Если женщина такого видит, ты ее
Не удержишь, откажись ты лучше от нее.

И по духу был им близок и приятен он,
Был от плена тут же ими он освобожден.

Живо крепкий развязали шелковый кушак,
Всхлипывая — извини, мол, если что не так...

Умоляя, чтоб хозяин юный их простил,
Расторопность проявили и великий пыл.

Чтобы гнев он свой на милость к ним сменил вполне,
Принялись пролом поспешно затыкать в стене.

В щель терновник набивали, камни и тростник,
Чтобы вор и впрямь в ограду сада не проник.

И, в смущении краснея, к юноше пришли,
В оправдание — рассказы длинно завели:

«Так хорош твой сад, что в мире все затмит сады,—
Пусть обильны будут сада этого плоды!

Молодые горожанки — ото всех тайком —
Полюбили собираться тут — в саду твоем.

Все красавицы, чья прелесть славится у нас,
Луноликие — утеха и отрада глаз,

Как светильник, полный ярких недымящих свеч,—
Очень любят это место наших тайных встреч.

Ты простишь ли нас, что были мы с тобой дерзки
И что воды возмутили чистые реки?

Но сейчас ты на красавиц наших поглядишь
И с любой желанье сердца нынче утолишь.

В этот час они все вместе, верно, собрались.
Так — скорее к ним, смелее с нами устремись!

И которая из гурий взгляд твой привлечет,
Укажи нам, чтобы нéчет превратился в чет;

Только скажем мы два слова — и придет она,
И к ногам твоим покорно упадет она!»

Услыхал хозяин речи эти, и огнем,
Пробудившись, вожделенье запылало в нем.

Страсть его природе чистой не чужда была,
Целомудрия преграду вмиг она смела.

Набожность его кипящий затопил поток,
Близость женщин он спокойно вынести не мог.

И путем надежды страстной, как на яркий свет,
Он пошел жасминогрудым девушкам вослед.

Склонностью к красавцу были полны их сердца,
Довести они решили дело до конца.

Там в тени ветвей беседка старая была,
И тропинка их — к беседке прямо привела.

Девушки ему шепнули: «Малость посиди,
Притаись в беседке этой, в щелку погляди!..»

И ушли они. В беседку юноша вошел
И в стене ее отверстье малое нашел.

Живо к этому отверстью глазом он приник
И красавиц юных в сборе увидал цветник.

Шумное у них веселье вскоре началось,
Осыпать пошли друг друга лепестками роз.

Пред беседкою лужайка свежая была.
Ту зеленую лужайку роща стерегла.

Мраморный там красовался полный водоем,
Райский водоем Ковсара был его рабом.

Наполняем был он чистым, звонким ручейком,
Рыбки стаями играли и плескались в нем.

А вокруг того бассейна лилии росли,
И нарциссы и жасмины белые цвели.

Девушки, к воде склоняясь, в зеркале ее
Отраженье увидали среди рыб свое.

Их, как солнце, отражала чистая вода,
Их купаться привлекала чистая вода.

Весело они одежды начали снимать,
Пояса свои на бедрах стали распускать.

И разделись все, и в блеске наготы своей,
Словно жемчуг, погрузились в воду до грудей.

Сребротелые плескались радостной толпой,
Тела серебро скрывая темною водой.

Будто луны к Рыбе, в волны шумные вошли.
От Луны до Рыбы волны шумные пошли.

От бросающей дирхемы на воду луны,
Убегая, рыба темной ищет глубины.

Ну, а к светлым лунам этим, что играли всласть,
Рыба юноши, как в сети, и сама рвалась.

Целый день они плескались, за руки схватясь,
Над жасмином белоснежным белизной смеясь.

Шло вовсю у них веселье. Ты уж сам взгляни,
Как ладейки из гранатов делают они.

Та — Змея! Змея! — кричала, косы распустя,
И подруг своих пугала этим, не шутя.

Из беседки на купальщиц юноша смотрел,
Трепетал от нетерпенья он и весь горел,

Был как жаждущий, что воду видит пред собой,
Да не может дотянуться до нее рукой;

Трепетал он весь, не в силах дрожи превозмочь,
Как страдающий падучей в новолунья ночь.

Накупавшись, вышли девы, словно из шелков
Темно-пурпурных жасмины — на ковер цветов.

И в сияющий воздушный шелк облачены —
Шум затеяли и хохот, слышный до луны.

Видел он: средь них задорней всех одна была —
Весела, лицом румийским розово-смугла,

Всякому, кто в эти чары попадал, как в сеть,
Овладеть хотелось ею или умереть.

И таким горсть лукавством взгляд ее умел,
Что терял свой ум разумный, трезвенник пьянел.

Был пленен хозяин юной красотой луны —
Больше, чем огнем индийцы в храмах пленены.

От души его преграды веры отошли...
Праведник, кляни неверье! Верных восхвали!

Через час те девы-стражи вновь пришли вдвоем,
Быстрые, любовным сами полные огнем.

Не сошел еще хозяин с места своего,
Девы стали, как хаджибы, спрашивать его:

«О хаджа! Из тех красавиц, что ты видел здесь,
Опиши скорей — какую нам к тебе привесть?»

Юноша словами живо им нарисовал
Ту, чей облик так в нем сильно сердце взволновал.

Только молвил, те вскочили и расстались с ним,
Уподобясь не газелям, а тигрицам злым.

И в саду неподалеку вмиг нашли ее,
Лаской, хитростью, угрозой привели ее.

Ни одна душа их тайны не могла узнать;
А узнала бы, так, верно б, ей несдобровать.

Привели луну в беседку — и смотри теперь —
Чудо: заперли снаружи на щеколду дверь...

А настроили сначала, словно чанг, на лад
Эту пери, что хозяйский так пленила взгляд.

Рассказали по дороге девы обо всем —
О хозяине прекрасном, добром, молодом.

И, не видевши ни разу юношу, она
Уж была в него — заочно — страстно влюблена.

А взглянула — видит: лучше, чем в рассказе, он;
Видит — золото. В рассказе был он посребрен.

Юношу лишил терпенья, жег любовный пыл.
Он со стройным кипарисом в разговор вступил.

«Как зовут тебя?» — спросил он. «Счастье», — та в ответ.
«Молви, пери, чем полна ты?» — «Страстью!» — та в ответ.

«Кто красу твою взлелеял?» Отвечала: «Свет!»
«Глаз дурной да не коснется нас с тобою!» — «Нет!»

«Чем ты скрыта?» — «Ладом саза»,— девушка сказала.
«В чем твое очарованье?» — «В неге»,— отвечала.

«Поцелуемся?» — спросил он. «Шесть десятков раз!»
«Не пора ли уж?» — спросил он. «Да, пора сейчас!»

«Будешь ли моей?» — «Конечно!» — молвила она.
«Скоро ль?» — «Скоро»,— отвечала юная луна.

Дальше сдерживать желанье не имел он сил.
Скромность он свою утратил, стыд свой погасил.

Как она свой чанг, за кудри гурию он взял.
Обнял стан ее и к сердцу горячо прижал.

Целовать он начал страстно сладкие уста —
Раз, и десять раз, и двадцать, и еще до ста.

Поцелуи распалили вожделенье в нем,
Запылала пуще жажда наслажденья в нем.

Он целебного напитка захотел испить,
Он живой воды в потоке захотел добыть.

Скажешь ты, что на онагра черный лев напал,
Всеми лапами онагра мощными подмял.

Но беседка эта ветхой, дряхлою была
И под тяжестью двойною трещину дала.

И обрушилась внезапно, с треском развалясь.
Так не кончилось их дело дурно в этот раз.

Он раскаянья избегнул, хоть и был смущен.
Прянула она направо, а налево — он.

Чтобы люди их увидеть вместе не могли,
Вмиг они разъединились, в стороны ушли.

Скрылся юноша в чащобе лиственных купин;
Тосковал он и томился горько там один.

И к подругам воротилась тюркская луна,
Хмуря брови, сожалений искренних полна.

Музыкантшей и певицей девушка была;
Села грустная — и в руки чанг она взяла.

И из струн исторгла звуки. И у ней сама
Песнь сложилась, что влюбленных свесть могла б с ума:

«Пусть поет, рыдает чанга моего струна
Всем, кто болен тем недугом, чем и я больна.

Кто влюблен, тот в сердце носит тягостный недуг,
Я полна неразделенных сокровенных мук.

О, доколь скрывать я стану жгучую любовь?
«Горе!» — я взываю. «Горе!» — повторяю вновь.

Разума меня лишает, мучит страсть меня.
Плачу от сжигающего грудь мою огня.

Хоть влюбленных презирает гневный небосвод,
Но и мысль о покаянье в сердце не придет.

Грех раскаиваться в сильной, искренней любви!
Не вольна я больше в сердце, не вольна в крови.

Любящий своей душою здесь не дорожит.
И влюбленных в этом мире гибель не страшит!»

Так она в печальной песне, сетуя судьбе,
Всю невольно разболтала правду о себе.

Те два перла, что держали нить в своих руках,
Смысл сокрытый понимали в песнях и стихах.

Поняли они, что грустен юноши удел,
Что меж ними там разлуки ветер пролетел.

И они нашли Юсуфа бедного того,—
Словно Зулейха, вцепились вновь они в него.

Повели они расспросы,— что произошло?..
Рассказал он все, как было. Горе их взяло,

Что расставленные ими сети порвались.
И налаживать все дело вновь они взялись.

«Ночевать в саду придется нам сегодня всем.
Мы займемся лишь тобою, более — ничем.

А придумать уж сумеем повод мы любой,—
Никого мы не отпустим ночевать домой.

И наедине ты будешь вновь с луной своей.
И бери в свои объятья ты ее смелей!

Обнаруживает белый день дела людей,—
Все скрывает ночь завесой темною своей».

Так сказали и расстались эти девы с ним.
И скорей пошли к подругам молодым своим.

Только ночь куницей черной скрыла наконец
Вечер — красный, как буртасский шелковый багрец,

Только солнца гвоздь укрылся за чертой степей
И зажглась кольчуга ночи тысячей гвоздей,

Исполняя обещанье, девы те пришли
И хозяину тюрчанку-пери привели.

Тополь жаждущие корни окунул в волну,
Солнце знойное настигло робкую луну.

Рядом — гурия, и больше никого кругом,—
Тут пещерный бы отшельник согрешил тайком!

Юношу любовь палящим вихрем обвила,
От желания в кипенье кровь его пришла.

То, о чем не подобает разговор вести,
Говорю тебе, читатель; бог меня прости.

С нею он свое желанье утолить хотел,
Он жемчужину рубином просверлить хотел.

Кошка дикая по ветке кралась той порой,
Наблюдая за мышиной земляной норой.

Кошка прыгнула и с шумом вниз оборвалась,
А влюбленным показалось, что беда стряслась,

Что неведомым несчастьем угрожает ночь...
И, вскочив, они в смятенье убежали прочь.

Бросили они друг друга, шума устрашась.
Посмотри: опять лепешка их недопеклась.

Грустная — к своим подругам девушка пришла,
Полная тоски сердечной, чанг она взяла

И запела песню, струны трогая рукой:
«Снег растаял. Аргаваны расцвели весной.

Горделиво стан свой поднял стройный кипарис,
И со смехом вкруг ограды розы обвились.

Соловей запел. Веселья вспыхнули огни,
И базара наслаждений наступили дни.

И садовник сад украсил, радующий взгляд.
И державный шах явился, осмотрел свой сад.

Чашу взяв, вина из чаши он испить решил.
Но упал внезапно камень, чашу ту разбил.

О, ограбивший мне сердце! Множишь только ты
Муки сердца. Дать мне радость можешь только ты.

Я стыжусь тебе признаться, как терзаюсь я.
Сердце без тебя уныло, жизнь темна моя!»

Знающие тайну лада этих грустных слов
Тайну пери вновь узнали из ее стихов.

И печалясь и вздыхая, двинулись опять
Эти девы в чащу сада — юношу искать.

Словно вор, укравший масло, горем удручен,
Возле брошенной сторожки притаился он.

Там, где ивы нависали низко над ручьем,
Он лежал в глубокой муке, наземь пав лицом.

Еле-еле отозвался он на голос их,
Пораженный этим градом неудач своих.

Две наперсницы в тревоге повели расспрос,
И в досаде были обе чуть ли не до слез.

Но подумали: «Не поздно! Еще длится ночь...»
И пошли, чтобы влюбленным в деле их помочь.

Успокоили подругу, что, мол, нет беды...
И цветку послали кубок розовой воды.

Вот к возлюбленному пери та явилась вновь,
В ней еще сильней горела к юноше любовь.

За руку ее хозяин, крепко взяв, повел
В чащу сада и глухое место там нашел,

Где был густо крепких сучьев свод переплетен,
Будто на ветвях деревьев был поставлен трон.

Он красавицу в укромный этот уголок,
Нетерпением пылая, как в шатер, увлек.

Пышную траву, как ложе, для нее примял,
И, горя восторгом, к сердцу милую прижал.

Как жасмин — на саманидских шелковых коврах —
Наконец была тюрчанка у него в руках.

Вновь он вместе был с прекрасной девой молодой.
Млея, роза истекала розовой водой.

Наконец была в объятьях у него луна.
Он ласкал ее. В обоих страсть была сильна.

Быстро кости продвигал он, клетки захватил,
Он соперницу, казалось, в нардах победил.

Миг один ему остался — крепость сокрушить
И бушующее пламя влагой потушить.

Полевая мышь на ветке, возле ложа их,
Подбиралась осторожно к связке тыкв сухих,

Что на дереве подвесил садовод-старик.
Мышь веревку этой связки перегрызла вмиг.

На землю упала связка; раскатясь кругом,
Загремели тыквы, словно барабанный гром,

Будто грянул отступленья грозный барабан.
На ноги вскочил хозяин, страхом обуян.

С грохотом вторая связка наземь сорвалась —
И опять газель от барса вихрем унеслась.

А хозяин думал: «Стража в барабаны бьет,
Мухтасиб, стуча в литавры, с гирями идет...»

Бросив туфли, он в смятенье — тоже наутек.
Где бы спрятаться, искал он в чаще уголок.

Задыхаясь от испуга, трепеща, бледна,
К двум подругам прибежала бедная луна.

Время некое молчала; дух перевела,
В руки чанг взяла, завесу тайны подняла.

Так запела: «Я слыхала, смущена душой,
Что влюбленный повстречался с девой молодой.

Он желанного добиться от нее хотел,
Знойною объят любовью, жаром изомлел.

К сердцу юную турчанку он хотел прижать,—
Жаждет кипарис весною лилию лобзать.

К сладостным гранатам устремился он,
И под лиственною сенью с ней укрылся он;

Чтоб жемчужницей, хранящей жемчуг, овладеть,
Чтоб сокровищницы тайной дверцу отпереть.

Иву красную прозрачной кровью оросить,
И халву на чистом блюде с сахаром смесить.

Вдруг внезапная тревога, грохот, стук и гром...
Облетел цветник в осеннем ветре ледяном.

По цветку в тоске остался робкий мотылек,
Снова — жаждой истомленный от воды далек.

Почему в неверном ладе песню ты ведешь,
И когда же строй для чанга правильный найдешь?

Только я бы строй с тобою правильный нашла,
Как струна с другой струною, петь ты начала!»

Только свой напев пропела пери, в тот же миг
Быстрый ум ее наперсниц правду всю постиг.

Снова обе побежали юношу искать.
Чтоб исправить и наладить их дела опять.

Пристыжен и перепуган,— где-то под кустом,—
С вытянутыми ногами он лежал ничком.

Девы ласково беднягу подняли с земли
И расспросы осторожно, мягко повели.

Он ответил, что ни в чем он тут не виноват,
Что холодный адский ветер вторгся, видно, в сад...

А наперсницы, воскликнув: «Это ничего!» —
Все рассеяли сомненья в сердце у него.

Развязали этот узел живо. И — гляди —
Ожила опять надежда у него в груди.

В поучение сказали: «Опыт свой яви!
И настойчивее надо быть в делах любви!

Выбери побезопасней место для гнезда,
Чтоб напасть не прилетела новая туда.

Зорко вас теперь мы сами будем охранять.
Тут на подступах, как стражи, будем мы стоять».

И к подруге воротились, и опять взялись
Уговаривать прекрасный, стройный кипарис.

Чтоб она набег свой тюркский совершила вновь,
Чтоб пошла и подарила юноше любовь.

И пошла она, всем сердцем юношу любя.
Увидав ее, хозяин позабыл себя.

Он за локоны, как пьяный, ухватил ее.
В угол сада потаенный потащил ее.

Там укромная пещера вырыта была,—
Куполом над ней сплетаясь, жимолость росла.

И жасмины поднимали знамя над стеной.
Сверху — заросль, а под нею — вход пещеры той.

Места лучшего хозяин больше не искал;
Местом действия пещеру эту он избрал.

Разорвав густую заросль, путь он проложил
И красавицу проворно за собой втащил.

Расстегнул на ней он платье, позабыв про стыд.
Расстегнул и то — о чем мой скромный стих молчит,

Обнял эту роз охапку, все преграды смел...
И уверенной рукою приступ свой повел.

Палочка не окунулась в баночку с сурьмой,
А уж свод горбатый новой занялся игрой;

Несколько лисиц в пещере пряталось на дне,
Чтобы позже на охоту выйти при луне.

Выследил их волк свирепый: голоден он был.
А на этих лис давненько зубы зверь точил.

В этот миг, прокравшись к лисам, начал он их рвать.
Лисы в ужасе от волка бросились бежать,

Выскочили из пещеры. Волк за ними вслед,
Прямо по чете счастливой, здесь не ждавшей бед.

Рухнул столп любви хозяйской. Рать увидел он,
На ноги вскочил, рычаньем, лаем оглушен.

Весь в земле, в пыли, метался он по сторонам.
Что в его саду случилось — то не ведал сам;

В ужасе не понимая, что ему начать,
Где спастись теперь, не зная — и куда бежать.

Девы, что взялись усердно помогать ему,
Что от всей души хотели счастье дать ему,

Что стояли, словно стражи, на его пути,
Милую его схватили, не дали уйти.

«Что за подлые уловки? — ей они кричат.—
Ах ты этакая! Бесы, что ль, в тебе сидят?

Долго ли еще ты будешь этак с ним шутить?
Иль по злобе хочешь вовсе в нем любовь убить?

Да ведь даже с незнакомым так шутить нельзя!
А тебе, злодейка, это извинить нельзя.

На какие ты уловки хитрые пошла,
Сколько раз его ты за ночь нынче прогнала?»

Та клялась, что невиновна, начала рыдать.
Но подруги не хотели клятвам тем внимать.

Услыхал хозяин звуки гневных голосов,
Подоспел — свечу увидел между двух щипцов.

Их упреки и угрозы услыхал хаджа,
На лице любимой слезы увидал хаджа.

«Стойте! — крикнул он.— Не смейте больше обижать
Ту, что нужно, как ребенка, нежно утешать.

Берегитесь вы и знайте — нет на ней вины,
Но дела судьбы и в малом кознями полны.

Как ни ловок муж проворный на пути земном,
Но всегда пребудет неба вечного рабом.

И сегодня нам не дьявол, а пречистый бог
Помешал и удержаться от греха помог.

Нам препятствия решило небо возвести,
И несчастью преградило все оно пути.

Тот, кого с дороги правды див не совратит,
Сердцем чист. А чистый сердцем зла не совершит.

Кто к греховному привязан от рожденья, тот
Стороною от дороги праведных идет.

Эту пери был бы каждый в жены взять счастлив.
Поступать нечестно с нею мог бы только див.

И неужто эту деву может оскорбить
Тот, кто мужествен, способен искренне любить!

По пути греха не может верный муж пойти,
Если встанет добродетель на его пути.

Если яблоню весною сглазит глаз дурной,
То никто плодов не вкусит с яблони такой.

Твари здесь на нас смотрели сотней тысяч глаз,
И поэтому не вышло ничего у нас.

Что прошло,— пускай. Не будем плохо поминать.
В том же, что осталось, должен честь я сохранять.

Клятвой тайною и явной здесь поклялся я,
Перед небом и землею обещался я:

Если ночь благополучно наконец пройдет
И охотницу добычей дичь сама возьмет,—

То отныне я пред богом обручаюсь с ней
И по всем законам брака сочетаюсь с ней».

Девушки его речами были смущены,
Набожностью столь примерной были сражены.

Две сообщницы склонились перед ним главой,
Восклицая: «Слава чистой совести такой,

Что посеяла благие в сердце семена,
Что дурному совершиться не дала она!

О, как много мнимых тягот видим мы кругом,
Что нежданно озаряют счастьем и добром!

О, как часто от несчастий человек храним
Тем, что горько называл он бедствием своим!»

А когда светильник мира над горами встал
И сияньем с горизонта глаз дурной прогнал,—

Астролябии рассвета стрелка замерла
И столпы небес паучьей сетью оплела,—

С ярким факелом в деснице ветер прискакал,
И хозяина из сада в город он умчал.

От непрошеных помощниц тех освобожден,
Вновь султана знамя поднял по-хозяйски он.

Но вчерашней ночи пламя тлеющим костром
Вспыхивало — и сильнее пламенело в нем.

В городской свой дом вернувшись, слово он сдержал.
Цели он своей немедля добиваться стал.

С той ночной луною браком сочетался он,
Уплатил калым достойный, как велит закон.

Он счастливцем был, что воду чистую открыл,
И в дозволенное время сам ее испил.

Он нашел родник, как солнце чистый,— в нем — добро,—
Как жасмин чистейший, белый, словно серебро.

Происходит свет прекрасный дня — от белизны.
И от белизны небесной светел блеск луны.

Чистых нет цветов. С изъяном каждый в мире цвет,
Кроме белого,— в одном лишь в нем изъянов нет.

Все, что чистотой блистает, все, что запятнать
Невозможно, мы привыкли «белым» называть.

И в часы служений богу, перед алтарем
Вечного, мы в одеянье белом предстаем».

А когда жасминогрудой пери смолкла речь,
Шах Бахрам ее в объятья поспешил привлечь.

И таких ночей счастливых много славный шах,
Веселясь, провел в прекрасных тех семи дворцах.

И его высокий этот свод благословил,
И семи небес ворота перед ним раскрыл.

ХАКАН ЧИНА ВТОРИЧНО ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ БАХРАМА

Наступает прекрасная весна. Бахрам пирует в шатре. Прибывает гонец. Он сообщает, что хакан Чина снова коварно напал на Иран. Бахрам, проводивший время среди пиров и охот, так поражен этой неожиданной бедой, что дает обет больше никогда не пить вина... Оказывается, что войска у Бахрама нет, а казна пуста и собрать войско не на что. Злобный и лживый везир Раст-Раушан давно уже получил от Бахрама полномочия на ведение всех дел. Он жестоко обирает народ, обогащаясь сам. Все население страны давно разорено, зато расплодилась тьма чиновников-тунеядцев. Бахрам ничего не знает о действиях везира, но подозревает что-то неладное. Узнав о том, что войска нет, казна пуста и страна разорена, он начинает искать «корень разоренья». Но все молчат или лгут, все боятся жестокого везира. Бахрам пребывает в тяжком раздумье.

БАХРАМ И ПАСТУХ

Чтобы хоть немного развеять тяжкие думы, Бахрам едет охотиться на онагров. Отбившись от своих спутников, измученный жаждой, он подъезжает далеко в горах к шатру пастуха. Около шатра, к своему удивлению, он видит «казненного», повешенного на дереве большого пса... Пастух угощает Бахрама. Шах спрашивает пастуха, за что тот повесил пса. Пастух рассказывает, что пес долгое время был прекрасным сторожем, все овцы были целы, но вдруг стадо начало понемногу таять. Пропадало потом уже в день до десяти овец. Когда их осталось совсем мало, явился сборщик налогов, и пастух был окончательно разорен. В горе он лежал как-то ночью без сна и увидел, что его пес снюхался с

волчицей, блудит с ней и разрешает ей беспрепятственно таскать овец из стада. Тогда он казнил коварного пса... Бахрам понимает аллегорию: овцы — подданные, он — пастух, везир — пес,— и спешит в город. Возвратившись, он требует список заключенных в тюрьме. Он разбирает их дела и убеждается в дичайших беззакониях, творившихся от его имени. Он решает схватить везира и устроить над ним публичный суд.

БАХРАМ ВЕЛИТ СХВАТИТЬ ВЕЗИРА-НАСИЛЬНИКА

Лишь свернула ночь подстилку темную свою
И опять зарей блеснуло утро бытию,

И, как Сам — одним ударом острым двух мечей,
Солнце дня луну сразило блеском двух лучей,—

Прямо под открытым небом шах Бахрам воссел,
И вельмож, пред всем народом, он созвать велел.

Все пришли, кого князьями величал Иран,
Выстроились перед троном, соблюдая сан.

С гордым видом из чертога вышел Раст-Раушан,
Подошел к царю он дерзко, не сгибая стан.

Грозным взглядом, полным гнева, шах пронзил его,
Крикнул так, что скажешь: криком он убил его.

«Подлый раб! Ирана землю окровавил ты!
Разорил народ мой, царство обесславил ты!

Ты богатствами вселенной свой подвал набил,
А заветные богатства шахов истребил!

Вор! Тобою даже войско все разорено!
Снаряжение могучих ратей — где оно?

Подданных моих ограбил, жизнь ты их сгубил,
Кровью слуг моих примерных ноги обагрил!

Вместо податей законных все ты отбирал,
Пояса, венцы бесчестно с избранных снимал.

Ты забыл, видать, о щедрой милости моей!
Не меня — своих поступков постыдись, злодей!

«Жадность хуже, чем безбожье» — вера говорит.
Но давно забыл ты бога, веру, честь и стыд!

Если бы благодеянья шаха помнил ты,
Большей бы достиг ты чести, большей высоты.

По твоей вине терплю я ныне гнев небес,
Правда при тебе погибла, свет добра исчез.

Войско и казну сгубил ты! Ныне, в дни войны,
У меня — ни войск на месте, ни моей казны!

Неужель, злодей, ты думал, что, мол, за вином,
Обо всем забыв, владыка спит беспечным сном?

Думал: раз я пьян, ты можешь царство истребить?
Думал древнего Ирана корни подрубить?

Мол, Бахрам забыл о брани на своих пирах...
И что пусть, мол, он скорее превратится в прах?

Если я и забывался прежде за вином,
Я не забывал о вечном небе голубом!»

Сотню обручей железных словом шах ковал
И на шею Раст-Раушану тяжко налагал.

Как злодея, он везира приказал схватить
И в узилище из рая, словно в ад, тащить.

Чтоб связать везира, сняли у него тюрбан,
Потащили, заковали, бросили в зиндан.

Ноги у него — в колодках, руки же — в цепях,
Так злодей с вершин гордыни свергнут был во прах.

Тут глашатаев повсюду шах послать велел
И глашатаям повсюду выкликать велел:

«Все, кто пострадал по воле злого судии,
Пусть приносят прямо к шаху жалобы свои!»

Толпами, услышав это, воины пришли,
Жалобы на все обиды шаху принесли.

Шах затем пошел в зинданы, в тюрьмы из дворца,—
В ад, где кровью обливались скорбные сердца.

И рассказ он заточенным повелел вести —
В чем виновны, чтоб к цепям их ключ скорей найти.

Больше тысячи их было, в тюрьмы без вины
Брошенных. Все были тут же освобождены.

Из числа их шах великий выбрал семерых —
И расспрашивал отдельно каждого из них.

Каждого спросил он: «Молви, правды не тая:
Ты откуда? Чей ты родом? В чем вина твоя?»

ЖАЛОБА ПЕРВОГО УЗНИКА

Первый узник молвил кротко: «Царь мой пусть
живет,
Пусть врагов его раздавит мстящий небосвод!

Раст-Раушан безвинно брата моего схватил,
Истязаньями замучил, пытками убил.

Все имущество, богатство, землю и стада,
Что осталось после брата, взял он без суда.

Люди все вокруг жалели брата моего,
Жизнь загубленную, юность, красоту его.

Стал я жаловаться судьям, громко стал вопить,
Но везир велел за это и меня схватить.

Он сказал: «Твой брат негодный другом был врагов,
Смуту сеял он. Я вижу, что и ты таков!»

И меня в темницу бросить он велел. Потом
Приказал своим подручным мой ограбить дом.

Руки твой везир и ноги в цепи мне забил,
И в цепях я, как в могилу, в яму брошен был.

Брат мой умер, страшных пыток вынесть он не мог,
Я же был лишен бессудно рук своих и ног.

Целый год я протомился в темной яме той,
Но опять надежду жизни лик мне дарит твой».

Так о Раст-Раушане правду услыхал Бахрам,
Внял он, полный состраданья, узника словам.

Все вернул ему, что изверг лютый отобрал,
От себя ему за брата щедрый выкуп дал.

Сердце узника от страха он освободил,
Жизнь ему вернул, достаток прежний возвратил.

ЖАЛОБА ВТОРОГО УЗНИКА

У этого узника был прекрасный сад, который понравился Раст-Раушану. Везир пожелал купить его, но владелец отказался. Тогда он отнял сад силой и заключил владельца в тюрьму, чтобы тот не жаловался.

ЖАЛОБА ТРЕТЬЕГО УЗНИКА

Он был купцом, плавал по морям, торговал. Как-то он привез в столицу продавать дивный жемчуг. Везиру жемчуг понравился, он взял его, но денег не заплатил. Когда купец попытался искать правды, его бросили в тюрьму.

ЖАЛОБА ЧЕТВЕРТОГО УЗНИКА

Он был музыкантом. У него была красивая возлюбленная, певица. Везир забрал ее себе. Когда музыкант попытался увидеться с ней, его схватили и заключили в тюрьму.

ЖАЛОБА ПЯТОГО УЗНИКА

Пятый молвил: «О владыка мира, чей шатер,
Над землей четыре гордых купола простер!

Я — правитель пограничной области твоей,
Верный раб твой; я покорен был царю царей.

Я о пользе государства думал, о мой шах,
Серьги верности владыке у меня в ушах.

Благосклонность и величье шаха и Яздан
Даровали мне богатство, достоянье, сан.

И, молясь, чтоб долголетьем шах был одарен,
Был я в милостыне щедрым, как велит закон.

Раздавал я бедным людям хлеб и серебро,
Ради счастья падишаха делал я добро.

Люди радовались, если в город я въезжал,
Мудрецов, мужей науки в круг я собирал.

Благоденствием и счастьем одарен я был,
И другим я часть достатка раздавать решил.

Серебром дарил я бедных вдов, сирот, детей;
Не было людей голодных в области моей.

Помощи, бывало, просят — помощь я даю,
Падающему я руку простирал свою.

Если кто-либо, бывало, попадет в беду —
Я спасать его немедля с помощью иду.

Край богат был. Получал я много податей.
Раздавал я много, тратил много на гостей.

Я сводил доход с расходом, в счете был не плох.
Был народ простой доволен, был доволен бог.

А когда везир твой первый услыхал о том,
В гневе он котел насилья вскипятил ключом.

Взял меня под стражу, власти он лишил меня,
Мира, и добра, и счастья он лишил меня.

Он сказал: «Не сам богатства собираешь ты,
Государственные средства расточаешь ты!

Или ты алхимик тайный? Ибо ты богат
Непомерно! Иль огромный отыскал ты клад?

Овладеть твоим богатством скрытым должен я,
Сам отдай, не то отскочит голова твоя!»

И забрал себе он силой все, чем я владел;
Думал, что я клад скрываю, взять меня велел.

Истязал меня жестоко, истомил меня
И в цепях, в тюрьме подземной позабыл меня.

Так — с семьей, с детьми в разлуке — вот уже пять лет
Я томлюсь; не выйти, думал, больше мне на свет».

Шах вернул ему богатство, одарил его,
В область прежнюю к правленью возвратил его.

ЖАЛОБА ШЕСТОГО УЗНИКА

Был тогда шестой к Бахраму узник приведен,
От темницы, как от хмеля, вдруг очнулся он.

Он, произнеся молитву, пал лицом во прах:
«О пекущийся о бедных, милосердный шах!

Курд я родом, и от знатных я происхожу,
С юности своей тебе я воином служу.

И в твоих походах прежде я с тобой ходил,
Мой отец в войсках у шаха старого служил.

Как мои служили предки в прежние года,
Я — на жизнь и смерть — владыке верен был всегда.

Я во всех боях сражался, жизни не щадил,
Изнурил в походах силу и изранен был.

Наконец ты, справедливый, сам — своей рукой —
Наградил меня за службу домом и землей.

И пахал я эту землю с помощью волов,
И в поход по зову шаха был пойти готов.

Но везир-насильник, бедных воинов тесня,
Клок земли, тобою данный, отнял у меня.

Кроме поля, я доходов не имел других,
От земли жену кормил я и детей своих.

Я не раз потом к везиру с жалобой ходил;
Впал в нужду и, ради бога, помощи просил.

Умолял я справедливо поступить со мной,
Сжалиться его просил я над моей семьей,—

Жалованье из дивана мне установить
Или мне надел земельный прежний возвратить.

Закричал тут на меня он гневно: «Замолчи!
Не нужны теперь нам стрелы ваши и мечи!

Мир у нас! Никто не смеет шаху угрожать!
Царь наш мудр, он не намерен больше воевать.

Не грозит стране опасность больше от войны.
Очень дороги казне вы! Вы нам не нужны!

Ты же сам не будь ленивым! Сам — без дальних
слов —
Поработай землекопом,— будешь сыт, здоров!

А не хочешь, то запомни: спор со мной — во зло...
Продавай коня, оружье, сбрую и седло!»

Я ответил: «Дива злобы, князь, остерегись.
Немощен я, весь изранен. Бога устрашись!

Верно я служил, обиды я себе не ждал,
Видишь сам, как я на службе шаху пострадал.

Ночью ты лежал на ложе мягком, в холодке,
Я же, сна не зная, в битву шел с мечом в руке.

В жизни ты не видел горя, знал лишь свой калам;
Я — мечом своим и кровью — был защитой вам.

Бился я мечом во славу шаха моего,—
Ты каламом истребляешь воинство его.

То, что дал мне шах, верни мне! Или же — клянусь —
С жалобой за стремя шаха сам я ухвачусь!»

На меня везпр свирепо, как дракон, взглянул,
Разъярился он, чернила мне в лицо плеснул.

Крикнул: «Ты меня пугаешь, будто ты — поток,
Будто я перед тобою что земли комок.

Ах, глупец ты и невежда! То ты низко льстишь,
То пожаловаться шаху на меня грозишь?

Знай, что это сам я шаха посадил на трон,
Без меня рукою двинуть не решится он.

Под моей пятою шахи! Все они — вот тут!
По моим лишь указаньям все они живут!

Если бы они не стали слушать слов моих,
Коршуны бы расклевали головы у них!»

Так он, честь мою и славу добрую черня,
Отнял у меня оружье, сбрую и коня.

Палачам потом меня он бичевать велел,
И в цепях в зиндан подземный отослать велел.

Я в цепях, в зиндане этом, просидел шесть лет,
Думал, что к свободе, к жизни мне возврата нет».

Обласкал бойца седого справедливый шах,
Наградил его великий и счастливый шах.

И Бахрам в глазах бедняги радость увидал
И надел ему земельный вдвое больше дал.

СЕДЬМОЙ УЗНИК

Выступил седьмой по счету узник и простер
Перед сумрачным Бахрамом слов живой узор:

«Я из тех, кто устранился от мирских тревог,
Кто идет путем дервишей. Мой вожатый — бог.

Длань узка, но взор мой, словно у свечи, широк.
На горенье ради мира я себя обрек.

Надо мной людских соблазнов стал невластен глас,
И от бренья земного руки я отряс.

От воды, от сна и пищи отвратился я,
Без воды, без сна и пищи обходился я.

Не имев воды и хлеба, днем не пил, не ел;
Ночью же не спал я — ибо ложа не имел.

Утвердился я в служенье богу моему,
И не знал я дела, кроме как служить ему.

Взглядом, словом, делом людям благо приносить,—
Вот как я старался богу моему служить.

И за мною от везира стражники пришли.
Вызвал — посадил меня он от себя вдали,

Молвил: «Стал тебя в злодействах я подозревать!
А закон страны — злодеев нам велит карать...»

«О везир! — в ответ сказал я.— Мысли мне открой,
Жить по-твоему хочу я и в ладу с тобой!»

«Я боюсь твоих проклятий,— отвечал везир.—
Да скорее бог избавит от тебя свой мир!

Ты злонравен по природе, мстителен и зол.
Ты дурных молитв немало обо мне прочел.

Из-за злых твоих молений я ночной порой
Поражен, быть может, буду божией стрелой.

Только раньше, чем от злого твоего огня
Искра божьего проклятья опалит меня,

В глотке яростной молитву я запру твою:
Руки злобные в колодки с шеей закую!»

Заключил меня в оковы, неба не страшась,
Старика поверг в темницу нечестивый князь.

Как осла, что вертит жернов, он меня велел
Заковать; колодки, цепи на меня надел.

На семь лет меня он бросил в страшный сей затвор...
Я же скованные руки к небесам простер,—

Ниспроверг величье князя я мольбой своей
И сковал злодею руки — крепче всех цепей!

Хитростью меня он бросил в крепость, под замок.
Я же у него разрушил крепость и чертог!

А теперь я отдан небом доброте царя,
И из сердца бьет лучами радость, как заря!»

И прижал властитель к сердцу старца, как отца,
Льва — убийцу нечестивых, божьего борца.

Молвил: «Кроме слов о страхе пред мольбой твоей
И возмездьем,— сло́ва правды не сказал злодей.

Но отшельнику молитву запретить нельзя.
Праведника, как убийцу, осудить нельзя!

И когда творил нечестья он рукой своей,—
Он произносил проклятье над главой своей!

И проклятье это пало на него, как меч,
Голову его мгновенно похищая с плеч.

Ты в награду все богатства, чем владел везир,
Всё себе возьми! Да будет над тобою мир!»

Но сказал дервиш: «Что делать стану я с казной?
Нет! Сокровищем ценнейшим поделись со мной,

Как с тобою поделился лучшим я!» И вот
Круг он сделал, закружился, словно небосвод,

Заплясал, хоть бубен такта и не отбивал.—
И пропал. Растаял, словно вовсе не бывал.

БАХРАМ КАЗНИТ ВЕЗИРА-НАСИЛЬНИКА

Ночь. Бахрам решает своей рукой насаждать повсюду справедливость. Он не может сомкнуть глаз, вспоминая историю злого везира. Наутро он велит созвать весь народ перед дворцом.

Выводят Раст-Раушана и с позором вешают на дверях дворца. Шах произносит речь, в которой обещает отныне так казнить каждого насильника. Он рассказывает вельможам о пастухе, казнившем пса-предателя, призывает пастуха и щедро одаривает его.

ХАКАН ПРОСИТ У БАХРАМА ПРОЩЕНИЯ

Хакан, узнав о казни везира, пишет Бахраму письмо. Он сообщает, что Раст-Раушан был предателем: это он подстрекнул хакана идти войной на Иран, обещая собственноручно убить Бахрама. Хакан, пересылает все изменнические письма Раст-Раушана и клянется в верности Бахраму. Бахрам, возлюбив теперь одну лишь справедливость, отпускает семь красавиц царевен и забывает о семи дворцах — ему это все теперь не нужно.

ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЛ БАХРАМА И ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЕГО В ПЕЩЕРЕ

Лал — замóк жемчужной нити истины нетленной,
Что немолчным наполняет звоном слух вселенной,—

Лал сказал: «Когда семь башен, с чашами вина,
Перед шахом заключили сказок круг сполна,—

Купол разума, что зáмком был его уму,
О летящем своде мира подал весть ему:

«Мудрый, удались от капищ идольских земли!
Убегай уничтоженья: вечному внемли!»

Этот голос у Бахрама дух воспламенил.
Шах от сказки и обмана взоры отвратил.

Видел: свод, что скатерть жизни свертывать спешит,
Рано ль, поздно ль — все в подлунной своды сокрушит.

Он семь куполов отвеял от очей, как сон;
В дальний — к куполу иному — путь собрался он.

Ведь один тот купол тленьем будет пощажен;
В нем до дня Суда правдивый дремлет, опьянен.

Семерых седых мобедов шах призвать велел,
Семь дворцов семи мобедам передать велел;

Вечный пламенник под каждым сводом засветил;
В храмы пламени жилища страсти превратил.

Стал шестидесятилетним старцем властелин;
Забелел в кудрях-фиалках седины жасмин.

Стал служить Бахрам, как богу, истине одной
И чуждался неизменно радости земной.

Но однажды, чуждым ставший ловле и пирам,
С избранными на охоту выехал Бахрам.

Но не ловля, не добыча в степь царя влекла:
Сделаться добычей неба — цель его была.

Рать рассыпалась по степи. Каждый повергал
То онагра, то косулю. Лишь Бахрам искал

Одинокую могилу для жилья себе.
Убивал порок и злобу бытия в себе.

В солонцах, где лань к потоку в полдень не стремится,
Где газели — зол громада, а онагр — гробница,

Вдруг онагр, резвее прочих, в пыльных облаках
Показался и помчался в сторону, где шах

Ждал его. Он понял: этот ангелом хранимый
Зверь — ему указывает неисповедимый

Путь в селения блаженных. Устремил коня
За онагром. И могучий — с языком огня

Схожий легкостью и мастью — конь его скакал
По пескам, глухим ущельям средь пустынных скал.

Конь летел, как бы четыре он имел крыла.
А охрана у Бахрама малая была,—

Отрок или два — не помню. Вот — пещеру шах,
Веющую в зной прохладой, увидал в горах.

Кладезем зиял бездонным той пещеры зев.
И онагр влетел в пещеру; шах вослед, как лев,

В щель влетел, в пещере ярый продолжая лов;
Скрылся в капище подземном, словно Кей-Хосров.

Та пещера стражем двери стала для Бахрама,
Другом, повстречавшим друга в тайном месте храма.

Вдруг обвал пещеры устье с громом завалил
И Бахрамову охрану там остановил.

И хоть поняли: в пещеру эту нет пути,
Но обратно не решались отроки идти.

Вглядывались в даль степную, тяжело дыша,—
Не пылит ли войско в поле, шаху вслед спеша.

Так немалое в тревоге время провели.
Наконец к ним отовсюду люди подошли,

Увидали: вход в пещеру камнем заслонен.
И в мозгу змеи — змеиный камень заключен.

Но чтоб местопребыванье шахское узнать,
Плетками юнцов несчастных начали стегать.

Громко закричали слуги, плача и божась,
Вдруг, как дым, из той пещеры пыль взвилась, клубясь.

И раздался грозный голос: «Шах в пещере, здесь!
Возвращайтесь, люди! Дело у Бахрама есть».

Но вельможи отвалили камни, и зажгли
Факелы, и в подземелье темное вошли.

Видят: замкнута пещера в глубине степей.
Много пауков пред ними, мухи — ни одной.

Сотню раз они омыли стену влагой глаз.
Шаха звали и искали сто и больше раз

И надежду истощили шаха отыскать.
И о горе известили государя мать.

И, истерзанная скорбью, мать пришла Бахрама.
И она искала сына долго и упрямо;

Сердцем и душой искала, камни взглядом жгла,
Розу под землей искала — острый шип нашла.

Кладезь вырыла, но к кладу не нашла пути;
В темном кладезе Юсуфа не могла найти.

Там, где мать, ища Бахрама, прорывала горы,—
До сих пор зияют ямы, как драконьи норы.

И пещерою Бахрама Гура до сих пор
Это место именуют люди здешних гор.

Сорок дней неутомимо глубь земную рыли.
Уж подпочвенные воды в ямах проступили

Под лопатами, но клада люди не нашли.
Небом взятого не сыщешь в глубине земли.

Плоть и кость земля приемлет, душу — дар
небесный —
Небеса возьмут. У всех, кто жив под твердью
звездной,

Две есть матери: родная мать и мать-земля.
Кровная лелеет сына, с милым все деля;

Но отнимет силой сына мать-земля у ней.
Двух имел Бахрам богатых сердцем матерей,

Но земля любвеобильней, видимо, была:
Так взяла его однажды, что не отдала

Никому, ни даже кровной матери самой!..
Разум матери от горя облачился тьмой.

Жар горячечный ей душу иссушил, спалил.
И тогда старухе голос некий возгласил:

«О неистовствующая, как тигрица, мать!
Что несуществующего на земле искать?

Бог тебе на сохраненье клад когда-то дал;
А пришла пора — обратно этот клад он взял.

Так не будь невежественна, не перечь судьбе,
С тем простись, что рок доверил временно тебе!

Обратись к делам житейским. Знай: они не ждут.
И забудь про горе,— это долгий, тщетный труд...»

И горюющая гласу вещему вняла;
От исчезнувшего сына думы отвела,

Цепи тяжких сожалений с разума сняла
И делами государства разум заняла.

Трон и скиптр Бахрама Гура внукам отдала.
В памяти потомков слава их не умерла.

Повествующий, чье слово нам изобразило
Жизнь Бахрама, укажи нам — где его могила?

Мало молвить, что Бахрама между нами нет,—
И самой его могилы стерт веками след.

Не смотри, что в молодости — именным тавром
Он клеймил онагров вольных на́ поле! Что в том?

Ноги тысячам онагров мощь его сломила;
Но взгляни, как он унижен после был могилой.

Двое врат в жилище праха. Через эти — он
Вносит прах, через другие — прах выносит вон...

Слушай, прах! Пока кончины не пришла пора:
Ты — четыре чашки с краской в лавке маляра.

Меланхолия и флегма, кровь и желчь,— от ног
До ушей, как займодавцы, зиждут твой чертог

Не навечно. И расплаты срок не так далек.
Что ж ты сердце займодавцам отдаешь в залог?

Ты гляди на добродетель, только ей внемли,
Не уподобляйся гаду, что ползет в пыли.

Помни: все, чем обладаешь,— ткали свет и тьма.
Помни: все, чего желаешь,— яркий луч ума!

О, скорей от рынка скорби отврати лицо!
Огнь, вода, земля и воздух здесь свились в кольцо.

Хоть четыре дымохода в хижине,— тесна,
И темна для глаз и сердца, и душна она.

Ты отринь отраду мира, прежде чем уйти
В смерть, чтобы успеть от смерти душу унести.

Человек двумя делами добрыми спасет
Душу: пусть дает он много, мало пусть берет.

Много давшие — величья обретут венец.
Но позор тебе, обжора алчный и скупец.

Только тот достоин вечной славы, кто добра
Людям хочет, ценит правду выше серебра.

Нападений тьмы избегнуть не вольна земля.
На сокровищнице мира бодрствует змея.

Сладкий сок имеет финик и шипы свои.
Где целительный змеиный камень без змеи?

Все, что доброго и злого судьбы нам дарят,—
Это суть: услада в яде и в усладе яд.

Был ли кто, вкусивший каплю сладкого сначала,
Вслед за тем не ощутивший мстительного жала?

Мир — как муха, у которой медом впереди
Полон хоботок; а жало с ядом — позади.

Боже! Дай всегда идти мне правильным путем,
Чтобы мне раскаиваться не пришлось потом!

Двери милости отверзни перед Низами!
Дом его крылом — хранящим в бурю — обними!

Дал ему сперва ты славу добрую в удел;
Дай же под конец благое завершенье дел!

КОНЕЦ КНИГИ, ХВАЛА АЛАДДИНУ КОРПА-АРСЛАНУ

Только пробой осветился звонкий золотой,
Что в Гяндже был по-румийски отчеканен мной,

Начертал я имя шаха, чтоб моя рука
Прославлялась по вселенной долгие века.

Шах — в румийских одеяньях славный властелин;
Рум ему налоги платит, дань большую — Чин.

На стезе наук и знаний, словно на весы,
Разум Бахтишу он ставит и престол Исы.

Все творение земное дышит только им,
Небо, преклонясь, целует землю перед ним,

Ты, на милость чью надеждой полон Низами,
Средь касыд и песен века — песнь мою прими.

Коль найдет по нраву книгу твой высокий вкус,
Я, как твой венец высокий, в мире вознесусь.

Капельки росы медвяной стынут на шипах,
Божий дар небесной манной падает в песках.

Я тебе из сада мысли отдал лучший плод,
Чистый, сладостный, как в сливки погруженный мед.

Как инжир, в плоде роскошном сладки семена,
Сердцевина же — отборным миндалем полна.

В нем, для тех, кто ценит внешность, внешность
хороша,
А ядро для тех, кем выше ценится душа.

Мой дастан — ларец закрытый, полный жемчугов,
Ключ к нему — в особом строе и значенье слов.

Я для мудрых этот жемчуг стал на нить низать,
Что сумеют самый трудный узел развязать.

Все, что доброго и злого в ней ты видеть мог,
Это — мысли указанье, разума намек.

Я семи царевен сказки нанизал подряд.
То — не сказки; в каждой сказке потаенный клад.

Сказку — у которой платье было коротко,
Я стихом своим крылатым удлинил легко.

Ну, а сказка, что сверх меры — мнилось мне — длинна,
Для тебя была искусно мной сокращена.

Я подарок царски щедрый подношу царю,—
Кость тебе со сладким мозгом жирную дарю.

Книгу я украсил тонко, росписью одел,
Чтоб ценитель благосклонно на нее смотрел.

Почему же так узорно изукрасил я
Семь сокровищниц, в них тайну смысла затая?

Это потому, что чтенье утомляет глаз,
А на росписи узорной отдыхает глаз.

Почему так длинно, спросишь, повесть я развил,
Чтением глаза, а уши пеньем полонил?

Потому, что много мыслей было у певца,
Как красавиц узкоглазых в глубине дворца.

Я — творец, мне был каламом сахарный тростник.
Пальма, полная плодами,— эта книга книг.

Я — жестоко осажденный в городе родном —
Убежать не мог, сражаться я не мог с врагом.

Словно с голубем, с дастаном весть я шлю сейчас,
Чтобы шах пришел и друга от осады спас.

Ты, чьи серьги носит вечный небосвод в ушах,
В драгоценных одеяньях светоносный шах,

Посмотри, какое чудо мой калам явил
В дни, когда ты добрым словом дух мой окрылил!

Завершил я эту книгу в срок, когда идет
По Хиджре без семилетья шестисотый год.

На четырнадцатых сутках месяца поста
Утром положил калам я и закрыл уста.

Пусть благословеньем будет книга для тебя,
Чтобы ты со славой правил, правду возлюбя.

Пей из этих бейтов воду жизни и любви,
Словно Хызр, живой водою упоен — живи!

Будь во всем велик душою, с жизнью подружись,
Царствуй долго, и да будет радостною жизнь.

Коль простишь мне, что на зов твой не явился я,
То позволь, чтобы достойно объяснился я.

Хоть и в море наслаждений, царь мой, ты живешь,
В этой книге наслажденье вечное найдешь.

И всего, что ценно в мире, выше в наши дни
Эта книга, остальное — тяготы одни.

Пусть сто лет наш век продлится, даже пусть —
пятьсот,
Самый долгий прекратится век и в тьму уйдет.

Этот клад, что освятил я именем твоим,
Вечен будет, как небесный светоч, негасим.

Здесь, мой шах, я слово правды завершить хочу,
И тебя с открытым сердцем восхвалить хочу.

Счастлив будь! Пусть будет солнце хлебом для тебя,
Пусть стремянный будет послан небом для тебя!

Да пошлет творец владыке радостный удел
И счастливым увенчает завершеньем дел!

ПЕРЕВОД К. ЛИПСКЕРОВА

КНИГА О СЛАВЕ

ВОСХВАЛЕНИЕ ЕДИНСТВА АЛЛАХА

Глава содержит традиционное восхваление единственности, вечности и всемогущества творца, речь о сотворении мира, молитвы Низами об избавлении от тягот и т. п.

ТАЙНАЯ МОЛИТВА

Традиционная внутренняя беседа с Аллахом. Содержит мольбы о прощении грехов, о милости, о помощи, хвалы богу и т. п.

ВОСХВАЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ПРОРОКА МУХАММЕДА

Глава содержит хвалы величию пророка, речь о его значении в мироздании и т. п.

О ВОЗНЕСЕНИИ ПРОРОКА

Традиционная глава, схожая с подобными главами всех предыдущих поэм Низами (см. «Сокровищница тайн», стр. 34—39).

О ПРИЧИНАХ СОЧИНЕНИЯ ЭТОЙ КНИГИ

В ночь, светившую мне, как нам светит рассвет,
Словно данную утренним просьбам в ответ,

Ясный месяц сиял светом тихим и томным
Над землею, покрывшейся мускусом темным.

Смолк житейский базар. Шум вседневный потух.
Колокольчик верблюда не мучил мой слух.

Страж ночной задремал. Подчинясь небосводу,
Утро светлую голову спрятало в воду.

Отряхнув свои руки от суетных дел,
На себя я оковы раздумий надел.

Свое сердце раскрыв и закрыв свои очи,
Думал я в тишине, в свете сладостной ночи,

Как бы лучше расставить потайную сеть.
Наилучший улов мне хотелось иметь.

Бросив тело свое, этой ночью бессонной
Я пошел по долинам души вознесенной.

То мне, полная тайны, мерцала скрижаль,
То к страницам былым уносился я вдаль.

И огонь снизошел и потек моим садом,
Обожжен был мой ум этим пламенным ядом.

И, полны опасений, взыскуя пути,
Мысли долго не знали, куда им идти.

И кружились они в неустанном кипенье,
И узрел новый сад я в своем сновиденье.

В том саду, не похожем на наши сады,
Собирая плоды, раздавал я плоды.

Но проснулся плоды раздававший всем встречным,
И пылал еще мозг его сном скоротечным.

Возгласить муэззину пришла череда:
«Он велик, сей живой, сей живущий всегда!»

И раздался мой стон в час вседневного бденья:
Я был полон пыланья ночного виденья.

Но лишь утро благое одело восток,
Ожил я, как рассветный живой ветерок.

И зажег я над сумраком реющий светоч.
Весь рассудок мой был — пламенеющий светоч.

Волховали, предавшись словесной игре,
Мой язык и душа, как Марут и Зухре.

Я промолвил себе: «Ты забыл свое дело,
А давно уже сердце творить захотело».

Новозданным и давним напевом согрет,
Летописцам ушедшим пошлю я привет.

Я смогу светлячка сделать светочем новым.
Взяв зерно, всех возрадовать древом плодовым.

Тот, кто вкусит мой плод, громко вымолвит: «Маг,
Это древо взрастивший, воистину благ»,—

Если он не из тех, кто, так вымолвив, следом
Ловко выкрадет скарб, припасенный соседом.

Ну так что же! Весь блеск в моих замкнут словах.
Всех торгующих жемчугом я шаханшах.

Я взрастил сладкий плод, для другого он — пища.
Он — крадущийся в дом, я — хозяин жилища.

Как поставить мне лавку на этом углу?
Каждый уличный вор что-то спрячет в полу.

Тут не сыщется лавки, к которой бы воры,
Чтоб ее обокрасть, не направили взоры.

Нет! Я — море! Не жаль мне сто капель отдать.
Сколько туч мне пошлют их опять и опять!

Хоть бы тысячу лун твоя длань засветила,
Быть им все же с печатью дневного светила.

ПРИТЧА

Гуляка нашел однажды золотую монету. Он слыхал поговорку «деньги — к деньгам» и, решив разбогатеть, бросил свою монету в груду золота в лавке менялы. Монета его, конечно, ничего не притянув, зате-

рялась. Он рассердился, стал громко жаловаться, но меняла ему объяснил:

Единицу к себе тянет сотня всегда,
К одному не потянется сто никогда.

Эта притча, говорит Низами, предостережение тем, кто пытается приписывать себе его стихи.

О СВОЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Подойди ко мне, кравчий, налей мне вина,
Чтоб душа моя стала блаженно-хмельна.

Нужен горький напиток! Не жду я веселья.
Чтоб забыл я себя, дай мне горького зелья!

*

Низами! Не пора ль свою славу забыть?
Ветхий днями! Нельзя вечно юношей быть!

Свое сходство с бесстрашными львами умножим.
Размышлявший не будет с лисицею схожим.

Говорят, что лиса на далекой Руси
Очень холит свой мех, но у ловчих спроси,—

«Из-за меха и гибнет,— ответят со смехом,—
Мы лису обдерем и уйдем с ее мехом».

Все свою украшают циновку, а глядь,
Срок истек и с циновки приходится встать.

Если б тварь не стремилась к заботливой холе,
Не пришла бы она к ее горестной доле.

Ненадежен шатер семикрасочный твой.
Даже зеркало мрачно, коль съедено ржой.

Ты не красная сера. Рубин ли ты серый?
Чтоб тебя отыскать, будут найдены меры.

Чародействовать брось! Разве ты — чародей?
Лишь одни чародеи бегут от людей!

Ты, как все,— человек; человек же от века
Ищет связи с родною душой человека.

Если ты — ценный клад и быть с нами не рад,—
Знай: в земле не один укрывается клад.

Что нам в том, если запертый сад перед нами,
Чем он полон — колючками или плодами?

Юность канула, к жизни участье ушло.
«Мир, уйди!» — если юности счастье ушло.

Юность — это прекрасное! В чем же отрада,
Если нам позабыть все прекрасное надо?

Сад красив до поры, пока, свежестью пьян,
Пред веселым самшитом смеется тюльпан.

Если ж ветер ворвется холодной лавиной,
Если ворон влетит в этот сад соловьиный,

Обнажится ветвей обездоленных сеть,—
И узнает садовник, что значит скорбеть.

И погибнет рейхан, цветший здесь в преизбытке,
И забудут про ключ от садовой калитки.

Соловей! Смена дней всех страшнее угроз.
Пожелтели ланиты пылающих роз.

Был красив кипарис, да согнулся он вдвое,
И садовник ушел, замечтав о покое.

Пять десятков годов миновало, и вот
Ты, который спешил, ты уж ныне не тот.

Низко лоб ты под ношей склонил невеселой.
Утомился верблюд на дороге тяжелой.

Утомилась рука, что тянулась к вину,
Ноги стынут,— едва ли я их разогну.

Синеватым становится старое тело.
Нет уж розовой розы. Лицо пожелтело.

Быстроходный скакун,— он плетется едва.
И о ложе мечтает моя голова.

گرد و با پسی که سر گرم شد زی
تپیدا دان کو سر مایه ربحای
گرد و فیض حرمت کشت سای تی
جمای و دا شش و دا باقی

گرد و راه و نه کی از قفته بندی
ـ ـ ـ تخت گیر ز کز ندی
گرد و فی تاج شد آمیش بضاعه
پسر تن جب ـ ـ از ایا به

خصه صا و ارث ـ ـ ـ ـ ـ
خطر کا و ـ ـ ـ ـ ـ
مو به قصر با لذ ـ ـ ـ ـ ـ
ز نام و پنه به نو ـ ـ ـ ـ ـ

پنا پسه وان عظم ذ ـ ـ ـ
فر یدون ا بر عا لم سبا رک
پشا متی تاج بخشن تبا دان
بد ست با یکا ر تسو یر ان

بد ا نا یش منت ا ـ ـ ـ ـ
بر و یر یشن کر دون کر بند
ستا نه پا یه بخت بد یش
ملک را بو پر کر م ـ ـ ـ ـ

پسر یشن با د کشو ر ندی
و شیخت ما نه کشو ر کشا ئی
جما نز ا د ا یشا ن جها ن با د
بد ا نو ا نید ه ر د کا مر ان با د

سا دات ـ ـ ـ و د کا مر ا نی
پسلحه با سا دات نه کا نی
پتن بر پسا د ت تتم کر د م
در ی کا یتجا ر پسا ـ ـ ـ

دا نش با جخت شا ه کا ی
گر گو یه د ه ر حمت بر نظا می

تمت الکتاب بعون الملک الوهاب علی ید الفقیر الباه
شا بمحمود النیشا بوری غفر له و لوا لد یه و لمن نظر
شهر ربیع الاول سنه سبع و ثمانین و تسعمایه الهجریه النبویه

Утомился мой конь, столь привычный к човгану;
Понукать его к скачке я больше не стану.

Не прельщает усталого винный подвал,
И меня уж раскаянья голос призвал.

Дождь седой камфоры пробежал над горою,
И в бессилье земля облеклась камфорою.

Уж из мира душа моя просится вон,
Уж моя голова славит сладостный сон.

Не доходят до слуха красавиц упреки.
Скрылся кравчий, и пуст мой кувшин одинокий.

Ум от шуток бежит, слух — от песенных слов.
Нужно молвить: «Прости». Я в дорогу готов.

Не в чертог,— в скромный угол запрятаться мне бы!
Тянет руку ко мне ненасытное небо.

Взор свой радовать бабочкой люди непрочь,
Если светит свеча, озарившая ночь;

Но лишь только свечу уберешь ты из дома,
Страсть ночных мотыльков к ней не будет влекома.

В юных днях, когда ведал я пламенный жар,
Похвалялся я тем, что устал я и стар.

Засмеюсь ли теперь, если в сердце — печали,
Притворюсь ли юнцом, если веки устали?

Ведь блистает гнилушка, как светоч светла,
Лишь затем, что в саду беспросветная мгла.

Ведь блистает светляк и летает кичливо
Лишь затем, что во тьме быть блестящим не диво.

Если я уставал, если был я без сил,
У судьбы я спокойного крова просил.

И покой возвращал меня к жизни,— и снова
Я весельем сменял тишь спокойного крова.

А теперь, когда юности более нет
И не мне на востоке мерцает рассвет,

Преклонить бы мне голову! Бедное тело
Дело жизни оставить уже захотело.

Коль в венце щеголять хочет радостный гость,
Нужен мускус ему, не слоновая кость.

До поры, пока звезды, ведущие сроки,
Не сотрут моих дней неприметные строки,

Я в заботе, что стала мне так не легка:
Сохранить свое имя хочу на века.

Я без устали в кости играю в помогу
Утомленному телу. Ведь скоро в дорогу.

Я умчусь через мост на гилянском коне,
И вернуться в Гилян не захочется мне.

Много смертных помчалось по той же дороге!
Кто припомнит сидевших на этом пороге?

Путник, милый мне! Вспомни об этих словах.
Если ты посетить пожелаешь мой прах,

Всю непрочность гробниц ты увидишь, прохожий.
Рассыпается насыпь их тленных подножий.

Ветер прах мой развеет, по свету гоня,
И никто уж на свете не вспомнит меня.

Но, ладонь положив на могильный мой камень,
Ты души моей вспомни сияющий пламень.

Если слезы прольешь ты на прах мой,— в ответ
На тебя я пролью свой немеркнущий свет.

Ты пошлешь мне привет — я приветом отвечу.
Ты придешь — и с высот опущусь я навстречу.

И о чем ни была бы молитва твоя,—
Небо примет ее. Это ведаю я.

Ты живешь. Связи с жизнью и я не нарушу.
Ты мой прах посетишь — посещу твою душу.

Не считай, что я сир, что безлюдьем томим.
Я ведь вижу тебя, хоть тобою незрим.

За беседою помни ушедших навеки.
Не забудь о друзьях, чьи не вскинутся веки.

Если будешь ты здесь, чашу в руки возьми
И приди к тому месту, где спит Низами.

Хызр! Иль думаешь ты — светоч нашего края,—
Что прошу я вина, жаждой пьющих сгорая?

От вина я благого сгоранья желал.
Украшать я сгораньем собранья желал.

Кравчий — божий гонец, чаша — чаша забвенья,
А вино огневое — вино вдохновенья.

Знай: другого вина не пригубил я, нет!
Я всегда выполнял этот божий завет.

Коль забыл я хоть раз о велении строгом,
Будь запретно мне то, что дозволено богом!

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЭТОЙ КНИГИ ПЕРЕД ДРУГИМИ КНИГАМИ

О великом, начинает главу Низами, надо говорить так, чтобы речь была достойна предмета, или лучше уж молчать. Далее он говорит о значении слова, о высоком значении своих стихов и этой поэмы, о ее вечности, о своей уединенной жизни отшельника. Он стар, слаб и болен, но тем не менее не перестает трудиться над поэмой. В заключение он говорит об отношении своей «Книги о славе» к творению предшественника — великого Фирдоуси. Низами не повторяет его, он говорит лишь о том, что Фирдоуси в своей поэме опустил, и говорит правдиво.

НАСТАВЛЕНИЯ ХЫЗРА

Виночерпий, подай огневое вино!
Пусть меня в опьяненье повергнет оно!

В опьянении песни,— всех песней чудесней!
Созову я гуляк, всех обрадую песней.

*

Я от Хызра вчера слышал тайну; она
Никогда не была еще людям слышна:

«Ты, реченья мои, преклоняясь, берущий,
Как подарок. О ты, чашу слов моих пьющий!

Ты подобен цветку, что исполнен красы,
Из источника жизни ты выпил росы.

Я слыхал, что к стихам приступаешь ты снова,
О царях ты желаешь сказать свое слово.

На недоблестный путь не направь своих глаз,
На неправильный лад не настраивай саз.

Славный путь совершая, ты станешь достойным,
Перед каждым достойным предстанешь достойным.

Пусть твоя вслед былым не стремится стезя:
Ведь вторично сверлить жемчуг тот же — нельзя.

Все ж, повторов страшась, не нарушь всего лада,—
Все включи в свой рассказ, что включить в него надо.

Ты не плачь, упустив много ценных добыч.
Служит нам про запас несраженная дичь.

В скалах трудно родятся блестящие камни.
Взяв свой заступ, кто скажет: «Работа легка мне»?

Ко всему, что ты ищешь, что вздумал найти,—
И круты, и потайны, и тяжки пути.

Жемчуг дремлет на дне в обиталище мглистом.
Серебро при очистке становится чистым.

Те, что в водах и в скалах изведали труд,
От Быка и от Рыбы подарки берут.

Чтоб кувшин твой сверкал серебром или златом,
Расставаться не должен с Ираком богатым.

Что Хорезм или Дженд, Дихистан или Рей!
Кто промолвит гонцу: «Мчись туда поскорей!»

Курд, гиляпец, хозар и бухарец,— потреба
Хоть и есть у них в масле,— не сыщут и хлеба.

Только дивов родит страшный Мазендеран
Да людей,— тех, которым лик дьявольский дан.

Там, взглянув на травинки, увидишь: близ каждой
Сотня копий горит нападения жаждой.

Пусть же славный Ирак вековечно цветет!
Чарованьям Ирака утратился счет.

Только в нем лучших роз ароматные купы
На масла́ драгоценные вовсе не скупы.

Славный путник, ответь: для чего — не пойму —
Все велишь ты скитаться коню своему?

Взяв кирку, добывай драгоценности снова.
Снова радость нам явит добытое слово.

Искендеровы копи разрой, и опять
Будет сам Искендер эти камни скупать.

Покоривший миры покупателем станет,—
И твой труд многославный до неба достанет.

Если есть покупатель и прочен доход,
Продолжать нужно дело, что пущено в ход.

Будь посредником ловким, все делай умело,
Чтоб и вертел был цел, и жаркое поспело».

Слово Хызра усладой проникло в мой слух —
И мой разум окреп, и утешился дух.

Если нас поучает прекрасное сердце,
Принимает советы подвластное сердце.

Навсегда его речь стала мне дорога,
И уста я раскрыл, и явил жемчуга.

Подобрал я рубины, сапфиры, алмазы,
Может быть, поведу я по-новому сказы.

И метать стал я жребий, из канувших дней
Вызывая чредою великих мужей.

Много раз направлял я в былое зерцало,
Но лицо Искендера в нем снова мерцало.

Ты поглубже проникни в чреду его дел:
Он мечом, а не только лишь троном владел.

Для иных он, как царь, вечной славы достоин,
Покоритель земель, многоопытный воин.

Для иных, предстоящих пред царским венцом,
Он являлся, вещают они, мудрецом.

А иные Владыку, в смиренье глубоком,
Почитают за праведность божьим пророком.

Взяв три эти зерна,— вот задача моя,—
Плодоносное дерево выращу я.

Я сперва расскажу про венец Искендеров,
Расскажу о захвате различных кишверов.

А потом о премудрости речь поведу,
По следам летописцев отдамся труду.

Вслед за тем у великого встану порога:
Сан пророка царю был ниспослан от бога.

Я три части явил: в каждой — ценный рудник.
Я к сокровищам каждой чредою проник.

Мир подставит полу. Если клад ему нужен,
Я в нее с трех морей набросаю жемчужин.

И рисунок мой новый всем будет мной дан.
За него жду подарков от множества стран.

Не пристало, чтоб ткани, сравнимые с чудом,
Все покрытые пылью, лежали под спудом.

Где достойный владетель прославленных врат,—
Тех, которые буду расписывать рад?

Я такой их парчой облачу без усилья,
Что из праха земного поднимет он крылья.

Этой книгой, которая будет славна,
Он прославится также на все времена.

Для него она станет надежным престолом,
Вознесенным над бурным, над горестным долом.

Закреплю его имя я словом таким,
Что мирская превратность не справится с ним,

Несмываемым словом,— таким, над которым
Не волны времена в их струении скором.

Но когда вознесу я в своей мастерской
Прямо к солнцу венец его этой рукой,

Пусть на голову мне благосклонным владыкой
Ниспошлется венец от щедроты великой.

Для прекрасных стихов между всеми людьми
На усладу их душам возник Низами;

И вещает он: «В сказе живительном этом
Скрыт огонь, все умы озаряющий светом».

Пусть друзьям моим светят страницы мои!
От врагов, моя книга, страницы таи!

Наши песни — друзьям. Лютых стрел остриями
Назовем вражий голос, поющий над нами.

Чтобы стали слова мои полными сил,
Я хранителя душ о помоге просил.

Да велит он быть славе над книгой моею!
Да прославит того, кто склонится над нею!

Да восставит над ней он благую звезду,
Чтоб гадающий молвил: «В ней радость найду».

Да подаст он читающим счастья избыток,
Да подаст постигающим сладкий напиток!

Да целит она грудь, что тоской стеснена,
Да отринет печаль от печальных она!

Да излечит больных, да поможет умело
Развязать все узлы многотрудного дела!

Если станет читать ее немощный,— пусть
Станет мощным, читая ее наизусть.

Если взглянет в нее потерявший надежды,
Пусть в надежде опять поднимает он вежды.

И услышал господь эту просьбу мою,
И хвалою за все я ему воздаю.

Все ж мне слаще всего, что в чертоге для пира
Я за трапезой видел властителя мира.

ВОСХВАЛЕНИЕ ПАДИШАХА НУСРАТАДДИНА АБУ БЕКРА

Традиционное восхваление щедрости, могущества и доблестей одного из адресатов поэмы — Нусратаддина Абу Бекра Бишкина ибн Мухаммеда из династии Ильдигизидов, вступившего на престол в 1191 году после смерти своего дяди Кызыл-Арслана. Особенно хвалит его Низами за то, что он благоустроил свои владения.

ОБРАЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЦЕЛОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Традиционное обращение к шаху — адресату поэмы и восхваление его справедливости. Конец главы — просьба благосклонно принять подносимую поэму.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВСЕГО РАССКАЗА

Придавая особое значение своей последней поэме, Низами ввел в нее эту главу — краткое изложение содержания всей книги, которое должно облегчить ее понимание. В начале главы он снова говорит о высоком значении поэмы, о ее различных источниках, среди которых Низами, не найдя единого свода преданий об Александре, использовал даже пехлевийские, христианские и еврейские. Затем идет как бы «список подвигов» Александра, соответствующий порядку изложения обеих частей поэмы. Завершается глава утверждением истинности всего изложенного.

ОБРАЩЕНИЕ К СЛУШАТЕЛЯМ С ПРИЗЫВОМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА РАССКАЗ

Описание весеннего сада. Красавица подносит Низами чашу с вином и молоком и просит его забыть обо всем, кроме подвигов Искендера. Низами перечисляет затем свои первые четыре поэмы, как бы предавая их забвению, и переходит к началу рассказа об Александре.

НАЧАЛО РАССКАЗА И ИЗЛОЖЕНИЕ ИСТИНЫ О РОЖДЕНИИ ИСКЕНДЕРА

Воду жизни, о кравчий, лей в чашу мою!
Искендера благого я счастье пою.

Пусть в душе моей крепнет великая вера
В то, что дам сей напиток сынам Искендера!

*

Тот, кто царственной книгой порадует вас,
Так, свой стих воскрешая, свой начал рассказ:

Был властитель румийский. Вседневное счастье
К венценосцу свое проявляло участье.

Это был, всеми славимый, царь Филикус;
Услужал ему Рум и покорствовал Рус.

Ионийских земель неустанный хранитель,
В Македонии жил этот славный властитель.

Он был правнук Исхака, который рожден
Был Якубом. Над миром господствовал он.

Чтил все новое; думал о всем справедливом,
И с овцой дружный волк был в те годы не дивом.

Так он злых притеснял, что их рот был закрыт,
Что повергнул он Дария в зависть и в стыд.

Дарий первенства жаждал, и много преданий
Есть о том, как с царя он потребовал дани.

Но румиец, правленья державший бразды,
Предпочел примиренье невзгодам вражды:

С тем, которому счастье прислуживать радо,
В пререканье вступать неразумно, не надо.

Он послал ему дань, чтоб от гнева отвлечь,
И отвел от себя злоумышленный меч.

Дарий — был ублажен изобилием дара.
Царь — укрыл нежный воск от палящего жара.

Но когда Искендера година пришла,
По-иному судьба повернула дела.

Он ударил копьем,— и, не ждавший напасти,
Дарий тотчас утратил всю мощь своей власти.

Старцы Рума составили книгу свою
Про отшельницу, жившую в этом краю.

В день, когда материнства был час ей назначен,
Муж был ею потерян и город утрачен.

Подошел разрешиться от бремени срок,
И мученьям ужасным обрек ее рок.

И дитя родилось. И, в глуши умирая,
Мать стонала. Тоске ее не было края.

«Как с тобой свое горе измерим, о сын?
И каким будешь съеден ты зверем, о сын?»

Но забыла б она о слезах и о стоне,
Если б знала, что сын в божьем искормится лоне.

И что сможет он власти безмерной достичь,
И, царя, обрести тьму бесценных добыч.

И ушла она в мир, непричастный заботам,
А дитяти помог приходящий к сиротам.

Тот ребенок, что был и бессилен и сир,
Победил силой мысли все страны, весь мир.

Румский царь на охоте стал сразу печален,
Увидав бледный прах возле пыльных развалин.

И увидел он: к женщине мертвой припав,
Тихий никнет младенец меж высохших трав.

Молока не нашедший, сосал он свой палец,
Иль, в тоске по ушедшей, кусал он свой палец.

И рабами царя — как о том говорят —
Был свершен над усопшей печальный обряд.

А ребенка взял на руки царь и, высоко
Приподняв, удивлялся жестокости рока.

Взял его он с собой, полюбил, воспитал,—
И наследником трона сей найденный стал.

Но в душе у дихкана жила еще вера
В то, писал он, что Дарий — отец Искендера.

Но сличил эту запись дихкана я с той,
Что составил приверженец веры святой,

И открыл, к должной правде пылая любовью,
Что к пустому склонялись они баснословью.

И постиг я, собрав все известное встарь:
Искендера отец — Рума праведный царь.

Все напрасное снова отвергнув и снова,
Выбирал я меж слов полновесное слово.

Повествует проживший столь множество дней,
Излагая деянья древнейших царей:

Во дворце Филикуса, на царственном пире,
Появилась невеста, всех сладостней в мире.

Был красив ее шаг и пленителен стан,
Бровь — натянутый лук, косы — черный аркан.

Словно встал кипарис посреди луговины.
Кудри девы — фиалки, ланиты — жасмины.

Жарких полдней пылала она горячей...
Под покровом ресниц мрело пламя очей.

Ароматом кудрей, с их приманкою властной,
Переполнился пир, словно амброю страстной.

Царь свой взор от нее был не в силах отвлечь,
Об одной только дивной была его речь.

И в одну из ночей взял ее он в объятья,
И настал в жаркой мгле миг благого зачатья.

Словно тучей весенней провеяла мгла
И жемчужину в глуби морской зачала.

Девять лун протекло по стезям небосклона,
Плод оставил в свой час материнское лоно.

В ночь родин царь велел, чтоб созвал звездочет
Звездочетов,— узнать, как судьба потечет,

Чтоб открыл ему тайну, чтоб в звездном теченье
Распознал звездных знаков любое значенье.

И пришел предсказателей опытных ряд,
Чтоб вглядеться в тот мир, где созвездья горят.

И, держа пред собой чертежи и приборы,
На движенья светил старцы подняли взоры.

В высшей точке горело созвездие Льва,
На предельный свой блеск обретая права.

Многозвездный Овен, вечно мчащийся к знанью,
Запылав, устремился от знанья к деянью.

Близнецы и Меркурий сошлись, и, ясна,
Близ Тельца и Венеры катилась луна.

Плыл Юпитер к Стрельцу. Высь была не безбурна:
Колебало Весы приближенье Сатурна.

Но воинственный Марс шел и шел на подъем
И вступил в свой шестой, полный славою, дом.

Что ж мы скажем на то, что явили созвездья?
Небу — «Слава!». Завистникам — «Ждите возмездья!».

Не дивись же, что звездным велениям в лад
Из ростка распустился невиданный сад.

Звездный ход был разгадан по древним примерам,—
И пришедшего в мир царь назвал Искендером.

Ясно старцам седым семь вещали планет,
Что возьмет он весь мир, что преград ему нет.

Все сказал звездочет обладателю Рума,
Чтоб ушла от Владыки тревожная дума.

В предвкушении благ, славой сына прельщен,
Казначея призвав, сел Владыка на трон.

В светлом сердце царевом тревоги не стало,
И просящим он роздал сокровищ немало.

Славя Месяц душистый, надежд не тая,
Пил он сладкие вина в саду у ручья.

И подрос кипарис, и негаданно рано
Встал на ножки, ступая красивей фазана.

Он из люлечки к луку тянулся; к коню
Он с постельки бросался, подобный огню.

У кормилицы стрел он просил, и в бумагу
Или в шелк их пускал. Проявляя отвагу,

Вырос крепким и, отроком ставши едва,
Выходил он с мечом на огромного льва.

И в седле властно правил он, будто заране
Он бразды всего мира сжимал в своей длани.

ОБУЧЕНИЕ ИСКЕНДЕРА

Дай мне, кравчий, с вином сок целительных трав:
Хоть стремился я в рай, пил я горечь отрав!

Иль всплывет мой челнок, верный путь выбирая,
Иль пойду я на дно, и достигну я рая.

*

Отвергающий алчности шумный базар
Принимает весь мир,— как живительный дар.

Он достаток найдет,— нет блаженней удела,
Чем нести мерный труд ежедневного дела.

Будет радость ему долгим веком дана,
Если сдержит он ход своего скакуна.

Он добро расточать не желает без счета
И не ведает вечного скупости гнета.

Все жалеть — это жить в тесноте и с трудом.
Ничего не жалеть — бросить в печку весь дом.

Делай благо себе и родимому дому
Только так, чтоб не делать плохого другому.

Летописец из книги о царствах былых
Взял рассказ,— и его я влагаю в свой стих.

Филикус, осененный судьбою удачной,
Разодевший все царство в наряд новобрачный,

Мудрым сыном был горд; был обрадован он
Тем, что честью владык Искендер наделен,

Что в очах Искендера сиянье блистало,
То, которым блистать его сану пристало.

Всех достойных отцов тем гордятся сердца,
Что достоинством отпрыск достоин отца.

«За науки, мой сын! Высшей ценности камень
Только после граненья проявит свой пламень».

Никумаджис премудрый, а был он отцом
Аристотеля— начал занятья с юнцом.

Сердце отрока речи премудрой внимало,
И наук изучаемых было немало.

Строй всех царственных дел, изощренность искусств,—
Все для силы ума, для кипения чувств.

Царский сын привыкал к тем наукам служенью,
Размышленье над коими — путь к постиженью.

Мудрый старец жемчужину мира повел
В полный славою звездной возвышенный дол.

Он открыл ему высшее. Много ли встретим
Тех, кому довелось открывать это детям?

Целый год достославный царевич свой слух
Лишь к наукам склонял; был он к прочему глух.

Острым разумом в глуби наук проникая,
Он блистал, острословьем людей увлекая.

Аристотель, с царевичем вместе учась,
Помогал ему; крепла их братская связь.

Были знанья отца не к его ли услугам?
И делился он ими с внимательным другом.

Никумаджис, наставник, увидеть был рад,
Что царевича разум — сверкающий клад.

И усилил старанье он в деле науки,—
Ведь сокровища клада дались ему в руки!

Видя небом царевичу данный указ,
Он проник в него зоркостью пристальных глаз.

Пожелав, чтоб и сын упомянут был тоже
В том указе, который всех кладов дороже,—

Вместе с сыном вступил он под царственный кров,
С речью важной и полной пророческих слов:

«Ты взрастешь до небес, и тебе станет ведом
Путь на быстром коне от ученья к победам.

Всех неправых мечом ты заставишь молчать,
Ты свою в целый мир скоро вдавишь печать.

О державе твоей будут сонмы преданий.
Семь кишверов тебе вышлют пышные дани.

Все державы земли сделав царством одним,
Примешь в руки весь мир, вечным счастьем храним.

Вот тогда-то припомни былые уроки.
Жадность брось — от нее все иные пороки.

Почитая меня, с моим сыном дружи,
Все, чего он достоин, ему окажи.

Согласуй с его мненьем дела своей славы,
Ибо мудрый советник дороже державы.

Ты — счастливый, а в нем верных знаний полет.
Для счастливого знающий — лучший оплот.

Там, где ценится ум, неусыпное счастье
Тотчас в судьбах правителя примет участье.

И удача, сверкая, умножит свой свет,
Если примет от мудрости должный совет.

Чтоб достичь до луны многославным престолом,
По ступеням науки всходи ты над долом».

И царевич дал руку учителю в знак,
Что он выполнит все. И он вымолвил так:

«Верь, лишь только свой трон я воздвигну над миром,
Сын твой будет моим неизменным везиром.

Я советов его не отвергну, о нет!
Размышляя, приму его каждый совет».

Да! Когда для него стало царство готово,
Искендер, воцарившись, сдержал свое слово.

Разгадал Никумаджис — глава мудрецов,—
Что дитя это сломит любых гордецов,

И чертеж ему дал,— тот, в котором для взора
Были явственны знаки побед и позора.

«Все,— сказал он,— исчисля, вот в эти лучи
Имя вражье и также свое заключи.

В дни войны ты все линии строго исследуй,
Узнавая, чей круг обозначен победой.

Увидав, что врагу служат эти черты,
Устрашайся того, кто сильнее, чем ты».

Мудрый труд почитая услугой большою,
Взял чертеж Искендер с благодарной душою.

И в грядущем, средь бурных и радостных дней,
Он заранее знал о победе своей.

Так он жил, преисполнен огня и терпенья,
И котлы всех наук доводил до кипенья.

И затем, что он к мудрости был устремлен,
О всех старцах премудрых заботился он.

В деле каждом считался он с мастером дела,—
Потому-то удач и достиг он предела.

А царевича сверстник, наперсник и друг
Изучал всех искусств обольстительный круг.

Очень ласковым был он всегда с Искендером,
В дружелюбье служа ему должным примером.

И не мог без него Искендер повелеть
Даже слугам на вертел насаживать снедь.

К Аристотелю шел он всегда за советом,
Все дела озарял его разума светом.

И над высями гор продолжал небосвод
Свой извечный, крутящийся, медленный ход;

И ушел Филикус из пристанища праха,
И наследного свет заблистал шаханшаха.

Что есть мир? Ты не чти его смертных путей.
Уходи от его кровожадных когтей.

Это древо с шестью сторонами четыре
Держат корня. Мы, пленники, распяты в мире.

Веют вихри, и листья на дереве том
Увядают,— и падает лист за листом.

Любование садом земным скоротечно.
Нет людей, что в саду оставались бы вечно.

И взрастают посевы своею чредой.
Всходит к небу один, смотрит в землю другой.

Ты желаешь иль нет,— здесь не будешь ты доле,
Чем другие. Не думай о собственной воле!

У людей своевольных — так было досель —
На базаре воры вырезают кошель.

Ты у мира в долгу — всех гнетет он сурово.
Что ж! Отдай ему долг и уйди от скупого.

*

Шорник шел с кузнецом; их задача была
Получить старый долг от больного осла.

Сбросил серый седло со спины своей хилой,
С ног подковы стряхнул с неожиданной силой

И, свободно дыша, все отдавши долги,
Отдохнул. Смертный! Так же себе помоги!

Пылен путь бытия. Без печали и страха
Кинь свой долг и уйди от пылящего праха.

ИСКЕНДЕР ВОСХОДИТ НА ТРОН ОТЦА

После смерти Филикуса Искендер восходит на престол. Он поддерживает справедливость, установленную отцом, и сохраняет мир со всеми соседями, мудро предпочитая войне уплату дани Дарию. Далее Низами описывает мощь Искендера, которую он проявляет, лишь охотясь на львов, его мудрость, говорит о его щедрости и о всеобщей любви к нему. Искендер постоянно прислушивается к советам Аристотеля.

ЕГИПТЯНЕ ПРИНОСЯТ ИСКЕНДЕРУ ЖАЛОБУ НА НАСИЛИЯ ЗИНДЖЕЙ

Ко двору Искендера прибывают посланцы из Египта. Они горько жалуются: на их страну напали чернокожие зинджи и чинят в ней насилия. Они молят Искендера о помощи. Искендер, заступник всех угнетенных, несмотря на страх перед несметными полчищами зинджей, решает выступить. Аристотель предсказывает ему победу. Следует описание движения войск.

ПОХОД ПРОТИВ ЗИНДЖЕЙ. ГИБЕЛЬ ТУТИАНУША

Любимец Искендера, его молодой приближенный, красноречивый, мудрый и смелый Тутиануш отправляется гонцом к предводителю зинджей. Искендер поручает ему напугать предводителя и заставить его повернуть войско вспять. Рассвирепевший царь зинджей велит отрубить Тутианушу голову и выпивает чашу его крови. Войско Искендера в страхе.

ХИТРОСТЬ ИСКЕНДЕРА

И везира призвал царь великого Рума,
Чтоб открыть ему все, что таит его дума.

«Стынет войска душа, хоть была горяча,
Стала боем сыта, не вкусивши меча.

Где ж мои храбрецы? Все обдумаем строго,
В битвах всадник один сделать сможет немного.

Больше нет в моем войске бестрепетных душ,
Потому что убит был наш Тутиануш.

Всех смутил этот зиндж, выпив страшную чашу,
Страх объемлет и пеших, и конницу нашу.

Если все мое войско в испуге,— к чему
Прибегать мне напрасно к мечу своему?

Коль румийцев страшиться враги перестанут,—
Как слоны боевые в бою они станут.

Укажи мне уловку, чтоб зинджей опять
Устрашить и в бою опрокинуть и смять.

Я в нежданной беде! В деле горестном этом
Помоги мне! Приди ко мне с мудрым советом».

И, исполненный опыта, знающий мир,
Так сказал Искендеру премудрый везир:

«Государь! Твой рассудок — твой верный водитель,
Слава — спутница, меч — нападающий мститель.

Сотворивший весь мир и надир и зенит —
Пусть водителя дивного вечно хранит!

Пусть твой путь по горам, по равнинам и водам
Бирюзовым всегда осеняет он сводом!

Зинджи — змеи, считать их за равных — обман.
Каждый зиндж — это черный и злой Ариман.

Не дивись, что румийцы, увидя их скулы,
Заметались: мы — рыбы, а зинджи — акулы.

Смерть в полоне — страшна. Примиримся ли с ней?
Людоедство, однако, всем людям — страшней.

Помирись мы с собачьими, злыми сердцами,—
Нас мудрец ни один не сочтет мудрецами.

Если мы отойдем, не вступив с ними в бой,
Отдадим целый мир мы врагам на разбой.

Если в недруге нашем пропала б отвага,
Мог узреть бы в посланце немало он блага.

Но в нем разума нет, нет препятствий для зла,
И убьет он, бесспорно, любого посла.

Надо, хитро за ними последовав следом,
Стать на время тебе в их глазах людоедом.

Надо несколько зинджей схватить на пути,
И связать, и тайком в твой шатер привести.

Пусть их наземь швырнут пред властителем Рума;
Притворись, что душа твоя зла и угрюма.

Повели, чтоб снесли одну голову с плеч
И послали в поварню зажарить иль спечь.

Иль воскликни по-зинджски: «Пусть лакомство это
Будет быстро в поварне на вертел надето!»

И пускай твой приказ будет стольнику дан,
Чтоб отобран был поваром черный баран.

И пусть блюдо тебе с головою барана
Подадут без костей. Не узнают обмана.

Кожу черную рви и с глотками вина
Жуй ее, наслаждаясь, она ведь вкусна.

И мозги ты потребуй и молви: «О, чудо!
Несравнимо ни с чем это нежное блюдо!

Если б раньше я знал эту сладкую снедь!
Да! Прославленный повар мой должен краснеть,

Что откармливал мне только белых! Отныне
Жарьте мне только зинджей! Их много в пустыне...»

Пусть проведает царственный их людоед,
Что и ты — людоед. Пусть боится он бед!

В опасенье расстанется с яростным жаром,
Ведь железо железным смягчают ударом.

Если выполним ловко мы этот прием,
Чернокожих воителей мы разобьем.

Нам волками указана волчья повадка.
Глупость глупостью гни,— это верная хватка».

Приказал Искендер, чтобы воинов ряд
Для набега сомкнулся в единый отряд.

Надо пленных добыть. Те, что будут в отряде,
Пусть у самых дорог притаятся в засаде.

Смельчаки снарядились; недолго вдали
Оставались,— и пленных они привели.

Царской ставки начальник их принял и сразу
Их направил к царю, повинуясь указу.

Были злобны их лица, насуплена бровь,
А на черных затылках — багровая кровь.

Царь, похожий на льва, весь порыв исступленья,
Словно лев, в чьих когтях сжата шея оленя,

Зарычал и велел, страшно хмуря свой лик,
Одному из плененных снять голову вмиг.

Сняли голову, крикнули повару: «Живо
Приготовь для царя!» И пошли торопливо,

И сказали в поварне подробно о том,
Что на блюде царю поднести золотом.

Задрожали, увидев сей царский обычай,
Те, что стали такого владыки добычей.

Повелел государь, будто кончив труды,
Чтоб циновку постлали ему для еды.

И внесли ему то, что решили заране
(Ведь внимающий помнит о черном баране).

И в глазах у царя словно ярость была.
Рвал он мясо, как лев, рвущий шкуру осла.

И, насытившись, чмокал губами: он мяса,
Мол, не ведал вкусней. «Надо взять для припаса

Больше зинджей,— он молвил,— так зинджи вкусны,
Что мне яства другие совсем не нужны.

Чтобы окорок зинджский всегда мне давали!
Снедь, подобную этой, мы сыщем едва ли!»

Так баранье жаркое съел доблестный шах,
Ввергнув зинджей обманом в мучительный страх.

Напугав их змеиной повадкой своею,
Царь пустил этих змей к их верховному змею.

И к царю чернокожему зинджи толпой
Прибежали и подняли горестный вой:

«Не людской он породы! Он злей крокодила!
Это лапа дракона наш край захватила!

Так «зинджатину» ест он, как мы,— о, печаль! —
Сами зинджи, едим только вкусный миндаль.

Так он голову зинджа, отрезав от стана,
Поедает, как мы поедаем барана».

Все кричат и вопят, но кричи не кричи —
Темный войлок полез из-под яркой парчи.

Черный вождь приуныл. И, пылавшее ало,
Пламя черных вояк, закрутясь, потухало.

ВТОРОЕ СРАЖЕНИЕ С ЗИНДЖАМИ

Жестокая битва. Из войска зинджей выходит вперед людоед, великан Зераче, с костяным копьем в руках. Он убивает подряд семьдесят румских витязей. Тогда в бой вступает сам Искендер. Одним ударом палицы он убивает Зераче. Вслед за ним он поражает насмерть еще нескольких зинджских богатырей.

ТРЕТЬЕ СРАЖЕНИЕ С ЗИНДЖАМИ. БОЙ С ПЕЛЕНГЕРОМ

Снова жестокий бой. Румийцы изнемогают под натиском зинджей. Тогда в бой вступает сам Искендер. Он прорывает боевые порядки зинджей и вступает в единоборство с их царем Пеленгером. Противники столь могучи, что они долго не могут одолеть один другого. Наступает ночь.

ЧЕТВЕРТОЕ СРАЖЕНИЕ С ЗИНДЖАМИ И ПОБЕДА ИСКЕНДЕРА

Наутро сражение продолжается. Искендер снова проявляет чудеса силы и храбрости. От его руки пал сам Пеленгер. Войско зинджей разбито. Зинджи просят пощады. Искендер захватывает в стане зинджей несметные сокровища. Затем он, только что сам смело сражавшийся, объезжает поле битвы, смотрит на тела павших и скорбит об этих безвинно убитых.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСКЕНДЕРА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ЗИНДЖАМИ

Искендер щедро раздает своим воинам захваченные в стане зинджей сокровища. После победного пира войско отправляется домой. По дороге Искендер останавливается в Египте. У моря он закладывает город — Александрию. Затем он посылает сказочно щедрые подарки Дарию, которому все еще платит дань. Дарий вместо благодарного чувства охвачен завистью. Он отправляет Искендеру грубое послание. Искендер оскорблен, но пока молчит.

ИСКЕНДЕР ОБДУМЫВАЕТ, КАКОЙ СИЛОЙ ОБЛАДАЕТ ДАРИЙ, И ПОЛУЧАЕТ ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОБЕДЫ

Дай мне, кравчий, вина,— мне с вином веселей!
Исцеляют вином всех недужных мужей.

Я вином опьянюсь, позабыв о кручине;
Блещет солнечный свет в его ярком рубине.

*

Люди ищут; желания свойственны им.
Этот — к морю, тот — к жемчугу страстью томим.

Но не вижу людей — хоть не стал я незрячим,—
Устремленных к учителю сердцем горячим.

И вот я, соловей, тем прохожим не рад,
Что в словах назиданья не ищут отрад.

Этой песни своей утешаемый ладом,
Не стремлюсь я к морям, к их неверным усладам.

И когда я, на миг сад покинувши свой,
Поднимаю в руке апельсин огневой,—

Ни хмельных я, ни жаждущих трезвых, которым
Мог бы дать этот плод, не найду своим взором.

И тогда, под охрану тенистых оград,
Возвращаюсь я снова в свой радостный сад

И, предавшись его благодатным отрадам,
Услаждаю свой разум живительным садом.

*

Вняв мобедам древнейшим, повел свой рассказ
Мастер слов, за алмазом гранящий алмаз:

Черных зинджей сломивший, достигнувший цели,
Отдыхал Искендер, и царя лицезрели

То вкушавшим отраду спокойного сна,
То с веселою чашей хмельного вина.

В день веселый Новруза склонившийся к чаше
Царь поющим внимал, и звучали все краше

Звуки песен,— и сладких напитков ключи
Кравчий лил в его чашу в отрадной ночи.

Исполнять все желанья — единственным делом
Это стало царю, с его светлым уделом.

И Воитель, пред кем преклонялись цари,
Пировал безмятежно до самой зари.

И среди мудрецов, с ним пирующих рядом,
Он весь мир озирал справедливости взглядом.

И беседу вели, струнный слушая звон,
Аристотель — над кубком, над чашей — Платон.

И, ласкавшую слух красотою размера,
Пел певец свою песнь про царя Искендера:

«О защитник и царь, все печали забудь!
Будь венчанным всегда! Вечно радостным будь!

Пей за счастье свое только чистые вина.
Для чего то вино, где воды половина?

Время дней молодых для услады дано.
Словно пурпур, горит огневое вино.

Если юность дана,— все исполнено блага.
С нею вечно дружна виноградная влага.

Если выполнил все твой сверкающий меч,—
Должен сердце свое ты к усладам привлечь.

Под защиту свою взять весь мир тебе надо.
Людям в каждом краю в этом будет отрада.

Тронул черных, о царь,— ты и белых затронь!
Для стремлений твоих пегий надобен конь.

Весь наш мир ты займи — он тебе предназначен,—
Стяг всей власти возьми,— он тебе предназначен».

От всей дани врагов и даров египтян
Искендер ликованием был обуян.

Он подумал: всех недруго́в, поздно иль рано,
Он повергнет и дани возьмет с Хорасана.

В Руме, в Сирии, полный играющих сил,
Он бы всех своей дланью легко поразил.

Чтобы Дарий на дань уже не был в надежде,
Все просил он обратно, что дал ему прежде.

Юной силою полон был царь Искендер.
За кишвером решил покорить он кишвер.

Не унизит он впредь ему данного сана!
Препоясался царь на сверженье Ирана.

Если дерево мощно возносит главу,
Рядом с ним все деревья теряют листву.

Как-то раз на охоте, у горных подножий,
Ехал царь; был он весел, а день был погожий.

И, покинувши степи, преследуя дичь,
Поднялся он на взгорье, чтоб цели достичь.

Так сияя, как солнце, в величье веселом,
Он скакал по горам и по низменным долам.

И когда он поднялся на выступы скал,
Где меж дичи обильной, стреляя, скакал,—

На скале он заметил — дрались куропатки.
Никогда он не видывал яростней схватки!

Эта — клювом бьет в лоб, та — неистово, зло
Рвет когтистою лапою вражье крыло.

К ним пригнавши коня, на обрыве высоком
Их разглядывал царь своим пристальным оком.

Так дрались куропатки, сраженьем горя,
Что спугнуть не смогло их движенье царя.

«Что вселило в них ярость?» — подумал Великий,
В удивленье большом бой увидевши дикий.

Выбрав птицу, ей дав свое имя, судьбу
Он свою вопрошал. Он смотрел на борьбу.

Про другую из птиц тихо вымолвив: «Дарий»,—
Думал царь о борьбе и о каждом ударе.

Долго птицы дрались. Та и эта — смела,
Но победа одной все же близкой была.

Победила, конец положившая бою,
Та, которую царь счел своею судьбою.

И, увидев свой рок в этом лютом бою,
Счел он верной грядущую славу свою.

Горделиво встряхнувшись, расправила крылья
Победившая птица, взлетев без усилья.

Но не знала она о могучем орле.
Он ей шею свернул. Он стерег на скале.

Что ж! Душа Искендера не стала угрюма:
Вмиг печаль отогнал царь великого Рума.

Дух и тело — ничто! Что их скорби и гнет?
Столь отраден царю был победный полет!

Поведет его рок по счастливому следу!
Дарий будет сражен! Царь предвидел победу,

Хоть он ведал, что счастья победного дни
Ненадолго блеснут: ненадежны они.

Прорубили меж скал этих некогда люди
Арку дивную, — всюду твердили о чуде,—

От нее, что вздымалась в заоблачный свет,
Получал вопрошающий громкий ответ:

Гулким голосом скал, схожим с гулом потока,
Открывалось ему предвещание рока.

И велел Искендер, чтоб ученый сыскал
Все грядущее в вещем звучании скал,

Чтобы стал ему срок схваток яростных ведом,
Чтоб узнал — приведут ли сраженья к победам.

И спросил у гудящего свода мудрец
О войне и каков ее будет конец.

Не на горе ли царь предан ярому пылу:
Он могучего Дария сломит ли силу?

«Сломит силу»,— послышалось. Этот ответ
Заключал предвещанье и должный совет.

И царю этот край, эти вещие горы
Стали твердой и мощною точкой опоры.

И погнал он коня от равнин и от скал,—
В край веселых пиров в тот же день прискакал.

И созвал он совет. Кипарисом красивым
Он казался, и ликом сиял он счастливым.

Он повел свою речь о содеянном им
И о том, что в сражениях непобедим.

«Если я, в своей силе прекраснее бури,
Свой приподнял венец до небесной лазури,

Для чего вымогателям дань посылать?
Для чего унижаться и мира желать?

Что мне Дарий! И в чем для победы препона!
Славный трон мой не хуже иранского трона!

Он в венце? Ну так что же! А я вот — с мечом,
Если есть у нас меч, и венец мы возьмем!

На меня пусть он бросит огромные рати!
Пусть! Защита — в дарованной мне благодати.

Надо мною небес распростерлась рука,
Путь мой праведен, единодушны войска.

Те войска, что я шлю на моря и на сушу,
Представляют собой неделимую душу.

Расколоться скале, если трещина есть.
От раскола в войсках гибнет ратная честь.

Мне поможет судьба. Что ж я медлил дотоле?
Поднимусь и воссяду на вражьем престоле.

Мне ли данником Дария следует быть?
То, что подать мы слали, пора позабыть.

О мужи хитроумные, молвите слово!
Нет ли в помысле этом чего-либо злого?

Вы для распри с Ираном найдите предлог,
Вы откройте мне все, чтобы взвесить я смог».

Те, что видят великих деяний исходы,
Стали славить царя благотворные годы:

«До поры, пока в звездах течет небосвод
И судьбу предвещает их медленный ход,

Да блестишь меж созвездий ты вечною славой,
Словно месяц, являя свой лик величавый!

Проницателен ты, ты прозреньем силен,
И небесною благостью ты осенен!

Будь повсюду, где б ни был, единым владыкой
И, чего б ни искал, будь с добычей великой!

О исполненный знанья! О мудрости свет!
Нам судьбой указуется должный ответ.

Вот решенье. Оно всем нам кажется верным:
Ты не действуй, о царь, в нетерпенье безмерном.

Выжидай,— ведь когда этот выступит враг,
Быстрым сдержишь мечом его дерзостный шаг.

Вскинешь меч — и твой враг — ты ведь небу дороже —
Потеряет свой меч, да и голову тоже.

Если к мощному льву устремится олень,—
Жертву примет земля в этот яростный день.

Дарий мощен в пирах. Если ж выйдет он к бою,
То ручьем его кровь потечет пред тобою.

Больше войска, чем он, ты сумеешь собрать.
Ты возьмешь с него дань, коль сильней твоя рать.

Ты спешишь в долы зинджей, к пустыне их дальней,
Он спешит в тесноту знойной, сладостной спальни.

Ты — в заботах о вере, он — сеет обман.
Ты — крылатый архангел, а он — Ариман.

Ты—с мечом, он—с вином. Вас равнять мог бы кто же?
Ты — врагов подавлял, он — продавливал ложе.

Справедлив ты и благ, злее молота он.
Ты — для славы весы, а для золота — он.

Ты — не дремлешь, о царь, он — простерт без сознанья.
Ты — рождаешь добро, он — рождает страданья.

Знаем всё о войсках его, о городах.
Нет к нему тяготения в добрых сердцах.

Он добьется своим притеснением ярым:
Встанет мрак над его отшумевшим базаром.

А за ласки твои, за твой праведный суд
Все до неба седьмого тебя вознесут.

Для чего же в борьбе изнуряться напрасной?
Ложь сама погибает от правды прекрасной.

Твое счастье с тобою. Светло впереди.
На престоле своем безмятежно сиди.

Ты к корыстным делам проявляй безучастье.
Нет победы в деньгах, не в имуществе — счастье.

Только смелый царит, прославляясь навек.
Все иное — ничто, и ничто — человек.

Ведь не каждый возвысится. Помнить мы будем
Только тех, кто для блага является к людям.

Грозный лев потому стал подобьем царей,
Что добычей своей наделяет зверей.

Что тебе города, и вершины, и степи,
Если, мир обретя, ты замкнешь его в цепи?

Завоеванный мир можешь благом назвать,
Если занял весь мир, чтоб его раздавать.

Благородный повсюду находит помогу.
Не уходит никто за ничтожным в дорогу.

И тому, у кого лишь сырая квашня,
Хлеб готовый дадут до ближайшего дня.

Мы с тобой в нашем царстве величьем владеем.
У врага — только клад, охраняемый змеем.

Он — что гром, ты же молний разящих полет.
Он — хранитель казны, ты — источник щедрот.

Твой отец был что лев. Хоть исполнен был чести,
Неторопливо за меч он хватался для мести.

Ловчий львов! Ничего ты врагу не спускал,
Извлекая мечом кровь из каменных скал.

И когда сотни зинджей, подняв свои дроты,
На тебя, словно дивы, стремили полеты,—

Пред тобою, как твой изобильный улов,
Что метнули они? Только сотни голов!

Если ты встал горой перед черным потоком,
Ты посмотришь на капли презрительным оком.

Крокодилу, сломившему злого слона,
Не для трудных сражений косуля дана.

Ведь онагры бегут, тигров тронуть не смея,
Не пойдет муравей на могучего змея.

И орлу, на ягнят устремившему взгляд,
Лишь пустая забава — налет на цыплят.

Тот, кто прахом рожден, пред избранником-шахом
Повеленьем неба становится прахом.

Ты — носитель всевластья, и мнится всем нам:
Недруг — рана земли, ты — целебный бальзам.

Так о славе твоей свод промолвил всезвездный,
Что твой враг не избегнет назначенной бездны.

Так он ясно сказал, что в грядущей борьбе
Одоленья венец предназначен тебе.

И когда в свой чертеж ты вглядишься, Всеславный,
То большую победу увидишь ты явной.

В дни, когда Пеленгер, черных зинджей глава,
Обладал еще силою черного льва,

Мы исчислили все надлежащие числа
И узнали: над ним злая гибель нависла.

Если то исчисленье нам все предрекло,
То и ныне добро мы предвидим и зло».

Вняв благим пожеланьям и слову совета,
Царь готовиться стал к покорению света.

И везде, где он брался за чашу иль меч,
Предвещала добро ему звездная речь.

Указаний счастливых ищи, ведь готово
Послужить нам на благо счастливое слово,

Но о знаках недобрых не лучше ль молчать?
Пусть же все их укроет молчанья печать.

УЧЕНЫЕ ДЕЛАЮТ ДЛЯ ИСКЕНДЕРА ЗЕРКАЛО

Виночерпий, приди! Дух поникнувший мой
Ты пурпурным вином от печали омой.

Дай в саду моем травам сияньем единым
Заблестеть с этим сладким и ярким рубином!

*

Есть блаженные дни: чуть развеется мгла,
В твои мысли проникнут благие дела,—

И все то, что создашь, что упрочишь с отрадой,
В долгой жизни твоей тебе станет наградой.

Из тумана предчувствий поднявши чело,
Зришь по звездам: грядущее будет светло.

И во мраке заблещет нам радостный случай:
Светлый дождь посылается сумрачной тучей.

Двери помощи, друг, пред собой не закрой,
И тоска и печаль нам полезны порой.

Наши тяжкие вздохи — источник надежды:
Внемлет им сам господь, к нам склоняющий вежды.

Ты не хмурь свои брови в предчувствии бед,—
Посмотрись лучше в зеркало славных побед.

*

Блеск румийской парчи возвратя восприятью,
Так рассказчик начало скрепляет печатью:

Когда смог Искендер всех к румийцам привлечь,
Миру зеркалом стал его царственный меч.

Чтоб земля, как невеста, надела уборы,
Ведь бросать на свой образ ей надобно взоры.

До царя Искендера не знали зеркал,
Но указ его царский к ним путь изыскал.

Серебро вместе с золотом сплавили. Сплаву
Дали блеск. Налощили поверхность на славу,

Но хоть сплав и сиял золотистым огнем,
Отражения чистого не было в нем.

Мастера много разного брали металла,
И негодный металл их рука отметала,

Но железо, им всем с отраженьем представ,
Доказало, что в нем есть им нужный состав.

И ковач, помышляя о зеркале плоском,
Создал гладь, отражавшую все своим лоском.

Чтя весь мир, взял художник сверкающий лист
И увидел, что мир в нем и ясен и чист.

Но нашли очерк зеркала все же не сразу,
В нем неверным сперва все мерещилось глазу.

В узком зеркале — узкий увидели лик,
А в широком — широкий пред взором возник.

И четыре угла не годились. И странным
И неточным был мир на листе шестигранном.

И для зеркала круглое было дано
Очертанье. Таким и осталось оно.

Как бы круглое зеркало длань ни вздымало,
Отражение в нем не менялось нимало.

Так железо, блистающим водам под стать,
Царь принудил в созданье своем заблистать.

Если смотришь ты в зеркало,— значит, примера
Все еще не забыл ты царя Искендера.

В день, когда в круглом зеркале грубый состав
Стал сиять и железо смягчило свой нрав,

Первым царь поглядел на поверхность благую.
Изумила одна драгоценность другую,—

И, лица своего увидавши овал,
Краю зеркала царь поцелуй даровал.

И невесты с тех пор — есть на то указанья —
Перед свадьбою зеркалу дарят лобзанья.

ДАРИЙ ТРЕБУЕТ ОТ ИСКЕНДЕРА ДАНЬ. ОТВЕТ ИСКЕНДЕРА

Искендер пирует в кругу мудрецов. Прибывает посол от Дария с требованием дани, которую Рум издавна платит Ирану. Искендер в гневе отказывается платить дань и говорит о своей мощи и своем величии. Посол возвращается к Дарию с этим ответом. Дарий вновь посылает его

к Искендеру с символическими дарами: Прибыв ко двору Искендера, посол вручает ему човган и мяч и говорит, что Искендер еще дитя и ему «забава пристала». Затем он рассыпает перед Искендером зерна кунжута и передает слова Дария: «Чтоб войска мои счесть, сосчитай эти зерна». Искендер же в этих символах видит предзнаменование своей победы — мяч схож с земным шаром, и, следовательно, он, Искендер, будет владыкой мира. Затем он приказывает принести птиц, которые тут же склевали все зерна кунжута. В ответ он посылает Дарию зерна руты, как знак того, что у него войск еще больше... Дарий собирает огромное войско и идет на Рум.

ИСКЕНДЕР ГОТОВИТ ВОЙСКО ДЛЯ ВОЙНЫ С ДАРИЕМ

Войско Дария вторгается в Армению. Лазутчики советуют Искендеру ночью внезапно напасть на иранцев. Он отвергает этот совет, говоря: «Побеждает не тайно дневное светило». Он собирает огромную рать — шестьсот тысяч воинов. Готовясь к бою, Искендер созывает военный совет. Если мы не разобьем Дария, говорит он, мы погибнем, а если разобьем и свергнем его, нарушим справедливость, ибо Дарий — законный правитель. Советники отвечают Искендеру, что Дарий — насильник и притеснитель в своей стране, подданные его ненавидят и жаждут его свергнуть, таким образом, победа над ним справедлива. Нужно быть готовым к бою, говорят они, но первым нападать не следует... Искендер ведет войска под огромным синим стягом, на котором вышит дракон.

ДАРИЙ ОБСУЖДАЕТ СО СВОИМИ ВЕЛЬМОЖАМИ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ИСКЕНДЕРА

У Дария военный совет идет совсем иначе, чем у Искендера. В ответ на вопрос шаха о том, как сразить непобедимого македонца, советники в страхе молчат, зная, что Дарий не любит никаких советов. Наконец, престарелый витязь Ферибурз решается заявить шаху, что известно древнее предсказание о победе некоего румийца над иранцами и падении иранской державы. Лучше не вступать в бой с румийцем Искендером, говорит Ферибурз, лучше помириться с ним. Дарий втайне испуган словами Ферибурза, но внешне его охватывает приступ ярости. Он набрасывается на старого воина, называя его болтливым стариком с прогнившими мозгами, похваляется, что сломит заносчивого юнца Искендера одним ударом. Злобными речами он старается унизить своего опасного противника. Мир победе, говорит Дарий, может предпочесть только старик, неспособный воевать. Ферибурз пытается лестью успокоить Дария, но разгневанный царь зовет писца и диктует ему письмо Искендеру, исполненное яда.

ПИСЬМО ДАРИЯ ИСКЕНДЕРУ С УГРОЗАМИ И УПРЕКАМИ

Дарий посылает Искендеру письмо, в котором бахвалится своей мощью и, угрожая уничтожить его и румийское войско, предлагает ему покориться.

ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО ИСКЕНДЕРА ДАРИЮ

Искендер пишет Дарию, что все они лишь рабы всемогущего Аллаха и только он держит в своей руке судьбы мира, и поэтому еще неизвестно, кому будет дарована победа в предстоящей битве. Искендер напоминает Дарию, что тот первый двинул против него войска, и предлагает покончить ссору миром. Дарий, получив письмо, отдает приказ войскам начинать битву.

БОЙ ДАРИЯ С ИСКЕНДЕРОМ ПРИ МОСУЛЕ

Огромные войска Дария и Искендера построены одно против другого. Воины, страшась жестокой сечи, еще надеются на мир, но их предводители неумолимы. Начинается сражение. И Дарий и Искендер — в самой гуще схватки. Искендеру едва удается спастись от яростного натиска воинов Дария. Румийцы с трудом устояли. Наступает ночь. К Искендеру приходят два полководца Дария и предлагают ему за награду убить деспота, много раз оскорблявшего их. Искендер не верит им, осуждает их и все же дает согласие:

Но ведь каждый любое предпринял бы дело,
Лишь бы только несчастье врагов одолело.

ПОБЕДА ИСКЕНДЕРА НАД ДАРИЕМ И СМЕРТЬ ДАРИЯ

Круговой своей чаши, о кравчий, огнем
Дай сиянье всему, я мечтаю о нем:

Этот пламень сжигает в рубиновой чаше
Все печали, что в сердце мы приняли наше.

*

Хоть на этой земле нам отраден привал,
Но спешащий коня сам огнем подковал.

Две калитки в саду, столь отрадном для взора,
Но железного нет на калитках затвора.

Ты, в калитку войдя, оглядись: впереди
Есть другая калитка; побудь,— и уйди.

Не безмерно люби ароматную розу,
Неизбежной разлуки припомни угрозу.

Береги свой счастливый, свой нынешний день.
Все былое — ничто, все грядущее — тень.

Этот путь не для радости нам назначали,
А, быть может, для горести и для печали.

Пригласили на свадебку ослика — он
И воды натаскал, и мешком нагружен.

*

Вот что этому вслед стихотворцем радивым
Было явлено всем в его слове правдивом:

Светлый день отсиял, и покровом густым
Скрыл его полыханье полуночный дым,

И луною, чтоб радовать смертные очи,
Приукрасился сумрак спустившейся ночи.

На переднем краю всех частей войсковых
До утра были зорки глаза часовых.

Караулы кружили, как жерновы. В скалах
Куропаток будили. Немало усталых,

В тяжкой дреме узрев боевого слона,
Застонав, пробуждались от страшного сна.

Отдыхало бойца распростертое тело,
Но забвенье к нему все ж прийти не хотело.

И молились войска, чтобы дольше текла,
Бесконечно текла полуночная мгла,

Чтобы день заслонила она им собою,
Чтобы долго не звал он их к новому бою.

А цари размышляли, томительный гнев
Друг на друга в безмолвии преодолев:

«День взойдет, о своем вспомнив светлом начале,
Чтоб от черного белое мы отличали,—

И мы рядом поедем; на кратком пути
К примиренью путь мы сумеем найти.

Повод к поводу, между войсками, по лугу
Проезжая, мы дружбу изъявим друг другу».

Но советники Дарию дали совет,
Угасивший благого намеренья свет.

Не воспринял никто столь возможного блага.
Царь услышал: «Сражайся! Победна отвага!

Ведь румиец поранен; в борении с ним
Превосходство бесспорное мы сохраним.

Выйдем завтра на бой,— и в сраженье упорном
Всех уложим румийцев на поле просторном».

Так сказали одни, а другие мужи
Предлагали дорогу уловок и лжи.

Два злодея за битву свой подняли голос:
«Не падет ни один повелителя волос!»

Но и царь Искендер, под луной, в тишине,
По-иному подумал о завтрашнем дне.

Рядом — опытных двух полководцев подмога,
Но ясна и ему полководства дорога.

И открыл он соратникам душу свою:
«День взойдет — и мы завтра, в Мосульском краю,

Вновь приступим к достойному, к славному бою,
Мышцы нашей души укрепляя борьбою.

Если мы победим — мы над миром царим.
Если Дарий — то царство возглавится им.

Судный день всем живущим неведом грядущий,
Все ж на завтра его нам назначил всесущий».

И лежали бойцы, видя страшные сны,
Предвещаньем и ужасом темным полны.

Двери света раскрылись над ближней горою,
И блеснула вселенная новой игрою:

Просо звезд замесив, мир украсивши наш,
Испекла она в небе горячий лаваш.

И войска задрожали, что тяжкие горы,
И в смятенье пришли все земные просторы.

Царь из рода Бахмана, восстав ото сна,
Чтоб удача была ему в руки дана,

Чтоб для боя ни в чем не сыскалось помехи,—
Осмотрел все колчаны, щиты и доспехи.

Сотни гор из булата воздвиг он, и клад
Он решил сохранять между этих оград.

Кончив с правым крылом, озаботился левым,
И оно для врага станет смерти посевом.

Крылья в землю вросли: был придержан их пыл.
Недвижим был железный, незыблемый тыл.

Дарий встал в сердцевине отряда, и, вея,
Возвышалось над ним знамя древнего Кея.

Искендер взял на бой свой нетронутый меч,
К смертной схватке сумел он его приберечь.

Всем храбрейшим, овеянным воинской славой,
Приказал он идти у руки своей правой.

Многим лучникам, левой стрелявшим рукой,
Быть он слева велел; и порядок такой

Он назначил для тех, кто и службой примерной,
И всей силой охраною был ему верной:

Вкруг него встать стеною,— не то что вчера.
Был он словно булат, был он словно гора.

Огласился простор несмолкаемым криком.
Небеса возвестили о гневе великом.

Зарычала труба, как встревоженный лев,
Смелый змей заплясал. И заплакал напев

Исступленно вопящего тюркского ная,
Все сердца страшной дрожью дрожать заставляя.

На слонах так взгремели литавры, что в Нил
Не один, ужаснувшись, нырнул крокодил.

Так завыла труба, что у лучников многих
На бегу подкосились от ужаса ноги.

Гром такой от пустых барабанов пошел,
Что качнулись все горы, зазыблился дол.

Копья были в жару,— и, как будто в недуге,
Чтобы воздух глотнуть, пробивали кольчуги.

Ливень стрел стал неистов, и стал он таков,
Что про дождь свой забыла гряда облаков.

Ртуть мечей засверкала в клубящейся мути,
Разбегались бойцы с торопливостью ртути.

Столько коний булатных вонзилось в тела,
Что в горах за скалою дрожала скала.

Так, врубаясь, мечи скрежетали от злости,
Что рассыпались гор загремевшие кости.

Столько стрел в колесо небосвода вошло,
Что оно быть поспешным никак не могло.

Так стремились к устам остроклювые дроты,
Что устам и дышать уж не стало охоты.

Стали копья шипами запретных оград,
А щиты — словно полный тюльпанами сад.

Всех настиг Судный день, страшный День воскресенья!
И не стало исхода, не стало спасенья.

Столько всадники яростных бросили стрел,
Что бросали колчан: он уже опустел.

И тела громоздились потомков Адама,
И работала смерть, и быстра и упряма.

О себе на побоище каждый радел.
Кто подумал о том, сколько брошенных тел!

Кто в одежде печали готовится к бою?
Только синий кафтан под кольчугой иною.

Речь прекрасная, помню, была мне слышна,—
Кто-то мудрый сказал: «Смерть на людях красна».

Смерть убьет одного, а заплачет весь город,
Разорвет на себе он в отчаянье ворот,

А весь город умрет где-то там вдалеке,
И никто не заплачет в глубокой тоске.

Столько мертвых простерлось на горестном лоне,
Что пред страшной преградою пятились кони.

И на Тигре кровавом,— как желтый цветок,
Отраженного солнца качался челнок.

Но румийские копья в сраженье сверкали
Горячей, чем заката багряные дали.

Меч иранский, сражаясь, так жарко сверкал,
Что согрел сердцевину насупленных скал.

Так враги развернули меж грома и гула
Судный день на прекрасной равнине Мосула.

Рассыпáлись отряды иранцев, и прах
Всю равнину покрыл. Был один шаханшах.

Позабыло о нем его войско. Упорно
Продолжалась борьба. В поле стало просторно.

Нелюбим был придворными Дарий,— и он
Их заботою не был в бою окружен.

И внезапно, мечами ударив с размаху,
Нанесли двое низких ранение шаху.

Наземь Дарий повергся — его не спасут,—
Над смятенной землей начался Страшный суд.

Сотрясая простор, пало дерево Кея.
Тело, корчась, лежало, в крови багровея.

Тело мучилось в горе, в нежданной беде.
Светоч с ветром не в дружбе,— они во вражде.

Поспешили убийцы к царю Искендеру
И сказали: «Мы приняли должную меру.

Мы зажгли наше пламя, не хмурь свою бровь,
Для тебя мы властителя пролили кровь.

Лишь удар нанесли,— и прошло его время.
Он целует сейчас твое царское стремя.

На него погляди, больше нет в нем огня.
Омочи его кровью копыта коня.

Мы исполнили все, что тебе обещали,
Ты нам повода также не дай для печали:

Передай в наши руки обещанный клад,
Мы стоим в ожидании щедрых наград».

Искендер, увидав, что два эти злодея
На убийство владыки пошли, не робея,

Что при них и ему безопасности нет,—
Пожалел, что он дал им свой царский обет.

Каждый мощный, узрев, что с ним равный во прахе,—
Неизбежно пребудет в печали и в страхе.

И спросил Искендер: «Изнемогший от ран,
Где простерт покоритель народов и стран?»

И злодеи туда привели государя,
Где ударом злодейским повержен был Дарий.

Искендер не увидел, взглянувши вокруг,
Ни толпы царедворцев, ни стражи, ни слуг.

Что пришел шаханшаху конец — он увидел,
Что во прахе был кейский венец — он увидел.

Муравьем был великий убит Соломон!
Перед мошкой простерся поверженный слон!

Стал подвластен Бахман змея гибельным чарам.
Мрак над медным раскинулся Исфендиаром.

Феридуна весна и Джемшида цветник
Уничтожены: ветер осенний возник!

Где наследная грамота, род Кей-Кобада?
Лист летит за листом,— нету с бурею слада!

И спешит Искендер, вмиг покинув седло,
К исполину во прахе и хмурит чело.

И кричит он толпе подбежавших придворных:
«Заточить полководцев, предателей черных,

Нечестивцев, кичливых приспешников зла,
Поразивших венчанного из-за угла!»

Он склонился к царю, как склоняются к другу,
Расстегнул он его боевую кольчугу,

Головы его мрак на колен своих свет
Положил,— и такому участью в ответ

Молвил Дарий, открыть своих глаз уж не в силах:
«Встань из крови и праха. Не чувствую в жилах

Животворного пламени. Пробил мой час.
Весь огонь мой иссяк. Мой светильник погас.

Так ударил мне в бок свод небесный недобрый,
Что глубоко вдавил и разбил мои ребра.

О неведомый витязь, свой бок отстрани
От кровавого бока: ушли мои дни,

И разодран мой бок наподобие тучи.
Все ж припомни мой меч смертоносный, могучий...

Ты властителя голову трогать не смей
И не смейся: судьба насмеялась над ней.

Чья рука протянулась, дотронуться смея
До венца —до наследья великого Кея?

Береги свою длань. Еще светится день.
Погляди: это — Дарий... не призрак, не тень.

Небосвод мой померк, день мой бледный недолог,
Так набрось на меня ты лазоревый полог.

Не гляди: кипарис распростертый ослаб.
Не взирай на царя,— он бессильней, чем раб.

Не томи состраданьем: я в узах, я пленный.
Ты в молитве меня поминай неизменной.

Я — венец всей земли, смертной муки не множь:
Если я задрожу — мир повергнется в дрожь.

Уходи! И, заснув, я все связи нарушу.
Праху — тело отдам, небесам — свою душу.

Смерть близка. Не снимай меня с трона,— взревет
Страшной бурей вращающийся небосвод.

Истекает мой день... уходи. Хоть мгновенье
Одиночества дай... Мне желанно забвенье.

Если вздумал венец мой, себе на беду,
Ты похитить,— помедли... ведь я отойду.

А когда отрешусь я от мира,— ну что же! —
Унесешь мой венец, мою голову тоже».

Искендер застонал: «О великий! О шах!
Близ тебя — Искендер. Пал зачем ты во прах!

Почему к твоему я припал изголовью
И забрызган твой лик твоей царскою кровью!

Но к чему эти жалобы? Все свершено!
Что стенанье? Тебе не поможет оно!

Если б к звездам поднялся челом ты венчанным,
Я служеньем служил бы тебе неустанным.

Но у моря — ко мне снисходительным будь! —
Я стою в волнах крови,— в крови я по грудь.

Если б я заблудился иль было б разбито
На пути роковом Вороного копыто,

Может статься, твой вздох не терзал бы меня.
И такого не знал бы я страшного дня...

Я клянусь! Я творцу открывал свою душу,
Я сказал, что я смерть на тебя не обрушу.

Но ведь камень внезапный упал на стекло.
Нет ключа от спасенья. Несчастье пришло.

Ведь остался из отпрысков Исфендиара
Ты один! О, когда бы, мгновенна и яра,

Смерть меня сокрушила и я бы притих
С побледневшим челом на коленах твоих!

Но напрасны моления! Ранее срока
Мы не вымолим смерти у грозного Рока.

Каждый волос главы наклоненной твоей
Сотен тысяч венцов мне милей и ценней.

Если б снадобье было от гибельной раны,
Я, узнавши о нем, все объехал бы страны.

Да исчезнут все царства! Да меркнет их свет,
Если Дария больше над царствами нет!

В кровь себя истерзай над престолом, который
Опустел, над венцом, что не радует взоры!

Да исчезнет навек смертоносный цветник!
Весь в шипах садовод,— он в крови, он поник!

Грозен мир, им повержен безжалостно Дарий:
Подавая нам дар, яд скрывает он в даре.

Нету силы помочь кипарису, и плач
Я вздымаю. Заплачь, мое сердце, заплачь!

В чем желанье твое? Подними ко мне вежды.
Что пугает тебя? Что дарует надежды?

Прикажи мне, что хочешь: обет я даю,
Что с покорностью выполню волю твою».

Слышал стон этот сладостный тот, кто навеки
Уходил, и просительно поднял он веки

И промолвил: «О ты, чей так сладок удел,
О преемник благой моих царственных дел,

Что отвечу? Ведь я уже в мире угрюмом,
Я безвольнее розы, несомой самумом.

Ждал от мира шербета со льдом,— он в ответ
Мне на тающем льду написал про шербет.

От бесславья горит моя грудь, и в покрове
Я простерт, но покров мой — из пурпурной крови:

И у молний, укрытых обильным дождем,
Иссыхают уста и пылают огнем.

Ведь сосуд наш из глины. Сломался,— жалеем,
Но ни воском его не починим, ни клеем.

Все бесчинствует мир, он еще не притих.
Он приносит одних и уносит других.

Он опасен живущим своею игрою,
Но и спасшихся прах он тревожит порою.

Видишь день мой последний... вглядись. Впереди
День такой же ты встретишь. Ты правду блюди;

Если будешь ей верен, в печалей пучину
Не падешь, ты отраднее встретишь кончину.

Я подобен Бахману: сдавил его змей
Так, что он и не вскрикнул пред смертью своей.

Я — ничто перед силою Исфендиара,
А постигла его столь же лютая кара.

Все в роду моем были убиты. О чем
Горевать! Утвержден я в наследстве мечом.

Царствуй радостно. Горькой покорствуя доле,
Я не думаю больше о царском престоле.

Но желаешь ты ведать, чего б я хотел,
Если плач надо мной мне пошлется в удел?

Три имею желанья. Простер свою длань я
К Миродержцу. Ты выполни эти желанья.

За невинную кровь — вот желанье одно —
Быть возмездью вели. Да свершится оно!

Сев на кейский престол — вот желанье второе,—
Милосердье яви в государственном строе.

Семя гнева из царской исторгнув груди,
Наше семя, восцарствовав, ты пощади.

Слушай третье: будь хладным и сдержанным с теми,
Что мой тешили взор в моем царском гареме.

Есть прекрасная дочь у меня, Роушенек,
Мной взращенная нежно для счастья и нег,

Ты своим осчастливь ее царственным ложем:
Мы услады пиров нежноликими множим.

В ее имени светлом — сиянья печать;
Надо Солнцу со Светом себя сочетать».

Внял словам Искендер. Все сказал говоривший.
Встал внимавший, навек засыпал говоривший.

Мрак покрыл небосвод, покоривший Багдад,
Скрывший царский дворец и весь царственный сад,

Сбивший плод с древа Кеев и сшивший для дара
Синий саван — огромнее Исфендиара.

День отвел от земли свой приветливый взгляд.
Стал невидим рубин, появился агат,—

И всю ночь Искендер сокрушался, взирая
На того, кто был славен от края до края.

Он взирал на царя, но рыдал о себе.
Так же выпьет он яд: шел он к той же судьбе.

И рассвет на коне своем пегом встревожил
Все вокруг, и коня разнуздал и стреножил.

Приказал Искендер, чтоб обряжен был шах,
Чтобы прах опустили в родной ему прах,

И под каменным сводом к его новоселью
Чтоб воздвигли дворец с золотой колыбелью.

И когда сей чертог был усопшему дан,
Мир забыл, кто виновник бесчисленных ран.

Обладателей тел почитают, покуда
В их телах есть душа, что чудеснее чуда.

Но когда их тела покидает душа,
Все отводят свой взор, удалиться спеша.

Если светоч погас, безразлично для ока —
На земле он стоял, иль висел он высоко.

По земле ты бродил иль витал в небесах,
Если сам ты из праха, сойдешь ты во прах.

Много рыб, что рассталпсь с волнами родными,
Поедаются вмиг муравьями земными.

Вот обычай земли! На поспешном пути
Все идут, чтоб идти и куда-то уйти.

Одному в должный срок он стоянку укажет,
А другому «вставай» раньше времени скажет.

Ты под синим ковром, кратким счастьем горя,
Не ликуй, хоть весь мир — яркий блеск янтаря.

Как янтарь, станет желтым лицо, и пустыней
Станет мир,— и пойдешь за одеждою синей.

Если в львином урочище бродит олень,
Его срок предуказан, мелькнет его день.

Словно птица, сбирайся в отлет свой отрадный,
Не пленяйся вином в этой пристани смрадной.

Жги, как молния, мир! Не жалей ничего!
Мир избавь от себя! А себя от него!

Мотылек — легкокрыл, саламандра — хромая,
Все ж их манит огонь, чтобы сжечь, обнимая.

Будь владыки слугой иль владыкою будь,—
Это горесть в пути или горести путь.

Вечный кружится прах, и, охвачены страхом,
Мы не знаем, что скрыто крутящимся прахом.

Это старый кошель, полный складок, и он
Затаил свои клады; не слышен их звон.

Только новый кошель будет звонок, а влага
Зашипит, если с влагой впервые баклага.

Кто б узнать в этой «Башне молчанья» сумел
Всю былую чреду злых и праведных дел?

Сколько мудрых томил в своих тленных пределах
Этот мир? Умертвил столько воинов смелых!

Свод небесный — двухцветен. Кляня и любя,
Он двойною каймою коснулся тебя:

То ты ангелом станешь, всем людям на диво,
То тебя он придавит, как злобного дива.

Он, что хлеба тебе дать под вечер не смог,
Утром в небо поднимет свой круглый пирог.

Для чего в звездной мельнице, нам на потребу
Давшей это ничто,— быть признательным небу?

Ключ живой обретя, пост воспримешь легко.
Будь как Хызр. Что нам финики и молоко!

Уходи от того, в ком есть сходство со зверем,—
Люди — дивы, а дивам души мы не вверим.

Мчатся в страхе онагры,— их короток век:
Человечность свою позабыл человек.

От людей и олень, перепуган без меры,
Мчится в горы, на скалы, в глухие пещеры.

В темной роще, листву с легким шумом задев,
Вероломства людей опасается лев.

Благородства расколот сверкающий камень!
Человек! Человечности где в тебе пламень?

«Человек» или «смерть»? Ты на буквы взгляни,—
И поймешь: эти двое друг другу сродни.

Мрачен дух человека и в злобе упорен,
Как зрачок человека, он сделался черен.

Но молчи и значенье молчанья пойми:
Говорить о сокрытом нельзя, Низами.

ИСКЕНДЕР ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОР С ВЕЛЬМОЖАМИ ИРАНА, БЕСЕДУЕТ С ФЕРИБУРЗОМ И УЗНАЕТ О ПРАВЛЕНИИ ДАРИЯ

Искендер после разгрома иранского войска и гибели Дария захватывает несметные сокровища. Он призывает иранских вельмож и, не требуя от них службы, щедро одаривает их. Призвав убивших Дария, он отдает им обещанное денежное вознаграждение, но затем велит их с позором публично казнить как цареубийц... Искендер устраивает пир, призывает Ферибурза и спрашивает его, почему он не смог отговорить Дария от этой безумной войны. Ферибурз отвечает, что Дарий, в своей гордыне, не захотел слушать разумного совета. Затем Ферибурз обращается к Искендеру с мудрыми речами, призывает его к справедливости. Искендер отпускает его, щедро наградив. Иранские вельможи восхваляют Искендера и поносят тирана Дария, доведшего страну до упадка.

ИСКЕНДЕР РАЗРУШАЕТ КАПИЩА ОГНЯ. ЧАРОДЕЙСТВО ПРЕКРАСНОЙ АЗАР-ХУМАЮН

Ты услады и ласки, о кравчий, смеси
В своей чаше и страстным ее поднеси!

Не промедли, просить не заставь себя дважды,
Ведь влюбленные ждут и сгорают от жажды.

*

Принеси свою руту. В дремоте весь мир.
Руту сыпь на огонь! Да спасется эмир!

По запретным путям дам идти я рассказу,
И без руты боюсь я подвергнуться сглазу.

Если будет вздыматься спасительный дым,
Неподвластен я буду наветам пустым.

Много темных бродяг в этой тайной ложбине.
О беспечный! Ты также страшись их отныне.

Не оставить ли дни? Так дела их страшны,
Что от них заклинанья творить мы должны!

Отойду — и с земною покончу игрою,
Полный крови котел плотной крышкой закрою.

*

Изучающий древность в размерных строках
Начертал о случившемся в дальних веках:

Веру в пламя отвергли; оно угасало.
И огню поклонявшихся больше не стало.

Искендер повелел, чтоб с урочного дня
Все пранцы забыли кумирни огня,

Чтобы всюду восставили старую веру,—
Ту, что светом была самому Искендеру,

Чтоб имущество магов сожгли, чтобы в прах
Обратили кумирни во всех городах.

В каждом капище, так было всюду в Иране,
Надлежащих наставников зоркой охране

Доверяли сокровища. Доступа к ним
Никогда еще не было смертным другим.

И бездетный богач, ждя загробной награды,
Оставлял этим капищам все свои клады,—

Бесполезными были они для страны,
Хотя сотням сокровищниц были равны.

Искендер, эти храмы разрушив, свободу
Отдал кладам; он пролил их будто бы воду.

Ведь когда он кумирни разрушил и срыл,
В них сокровищниц полных не мало он вскрыл.

Всех мужей, почитающих пламя, все время
Окружало прельстительниц нежное племя.

В день весенний Джемшида и в праздник Саде
Неуемный огонь прославляли везде,

И разубранных девственниц гнали из дома,
Чтобы страсти услада им стала знакома.

И вдоль улиц, ладони в румянах воздев,
Пробегала толпа опьяняющих дев.

Чаши с хмелем вздымая, они, по уставу,
Восклицали неистово магам во славу.

Восклицанья из Зенда, и клики, и дым,
Заслоняющий звезды навесом густым!

Обольщающих дев были ласковы взгляды,
И приманчива речь, и красивы наряды;

Лишь лукавство одно было ведомо им.
Чем смогли бы они заниматься иным?

Эта — кудри взовьет, та — замрет в томном стоне,
Эта — в пляску пойдет, та — заплещет в ладони.

Ты взгляни — кипарисы со связкой цветов!
Все они — кипарисы со связкой цветов!

В светлый день, когда видели: небо умчало
Старый год и пришло новых чисел начало,

Все дома и все улицы были для всех
Незапретным простором сердечных утех.

Пировали везде, и меж звона и гула
Злая смута росла из такого разгула.

Но когда лишь одна жемчуговая нить
Захотела собою весь мир осенить,—

Прочь отпрянула смута: с единым владыкой
Мир вернее пойдет по дороге великой.

Ведь один венценосец желаннее ста:
При избытке дождя не взрастет ни куста.

Царь велел всем невестам, как им и пристало,
Нравы магов отринув, надеть покрывало,

И чтоб нежный свой лик, как велось исконй,
Только матери с мужем являли они.

Со скрижалей стерев волхвования слово,
Он из винных подвалов всех магов сурово

Изгонял. Нечестивую веру поправ,
Он восставил и правду, и праведный нрав.

И от пламени веры, что смертным предстало,
У служивших Зердушту пыланья не стало.

С той поры богатеи менялам-жрецам
Оставлять не хотели сокровищ на храм,

И красавцы, чьи щеки с гранатами схожи,
Жарких дев увлекали на брачное ложе.

Все кумирни наполнив лишь мраком густым
И служивших огню разметавши, как дым,

Царь велел, чтоб, вступив на благую дорогу,
Все народы служили единому богу,

Чтоб, склонясь к авраамовой вере, они
Месяц с солнцем забыли на вечные дни.

Раздавателю тронов досталась порфира,
И погнал он коня по ристалищу мира.

И победа над ним возносила венец,
Нам поведал об этом великий певец.

Если ты захотел в изложении новом
Слушать все, что явил он благим своим словом,

Старый хлопок ты вынь из ушей, иль мой сказ
Явит рваную ветошь,— не светлый атлас.

От людей, обладающих разумом ясным,
Я слыхал о пути Искендера прекрасном.

Много хартий имел я, и ценный улов
Я добыл из потока бесчисленных слов.

Не одна надо мной проплывала година,
Много разных листов я собрал воедино.

Камни мудрости чтя выше тленных услад,
Я хранилище создал,— в нем светится клад.

*

Вот о чем еще молвил рассказчик, чтоб снова
Осчастливить внимающих прелестью слова:

Взяв у Дария царство и царственный трон,
Царь оставил пределы мосульские. Он

В Вавилон поспешил, и, по слову преданий,
Он омыл эту землю от всех волхвований.

Лишь вступил в этот край его царственный конь,
Был нечистых мобедов погашен огонь.

Книги Зенда он жег — это книги дурные,
Хоть из них, он сказал, я оставлю иные.

Дымный пламень в сердцах погасил он, вернуть
Он сумел всех неверных на праведный путь.

Он затем Азурабадакан, по совету
Всех вельмож, посетил. И в пример всему свету

Он огонь угашал, он смывал письмена,
Чтоб забыла о магах вся эта страна.

Был тут некий огонь, а вокруг него камень.
«Худи-сузом» в народе звался этот пламень.

В золотых ожерельях склонялись пред ним
Сто эрпатов. Неверными был он ценим.

Повелел Властелин, чьим сияньем украшен
Был весь мир, чтобы был этот пламень угашен.

И свернул все шатры боевой его стан:
Царь помчался туда, где расцвел Исфахан,—

Этот город, такой разукрашенный, в коем
Все дышало богатством и сладким покоем.

Венценосец был радостен радостью той,
Что сверкает, когда мы спешим за мечтой.

И немало огней погасил он эрпатов,
В рог баранпй немало скрутил он эрпатов.

В Исфахане был храм, и китайский узор
Покрывал его стены и радовал взор.

Ряд пленительных девушек — так по уставу
Надлежало — был в капище. Нежно отраву

Лил их взор. Словно в глину вступала ступня
У взиравших на розы в сверканье огня.

Но Азар-Хумаюн — отпрыск славного Сама,
Чародейка — была лучшей розою храма.

Заклинанья шепча, красотою сильна,
У сердец отнимала рассудок она.

Как Харута, любого волхва пред собою
Неизменно склоняла она ворожбою.

И когда Искендер приказал, чтоб снесли
Сей притон, сей позор исфаханской земли,—

Всей толпе горожан эта правнучка Сама
Показала дракона над стенами храма.

И, увидев, как взвихрился черный дракон,
Весь народ этим призраком был устрашен.

Побежали, друг друга сшибая, и с криком —
Все к царю Искендеру в испуге великом:

«Там, над храмом, дракон, всех он в лапах сожмет,
Грозно брызжет он пламенем, как огнемет!

Не подступишь к нему! Он поднялся, взирая
На людей, он пройдет, весь народ пожирая!»

Царь спросил у везира: «Кто знает у нас
Эти чары?» Ответствовал тот: «Булинас

В чародействе искусен. Ему все обманы
Волхвований знакомы и все талисманы».

Царь спросил Булинаса: «Как могут, скажи,
Так обманывать эти приспешники лжи?»

Был ответ: «Можно, тайной наукой владея,
Вызвать образ любой. Все в руках чародея.

Повели — я желанье твое утолю
И дракона поймаю в тугую петлю».

Царь промолвил: «Создание черного духа
Уничтожь, чтоб о нем больше не было слуха!»

Булинас тотчас к храму пошел, а дракон
Над стеною стоял, вдаль посматривал он.

И Азар-Хумаюн тут увидела сразу,
Что стекло ее лжи поддается алмазу.

И кудесница вновь начала колдовство,
Чтоб, смутив мудреца, обесславить его,

Но хоть чары ее были властны и яры,
На саму чаровницу обрушились чары.

Вся бессильная власть неисполненных чар
Самому чародею наносит удар.

Прозорливый мудрец властной силою знанья,
Побеждая, сковал все ее заклинанья.

И, в движении звезд уловив череду,
Ту, что может к колдунье приблизить беду,—

Взял он горстку суда́ба и бросил в дракона.
Он для чар чародейки добился урона

Этим действием быстрым. Заклятьем одним
Он дракона сломил и расправился с ним.

Увидала она, что магической власти
Лишена, и, в испуге от этой напасти,

Пала в ноги румийцу, прося у него,
Чтобы дал ей узреть Светоч мира всего.

Булинас увидал чаровницу,— и ясной
Стала участь его: тяготенье к прекрасной.

Он, сказав, что пощаду он дать ей готов,
Спас ее от людей, избивавших волхвов.

Дал он людям приказ. Пламя вспыхнуло ало,
И все росписи капища разом пожрало.

Луноликую свел он к царю. «Это он,—
Так сказал Булинас,— огнеокий дракон.

Эта женщина ведает многие тайны,
И деянья волшебницы необычайны:

В недрах праха ей слышно движение вод,
От круженья удержит она небосвод;

Месяц с неба сорвет; все затворы — нелепость
Перед ней, проходящей по ниточке в крепость.

О ее красоте что скажу? Посмотри!
Эта дева прекрасней прекрасных пери́.

Мускус локонов обнял чело чародейки
И кольцо за кольцом лег у розовой шейки.

Славу дивной, о царь, я навек погасил,
Преградил ей дорогу, лишил ее сил.

Мне сдалась она, царь, побледнев от испуга.
Пусть увидит во мне не врага, а супруга.

Удостой ее службой, мне счастье устрой,
Пусть мне будет царицей она и сестрой».

И сверкнул перед царским внимательным взором
Светлый лик, окаймленный каменьев узором.

Царь сказал Булинасу: «Ты справился с ней.
Пусть вина она выпьет из чаши твоей.

Все ж кудесницы козни прими во вниманье —
И уловки ее, и ее волхвованье».

И за счастье обнять ту, которую спас,
Перед щедрым царем пал во прах Булинас.

И пери́, что была всех милей чернокудрых,
Ввел он в дом. Да! Пери́ хитроумнее мудрых.

С ней мудрец до конца овладел колдовством,
И звался́ он с тех пор — Булинасом-волхвом.

Но кудесником стал ты иль стал звездочетом,
Смерть придет — и пред ней ты предстанешь с отчетом.

БРАКОСОЧЕТАНИЕ ИСКЕНДЕРА С РОУШЕНЕК

Из огня моя чаша. О кравчий, налей
Мне воды, что послал тебе райский ручей!

Я прельщен и огнем этой чаши лучистой,
И водой животворной, прозрачной и чистой.

*

Счастлив тот, кому зимнею ночью дано
Пред собою поставить и снедь и вино,

Кто сидит рядом с милой, чьи груди гранаты,
Без которых весь сад горше горькой утраты,

Кто гранатами милой смущен, восхищен
Иль из чаши гранатной пьет сладостный сон,

Кто из горницы глянет в отрадное время,
В дни, как выйдет из веточек листиков племя,

И весь мир, словно райский пленительный сад,
Заблестит, и в дому уж не станет услад,

Кто пойдет, взяв за мускусный локон подругу,
Неторопливой походкой по свежему лугу,

Кто приблизит к устам своим розы ланит
И кого свет блаженства в сей миг осенит.

*

Говоривший о днях и пиров и сражений
Ныне так закачал колыбель изложений:

Вознеся в Исфахане до звездных огней
Свой венец, Искендер отдал несколько дней

Лишь веселым пирам во дворце своем новом,
И припомнил он тут о гареме царевом.

И велел он, чтоб годный для царских палат,
По обычаю Киев, был соткан халат

Из румийского шелка, из шелка Китая
И Египта. Чтоб, в дивных отливах блистая,

Освежал бы все души и радовал взор
Драгоценный и царственный этот убор.

Много взять приказал он парчи златотканой,
Много мягких мехов, и в палате пространной

Где хранили сокровища, выбрал он ряд
Ожерелий, чьи зерна, как пламень, горят,

Взял он мускус невскрытый, и так же охотно
Он прибавил к дарам дорогие полотна.

И в гарем он все это отправил затем,
Чтоб не черным, а красным казался гарем,

Чтоб кораллы на синем пылали отныне,
Чтобы в золоте всем позабыть о кручине,

Чтоб укрылся под золотом черный гранит,
Что печаль об усопшем в гареме хранит,

Чтобы Дарий стал тенью неясной и дальней,
Чтобы роз, не фиалок, искать в его спальне.

Разукрасив пристанище царственных нег,
Тем возрадовал нежную он Роушенек,

Сам же стал поджидать он того, чтоб раскрылись бутоны
Пробужденной весны, чтоб для девушек жены

Приготовили светлый, венчальный убор
И украсили скромниц душистый пробор

В сладкий час, когда в них загорится желанье
Встретить светлого дня золотое пыланье.

И узнав, что невесте вручили дары,
Что отказа не ждать ему с этой поры,

Царь наставнику молвил: «Красавицам живо
Обо мне ты поведаешь красноречиво.

Миротворным деянием ты назови
Мой приезд. Я явился сюда для любви;

Я к царевне спешу в нетерпенье великом,
Чтобы взор усладить ее царственным ликом.

В почивальне Луны мир я в сердце приму,
И главу ее подданных я подниму.

Ты царевне носилки снеси золотые,
На которых меж лалов узоры густые

Бирюзы и жемчужин. Над ними она
Поплывет по садам, как земная Луна.

В пышных седлах из золота всем ее слугам
Ты коней отведи. Будь мне сватом и другом».

Поднялся Аристотель. Усердьем горя,
Он поспешно исполнил велснье царя.

В полном мускуса собственном царском покое
Обласкал он затворниц. Сверканье такое

Проявил он, проникнув за стены оград,
Словно был он ручьем, освежающим сад.

Обольщать стал он гурий дворцового рая,
На красу обольстительниц нежно взирая.

Будто яблочко был каждый сладостный лик,
Но лукавства немало он видел улик.

И играть стал он так, как играют порою
Люди яблочком. «Вам,— он промолвил,— открою

Сердце царское. Шлет вам великий привет
Государь. Да сверкает вам радостный свет!

Хоть судьба в своем вечном движенье суровом
И взыграла грозою над кровом дворцовым,

Все же нет на царе Искендере вины
В той беде, что изведать вы были должны.

Есть надежда во мне, что, утратив надежды,
На надежду вы снова поднимете вежды.

Уделить вам от счастья желает он часть.
Благотворно свою проявляет он власть.

По желанию Дария — сердцу к тому же
Своему подчиняясь,— он хочет потуже

С вами связанным быть: стать родным. Такова
Его воля. Такие сказал он слова:

«Для венца моего свет блистательный нужен.
Я жемчужины жду, всех светлее жемчужин.

Озарит эту розу мой радостный лик,
Превратит эта роза дворец мой в цветник».

Дал обет Искендер, он и честен и пылок.
Посмотрите на блеск мне врученных носилок.

В этот радостный край царь направил коня,
Чтобы свадьбы дождаться отрадного дня.

Никому о себе не доверил он речи.
Сам он прибыл сюда для торжественной встречи.

Пусть невесте носилки подать поспешат,
Пусть отрадное дело скорей совершат».

И толмач передал то, что молвили жены:
«Благоденствуй, Ирана почтивший законы!

Только с доблестным мы породнимся, о шах!
Все иные мелькают, как взвихренный прах.

Книга мудрости есть. Вот реченье оттуда:
«Лишь погонщик осла — друг владельцу верблюда».

Тронуть ложе царя — наивысший почет,
Преклониться пред ним — вознестись до высот.

Как рабыни, служить мы царю не устанем,
И, супругами став, мы рабынями станем.

От веленья царя отвращаться нельзя.
Это ключ золотой, золотая стезя.

Если нас он родством осчастливит прекрасным,
То царевны чело станет месяцем ясным.

Примем в дар все, что ты от Хосрова принес:
Род Хосрова и нас осенил и вознес.

В день, когда с нашим домом, таким родовитым,
Властелин пожелает навеки быть слитым,

Мы, ему услужая, пойдем во дворец
И восславим его благодатный венец».

Был посланец доволен подобным ответом,
И пошел он к царю и поведал об этом.

Искендер просиял. Ведь хороший ответ
В каждом сердце зажжет свой живительный свет,

А дурной, достигая до нашего слуха,—
Угашает сияние нашего духа.

В день благих указаний таинственных сил
И удачных сплетений небесных светил

Искендер, осеняемый славой великой,
Возвестил, что венчается он с луноликой.

Полон верной любви, по уставу, как встарь
Полагалось, дал клятву свою государь.

И, крепя свой обет, с блеском царского сана
Дал он светлой супруге все царство Ирана.

Он велел мастерам, возбуждая в них жар,
Разукрасить и город, и шумный базар.

Всю страну, что была так недавно угрюма,
Шелк Хорезма одел с алтабасом из Рума.

Словно сказочный город неведомых стран,
Драгоценной парчой оплели Исфахан.

Опустили ковры с плоских кровель и башен,
Каждый дом был кошмой бирюзовой украшен.

В поднебесье знамена взнесли; до основ
Переделали мир. Стал он светел и нов.

Переулки, базары покрылись шатрами,
Все забыли дела, все пленялись пирами.

Перекрестки заполнил разряженный строй
Музыкантов, с их громкой и звонкой игрой.

Всюду сахар сжигали, сжигая алоэ,
Но сгорало и сердце завистников злое.

От Хизана до мест, где журчал Зинде-руд,
Пели сазы, звенел утешительный руд.

Столько винных ручьев забурлило повсюду,
Что пришлось опьяниться и Мамешан-руду.

Черный мускус таразский — пришел его срок —
Развязал свой мешочек. День первый истек.

Вновь заря, вся из роз, всем послала усладу.
Месяц с солнцем прошли по небесному саду.

Снова в сахар оделся восток, и возрос
В небе праздничный купол из пламенных роз.

Распевали певцы. Что могло быть прелестней
Голосов, целый мир услаждающих песней!

И опять черный шелк разостлавшая мгла,
Словно ракушку, месяц в высоты взнесла.

(Продавец благовоний в сей ракушке, верно,
Растирал ароматы.) Сияя безмерно

Красотою, невеста — вторая луна —
Заплетала свой мускус. Мечтала она,

И миндаль ее глаз и ланит ее сладость,—
Все готовилось ею Владыке на радость.

Мгла распалась. Зари золотая рука,
Как невесты рука, отстранила шелка.

Царь проснулся, и сердце его опьянело,
Колокольчиком русов оно зазвенело.

И таким занялся пированием он,
Что от зависти к пиру померк небосклон.

И шутил он со знатью над чашей веселой,
И совсем голова его стала тяжелой.

Столько щедрых даров он велел разослать,
Что измучили землю, нося эту кладь.

Разорвав ожерелье дневного светила,
Мгла вечерняя яхонт в ладони схватила.

Бу-исхакскою все же пленясь бирюзой,
За него отдала она пламенник свой.

К утоленью спеша, все исполнив обряды,
Царь дождался поры долгожданной услады,

И велел привести он прекрасную в сад
С той, что в сад облекла эту розу услад.

И невесте промолвила мать, открывая
Ей значенье всего: «Как заря огневая —

Искендер. По заслугам его оцени.
Этот яхонт жемчужинам нашим сродни.

Он, вручая нам власть над просторами мира,
Возвратит нам величье и силу эмира.

Если выбрал он путь — по нему нам идти
И прекрасней царя на земле не найти.

Его поясом сделай душистый свой локон,
Чтоб царя Искендера к веселью повлек он.

Коль другому на сердце подаришь права —
Пояс царский украсит его голова.

В твоем ухе кольцо, но кольцо это все же
Без румийца — дверного кольца не дороже.

С ним поласковей будь, мы подвластны ему:
Он пришел к нам на смену отцу твоему».

И все то, что промолвила мать чаровницы,
Приняла ее дочь, опуская ресницы.

Вот несут золотые носилки (цари
Не видали подобных), и вводят перй

К жениху, и ее, недоступную взорам,
Помещают за тканью с блестящим узором.

И когда принесли в этот царский чертог
Подношенья,— о, кто бы исчислить их смог? —

Мать невесты, с велением неба не споря,
Поручила жемчужину милости моря.

От владык, чьи иссякли уже времена,
Оставалась на свете она лишь одна.

«Не скажу я, о царь, что жемчужину рая
Я вручаю супругу, чья слава без края,

Нет, прими сироту, чей погублен отец.
Сироту, чьей страны разломился венец,

Искендеру вручаю. Ты ведаешь это,
И грядущее мглой для тебя не одето».

И венцом осененную Роушенек
Принял царь Искендер в свое сердце навек.

Перед станом самшита предстала лилея,
На царевом лугу горделиво белея.

Прелесть алого рта все ж была не строга,
И лобзаньями царь стал скупать жемчуга.

Он увидел пери́, встав с которою рядом
Все пери́ не могли бы приманивать взглядом.

Чей был рот ароматней и сладостней — чей?
Лучший сахар был раб ее сладких речей.

То был взор ее быстрым, лукавым, нескромным,
То, врачуя больного, сам делался томным.

Прядь волос завивалась, черна и густа,
Что-то родинке близкой шептали уста.

То она, подчиненная лишь своеволью,
На сердца воздыхателей сыпала солью,

То улыбкой и легким движением вежд
Порождала в их душах мерцанье надежд.

Розы розовый лик посрамил бы и розу.
Горьких розовых слез нес он страстным угрозу.

Тень кудрей ниспадала на сладостный лик,
Что источником света пред взором возник.

Эту тень и источник увидев, привалом
Искендер усладился таким небывалым.

И взглянул на нее оком верности он.
Сердце милой, обняв ее, взял он в полон.

Он прижал к себе ту, что похитила сердце
И, желанная сердцу, насытила сердце.

Стал светлей он от Светлой, и словно весь край
И дворец обратились в сияющий рай.

Называл он царицу владычицей света;
И в почете сияла прелестница эта,

Потому что была неизменно она
Терпелива, стыдлива, нежна и умна.

Ключ от множества стран дал он Светлой в подарок.
Стал престол ее царства возвышен и ярок.

Он и часа не мог провести без того,
Чтоб не видеть лица божества своего.

Отдыхая в стране благодатнее рая,
На посланницу рая взирал он, сгорая.

И когда предрассветный скрывался туман
И над черным Хабешем смеялся Хотан,

Целый мир наполнялся бурленьем баклаги,
«Пей!» — кричали ковши, пьяной полные влаги.

И, склоняя свой клюв, в утро новое вновь
Лил по чашам кувшин темно-красную кровь.

И от чангов рокочущих царского пира
Пламенели ланиты подлунного мира.

Царь семи областей в кушаке, что являл
Семь каменьев цветных, небеса заставлял

Пред собою склониться почтительно долу,—
Так сиял он, склонясь к золотому престолу.

Столько пышности ввел в это празднество он,
Что казалось пирующим: все это — сон.

Все искусники были на пиршестве, дабы
Проявлять мастерство, и звенели рубабы

В ловких пальцах. Под звучные песни певца
Стройных кравчих проворность пленяла сердца.

И напевы струились, и струны журчали,
И журчаньем куда-то мечтателей мчали.

И рука Искендера была не пуста,
Вновь сокровищниц полных раскрыл он врата.

И шуршащих жемчужин за грудою груду
Раздавал он войскам и разбрасывал всюду.

И весь мир он одел и в рубин и в лучи
Багряницы своей и блестящей парчи.

Словно солнцем он был, щедрый пламень являя,
И сияньем своим целый мир наделяя.

Словно солнцем он был, раздающим свой свет,—
Свет бессмертный, которому убыли нет.

Быть скупым не пристало царю всего света.
Беспредельная щедрость — великих примета.

ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ ИСКЕНДЕРА В СТОЛИЦЕ ИСТАХРЕ

Искендер едет из Исфагана в Истахр и восходит там на иранский престол. Вельможи приходят к нему на поклон, послы из дальних стран привозят ему дары. Искендер, по обычаю, произносит тронную речь. Он обещает быть справедливым, не творить насилия, всех обеспечить необ-

ходимым, быть щедрым. В Иран он пришел не своей волей, а по божественному указанию, чтобы свергнуть тирана... Глава завершается такой притчей. Кичливый невежа сказал Искендеру: «Дай мне дирхем, от тебя такой подарок ценнее целой страны».— «Просил бы ты лучше у меня целого сокровища в меру моего могущества»,— отвечал царь. «Тогда дай мне царство»,— сказал невежа. Искендер ответил: «Первая просьба — ниже моего достоинства, а вторая — выше твоего».

ИСКЕНДЕР ОТСЫЛАЕТ В ЮНАН АРИСТОТЕЛЯ С РОУШЕНЕК

Искендер, взойдя на иранский престол, устанавливает на всей земле мир и справедливость. Но он все же опасается смуты и предательства. Он решает отправить в родной Рум, Юнан (Грецию) Аристотеля с захваченными сокровищами и иранской царевной Роушенек в качестве заложницы. Сам же он решает отправиться в путь,— он хочет видеть новые края, завоевывать новые страны. Аристотель произносит перед Искендером мудрую речь. Он не советует ему создавать «мировую державу». Пусть он правит у себя в Руме, а через другие страны только пройдет походом,— его все равно не примут там как своего. Пусть там правят местные цари, лишь внешне подчиняющиеся Искендеру. Они будут тогда враждовать между собой и не смогут объединиться, чтобы напасть на Рум. Надо, однако же, быть истинно миролюбивым, не надо никого обижать, и на земле будет мир... Искендер, кроме сокровищ, велит собрать иранские книги, отвезти их в Юнан и перевести там на греческий язык. По прибытии в Юнан Роушенек родит сына. Его назвали Искендерус. Аристотель, наместник Искендера в Юнане, вскоре начинает обучать Искендеруса мудрости.

ПОХОД ИСКЕНДЕРА НА ЗАПАД И ПОСЕЩЕНИЕ КААБЫ

Искендер царствует мирно и справедливо. Даже к врагам он милостив, и если ему приходится сжигать вражеские города, то он строит новые. Его владения простираются от Китая до Кайрувана. Он решает покорить теперь арабов. Щедро одарив арабских вождей, он добивается их мирного, без войны, подчинения. Арабы тоже несут ему щедрые дары. Искендер едет далее в Мекку и совершает обряд поклонения храму Каабы. Оттуда он едет в Йемен. Далее его призывают в Армению и Абхазию, где он покоряет богатыря Дувала. Поехав на север, он закладывает новый город — Тбилиси. Затем он едет в Берда'а, где правит царица Нушабе.

Дай мне, кранчий, вина, что во мраке ночей
Укрепляет наш дух, словно чистый ручей.

Я сгораю, ведь скорби во мне преизбыток.
Научился я пить твой отрадный напиток.

*

Так прекрасна Берда, что январь, как и май,
Для пределов ее — расцветающий рай.

Там на взгорьях в июле раздолье для лилий,
Там весну ветерки даже осенью длили,

Там меж рощ благовонных снует ветерок;
Их Кура огибает, как райский поток,

Там земля плодородней долины Эдема,
«Белый сад» переполнен цветами Ирема,

Там кишащий фазанами дивно красив
Темный строй кипарисов и мускусных ив,

Там земля пеленою зеленой и чистой
Призывает к покою под зеленью мглистой,

Там в богатых лугах и под сенью дубрав —
Круглый год благовонье живительных трав,

Там все птицы краев этих теплых. Ну что же...
Молока хочешь птичьего? Там оно — тоже.

Там дождем золотым нивам зреющим дан
Отблеск золота; блещут они как шафран.

Кто бродил там с отрадой по благостным травам,
Тот печалей земных не поддастся отравам.

Но Берда ниспровергнута. Ветра рука
Унесла из нее и парчу и шелка.

В ней осыпались розы, пылавшие ало,
В ней не стало нарциссов, гранатов не стало.

Устремясь к ее рощам, войдя в ее дол,
Ты бы только щепу да потоки нашел.

Или травы, что здесь в златоцветах блистали,
Из зерна справедливости древле взрастали?

Если правда здесь вновь утвердится,— красив
Снова станет узор здешних пастбищ и нив.

Да, коль шах обратит взор свой к этому лону,
Вновь он даст украшения древнему трону.

Этот край прозывался Харумом, потом
Был Бердою учителем назван, и в нем,

Породившем прославленных мощное племя,
Много кладов укрыло поспешное время.

Где цвело столько роз, взор людской утоля?
Где еще столько кладов укрыла земля?

*

Нам поведал мудрец, клады слов разбирая:
Воцарилась в стране, что прекраснее рая,

Нушабе; за отрадною чашей вина
Круглый год, веселясь, проводила она.

Непорочной газелью бродя по долинам,
Красотою была она схожа с павлином.

И была она, славой сияя большой,
Что мудрец — благонравьем, что ангел — душой.

Ровно тысяча дев с нею было; их лица
Окружали ее, словно лун вереница.

Тридцать тысяч гулямов служило при ней,
Все имели они быстроногих коней.

Но мужам был заказан предел ее крова:
В свой дворец не впустила б она и родного.

Только жены вели ее царства дела,
И к мужам благосклонной она не была.

Все советницы были разумны,— к чему же
Было им помышлять о каком-либо муже?

А гулямы, которыми край был храним,
Проживали в уделах, назначенных им.

Даже к тени дворца иль дворцовой ограды
Не посмели б они устремить свои взгляды.

Но, приказ Нушабе исполняя любой,
За нее они всюду вступили бы в бой.

Царь, приведший войска к этим нивам и водам,
Воздвигая шатер, что был схож с небосводом,

Увидал и луга, и безмерный посев
И спросил, всю окрестность сию оглядев:

«Кто в раю этом правит? Каким властелином
Безмятежность дана этим светлым долинам?»

Отвечали царю: «Все, что в этой стране,—
Вручено небесами прекрасной жене.

Разум зоркой владычицы с мудростью дружен.
А по крови она чище лучших жемчужин.

Сердце чистой — прозрачный, благой водоем,
И печется она о народе своем.

Много мужества в ней; древней былью повеяв,
Говорит ее храбрость о доблести Киев.

Венценосна она, но не носит венца,
И войска не видали царицы лица.

Есть гулямы при ней. Но ни днем им, ни ночью
Не доступно владычицу видеть воочью.

Много дивных, чья грудь словно нежный жасмин,
Ей во всем помогают. Лишь сахар один

Равен сладостью с этими женами. Люди
Не видали гранатов круглей, чем их груди.

Горностай и шелка в вечной дрожи на них:
Посрамятся,— не ведали нежных таких!

Если б с неба взглянули на них серафимы,—
Тотчас пали бы наземь, любовью палимы.

Блещет каждая в роще и светит в дому,
Как светильник иль солнце, спугнувшее тьму.

Так сияют они, что опасно для ока
Поглядеть на красавиц хотя б издалека.

Кто б их голос услышал в их райском краю,—
Их бы прихоти отдал всю душу свою.

Их в жемчужинах шеи, а уши их в лалах.
Их уста — рдяный лал, жемчуг в ротиках алых.

Чье заклятье над ними — не знаем, но страсть
Не простерла на них свою жаркую власть.

Их приятель — напев, их забвение — в чаше.
Ничего им на свете не кажется краше.

Это воля премудрой и чистой жены
Отгоняет от них сладострастные сны.

И чертоги ее с пышным капищем схожи,
И туда беспрепятственно дивные вхожи.

И она, хоть мужчинам к ней доступа нет,
Каждый день созывает свой царский совет.

У нее во дворце есть большая палата,
Что не только ковром златотканым богата:

Там хрустальный поставлен блистающий трон
И рядами жемчужин он весь окаймлен.

Весь дворец ее блещет каменьев лучами
И, как светоч иль месяц, сияет ночами.

Каждым утром, взойдя на высокий престол,
Взор царица возносит в заоблачный дол.

Всем, кто в этой палате, невестою мнится
Меж невест услужающих эта царица.

И все жены цветут; в созерцанье они
И в веселье проводят счастливые дни.

Но в дремоте своей и за радостным пиром
Розы помнят того, кто сияет над миром.

И жена, чье чело так пристало венцу,
Не жалеет себя в поклоненье творцу

И не спит во дворце, схожем с божеским раем,
В мудрой зоркости. Так же о доме мы знаем,

Что из мраморных глыб. Ночью, словно луна,
Одинокая, в дом этот входит она.

Там за тихим, для всех недоступным порогом
До утра она страждет, склоняясь пред богом.

Лишь ко сну она голову склонит,— и вот
Вскинет снова, как птичка, которая пьет.

И затем в окруженье пери́ она снова
Пьет вино и внимать милым песням готова.

Так она управляет стремлений конем:
В ночь — сюда повернет, а туда — светлым днем.

В ночь молитвам она предана, а с рассветом
Хочет радостной быть — видит благо лишь в этом.

Так ведет меж подруг она круг своих дней.
Пребывают гулямы в заботах о ней».

Искендер, обольщенный такими речами,
Все хотел бы увидеть своими очами.

Вся окрестность цвела, воды мчались по ней,
Дол казался «алхимиков камня» ценней.

За вином, в изобилье таком небывалом,
Искендер отдыхал, наслаждаясь привалом.

Но уже к Нушабе весть пришла во дворец,
Что блестит недалеко румийский венец.

И готовиться стала она к услуженью,
Ибо знала: весь мир — под румийскою сенью.

И, румийцу служа, как царю своему,
Наилучшие яства послала ему.

Кроме птиц для стола и животных отборных,
И коней под седло многоценных, проворных,

Злаки, блеском своим привлекавшие взгляд,
Ароматная снедь и приправы, и ряд

Златокованых чаш, чтоб свершать омовенья,
И плоды и вино, что дарует забвенье,

Мускус, травы, чей дух полон сладостных чар,
За харварами сахара новый харвар,—

Для того, кто царил так премудро и мощно,
От нее привозили и денно и нощно.

Искендеру подарки и яства даря,
Не забыла она и придворных царя.

И, ее благородством пленясь и делами,
Все царицу Берды осыпали хвалами.

Искендер еще больше направить свой путь
К Нушабе захотел, чтоб хоть глазом взглянуть,—

Так ли скрытен дворец в ее райской столице,
Так ли дело правленья покорно царице,

Так ли властна она, так ли облик пригож,
Правда ль слухи о ней, или все это ложь?

*

Сумрак ночи — Шебдиз — над горами большими
Был подкован подковами дня золотыми.

Сел в седло Искендер; путь он хитрый нашел:
К Нушабе он отправился, словно посол.

И, с коня соскочив у дворцового входа,
Государь отдохнул. До небесного свода

Поднимался дворец, и казалось: пред ним
Все склонилось и был он лазурью храним.

Увидав, что гонец на дворцовом пороге,
Всполошились рабыни и в царском чертоге

Доложили царице о дивном после
От Владыки, что блеск даровал их земле:

«Этот светлый гонец схож с крылатым Сурушем,
Что с благим предвещаньем спускается к душам!

В нем великого разума светится свет,
И сияньем божественным весь он одет».

И свой тропный покой Нушабе осветила,
Путь запретный она в золотой обратила.

Луноликих она разместила в ряды.
С двух сторон расцвели золотые сады.

Мускус тягостных кос оплетя жемчугами,
Вся она в жемчугах заблистала шелками,

И прекрасным павлином казалась она,
И сияла она, и смеялась она,

И воссела в венце на сверкающем троне
С апельсином, наполненным амброй, в ладони.

Повелела она, чтоб гонца к ней ввели,
Соблюдая весь чин ей подвластной земли.

Но посланец, как лев, отстранивши препону,
Появился в дверях и направился к трону.

И меча он не снял, и, как должно гонцу,
Он земного поклона не отдал венцу.

Быстролетно окинул он огненным взором
Весь чертог, полный блеска и света, в котором

Райских гурий за рядом увидел он ряд
И который был райским дыханьем объят.

Столько светлых на девах сверкало жемчужин,
Что, взглянув, ты бы пролил немало жемчужин.

И узоры ковра, словно лалы горя,
Разогрели подковки сапожек царя.

Словно россыпи гор и сокровища моря
Воедино слились, весь чертог разузоря.

Поглядев на посла,— и медлителен он,
И пред ней не свершил он великий поклон,

Как пристало послу пред царицей иль шахом! —
Нушабе была смутным охвачена страхом.

«Расспросить его до́лжно,— решила она,—
Что-то кроется здесь! В нем угроза видна!»

Но, окинув гонца взором быстрым, как пламень,—
Так менялы динары бросают на камень,—

Лишь мгновенье она колебалась. Посол
Приглашен был воссесть рядом с ней на престол.

Был достоин сидеть он с царицею рядом:
Узнан был Искендер ее пристальным взглядом.

Семь небес голубых восхвалила жена,
И восславила вслед Миродержца она,

Но догадки своей не открыла; нескромной
Не явилась и, взор свой потупивши томный,

Не сказала тому, кто смышлен и могуч,
Что в руке ее к тайне имеется ключ.

Искендер, по законам посольского чина,
Как почетный гонец своего господина,

Восхваливши царицу прекрасной страны
И сказав, что ему полномочья даны

Тем царем, что велик и чья праведна вера,—
Начал так излагать ей «слова Искендера»:

«О царица, чья слава сияет светло,
Чье величье — величье всего превзошло,

Почему, хоть на день свои бросив угодья,
Ты ко мне повернуть не желаешь поводья?

Иль я слабость явил, что презрен я тобой?
Иль нанес тебе вред, что полна ты враждой?

Где отыщешь ты меч и тяжелый и смелый,
Где отыщешь ты метко разящие стрелы,

Что спасли бы тебя от меча моего?
Путь ко мне обрети. Он вернее всего.

На пути в мой шатер запыли свои ноги.
Устрашись! Мне подобные — могут быть строги.

Если я по путям твоим вздумал идти,
Бросив тень своей мощи на эти пути,—

Почему к моему не пришла ты престолу?
Почему не склонила главы своей долу?

Ты, царица, подумала лишь об одном:
Ублажить меня снедью, плодами, вином,

Блеском утвари ценной,— я принял все это,
Но и ты не отвергни благого совета.

Сладко видеть тебя с твоим блеском ума.
Всем даруешь ты счастье, как птица Хума.

Размышлений дорога премудрой знакома,
К нам ты завтра явись в час большого приема».

Замолчал Искендер, и склонил он чело
В ожиданье ответа. Мгновенье прошло,

И раскрыла тогда Нушабе для ответа
Свой прелестный замочек пурпурного цвета:

«Славен царь, у которого мужество есть
Самому доставлять свою царскую весть.

Я подумала тотчас о шахе великом,
Лишь вошел ты, блистая пленительным ликом.

Ты не вестник — в тебе шаханшаха черты.
Ты — не посланный, нет! Посылающий — ты.

Твое слово — как меч, шею рубящий смело,
Ты, грозя мне мечом, изложил свое дело.

Но меча твоего столь высоким был взмах,
Что постигла я мигом, что ты шаханшах.

Искендер! Что твердишь о мече Искендера?
Как же ныне тобой будет принята мера

Для спасенья? Зовешь меня — сам же в силок
Ты попал. Поразмысли, беспечный ездок!

Залучило тебя в мой дворец мое счастье.
Я звезду свою славлю за это участье!»

Молвил царь: «О жена, чей прекрасен престол!
К подозреньям напрасным твой разум пришел.

Искендер — океан, я — ручей, и под сенью
Лучезарной ты солнце не смешивай с тенью.

На того не похож я, царица моя,
У кого много стражей таких же, как я.

Не влекись, госпожа, к размышленью дурному
И Владыку себе представляй по-иному.

Без гонцов неужели обходится он
И посланья свои сам возить принужден?

У царя Искендера придворных немало,
Утруждать свои ноги ему не пристало».

И опять Нушабе разомкнула уста:
«Вся надежда твоя, Миродержец, пуста.

Не обманешь меня: Искендера величья
Ты не скрыл, своего не скрывая обличья.

Величавый! Твои величавы слова.
Шкурой волка не скроешь всевластного льва.

И послам под сиянием царского крова
Не дано так надменно держать свое слово.

Не смягчай своей спеси,— столь явной, увы! —
Не склонив перед нами своей головы,

Кровожадно вошел бы сюда и спесиво
Только царь, для которого властность не диво.

Есть еще кое-что у меня про запас,
Чтобы тайну свою от меня ты не спас».

Молвил царь: «О цветущая дивной красою!
Речи льва искажаться не могут лисою.

Пусть тебе я кажусь именитым, но все ж,
Я — гонец и с царем Искендером не схож.

Что могу я сказать о веленье Владыки?
Повторил я лишь то, что промолвил Великий.

Ты надменным считаешь послание, но
Разрешать ваши споры послу не дано.

Если резкой тебе речь посредника мнится,
Вспомни: львом, не лисою я послан, царица.

Есть устав Кеянидов: по царским делам
Ни обид, ни вреда не бывает послам.

Я лишь ключ от замка государевой речи.
Так не бей по ключу, будь от гнева далече.

Поручи передать мне твой чинный ответ.
Я отбуду, мне дела здесь более нет».

Нушабе рассердилась: с отвагою львиной
Вздумал солнечный свет он замазывать глиной!

Загорелась, вскипела и, гневом полна,
В нетерпенье великом сказала она:

«Для чего предался нескончаемым спорам?
Глиной солнце не мажь!» И, блеснув своим взором,

Приказала она принести поскорей
Шелк, на коем начертаны лики царей.

Угол свитка вручив Искендеру, сказала
Нушабе: «Не глядит ли вот тут из овала

Некий лик? Не подобен ли он твоему?
Почему же начертан он здесь, почему?

Это — ты. Иль предашься ты вновь пустословью?
Тщетно! Своды небес не прикроешь ты бровью».

По приказу жены развернувши весь шелк,
Многославный воитель невольно умолк:

Он увидел себя, он узрел — о, коварство! —
В хитрых дланях врага свое славное царство.

И, в нежданный рисунок вперяя свой взор,
Он застыл: тут бесплодным окажется спор!

Желтизной Искендер стал похож на солому.
Бог предаст ли его ухищрению злому!

Нушабе, увидав, что смущен этот Лев,
Стала мягкой, всю гневность свою одолев,

И сказала она: «О возлюбленный славы!
У судьбы ведь не редки такие забавы.

Ты звездою благою ко мне был ведом.
Ты считай своим домом сей царственный дом.

И тебе я покорною буду рабыней.
Здесь ли, там ли — я буду повсюду рабыней.

Для того показала тебе я твой лик,
Чтобы в сущность мою ты душою проник.

Я — жена, но мой круг размышления шире,
Чем у женщин иных. Много знаю о мире.

Пред тобою, о Лев, я ведь львицей стою,
И тебе я всегда буду равной в бою.

Если я, словно туча, нахмурюсь — то с громом
Будет мир ознакомлен и с молний изломом.

Львам я ставлю тавро, знаю силу свою.
Крокодиловый жир я в светильники лью.

От любви увлекать меня к бою не надо,
Укорять ту, что вся пред тобою,— не надо.

Ты шипы не разбрасывай — сам упадешь.
Дай свободу другим — сам свободу найдешь.

Коль меня победишь — не добудешь ты славы.
В этом люди увидят бесчинство расправы.

Если ж я, поведя ратоборства игру,
Одолею тебя, я ведь шаха запру.

Пусть меня ты сильней, бой наш будет упорен.
Я прославлена буду, а ты опозорен.

Говорил постигавший всех распрей судьбу:
«Никогда не вступай с неимущим в борьбу.

Так он будет стремиться к добыче, что, ведай,
Не тебе, а ему породниться с победой».

Знай, хоть край мой в границы свои заключен,
Я слежу за владыками наших времен.

Знай — от Инда до Рума, от скудной пустыни
До пространства, что божьей полно благостыни —

Разослала повсюду художников я
И мужей, проникающих в тьму бытия,

Чтоб, воззрев и прислушавшись к общему толку,
Мне подобья царей начертали по шелку.

Так из каждого края, что мал иль велик,
Мне везут рисовальщики царственный лик.

И гляжу я в раздумье на эти обличья
И, чтоб тоньше постичь царских ликов различья,

Я о тех, по которым я взор свой веду,
От мужей многоопытных сведений жду.

Письмена их прочтя, их с рисунком сличая,
Узнаю я властителя каждого края.

И любого царя с головы и до пят
Изучает мой взор. Мои мысли кипят,

И мужей, захвативших и воды и сушу,
Я пытаюсь постичь и проникнуть в их душу.

Я сличаю державных,— кто плох, кто хорош.
Есть наука об этом. Наука — не ложь!

Я царей изучаю внимательно племя.
Не в одних лишь усладах течет мое время.

На раздумий весах узнаю я о том,
Кто из всех властелинов бесспорно весом.

Мне на этом шелку, о венец мирозданья!
Ничего нет милей твоего очертанья!

Словно слава над ним боевая царит
И о мягкости также оно говорит».

И царица, сияя подобно невесте,
По ступеням сошла, чтоб на царственном месте

Искендер был один; будь хоть каменным трон —
Никогда двух всевластных не выдержит он.

Потому лишь игра мучит сердце любое,
Что два шаха в игре и соперников двое.

И, покинув свой трон, перед шахом жена
Стройный стан преклонила, смиренья полна,

И, затем на сидение сев золотое,
Услужать ему стала. Смущенье большое

Искендера объяло; стал сам он не свой
Перед этою рыбкою, хищной такой.

Он подумал: «Владеет красавица делом,
И полно ее сердце стремлением смелым.

Но за то, что свершить она до́лжным сочла,
Ей от ангелов горних пошлется хвала.

Все ж бестрепетной женщине быть не годится:
Непомерно свирепствует смелая львица.

Быть должны легковеснее мысли жены.
Тяжкой взвешивать гирей они не должны.

Быть в ладу со стыдливостью женщинам надо.
Звук без лада — лишь крик; есть ли в крике услада?

«Пусть жена за завесою лик свой таит
Иль в могиле укроется»,— молвил Джемшид.

Ты не верь даже той, что привержена вере.
Хоть знаком тебе вор,— запирай свои двери.

Безрассудный посол! — он себя поносил.—
Для защиты своей не имеешь ты сил.

На́д тобою нежданные беды нависли.
Ты попался! Ну что ж! Напряги свои мысли!

Если б встретил врага, а не женщину ты,
Если б в ней не таилось ее доброты,

Ты давно бы забыл о возвратной дороге:
Обезглавленным пал бы на этом пороге.

Если ныне я целым отсюда уйду,
На желанья свои наложу я узду.

И лица своего прикрывать я не стану.
Прибегать безрассудно к такому обману.

Коль нежданного плена обвил меня жгут,
То не нужно мне новых мучительных пут.

Мы спасаем букашку, упавшую в чашу,
Применяя не силу,— находчивость нашу.

Терпеливым я стану; все это лишь сон.
Он исчезнет. Ведь буду же я пробужден!

Я слыхал: человек, предназначенный казни,
Шел смеясь, будто вовсе не ведал боязни.

И спросили его: «Что сияешь? Ведь срок
Твоей смерти подходит, твой путь — недалек».

Он ответил: «Коль жизни осталось так мало,
То в печали ее проводить не пристало».

Был разумен его беспечальный ответ.
И во мраке создатель послал ему свет.

Хоть порой должный ключ мы отыщем не скоро,
Но откроем мы все ж таки створку затвора».

Еще много иного сказал он себе
И решил покориться нежданной судьбе.

Если мощный в пути одинок, то не диво,
Что в своем одиночестве встретит он дива.

Коль без лада певец свой затянет напев,
В своем сазе насмешку услышит и гнев.

И, познав, что напрасным бывает хотенье,
Растревоженных мыслей смирил он смятенье.

Победит он терпеньем постыдный полон!
И на счастье свое понадеялся он.

Нушабе приказала, ему услужая,
Чтобы те, что подобны красавицам рая,

Всевозможною снедью украсили стол
И чтоб яствами лучшими весь он расцвел.

И рабыни, сверкая, мгновенно, без шума,
Приготовили стол для властителя Рума.

Сотни блюд принесли, и вздымались на них
Бесконечные груды различных жарких

И хлебов, чья душистость подобилась чуду,
И лепешек румяных внесли они груду,

Чтоб рассыпать по ним, словно россыпь семян,
Много сладких печений. Был нежен и прян

Дух пленительный хлебцев; в усладе сгорая,
Ты вдыхал бы их амбру, как веянье рая.

Кряж такой из жаркого и рыбы возник,
Что подземные гнулись и Рыба и Бык.

От бараньего мяса и кур изобилья
У смеющейся скатерти выросли крылья.

И миндаль и фисташки забыли свой вкус,—
Так пленил их «ричар», так смутил их «масус».

И от сочной халвы, от миндальных печений
Не могли леденцы не иметь огорчений.

«Палуде» своей ясностью хладной умы
Прояснило бы те, что исполнены тьмы.

И напиток из розы «фука» благодатный
Разливал по чертогу свой дух ароматный.

Златотканую скатерть отдельно па трон
Расстелили. Был утварью царь удивлен.

Не из золота здесь, не для снеди посуда:
На подносе — четыре хрустальных сосуда.

В первом — золото, лалами полон второй,
В третьем — жемчуг, в четвертом же — яхонтов рой.

И когда в этом праздничном, пышном жилище
Протянулись все руки к расставленной пище,

Нушабе Искендеру сказала: «Любой
Кушай поданный плод,— ведь плоды пред тобой».

Царь воскликнул: «Страннее не видывал дела!
Как бы ты за него от стыда не зардела!

Лишь каменья в сосудах блестят предо мной.
Не съедобны они. Дай мне пищи иной.

Эта снедь, о царица, была б нелегка мне,
Не мечтает голодное чрево о камне.

На желанье вкушать — должной снедью ответь,
И тогда я любую отведаю снедь».

Рассмеялась Луна и сказала проворно:
«Если в рот не берешь драгоценные зерна,

То зачем ради благ, что тебе не нужны,
Ты всечасно желаешь ненужной войны?

Что взыскуешь? Зачем столько видишь красы ты
В том, чем люди вовеки не могут быть сыты?

Если лал не съедобен, скажи, почему
Мы, как жалкие скряги, стремимся к нему?

Жить — ведь это препятствий отваливать камень.
Так зачем же на камни наваливать камень?

Кто каменья сбирал, тот изгрызть их не мог,
Их оставил, уйдя, словно камни дорог.

Лалы брось, если к ним не пылаешь пристрастьем,
Этот щебень в свой срок оглядишь с безучастьем».

Царь упрекам внимал; он прислушался к ним,
И, не тронув того, что сверкало пред ним,

Царь сказал Нушабе: «О всевластных царица!
Пусть над миром сиянье твое разгорится!

Ты — права. Выйдет срок — в этом спора ведь нет,—
Станет камню простому сродни самоцвет.

Все ж полней, о жена, я б уверился в этом,
Если б также и ты не влеклась к самоцветам.

Коль в уборе моем и блестит самоцвет,
То ведь с царским венцом вечно слит самоцвет.

У тебя ж — на столе самоцветов мерцанья.
Так направь на себя все свои порицанья.

Накопив самоцветы для чаш и стола,
Почему ты со мною столь строгой была?

О владельце каменьев худого ты мненья.
Почему же весь дом твой покрыли каменья?

Все ж разумной женою ты кажешься мне
И твои поученья уместны вполне.

Да пребудешь ты вечно угодною богу,—
Ты, что даже мужам указуешь дорогу!

О жена! От себя твое золото я
Отставляю. И в этом заслуга твоя».

И, счастливая этой великой хвалою,
Совершивши поклон, до земли головою

Преклонясь, повелела служанкам своим
С угощеньем подносы поставить пред ним,

И, поспешно испробовав яства, сияя,
Их царю предложила, и, не уставая,

Хлопотала, пока Искендер не устал
От еды и в дорогу готовиться стал.

Взяли клятву с царя, что не станет угрюма
Золотая Берда от нашествия Рума.

Дав охранную грамоту, сел он в седло,
Поскакал: на душе у царя отлегло.

Понял он: от лукавой игры небосвода
Оградил его бог. Сколь отрадна свобода!

И, уйдя от всего, чем он был устрашен,
Благодарность вознес вседержителю он.

*

Шар игральный у дня ночь взяла, но при этом
Разодела весь мир лунным, сладостным светом.

Хоть пропал золотой полыхающий шар,
Но серебряных шариков реял пожар.

Вспомнил благостный сон о царе Искендере
И закрыл ему веки — души его двери.

Отдыхал Властелин до мгновений, когда
Мгла исчезла: сиянью настала чреда.

Поднял голову царь, чтоб за радостным пиром
Встретить утро, что, ярко вставая над миром,

Апельсином сразило рассвет. Пропылал
Он, покрывшийся кровью, как пламенный лал.

И когда было небо в сверканиях лала,
Нушабе к Повелителю путь свой держала.

И была под счастливой звездою она,
Как плывущая ввысь золотая луна.

За конем луноликой, сверканьем играя,
Шли рабыни, как вестницы светлого рая;

Сто Нахид помрачнели б, наверно, пред ней,
Ста Нахид ее пальчик единый ценней.

И предстал царский стан перед взором царицы,—
Там нет счета шатрам, там коней вереницы,

Там от золота стягов, от шелка знамен
Прах фиалковым стал, розов стал небосклон.

Между сотен шатров, с их парчовым узором,
Путь к царю не могла разыскать она взором,

Но, людей расспросив, прибыла ко двору —
К подпиравшему небо цареву шатру.

Золотые подпоры, из шелка канаты
И гвоздей серебро... Краше румской палаты

Для приемов шатер. И приема жена
Попросила, и спешилась эта Луна.

И позволили ей преклонения дани
Принести и пройти под шатровые ткани.

И узрела она: со склоненным лицом
Венценосцы стоят под единым венцом.

Перед тем, кого чтили все жители мира,
Пояс к поясу встали властители мира.

И одежд их сверкающих яркий багрец
Был опасен для глаз и для робких сердец.

И стенной они росписью, чудилось, были.
О движенье, о слове они позабыли.

Охватил тут невесту-затворницу страх:
В замке труднодоступном находится шах.

Преклонясь, Нушабе начала восхваленье.
Всех могучих она привела в умиленье.

Повелел государь — и сверкающий трон
Принесли. Был из чистого золота он.

Царь Луну усадил на возвышенном месте,
Ниже — тех, кто сопутствовал этой невесте.

Он прибывшей хороший прием оказал;
Что приезд ее благ, Нушабе он сказал.

Успокоилось сердце жены, и Властитель
Приказал,чтоб явился пиров управитель

И чтоб стольник скорей угощенья принес
И пустил вкруговую обильный поднос.

Но сперва, словно взят из источников рая,
Заструился «джуляб», духом розы играя.

Столь усладный напиток не только Хосров —
И Ширин не имела для званых пиров!

А затем белотканые скатерти стлали,
И поплыл запах амбры в небесные дали.

Блага все, что давало богатство земли,
В тяжких грудах поспешно на стол принесли:

Из муки серебристой, просеянной дважды,
Были поданы... луны — подумал бы каждый.

Словно свертки шелков,— для услады царей! —
Засияли хлеба, жаркий труд пекарей.

На подносах из золота груду и груду
Хлеба — сотни сортов! — расставляли повсюду.

Лишь лепешки одной не нашлось на столе —
Той, что в небе, пылая, светила земле.

Все, поев, как положено, сладостной влаги
Пожелали. И жбаны раскрылись и фляги.

До полудня за чашами время прошло,
И, когда пламень дружбы вино разожгло,

Опьянения радость разгладила брови
Тем, кто к пиршествам жаркой исполнен любови.

И за струнной игрой до вечерней зари
Провели с Нушабе свое время пери.

И когда в черный цвет свод оделся высокий
И к подушкам прильнуть так хотели бы щеки,

Молвил царь луноликим, словам их в ответ:
«Уезжать вам сегодня не следует, нет.

Я хочу, чтобы завтра возникло от Рыбы
До Луны пированье, чтоб все мы могли бы,

Как нам Кеи велели и сам Феридун,—
Усладиться вином и звучанием струн.

Может статься, в огне, наполняющем чаши,
Испекутся дела несвершенные наши.

Позабудем о всем, чем нас мир покарал,
Исцелит наши души столетний коралл.

Пусть ланит наших станут прекрасными розы:
Раскрасневшись, становятся страстными розы.

Коль мы прах напоим ценной амброй вина,—
Для мытья головы станет глина годна».

Что же! Радость пери́, преклоненных пред шахом,
Одержала победу над девичьим страхом.

И была Нушабе на царевом пиру
Так светла, как Зухре в небесах поутру.

Властной амброй дыша, глубока, чернокрыла
Стала ночь и мешочек свой мускусный вскрыла,

А из мускусных кос милых дев свой аркан
Сделал царь, сладкой амбры усилив дурман.

И луну и Юпитер арканом сим властным
Он заставил спуститься на землю к прекрасным.

Пированьем была эта страстная ночь,
И сверкали пери́,— так хотелось им смочь

В пламень бросить подкову: хорошая мера,
Чтоб, колдуя, любовью зажечь Искендера!

Царской волей зажглись благовонпй костры,
Словно маги в ночи затевали пиры.

Так он взвихрил огонь, что в хмелю позабыли
Все о скарбе — о том, чем так связаны были.

За вином, струны звонкие слушая, он
Всю провел эту ночь. Посветлел небосклон;

По лазури багрянец прошел полосою,
Черный соболь нежданно стал рыжей лисою.

Снова стал веселиться зеленый простор,
И был царственный снова разостлан ковер.

Кипарисов ряды снова подняли станы,
Куропатки мелькнули, блеснули фазаны.

И запели перй. Им казалось, что пьян
И любовью и солнцем обильный Михрган.

И когда цвета яшмы запенились вина,
Тотчас яшмовой стала небес половина.

ИСКЕНДЕР ДАЕТ ПРОЩАЛЬНЫЙ ПИР НУШАБЕ И РАЗМЫШЛЯЕТ О НОВОМ ПОХОДЕ

Весной, в дни праздника новруза, Искендер устраивает пир. Нушабе со своими прекрасными спутницами — украшение пира, но ни сам царь, ни его воины не глядят на красавицу,— Искендер всех приучил к сдержанности. После этого тихого, пристойного пира Искендер подносит Нушабе богатые дары... Искендер созывает на совет мудрецов и воинов. Он говорит им, что снова собирается в поход. Пока он не пройдет все края земли, он не вернется в Рум. В этих походах он надеется найти край, где люди счастливы. Воины готовы следовать за царем. Искендер рад, он одаривает их. Но теперь его мучают опасения, что разбогатевшие воины будут нерадивы в походе. Мудрец Булинас советует всем воинам зарыть свои богатства в земле, поставив значки — меты, чтобы их можно было разыскать. В дальнейшем, говорит Низами, войска вернулись домой другой дорогой, вернулись просветленные духом, и воинам уже не были нужны зарытые сокровища. Все воины поступили в монастырь, а опись кладов отдали настоятелю. На эти средства монастырь оплачивал труд служителей.

ИСКЕНДЕР С ПОМОЩЬЮ ОТШЕЛЬНИКА ЗАВОЕВЫВАЕТ ДЕРБЕНТСКИЙ ЗАМОК

Воины Искендера спрашивают его, почему он так жалует святых отшельников, когда все победы обеспечили ему только они, воины. Если молитва сильнее меча, они побросают мечи. Искендер не отвечает им. Вскоре войска приходят к Дербентскому проходу. В этом ущелье стоит замок. Сидящие в замке разбойники не хотят пропускать войска Искендера. Он осаждает замок. Стенобитные машины оказываются бессильными разбить его мощные стены. Осада затягивается. Искендер узнает, что поблизости в горах живет святой отшельник, и отправляется к нему. По просьбе Искендера отшельник творит молитву — стены замка тут же

рушатся, разбойники сдаются Искендеру. Что же все-таки сильнее,— спрашивает он теперь своих воинов,— ваши мечи и стенобитные машины или молитва хилого старца? Воины видят правоту Искендера. Построив в Дербенте стену — защиту землепашцев против набегов кочевников, войска отправляются дальше, к замку Сарир, где хранятся волшебная чаша и трон Кей-Хосрова.

ИСКЕНДЕР ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЗАМОК САРИР

Повелитель Сарира выходит навстречу Искендеру с богатыми дарами. Он спрашивает завоевателя, что привело его в эти края. Тот отвечает: он пришел побыть у трона великого Кей-Хосрова и заглянуть в волшебную чашу, ибо ему стал неясен его дальнейший путь. Он должен узнать свою судьбу и укрепить душу. Искендеру устраивают в замке пышный прием. Он посидел немного на троне Кей-Хосрова, почтительно облобызал его, сошел и принял бирюзовую волшебную чашу, полную вина. Испив из этой чаши, Искендер рассуждает о бренности: все люди умрут, думает он, как умер мощный владыка Кей-Хосров.

ИСКЕНДЕР ПРОНИКАЕТ В ПЕЩЕРУ КЕЙ-ХОСРОВА

Кей-Хосровову чашу, о кравчий, возьми,—
Так отрадно сверкает она пред людьми.

Пусть вином она будет полна и готова
Для того, в ком сиянье царя Кей-Хосрова.

*

Правосудья носитель! Светлее зари
Озаряющий мир! О второй Муштари!

Есть у нас Кей-Хосров! И живет во мне вера,
Что не трудно узреть нам царя Искендера.

Хоть с небесной те звезды ушли высоты,
Продолжатель Хосроев сверкающих — ты.

И спокойно, о Властный, ты властвуешь в мире,
Потому что с их помыслом царствуешь в мире.

Хоть весь мир воспринял твоей славы чекан,
Хоть тобою покой миру нашему дан,

Обольщаться тебе все же миром не надо:
Будет небо твоим вожделеньям не радо.

Что с влюбленными в мир мир свершает, взгляни!
Как не ласков он с ними! Как страждут они!

Окружая престол вихрем злым и веселым,
Как играет он тем, кто играет престолом!

Опьянившихся сладким дурманом вина
Поразил он,— но в чем же была их вина?

Если ты — Кей-Хосров, семь кишверов приявший,
Если ты — Искендер, все величье познавший,

То от чаши и зеркала все свои дни
Больше блага имей, чем имели они.

Что б ни делал, сбирай ты припасы в дорогу:
Ты без добрых деяний не надобен богу.

О даритель венцов! О горящий венцом!
О завещанный нам венценосным отцом!

Веселись, хоть ушли те, что веселы были,
Ты — в венце, хоть венцы все они позабыли.

Пусть красив этот сад, как фазанье крыло,
Отцветет он, как всё, что когда-то цвело.

Прочь ушел кипарис: нет царя Ахситана!
Ты ж цвети всем цветением крепкого стана.

Пусть, ко мне снисходя, дал мне силу и вес
И вознес он меня до высоких небес,

Оценил ты меня еще выше,— в награду
Дал бродить мне по царственной щедрости саду.

Пусть же звезды, что правят земною судьбой,
Дверь отрад раскрывают всегда пред тобой!

Никого тебе равных, о щедрый, не стало.
Так живи, чтоб сиянье твое мне блистало!

Что ж еще я свершил? Где носило меня?
По каким бездорожьям гонял я коня?

*

Вндя чашу и трон с его древним узором,—
Трон, что служит отрадою только лишь взорам,

Ибо каждый престол для души и ума
Всех сидящих на нем — не престол, а тюрьма,—

Царь позвал Булинаса. Пред чашей Хосрова
Сел мудрец, чтобы тайны не стало покрова

На устройстве сосуда, который умел
Отражать буйный мир и чреду его дел.

Взор вперил Булинас в надпись дна золотого
И прочел начертанье от слова до слова.

Там, где чаша скреплялась, узрел он, дивясь,
Еле видимых строк прихотливую вязь.

И вгляделись и царь и мудрец в эти строки
И расчет их постигли премудрый, глубокий,

И все числа, что были таимы в строках,
Затвердил Булинас, затвердил шаханшах.

И когда возвратился к румийским пределам
Искендер, то владеющий разумом смелым,

Прозорливый мудрец, помня чашу сию,
Астролябию круглую создал свою.

Искендер, древней чаши познав построенье
И на троне прославленном отдохновенье,

Молвил так: «Ради дремы не сядет вовек
На священный престол ни один человек!»

И тогда Булинас чародейные знаки
Начертал на престоле великом, и всякий,

Кто б воссел на престол, его блеском влеком,
Был бы вмиг с него сброшен внезапным толчком.

Я слыхал, что и ныне толчками порою
Угрожает престол и дрожит над горою.

И, в Сарире побыв, все увидевши там,
Словно сам Кей-Хосров, царь пошел ко вратам.

Трон и чашу он знал! И царю Искендеру
Дóлжно было узреть Кей-Хосрова пещеру.

Управитель Сарира немало труда
Положил, чтоб с Владыкой пробраться туда.

В бездорожье кремнистом, возвышенном, тесном
Скакуны их дрожали пред всем неизвестным.

Даже скользких тропинок скала не хранит!
Разбросал по осколкам осколки гранит.

...Воет ветер, гремит о граниты подкова.
Закричал проводник: «Вон приют Кей-Хосрова.

В нем уснул он. Взгляни! Труден, тягостен путь:
Со скалы на скалу нам опасно шагнуть.

Для чего устремляться, как будто за кладом,
К недоступной пещере по этим громадам,

Рыть ногтями дорогу под сумрачный кров?
Ты страшись в ней уснуть, как уснул Кей-Хосров!

Путь всех тех, кто срывал с неизвестного полог,
Был и скользок, и крут, и мучительно долог.

Поверни повода. Жизнь бесценна твоя,
А быть может, в пещере таится змея!»

Слез с коня Искендер. Нет, не придал он веры
Слову спутника! Должно дойти до пещеры!

Устремился он к ней. Шел водитель пред ним,
Шел за ним Булинас. Был не явственно зрим

Тесный вход, о котором твердили поверья,
И достиг Искендер темной тайны преддверья;

И объял Искендера неведомый страх:
Устрашился творца этот праведный шах.

Видит трещину царь между тесных расселин,
Верно, путь этот стиснутый смертным не велен!

Все ж пробрался в пещерную глубь государь,
Чтоб увидеть останки уснувшего встарь.

Лишь мгновенье прошло, и сверканьем багровым
Низкий свод засверкал... «Здесь, под этим покровом,—

Молвил царь Булинасу,— огонь и пары?
Что за тайна в расселинах этой горы?»

И взглянул Булинас: вся пещера изрыта
И сверкает огонь из провала гранита.

Словно кладезь, глубок был и страшен провал,
И огонь языки в нем свои извивал.

Эту пламени пасть мы узреть не могли бы:
Заградили ее каменистые глыбы.

Булинас ищет путь, ищет пламени суть.
Нет, еще не сияет познания путь!

И веревкой мудрец обвязал себе пояс,
Стал спускаться он вглубь, в страшной пропасти
кроясь.

Уяснить он хотел себе свойство огня,
Что пылал, как пожар уходящего дня:

Не рассеян, а собран огонь! Искендера
Мудрый спутник постиг: это вспыхнула сера.

Знак он подал. Подняться ему помогли.
Помолился мудрец о Владыке земли.

И сказал: «Поспешим! Этот кладезь не влагу,
Но огонь лишь сулит. Бойся! Дальше ни шагу!

Душит сера, там все только ею полно.
Это жаром ее все вокруг сожжено.

Знал о ней Кей-Хосров — был он сведущ без меры,—
И укрыл камень мудрости в пламени серы».

Царь молитву прочел, мускус бросил в огонь,
Сделал шаг и услышал, как ржет его конь.

Но из тесной лощины исхода не стало,
И с вершины спуститься надежд было мало:

Туча встала над морем, направила бег
На вершину горы и просыпала снег.

Был засыпан весь мир, всем живущим на горе,
От вершин до ложбин, от равнины до взгорий.

Искендер заблудился; как слезы, с ресниц
Снег он сбрасывал. Видя, что нету границ

Белоснежным буграм, к белоснежным вершинам
Вышли люди из замка. В порыве едином

Удалось вкруг лощин им завал разгрести
И с трудом утоптать снег на скользком пути.

С их помогою царь, на коне понемногу
Все сугробы осилив, увидел дорогу.

Лишь павлин отобрал у блестящей Хумы
Белоснежную кость,— мир исполнился тьмы,

И украсивший трон и все области мира
С Булинасом спустился с вершины Сарира.

Он вернулся в свой стан, и над ним, как всегда,
Неизменного счастья сияла звезда.

Отдохнул он от зноя и темного страха,
Что объял его в мрачном прибежище шаха.

Распростертое тело, что в усталь пришло,
Под рукой растиральщика дрему нашло.

Тихо спал Искендер, повелитель всевластный,
До рассвета, явившего свет свой неясный,

А когда вспомнил день о просторе земном,
И разбил в небесах свою флягу с вином,

И на глину земли бросил пруд бирюзовый
Благовонных стеблей золотые покровы,—

Повелел государь и вина и сластей
Принести и созвать и своих и гостей.

Благодушный царевич, властитель Сарира,
Был на месте почетном в течение пира.

Царь с царевичем чаши вздымали в руках.
Упоен был напитком рубиновым шах,

А затем Искендера рука к одаренью
Приступила. Услада и сердцу и зренью

Потекла перед гостем: венцы он обрел,
Ожерелья, из кости слоновой престол;

Златотканый кафтан, на котором Плеяды
Из жемчужин и яхонтов тешили взгляды;

Из большой бирюзы сотворенный сосуд,
Мог войти апельсин в углубленный сосуд;

Кубок маленький, грань его так и пылала,
Весь он вырезан был из огромного лала;

Лучезарный поднос; как цветущий миндаль,
Был красив его блещущий горный хрусталь;

Десять гордых коней, их алмазные сбруи
Так сверкали на них, как источников струи;

Сто верблюдов поджарых и с крепкой спиной,
Шедших с грузом поклаж вереницей одной;

Из каменьев цветных, что скрывали сосуды
На столе пирования,— целые груды.

Каждый спутник царевича, славя судьбу,
Всю расшитую золотом принял кабу.

Так рукой тороватой Властителя мира
Было щедро украшено царство Сарира.

К длани царской царевич с лобзаньем приник,
И в свой горный удел повернул он свой лик.

В барабаны забили; подобные буре,
Зашумели войска; стяг вознесся к лазури.

В степи тронулся шах; воин, страшный врагам,
Безмятежно стремился к морским берегам;

И в степях поохотился он две недели,
И знамена опять свод небес приодели.

ПОХОД ИСКЕНДЕРА В РЕЙ И ХОРАСАН

Искендеру приносят весть: в Рее — смута, против него восстал какой-то дерзкий царевич, выдающий себя за потомка Кей-Хосрова. К нему примкнули хорасанцы, восставшие идут на Истахр. Наместник Искендера не может с ними справиться. Узнав об этом, Искендер двинул войска на Рей. Покарав восставших, Искендер разрушает повсюду храмы огня. Из Рея он идет на Нишапур, Мерв, Балх. Взятую в походах добычу Искендер зарывает в землю, оставляя клады.

ИСКЕНДЕР НАПРАВЛЯЕТСЯ В ИНДИЮ

Двигаясь на юго-восток, Искендер доходит до Газны. Там он решает идти походом на Индию — покорить тамошнего коварного царя Кейда. К Кейду сперва посылают гонца с письмом, в котором требование: или подчиниться и выслать дань, или выйти на бой. Кейд устрашен. Он решает покориться Искендеру и направляет ему льстивое послание, обещая четыре дара: свою дочь в жены, кубок, который никогда не пустеет, прозорливого мудреца и искуснейшего врача. Искендеру не терпится получить эти дары. Он отправляет к Кейду Булинаса с новым посланием.

ПИСЬМО ИСКЕНДЕРА КЕЙДУ

Искендер пишет, что готов был уже предать страну Кейда огню и мечу, но миролюбие индийца изменило его решение. Он согласен на мир, согласен принять его дары... Булинас отвозит дары в стан Искендера. Они оказываются прекрасными. Следует подробное описание кра-

соты индийской царевны. Искендер сочетается с ней браком, а индийского мудреца отправляет гонцом в Истахр. В отправленном с ним письме он сообщает, что решил теперь идти войной на правителя Каннауджа Фура.

ПОХОД ИСКЕНДЕРА ИЗ ИНДИИ В КИТАЙ

Фур побежден и убит. Войска Искендера двигаются дальше. Им приходится спешить, ибо в Индии начинается падеж коней — климат им неблагоприятен. Искендер идет на Китай. По дороге, в степи, воины собирают много мускуса, рассыпанного прямо на земле. На рубеже китайской земли — благодатный край. Войска останавливаются на привал, Искендер пирует, охотится. Хакан узнает о появлении вражеского войска. Хакан испуган: он знает силу Искендера, его удачливость. Он созывает совет, просит помощи у вассалов, собирает несметное войско. С войсками он движется навстречу Искендеру. Лазутчики доносят ему, что Искендер — образец справедливости, человечности, доброжелательства, мудрости. Вместе с тем он храбрый воин, решительный и непобедимый полководец. Хакан решает не воевать и искать путей к миру. Искендер же узнает, что войска хакана идут ему навстречу. Он пишет хакану письмо.

ПИСЬМО ИСКЕНДЕРА КИТАЙСКОМУ ХАКАНУ

Искендер пишет, что пришел не как завоеватель, а скорее как гость хакана. Но он все же требует от него покорности. Далее Искендер повествует о своих победах и говорит: благожелателям своим он никогда не причинял зла и всегда был верен договорам. Он не собирается порабощать Китай и уговаривает хакана отказаться от вражды. Он говорит далее о мощи своих войск, рвущихся в бой. Он велит хакану явиться в свою ставку, если же тот не явится, пусть пеняет на себя. Гонец отправляется с письмом в ставку хакана.

ХАКАН ОТВЕЧАЕТ НА ПИСЬМО ИСКЕНДЕРА И НАПРАВЛЯЕТСЯ К НЕМУ ПОД ВИДОМ ПОСЛА

Хакан пишет Искендеру льстивое и хитрое письмо, которое может служить и поводом к войне, и предлогом для мирных переговоров. Потом он вызывает мудреца и советуется с ним. Мудрец говорит хакану, что ему лучше покориться, ибо не бог ли ведет сюда Искендера? Тогда хакан отправляется в стан Искендера под видом посла и просит разрешения говорить с ним наедине. Посла оковывают золотыми цепями, и тогда, оставшись наедине с Искендером, хакан признается, кто он, про-

сит не нападать на Китай и спрашивает о целях Искендера. Тот отвечает, что его цель — отвести Китай от неправедной веры и в течение семи лет получать с него дань. Хакан клянется ему в дружбе, и Искендер отпускает его. Наутро Искендеру докладывают, что войско хакана выстроилось, готовое к бою. Искендер в ярости решает, что хакан его обманул, и приказывает своему войску готовиться к битве. Когда войска уже стоят друг против друга, хакан выезжает навстречу Искендеру, объясняет ему, что хотел показать ему мощь своего войска, и, спешившись с коня, идет пешком к Искендеру. Войска братаются, а Искендер отказывается от дани.

СОСТЯЗАНИЕ РУМСКОГО ХУДОЖНИКА С ХУДОЖНИКОМ КИТАЙСКИМ

Животворное, кравчий, подай мне вино!
Словно жизни источник, желанно оно.

Может статься, вино, ластясь к мыслям усталым,
В охлажденной крови брызнет пламенем алым.

*

В день, подобный весне,— так он был озарен,
В день, прекрасней всех дней миновавших времен,

Был у шаха в гостях повелитель Китая;
Пировали два солнца, в чертоге блистая.

Из Китая, Ирана и зинджской страны
Знать к румийцу пришла. Были чаши полны,

Тесно было прибывшим, сидели бок о бок,
Мир забот был отогнан — в час пира он робок.

Был у слуха пирующих ценный улов:
Порождались устами жемчужины слов.

Кто-то вздумал спросить в этом шумном совете:
Кто из всех мастеров одаренней на свете,

Чем прославлена в мире любая страна
И в искусстве каком всех сильнее она?

И ответил один: «Если зрим чародея,—
Он из Индии гость».— «Волхвованьем владея,—

Так воскликнул второй,— может брать Вавилон
Пораженных людей в свой волшебный полон!»

Молвил третий: «В сердцах наших сладкая рана
От иракских ладов и певцов Хорасана».

И четвертый сказал: «В красноречии слаб
Житель каждой страны, если рядом — араб».

Пятый важно изрек: «Верен истине буду:
Только живопись Рума известна повсюду».

«Нет, о друг живописцев! На этом не стой.
Лишь в Китае художники»,— молвил шестой.

И румиец с китайцем поспорили: «Вправе
Только мы говорить об искусстве и славе!»

И красивый их спор был пленительно схож
С их искусством, он был — прихотливый чертеж.

После распри недолгой, напрасной и жаркой
Все решили: покой разделен будет аркой,

И когда эту арку построят, она
Будет плотной завесою разделена.

Справа — нечто румиец напишет умело,
Слева — ловкий китаец возьмется за дело.

И увидят они, что назначит им рок
В час, когда состязанья закончится срок.

Лишь они создадут взорам новый подарок,
То откинут завесу меж двух полуарок,

И решит многих зрителей пристальный взор:
Чья картина милей, чей прекрасней узор.

С двух сторон плотной ткани, без лишней заботы,
Мастера на ступени взошли для работы.

И когда своего каждый мастер достиг,
То завесу откинули в этот же миг.

Две прекрасных картины открылись,— и что же?
И рисунок, и цвет — все на них было схоже.

Всех внимательных судей стеснившийся ряд
На творения поднял растерянный взгляд:

Как же статься могло, что художников двое
Схожий создали сон в разделенном покое?

Тут вошел Искендер... Шепот судий затих...
Меж картинами сев, царь осматривал их.

Все казалось ему непостижною тайной
В этой близости образов необычайной.

Царь взирал на картин многоцветную гладь,
Продолжая огнем любопытства пылать:

Было сходство во всем у обоих творений,
Это было игрою взаимных дарений.

И мудрец, бывший тут же, увидел, дивясь,
Двух тождественных образов дивную связь.

Он стоял, размышляя, и вот понемногу
В ясной мысли к разгадке нашел он дорогу:

И велел он задернуть упругую ткань,
Между сводами арки вновь делая грань.

И когда друг от друга он своды завесил,
Этот — вмиг загрустил, тот — все так же был весел.

Вся картина румийца сияла, свежа,
А другую покрыла внезапная ржа.

И, китайскую сторону видя пустою,
Был смущен государь. Но опять красотою

Согласованных красок сверкнула она,
Лишь отдернута снова была пелена.

Все он понял: прельщала глаза не наброском,
Не картиной стена, а сияющим лоском

Отраженье она создавала; такой
Стала гладкой стена под китайской рукой.

И румиец явил своей радуги пламень,
И китаец сумел сделать зеркалом камень.

Здесь картина рождалась, на той стороне
Повторялась она на блестящей стене.

И у судей возникло единое мненье:
У искусников этих большое уменье.

Хоть в рисунке всех строже румиец,— считай:
В наведении лоска всех выше Китай.

РАССКАЗ О ХУДОЖНИКЕ МАНИ. ПРЕБЫВАНИЕ ИСКЕНДЕРА В КИТАЕ

Я слыхал, что из Рея, в далекие дни,
Шел в Китай проповедовать дивный Мани.

И немало людей из народов Китая
Шло навстречу к нему, и, Мани почитая,

Схожий с влагою горный хрусталь на пути
Положили они. Кто-то смог нанести

Тонкой кистью рисунок волнистый, узорный
На обманный родник, на хрусталь этот горный:

Словно ветер слегка взволновал водоем,
И бегущие волны возникли на нем.

Начертал он и много прибрежных растений,—
Изумрудную вязь прихотливых сплетений.

Ехал в жаркой пустыне Мани, не в тени,
Было жаждой измучено сердце Мани.

Снял, склонившись, он крышку с кувшинного горла,
И кувшин его длань к светлой влаге простерла.

Но ведь вовсе не прочны сосуды из глин:
О сверкающий камень разбился кувшин.

Догадался Мани, что обманом шутливым
Был источник с живым серебристым отливом.

Взял он кисть, как он брал эту кисть искони,
И на твердой воде, обманувшей Мани,

Написал он собаку издохшую. Надо ль
Говорить, как была отвратительна падаль?

В ней кишели несметные черви, и страх
Вызывал у людей этот вздувшийся прах.

Каждый путник расстался б с надеждою всякой
Выпить воду: отпугнут он был бы собакой.

И когда весь Китай этот понял урок,
И о жаждущих скорбь, и насмешки упрек,

То постиг он Мани с его силой искусства
И к Эрженгу благого исполнился чувства.

Почему о Мани вновь слышна мне молва
И к молве о Мани заманил я слова?

*

Царь с хаканом сдружились, дней множество сряду
Предаваясь пиров беззаботных обряду.

С каждым днем они были дружней и дружней,
Люди славили мир этих радостных дней.

Другу вымолвил царь: «Все растет в моей думе
Пожеланье: быть снова в покинутом Руме.

Я хочу, если рок не откажет в пути,
Из Китая в Юнан всё стоянки пройти».

Так в ответ было сказано: «Мир Искендеров —
Это мир не семи ли подлунных кишверов?

Но стопа твоя всюду ль уже побыла?
А ведь ты всем народам, всем царствам — кыбла,

И куда б ты ни шел, за твоим караваном
Мы пойдем, государь, с препоясанным станом».

Царь дивился хакана большому уму
И за верность его привязался к нему.

От подарков, что слал повелитель Китая,
Царский пир озарялся, как солнце блистая.

Послушанья кольцо в свое ухо продел
Покоренный хакан: обо всем он радел.

И горела душа хана ханов прямая,
Солнце жаркой любви до луны поднимая.

Он бы мог помышлять о величье любом,
Но все более он становился рабом.

Если царь одаряет кого-либо саном,
Должен тот пребывать с препоясанным станом.

На какие ступени ты б ни был взнесен,
Все же должен быть низким твой рабский поклон.

Искендер для Китая стал тучею: нужен
Влажной тучи навес для рожденья жемчужин.

Он шелками иранских и румских одежд,
На которых Китай и не вскидывал вежд,

Создал ханам Китая столь ценные клады,
Что цари всего мира им были бы рады.

Скатертями Хосроев покрыл он весь Чин,
На челе у китайцев не стало морщин.

Уж твердили во многих краях тихомолком,
Что лишь в Чине одел всех он блещущим шелком.

Царь любил узкоглазых, их дружбой даря,
И срослись они с ним, словно брови царя.

И клялись они все (сказ мой дружен с молвою)
Лишь глазами царя да его головою.

КИТАЙСКИЙ ХАКАН ПРИНИМАЕТ У СЕБЯ ИСКЕНДЕРА

Хакан устраивает пышное пиршество в честь Искендера и подносит ему всевозможные дары. Среди даров быстроногий конь, охотничий сокол и прекрасная тюркская рабыня по имени Нистандарджихан (что значит — «Нет (второй такой) в мире»). Хакан расхваливает свои подарки, а о рабыне говорит: она прекрасна и необыкновенно нежна, обладает силой и смелостью витязя и хорошо поет. Искендеру нравится ее краса, он очарован ее песнями, но вот ее воинские доблести его не привлекают. «Разве можно быть женщине крепче мужчин!» — восклицает он и тут же забывает о рабыне. Отвергнутая красавица льет слезы. Между тем войска двинулись в обратный путь. По дороге Искендер закладывает новый город — Самарканд.

ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИСКЕНДЕРА ИЗ КИТАЯ

Хорошо путешествовать, говорит Низами, видеть чужие страны, разные диковины, но еще лучше быть у себя дома, в родном городе. Искендер спешит домой. По пути к нему приходит правитель Абхазии Дувал и сообщает о нашествии русов (см. словарь — «рус») на его страну и о разгроме Дербента и Берда'а (исторически такое нашествие произошло в 944 г.: Низами в своей поэме соединяет события времени Александра — IV в. до н. э.— с этим, очевидно, хорошо известным ему по местным преданиям нашествием X в. н. э.). Сама царица Берда'а Нушабе — в плену у русов. Дувал молит Искендера о помощи и говорит, что смелые русы, если их сейчас не остановить, будут со временем угрожать и Руму. Искендер обещает спасти Нушабе и изгнать русов.

ИСКЕНДЕР ПРИБЫВАЕТ В КЫПЧАКСКУЮ СТЕПЬ

Дай мне, кравчий, напитка того благодать,
Без которого в мире нельзя пребывать.

В нем сияние сердца дневного светила.
В нем и влаги прохлада, и пламени сила.

*

Есть две бабочки в мире волшебном: одна
Лучезарно бела, а другая черна.

Их нельзя уловить в их поспешном круженье:
Не хотят они быть у людей в услуженье.

Но коль внес ты свой светоч в укромный мой дом,—
Уловлю уловляемых долгим трудом.

*

Разостлавший ковер многоцветного сада,
Свет зажег от светила, и льется услада.

Тот, кого породил славный царь Филикус,
Услыхав от абхазца, как пламенен рус,

Размышлял о сраженьях, вперив свои очи
В многозвездную мглу опустившейся ночи.

Все обдумывал он своих действий пути,
Чтоб исполнить обет и к победе прийти.

И когда рдяный конь отбежал от Шебдиза
И сверкнул, и ночная растаяла риза,—

Царь оставил Джейхун, свой покой отстраня,
Чтобы в степи Хорезма направить коня.

За спиной его — море: несчетные брони.
А пустыни пути — у него на ладони.

Степь Хорезма пройдя, он Джейхун перешел,
И пред ним вавилонский раскинулся дол.

Царь на русов спешил и в своих переходах
Ни на суше покоя не знал, ни на водах.

Не смыкал он очей, и, огнем обуян,
Пересек он широкие степи славян.

Там кыпчакских племен он увидел немало,
Там лицо милых жен серебром заблистало.

Были пламенны жены и были нежны,
Были образом солнца, подобьем луны.

Узкоглазые куколки сладостным ликом
И для ангелов были б соблазном великим.

Что мужья им и братья! Вся прелесть их лиц
Без покрова — доступность открытых страниц.

И безбрачное войско душой изнывало,
Видя нежных, не знавших, что есть покрывало.

И вскипел в юных душах мучительный жар,
И объял всех бойцов нетерпенья пожар.

Все ж пред шахом, что не был на прелести падким,
Не бросались они к этим куколкам сладким.

Царь, узрев, что кыпчачки не чтут покрывал,
Счел обычай такой не достойным похвал:

«Серебро этих лиц,— он подумал однажды,—
Что родник, а войска изнывают от жажды».

Все понятно царю: жены — влаги свежей,
И обычная жажда в душе у мужей.

Целый день посвятил он заботе об этом:
Всех кыпчакских вельмож он призвал, и, с приветом

Выйдя к ним, оказал им хороший прием,
И, возвыся их всех в снисхожденье своем,

Тайно молвил старейшинам: «Женам пристало,
Чтобы в тайне держало их лик покрывало.

Та жена, что чужому являет себя,
Чести мужа не чтит, свою честь погубя.

Будь из камня она, из железа, но все же
Это — женщина. Будьте, старейшины, строже!»

Но, услышав царя, эти стражи степей,—
Тех степей, где порою не сыщешь путей,

Отклонили его повеленье, считая,
Что пристоен обычай их вольного края.

«Мы,— сказали они,— внемля воле судьбы,—
У тебя в услуженье. Мы только рабы,

Но лицо прикрывать не показано женам
Ни обычаем нашим, ни нашим законом.

Пусть у вас есть покров для сокрытия лиц,
Мы глаза прикрываем покровом ресниц.

Коль взирать на лицо ты считаешь позором,
Обвинение шли не ланитам, а взорам.

Но прости — нам язык незатейливый дан,—
Для чего ты глядишь на лицо и на стан?

Есть у наших невест неплохая защита:
Почивальня чужая для скромниц закрыта.

Не терзай наших женщин напрасной чадрой.
Ты глаза свои лучше пред ними закрой:

Прикрывающий очи стыда покрывалом,
Не прельстится и солнца сверканием алым.

Все мы чтим Повелителя, никнем пред ним,
За него мы и души свои отдадим.

Верим в суд Повелителя строгий и правый,
Но хранить мы хотим наши старые нравы».

Искендер замолчал, их услышав ответ.
«Бесполезно,— решил он,— давать им совет».

Попросил мудреца всем дававший помогу,
Чтоб ему он помог, чтоб навел на дорогу:

Те, чьи косы как цепи, чей сладостен лик,
Соблазняют, и яд их соблазна велик.

Гибнет взор, созерцающий эту усладу,
Как ночной мотылек, увидавший лампаду.

Что нам сделать, чтоб стали стыдливей они,
Чтобы скрыли свой лик? Дай совет. Осени».

И познавший людей молвил шаху: «Внимаю
Мудрой речи твоей, твой приказ принимаю.

Здесь, в одной из равнин, талисман я создам.
Сказ о нем пронесется по всем городам.

Сотни жен, проходящих равниною тою,
От него отойдут, прикрываясь фатою.

Только надо, чтоб шах побыл в той стороне
И велел предоставить все нужное мне».

Или силой, иль с помощью золота, вскоре
Все добыл государь, и на вольном просторе

Муж, в пределах искусства достигший всего,
Стал трудиться, являя свое мастерство.

Изваял, всех привлекши к безлюдному месту,
Из прекрасного черного камня невесту.

Он чадрой беломраморной скрыл ее лик.
Словно свежий жасмин над агатом возник.

И все жены, узрев, что всех жен она строже,
Устыдясь, прикрывали лицо свое тоже

И, накинув покровы на сумрак волос,
Укрывали с лицом и сплетения кос.

Так имевший от счастья немало подачек
Укрываться заставил прекрасных кыпчачек.

Царь сказал мудрецу — так он был поражен:
«Изменил ты весь навык столь каменных жен.

Ничего не добился я царским приказом,
А твой камень в рассудок приводит их разом».

Был ответ: «Государь! Мудрых небо хранит.
Сердце женщин кыпчакских — суровый гранит.

Пусть их грудь — серебро, а ланиты — что пламень,
Их привлек мой кумир, потому что он камень.

Видят жены, что идол суров, недвижим,
И смягчаются в трепете сердцем своим:

Если каменный идол боится позора
И ланиты прикрыл от нескромного взора,

Как же им не укрыться от чуждых очей,
Чтобы взор на пути не смущал их ничей!

Есть и тайна, которою действует идол,
Но ее, государь, и тебе я б не выдал!»

Изваяньем таинственным, в годах былых,
Был опущен покров на красавиц степных.

И теперь в тех степях, за их сизым туманом,
С неповерженным встретишься ты талисманом.

Вкруг него твой увидит дивящийся взор
Древки стрел, словно травы у сонных озер.

Но хоть стрелам, разящим орлов, нет и счета,—
Здесь увидишь орлов, шум услышишь их взлета.

И приходят кыпчаков сюда племена,
И пред идолом гнется кыпчаков спина.

Пеший путник придет или явится конный,—
Покоряет любого кумир их исконный.

Всадник медлит пред ним, и, коня придержав,
Он стрелу, наклоняясь, вонзает меж трав.

Знает каждый пастух, прогоняющий стадо,
Что оставить овцу перед идолом надо.

И на эту овцу из блистающей мглы
Раскаленных небес ниспадают орлы.

И, когтей устрашаясь булатных орлиных,
Ищут многие путь лишь в окрестных долинах.

Посмотри ж, как, творя из гранитной скалы,
Я запутал узлы и распутал узлы.

ПРИБЫТИЕ ИСКЕНДЕРА В ОБЛАСТЬ РУСОВ

Предводитель русов Кинтал, узнав о том, что войско Искендера подступило к пределам его земли, собирает девятисоттысячное войско и воодушевляет его речами о богатстве войска румийцев, которое достанется русам, и об изнеженности румийцев. Искендер в это время проводит военный совет, вспоминает свои победы и подбадривает войско.

ИСКЕНДЕР ВСТУПАЕТ В БОРЬБУ С ПЛЕМЕНАМИ РУСОВ

Обращенную в киноварь быструю ртуть
Дай мне, кравчий; я с нею смогу заглянуть

В драгоценный чертог, чтоб, сплетаясь в узоры,
Эта киноварь шахские тешила взоры.

*

Так веди же, дихкан, все познав до основ,
Свою нить драгоценных, отточенных слов

О лазурном коне, от Китая до Руса
Встарь домчавшего сына царя Филикуса,

И о том, как судьба вновь играла царем
И как мир его тешил в круженье своем.

*

Продавец жемчугов, к нам явившийся с ними,
Снова полнит наш слух жемчугами своими:

Рум, узнавший, что рус мощен, зорок, непрост,
Мир увидел павлином, свернувшим свой хвост.

Нет, царю не спалось в тьме безвестного края!
Все на звезды взирал он, судьбу вопрошая.

Мрак свернул свой ковер; его время прошло:
Меч и чаша над ним засверкали светло.

От меча, по лазури сверкнувшего ало,
Головою отрубленной солнце упало.

И когда черный мрак отошел от очей,
С двух сторон засверкали два взгорья мечей,

Это шли не войска — два раскинулось моря.
Войско каждое шло, мощью с недругом споря.

Шли на бой — страшный бой тех далеких времен,
И клубились над ними шелка их знамен.

Стала ширь меж войсками, готовыми к бою,
В два майдана; гора замерла пред горою.

И широкою, грозной, железной горой
По приказу царя войск раскинулся строй.

Из мечей и кольчуг, неприступна, могуча,
До небес пламенеющих вскинулась туча.

Занял место свое каждый конный отряд,
Укреплений могучих возвысился ряд.

Был на левом крыле, сильный, в гневе немалом,
Весь иранский отряд с разъяренным Дувалом.

Кадар-хан и фагфурцы, глядящие зло,
Под знамена на правое встали крыло.

И с крылатыми стрелами встали гулямы,—
Те, чьи стрелы уверенны, метки, упрямы.

Впереди — белый слон весь в булате, за ним
Сотни смелых, которыми Властный храним.

Царь сидел на слоне, препоясанный к бою.
Он победу свою словно зрел пред собою.

Краснолицые русы сверкали. Они
Так сверкали, как магов сверкают огни,

Справа были хозары, буртасов же слева
Ясно слышались возгласы, полные гнева,

Были с крыльев исуйцы; предвестьем беды
Замыкали все войско аланов ряды.

Посреди встали русы; сурова их дума:
Им, как видно, не любо владычество Рума!

С двух враждебных сторон копий вскинулся лес,
Будто остов земли поднялся до небес.

Зыкал колокол русов,— казалось, в том звуке
Стон индийца больного, терпящего муки.

Гром литавр разорвал небосвод и прошел
В глубь земли, и потряс ужаснувшийся дол.

Все затмило неистовство тюркского ная,
Мышцам тюрков железную силу давая.

Ржанье быстрых коней, в беге роющих прах,
Даже Рыбу подземную бросило в страх.

Увидав, как играют бойцы булавою,
Бык небесный вопил над бойцов головою.

Засверкали мечи, словно просо меча,
И кровавое просо летело с меча.

Как двукрылые птицы, сверкая над лугом,
Были стрелы трехкрылые страшны кольчугам.

Горы палиц росли, и над прахом возник
В прах вонзившихся копий железный тростник.

Ярко-красным ручьем, в завершенье полетов,
Омывали врагов наконечники дротов.

Заревели литавры, как ярые львы;
Их тревога врывалась в предел синевы.

Растекались ручьи, забурлившие ало.
Сотни новых лесов острых стрел возникало,—

Стрел, родящих пунцовые розы, и лал
На шипах каждой розы с угрозой пылал.

Все мечи свои шеи вздымали, как змеи,
Чтобы вражьи рассечь беспрепятственно шеи.

И раскрылись все поры качнувшихся гор,
И всем телом дрожал весь окрестный простор.

И от выкриков русов, от криков погони,
Заартачившись, дыбились румские кони.

Кто бесстрашен, коль с ним ратоборствует рус?
И Платон перед ним не Платон — Филатус.

Но румийцы вздымали кичливое знамя
И мечами индийскими сеяли пламя.

Горло воздуха сжалось. Пред чудом стою:
Целый мир задыхался в ужасном бою.

Где бегущий от боя поставил бы ноги?
Даже стрелам свободной не стало дороги.

С края русов на бой,— знать, пришел его час,—
В лисьей шапке помчался могучий буртас.

Всем казалось: гора поскакала на вихре.
Чародейство! Гора восседала на вихре!

Вызывал он бойцов, горячил скакуна,
Похвалялся: «Буртасам защита дана:

В недубленых спокойно им дышится шкурах.
Я буртасовством славен, и мыслей понурых

Нет во мне. В моих помыслах буря и гром.
Я — дракон. Я в сраженья отвагой влеком.

С леопардами бился я в скалах нагорных,
Крокодилов у рек рвал я в схватках упорных.

Словно лев, я бросаю врагов своих ниц,
Не привык я к уловкам лукавых лисиц.

Длань могуча моя и на схватку готова,
Вырвать бок я могу у онагра живого.

Только свежая кровь мне годна для питья,
Недубленая кожа — одежда моя.

Справлюсь этим копьем я с кольчугой любою.
Молвил правду. Вот бой! Приступайте же к бою!

И китайцы и румцы спешите ко мне:
Больше воска в свече — больше силы в огне.

«Ты того покарай,— обращался я к богу,—
Кто бы вздумал в бою мне прийти на помогу!»

Грозный вызов услышав, бронею горя,
Копьеносец помчался от войска царя,

Но хоть, может быть, не было яростней схваток,—
Поединок двух смелых был мóлнийно краток:

Размахнулся мечом разъяренный буртас,—
И румиец с копьем своей жизни не спас.

Новый царский боец познакомился с прахом,
Ибо счастье владело буртаса размахом.

И сноситель голов, сам царевич Хинди,
У которого ярость вскипела в груди,

Вскинул меч свой индийский и, блещущий шелком,
Вмиг сцепился, как лев, с разъярившимся волком.

Долго в схватке никто стать счастливым не мог,
Долго счастье ничье сбито не было с ног.

Но Хинди, сжав со злостью меча рукоятку
И всей силой стремясь кончить жаркую схватку,

Так мечом засверкал, что с буртасовых плеч
Наземь голову сбросил сверкающий меч.

Новый выступил рус, не похожий на труса,
Со щитом — принадлежностью каждого руса.

И кричал, похваляясь, неистовый лев,
Что покинет он бой, всех врагов одолев.

Но Хинди размахнулся в чудовищном гневе:
Час победы настал — вновь один был царевич:

Новый рус на врага в быстрый бросился путь,
Но на землю упал, не успевши моргнуть.

Многих сбил до полудня слуга Искендера,
Так порою газелей сбивает пантера.

Горло русов сдавил своим жаром Хинди.
Нет, из русов на бой не спешил ни один!

И Хинди в румский стан поскакал, успокоясь,
Жаркой кровью и потом покрытый по пояс.

Обласкал его царь и для царских палат
Подобающий рейцу вручил он халат.

И умолкли два стана, и пристальным взором
Вдаль впивались бойцы, что стояли дозором.

КИНТАЛ-РУС ПОРАЖАЕТ ГИЛЯНСКОГО ВОЖДЯ ЗЕРИВАНДА

Наступает утро. Продолжаются единоборства прославленных витязей. Из румского войска на бой выходит иранец Зериванд. Богатырь-рус, сразивший до того много воинов, бежит от Зериванда, но брошенное иранцем копье все же пронзает его. Зериванд сражает затем еще семьдесят русов. Тогда в поединок вступает богатырь русов Кинтал и поражает Зериванда.

ДУВАЛ БРОСАЕТСЯ В БОЙ

Снова утро. Единоборства продолжаются. Богатырь русов Джерем одолел нескольких сильных противников. Тогда в бой бросился Дувал, правитель Абхазии. Джерем убит, но богатырю русов Джовдере удается ранить Дувала. Дувал спасается в стане Искендера.

ПОЯВЛЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ВСАДНИКА

Над зеленою солнце взошло пеленой,
Смыло небо индиго с одежды ночной,

И опять злые львы стали яростны, хмуры,
И от них погибать снова начали гуры.

Снова колокол бил, как веленья судьбы,
Снова кровь закипела от рева трубы.

Столько в громе литавр загремело угрозы,
Что всех щек пожелтели румяные розы.

И опять Джовдере появился; огнем
Он пылал, и усталости не было в нем,

И Хинди, эту гору узрев пред собою,
На хуттальском коне приготовился к бою.

И хоть много ударов нанес он врагу,
Бесполезно кружась на кровавом лугу,

Но, напрягши всю мощь и наморщивши брови,
Всей душою возжаждавши вражеской крови,

Снес он голову руса; упала она
Под копыта лихого его скакуна.

И, гарцуя, Хинди звал врагов на сраженье,
Всем, спешившим к нему, нанося пораженье.

Был прославленный муж. Его звали Тартус.
Восхвалял его каждый воинственный рус.

Этот красный дракон, быстрым пламенем рея,
Пожелал опрокинуть воителя Рея.

И помчался он в бой, громогласен и скор,
Как ревущий поток, ниспадающий с гор.

Оба крепко владели всем воинским делом.
Каждый в этом бою был и ловким и смелым.

Все ж был натиск Тартуса так лют и удал,
Что рассыпался прахом индийский сандал.

Кубок тела Хинди он избавил от крови:
Лить вино, бить сосуды,— ему ль было внове?

«Я тот хищник,— сказал он, снимая свой шлем,—
Что всех львов повергает.— И молвил затем: —

Я слыву самым мощным и яростным самым,
Я был матерью назван всех русов Рустамом.

Ты, что, хмуря чело, мнишь пролить мою кровь,—
Ты себе не кольчугу, а саван готовь.

Не умчусь я, пока еще многих не скину
С их коней, не втопчу этих немощных в глину».

Пал отважный Хинди. Нет отчаянью мер!
Извиваясь, как локон, стонал Искендер.

В бой хотел повернуть он поводья и строго
Наказать гордеца, но помедлил немного

И окрест поглядел: кто хотел бы за честь
Румских сил постоять и помчаться на месть?

И увидел: с мечом, разъяренно подъятым,
Скачет всадник, сверкая китайским булатом.

Он храбрец, он умело владеет конем,
А под ним черный конь ярым пышет огнем,

Весь в железе он скрыт, только рдеющий лалом
Сжатый рот его виден под тяжким забралом.

И, гарцуя, мечом заиграл он, и вот —
Стал на жаркую схватку взирать небосвод.

И была длань безвестного дивно умела,
И Тартуса рука в страшной битве слабела.

И на руса направя стремленье свое,
Вскинул всадник меча своего лезвие,—

И врага голова от руки его взмаха
Пала наземь и стала добычею праха.

И, огнем своих глаз в пыльной мгле заблестев,
На безвестного новый набросился лев,

Но утратил он голову мигом. Немало
Еще новых голов наземь тяжко упало.

Сорок русов, подобных огромной горе,
Смелый лев уложил в этой страшной игре.

И коня, цвета ночи, погнал он, в рубины
Обращая все камни кровавой долины.

И куда бы ни мчал черногривого он,—
Разгонял он все воинство вражьих племен.

Кто бы вышел на бой? Торопливое жало
Неизбежною смертью врагам угрожало.

И смельчак быстроногому вихрю,— всегда
Поводам его верному,— дал повода.

Было сто человек в этой скачке убито,
Сто поранено, сто сметено под копыта.

Искендер отдавал восхищения дань
Этой мощи, и меч восхваляя, и длань.

А наездник все бился упрямо, сурово.
Лил он пламя на хворост все снова и снова.

И пока небосвод не погас голубой,
Не хотел он покинуть удачливый бой.

Но когда рдяный свет пал за синие горы,
И смежил яркий день утомленные взоры,

И всклубившийся мрак захотел тишины,
И, от Рыбы поднявшись до самой Луны,

Затемнил на земле все земные дороги,
И пожрал, словно змей, месяц ясный двурогий,—

Дивный воин, ночной прекращая набег
И коня повернув, поскакал на ночлег.

Так поспешно он скрылся под пологом ночи,
Что за ним не поспели взирающих очи.

И сказал Искендер, ему вслед поглядев:
«С сердцем львиным, как видно, сей огненный лев».

И, задумавшись, молвил затем Повелитель:
«Кто ж он был, этот скрытый железом воитель?

Если б смог я узреть этот спрятанный лик,
Мною спрятанный клад перед ним бы возник.

За народ в его длани я вижу поруку,
И мою своей силой усилил он руку.

Чем подобному льву я сумею воздать?
Да сияет над смелым небес благодать!»

ВТОРОЕ ПОЯВЛЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ВСАДНИКА

Снова свод бирюзовый меж каменных скал
Вырыл яхонтов россыпь и свет разыскал.

И алан в поле выехал; биться умея,
Не коня оседлал он для боя, а змея.

Даже семьдесят сильных, воскликнув «увы»,
Приподнять не сумели б его булавы.

Он бойцов призывал. Не прибегнув к усилью,
Он всех недругов делал развеянной пылью.

Хаверанцев, иранцев, румийцев на бой
Вызывая, он стал их смертельной судьбой.

Но вчерашний боец, с ликом, скрытым от взгляда,
Вновь на русов помчался из крайнего ряда.

Натянул тетиву он из кожи сырой,
И кольцо злого лука он тронул стрелой.

Не напрасно стрелу он достал из колчана:
Этой первой стрелой уложил он алана.

Распростерся алан, как индийский снаряд,
Со стрелою внутри... засверкал чей-то взгляд,—

То, с глазами кошачьими, брови нахмуря,
Новый рус мчался в бой, словно черная буря.

Изучил он все ходы всех воинских сил
И заплат на доспехи немало нашил.

И взыграл он мечом, словно молния в грозы,
Он в железе был весь, он был полон угрозы.

Он, уверенный в том, что не выдержит враг,
На коня вороного набросил чепрак.

Хоть он твердой душой был пригоден к победам,
Но войны страшный жар не был смелому ведом:

Ведь бойца ремесло изучал он в тиши
И не знал еще яростной вражьей души.

И дракон, пожелавший зажать его в пасти,
Разгадал,— у него этот воин во власти:

Больше нужного блещет оружья на нем,
И чепрак да броня лучше мужа с конем.

И сразил смельчака он ударом суровым,
И покров дорогой скрыл он смерти покровом.

Новый рус, препоясавшись, бросился в бой,
Но и он породнился с такой же судьбой.

Третий ринулся враг, но все так же без прока:
Пал он тотчас от львиного злого наскока.

Каждой новой стрелой, что слетала с кольца,
Дивный воин на землю бросал удальца.

Все могли его навык в борении взвесить:
Десять стрел опрокинуло всадников десять.

И опять незаметно для чьих-либо глаз
Он исчез в румском стане. И несколько раз

В громыхавших боях, возникавших с рассветом,
Он являлся, и все говорили об этом.

Скоро враг ни один, как бы ни был он смел,
Гнать коня своего на него не хотел.

От меча, что пред ними носился, блистая,
Исчезали они, словно облако тая.

И, не думая больше о бое прямом,
К ухищренью прибегли, раскинув умом.

РУСЫ ВЫПУСКАЮТ В БОЙ НЕВЕДОМОЕ СУЩЕСТВО

И жемчужину снова вознес небосвод
Из глубокого мрака полуночных вод.

Вновь был отдан простор и войскам и знаменам,
И опять все наполнилось воплем и стоном.

И над сонмищем русов с обоих концов
Подымался неистовый звон бубенцов.

И меж русов, где каждый был блещущий витязь,
Из их ярких рядов вышел к бою — дивитесь! —

Некто в шубе потрепанной. Он выходил
Из их моря, как страшный, большой крокодил.

Был он пешим, но враг его каждый — охотней
Повстречался бы в схватке со всадников сотней.

И когда бушевал в нем свирепый огонь,
Размягчал он алмазы, сжимая ладонь.

В нем пылала душа, крови вражеской рада.
Он пришел, как ифрит, из преддверия ада.

Он был за ногу цепью привязан; она
Многовесна была, и крепка, и длинна.

И па этой цепи, ее преданный звеньям,
Он все поле мгновенно наполнил смятеньем.

По разрытой земле тяжело он сновал,
Каждым шагом в земле темный делал провал.

Шел он с палкой железной, большой, крючковатой.
Мог он горы свалить этой палкой подъятой.

И орудьем своим подцеплял он мужей,
И, рыча, между пальцами мял он мужей.

Так был груб он и крепок, что стала похожа
На деревьев кору его твердая кожа.

И не мог он в бою, как все прочие, лечь:
Нет, не брал его кожи сверкающий меч.

Вот кто вышел на бой! Мест неведомых житель!
Серафимов беда! Всех людей истребитель!

Загребал он воителей, что мурашей,
И немало свернул подвернувшихся шей.

Рвал он головы, ноги,— привычнее дела,
Знать, не ведал, а в этом — достиг он предела.

И цепного вояки крутая рука
Многим воинам шаха сломала бока.

Вот из царского стана могучий, проворный
Гордо выехал витязь для схватки упорной.

Он хотел, чтоб его вся прославила рать,
Он хотел перед всеми с огнем поиграть.

Но мгновенье прошло, и клюка крокодила
Зацепила его и на смерть осудила.

Новый знатный помчался, и той же клюкой
Насмерть был он сражен. Свой нашел он покой.

Так вельмож пятьдесят, мчась равниною ратной,
Полегли, не помчались дорогой обратной.

Столько храбрых румийцев нашло свой конец,
Что не стало в их стане отважных сердец.

Мудрецы удивлялись: не зверь он... а кто же?
С человеком обычным не схож он ведь тоже.

И когда на лазурь грозно крикнула ночь
И сраженное солнце отпрянуло прочь,

Растревоженный тем, кто страшней Аримана,
Царь беседовал тайно с вельможами стана:

«Это злое исчадье, откуда оно?
Человеку прикончить его не дано.

Он идет без меча; он прикрылся лишь мехом,
Но разит всех мужей, что укрыты доспехом.

Если он и рожден человеком на свет,
Все ж — не в этой земле обитаемой, нет!

Это дикий, из мест, чья безвестна природа.
Хоть с людьми он и схож, не людского он рода».

Некий муж, изучивший всю эту страну,
Так ответом своим разогнал тишину:

«Если царь мне позволит,— в усердном горенье
Все открою царю я об этом творенье.

К вечной тьме приближаясь, мы гору найдем:
Узок путь к той горе; страшно думать о нем.

Там, подобные людям, но с телом железным,
И живут эти твари в краю, им любезном.

Где возникли они? Никому невдомек
Их безвестного рода далекий исток.

Красноликн они, их глаза бирюзовы.
Даже льва растерзать они в гневе готовы.

Так умеют они своей мощью играть,
Что одно существо словно целая рать,

И самец или самка, коль тронется к бою,—
Судный день протрубят громогласной трубою.

На любое боренье способны они.
Но иные стремления им не сродни.

И не видели люди их трупов от века,
Да и все они — редкость для глаз человека.

Их богатство — лишь овцы; добыча руна
Для всего, что им годно, одна лишь нужна.

И одна только шерсть — весь товар их базара.
Кто из них захотел бы иного товара?

Соболей, чья окраска, как сумрак, черна,
Порождает одна только их сторона.

И на лбу этих тварей, велением бога,
Поднимается рог, словно рог носорога.

Если б их не отметил чудовищный рог,—
То любой с мощным русом сравниться бы мог.

Словно птицам большим, завершившим кочевья,
Для дремоты им служат большие деревья.

Спит огромное диво, как скрывшийся див,
В нависающий сук рог свой крепкий вонзив.

Коль вглядишься, к стволу подобраться не смея,
Меж ветвей разглядишь ты притихшего змея.

Сон берет существо это в долгий полон:
Неразумия свойство — бесчувственный сон.

Если русы в погоне за овцами стада
Разглядят, что в ветвях эта дремлет громада, —

Втихомолку сбирают пастуший свой стан
И подходят туда, где висит Ариман.

Обвязав его крепко тугою веревкой,
Человек пятьдесят всей ватагою ловкой,

Вскинув цепь, при подмоге железной петли,
Тащат чудище вниз вплоть до самой земли.

Если пленник порвет, пробудившись от спячки,
Звенья цепи,— не даст пастухам он потачки:

Заревев страшным ревом, ударом одним
Умертвит он любого, что встанет пред ним.

Если ж цепь не порвется и даже укуса
Не изведают люди,— до области Руса

Будет он доведен, и, окованный, там
Станет хлеб добывать он своим вожакам.

Водят узника всюду; из окон жилища
Подаются вожатым и деньги и пища.

А когда мощным русам желанна война,
В бой ведут они этого злого слона.

Но хоть в битву пустить они диво готовы,
Все же в страхе с него не снимают оковы.

Узришь: только в нем битвенный вспыхнет запал,
Что для многих цвет жизни навеки пропал».

Услыхав это все, Искендер многославный
Был, как видно, смущен сей опасностью явной,

Но ответил он так: «Древки множества стрел
Из различных лесов. Есть и сильным предел.

И, быть может, овеянный счастьем летучим,
Я взнесу на копье его голову к тучам».

ИСКЕНДЕР ДЕЙСТВУЕТ АРКАНОМ. НЕОБЫЧАЙНЫЙ ПЛЕННИК ПРИНОСИТ ИСКЕНДЕРУ НИСТАНДАРДЖИХАН

Белизною широкой покрылся восток,
А на западе сумрака скрылся поток.

И Властитель, рожденный на западе, снова,
Все войска разместив, ждал чудовища злого.

Вот румийцы на правом крыле, а отряд
Из берберов за ними свой выстроил ряд.

А на левом крыле узкоглазых Китая
Встали многие сотни, щитами блистая.

Искендер был в средине. Как сумрачен он!
Конь хуттальский под ним будто яростный слон.

А буртасы на той стороне, и аланы,
Словно львы, бушевали, взволнованны, рьяны.

С барабаном свой гул грозный колокол слил;
Над равниной в трубу затрубил Исрафил.

От литавр, сотрясающих мир без усилья,
В скалах Кафа Симург растрепал свои крылья.

Но кричали литавры от страха: рога
Напугали их воем, пугая врага.

И войска с двух сторон свое начали дело,—
Для кого в этот день счастье с неба слетело?

И зловещий, в одежде своей меховой,
По равнине пошел, будто слон боевой.

От него смельчаки вновь не знали защиты:
Все свой бросили щит, все им были убиты.

Из толпы царских воинов, скрытый в броне,
Снова выехал витязь на черном коне.

Так огнем он сверкнул, меч свой вскинувши смело,
Что у жаркого солнца в глазах потемнело.

И узнал Искендер: это доблестный тот,
Что не раз выступал, сил румийских оплот.

И встревожился царь своим сердцем радивым:
Этот смелый столкнется с чудовищным дивом!

И подумал Владыка, тоской обуян:
Эту гордую шею свернет Ариман!

Стал наездник, уздою владевший на диво,
Вновь являя свой жар, вкруг ужасного дива,

Словно ангел, кружится. От века вовек
Небосвод вкруг земли так вот кружит свой бег!

Думал доблестный: первым стремительным делом
Передать свою силу язвительным стрелам,

Но, увидев, что стрел бесполезны рои,
Рассердился отважный на стрелы свои.

Он постиг: во враге грозных сил преизбыток,
И достал, и метнул он сверкающий слиток.

Если б слиток подобный ударил в коня,
То коня не спасла бы любая броня.

Но, в гранитное тело с отчаяньем пущен,
Был о твердый гранит страшный слиток расплющен.

И огромный, увесистый слиток второй
Был спокойно отброшен гранитной горой.

Третий слиток такую ж изведал невзгоду.
Нет, песком не сдержать подступившую воду!

И, увидев, что слиток и злая стрела
Не чинят силачу ни малейшего зла,

Всадник взвил крокодила и с пламенем ярым
Устремился к дракону, дыхнувшему жаром;

Он пронесся, ударом таким наградив
Это чудо, что пал покачнувшийся див.

Но поднялся дракон, заревев из-под пыли,
И опять его пальцы железо схватили.

И нанес он удар изо всех своих сил,
И железным крюком смельчака зацепил,

И с седла его сдернул, и вот без шелома
Оказался носитель небесного грома:

И явилась весна; как цветка лепесток
Был отраден румянец пленительных щек.

И не стал отрывать головы столь прекрасной
Поразившийся джинн; сжал рукою он властной

Две косы, что упали с чела до земли,
Чтоб вкруг шеи наездницы косы легли,

И за узел из кос к русам радостным живо
Повлекло эту деву косматое диво.

И, лишь был от румийцев отъят Серафим,
С криком радости русы столпились пред ним,

И затем лютый лев к новой схватке горячей
Побежал. Разъярен был он первой удачей.

И, заслышав противников радостный шум,
В гневе скорчился шах, возглавляющий Рум,

И велел раздразнить он слона боевого,
Наиболее мощного, дикого, злого.

И вожак закричал, и погнал он слона.
Словно бурного Нила взыграла волна.

Много копий метнул он в носителя рога
И с горящею нефтью посудин премного.

Но ведь с нефтью горшки для скалы не страшны!
Что железные копья для бурной волны?!

И, увидев слона с его злыми клыками,
Удивленный воитель раскинул руками.

И, поняв, что воинственным хоботом слон
Причинить ему сможет безмерный урон,

Так он сжал этот хобот руками, что в страхе
Задрожал грозный слон. Миг — и вот уж во прахе

Слон лежит окровавленный; дико взревев,
Оторвал ему хобот чудовищный лев.

Схвачен страхом — ведь рок стал к войскам его строгим
И румийцам полечь суждено будет многим,—

Молвил мудрому тот, кто был горд и велик:
«От меня мое счастье отводит свой лик.

Лишь невзгоды пошлет мне рука небосвода.
Для чего я тяжелого жаждал похода!

Если беды на мир свой направят набег,
Даже баловни мира отпрянут от нег.

Мой окончен поход! Начат был он задаром!
Ведь в году только раз лев становится ярым.

Мне походы невмочь! Мне постылы они!
И в походе на Рус мои кончатся дни!»

И ответил премудрый царю-воеводе:
«Будь уверенным, царь, в этом новом походе.

Ты удачу к себе вновь сумеешь привлечь:
И обдуман твой путь, и отточен твой меч.

Пусть в извилинах скал укрываются лалы,—
Твердый разум и меч проникают и в скалы!

Как и встарь, благосклонен тебе небосвод.
Ты в оковы замкнешь сто подобных невзгод.

Хоть один волосок твой, о шах, мне дороже,
Чем все войско твое, но скажу тебе все же,

Что вещал мне сияющий свод голубой:
Если царь прославляемый ринется в бой,

То, по воле царя и благого созвездья,
Великан многомощный дождется возмездья.

Пусть груба его кожа и пусть нелегка
Его твердая длань и свирепа клюка,

Пусть он с бронзою схож или с тяжким гранитом,—
Он — один, и на землю он может быть сбитым.

Не пронзит великана сверкающий меч.
Кто замыслил бы тучу железом рассечь?

Но внезапный аркан разъяренному змею
Ты, бесспорно, сумеешь накинуть на шею.

Хоть стрелой и мечом ты его не убьешь,
Потому что ты тверже не видывал кож,

Но, оковы надев на свирепого джинна,
Ты убить его сможешь». Душе Властелина

Эта речь звездочета отрадна была.
Он подумал: «Творцу всеблагому хвала!»

И, призвав небеса, меж притихшего стана,
На хуттальского сел он коня; от хакана

Этот конь был получен на пиршестве: он
Был в зеленых конюшнях Китая рожден.

Взял свой меч Искендер, но, о славе радея,
Взял он также аркан, чтоб схватить лиходея.

Он приблизился к диву для страшной игры,
Словно черная туча к вершине горы.

Но не сделали шага ступни крокодила:
Искендера звезда ему путь преградила.

И аркан, много недругов стиснувший встарь,
Словно обруч возмездья метнул государь,—

И петля шею дива сдавила с размаху;
И склонилась лазурь, поклонясь шаханшаху.

И когда лиходея сдавила петля,
Царь, что скручивал дивов, сраженье не для,

Затянул свой аркан и рукой властелина,
Волоча, потащил захрипевшего джинна.

И к румийским войскам, словно слабую лань,
Повлекла силача Искендерова длань.

И когда трепыхалась лохматая груда,
И пропала вся мощь непостижного чуда,—

Стало радостно стройным румийским войскам:
Их ликующий крик поднялся к облакам.

И такой был дарован разгул барабанам,
Что весь воздух плясал, словно сделался пьяным.

Искендер, распознав, сколь был яростен див,
Приказал, чтоб, весь мир от него оградив,

Ввергли дива в темницу; томилось немало
Там иных ариманов, как им и пристало.

Увидав, что за мощь породил Филикус,
Был тревогой объят каждый доблестный рус.

Воском тающим сделался Руса властитель,
Возвеличился румского царства Хранитель.

И певцов он позвал, и для радостных всех
Растворил он приют и пиров и утех.

Внемля чангам, он пил ту усладу, что цветом
Говорила о розах, раскрывшихся летом.

И веселый Властитель, вкушая вино,
Славил счастье, что было ему вручено.

Под сапфирный замок ночь припрятала клады,
И весы камфоры стали мускусу рады.

Все вкушал Искендер сладкий мускус вина,
Все была так же песня стройна и нежна.

То склонялся он к чаши багряным усладам,
То свой слух услаждал чанга сладостным ладом.

И, склоняясь к вина огневому ключу,
Он дарил пировавшим шелка и парчу.

И, пируя, о битве желал он беседы:
Про удачи расспрашивал он и про беды.

И сказал он о всаднике, скрытом в броне
И скакавшем, как буря, на черном коне:

«Мне неведомо: стал ли он горестным тленом,
Иль в несчастном бою познакомился с пленом?

Если он полонен,— вот вам воля моя:
Мы должны его вызволить силой копья,

Если ж он распрощался с обителью нашей,
То его мы помянем признательной чашей».

И, смягчен снисхожденьем, присущим вину,
Он припомнил о тех, что томятся в плену,

И велел, чтоб на пир, многолюдный и тесный,
Был доставлен в оковах боец бессловесный.

И на пир этой смутной ночною порой
Приведен был в цепях пленник, схожий с горой.

Пребывал на пиру он понуро, уныло.
Его тело, в цепях, обессилено было.

Он, безмолвно стеная, сидел у стола,
Но ему бессловесность защитой была.

Слыша стон человека, лишенного речи,
Царь, нанесший ему столько тяжких увечий,

Смявший силой своей силу вражеских плеч,
Повелел с побежденного цепи совлечь.

Благородный велел,— стал плененный свободным,
А вреда ведь никто не чинит благородным.

Обласкал его царь, вкусной подал еды,
Миновавшего гнева загладил следы.

Он рассеял вином несчастливца невзгоду,
Чтоб душа его снова узнала свободу.

И злодей, ощутив милосердия сень,
У престола простерся, как тихая тень.

Хоть к нему подходили все люди с опаской,—
Признавал он того, кто дарил его лаской.

Вдруг, никем не удержан, мгновенно вскочив,
Из шатра убежал этот сумрачный див.

И в ответ всем очам, на него устремленным,
Мародержец промолвил своим приближенным:

«Стал он волен, обласкан, стал вовсе не зол,
Пил с отрадой вино,— почему ж он ушел?»

Но мужи, отвечая Владыке, едва ли
Объясненье всему надлежащее дали.

Молвил первый: «Степное чудовище! В степь
Он помчался. Ведь сняли с чудовища цепь».

«Опьяненный вином,— было слово второго,—
Он решил, что к своим проберется он снова».

Царь внимал говорившим с умом иль спроста,
Но свои им в ответ не раскрыл он уста.

Все он ждал, как бы внемлющий звездному рою:
Синий свод удивит его новой игрою.

И вернулся беглец в его царственный стан,
На руках поднимая Нистандарджихан.

На ковер положил он ее осторожно
И поник,— мол, служу я Владыке не ложно.

И, Владыке оставив китайский кумир,
Он исполнил поклон, и покинул он пир.

Государь изумился: он видел не змея,—
Он узрел изумруд, верить взору не смея.

Но рабыня, являя застенчивый нрав,
Скрыла розовый лик под широкий рукав.

Увидав, что светило в шатре засияло,
Царь велел, чтобы в нём пировавших не стало.

И, желая увидеть нежданную дань,
Царь с лица ее снял прикрывавшую ткань.

И, узрев этот лик, он постиг, что напасти
К сердцу шаха спешат: он у солнца во власти.

В этой темной ночи он увидел пери́.
Опьяненная! Нежная! Отсвет зари!

Дева рая из черного адского стана!
От Малика бежавшая к розам Ризвана!

Кипарис, полный свежести! Розовый цвет
Раздающая розам, их просьбам в ответ!

Каждый взор ее черный — сердец похититель.
Не один ее взором сражен небожитель.

А уста! Из-за них в шумной распре базар!
Сколько сахара в них! Верно — целый харвар!

В этой розы объятьях забудешь кручины,
Потому что они не объятья,— жасмины.

И, увидев подарок, врученный судьбой,
Царь как будто кумирню узрел пред собой.

Хоть он видел рабыню, но, нежный, довольный,
Счел себя он рабом той, что сделалась вольной.

О рабыня! Сам царь стал рабыне рабом!
Могут розы мечтать о Всевластном любом.

Царь узнал китаянку. Красив был и ярок
Обретенный в Китае хакана подарок.

Удивленный, он понял, что это она
Побеждала отважных, гоня скакуна.

Как ушла из гарема! Как билась красиво!
Как вернулась! Все это — не дивное ль диво?

И сказал он прекрасной китайской рабе:
«Сердце шаха утешь. Все скажи о себе!»

И пред шахом счастливым, красою блистая,
Кротко очи потупила роза Китая,

И молитву о шахе она вознесла:
«Да вовеки венец твой не ведает зла!

Чтоб создать властелина сродни Искендеру,
Бог не глину берет,— правосудье и веру.

Пламень славы твоей очевидней, чем свет.
Благотворнее счастья твой светлый привет.

Благодатному дню ты даруешь начало.
Солнце светом твоим в небесах заблистало.

Венценосцы в лазурь свой возносят венец.
Но не каждый увенчанный — мощный боец.

Ты ж, вознесший венец, озаряемый славой,
Ты и меч свой возносишь победный и правый.

На пиру говоришь ты — я милую мир,
А в бою удивляешь ты силою мир.

Ты — источник живой. И теперь это зная,
Лишь молчать я могу. Я ведь только земная.

Нежный вздох, государь, не проникнет сюда.
Ведь, проникнув, растаял бы он от стыда.

У меня — черепки; не сверкает алмазом
Мой рассказ; не смущу тебя длительным сказом.

Я — рабыня. Я — с ухом проколотым, но
Никому было тронуть меня не дано.

Обо мне ведь промолвил властитель Китая:
«Вот ларец, а жемчужина в нем не простая».

Но царю не понравились эти слова.
На меня, полный гнева, взглянул он едва.

И, царем позабытая, пре́зрена всеми,
Я безмолвно укрылась в царевом гареме.

Огорченная горькой, нежданной судьбой,
Не прельстивши царя, я направилась в бой.

В первой схватке, по счастью царя Искендера,
Мной была против недругов найдена мера.

Во второй — не напрасно гнала я коня:
Сбила всех, что с мечами встречали меня.

Но затем, обольщенная днем несчастливым,
Я была сражена и похищена дивом.

Это был не воитель, а злой крокодил,
Пламень божьего гнева его породил.

Не предав меня смерти, из тяжких объятий
Меня тотчас он передал вражеской рати.

Будто молвил он русам: для царских палат
Под замком берегите мной найденный клад.

Вновь он в поле пошел: вновь пошел он в сраженье,
Чтоб румийским слонам нанести пораженье.

Но когда румский царь, многомощный, как слон,
Во мгновенье слону предназначил полон,

Я, ликуя от шахской великой победы,
Вознесясь до небес, позабыла все беды.

Но, узрев, что свирепых ты ловишь в силок,
Что аркан твой летит, как стремительный рок,

Я еще огорчалась: повлек для полона —
Не для смерти в свой стан ты немого дракона.

Все ж, подумала я, не гуляет в степи
Злобный див, а на крепкой сидит он цепи.

В души русов проникли печалей занозы,
Стали желтою мальвой их рдяные розы.

И когда сумрак ночи, всю землю поправ,
Словно гуль, проявил свой озлобленный нрав,

Словно гулю, связали мне руки и ноги
И в затвор поместили, потайный и строгий.

Хмурый воин меня снарядился стеречь.
Мне грозила бедой его темная речь.

Но с полночи прошло, и послышались крики.
До темницы моей шум домчался великий.

Налетела мгновенная туча,— о ней
Не дожди возвестили, а град из камней.

И вопил и стонал стан взволнованный вражий,
И в испуге бежали полночные стражи.

И голов без числа страшный див отрывал
И метал их в бойцов. Рос чудовищный вал

Обезглавленных тел. На растущие горы
Из кровавых голов устремляла я взоры.

И ворвался ко мне мощью дышащий див
И порвал мои узы. Меня подхватив,

Он доставил меня к Искендера престолу:
Он от Рыбы вознес меня к лунному долу.

Я в темнице была, словно спрятанный клад,
Но теперь я познаю немало услад.

Ведь шелкам до́лжно быть на прельстительном стане,
Разве сладостной женщине место в зиндане?

Все, о чем я мечтала, явилось ко мне,
Или все, что я вижу,— я вижу во сне?»

И умолкла пери́. Восхитился Великий:
Расцвели, словно розы, ланиты Владыки.

Он, к колечку Луны прикоснувшись едва,
Молвил тонкие, словно колечко, слова:

«О нежнейшая роза, не знавшая пыли,
Все бои твои богом овеяны были.

Повлекла за собою ты душу мою:
Ты на пире — парча, ты прекрасна в бою.

Я в боях тебя видел сражавшейся смело
И конем распаленным владевшей умело.

Но и здесь, что́ приманчивей взоров твоих?
В день войны, в час утех ты прекрасней других.

Я под пару тебе. Вот и чанг. Что чудесней,
Чем утешить свой слух твоей сладостной песней!»

Звонкий чанг луноликая в руки взяла.
Лук из тополя был, из него же — стрела.

Избрала она лад, призывавший к усладам,
Пехлевийскую песню сплетя с этим ладом:

«О взошедший на трон, всех великих поправ!
Необъятен твой разум и светел твой нрав!

Ты с челом своим юным — отрада для взора.
Сердце светлое шаха не знает укора.

Ты в решеньях велик, ты с удачей всегда.
Ты, куда ни приходишь, берешь города!

Властелина душа отдохнуть захотела.
Нет греховных желаний у царского тела.

По каким бы путям ты ни вел свою рать,
Пусть горит над Великим небес благодать!

Да течет небосвод по цареву желанью!
Да поникнет весь мир под румийскою дланью!»

А затем о заветном запела она.
В сладкой песне тоска ее стала слышна:

«Расцвело деревцо за оградою сада,
И возникшим цветам деревцо было радо.

Только роза спала; был не вскрыт ее лал,
И нарцисс на лугу еще сладко дремал.

И в сосуде вино не пригублено было;
Видно, жаждущих сердце о нем позабыло.

Сад надеялся: кончит с охотою царь,
И придет к нежной розе с охотою царь.

Эту розу сорвет он весною счастливой.
Он тюльпаны увидит и взглянет на ивы.

Неужели царю вовсе времени нет
Поглядеть на цветы, на их пышный расцвет?

Завились лепестки; грусть в их каждом завое,
Но в осенние дни им грустней будет вдвое.

Ветер осени лют, обуял меня страх:
Все мои лепестки обратит он во прах».

Слыша песню рабыни, хватающей сердце,
Царь охвачен был страстью, сжигающей сердце,

Сладкий стон ее чанга — о, сладостный клик! —
Возвещал, что красив ее сладостный лик,

Что ее красноречье являет желанье,
Чтоб возникло в царе огневое пыланье.

Но, проникнув душой в чанга звучную речь,
Не дал Властный себя вожделеньям увлечь.

Был разумен Воитель: уместна ль истома?
Уцелевших врагов он желает разгрома.

И велел он вина принести, а припас
На дорогу оставил: придет его час.

Златозвонную чашу он выпил за деву,
Столько сладостной неги придавшей напеву.

После — чашу спасенной от вражьих цепей,
Сладкоустой он подал и вымолвил: «Пей!»

Повелела она своему поцелую
Освятить эту чашу,— затем золотую

Отдала шаханшаху. Рукою одной
Брал он чашу. Ласкал ее кудри — другой.

То с нежнейшим лобзаньем склонялся он к чаше,
То к Луне, что была всех возлюбленных краше.

Чтил он чин сластолюбцев. Умел он вдвоем
Есть печение сладкое с терпким вином.

И, уста усладив чашей сладостной винной,
Предались они дреме сладчайшей, невинной.

И в приюте услад, в окружении гроз,
Лишь лобзанья одни не страшились угроз.

ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ ИСКЕНДЕРА С ПЛЕМЕНАМИ РУСОВ

Дай мне, кравчий, ту амбру, что старый дихкан
Цветом крови окрасил! Да будет мне дан

Алой свежести цвет! Я мечтаю о веском,
Ярком слове, одетом живительным блеском.

*

Лишь рассвета воїска знамя подняли,— свет
Зачеркнул слово ночи, и, солнцем согрет,

Мозг земли, позабыв о полуночной власти,
Пробудился, чтоб в мире зажечь его страсти.

Птица утра кричала над ширью земной,—
Так под солнцем кричит воспаленный больной.

Царь очнулся, но сердца не отдал тревоге.
Встал он, чистый душою, на божьем пороге.

Он в чертоге молитвы в поклоне поник.
Он своих славословий проверил язык.

Вознесясь всей душой за эдемские рощи,
Он помоги просил, он испрашивал мощи.

И, на бой снаряжаясь, исполненный сил,
За кольчугу он полы свои заложил.

Укрепили престол над слоновьей попоной,
Обнажили мечи на равнине зеленой.

И войска, как во все предыдущие дни,
Разместил государь. На равнину взгляни:

Волны румских рядов, как булатное море,
Мощный замок воздвигли на грозном просторе.

И к булатному замку не стало пути:
Даже пыль меж бойцов не смогла бы пройти.

Все обдумавший рус не разрозненным роем
Растянул свою рать, а рассчитанным строем.

Бубенцы загремели среди кутерьмы
Громких криков, и гневом вскипели умы.

Так сверкали мечи, так метались огнями,
Что с трудом храбрецы управляли конями.

Звуком лука окутан был гулкий простор,
Свист неистовых стрел несся в области гор.

Черепа разлетались под злой булавою,
И над каждой взлетала она головою.

Прытко падала палица; в горестный цвет
Небосвод облекался, стенаньям в ответ.

Так звенели клинки — муравьиные крылья,
Что и крылья орлов их страшились насилья.

Чаши копий, склоняемых снова и вновь,
Проливали на стяги пунцовую кровь.

Все копыта коней стали словно рубины.
Потники́ заалели и конские спины.

Копья множество звезд зажигали в щитах,
И сомкнул все щиты неожиданный страх.

Слитков тягостных рой так был грозен и пылок,
Что земля стала тьмой погребальных носилок.

Был снесеньем голов каждый меч обуян.
За тюльпаном в пыли рос кровавый тюльпан.

Как двужалые стрелы, смертельное жало
В грудь направленных копий тела прошивало,

И сжимаемый в длани поспешный кинжал,
Словно яростный змей, много жизней стяжал.

Сколько мертвых легло на дороге булата!
Не земля ль в Судный день мертвецами разъята?

И казалось, что русы всем гибель несут,
Всем румийцам последний назначили суд.

С мощью русов смешалась румийская сила,
Как на лике невесты бакан и белила.

Искендер был в бою, словно слон боевой.
Он метал во врага дротик яростный свой.

Он сверкал, словно слон, потрясающий брони,
Он кипел, словно лев, в яром вихре погони.

Это слон, пред которым робеют слопы.
Это лев, для которого львы не страшны.

Царь, вонзая в коня заостренное стремя,
Бил мечом и разил мощных недругов племя.

Для разгрома врага ждал он должной поры:
Выйдет счастья звезда из-за темной горы.

Исчисляя созвездья царя Искендера,
Не бросал звездочет своего угломера.

Разгадав, что в грядущем не кроется туч
И что меч шаханшаха — сокровищниц ключ,—

Он сказал Искендеру: «К последнему бою
Устремляйся. Победа, о царь, за тобою!»

Закипел государь, как взволнованный Нил,
Наземь славу врага, закипев, уронил.

Стал он огненным змеем, который во власти
Всех врагов своих сжать в огнедышащей пасти.

Искендер новой славой увенчанным стал,
Испытал пораженье могучий Кинтал.

Искендер своих войск неуклонным напором,
Непредвиденным, жарким, стремительно скорым,

В бегство бросил врага. Покорившийся мир
Дал царю Искендеру господства потир.

Искендер, проскакав над кровавой землею,
Стиснул шею Кинтала аркана петлею.

Тут румиец любой много пота извел
И в отместку теперь в кровь окрашивал дол.

Столько шей разрубили мечом безучастным,
Что багрец расхотел быть приманчиво красным.

Из буртасов и русов, по слову певцов,
Десять тысяч пленили храбрейших бойцов,

Пали прочие в битвах. А славы достойны
Были все! Неизбежно безжалостны войны!

Иль стрела, или меч их прикончили дни.
Уцелели немногие: скрылись они.

Нет, не столько добычи пришлось Искендеру,
Чтобы люди смогли указать ее меру!

Нес верблюд за верблюдом, качаясь, пыля,
Жемчуг, золото, лалы, камку, соболя.

Царь врага одолел. Как всегда, как бывало,
Словно роспись красивая, все засверкало.

Царь на землю сошел с боевого седла:
Царь довел до конца боевые дела.

И опять перед божьим поник он порогом:
Он — ведь только лишь прах. Все содеяно богом.

И когда всеблагому вознес он хвалу,
Он дары положил в неимущих полу.

Нет грозящих врагов! Нет веселью преграды!
Царь возжаждал покоя, возжаждал услады.

ОСВОБОЖДЕНИЕ НУШАБЕ И ПРИМИРЕНИЕ ИСКЕНДЕРА С КИНТАЛОМ

Кравчий! Чашу! К жемчужинам чаши припав,
Я солью с ними сердца им сродный состав.

Влаги! Сохнет мой дух от вседневной отравы.
Жду: булатом булат очищается ржавый.

*

Тем, кого породил славный царь Филикус,
Был буртас остановлен и сдержан был рус.

И сыскал Искендер тот простор для привала,
Где земля и отраду и силы давала.

Там прекрасней Тубы были сени древес,
Там густы были травы под синью небес.

Там ручьи, как вино, были сладостны летом,
Но они не таились под строгим запретом.

Там, тенистым узором сердца веселя,
Изумрудные сети сплели тополя.

Там деревья высоко взнесли свои своды:
Их вскормил свежий воздух, вспоили их воды.

Меж древес, где всегда благодатны пиры,
Для Владыки румийские стлали ковры.

И когда принесли все, что надо для пира,
Сел с царями за пир царь подлунного мира,

И когда пированьем украсился луг,
И вкруг снеди замкнулся пирующих круг,—

Приказал государь принимавшим добычу
Сдать немедля добычу считавшим добычу,

Чтоб о множестве злата, о ценных мехах,
О буртасах, аланах, о всех племенах

Доложили ему, чтоб хотя бы примерным
Был подсчет всем сокровищам, столь беспримерным,

И огромный воздвигли носильщики вал,
Груды ценной добычи неся на привал.

Будто жадными тешась людскими сердцами,
Раскрывались, блистая, ларцы за ларцами.

И каменья, которых нельзя было счесть,
О себе всем очам тотчас подали весть.

Тут и золото было, и были в избытке
Серебра драгоценного лунные слитки,

Хризолиты, финифть, золотые щиты.
Сколько лучших кольчуг! Нет, не счел бы их ты!

Словно на́ гору Каф мог ты вскидывать взоры,
Полотна с миткалем видя целые горы.

Был прекрасен зербафт, на котором шитье
Золотое вело узорочье свое.

Соболей самых темных несли отовсюду
И бобров серебристых за грудою груду.

Горностая, прекраснее белых шелков,
Было сложено сотни и сотни тюков.

Серых векш — без числа! Лис без счета багровых
И мехов жеребячьих, для носки готовых.

Много родинок тьмы с бледным светом слились:
Это мех почивален; дает его рысь.

Кроме этих чудес, было кладов немало,
От которых считающих сердце устало.

Царь взглянул: нет очам прихотливей утех!
Как в Иране весна — многокрасочный мех.

Цену меха узнав, царь промолвил: «На что же
Служат шкуры вон те, знать хотел бы я тоже?»

Соболиных и беличьих множество шкур
Царь узрел; был их цвет неприветливо бур.

Все облезли они, лет казалось им двести,
Но на лучшем они были сложены месте.

Шах взирал в удивленье: на что же, на что ж
Столько вытертых шкур и морщинистых кож?

«Неужели они,— он спросил,— для ношенья
Иль, быть может, все это — жилищ украшенья?»

Молвил рус: «Из потрепанных кож, государь,
Все рождается здесь, как рождалось и встарь:

Не смотри с удивленьем на шкуры сухие.
Это — деньги, и деньги, о царь, не плохие.

Эта жалкая ветошь в ходу и ценна.
Самых мягких мехов драгоценней она.

Что ж, дивясь, обратился ко мне ты с вопросом,
Купишь все малой шкурки куском безволосым.

Пусть меняет чеканку свою серебро
Там, где все, что прошло, мигом стало старо,—

Шерсть ни на волос эта не стала дешевле
С той поры, как была в дело пущена древле».

Государь поразился: какая видна
Здесь покорность веленьям! Безмерна она.

Он сказал мудрецу: «Усмиряя все свары,
Силе шахов повсюду способствуют кары,

Но у здешних владык больше властности есть:
Эту кожу велели сокровищем счесть!

Из всего, что мое здесь увидело око,
Это — лучшее, это ценю я высоко.

Если б этой жемчужины не было здесь,
Кто б служил тут кому-либо? Это ты взвесь.

Ведь иначе никто здесь не мог бы быть шахом.
Шах тут — шах. В этом все. Шах тут правит не страхом.

Увидав, что сокровищам нету конца,
Искендер за даянья восславил творца,

И, прославив творца бирюзового крова,
Он застольную чашу потребовал снова.

Услаждаясь вином, струнный слушая звон,
Словно туча весной щедрым сделался он.

Тем вождям, что в боях были ловки и яры,
И парчи и сокровищ он роздал харвары.

Он им золота дал, он был так тороват,
Что дарил он вождям за халатом халат.

Не осталось плеча, что не тешило взора
Алым бархатом, золотом златоузора.

Бессловесного жителя дальних степей
Царь призвал,— и свободно без прежних цепей

Подошел этот мощный степняк однорогий,
И царю, как и все, поклонился он в ноги.

И смотрел Искендер на врага своего:
Непонятное он изучал существо.

И немало сокровищ, отрадных для взгляда,
Он велел принести и парчи для наряда.

Но мотнул головою безмолвный степняк,—
Мол, они не нужны, проживу, мол, и так.

Он, потупившись, голову бросил овечью
Перед шахом: владел он безмолвия речью.

Понял все государь: чтобы пленный был рад,
Повелел он из лучших отобранных стад

Дать овец великану, и принят был дивом
Этот дар, и казался безмолвный счастливым.

И погнал он овец в даль родимой земли,
И с гуртом пышнорунным исчез он вдали.

А лужайка полна была мира и блага,
И сверкала по чащам багряная влага,

И на душу царя взяли струны права,
И блаженно сияла над ним синева.

И когда от вина цвета розы вспотели
Розы царских ланит и в росе заблестели,

Шаха русов позвал вождь всех воинских сил
И на месте почетном его усадил.

Вдел он в ухо Кинтала серьгу. «Миновала,—
Он сказал,— наша распря; ценю я Кинтала».

Пленных всех он избавить велел от оков
И, призвав, одарил; был всегда он таков.

В одиночку ли тешиться счастьем и миром!
Пожелал Нушабе он увидеть за пиром.

И к Светилу полдневному тотчас Луну
Привели,— и Луну привели не одну:

С ней пришли и кумиры, познавшие беды,—
Мотыльки —радость глаз и услада беседы.

Царь убрал Нушабе в жемчуга и шелка,
Как зарю, что весеннего ждет ветерка.

Дал ей много мехов, лалов с жемчугом вместе.
Вновь прекрасная стала подобна невесте.

Царь был несколько дней с ней, веселой всегда,
А когда пированья прошла череда,

Длань царя, сей Луной одаряя Дувала,
Вмиг Дувала ремень вкруг нее завязала.

Поднеся новобрачным жемчужный убор,
Царь своею рукой их скрепил договор.

Он в Берду их направил, в родимые дали,
Чтоб за зданьями зданья они воздвигали.

Чтоб дворец Нушабе стал прекрасен, как встарь,—
Без подсчета казны им вручил государь.

В путь отправив чету, всем вождям своим сряду
Дал за трудный поход он большую награду.

Сговорившись о дани, могучий Кинтал
В ожерелье, в венце в свой предел поспешал.

Он, вернувшись в свой город, не знавший урона,
Вновь обрадован был всем величием трона.

Он, признав, что всевластен в миру Искендер,
Каждый год возглашал на пиру: «Искендер!»

А румиец, чьему мы дивились величью,
То за чашей сидел, то гонялся за дичью.

Он в тени тополей, он под листьями ив
Слушал най, к сладкой чаше уста приложив.

Славя солнечный свет, ликовал он душою
И, ликуя, вино пил с отрадой большою.

Счастье, юность и царство! Ну кто ж от души
Не сказал бы счастливцу: к усладам спеши!

ИСКЕНДЕР И НИСТАНДАРДЖИХАН

Низами говорит о бренности всего земного и призывает радоваться сегодняшнему дню, не думая о завтрашнем. Далее идет рассказ о том, как Искендер пирует в своем шатре с Нистандарджихан. Она говорит о своей красоте, о своей любви к нему. Искендер счастлив с нею.

ПОВЕСТВОВАНИЕ О ЖИВОЙ ВОДЕ

Искендер пирует со своими приближенными, каждый рассказывает ему о каком-нибудь чуде. Древний старец открывает Искендеру, что в области Мрака есть источник живой воды, которая дает бессмертие. Искендер с войском отправляется в область Мрака. По дороге он решает оставить в пещерах кладь, мешающую войску, и стариков. Однако один молодой воин, желавший продлить жизнь своего отца, спрятал его в сундук и повез с собой. Когда войско вступило в область Мрака, где кругом была сплошная тьма, Искендер стал советоваться с приближенными, как двигаться дальше и как найти дорогу обратно. Молодой воин спрашивает совета у отца, и тот предлагает зарезать только что появившегося на свет жеребенка на глазах у кобылицы и на обратном пути пустить кобылицу впереди войска — она найдет дорогу к этому месту. Воин признается Искендеру, что нарушил его приказ и взял с собой отца, и пересказывает его совет. Искендер его прощает и исполняет совет старика.

ИСКЕНДЕР ПРОНИКАЕТ В СТРАНУ МРАКА

Черный прах обыщи, кравчий мой огневой,
И открой в этой тьме ты источник живой!

Светлой влагой омой мои скорбные очи,
Оживи мое сердце во тьме этой ночи!

*

В этой части, благому отдавшись труду,
Я по слову дихкана свой сказ поведу.

Так вписал в его книгу калам его строгий:
Ночью первою Урдибехишта Двурогий

В область Мрака вступил. Тиховейная тьма —
Благодатный покой для людского ума.

И ключом золотым за́мок тьмы отмыкая,
Ты увидишь: лежат самоцветы, сверкая.

Если к влаге живой ты приникнуть готов,—
Ты обязан преддверья задернуть покров.

В омовенья часы всем на свете знакома
Ткань сапфирного цвета вокруг водоема.

В день, когда Искендер, все покинув дела,
Устремился туда, где раскинулась мгла,

Стал он с месяцем схож, что на небе просторном
Был похищен драконом огромным и черным.

Хызру-вестнику царь повелел на пути
Мчаться вдаль и ручей, если сможет, найти.

Чтобы войску скорей оказал он помогу
И скорей отыскал к водопою дорогу,—

Царь коня своего отдал Хызру; огнем
Был серебряный конь, так мы скажем о нем.

Хызру царь дал и яхонт: во тьме он светился,
Если ключ иль ручей где-то рядом ютился.

Молвил вестнику Властный: «Ты будешь один
На безвестном пути; ты — его господин.

Направляя то вправо, то влево поводья,
Ты оглядывай мрак, словно ширь половодья.

Этот яхонт блестящий не лжет никогда:
Пред тобою заблещет живая вода.

Светлой влаги испив, мне укажешь дорогу,
И тебя я прославлю, покорствуя богу».

И разведчик в плаще изумрудном коня
Устремил в черноту беспросветного дня.

Одинокий, заботясь о деле высоком,
Он оглядывал мглу испытующим оком.

И казалось: весь край беспросветен и пуст.
Не имелось воды для взыскующих уст.

Но внезапно зажегся в руке его камень,
И вдали заструился серебряный пламень.

Светлый ключ отыскался в пристанище мглы,
Как руда серебра меж расселин скалы.

Но водой ли была нить алмазная эта?
Мнился дивный источник сиянием света.

И подобен он звездному был серебру,
Если звезды мерцают, сияя, к утру.

Он подобен был месяцу ночью дремучей,
Если месяц горит, не скрываемый тучей.

Трепетал, словно ртуть, его влажный огонь,
Если ртуть паралитик возьмет на ладонь.

Что могло быть сравнимо с его чистотою,
С чистотой его тою,— такою святою?!

Что могло бы гореть столь же чистым огнем?
Он — вода, он — огонь,— можно молвить о нем.

И у вестника счастьем блеснули зеницы.
Осмотрел он поток, что светлее денницы,

И с коня он сошел, снял одежду, в родник
Погрузился, затем, наклонивши свой лик,

Выпил влаги, светившейся в черной пустыне.
Вечной жизни он был удостоен отныне.

И коня он омыл; дал испить заодно,—
В серебро было чистое влито вино.

Снова сел он в седло, и, вниманье удвоя,
Не спускал он очей с ясных струй водопоя.

Как подъедет Владыка, он молвит ему:
«Вот родник вечной жизни, пронзающий тьму».

Но едва от ключа взор отвел он устало
И затем оглянулся,— потока не стало.

В мысли Хызра мелькнуло — он знал обо всем:
«Не дано Искендеру узреть водоем».

Не от страха пред Властным, а следуя року,
Скрылся он от царя вслед благому потоку.

Но меж древних румийцев другие слова
Обо всем происшедшем сказала молва.

Говорили, что с Хызром — он ехал далече —
У ключа был Ильяс. Так вещали о встрече:

У источника встретясь, за Хызром Ильяс
Тотчас спешился. Взяв свой дорожный припас,

Оба вскрыли сумы, как и все признавая,
Что с едою приятна вода ключевая.

Вместе с хлебом, что сладостней мускуса нах,
И сушеная рыба была в их сумах.

И один из мужей, воле неба в угоду,
Уронил свою рыбу в студеную воду.

И, жалея о снеди, в нежданной беде,
Он спеша наклонился к алмазной воде,

И, найдя свою рыбу подвижной, живою,—
Был внезапно он вестью пронзен огневою.

Он постиг — помогла ему в этом беда:
Перед ним трепетала живая вода.

И пригоршню испивши воды быстротечной,
Жизнью был одарен этот праведник вечной.

Все поведал он другу; к ручью бытия
Тот склонился и также хлебнул из ручья.

Не дивись, что источник воды животворной
Сделал мертвую рыбу живой, нетлетворной,

Ты дивись: эта рыба сумела сказать,
Что таится в ключе вечных дней благодать.

Но о светлом ручье, о вещании рыбы
Вы в сказаньях арабов иное нашли бы:

Далеко от персидских и румских очей
Укрывался во тьме животворный ручей.

Если ж светлый ручей притаился под прахом,
Не томись в бездорожье мучительным страхом.

Двое спутников, чудо нашедших вдвоем,
Не сказали другим про благой водоем.

И помчались в восторге, не ведая горя:
В степи — Хызр, а Ильяс прямо к берегу моря.

Хоть источник один даровал им зерно,
Было мельницы две этим светлым дано.

Твердо царь нес во тьме и труды и лишенья.
Он источника ждал; полон был предвкушенья:

У потока приляжет его голова,
Вырастает всегда близ потока трава.

Сорок дней, словно тень, он скитался, но тени
На родник все ж не бросил. Росли его пени.

Верно, сердце в нем было — пылающий лал:
Он, скитаясь в тени, сердцу тени желал.

Но ведь свет, а не тень, во́ды жизни сулили,
Хоть ключи с тенью сладостной говор свой слили.

Но пускай все ключи с тенью слили свой свет,
У источника радости тени ведь нет.

Но скажи: если с радостью слился источник,
Почему же в тени этот скрылся источник?

Что же! Тень для источника лучше, чем пыль.
Пыль — мутна, тень — студена. Иль это — не быль?

Маял мрак; не внимал государя хотенью,
И царю в сей тени вся земля стала тенью.

Он к источнику жизни хотел бы припасть,
Ведь грядущая смерть всем живущим не сласть.

Но на страшном пути все казалось превратно!
И коня своего повернул он обратно.

Одного он желал на ужасной земле:
Выйти к свету! Не быть в этой тягостной мгле!

И во мраке предстал ему ангел, и в длани
Взял он длани царя. «Неуемных желаний,—

Он сказал,— ты исполнен. Обрел ты весь свет,
Но тебе утоления все еще нет».

Он, вручив ему камешек, молвил: «Высоко
Что сей дар и храни — он дороже, чем око.

Между каменных гор камень, волей небес,
Ты сыщи; одинаков быть должен их вес.

Только камнем, вот этому камешку равным,
От страстей исцеляться дано неисправным».

Малый камешек взял Искендер,— и во тьме
Скрылся ангел, как образ, мелькнувший в уме.

Взор вперяя во мрак, торопился Великий,
И сжималось усталое сердце Владыки.

И услышал он голос, гудящий во мгле:
«Все указано смертным на бренной земле.

Искендер к роднику не допущен был роком.
Ключ бессмертия Хызру дался ненароком.

Искендер безнадежно взирает во тьму.
Хызру тьма не преграда. Все ясно ему.

Над халвой у печи гнутся многие люди,
Но халву — одному преподносят на блюде».

Голос новый: «Румийцы! Взгляните окрест:
Мелких камешков россыпь — богатство сих мест!

Кто возьмет этих камешков, горько застонет;
Еще горше застонет, кто вовсе не тронет».

Драгоценною галькой, под пологом тьмы,
Много воинов смело набили сумы.

Всех чудес вещей тьмы я открыть не во власти:
Я ведь вам и десятой не высказал части.

Звука страшной трубы я для вас не явил,—
И пред вами во тьме не предстал Исрафил.

Дал рассказчик другой этим копям начало.
К ним опять приступать никому не пристало.

Не сумев из ключа светлых струй зачерпнуть,
Царь к источнику света направил свой путь.

И, покорствуя воле великой и строгой,
Шло румийское войско обратной дорогой.

Прежний путь без труда довелось им найти;
Был указчик у них на обратном пути:

Сорок дней за собой их вела кобылица,
И редеющей тьмы показалась граница.

И возник из-за туч блеск отрадных лучей.
Царь, ключа не найдя, пролил слезный ручей.

Он за чуждым бежал. Все мы ведаем сами:
Лишь свое отыскать нам дано небесами.

Что радеть нам о счастье, ища свой удел,
Не всегда ль наш удел сам о смертных радел?

Ты не сей для себя: ведь благого удела
Мы не знаем конца, мы не видим предела.

Те, что были пред нами — сажали сады,
Мы, пришедшие следом, вкушаем плоды.

Нам на благо пошли миновавших раденья,
Для грядущих должны мы творить насажденья.

Посмотри, как посевы повсюду взошли!
Друг для друга мы сеем на нивах земли.

ИСКЕНДЕР УЗНАЕТ О ТАИНСТВЕННОМ ГОРОДЕ

Виночерпий, отрадного дай мне вина!
В чаше юность минувшая людям видна.

Может статься, пригубя вина огневого,
Молодой, свою долю увижу я снова.

*

Стало счастье вождем Искендеру в пути,
Смог из мрака тогда Искендер изойти.

Кобылица, стремясь к жеребенку упрямо,
По дороге надежной вела его прямо.

И туда, где скитальчества начал он день,
Он вернулся, покинув суровую сень.

По указу всевышнего мрака порфиру
Он отбросил, и вышел он к светлому миру.

И к войскам возвратился, доспехом блестя,
Тот, кто мнил возвратиться, родник обретя.

Но, вернувшись ни с чем, превозмог он томленье:
Все дает нам, он ведал, небес повеленье.

Ведь и то хорошо, что во мраке, о царь,
Ты не умер, как мрет бессловесная тварь.

Для чего огорчаться при бедствии? Вскоре,
Может быть, испытаешь ты бóльшее горе.

Лучше в знойных песках длить мучительный путь,
Чем в пучине бушующей вмиг утонуть.

Хоть ты боль головы пересилить не в воле,—
Меч, вонзившийся в голову, тягостен боле.

Много бед на земле в тяжких днях суеты,
Только крепкой душою их вытерпишь ты.

Те бойцы, что вернулись из области ночи
С тяжким грузом, раскрыли восторженно очи:

Не песок наполнял их тугие сумы,
А багряные лалы из области Тьмы.

Застонали они — принесли они мало,—
И не взявших каменья тоска обуяла.

Скорби всех ненасытных не стало конца,
И не взявших добычу стенали сердца.

День иль два отдыхал государь от похода,
И опять стал он прежним: забылась невзгода.

И припомнил о камешке крохотном он,
Что ему был посланником неба вручен.

И весы принесли; хоть чешуйки не шире
Был подарок,— пришлось поразмыслить о гире:

Он мискаль перевесил, осилил он мен,
Камни гор для него были будто бы тлен.

Дать большие весы! Сотни мощных, не десять,
Их внесли. Должно камешек посланный взвесить!

Все измаялись. Царь! Где его ты сыскал!
Перевесил он сотни чудовищных скал.

Хызр сказал им, невольно охваченным страхом:
«Этот камень, о царь, надо взвешивать прахом!»

Взяли прах; на весы горсткой малой он пал.
Этот вес с весом камня нежданно совпал.

Мир — лишь прах. Царь смущен был столь явным
примером.
Станет прахом и то, что звалось Искендером.

В некий день царь устроил собранье; оно,
Словно живопись, прелести было полно.

Феридуна венец, вновь сиявший без края,
Он явил, свой венец в поднебесье вздымая.

В золотых поясах, теша радостный взгляд,
Возле трона — гулямов серебряный ряд.

Всей земли венценосцы, как робкие тени,
У престола царя преклонили колени.

И беседа пошла; много мудрых словес
Прозвучало о древнем вращенье небес.

Каждый молвил о тьме, все укрывшей от ока,
И о скрывшихся струях живого потока:

Если есть эти струи во тьме,— почему
Не испить их, войдя в потаенную тьму?

Если нет вечных вод, хоть в веках они были,
Почему всех смущают старинные были?

И премудрые речи текли и текли.
Говорили о звездах, о тайнах земли.

И промолвил царю житель дальней окрайны,
Древний старец, хранящий великие тайны:

«О властитель земли, весь объехавший свет
И всему, словно солнце, несущий привет!

Если ищешь во тьме ты воды животворной,
Чтобы смерти избегнуть душой непокорной,

То узнай: .некий город есть в этом краю.
В нем неведома смерть. Слушай повесть мою.

Окружен этот град не обычной оградой,
А суровой горы многомощной громадой.

И порой тайный голос взывает в горах,
Горожан своим гулом ввергает он в страх.

Поименно он каждого кличет: «К вершине,—
Будто молвит,— иди! Ты мне нужен отныне!»

И заслышавший имя свое человек
К страшным горным подножьям пускается в бег.

Он стремится к вершине, что тайной одета,
На вопросы людей не давая ответа,

И, пробравшись меж скал, миновавши их строй,
Исчезает навек за гранитной горой.

В этот город, где тленья не ведает тело,
За бессмертьем, о царь, можешь двинуться смело».

И рассказчика старого смолкли слова,
И на душу царя они взяли права.

Он решился тогда. Загорелся он жаром:
Он узнает о том, что рассказано старым!

И бойцов повелел выбрать нескольких он
С тем, чтоб каждый из них был и смел и смышлен.

Им велел государь, сделав кратким привалом
Странный город, узнать обо всем небывалом.

Царь напутствовал их. «От призыва с вершин,—
Он сказал,— да не дрогнет из вас ни один.

Коль свои имена иль, быть может, прозванья
Вы услышите,— это не стоит вниманья.

Если тайный призыв не получит ответ,
Может статься, на тайну вы бросите свет».

Снаряженные в путь, все обдумавши толком,
О дороге людей расспросив тихомолком,

В тайный город, где голос людей призывал,
Пробрались и удобный разбили привал.

Все, что молвил Владыке старик достославный,
Подтвердил сказ людской и потайный и явный.

Голос дивный звучал, призывая порой
Одного из живущих под страшной горой.

И, заслышав призыв, устремленный к долине,
Поспешал призываемый к горной вершине.

Становилось ему все и вся нипочем.
Не смогли б ему путь преградить и мечом.

И внимали посланцы, утроя вниманье,
Но постичь не могли они смысла звучанья.

И когда небосвода крутящийся ход
Ряда дней и ночей совершил оборот,

Голос к высям спешить без печали и страха
Приказал одному из сподвижников шаха.

Одного из мужей, что за тайной влеклись,
Тайный зов призывал в непостижную высь.

И, как будто безвестным прельщаемый благом,
Он к горе приближался стремительным шагом.

И друзья ухватили его за рукав:
«Хоть немного помедли, призыв услыхав.

Если, к высям идя, не утратишь ты разум,
Может статься, вся тайна откроется разом!»

Но словам их не внял поспешавший на зов,
Он стонал и мрачнел от их дружных оков.

Ничего не сказал он о голосе вещем,
Порываясь вперед в устремленье зловещем.

Он ловчился, борясь, и, палимый огнем,
Он летающим скрылся от них муравьем.

Изумились друзья: нет, не внял он их мерам,
И теперь остальным он послужит примером.

Самый хитрый из них, словно с помощью крыл,
Ввысь умчался, а скрытого им не открыл.

Дней немного минуло, и снова просторы
Нежно солнце пригрело и реки и горы,

И черед был назначен второму гонцу,—
И пришло его дело к тому же концу.

И никто из оставшихся с тайны покрова
Не совлек, не постиг полновластного зова.

Устрашились гонцы, не прочтя письмена
Грозной тайны: им всем угрожала она.

И оставили город, утративши веру
В свой поход, и вернулись они к Искендеру,

И сказали царю: «Те из нас, что пошли
В горный путь, отрешились от нашей земли.

Нетерпеньем, казалось, душа их объята.
Мы постигли,— вовек им не будет возврата.

Нам не ясно, какой был у голоса строй,
Что за струны звучали за странной горой.

Не найдя с тайным ладом согласного лада,
Мы бежали, нам с тайною не было слада.

Хоть всходили мы ввысь по большим крутизнам,
Ни единого звука не слышалось нам.

Увидав, что ушли наши спутники в горы,
Мы на дол обратили понурые взоры.

Не всегда ль небосвода таков произвол?
То уводит он ввысь, то низводит он в дол».

Понял царь, принимая гонцов извещенья,
Вечный путь, по которому нет возвращенья.

Лишь тогда бы он жаждал такого пути,
Если б он по нему мог обратно пройти.

Устрашил его мир мглою тайных уловок.
Этой книги никто не прочел заголовок!

Теми слышится зов, тем спасения нет,—
Для которых навеки кончается свет.

Молвил царь: «Человек, с человеческим телом,
Когти смерти отвлечь — мни несбыточным делом!

Знают сонмы онагров: охотник сильней,—
И, узрев свою смерть, сами движутся к ней.

Пораженный стрелой, сам, отбросив усилья,
Направляет орел книзу мощные крылья».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСКЕНДЕРА В РУМ

Глава начинается с легенды о закладке Искендером города Булгара на Волге, в том месте, где он оставил обоз и казну, отправляясь в страну Мрака. Выйдя из Булгара и пройдя через страну русов, он на кораблях возвращается со своим войском в Рум. Страна разбогатела от привезенных сокровищ. Искендер — на вершине славы, но если он первый раз пошел в поход лишь с земными целями, то теперь перед ним цели духовные, небесные. Его обширными владениями управляют наместники, сам же он получает божественное веление стать пророком. Ныне Искендер собирается в новое странствие — на сей раз с пророческой миссией. Низами завершает главу пояснением: если собрать рассыпанные по этой книге и скрытые в символах драгоценные мысли, то

получится «канон мудрости». Обращает он внимание и на призывы к кравчему в начале каждой главы, которым придает особое значение. В сказки, говорит Низами, я вплел истину, слово должно вести к истине, иначе оно презренно. Он считает, что Фирдоуси иногда был готов отступить от истины, но сам он исправил те места «Шах-наме», которые ему пришлось пересказать. Теперь, если хватит сил, он напишет вторую часть «Искендер-наме».

ВОСХВАЛЕНИЕ АТАБЕКА НУСРЕТ-АД-ДИНА

Книга завершается традиционным восхвалением одного из адресатов поэмы — Нусрет-ад-дина Абу Бекра Бишкина ибн Мухаммеда из династии Ильдигизидов (вступил на престол в 1191 г.). В восхваление включены строки — посвящение поэмы, просьба принять ее благосклонно и наградить ее создателя.

КНИГА О СЧАСТЬЕ

ВОСХВАЛЕНИЕ ЕДИНСТВА АЛЛАХА

К каждой сокровищнице, созданной разумом, ключ — имя господа, парафразирует здесь Низами первый бейт «Сокровищницы тайн». Господь дарует людям разум, продолжает он, опекает разумных, но и неразумных выручает из беды. Глава напоминает «Восхваление разума» из «Шах-наме» Фирдоуси и наполнена глубоким философским содержанием.

МОЛИТВА

Традиционная внутренняя молитва, беседа с богом. В конце главы Низами молит бога помочь ему завершить вторую часть поэмы и повести его прямым путем так, чтобы он заслужил божественное одобрение.

ВОСХВАЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ПРОРОКА

Обычные традиционные хвалы, содержащие перечисление преимуществ Мухаммеда перед всеми бывшими до него пророками.

ОБНОВЛЕНИЕ СКАЗАНИЙ И ПОМИНАНИЕ ДРУЗЕЙ

В вечном беге желают всё нового дни,
Всё наставника нового ищут они,

Песни прежние слушают чуть ли не с гневом,
Благосклонны они только к новым напевам.

Время — кукольник: сдвинув завес пелену,
Преподносит народам он куклу одну.

И, глядишь, чародей этой лучшей из кукол
Всех взирающих души уже убаюкал.

Дни идут, вся истрепана кукла,— и вот
Из-за ткани волшебник другую берет.

Время, вечно вращаясь, все новые сказы
Одевает в парчу, и в шелка, и в алмазы.

Поглядите! Под пальцами ловкой руки
Все иные, иные пестреют венки.

Коль каменья одни станут дымкой одеты,
То из копи другие берут самоцветы.

Но навеки — мой сказ не напрасно возник —
У невесты моей будет розовый лик.

Хоть от книги моей вы не этого ждали,
Я иное сказать захотел бы едва ли.

Был в коне моем яростном бурный огонь,
Но отныне обуздан мой огненный конь.

Все вам в дар принесу. Принести лишь не в силах
Одного: юных дней — миновавших и милых!

Под юнцом — на коне все подковы в огне,
Старики — на огонь их кладут при луне.

Если в жарком огне треснет зеркало, брони
В том огне закаляй, позабыв об уроне.

Всем, в созданье былин проводящим года,
Помощь ангел дает. Это было всегда.

В дни, которые знал я на этом привале,
Сотни сказов раздумье во мне вызывали.

И внимал я певцу, что в ночной тишине
Свиток древних сказаний развертывал мне.

Но благого певца дали времени скрыли.
С ним и я замолчал, все оставил я были.

И внимавший сказаньям исчез оттого,
Что конец обрело дело жизни его.

Шах Арслан, утомясь, лег на вечное ложе.
И рассказы свои мне вести для чего же?

Иль молчанье мое мне поможет пресечь
Новый шах и вернет мне бывалую речь?

Сколько бед на пути! Где искать мне защиты?
Тело слабнет мое, увядают ланиты.

Мысли бурей встают. Как мне их превозмочь?
У дверей почивальни зловещая ночь.

Ночь мрачней, чем печали томительный голос.
Мой мучителен путь, путь мой тоньше, чем волос.

Как же в страшную ночь быть на этом пути?
Как же в сумраке этом колодезь найти?

Башня стража закрыта завесою черной.
Стража давит, как слон, мрак и злой и упорный.

Лишь газели вверху в черной светятся мгле.
Только мускуса мгла растеклась по земле.

Мотылек! Нет свечи у него на примете.
Да и где мотылек? Позабыл он о свете.

В ночь такую держал я в руке черновик;
Ночи был он черней, и над ним я поник.

В море мглы я нырял, лучших жаждал жемчужин,
Этот жемчуг — он мой! А вот этот — не нужен!

Ночи треть миновала. И долго текла
Эта ночь, и дышала безмолвная мгла.

Задержала судьба все свои повеленья.
Петухи замолчали. Ища утоленья,

Кудри ночи поймав, взор вперяя во тьму,
Семицветную ткань ткал я в тесном дому.

Из нутра синевы, как во время былое
Сам Иса, брал я синее, брал золотое.

Далее Низами говорит об одном из своих покровителей — Имаде из города Хоя (в Азербайджане). Затем он рассказывает, как он трудился над поэмой, жалуется на поэтов, крадущих у него стихи, высказывает мысли о бренности всего земного и т. д.

ВОСХВАЛЕНИЕ СЛОВА И СОВЕТЫ ЦАРЯМ

Традиционная глава о высоком достоинстве поэтического слова. Низами советует шахам поступать в соответствии с разумом и соблюдать чувство меры, быть справедливыми и милостивыми.

СЛАВОСЛОВИЕ ВОСХВАЛЯЕМОМУ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЯНДЖИ

Глава содержит восхваление второго адресата поэмы, правителя Мосула Изз-ад-дина Масуда (очевидно, Масуда II из династии Зенгидов). За ним следуют хвалы первому заказчику поэмы — Нусрет-ад-дину Бишкину Ильдигизиду — за восстановление Гянджи после страшного землетрясения, постигшего город в конце XII века.

ОБРАЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЦЕЛОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Традиционное продолжение обращения к Бишкину, содержащее советы и наставления, просьбу внимательно прочесть поэму и благосклонно принять ее и т. д.

НАЧАЛО ПОВЕСТВОВАНИЯ

Вернувшись в Рум, Искендер забывает о пирах и веселье, он теперь стремится лишь овладеть мудростью. Он собирает и изучает греческие и иранские книги, велит перевести иранские книги на греческий язык.

На этой основе он составляет книгу — «Мироведение». В почете стали теперь в его царстве лишь мудрецы. Кроме занятий наукой, Искендер много молится. Правит он справедливо, уничтожив в стране даже следы насилия. Его придворные делятся на шесть разрядов: воины, чародеи, ораторы, мудрецы, старцы-отшельники и пророки. В трудных случаях эти группы должны были помогать одна другой (как, например, ранее отшельник помог воинам взять крепость в Дербенте). Искендер всегда пытался решить любое дело золотом, потом, в случае неудачи, прибегал к военной силе и так далее, вплоть до помощи пророков. Глава кончается притчей, иллюстрирующей мысль о том, что тайны следует строго хранить.

О ТОМ, ПОЧЕМУ ИСКЕНДЕРА НАЗЫВАЮТ «ДВУРОГИМ»

Низами приводит несколько легендарных объяснений появления этого прозвища (ср. прим. к стр. 698). Среди них — известная античная легенда о царе Мидасе — Ослиные Уши, брадобрее и тростинке, выдавшей тайну. Кончается глава мыслью: нет такого тайного, которое не стало бы со временем явным.

СКАЗАНИЕ ОБ ИСКЕНДЕРЕ И МУДРОМ ПАСТУХЕ

Приходи, о певец, и зарею, как встарь,
Так захме роговым ты по струнам ударь,

Чтоб ручьи зажурчали, чтоб наши печали
Стали сном и к мечтаниям душу умчали.

*

Так промолвил прекрасный сказитель былой,
Не имеющий равных за древнею мглой:

В румском поясе царь и в венце из Китая
Был на троне. Сияла заря золотая,

Но нахмурился царь, наложил он печать
На улыбку свою, ей велев замолчать.

Обладал он Луной, с солнцем блещущим схожей,
Но она в огневице сгорала на ложе.

Уж мирских не ждала она сладостных чар.
К безнадежности вел ее тягостный жар.

И душа Искендера была уж готова
Истомиться от этого бедствия злого.

И велел он, исполненный тягостных дум,
Чтоб явились все мудрые в царственный Рум.

Может статься, что ими отыщется мера
Исцелить и Луну, и тоску Искендера.

И наперсники власти, заслышавши зов,
Притекли под ее милосердия кров.

Сотворили врачи нужных зелий немало,
Все же тело Луны, изнывая, пылало.

Рдело красное яблочко, мучась, горя.
В мрачной горести хмурились брови царя.

Был он сердцем привязан к пери́ луноликой,
Потому и томился в тревоге великой.

И, с престола сойдя, царь на кровлю взошел,
Будто кровля являла спокойствия дол.

Обошел он всю кровлю, и бросил он взоры
На окрестные степи и дальние горы.

И внизу, там, где степь расстилалась, тиха,
Царь увидел овец, возле них — пастуха:

В белой шапке, седой, величавый, с клюкою
Он стоял, на клюку опираясь рукою.

То он даль озирал из конца и в конец,
То глядел на траву, то глядел на овец.

Был спокойный пастух Искендеру приятен,—
Так он мудро взирал, так плечист был и статен.

И велел государь, чтобы тотчас же он
Был на кровлю к престолу царя приведен.

И помчалась охрана, чтоб сделать счастливым
Пастуха, осененного царским призывом.

И когда к высям трона поднялся старик,
Пурпур тронной ограды пред смертным возник.

Он пред мощным стоял Искендеровым валом,
Что о счастье ему говорил небывалом.

Он склонился к земле: был учтив он, и встарь
Не один перед ним восседал государь.

Подозвал его царь тихим, ласковым зовом.
Осчастливив его государевым словом,

Так сказал Искендер: «Между гор и долин
Много сказов живут. Расскажи хоть один.

Я напастью измучен, и, может быть, разом
Ты утешишь меня многомудрым рассказом».

«О возвышенный,— вымолвил пастырь овец,—
Да блеснет над землею твой светлый венец!

Да несет он твой отблеск подлунному миру!
Дурноглазый твою да не тронет порфиру!

Ты завесу, о царь, приоткрой хоть слегка.
Почему твою душу сдавила тоска?

Должно быть мне, о царь, сердце царское зрящим,
Чтоб утешить рассказом тебя подходящим».

Царь одобрил его. Ведь рассказчик найти
Нужный корень хотел на словесном пути,

А не тратить речей о небес благостыне
Иль о битвах за веру, как житель пустыни.

Царь таиться не стал. Все открыл он вполне.
И когда был пастух извещен о Луне,

До земли он вторично склонился, и снова
Он молитвы вознес благодатное слово.

И повел он рассказ: «В давних, юных годах
Я Хосроям служил и, служа при царях,

Озарявших весь мир ярким праздничным светом,—
Тем, которым и я был всечасно одетым,

Знал я в Мерве царевича. Был его лик
Столь прекрасен, а стан словно стройный тростник.

Был красе кипарисов он вечной угрозой,
А ланиты его насмехались над розой.

И одна из пленительниц спальни его,
Та, что взору являла красы торжество,

Пораженная сглазом, охвачена жаром,
Заметалась в недуге настойчивом, яром.

Жар бездымный сжигал. Ей уж было невмочь.
Ни одно из лекарств не сумело помочь.

А прекрасный царевич,— скажу я не лживо:
Трепетал кипарис, будто горькая ива.

Увидав, что душа его жаркой души
Будто молвила смерти: «Ко мне поспеши!» —

И, стремясь не испить чашу горького яда,
На красотку не бросив померкшего взгляда,

Безнадежности полный, решил он: в пути,
Что из мира уводит, покой обрести.

За изгибами гор, что казались бескрайны,
Был пустыни простор,— обиталище тайны.

В ней пещеры и бездны. По слову молвы,
Там и барсы таились, и прятались львы,

В этой шири травинку сыскали б едва ли,
И Пустынею Смерти ее называли.

Если видел на свете лишь тьму человек,
В эту область беды он скрывался навек.

Говорили: «Глаза не узрели доныне
Никого, кто б вернулся из этой пустыни».

И царевич, теряющий розу свою,
Все хотел позабыть в этом страшном краю.

Но, смятенный любимой смертельным недугом,
Был царевич любим благодетельным другом.

Ведал друг, что царевич, объятый тоской,
Злую смерть обретет, а не сладкий покой.

Он лицо обвязал. Схож с дорожным бродягой,
На царевича меч свой занес он с отвагой.

И не узнанный им, разъяренно крича,
Он свалил его наземь ударом сплеча.

Сбив прекрасного с ног, не смущаясь нимало,
На царевича лик он метнул покрывало.

И, схвативши юнца, что стал нем и незряч,
На коне он в свой дом с ним направился вскачь.

А домой прискакав, что же сделал он дале?
Поместил он царевича в темном подвале.

Он слугу ему дал, но, спокоен и строг,
Приказал, чтоб слуга крепко тайну берег.

И царевич злосчастный, утратив свободу,
Только хлеб получал ежедневно и воду.

И, бессильный, глаза устремивший во тьму,
С пленным сердцем, от страсти попавший в тюрьму,

Он дивился. Весь мир был угрюм и неведом.
Как, лишь тронувшись в путь, он пришел к этим
бедам?!

А царевича друг препоясал свой стан
В помощь другу, что страждал, тоской обуян.

Соки трав благотворных раздельно и вместе
Подносил для целенья он хворой невесте,

Он избрал для прекрасной врача из врачей.
Был в заботе о ней много дней и ночей.

И от нужных лекарств лютой хворости злоба
Погасала. У милой не стало озноба.

Стала свежей она, как и прежде была.
Захотела пройтись, засмеялась, пошла.

И когда в светлый мир приоткрылась ей дверца,
Стала роза искать утешителя сердца.

Увидав, что она с прежним зноем в крови
Ищет встречи с царевичем, ищет любви,—

Друг плененного, в жажде вернуть все былое,
В некий вечер возжег в своем доме алоэ.

И, устроивши пир, столь подобный весне,
Он соперницу роз поместил в стороне.

И затем, как слепца он, сочувствуя страсти,
Будто месяц изъяв из драконовой пасти,

Сына царского вывел из тьмы. С его глаз
Снял повязку,— и близок к развязке рассказ.

Царский сын видит пир — кравчих, чаши, и сласти,
И цветок, у которого был он во власти.

Так недавно оставил он тягостный ад,
Рай и гурию видеть,— о, как был он рад!

Как зажегся он весь! Как он встретил невесту!
Но об этом рассказывать было б не к месту!»

И когда царь царей услыхал пастуха,
То печаль его стала спокойна, тиха.

Не горел он уж тяжким и горестным жаром,
Ведь вином его старец попотчевал старым.

Призадумался царь,— все творят небеса...
Вдруг на кровлю дворца донеслись голоса.

Возвещали царю: миновала угроза,
Задышала свободно, спаслась его роза.

И пастух пожелал государю добра.
А рука Искендера была ль не щедра?

*

Лишь о тех, чья душа чистым блещет алмазом,
Мы поведать могли бы подобным рассказом.

От благих наши души сияньем полны,
Как от блеска Юпитера или Луны.

Распознает разумный обманные чары,
Настоящие вмиг узнает он динары.

Звуку чистых речей ты внимать поспеши.
В слове чистом горит пламень чистой души.

Если в слове неверное слышно звучанье,
Пусть на лживое слово ответит молчанье.

СКАЗАНИЕ ОБ АРХИМЕДЕ И КИТАЯНКЕ

О певец! Пусть твоя будет песня слышна!
Голова моя тягостной смуты полна.

Так запой мне прекрасную песню, чтоб разом
Успокоился песней встревоженный разум!

*

Из премудрых мужей отдаленных годин
Так поведал о прошлом румиец один:

Жил наперсник царя. Был он царственен. Ведом
Был искуснейший всем. Он звался Архимедом.

Был весьма знаменит его доблестный род.
Удивлялся ему ионийский народ.

Был к тому же богат, всем казался он дивом
Потому, что он был беспредельно красивым.

Был он сведущ во всем, образован, умен.
И внимал всем ученым с охотою он.

Чтил его Аристотель, как сына встречая.
И свой дом он украсил, его обучая.

Поручил Искендер ему царский свой суд,
Зная: скорбные в нем милосердье найдут.

Китаянку, что царь получил от хакана,
Ту, что смелых разила, находчива, рьяна,

Он искусному отдал,— и в сладостный бред
Свой возвышенный ум погрузил Архимед.

Дичь охотник схватил. И в алчбе еженощной
Услаждался он вдосталь дичиною сочной.

Хоть китайской пери́ не избег он силка,—
Как рабыня индийская, скрылась тоска.

Он с Луной занимался наукой объятий,
И не шел к мудрецу для обычных занятий.

И наставник, грустя о пропущенных днях,
За него в своем сердце почувствовал страх.

Видно, вихри безумства куда-то помчали
Одаренного ум. Был учитель в печали.

Чтобы зло и добро было ясно уму,
Он учил сто юнцов, приходивших к нему:

Девяносто и девять — не мало. Беседа
Все ж нестройной была. Он все ждал Архимеда.

И нежданно смолкал, и мрачнел его взор.
Лишь на добром чекане сверкает узор:

Пусть бы здесь лишь один этот юный учился,
Как бы взор Аристотеля светом лучился!

Пусть один пред тобой. Не потупь своих вежд,
Если этот один лучше сотни невежд.

Он призвал Архимеда. Предвидя победу,—
«Ты науку забыл,— он сказал Архимеду.—

Где твоя, вне познаний, проходит стезя?
Ведь в неведенье жизнь провести нам нельзя».

Отвечал Архимед: «Это ведает каждый:
Припадает к ручью изнывавший от жажды.

Обласкал меня царь, обласкал через край,
Одаривши Луной, озарявшей Китай.

Я пылаю душой, полон юною силой.
Как не быть мне влюбленным в кумир этот милый!

Я забыл с этой дичью о ловле иной.
В двух страстях не пылаем душою одной!»

И учитель, поняв, что искусный во власти
Обуявшей его сокрушительной страсти,

Произнес: «Ты пришли ко мне эту Луну,
Без раба иль служанки, а только одну.

Погляжу я на ту, что, разбойным набегом
От науки отняв, предала тебя негам».

И влюбленный, с кумиром забывший весь мир,
К Аристотелю в дом свой направил кумир.

И составил мудрец, светоч знаний высокий,
Тот состав, что из тела вытягивал соки,

Не вредящие телу, но снова и вновь
Нам дающие жизнь и крепящие кровь.

Он изъял ее влагу, влекущую души.
И — взгляни — кипарис вдвое сделался суше.

И ученый, продолжив свой начатый путь,
В чан объемистый влил жизни влажную суть.

И когда этот опыт свершил он с отвагой,
Некрасивым стал идол, расставшийся с влагой.

Сочность красок исчезла. Не краски, а муть.
Жесткий камень. Вода. Где же чистая ртуть?!

И, призвав Архимеда, мудрец ему выдал
Ту, которая прежде сияла, как идол.

«Вот утеха твоя, краше розы самой.
Отведи ты ее с ликованьем домой».

И услышал слова он такого ответа:
«Кто, учитель, скажи, некрасивая эта?»

«Где же роза моя? — после вымолвил он.—
Где Луна,— та, которою взят я в полон?»

И велел мудрый муж, жизнь возвысивший нашу,
Чтоб закрытой доставили оную чашу.

С чаши крышку он снял. Да дивится весь свет
Мастерству! Мудреца ему равного нет!

Он сказал Архимеду: «Вот это — утеха
Всей души твоей жаркой и знанью — помеха.

Тело нежное было вот этим полно,
И тебя только влагой прельщало оно.

Нет в ней нужной закваски, и в речи не лживой
Ты теперь называешь Луну некрасивой.

Для чего нам утрачивать влагу и кровь,
Нашей кровью и влагою теша любовь?

В эту почву не сей свою силу. От века
Этой силе дано возносить человека.

Капле мощи своей сохраненной будь рад.
В ней, тобой не утраченной, много отрад.

Девам диких племен — ты внемли укоризне!
Не дари, Архимед, урожай своей жизни.

Лишь одною женой нас обрадует рок.
Муж при множестве жен не всегда ль одинок?

Почему разнородность господствует в мире?
Семь отцов у нее, матерей же — четыре.

Если дети твои от единой жены,—
То тогда меж собою все дети дружны».

И, поняв, что ценимый румийским народом
Одарил его душу премудрости медом,

Пред учителем дивным поник Архимед,
И нашел к его дому он прежний свой след.

Но китайская все же звала его роза:
Сердце юноши снова колола заноза.

И когда снова ветви оделись листвой,
И вознес кипарис стан приманчивый свой,

И фиалка вздохнула, и вновь не во власти
Был прекрасный нарцисс отрешиться от страсти,—

Вся китайская роза раскрылась опять.
Ветер в погреб с вином стал пути подметать.

И забилось опять, как меж веточек птаха,
Архимедово сердце, не ведая страха.

И свой слух для науки закрыл он опять,
И раскрывшийся сад снова стал его звать.

И с пери́, как пери́, он — о, духов услада! —
Укрывался от всех за оградою сада.

И учитель упреков не слал ему вновь.
Он простил ему все за такую любовь.

Два-три года над миром спеша пролетели,
И померкли глаза у китайской газели.

Лепестки алой розы на землю легли.
Соловей улетел, где-то пел он вдали.

Поглотила земля розу, цветшую ало,
Как той розы вино поглощала, бывало.

*

В годы благ, что светили пути моему,
Лучше этой служанку имел я в дому.

Так же светел был разум прекрасной подруги.
Принимал от нее я любовь и услуги.

Красотой, как ладьей, полонивши слона,
Прямо к шаху коня подвела,— о, Луна!

Эта роза дышала душою моею.
Был я мужем одним осчастливленным ею.

Но лишь только мой взор стал исполнен огня,
Чей-то вражеский сглаз взял ее у меня.

Вот каких похищает набегами небо!
Словно лик ее белый под небом и не был!

Как я счастлив был с ней! Сколько знал я услад!
Пусть господний теперь к ней склоняется взгляд.

Мой таинственен путь. Добывая алмазы,
Для людей обновляя старинные сказы,

Я, в своем торжестве всем дарующий сласть,
Сладкоустых даю горькой смерти во власть.

Ведь Ширин создавая всем людям на радость,
Потерял я навек мне дававшую сладость.

И, построив ограду для клада Лейли,
Я другой самоцвет отдал мраку земли.

Вот и новая повесть к развязке готова,
И Ризвану я дал новобрачную снова.

Как же я, вспомнив жен, полный горестных дум,
Кончу повесть про Рус и про сказочный Рум?

Надо скорби забыть! Свой рассказ не нарушу,
Да струится он вновь, утешающий душу!

СКАЗАНИЕ О МАРИИ-ЕГИПТЯНКЕ

Некая Мария из Египта правила Сирией. Враги завоевали ее страну, и ей пришлось бежать ко двору Искендера в поисках защиты. Узнав о великой мудрости советника царя — Аристотеля, Мария поступает к

нему в ученицы и отдается всем сердцем науке. Аристотель раскрывает перед ней многие тайные учения и вручает ей философский камень. Искендер снаряжает для нее войско. Мария возвращается в свою страну и отвоевывает трон. С помощью философского камня она изготовляет много золота, и в ее стране из него начинают делать даже подковы и цепочки для собак. К ней собираются мудрецы, живущие в бедности, и просят Марию раскрыть им тайну философского камня. Она задает им загадки и объясняется с ними символами. Самые мудрые из них понимают ее намеки и становятся сильными. Завершают главу строки о силе калама, творящего стихи, подобно тому, как философский камень творит золото.

РАССКАЗ О ХОРАСАНЦЕ, ОБМАНУВШЕМ ХАЛИФА, И КОНЕЦ РАССКАЗА О МАРИИ-ЕГИПТЯНКЕ

Некий плут из Хорасана приехал в Багдад. Он взял тысячу золотых динаров, размельчил их напильником, смешал золотые опилки с красной глиной и наделал из этой смеси шариков. Шарики он припрятал в лавке торговца всякими снадобьями. Затем плут объявил по всему Багдаду, что он — великий алхимик и может сделать из ста динаров тысячу. Халиф попался на обман и выдал ему деньги. Плут велел тогда искать снадобье «табарьяк» (этим словом он обозначил припрятанные ранее шарики). Вскоре ему приносят «табарьяк». В плавильном горне золото отделяется от глины и данная халифом сумма удесятеряется... Тогда халиф дал плуту десять тысяч динаров. Плут же опоил стражу и бежал из Багдада. Халиф понял, что «табарьяк», если прочитать это слово немного иначе, значит «плутовство», и смеялся над хитростью хорасанца. Завершает эту часть главы стих о том, что обольщенный обманом шарлатанов-алхимиков становится игрушкой в их руках.

Далее Низами возвращается к истории Марии-египтянки. Искендеру доносят о богатстве и мощи Марии, которая легко обращает любой металл в золото, а ракушки — в жемчуга. Ее сила и богатство, говорят советники, становятся опасными для Искендера. Искендер решает идти войной на Марию. Об этом узнает Аристотель и приходит к Искендеру. Он говорит, что египтянка чиста сердцем и никогда и не помыслит о злом. Если бы он не знал этого заранее, он не раскрыл бы ей тайны философского камня. Искендер успокаивается. Аристотель отправляет к Марии гонца, и гонец привозит от нее Искендеру богатые дары. Завершают главу строки об умиротворяющей силе золота, способного погасить огонь злобы.

СКАЗАНИЕ О БЕДНОМ ХЛЕБОПЕКЕ И О СЧАСТЬЕ ЕГО СЫНА

Спой о счастье, певец, чтоб уверился я,
Что о счастье поешь ты ясней соловья.

Пусть твой лад призывает к счастливым усладам,
Не вещая о днях, что пугают разладом.

*

Всюду в румской земле стали речи слышны:
Прибыл некий бедняк из чужой стороны.

Но затем он, с богатым своим караваном,
Стал Каруном казаться и людям и странам.

Кладом дивным, как море, с каких это пор
Он владел? Взял он клад из воды иль из гор?

И один говорил: «Вскрыл он таїные руды»,
А другой: «Грабежом добывал изумруды».

Говорили о нем все и ночью и днем.
И Властителю мира сказали о нем:

«К нам без драхмы в мошне прибыл горестный нищий.
В миске этого нищего не было пищи.

Долго жил он в нужде безысходной, а там
Столько звонких дирхемов прибрал он к рукам,

Что когда бы к нему ты прислал счетовода,
Тот не счел бы их всех в продолжение года.

Что он в прошлом? Несчастный бедняк хлебопек.
Только воду имел он да хлеба кусок.

А теперь продает он и жемчуг и лалы.
Все умы удивил его путь небывалый.

Ни торговли, ни пажити, ни ремесла!
Как на почве такой эта роща взросла?

О Властитель миров! Нужно было бы крайне,
Чтобы все повелел ты расследовать втайне».

И сказал Искендер: «К нам пришедший из мглы,—
Должен грязь со своей он очистить полы!

Тайно явится пусть и, приказу внимая,
Не гремит в барабаны, тревогу вздымая».

Приглашенье к царю! Нет отрадней вестей!
И поспешно к Владыке пошел богатей.

Преклонясь до земли возле царского трона,
Он восславил царя, что для всех — оборона.

Царь, поняв, что в удаче пришлец новичок,
Мановеньем руки его к трону привлек.

И сказал он ему и о зле и о благе
В ясной речи, подобной живительной влаге:

«Благороден твой лик, и в словах твоих вес,
И овеян ты счастьем, идущим с небес.

Я слыхал, что, приехав из чуждого края,
Ты скитался, на снедь только вчуже взирая.

А такой тебе клад после кем-то был дан,
Что его не поднимет большой караван.

Для мошны потрудился ты, верно, немало.
Лишь к царям столько денег легко прибывало.

Где ты золото взял? Где достал серебро?
Скажешь правду,— и жизнь сохранишь, и добро.

Если вымолвишь ложь, дух мой в ярость ввергая,—
Вмиг добро уплывет, с ним — и жизнь дорогая».

Тот постиг, что, лишь правду одну говоря,
От себя отведешь недовольство царя.

И, вторично склонясь пред сверкающим троном,
Он промолвил: «О царь, чутко внемлющий стонам,

Ты над миром царишь, все сердца утоля,
И твою доброту вся узнала земля.

Ты — венец правосудья! В подлунной отчизне
Все умрут за тебя, не жалея о жизни.

Все богатство нашел я в румийском краю,
А над ним простираешь ты руку свою.

И добычу, что взял я, что дивно богата,—
Если молвишь, твоя тотчас примет палата.

Все вручу я рабам, в твой доставя чертог.
Все отдав, я дворца поцелую порог.

Повелишь,— расскажу, как не в долгие годы,
А мгновенно русло переполнили воды.

Перебравшись в твой край, где я ныне цвету,
Я достатка не знал, знал одну нищету.

И, своею нуждой уязвленный глубоко,
Я в те дни занялся ремеслом хлебопека.

Но и тут одолеть не сумел я нужду!
Беспрерывно не мог предаваться труду.

При хорошем царе хлебопеки дохода
Не имеют большого. Не менее года

Я метался повсюду,— и этим одним
Занимался, о царь, только небом храним.

Жил я с тихой женой, как судьба повелела.
И узнал я — жена моя затяжелела.

И решили мы с ней: нас несчастнее нет.
И любовь потеряла свой солнечный свет.

Не слыхал от жены я унылого слова,
Хоть кормились мы крохами хлеба сухого.

Но когда уж на сносях лежала жена,
Ей горячая пища не стала ль нужна?

Как печальны, о царь, неимущих жилища!
Как пустыни они! В них не водится пища.

Был я скорбью объят, и услышал я вдруг:
«О мой друг и помощник, о милый супруг!

Если б ты раздобыл мне похлебку,— быть может,
Я бы вновь расцвела. Голод душу мне гложет.

Не найдется похлебка,— замучаюсь я.
Непогода взыграла, разбита ладья».

В скорби видя голубку, предавшийся плачу,
Вышел из дому я и бродил наудачу

Меж оград и жилищ. Я по городу шел
И съестного искал, и его не нашел.

Двери были закрыты, закрыты жестоко.
Мне ведь беды одни доставались от рока.

Я, блуждая, дошел до развалин. Одни
Чуть не в землю вошли: были пусты они.

И, как сумрачный див, злой бедой опечален,
Я бродил и кружился меж этих развалин

И внезапно увидел жилище одно.
В черном прахе и копоти было оно.

Но дышал в нем огонь обжигающим жаром.
Видно, топливо жгли там по целым харварам.

Черный зиндж, в смутный ужас повергший меня,
Пил из глиняной кружки вино у огня.

На огне был котел, всех обычных пошире,
В нем — копченое мясо в растопленном жире.

Зиндж взглянул на меня взором быстрым и злым
И, вскочив, закрутился, как вьющийся дым.

«Чертов сын! — закричал мне с кривлянием черный.—
Ты пришел за поживой! Какой ты проворный!

Я, послушай-ка, вор,— сам ворую у всех!
Знай: грабителю грабить грабителя — грех!»

И, от страха пред отпрыском черного края,
Я застыл и промолвил, слова подбирая

В лад речам чернокожих. И, зинджу добра
Пожелав, я сказал: «Не моя ли нора

По соседству с твоей? Недалеко жилище,
Где живу я с женой и мечтаю о пище.

О твоем благородстве, сражающий львов,
Я немало слыхал удивительных слов.

Я незваный твой гость, я стою на пороге.
Головою поник я под черные ноги.

Может статься, что ты мне захочешь помочь.
Пребывать в нищете мне уж стало невмочь!»

Слыша жирную лесть и столь сладкое слово,
Что к одной только сласти, казалось, готово,

Зиндж смягчился. Гневливость вошла в берега
Мир и сладость нередко смягчают врага.

Он сказал: «Знаешь песни? Не прячь их под спудом».
Он ушел и вернулся с расстроенным рудом.

Стройной струнной игры я еще не забыл,
И настроил я руд, хоть расстроен я был.

И коснулся я тотчас же струн сладкогласных,
И извлек я напев, обольщающий страстных.

Струнный трепет и рокот возник в тишине,
Словно жаркий котел забурлил на огне.

Зиндж то кружку хватал, то, предвидя развязку
Ловко начатых дел, принимался за пляску.

Много песен сыграл я, покорный судьбе,
Душу зинджа игрой привлекая к себе.

И охотно в безлюдье разбойного стана
Он преступную тайну поведал мне спьяна:

«Знай, в развалинах этих и в эту же ночь
Много денег присвоить я вовсе непрочь.

Здесь я с другом живу. Дружбе радуясь нашей,
Он меня одного поминает за чашей.

Вместе клад мы нашли. Был что радуга он.
И на нем не лежал стерегущий дракон.

Только мы, для которых добыча — услада,
Как драконы возникли над грудами клада.

Мы уж более года, безделье любя,
Этим кладом живем, не терзая себя.

Почему же не видишь ты зинджа второго?
За остатком богатств он отправился снова.

Из добычи, укрывшейся пылью земной,
Остается не более ноши одной.

Ты к нам в гости пришел с мирной речью, с поклоном,
И желанья твои будут нашим законом.

Но когда втащит в дверь мой всегдашний дружок
Гаухаров и жемчуга полный мешок,

Ты припрячься в углу и лежи терпеливо,
Словно мертвый. Увидишь ты дивное диво.

Что задумал, то сделаю. Черный дракон
Возвратится,— и будет он мной поражен.

Я один овладею оставшимся кладом,
Буду есть и хмельным предаваться усладам,

И с души твоей также печаль я сотру.
Долю клада вручу я тебе поутру».

Так я с черным сидел. Был смущен я глубоко.
Но внезапно шаги раздались недалеко.

Я вскочил, и упал, и простерся в углу,
Словно сердце мое ощутило иглу.

Чернолицый вошел, пригибаясь под ношей.
Видно, полон мешок был добычи хорошей.

И мешок с крепкой шеи он сбросил едва,
Хоть была его шея сильней, чем у льва.

Наземь сбросивши груз, как с вершины — лавину,
Он копченого мяса пожрал половину.

И, увидев, что спит его друг дорогой,
Совершил он все то, что задумал другой:

Снес булатным клинком он башку у собрата,
И застыла душа моя, страхом объята.

И готов был я чувства лишиться совсем,
Но, осилив свой страх, недвижим был и нем.

Я не выдать себя оказался во власти.
А убийца, разрезав собрата на части,

Половину частей завернул и унес.
Я все так же лежал, словно в землю я врос.

Время долго и тяжко тянулось, и снова
Возвратился убийца и, тканью покрова

Обернувши останки последние, вновь
Их на плечи взвалил и ушел. Только кровь

По земле растекалась... Я понял: не скоро
Он вернется, а ночь все укроет от взора.

И быстрее орла ухватил я мешок —
Этот сказочный дар, что подбросил мне рок.

Я на плечи взвалил клад всех кладов дороже.
Зиндж так взваливал зинджа, и сделал я то же.

Мясо в миске большой захвативши с трудом,
Я, скрываясь во тьме, в свой направился дом.

Видно, небо ко мне проявило участье:
По дороге я встретил одно только счастье.

Да! Отраду узнал на своем я веку!
Скинув с плеч своих ношу, а с сердца тоску,

Славя все, что пришлось так сегодня мне кстати,
Я услышал в дому звонкий голос дитяти.

Дал жене я поесть, и, смиренья полна,
Претерпевшая все, помолилась она.

И сказал я жене о небес благостыне:
Об отраде семьи, о дарованном сыне.

Узел ноши своей развязал я,— слезам
Дал утихнуть. Нашел я целебный бальзам.

Что узрел я! Сапфирами, яхонтом, лалом
Был наполнен мешок, и играл небывалым

Он огнем жемчугов, бирюзы, янтарей.
Вмиг я стал, о Владыка, богаче морей!

Сын мой счастлив! Душа моя вся запылала:
Он ровесником стал и жемчужин и лала.

В ночь богатство мое забурлило ключом.
Ночь открыла мне клад, клад я отпер ключом».

И счастливец, изведавший счастья избыток,
Замолчал. Он свернул дивной повести свиток.

Царь спросил: «День рождения сына? Над ним
Что сияло? Каким он созвездьем храним?»

И пришедший к богатству по сказочным тропам
Удалился. Затем он пришел с гороскопом.

И к Валису премудрому царь Искендер
Отослал указанья мерцающих сфер:

«Гороскоп огляди многоопытным взором.
Все, о чем он промолвил сплетенным узором

Быстролетных созвездий, не знающих лжи,
Ты немедленно мне, о мудрец, доложи».

И Валис, получивший посланье Владыки,
Рассмотрел ходы звезд и весь путь их великий.

Каждой зримой звезды он исчислил предел,
И в потайном все явное он разглядел.

И царю написал он о своде высоком,
Обо всем, что увидел он собственным оком.

И, узревши с землею небесную связь,
Замер царь Искендер, указаньям дивясь.

Рассмотрев сонмы звезд, весь узор их бескрайный,
Так Валис объяснил звездный замысел тайный:

«Это — сын хлебопека. Развеял он тьму:
В день рожденья богатство сверкнуло ему.

Хоть в нужде он родился,— родился он рядом
С поднесенным созвездьями блещущим кладом.

И с рожденьем ребенка — отрады сердец,
Стал безмерно богатым довольный отец.

Звезды в должном сплетенье рожденному рады:
Он поставит ступню на великие клады».

От волненья горя, царский взор заблистал.
Царь к торговцу каменьями ласковым стал.

И недели прошли своим шагом проворным,
И счастливый отец стал желанным придворным.

ГИБЕЛЬ СЕМИДЕСЯТИ МУДРЕЦОВ, НЕ ВНИМАВШИХ РЕЧАМ ХЕРМИСА

В старину мудрецы ездили в Рум, чтобы испытать свои силы в диспутах. Румийца Хермиса в диспуте никто победить не мог, он был величайшим мудрецом... Семьдесят мудрецов сговорились как-то отрицать все речи Хермиса и так сбить его с толку. Начинается диспут. Хермис трижды обращается к собранию с мудрыми речами, но в ответ слышит лишь возражения. Он догадывается, что имеет дело с тайным сговором, гневается и произносит заклинание. Все семьдесят мудрецов тут же навсегда замерли, застыли на месте. Позвали Искендера. Он одобрил действия Хермиса — ведь мудрецы встали на путь лжи и обмана, и иначе с ними поступить было нельзя. Завершают главу строки о силе истины и необходимости стремиться к ней.

СОЗДАНИЕ ПЛАТОНОМ НАПЕВОВ ДЛЯ НАКАЗАНИЯ АРИСТОТЕЛЯ

О певец, прояви свой пленяющий жар,
Подиви своей песней, исполненной чар.

Пусть бы жарче дела мои стали, чем встаре,
Пусть бы все на моем оживилось базаре.

*

С жаром утренний страж в свой забил барабан.
Он согрел воздух ночи, спугнул он туман.

Черный ворон поник. Над воспрянувшим долом
Крикнул белый петух криком звонким, веселым.

Всех дивя жарким словом и чутким умом,
Царь на троне сидел, а пониже кругом

Были мудрые — сотня сидела за сотней.
С каждым днем Повелитель внимал им охотней.

Для различных наук, для любого труда
Наступала в беседе своя череда.

Этот — речь до земного, насущного сузил,
А другой — вечной тайны распутывал узел.

Этот — славил свои построенья, а тот
Восхвалял свои числа и точный расчет.

Этот — словом чеканил дирхемы науки,
Тот — к волшебников славе протягивал руки.

Каждый мнил, что твердить все должны лишь о нем.
Словно каждый был миром в искусстве своем.

Аристотель — придворный в столь мыслящем стане —
Молвил так о своем первозначащем сане:

«Всем премудрым я помощь свою подаю,
Всё познают принявшие помощь мою.

Я пустил в обращенье познанья динары.
Я — вожак. Это знает и юный и старый.

Те — познанья нашли лишь в познаньях моих,
Точной речью своей удивлял я других.

Правда в слове моем. Притязаю по праву,
Эту правду явив, на великую славу».

Зная близость к царю Аристотеля, с ним
Согласились мужи: был он троном храним.

Но Платон возмутился покорным собраньем:
Обладал он один всеобъемлющим знаньем.

Всех познаний начало, начало всего
Мудрецы обрели у него одного.

И, собранье покинув с потупленным ликом,
Словно Анка, он скрылся в безлюдье великом.

Он в теченье ночей спать ни разу не лег,
Из ночных размышлений он песню извлек.

Приютился он в бочке, невидимый взорам.
Он внимал небосводам, семи их просторам.

Если голос несладостен, в бочке он все ж,
Углубляемый отзвуком, будет пригож,

Знать, мудрец, чтобы дать силу звучную руду,
То свершил, что весь мир принимал за причуду.

Звездочетную башню покинув, Платон
Помнил звезды и в звездных огнях небосклон.

И высоты, звучавшие плавным размером,
Создавая напев, мудро взял он примером.

В старом руде найдя подобающий строй
И колки подтянув, занялся он игрой.

Руд он создал из тыквы с газелевой кожей.
После — струны приделал. Со струйкою схожс

За струною сухая звенела струна.
В кожу мускус он втер, и чернела она.

Но чтоб слаще звучать сладкогласному грому,
Сотворил новый руд он совсем по-иному,—

И, настроив его и в игре преуспев,
Лишь на нем он явил совершенный напев.

То гремя, то звеня, то протяжно, то резко,
Он добился от плектра великого блеска,

И напев, что гремел иль что реял едва,
Он вознес, чтоб сразить и ягненка и льва.

Бездорожий достигнув иль дальней дороги,
Звук и льву и ягненку опутывал ноги.

Даровав строгим струнам струящийся строй,
Человека и зверя смущал он игрой.

Слыша лад, что манил, что пленял, как услада,
Люди в пляску пускались от сладкого лада.

А звуча для зверей, раздаваясь для них,
Он одних усыплял, пробуждая иных.

И Платон, внемля тварям и слухом привычным
Подбирая лады к голосам их различным,

Дивно создал труды о науке ладов,
Но никто не постиг многодумных трудов.

Каждым так повелел проникаться он строем,
Что умы он кружил мыслей поднятым роем.

А игра его струн! Так звучала она,
Что природа людей становилась ясна.

От созвучий, родившихся в звездной пучине,
Мысли весть получали о каждой причине.

И когда завершил он возвышенный труд,—
Ароматы алоэ вознес его руд.

И, закончивши все, в степь он двинулся вскоре,
Звук проверить решив на широком просторе.

На земле начертавши просторный квадрат,
Сел в средине его звездной музыки брат.

Вот ударил он плектром. При каждом ударе
С гор и с дола рвались к нему многие твари.

Оставляя свой луг пль сбежав с высоты,
Поникали они у заветной черты

И, вобравши в свой слух эти властные звуки,
Словно мертвые падали в сладостной муке.

Волк не тронул овцы. Голод свой одолев,
На онагра не бросился яростный лев.

Но поющий, по-новому струны настроя,
Поднял новые звуки нежданного строя.

И направил он так лад колдующий свой,
Что, очнувшись, животные подняли вой

И, завыв, разбежались по взвихренной шири.
Кто подобное видел когда-либо в мире?

Свет проведал про все и сказать пожелал:
«Лалов россыпь являет за лалами лал.

Так составлена песня премудрым Платоном,
Что владеет лишь он ее сладостным стоном.

Так из руда сухого он поднял напев,
Что сверкнула лазурь, от него посвежев.

Первый строй извлечет он перстами,— и в дрему
Повергает зверей, ощутивших истому.

Им напева второго взнесется волна,
И встревожатся звери, восстав ото сна».

И в чертогах царя люди молвили вскоре,
Что Харут и Зухре — в нескончаемом споре.

Аристотель, узнав, что великий Платон
Так могуч и что так возвеличился он,

Был в печали. Чудеснее не было дела,
И соперник его в нем дошел до предела.

И, укрывшись в безлюдный дворцовый покой,
Он все думал про дивный, неведомый строй.

Он сидел озадаченный трудным уроком,
И разгадки искал он в раздумье глубоком.

Проникал много дней и ночей он подряд
В лад, в котором напевы всевластно парят.

Напрягал он свой ум, и в минуты наитий
В тьме ночной он сыскал кончик вьющейся нити.

Распознал он, трудясь,— был не мал его труд,—
Как возносит напевы таинственный руд,

Как для всех он свое проявляет искусство,
Как ведет в забытье, как приводит он в чувство.

Так второй мудролюб отыскал, наконец,
Тот же строй, что вчера создал первый мудрец.

Так же вышел он в степь. Был он в сладостной вере,
Что пред ним и уснут и пробудятся звери.

И, зверей усыпив, новый начал он строй,
Чтоб их всех пробудить полнозвучной игрой.

Но, звеня над зверьем, он стозвонным рассказом
Не сумел привести одурманенных в разум.

Все хотел он поднять тот могучий напев,
Что сумел бы звучать, дивный сон одолев.

Но не мог он сыскать надлежащего лада.
Чародейство! С беспамятством не было слада.

Он вконец изнемог. Изнемог,— и тогда
(За наставником следовать до́лжно всегда)

Он к Платону пошел: вновь постиг он значенье
Мудреца, чье высоко парит поученье.

Он учителю молвил: «Скажи мне, Платон,
Что за лад расторгает бесчувственных сон?

Я беспамятство сдвинуть не мог ни на волос.
Как из руда извлечь оживляющий голос?»

И Платон, увидав, что явился к нему
Гордый муж, чтоб развеять незнания тьму,

Вновь направился в степь. И опять за чертами
Четырьмя плектр умелый зажал он перстами.

Барсы, волки и львы у запретных границ,
Властный лад услыхав, пали на́ землю ниц.

И тогда говор струн стал и сладким и томным,
И поник Аристотель в беспамятстве темном.

Но когда простирался в забвении он,
Всех зверей пробудил тайной песнью Платон.

Вновь напев прозвучал, возвращающий разум.
Взор открыл Аристотель. Очнулся он разом.

И вскочил и застыл меж завывших зверей.
Что за песнь прозвучала? Не знал он о ней.

Он стоял и глядел, ничего не усвоя,
Как зверье поднялось, как забегало, воя?

Аристотель, подумав: «Наставник хитер,
Не напрасно меня он в дремоте простер»,

Преклонился пред ним. С тайны ткани снимая,
Все Платон разъяснил, кроткой просьбе внимая.

Записал Аристотель и строй и лады,
И ночные свои зачеркнул он труды.

С той поры, просвещенный великим Платоном,
Он встречал мудреца с глубочайшим поклоном.

Распознав, что Платон всем премудрым — пример,
Что он прочих возвышенней,— царь Искендер,

Хоть он светлого разумом чтил и дотоле,
Высший сан дал Платону при царском престоле.

РАССКАЗ О ПЕРСТНЕ И ПАСТУХЕ

О певец, звонкий чанг пробуждая игрой,
Ты для сладостной песни свой голос настрой.

Пусть раздавшейся песни благое рожденье
Мне сегодня окажет свое угожденье.

*

Свет зари засиял. Мглу сумев превозмочь,
День заставил уснуть утомленную ночь.

Высь взнесла златоцвет всем живущим в угоду,
А луна светлой рыбою канула в воду.

В кушаке из алмазов с застежкой литой
Венценосец воссел на престол золотой.

Ниже сели ученые друг возле друга,
Но Платон сел повыше премудрого круга.

Искендер удивлялся: в игре преуспев,
Как Платон отыскал свой волшебный напев?

Он сказал: «Мудрый старец, ты, мыслью бескрайной
Ввысь взлетев, овладел сокровенною тайной.

Ты зажал в своей длани познания ключ.
Ты — источник наук. Ум твой светлый могуч.

О искусный! Читал ты когда-либо свиток,
Где б искусство в такой же пришло преизбыток?

Кто еще возносил нас в такие края,
Где безвестность живет, все от смертных тая?»

Завершив славословье, к ответу готовый,
Так ответил Платон: «Дивный свод бирюзовый

От поры до поры совершал волшебства,
Пред которыми молкнут людские слова.

Наши предки, о царь, не поняв их сознаньем,
Чудеса сотворяли своим заклинаньем.

Много, царь Искендер, непостижного есть.
Много было чудес. Можно ль их перечесть!

Я из них расскажу, если дашь ты мне волю,
Не десятую часть, а лишь сотую долю».

И велел государь справедливых сердец,
Чтоб любое сказанье поведал мудрец.

И сказал мудролюб, все потаённое зрящий:
«О венчанный, желаньем познанья горящий,

В днях минувших в долине гористых земель
Взрыв подземных паров дал широкую щель.

И тогда появилось в глубоком провале
То, что камни и прах с давних пор прикрывали.

Там на брюхе лежал потемневший, литой
Бедный конь. Полускрыт был он в пропасти той.

Изваяния бок был с проломом немалым,
Водоемом казаться он мог небывалым.

И когда медный конь был в полдневном огне,
Мог бы взор оглядеть все, что скрыто в коне.

Шел пастух по долине травою богатой.
Он, свой шаг задержав пред землею разъятой,

Разглядел в котловине зеленую медь.
Вниз по круче спуститься ему ль не суметь!

Вот он встал пред конем в изумленье глубоком,
И увидел пролом он в коне меднобоком.

И все то, что таилось внутри у коня,
Смог пастух разглядеть в свете яркого дня.

Там усопший лежал. Вызывал удивленье
Древний труп: до него не дотронулось тленье.

Был на палец покойника перстень надет,
Камень перстня сиял, как Юпитера свет.

И пастух пораженный рукою несмелой
Снял сверкающий перстень с руки онемелой.

На добычу взглянув, как на счастья предел,
Он восторженно в перстень свой палец продел.

Драхмы в медном коне не найдя ни единой,
Он покинул гробницу. Пошел он долиной,

Погоняя отары. Спадала жара.
Ночь настала. Пастух дожидался утра.

И когда удалось рог серебряный небу
Сделать огненным шаром, земле на потребу,

Он оставил овец на лужайке у скал
И хозяина стада спеша разыскал,

Чтобы перстню узнать настоящую цену
И судьбы своей бедной понять перемену.

И хозяин был рад, что явился пастух,
И язык развязал, словно думал он вслух.

Говорил он о стаде, о том и об этом,
И доволен бывал каждым добрым ответом.

Вдруг он стал примечать и заметил: не раз
Становился пастух недоступен для глаз,

И затем, словно тень, появлялся он снова.
Рассердился хозяин: «Какого покрова

На себя вот сейчас ты набрасывал ткань?
Ты — то зрим, то — незрим. Поспокойнее стань!

Чтоб являть колдовство,— не имеешь ты веса.
Где тобою добыта такая завеса?»

Удивился пастух: «Что случиться могло?»
И свое он в раздумье нахмурил чело.

Было так: обладателя перстня немало
Обладанье находкой такой занимало.

И, хозяина слушая, так был он рад
Камнем вверх, камнем вниз свой повертывать клад!

Камень вверх обративши движением скорым,
По-обычному виден он делался взорам.

Повернув яркий камень к ладони своей,
Исчезал он мгновенно от смертных очей.

Камень был необычен — в том не было спора,—
Своего господина скрывал он от взора.

И пастух разговор оборвал второпях,
Он ушел, чтоб испытывать камень в степях

И в горах. С волей рока он сделался схожим,
Веселясь, он шутил с каждым встречным прохожим,

Камень вниз опустив, промелькнув перед ним,
Во мгновенье шутник становился незрим.

Но сказавши себе: «Зримы ныне пребудем»,—
Зримым шел наш пастух, как и свойственно людям.

То являясь, то прячась, придя на базар
Иль в жилье, уносить мог он всякий товар.

Вот однажды пастух, словно дух бестелесный,
Стал незрим: повернул он свой перстень чудесный.

К падишаху в покой, меч индийский схватив,
Он вошел и стоял, как невидимый див.

Но когда и последний ушел приближенный,—
Он, пред шахом явясь, поднял меч обнаженный.

Был ужасным видением шах поражен;
И, ему предложив свой сверкающий трон,

Он промолвил, дрожа от нежданного чуда:
«Что желаешь, скажи, и пришел ты откуда?»

Так ответил пастух: «Торопись! Я — пророк.
Признавай меня тотчас. Твой благостен рок.

Если я захочу,— я невидим для света.
Вот и все. Это свойство — пророков примета».

Падишах преклонился, почувствовав страх.
И весь город был в страхе, как сам падишах.

Так вознесся пастух, встарь скитавшийся долом,
Что легко завладел падишахским престолом.

Поиграл этим камнем недлительный срок
Наш пастух: и пастух — не пастух, а — пророк.

Ты признай, государь, всею силой признанья
Тех, что создали камень при помощи знанья.

Должно тайну волшебств укрывать от умов,
Чтоб незыблемым был нашей тайны покров.

Мой рассудок — вожак, полный жажды движенья,
Эту тайну не вывел на путь достиженья».

Искендером-царем был похвален Платон,
Так наглядно о тайном рассказывал он.

И для мудрых рассказ прозвучал не без прока,
И для многих имел он значенье урока.

ОТНОШЕНИЕ СОКРАТА К ИСКЕНДЕРУ

Где твой саз, о певец! Пусть он радует! Пусть
Он сжигает мою непрестанную грусть!

Звуков шелковых жду,— тех, внимая которым
Распишу румский шелк я тончайшим узором.

*

Так промолвил мудрец, дивно знающий свет,
Тот мудрец, для которого скрытого нет:

В те далекие дни, повествуют преданья,
Ионийцы являли пример воздержанья.

Жизни, полной лишений, желали они.
Вожделенья огонь подавляли они.

Удивляла вошедших в румийцев жилища
Мудрость жизни большая и скудная пища.

Сберегавший в себе пламень жизненных сил,
Тот, кто все вожделенья сурово гасил,

Не пил сладостных вин и не ведал он страсти,
Чтоб рассудок не знал их сжигающей власти.

Кружит голову страсть. Пыл удерживай свой,
Если впрямь дорожишь ты своей головой.

Ионийцам казалось: во всем они правы,
Но от жизни влекли эти строгие нравы.

С суши на море утварь они понесли,
И для жизни избрали они корабли.

Быть мужам возле жен,— не всегда ль безрассудно?
И для жен сколотили отдельное судно.

Не страшились мужи в битве яростной пасть,
Но влекущую к женам отринули страсть.

И могло показаться: задумали греки,
Чтоб из мира их семя исчезло навеки.

*

Неким утром, лишь солнце украсило мир,
Искендер для ученых устраивал пир.

Он мутрибу сказал: «Я делами сегодня
Не займусь. Пировать мне сегодня угодней.

За Сократом пошли. Пусть прибудет Сократ.
Отрешившись от благ, всех мудрей он стократ».

И пред тем, кто для всех мог являться примером,
Встал посланец: «Я послан царем Искендером.

Чтоб свой кубок наполнить, явись, о мудрец,
Приодевшись поспешно, в Хосроев дворец».

Но отшельник, согласно своим поученьям,
Не склонился нимало к его обольщеньям.

Он сказал: «Должен так ты царю донести:
Ты того не ищи, чего нет на пути.

Я — не здесь, где царит Искендера величье.
Здесь — не я. Перед вами — одно лишь обличье.

Тот, кто господу служит, кто чище огня,
Из чертогов господних добудет меня».

Сей ответ, словно нить просверленных жемчужин,
Принял царь, хоть иной был душе его нужен.

Понял Властный: Сократ — отрешенья свеча,
Что горит, из безлюдья сиянье меча.

Этот блеск только тот примет в жадные очи,
Кто, как месяц, не спит в продолжение ночи.

Искендер приобрел многославный престол
И в желаньях своих он лишь к истине шел.

И всегда каждый муж, обладающий знаньем,
Хоть коротким ему угождал назиданьем.

И хоть много в подарок он принял речей,
Так не радовал сердце подарок ничей,

Как подарок, идущий к нему от Сократа:
Речь Сократа была трезвым знаньем богата.

Он решил, чтобы все же в сегодняшний день
Был Сократ приведен под высокую сень.

Доложили царю: «Нет безлюдней безлюдий,
Чем Сократа приют. Что отшельнику люди!

Так ушел он от мира, от всех его дел,
Что как будто гробница — Сократа удел.

Без родных и друзей он живет, беспечален,
В нищем доме, похожем на камни развалин.

Мог бы, ведает он, весь помочь ему свет,
Но на свет не намерен он выглянуть, нет!

В грубой ткани бродя, не желая атласа,
Ежедневно постясь, не вкушает он мяса,

И на целые сутки довольно ему
Только горстки муки. Больше пищи — к чему?

Только господу служба Сократа знакома.
Для людей у Сократа не будет приема».

Знать, решил он: «Души суетой не займи!» —
Не ему ль подражая, живет Низами?

Так твердили о том, чья высокая вера
Больше прежнего к старцу влекла Искендера.

Так вот люди всегда: не забудут они
Пожелавших забыть их докучные дни.

К тем, что мира бегут в беспрестанной боязни,
Люди часто полны все растущей приязни.

Лишь покинул Сократ человеческий род,
Стал Сократа искать понийский народ.

Все хотел государь быть с премудрым Сократом.
Все не шел во дворец ставший звездам собратом.

Хоть желанье царя все росло и росло,
Был упорен добро распознавший и зло.

Но хоть долго к царю не являл он участья,
Верил царь Искендер в свет всегдашнего счастья.

Из придворных людей, окружающих трон,
Выбрал милого сердцу наперсника он

И послал к мудрецу со словами своими,
Чтоб Сократа потайно порадовать ими.

Вот слова государя: «Не с давних ли пор
Я желаю с тобою вести разговор?

Почему же, скажи, ты всегда непреклонен
И не внемлешь тому, кто к тебе благосклонен?

Что ж ты в бедном углу мой отринул чертог?
Дай ответ, чтоб я сердцем постичь его смог.

Правоты своей выскажи веское слово,
Дабы в прежней нужде не остался ты снова».

И к Сократу пошел с тайной речью гонец,
И слова государя прослушал мудрец.

И, в познаньях своих слывший в Греции дивом,
Так промолвить в ответ он почел справедливым:

«Хоть призыв государя почетен вполне,
Но худое и доброе явственно мне.

«Не иди,— я рассудка внимаю совету,—
В царском сердце любви не отыщешь примету».

Я вещание разума в явь претворил.
Ни к кому для забавы не шел Гавриил.

Я пошел бы к царю, вне испытанных правил,
Но ведь весть без ключа он в приют мой направил.

Если мускус в мешочке, как водится, сжат,
Нам вещает о скрытом его аромат.

Сердце — пастырь любви, кроме дружеской речи
И другое таит, если ждет оно встречи.

Если верное сердце любовью полно,
То учтивей учтивости будет оно.

Те, кто близки царю и пируют с ним рядом,
На кого государь смотрит ласковым взглядом,

На меня мечут взоров недобрый огонь,
Потому-то и стал мой прихрамывать конь.

Видно, царь на пирах под сверкающим кровом
Никогда не почтил меня благостным словом,

Потому что для многих, кто близки царю,
В мире светочем радостным я не горю.

Знаю: сердцу царя ясно видимы люди,
Но оно видит в них только праведных судей.

Коль приветна к тебе речь придворных вельмож,
И Владыке ты будешь казаться пригож.

Коль к тебе речь придворных враждебна сугубо,
То с тобой и Владыка обходится грубо.

Если свод без ущерба, то будут ясны
И пленительны отзвуки каждой струны.

Если в своде ущерб,— свод ответит не верно,
И звучать будет лад самый ласковый скверно.

Зло и правда — все то, что мы видим в пути,—
К Властелину дворца призывает идти.

Но вельможи твои с важным саном и с весом
Не допустят Сократа к пурпурным завесам.

Посуди, государь, в этой буре морской
Как же мне поспешать в твой дворцовый покой?

Море вспомнил я тотчас: простор его дружен
С драгоценною россыпью скрытых жемчужин,

На которые когти направил дракон.
Кто к жемчужинам ринется? Яростен он.

Как я к свету пойду,— к свету царской короны?
Ведь вокруг меня будут одни «пошел-воны».

Все они, пред царем искажая мой лик,
Вред наносят себе, и ущерб их велик.

Царь! О людях забыл, об укоре их строгом
Раб, стоящий в служенье пред господом богом.

И в служении этом — наставник я твой.
Во дворце же — твоим стану робким слугой.

Посуди, государь, к мыслям чистым причисли
Правоту этой свыше ниспосланной мысли».

И посланец, к царю возвратившись едва,
Наизусть повторил золотые слова.

Сняв с жемчужин покров,— где им сыщется мера? —
Наполнять стал он ими полу Искендера.

Но на россыпь сокровищ, безвестную встарь,
На метанья жемчужин обиделся царь.

Захотел он всем этим разящим укорам
Дать отпор. Устремлялся к разумным он спорам.

Молвил царь: «Он доволен жилищем в тиши.
Что ж, пойдем, и его мы отыщем в тиши».

И нашел дивный клад он в приюте убогом,—
В том, где горстка муки говорила о многом.

Спал, забывший мирское, не знавший утрат,
На земле, скрывшись в тень, безмятежный Сократ.

Царь, немного сердясь, мудреца, что покою
Предался́,— пробудил, тихо тронув ногою.

«Встань,— он молвил,— поладить хочу я с тобой,
Чтобы стал ты богат и доволен судьбой».

Рассмеялся мудрец от надменного слова:
«Лучше б ты поискал человека другого.

Тот, кто счастлив крупинкой,— скажу я в ответ,—
Вкруг тебя словно жернов не кружится. Нет!

Мне лепешка ячменная — друг неизменный.
Что ж стремиться мне к булке пшеничной, отменной?

Без единого шел я по свету зерна.
Мне легко. Мой амбар! В нем ведь нет ни зерна!

Мне соломинка в тягость,— к чему же мне время
То, когда мне вручат непомерное бремя!»

Вновь сказал Повелитель: «Взалкавший добра!
Ты хотел бы чинов, жемчугов, серебра?»

Молвил мудрый: «Не сходны желания наши.
Нам с тобой не вздымать дружелюбные чаши.

Я богаче тебя, подвиг светлый верша.
Я — в посту, а твоя ненасытна душа.

Целый мир присылает тебе обольщенья,
Все ж ты нового ждешь от него угощенья.

Мне же в холод и в зной это рубище, царь,
Так же служит сейчас, как служило и встарь.

Ты несешь бремена́, но исполнен пыланья.
Для чего же мои хочешь ведать желанья?»

И сказал Искендер, что-то в мыслях тая:
«Ты скажи мне, кто ты и скажи мне, кто я?»

Отвечал мудрых слов и познанья хранитель:
«Я — дающий веленья, а ты — исполнитель».

И вскипел государь. Сколько дерзостных слов!
Стал искать Искендер их укрытых основ.

И промолвил премудрый, по слову поверий:
«Пред венчанным раскрою закрытые двери.

Я рабом обладаю. Зовут его — страсть.
Крепнет в сердце моем над служителем власть.

Перед этим рабом ты склонился, о славный!
Пред слугою моим, ты — служитель бесправный».

Царь, проникший в слова, обнажившие зло,
Помутился, в стыде опуская чело,

После вымолвил так: «Не чело ль мое светом
Говорит, что служу я лишь чистым заветам?

Чистый чистых укором не трогай. Внемли:
Не уснувши навеки, не пробуй земли».

Серебром был ответ с неприкрытою сутью:
«Ты ушей не зальешь оглушающей ртутью.

Если разум твой чист, если мысли чисты,
Для чего стал животному родственен ты?

Лишь оно в быстром стаде без гнева и злобы
Разбудить человека ногою могло бы.

Ведь нельзя же мыслителя сон дорогой
Прерывать, о разумный, небрежной ногой!

Тем разгневался ты, что я в дремной истоме,
Но ведь сам, государь, ты находишься в дреме.

Правом барса владея, напрасно готов
Ты, в дремоте, бросаться на бдительных львов.

Где-то мчится, тебя привлекая, добыча.
Но ведь я, о стрелок, не такая добыча».

Речь Сократа провеяла, жаром дыша.
Стала воску подобна Владыки душа.

Хорошо не закрыть пред наставником слуха,
Чтоб Сократ вдел кольцо в его царское ухо!

И к себе мудреца смог он речью привлечь.
И приязненной стала подвижника речь.

Из возвышенных мыслей, премудрым любезных,
Он явил целый ряд Искендеру полезных:

«Ты ведь создал железное зеркало. В нем
Отразился твой ум светозарным огнем:

Ты и душу свою мог бы сделать прекрасной,
Словно зеркало чистой, как зеркало ясной.

Если встарь сотворил ты железную гладь,
Чтобы в ней, нержавеющей, все отражать,—

С сердца ржавчину счисть,— и в пути ему милом
Повлечется оно лишь к возвышенным силам.

Очернив свои злобные замыслы, ты
Мигом сердце очистишь от злой черноты.

Ад всем замыслам черным — пособник нелживый.
Но ведь зиндж, государь, продавец несчастливый.

Черным зинджем не стань. Позабыть бы их всех!
Только помни, о царь, их сверкающий смех.

Если черным ты стал, ты сгори, словно ива,
Ею зиндж побелил свои зубы на диво.

Некий черный в железо посмотрится, но
Там сверкнет его сердце. Так чисто оно.

Древний молвил водитель: да ведает всякий,—
Животворный ручей протекает во мракс.

Грязь покинь, чтоб очиститься, как серебро.
У него поучись, если любишь добро.

Если ум ты очистишь, не дашь его скверпам,
Он потайного станет хранителем верным,

Он молитве предутренней келью найдет,
Он, пронзив небосвод, свой продолжит полет.

Хоть завесу ты можешь убрать от оконца,
Свет, идущий в оконце, зависит от солнца.

Знай, светильника свет подаяньем живет,
Устремляясь к нему, ветер пламень убьет.

Ты неси паланкин, полный солнечным светом,
И любовь на любовь твою будет ответом.

От колючек и сора очистивши вход,
Жди царя. Кто же дерзко его позовет?

На охоту он выедет, и по дороге
Чистоту на твоем он увидит пороге.

И, поняв, что он гость, в твой заехавший край,
Ты нежданному гостю хвалы воздавай.

И, запомнив: смиренье всего нам дороже,—
Ты венца не проси и покорности тоже.

Будь лишь духом на пире, не знающим зла.
Знай, привратник на пир не пускает тела.

Обувь пыльную скинь, ты ходил в ней дотоле
По земле. Ты воссядешь на царском престоле.

Сотрапезник царя, распростившийся с тьмой!
Ногти хною укрась и ладони омой.

Коль сидеть близ царя станет нашим уделом,
Самый смелый из нас мигом станет не смелым.

Для престола царя даже яростный лев
Стал опорой, от страха навек замерев.

Кто вошел бы к тебе не по должному чину,
Получил бы удар от привратника в спину.

Но взгляни! Пред тобою нездешний престол.
С бедным сердцем людским ты к нему подошел.

Если к этому, царь, подошел ты престолу,
Стань рабом, опусти свою голову долу.

Если ж нет,— ну так что ж! Ты — владыка царей.
Что за дело тебе до собак сторожей!

Не сердись, если я по горячему нраву
Был неласков с тобой, не вознес тебе славу.

Стало сердце мое горячее огня
И, чтоб небо проведать, ушло от меня.

Но вернулось оно из-под блещущих арок,
И гостинец его дал тебе я в подарок».

Смолк премудрый, окончивши слово. Горя,
Это слово дышало в душе у царя.

Словно солнце светя, с озарившимся ликом
Царь на пир возвратился в волненье великом.

И все мысли, что высказал нищий мудрец,
Записал чистым золотом лучший писец.

БЕСЕДА ИНДИЙСКОГО МУДРЕЦА С ИСКЕНДЕРОМ

Искендер принимает посла из Индии — великого мудреца, мага. Он беседует с ним о сокровенных тайнах бытия. Маг задает вопросы, Искендер отвечает. «Как найти путь к богу?» — первый вопрос. Ответ Искендера: «Этот путь можно найти, только отказавшись от себя».— «Есть ли путь за пределы земли и небес?» — «Нет, нашим мыслям, пока мы живы, пути туда нет».— «Если этот мир столь прекрасен, то для чего нужен мир потусторонний?» — «Тот мир — одни сокровища, этот мир — ключ к ним».— «Что такое душа? Не огонь ли?» — «Нет, огонь — это дьявольская вера; душа бессмертна, она исходит от бога и к нему возвращается».— «Что такое сны?» — «Наши представления, сотканные из того, что есть в памяти, но есть в них и тайна».— «Что такое сглаз?» Искендер дает три сложных ответа. «Как звездочет узнает заранее удачу и неудачу?» — «Все будущее начертано на небосводе».— «Почему у китайцев и негров кожа разного цвета?» — «Ибо небосвод двуцветен — черен ночью и светел днем».

ТАЙНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ИСКЕНДЕРА С СЕМЬЮ МУДРЕЦАМИ

Царь призывает семерых мудрецов в свой личный покой для беседы о сотворении мира. Эти мудрецы: Аристотель, Валис (очевидно, Фалес Милетский), Сократ, Булинас (Аполлоний Тианский), Фурфуриус (неоплатоник Порфирий Тирский), Хермис (Гермес Трисмегист) и Платон. Искендер задает им ряд вопросов, относящихся к общей теме собеседования.

СЛОВО АРИСТОТЕЛЯ О СОТВОРЕНИИ МИРА

Сперва началось вращательное движение, оно породило второе движение и ряд следующих движений. Эти движения были концентрическими, и в их центре появилась материя. Она уплотнялась и тяготела вниз, тонкие же ее частицы удалялись вверх, к периферии. Затем от вращения появился огонь, от огня — воздух, далее — влага, из ее осадка — земля. Далее творец перемешал четыре стихии. Благодаря их взаимному тяготению появились растения, потом животные.

СЛОВО ВАЛИСА О СОТВОРЕНИИ МИРА

Начало мироздания — вода. В ней вспыхнуло пламя, из огня и воды образовался воздух, а из воды выделилась земля. Из «накипи» появились небеса и стали вращаться. Подтверждение того, что основа творения — вода,— рождение человека от капли семени (влаги).

СЛОВО БУЛИНАСА О СОТВОРЕНИИ МИРА

Начало всего — земля. Вращаясь, она сжималась, и из нее выделились пары, самые светлые и чистые из них образовали небеса, другие же тяготели к центру, и из тех появились огонь, ветер и вода.

СЛОВО СОКРАТА О СОТВОРЕНИИ МИРА

Первой страницей до творения был господь, творец, создавший тучу, из которой сверкнули молнии и пошел дождь. Из дождя образовался небосвод, молнии стали луной и солнцем, пары превратились в землю.

СЛОВО ФУРФУРИУСА О СОТВОРЕНИИ МИРА

Сперва была сотворена творцом единая субстанция. По милости творца из нее выделилась вода и опустилась, субстанция же разделилась на верх и низ, одна половина высыхала, другая увлажнялась, верхняя двигалась, нижняя обретала покой. Подвижная вода стала небом, покоящаяся — землей. Далее этого разум проникнуть не может.

СЛОВО ХЕРМИСА О СОТВОРЕНИИ МИРА

Небосвод подобен облакам над вершинами гор, а за этим паром скрывается чистый свет. Пар подобен занавесу, в котором есть отверстия, через эти отверстия проходит свет. Планеты и звезды — этот свет и есть. Творец есть, это я знаю, а как он все сотворил — мне неведомо.

СЛОВО ПЛАТОНА О СОТВОРЕНИИ МИРА

Началом всего было «ничто». Если бы творец творил вещь из вещи, материя была бы неподвижной. Он сотворил все субстанции раздельно, без посредников, затем между субстанциями появились противоречия, и тогда он сотворил непокорного человека.

СЛОВО ИСКЕНДЕРА О СОТВОРЕНИИ МИРА

Нет картины без художника, на всем мире же лежит печать мастера — творца. Если бы я знал, как он творил, я бы сам смог творить. Мы не смогли постичь творения, как же мы можем постичь творца? Все вы сказали о сотворении мира разное, и потому — неверное, значит, следует говорить только о том, что не может быть мира-картины без творца-художника.

ГОВОРИТ МУДРЕЦ НИЗАМИ

Не надо касаться ключом этой двери, говорит Низами, тайна творения все равно непостижима. Творец создал сперва разум, осветив своим светом его очи. Взирая этими очами разума, творец начертал все дальнейшее, кроме первой картины, которую он сокрыл от очей разума. Ко всему в мире, кроме этой первой картины, разум может подобрать ключи. Вот и обращайся во всем к разуму, а о том, непостижимом, не думай — разум не может дать там ответа, тем более это нельзя вместить в слово... Далее Низами рассказывает, как к нему явился Хызр и упрекнул его за то, что он наполнил такую глубокую книгу — «Искендер-наме» бесполезными речами древних философов, «связал прекрасные стихи с костями, полными протухших мозгов...». Далее Низами осуждает своих современников и говорит о бренности всего земного. Все распыляется, распылятся и частицы нашего тела, но, помимо распыления, есть еще соединение вновь. Как просыпавшиеся золотые опилки собирают ртутью, так и душа наша, возможно, сможет вновь соединить частицы тела.

ДОСТИЖЕНИЕ ИСКЕНДЕРОМ ПРОРОЧЕСКОГО САНА

Искендер превзошел все науки своего времени, явные и тайные. Перестав думать о сотворении мира, он стал стремиться душой к его творцу. Его молитвы услышаны, к нему является небесный вестник — ангел Суруш — и сообщает божественное веление: ему пожалован сан пророка. Он должен обойти теперь весь мир, призывая людей вступить на путь истинной веры. Бог ему поможет... Искендер спрашивает, как же он сможет вещать истину на чужих языках? Как он сможет всех покорить и заставить себя слушать? Суруш отвечает, что никто нигде не сможет причинить Искендеру вреда, все ему подчинятся и он будет понимать языки всего мира, а его самого и его румский язык будут понимать повсюду. Он должен лишь постоянно молиться богу... Искендер готовится в поход, готовит себе дорожный припас. Этот припас — вся мудрость его времени. Сюда входит «Величайший свиток» — звамение сути господней (возможно, Низами здесь имеет в виду «веру Ибрахима» — части Библии) и три «Книги знания»: Аристотеля — о сути добра и зла, Платона — обо всем, что он знал, и Сократа — обо всем отрадном для души. Все эти свитки он сворачивает вместе и запечатывает, чтобы обращаться к ним в пути по мере надобности. Наутро он велит везиру записать свои мудрые наставления в справедливости, которые есть его пророческие знамения.

ПОСЛАНИЕ АРИСТОТЕЛЯ О МУДРОСТИ

Надейся на знание, советует в своем свитке Искендеру Аристотель, и не слушай невежд. Бойся бога и поклоняйся ему, бойся сглаза, не старайся всех опередить, чтобы не вызвать зависть. Далее следует целый ряд сходных добрых советов шаху, относящихся более всего к управлению государством и поведению правителя.

ПОСЛАНИЕ ПЛАТОНА О МУДРОСТИ

Платон не советует шаху предаваться чревоугодию и сластолюбию, советует не быть кровожадным, помнить о быстротечности жизни, помнить о неизбежности смерти. Надо стряхнуть с себя дрему повседневной жизни, отказаться от жадности и бессмысленной суеты, довольствоваться малым, укрощать страсти и т. п. Далее идут советы об управлении войском. В конце главы Платон высказывает опасения, что его советы излишни для пророка Искендера, к которому слетает с неба ангел господень. Его ведь ведут вперед творец и разум.

ПОСЛАНИЕ СОКРАТА О МУДРОСТИ

Будь осторожен, советует Сократ, опирайся на друзей, будь щедр. Не будь жадным, не будь чревоугодником, иначе, прожив жизнь не как человек, а как бык, воскреснешь в теле осла (учение о переселении душ), знай меру и т. п. В конце главы — отказ от советов, ибо Искендер — пророк и в них не нуждается.

НАЧАЛО НОВОГО СТРАНСТВОВАНИЯ ИСКЕНДЕРА ПО СВЕТУ И СЕТОВАНИЕ НИЗАМИ

В начале главы Низами говорит о своей старости, нарастающей слабости и высказывает опасения, что ему не удастся заковчить поэму. Искендер, снова отправляясь в путь, передает власть сыну Искендерусу и своей матери. Он отбирает сто тысяч лучших бойцов, готовит провиант... Вскоре он уже в Египте, в Александрии, где сооружает маяк с зеркалом, которое должно извещать заранее о приближении врагов (очевидно, соединение нескольких легенд о знаменитом Александрийском маяке). Затем он освобождает жителей Иерусалима от насилия несправедливого правителя. Далее он идет по Африканскому побережью на запад (четыре похода второй части книги — по четырем странам света), в Магриб, оттуда (очевидно, через Гибралтар) в Андалус (Испания). Там он снаряжает корабли и двенадцать ведель плывет по морю. Высадившись в неведомой стране, он попадает в пустыню, где вместо песка — сера. Через эту пустыню Искендер приходит к Мировому океану,

омывающему со всех сторон землю. Далее Низами повествует о загадках этого океана и загадках захода солнца. Искендеру говорят, что плыть по этому морю нельзя: в нем водится огромный змей, и потом в нем нельзя найти направление. В этом океане есть суша, но она сверкает золотом и полна огромных самоцветов, таинственно убивающих сошедшего на берег. Попав туда, Искендер велит собрать эти смертельные камни, обвязать их полотном и построить из них здание, обмазав его глиной (здесь начинаются в поэме рассказы из жанра «арабских морских чудес»). Затем Искендер ищет истоки Нила. В глубине пустыни на горе — райский сад, проникнуть куда нельзя: все пытавшиеся это сделать погибали от восторга при первом взгляде на него. Искендеру удается раскрыть тайну сада. Далее войска пустыней, где вместо песка — золото, приходят к саду с золотыми деревьями, где похоронен Шеддад (см. словарь). На золотых деревьях — плоды из драгоценных камней, в саду много разных диковин. В усыпальнице Шеддада — длинная надпись, говорящая о бренности всего земного, о преходящей, как и все на земле, царской власти. Искендер решает не брать драгоценностей в этом саду... Далее — выжженная солнцем безводная пустыня, где в пещерах живут чернокожие дикари. Они добывают себе пищу охотой, не знают огня, не пьют воды, но необыкновенно выносливы и быстроноги. Эти дикари говорят, что за песками есть город, населенный белокожими праведниками, живущими, не зная старости, по тысяче лет. Искендер оставляет дикарям запасы пищи. Они указывают ему правильный путь к морю... Войско снова месяц плывет на кораблях, пока не высаживается в неведомой южной стране (второй поход второй части книги — на юг).

ПРИБЫТИЕ ИСКЕНДЕРА НА ЮЖНЫЙ ПРОСТОР В СЕЛЕНИЕ ГОЛОВОПОКЛОННИКОВ, СОБИРАНИЕ АЛМАЗОВ, ВСТРЕЧА С ЮНОШЕЙ-ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕМ И ПОСЕЩЕНИЕ УГНЕТЕННОГО КРАЯ

Неподалеку от места высадки Искендера оказывается селение, где жители поклоняются высушенным человеческим головам. Искендер — ныне пророк — решает просветить их светом истинной веры. Отправившись дальше, войско Искендера попадает в горы, где на дороге среди щебня попадаются алмазы, ранящие коням и людям ноги. Вскоре воины видят глубокую пропасть, дно которой сплошь усыпано алмазами. Пробраться туда, однако же, нельзя, ибо пропасть кишит змеями, да и спуск слишком крут и труден. Заметив, что кругом много орлов, Искендер велит зарезать овец и, разрубив их на куски, сбросить в пропасть. Алмазы прилипают к мясу, а орлы выносят это мясо на горы, и так алмазы удается собрать (распространенный восточный сказочный мотив). Через месяц пути по горам и бездорожью Искендер видит наконец возделанную плодородную долину. Он встречает там юношу, рабо-

тающего в поле. Юноша пленяет Искендера красотой и разумными речами, и он хочет сделать его царем этого края. Юноша, однако, не согласен: его удел — земледелие и менять свою жизнь на иную он не хочет. Он исповедует истинную веру, ибо видел во сне Искендера и так узнал о божественном откровении... Еще дальше лежит местность, пригодная для земледелия, но запущенная и разоренная, так как там правит жестокий тиран, обирающий и притесняющий людей, и никто не хочет там зря трудиться. Искендер свергает злодея, основывает город Искендерабад и устанавливает справедливую оплату за труд.

ИСКЕНДЕР СНОВА ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ИНДИЮ И КИТАЙ; СТРАНСТВИЕ ПО КИТАЙСКОМУ МОРЮ, ГОРОД В ПУСТЫНЕ

Теперь Искендер отправляется на восток (третий поход второй части книги), туда, где он уже побывал ранее,— в Индию и Китай. Глава начинается с описания весны (далее введены описания всех четырех времен года). Пройдя Индию, Искендер приходит в Каядахар. Там — кумирня, и в ней золотой идол, глаза которого сделаны из огромных самоцветов. Искендер велит уничтожить идола, но тут является прекрасная юная жрица и рассказывает ему историю самоцветов. Этот храм был ранее заброшен, но вот как-то сюда прилетели две райские птицы и принесли в клювах драгоценные камни. Из-за них разгорелся спор, каждый знатный человек хотел их взять себе. В конце концов сделали этого идола и вставили ему вместо глаз самоцветы, чтобы все могли ими любоваться. Идол стал всеобщей радостью. Жрица просит не уничтожать его. Искендер соглашается... Далее он едет в Китай, где его радостно встречает хакан. Искендер, выполняя пророческую миссию, обращает хакана в истинную веру. Он просит хакана отвести его к морю — поглядеть на морских чудовищ и послушать их песни. Далее следует пересказ древнегреческой легенды о пении сирен («водяных невест») с той разницей, что о губительности этого пения для слушающих Низами не говорит, у него эти звуки — лишь нечто необычайно прекрасное, от чего люди теряют сознание. Слушая сирен, Искендер смеется и плачет. Оставив хакана на берегу, Искендер пускается в опасное плавание по морю. Они достигают такого места, далее которого плыть нельзя, так как там начинается бурное течение, впадающее в Мировой океан, омывающий со всех сторон сушу. По велению Искендера, Булинас ставит там на небольшом островке медную статую, предупреждающую мореходов об этой опасности. На обратном пути они попадают в губительный водоворот, выбраться откуда удается лишь благодаря волшебной выдумке Булинаса, который выводит судно из водоворота ударами барабана. Встретив снова хакана, Искендер едет по суше обратно в Рум. Пройдя главную пустыню, они находят на берегу моря «белый город», построенный из серебра. Его жителей терзает страшный грохот,

раздающийся на восходе солнца из моря. Мудрецы, идущие с Искендером, предполагают возможную причину грохота: морская вода здесь содержит ртуть, которая падает на камни вместе с волнами (интересно, что Низами всюду дает по нескольку объяснений каждого чуда)... Искендер обращает в свою веру правителя «белого города» и дарит жителям барабаны, спасающие от нестерпимого грохота моря. От «белого города», лежащего в пределах Китая, Искендер едет на север.

ПРИБЫТИЕ ИСКЕНДЕРА В СЕВЕРНЫЕ ПРЕДЕЛЫ И ПОСТРОЙКА ВАЛА, ОГРАЖДАЮЩЕГО ОТ НАРОДА ЯДЖУДЖ

Спой мне песню, певец! Сладкой негой поя,
Утешает меня только песня твоя.

Вольно бродит мой ум. Шелком саза, для слуха
Столь отрадным, кольцо вдень невольнику в ухо.

*

Лето. Солнце проникло в созвездие Льва,
И от лютой жары львы дышали едва.

Жадный зной, проникая в любую долину,
Соскоблил с лика времени свежести глину.

На горах и в степях заклубились пары,
Улыбались плоды, ждали лучшей поры.

Но свернулись листы, были видимы зерна.
Жар, тюльпаны клоня, будто веял из горна.

Соловей покидал знойных долов края,
Лишь в нагорных лесах реял звон соловья.

Песен жаворонков нет; даже птахам обуза
Слишком тягостный зной огневого тамуза.

В солнце, жаром палящее весь небосклон,
Жало ветра еще не впускал Скорпион.

Над Китаем, над Зангом бродило светило
С чашей огненной в длани и землю палило,

И копыта онагров, ярясь, осмелев,
Раздирало с небес, будто огненный лев.

В песьи дни, воздымавшие облако пара,
В дни, когда даже камни смягчались от жара,—

Царь, в бессонных мечтаньях влекомый в Хирхиз,
Все не спал под мерцаньем полуночных риз.

Он решил приказать снова двинуться стану.
В час прощанья с хаканом вручил он хакану

Много ценных даров. И направил он рать
На безводной пустыни песчаную гладь.

В барабан громкой славы забил он, вступая
В дальний Северный край из Восточного края.

По бесплодной земле вновь повел его рок.
Нет ни птиц, ни зверья! Лишь летучий песок.

Бездорожью, казалось, не будет предела,
Не встречалось людей. И пустыня светлела,

И была она вся — распластавшийся свет.
Только гладь,— а на глади и трещинки нет.

И сказал проводник: «Шли путем благодарным:
Стал песок серебром, серебром лучезарным.

Только в меру возьми ты добычу пути,
Чтоб верблюды могли без натуги идти.

Ты о кладе молчи, иль, добычею многой
Поживившись, бойцы утомятся дорогой».

Но в обозе царя золотого добра
Преизбыток. Не нужно царю серебра.

Все же страсть полновластней всех доводов строгих —
Серебром нагрузил он верблюдов немногих...

Словно ветер, с неделю летел шаханшах
Все вперед, не вздымая дорогою прах.

Без пылинки одежды на воинах были.
Серебро не давало взлетающей пыли.

Шли вперед. Становился все тягостней путь:
Вся земля — серебро, воды — чистая ртуть.

Нет, нельзя отдохнуть на серебряном ложе,
Припадать жадным ртом к тяжкой ртути негоже.

Люди — в черной тоске, и тоска их остра.
В их очах почернел весь простор серебра.

Сладко били ключи, но порою немало
В их кипенье сверкающем ртути сверкало.

Если тихо, спокойно лежала вода,
Никому эта ртуть не чинила вреда.

Все лобзали тогда вод прозрачную ризу,
Влага сверху была, ртуть подвижная — снизу.

Но когда возмущенный крутился поток,
Был он жаждущим смертным уж больше не впрок.

Воин, смело вкушавший опасную влагу,
Умирал. На погибель являл он отвагу.

Прозвучало тогда повеленье царя:
«Осмотрительно пить, лютой жаждой горя.

Так внимательно черпать из чаши природы,
Чтоб недвижными были подвижные воды».

Целый месяц пути! Погребли в эти дни
Многих сильных: от жажды погибли они.

И прошли весь ковер серебристый,— и взорам
Вдруг представился край плодородный, в котором

Зачернела земля, все сердца утоля.
Существам земнородным отрадна земля.

Словно солнце, блестел край пленительный, в коем
Вся окрестность блаженным дышала покоем.

Но на самой вершине высокой горы
Под лазурью небес голубели шатры.

И взирающих ужас объял небывалый:
Опирались шатры на отвесные скалы.

Правоверные жили в лазурных шатрах,
Но пророка не знали на этих горах.

Мудрым людям одним откровением бога
К постижению бога открылась дорога.

Искендера узрев, свой приветствуя рок,
Вмиг постигли они: к ним явился пророк.

И открыли сердца, чтоб его указанья
Воспринять и проникнуться радостью знанья.

Искендер им открыл правой веры врата
И вручил им дары. Растворили уста

Воспринявшие веру и просьбой большою
Отягчили царя с милосердной душою:

«Милосердный и щедрый, будь милостив к нам,—
К просветленным своим и покорным сынам.

За грядой этих гор, за грядою высокой
Страшный край растянулся равниной широкой.

Там народ по названью яджудж. Словно мы,
Он породы людской, но исчадием тьмы

Ты сочтешь его сам. Словно волки, когтисты
Эти дивы, свирепы они и плечисты.

Их тела в волосах от макушки до пят,
Все лицо в волосах. Эти джинны вопят

И рычат, рвут зубами и режут клыками.
Их косматые лапы не схожи с руками.

На врагов они толпами яростно мчат.
Их алмазные когти пронзают булат.

Только спят да едят сонмы всех этих злобных.
Каждый тысячу там порождает подобных.

Есть растенье у мерзких, его семена
Горше перца, и в них зарожденье сна.

К семенам этим страсть в каждом дышит яджудже;
Их проглотят — и в дреме повалятся тут же.

Если месяца льются начальные дни,
Словно черви, в волненье приходят они.

И пока не придет полнолунье, нимало
Не смирившись, едят всё, что в руки попало.

Но когда станет месяц ущербным, у них
Пропадает их жадность: их голод затих.

Каждый год к ним из черного облака черный
Упадает дракон, и толпою проворной

Дивы мчатся к дракону. Велик он весьма.
Им всех этих зверей насыщается тьма.

Ожидая съедобного с целое море,
Что гремящая туча подарит им вскоре,

Так вопит это скопище дьявольских стад,
Что их степь уж не степь, а бушующий ад.

Кровь дракона испив — им их пир не зазорен —
Целый месяц не пьют и не трогают зерен,

Лишь едят они листья да корни. Недуг
Им неведом. Когда же кого-нибудь вдруг

Час последний настигнет,— его, без урона
Для здоровья, пожрут: им ведь мало дракона.

Ты не встретишь гробниц в их соленой земле.
Нет уснувших в земной, всем назначенной мгле.

Да, достоинство этой яджуджской равнины
Только в том, что в земле нету их мертвечины.

Царь, яджуджи на нас нападают порой.
Грабит наши жилища их яростный рой,

Угоняет овец пышнорунного стада,
Всю сжирает еду. Нет с клыкастыми слада!

Хоть бегут от волков без оглядки стада,
Их пугает сильней эта песья орда.

Чтоб избегнуть их гнета, их лютой расправы,
Убиенья, угона в их дикие травы,

Словно птицы, от зверя взлетевшие ввысь,
На гранит этих гор мы от них взобрались.

Нету сил у безмозглого злого народа
Ввысь взобраться. Но вот твоего мы прихода

Дождались. Отврати от покорных напасть!
Дай, о царь, пред тобой с благодарностью пасть!»

И, проведав, что лапы любого яджуджа
Опрокинут слонов многомощного Уджа,

Царь воздвиг свой железный, невиданный вал,
Чтоб до Судного дня он в веках пребывал...

*

Благодатной звезды стало явно пыланье.
Царь направился в путь, в нем горело желанье

Видеть город в пределах безвестной земли.
Все искали его, но его не нашли.

И завесы пурпурные ставки царевой
Повлекли на верблюдах по местности новой.

Целый месяц прошел, как построили вал,
И в горах и в степях царь с войсками сновал.

И открылся им дол, сладким веющий зовом,
Обновляющий души зеленым покровом.

Царь глазами сказал приближенным: «Идти
В путь дальнейший — к подарку благого пути!»

И порядок, минуя и рощи и пашни,
Встретил он и покой,— здесь, как видно, всегдашний:

Вся дорога в садах, но оград не найти.
Сколько стад! Пастухов же у стад не найти.

Сердце царского стража плода захотело.
К отягченным ветвям потянулся он смело

И к плоду был готов прикоснуться, но вдруг
Он в сухотке поник, словно согнутый лук.

Вскоре всадник овцу изловил и отменно
Был наказан: горячку схватил он мгновенно.

Понял царь назиданье страны. Ни к чему
Не притронулся сам и сказал своему

Устрашенному воинству: «Будут не рады
Не отведшие рук от садов без ограды!»

И, помчавшись, лугов миновал он простор,
И сады, и ручьев прихотливый узор.

И увидел он город прекрасного края.
Изобильный, красивый,— подобие рая.

К въезду в город приблизился царь. Никаких
Не нашел он ворот, даже признака их.

Был незапертый въезд как распахнутый ворот.
И со старцами царь тихо двинулся в город.

Он увидел нарядные лавки; замков
Не висело на них: знать, обычай таков!

Горожане любезно, с улыбкой привета,
Чинно вышли навстречу Властителю света.

И введен был скиталец, носивший венец,
В необъятный, как небо, лазурный дворец.

Пышный стол горожане накрыли и встали
Пред столом, на котором сосуды блистали.

Угощали они Искендера с мольбой,
Чтоб от них он потребовал снеди любой.

Принял царь угощенье. На светлые лица
Он взирал: хороша сих людей вереница!

Молвил царь: «Ваше мужество,— странно оно.
Почему осторожности вам не дано?

Сколько видел я ваших домов, на которых
Нет замков! Позабыли вы все о затворах.

Столько дивных садов, но они без оград!
И без пастырей столько кочующих стад!

Сотни тысяч овец на равнине отлогой
И в горах! Но людей не встречал я дорогой.

Где защитники ваши? Они каковы?
На какую охрану надеетесь вы?»

И страны справедливой старейшины снова
Искендеру всего пожелали благого:

«Ты увенчан творцом. Пусть великий творец
Даст Властителю счастье, как дал он венец!

Ты, ведомый всевышним, скитаясь по странам,
Имя царское славь правосудья чеканом.

Ты спросил о добре и о зле. Обо всем
Ты узнаешь. Послушай, как все мы живем.

Скажем правду одну. Для неправды мы немы.
Мы, вот эти места заселившие, все мы —

Незлобивый народ. Мы верны небесам.
Что мы служим лишь правде, увидишь ты сам.

Не звучат наши речи фальшивым напевом,
Здесь неверность, о царь, отклоняется с гневом.

Мы закрыли на ключ криводушия дверь,
Нашей правдою мир одолели. Поверь:

Лжи не скажем вовек. Даже в сумраке дремы
Неправдивые сны нам, о царь, незнакомы.

Мы не просим того, что излишне для нас.
Этих просьб не доходит к всевышнему глас.

Шлет господь нам все то, что всем нам на потребу.
А вражда, государь, нежелательна небу.

Что господь сотворил, то угодно ему.
Неприязни питать не хотим ни к чему.

Помогая друзьям, всеблагому в угоду,
Мы свою не скорбя переносим невзгоду.

Если кто-то из нас в недостатке большом
Или малом и если мы знаем о том,

Всем поделимся с ним. Мы считаем законом,
Чтоб никто и ни в чем не знаком был с уроном.

Мы имуществом нашим друг другу равны.
Равномерно богатства всем нам вручены.

В этой жизни мы все одинаково значим,
И у нас не смеются над чьим-либо плачем.

Мы не знаем воров; нам охрана в горах
Не нужна. Перед чем нам испытывать страх?

Не пойдет на грабеж нашей местности житель.
Ниоткуда в наш край не проникнет грабитель.

Не в чести ни замки, ни засовы у нас.
Без охраны быки и коровы у нас.

Львы и волки не трогают вольное стадо,
И хранят небеса наше каждое чадо.

Если волк покусится на нашу овцу,
То придет его жизнь в миг единый к концу.

А сорвавшего колос рукою бесчестной
Настигает стрела из засады безвестной.

Сеем мы семена в должный день, в должный час
И вверяем их небу, кормящему нас.

Что ж нам делать затем? В этом нету вопроса.
В дни страды ячменя будет много и проса:

С дня посева полгода минует, и знай,
Сам-семьсот со всего мы сберем урожай.

И одно ль мы посеем зерно или много,
Мы, посеяв, надеемся только на бога.

Наш хранитель — господь, нас воздвигший из тьмы,
Уповаем всегда лишь на господа мы.

Не научены мы, о великий, злословью.
Мы прощаем людей, к ним приходим с любовью.

Коль не справится кто-либо с делом своим,
Мы советов благих от него не таим.

Не укажем дорог мы сомнительных людям.
Нет смутьянов у нас, крови лить мы не будем.

Делит горе друг с другом вся наша семья,
Мы и в радости каждой — друг другу друзья.

Серебра мы не ценим и золота — тоже.
Здесь они не в ходу и песка не дороже.

Всех спеша накормить — всем ведь пища нужна,—
Мы мечом не попросим пригоршни зерна.

Мы зверей не страшим, как иные, и, чтобы
Их разить, в нашем сердце не сыщется злобы.

Серн, онагров, газелей сюда иногда
Мы из степи берем, если в этом нужда.

Но пускай разной дичи уловится много,
Лишь потребная дичь отбирается строго.

Мы ненужную тварь отпускаем. Она
Снова бродит в степи, безмятежна, вольна.

Угождения чрева не чтя никакого,
Мы не против напитков, не против жаркого.

Надо есть за столом, но не досыта есть.
Этот навык у всех в нашем городе есть.

Юный здесь не умрет. Нет здесь этой невзгоды.
Здесь умрет лишь проживший несчетные годы.

Слез над мертвым не лить — наш всегдашний завет —
Ведь от смертного дня в мире снадобья нет.

Мы не скажем в лицо неправдивого слова,
За спиной ничего мы не скажем иного.

Мы скромны, мы чужих не касаемся дел.
Не шумим, если кто-либо лишнее съел.

Мы и зло и добро принимаем не споря:
Предначертаны дни и веселья и горя.

И про дар от небес, про добро и про зло,
Мы не спросим: что это? Откуда пришло?

Из пришельцев, о царь, тот останется с нами,
Кто воздержан, кто полон лишь чистыми снами.

Если наш он отринет разумный закон,
То из нашей семьи будет выведен он».

Увидав этот путь благодатный и правый,
В удивленье застыл Искендер величавый.

Лучших слов не слыхал царь земель и морей,
Не читал сказов лучших он в Книге царей.

И промолвил себе сей венец мирозданья:
«Эти тайны приму, как слова назиданья!

Полно рыскать в миру. Мудрецам не с руки
Лишь ловитвой гореть, всюду ставить силки.

Не довольно ль добыч? От соблазнов свободу
Получил я, внимая благому народу.

В мире благо живет. Ты о благе радей.
К миру благо идет лишь от этих людей.

Озарился весь мир перед нами — рабами,
Стали мира они золотыми столпами.

Если правы они, ложь свою ты пойми!
Если люди они, нам ли зваться людьми?

Для того лишь прошел я по целому свету,
Чтоб войти напоследок в долину вот эту!

О звериный мой нрав! Был я в пламени весь.
Научусь ли тому, что увидел я здесь?!

Если б ведать я мог о народе прекрасном,
Не кружил бы по миру в стремленье напрасном.

Я приют свой нашел бы в расщелине гор,
Лишь к творцу устремлял бы я пламенный взор,

Сей страны мудрецов я проникся бы нравом,
Я бы мирно дышал в помышлении правом».

Умудренных людей встретив праведный стан,
Искендер позабыл свой пророческий сан.

И, узрев, что о нем велика их забота,
Им даров преподнес он без меры и счета,

И оставил он город прекрасный. Опять
Дал приказ он по войску в поход выступать.

Шелк румийских знамен, весен сладостных краше,
Запестрел, словно шелк, изготовленный в Ваше.

Потекло по стране, как течет саранча,
Войско Рума, в шелка всю страну облача.

И скакал Искендер через рощи и чащи,
И несчастных людей отвращал от несчастий.

СТРАНСТВОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К РУМУ И НЕДУГ ИСКЕНДЕРА

В далеком походе вещий голос говорит Искендеру, что он завершает свой земной путь и ему нужно возвращаться в родной Рум. Искендер поворачивает войска. Но по дороге тяжело заболевает. Он вызывает из Юнана Аристотеля с врачами, но они бессильны.

ЗАВЕЩАНИЕ ИСКЕНДЕРА

Музыкант — птица зорь, им ведущая счет,
Треть которая ночи, скажи мне, течет?

Не запела в саду ни единая птица.
Ты согдийскую птицу заставь пробудиться.

*

Ветра осени шумный послышался взмах.
Все пошло по-иному в увядших садах.

Пропадало роскошество каждого сада.
Каждой розы прекрасной погасла лампада.

По краям ручейков пожелтела трава.
Все упали плоды, вся опала листва.

На ветвях запылало то пламя, в котором
Вся сожглась пестрота, столь приятная взорам.

Бродит много дихкан, о базарах тужа,
Все замкнули калитки садов сторожа.

В водоемы Хосроев текущие воды
Уж застыли от холода злой непогоды.

Без воды и плодов нет отрады в садах.
Глина старых оград рассыпается в прах.

Где же кравчий с вином? Где же сладость и ласки?
Все мертво, в мертвый сад зверь войдет без опаски.

Смолк пернатых язык. И, вонзаясь в стопы
Быстроногих ветров, обнажились шипы.

Где же те, что в саду отдыхали, бывало?
Поклонявшихся розам в долинах не стало.

С солнца золото стер непостижный терпуг,
Стали воды в ручьях как недвижный терпуг.

Нет красавиц в садах; их спугнули морозы.
Соловьи улетели, осыпались розы.

Заклеймили шипы каждый розовый куст.
Где и песни и чанг? Сад безмолвен и пуст.

И завяло — увы! — в эти дни листопада
Древо дивное — гордость подлунного сада.

Искендер-кипарис был здоровья лишен,
Щедро тратил здоровье в скитальчествах он.

Стужа в мире, и грудь Повелителя — в стуже.
Мир он ведал, и все ж вновь он влекся к нему же.

Ослабел полновластья приманчивый зов,
И к нему невнимательный стал нездоров.

Долго птица над миром царила, но крылья
Обломились! Подняться? Напрасны усилья!

Где тюльпаны ланит? Стройный тополя стан?
В когти сокола злого попался фазан.

Войсковые врачи,— а порой и вельможа,—
Днем и ночью сидели у царского ложа.

Берегли светоч мощного царства они,
Составляли в тревоге лекарства они,

В стуке сердца и в колбах разгадку искали.
Но уж звали недужного темные дали.

И в назначенном снадобье будет ли прок,
Коль пришел расставанья назначенный срок?

Вновь пытали врачи все целебные травы,
Но душа вырывалась из тесной оправы.

И лужайки никто уж не смог бы найти,
Где бы странник сумел отдохнуть на пути.

Если боль и страданье содействуют смерти,
Это — воля судьбы благодетельной, верьте.

Горло смертному жмет столь неистово рок,
Что торопит измученный гибели срок.

Каждый врач размышлял об ознобе, о боли,
Но ведь врач ведал то, что он ведал,— не боле.

Ведь лампаде, когда жизни канул и след,
Даже масло и то причинило бы вред.

«Ведь больные плоды — слову мудрых я внемлю —
Чуть притронутся к ним — упадают на землю».

Исцеленье несет многим страждущим врач,
Но, леча обреченных, не знает удач!

В девять сфер устремляющий мудрые взоры
Стал на них наводить звездочетов приборы.

Он померкшей нашел основную звезду.
Звезды счастья ушли: все вещало беду.

То сплетение звезд, что так дивно блистало,
К гороскопу царя благосклонным не стало.

Увидав, как черта вещих знаков течет,
Побледнел и от страха застыл звездочет.

В руки зеркало взял Повелитель, желая
Поглядеть, что свершила судьба его злая.

Он узрел худобу. Он узрел, что, спеша
К краю мира, от плоти бежала душа.

Стыла медленно кровь, стало немощным тело.
Изогнуть кипарис что, скажи, захотело?

Дух из тела бежал, в тьму недужного мча.
Царь заплакал, как плачет, сгорая, свеча.

И призвал он друзей. С тяжким роком не споря,
Им он молвил, исполненный скорби и горя:

«Мой корабль испытал волн крутящихся власть,
Лютый змей растворил ненасытную пасть.

Властный глас призывал, звал подняться с привала:
То судьба Искендеру веленье давала.

Надо мной небеса плыли тихой рекой,—
И в горах и в степях мне давали покой.

Но теперь небеса мраком черным затмило,
И луна мне грозит, и дневное светило.

Мне бороться невмочь: на меня, на раба,
Ополчилась, идет грозным войском судьба.

Что свершу? Злое небо, в неистовстве рьяном,
Мой венец уловляет поспешным арканом.

Подойди, казначей, нужно денег царю.
Может статься, я взяткою муки смирю.

Подойди, меченосец: мечом своим ярым,
Может статься, с мучительным справлюсь я жаром.

Я — ваш царь Искендер, могший джиннов карать,
Свой вознесший престол, ведший грозную рать,

Препоясанный в бой, полный жаркого духа,
Продевавший кольцо в лютых недругов ухо,

Меч поднявший на зло, многомощней слона,
Все Кульзумское море взбурливший до дна,

Отпугнувший волков от безмерного стада,
Многих малых поднявший, бессильных ограда!

Я разбитого много умело скрепил.
Чтоб иное разбить, много тратил я сил.

Я насилия зло заменил состраданьем.
Завершить много дел счел своим я заданьем.

Был в Каннаудже мой меч. Знал он множество стран:
Ввел войска я в Кульзум, ввел войска в Кайруван.

Смерть пришла. Не блуждать мне горами и степью!
Стал силком этот меч, стал он тяжкою цепью.

Степи, взморья, пески, горы, тысяча рек!
Кто скитался, как я? Ни один человек!

До луны возвышал я иных исполинов,
Много чванных голов снял я с плеч властелинов.

Обезглавил я мощного Фура, и пал
Предо мною в Китае могучий Джайпал.

От Насика к Мансаку я вел свою силу,
Отомстил я Кабилу и также Хабилу.

Погасил я огонь темных магов. В огонь
Вверг я море врагов. Всюду рыскал мой конь.

Как Джемшида престол, трон мой всем был отрада.
Я ограду раскрыл Феридунова клада.

Я узрел все потайное племени Ад.
Я проник в дивный сад, где простерся Шеддад.

Причинил Серандибу немало я срама.
Попирал я стопою вершину Адама.

Был я словно Рустам, меч Рустама нашел.
Кей-Хосрова я чашу сыскал и престол.

Я на запад посланца направил с востока.
Вал Яджуджский! Конца ему нету и срока.

Был я в Месте Священном, как древле Адам,
И к Каабы кольцу я притронулся там.

Я свой светоч зажег, с мраком бился я черным.
Дверь насилья забил я усильем упорным.

К светлой славе идя, я играть не хотел,
Не свершал никогда непродуманных дел.

Где б я ни был, идя многомощным походом,
Правосудье внушал я своим воеводам.

Мне не страшен был зной, размягчавший гранит.
Полный сил, я твердил: «Рок меня сохранит».

Что ж я стражду теперь? Тут прохлада, но что же!
Что мне мех и шелка на мучительном ложе!

Голова на подушке, и сам я не свой.
Кто здоровой к подушке прильнет головой?

Мастерскую сию черной вижу я ныне.
Я у черных потоков, я в черной пустыне.

Что вам доброго ждать? Не утешу я вас!
Каждый вздох мне тяжел. Мой приблизился час.

Я подобен младенцу, не знавшему света
И ушедшему в тьму. Давит истина эта.

Всю я землю узрел, мне весь мир был открыт,
Но и ныне мой взор созерцаньем не сыт.

Тридцать шесть! Если б лет я три тысячи ведал,
Я бы то же сказал: сердце миру я предал.

Я за полог вселенной рассудком проник,
Я луну разгадал, понял солнечный лик.

Для познавших весь мир стал я светочем знанья.
Возносил я хваленье творцу мирозданья.

Не в неведенье темном на свете я жил,
Я искал постиженья неведомых сил.

Много книг я прочел, все я ведал науки,
Но бессильны они в час последней разлуки.

Я от каждой беды мог когда-то уйти,
Но для бегства от смерти не знаю пути.

В затрудненьях любых можно действовать смело,
Но со смертью борьба — неразумное дело.

Где премудрые? Деньги считал я за прах,
Их даря мудрецам. Пусть развеют мой страх!

Подойдите и в золото прах обращайте,
О лекарстве своем Искендеру вещайте.

Аристотель, ты где? Мрак я зрю впереди.
Из теснины смертельной меня уведи!

Где же ты, Булинас? Всей волшебною силой
Ты меня возврати к жизни светлой и милой!

Где подвижник Платон? Пусть применит ко мне
Он познанья свои. Весь горю я в огне.

Где Валис? Не спасет ли царя он и друга,
Не постигнет ли тайну лихого недуга?

Призовите Сократа! Мой близится срок.
Не Сократу ль открыть самый трудный замок?

Одвуконь за Хермисом пошлите! Быть может,
Он хотя бы на миг Искендеру поможет!

Пусть к Фарфорию мчатся! У смертного дня,
Может статься, он выкупить сможет меня».

Царь промолвил затем: «Нет! Я предан гордыне!
Лишь творца поминать мне назначено ныне!

Избавленья от мук не пошлет ли мне он,
И не будет ли им прах мой бедный прощен?

Чья поможет рука? Стал для всех я далеким.
Кто меж сонма людей был таким одиноким?

Если мне небеса шлют одну только тьму,
Поднимать мне свой голос молящий к чему?

Ведь от праха, друзья, получил я начало.
Стать мне прахом опять, видно, время настало.

Перед тем, как с пучиною буду я слит,
В море выброшу я свой прославленный щит.

Я родился нагим, и, закрыв мои вежды,
Вы заройте меня без венца и одежды.

Был без бремени я. Время царства забыл
Я навек, буду наг я, как некогда был.

Посетила скалу птаха малая. Вскоре
Улетела. Скала испытала ли горе?

Я — та малая птаха, а царство — скала.
Миру трудно ль забыть Искендера дела?

Порождать и сражать мне подобных он любит.
Злобный мир! О, горбун! Всех, проклятый, он губит!

Хоть внимал я всем людям, хоть не был я злым,
Но насилие все ж применял я к иным.

Вы простите меня. Судей жду я не строгих.
Ведь неправых владык обезглавил я многих.

В черный прах мой опустится черный престол.
Дух мой к светлым взлетит, в их лазоревый дол.

Не стенайте с покрытыми пеплом главами!
Пусть прощенья слова будут сказаны вами».

Все он молвил. Безмолвье возникло в ответ.
Он уснул. Мнилось всем: в нем дыхания нет.

ЗАКЛИНАНИЕ, ОБРАЩЕННОЕ К МАТЕРИ, И СМЕРТЬ ИСКЕНДЕРА

Музыкант, вновь настрой свой рокочущий руд!
Пусть нам явит ушедших твой сладостный труд.

Запевай! Посмотри, я исполнен мученья.
Может статься, усну я под рокоты пенья.

*

Если в утренний сад злой нагрянет мороз,
Опадут лепестки чуть раскрывшихся роз.

Как от смерти спастись? Что от смерти поможет?
Двери смерти закрыть самый мудрый не сможет.

Лишь смертельный нагрянет на смертного жар,
Вмиг оставит врачей их целительный дар.

Ночь скончалась. Вся высь ясной стала и синей.
Солнце встало смеясь. Плакал горестно иней.

Царь сильнее стонал, чем в минувшую ночь.
Бубенцы... Отправленья нельзя превозмочь.

Аристотель, премудрый, пытливый мыслитель,
Понимал, что и он — ненадежный целитель.

И, узнав, что царя к светлым дням не вернуть,
Что неведом к его исцелению путь,

Он промолвил царю: «О светильник! О чистый!
Всем царям льющий свет в этой области мглистой!

Коль питомцы твои не сыскали пути,
Ты на милость питателя взор обрати.

Если б раньше, чем вал этот хлынет суровый,
Страшный суд к нам направил гремящие зовы!

Если б раньше, чем это прольется вино,
Было б нашим сердцам разорваться дано:

Каждый волос главы твоей ценен! Я плачу.
Волосок ты утратишь, я — душу утрачу.

Но в назначенный час огневого питья
Не избегнуть — ни ты не избегнешь, ни я.

Я не молвлю: «Испей неизбежную чашу!»
Ведь забудешь, испив, жизнь отрадную нашу.

И не молвлю: «Я чашу твою уберу».
Ведь не должен я спорить на царском пиру.

Злое горе! Лампада — всех истин основа —
От отсутствия масла угаснуть готова.

Но не бойся, что масла в лампаде уж нет.
В ней зажжется, быть может, негаданный свет».

Молвил царь: «Слов не надо. У близкой пучины
Я стою. Жизни нет. Ожидаю кончины.

Ведь не я закружил голубой небосвод
И не я указал звездам огненный ход.

Я лишь капля воды, прах в пристанище малом,
И мужским сотворенный и женским началом.

Возвеличенный богом, вскормившим меня,
Столь могучим я стал, столь был полон огня,

Что все царства земли, всё, что смертному зримо,
Стало силе моей так легко достижимо.

Но когда всем царям свой давал я покров,
Духом был я могуч, телом был я здоров.

И недужен я стал. Эта плоть — пепелище,
И уйти принужден я в иное жилище.

Друг, тщеславья вином ты меня не пои.
Ключ живой далеко, тщетны речи твои.

Ты горящую душу спасешь ли от ада?
Лишь источникам рая была б она рада.

О спасенье моем помолись в тишине.
Снизойдет, может статься, создатель ко мне».

Солнце с гор совлекло всю свою позолоту,
И Владыка царей погрузился в дремоту.

Ночь пришла. Что за ночь! Черный, страшный дракон!
Все дороги укрыл мраком тягостным он.

Только черную мир тотчас принял окраску.
Кто от злой этой мглы знал бы помощь и ласку!

Звезды, молвивши всем: «На деяньях — запрет»,
Словно гвозди забили желанный рассвет.

Небо — вор, месяц — страж, злою схвачены мглою.
Вместе пали они в чан с густою смолою.

Мир был черен, как сажа, стонал он в тоске,
Он, казалось, висел на одном волоске.

Таял царь, словно месяц ущербный, который
Освещать уж не в силах земные просторы.

Вспомнил он материнскую ласку. Душа
Загрустила. Сказал он, глубоко дыша,

Чтоб дебир из румийцев, разумный, умелый,
За писаньем по шелку давно поседелый,

Окунул свой калам в сажу черную. Пусть
Он притушит посланьем сыновнюю грусть.

...Стал писец рисовать на шелку серебристом.
Так он слогом блеснул нужным, найденным, чистым:

«Пишет царь Искендер к матерям четырем,
А не только к одной: мир — в обличье твоем.

Убежавшей струи не поймать в ее беге,
Но разбитый кувшин остается на бреге.

Хоть уж яблоко красное пало,— причин
Нет к тому, чтобы желтый упал апельсин.

Хоть согнет ветер яростно желтую розу,
Роза красная ветра отвергнет угрозу.

Я слова говорю, о любимая мать!
Но не им,— только сердцу должна ты внимать.

Попечалься немного, проведав, что ало
Пламеневшего цвета на свете не стало.

Если все же взгрустнешь ты ночною порой,
Ты горящую рану ладонью прикрой.

Да подаст тебе долгие годы создатель!
Все стерпи! Унесет все невзгоды создатель.

Я твоим заклинаю тебя молоком
И своим, на руках твоих, утренним сном,

Скорбью матери старой, согбенной, унылой,
Наклоненной над свежей сыновней могилой,

Сердцем смертных, что к праведной вере пришли,
Повелителем солнца, и звезд, и земли,

Сонмом чистых пророков, живущих в лазури,
Вознесенных просторов, не ведавших бури,

Сонмом пленных земли, сей покинувших край,
Для которых пристанищем сделался рай,

Животворной душой, жизнь творящей из тлена,
Созидателем душ, уводящим из плена,

Милосердных деяний живою волной,
Повеленьем, весь мир сотворившим земной,

Светлым именем тем, что над именем каждым,
Узорочьем созвездий зажженным однажды,

Небесами семью, мощью огненных сил,
Предсказаньем семи самых светлых светил,

Знаньем чистого мужа, познавшего бога,
Чутким разумом тех, в чьем сознанье — тревога,

Каждым светочем тем, что зажжен был умом,
Каждым сшитым людьми для даяний мешком,

Головой, озаренной сиянием счастья,
Той стопой, что спешит по дороге участья,

Многомудрых отшельников светлой душой,
Их всевидящим взором, их верой большой,

Ароматом смиренных, простых, благородных,
Добронравьем людей, от желаний свободных,

Добротою султана к больным, к беднякам,
Нищим — радостным, словно властитель он сам,

Свежим веяньем утра, душистой прохладой,
Угощенья нежданного тихой усладой,

Позабывшими сон за молитвой ночной,
Слезы льющими, странствуя в холод и зной,

Стоном узников горьких в темнице глубокой,
Той лампадой михраба, что в выси далекой,

Всей нуждой в молоке истощенных детей,
Знаньем старцев о немощи старых костей,

Плачем горьких сирот,— тех сирот, у которых
Только скорбь, унижением странников хворых,

Тем скорбящим, что скорбью в пустыню гоним,
Тем, чьи ногти синеют от лютости зим,

Неусыпностью добрых, помогу дающих,
Долгой мукой несчастных, помоги не ждущих,

Тем страданьем, которое рушит покой,
Беспорочной любовью, блаженной тоской,

Побеждающим разумом,— смертным и бедным,
Воздержаньем отшельника,— мудрым, победным,

Каждым словом той книги, что названа «Честь»,
Человечностью той, что у доблестных есть,

Тою болью, с которой о ранах не ропщем,
Тою раной, что лечат бальзамом не общим,

Тем терпеньем, что должен влюбленный иметь,
Тяжким рабством попавшего в сладкую сеть,

Громким воплем безмерной, безвыходной муки,
В дни, когда протянуть больше не к кому руки.

Правдой тех, чей пример благочестья высок,
Откровеньем, которое слышит пророк,

Неизбежной дорогой, великим вожатым,
Помогающим смертным, тревогой объятым,

Тою дверью, земли отстраняющей ложь,—
Той, которою ты вслед за мною уйдешь,

Невозможностью видеть мне лик твой незримый,
Невозможностью слышать твой голос любимый,

Всей любовью твоей,— да продлится она! —
Этой помощью,— всем да не снится она!

Сотворившим и звезды, и воды, и сушу,
Давшим душу и вновь отнимающим душу,—

Развернув этот шелк в почивальне своей,
Ты не хмурь, о родимая, черных бровей,

Не грусти, не носи похоронной одежды,
На удел бытия вскинь бестрепетно вежды,

Скрой рыданья свои, чти сыновний венец,
Вспомни то, что и солнцу наступит конец.

Если был этот мир не для всех скоротечным,
Ты стенай и рыданьем рыдай бесконечным.

Но ведь не жил никто бесконечные дни.
Что ж рыдать! Всех усопших, о мать, вспомяни.

Если все ж поминальной предаться ты скорби
Пожелаешь, ты стан свой в печали не горби,

А в обширном чертоге, где правил Хосрой,
С угощеньями царскими стол ты накрой.

И, созвавши гостей во дворце озаренном,
Ты, пред яствами сидя, скажи приглашенным,—

Пусть вкушают всё то, что на этом столе,
Те, у коих нет близких, лежащих в земле.

Ты взгляни: если есть все безгорестно стали,—
Обо мне, о родная, предайся печали.

Но, увидев, что яства отвергли они,—
О лежащем в земле ты печаль отгони.

Обо мне не горюй, подошел я к пределу.
К своему возвращайся печальному делу.

Можно долго по жизни брести дорогой,
В должный срок все ж о камень споткнешься ногой.

Срок назначен для всех. Мать, подумай-ка строго:
Десять лет иль сто десять,— различья немного!

Мчусь я в восемь садов. Бестревожною будь!
Дверь к блаженству — с ключом и со светочем путь.

Почему не предаться мне радостной доле?
Почему не воссесть мне на вечном престоле?

Почему не стремиться мне к месту охот,
Где ни тучи, ни пыли, ни бед, ни невзгод?

Пусть, когда я уйду из прекрасного дома,
Будет всем, в нем оставшимся, грусть незнакома.

Пусть, когда мой Шебдиз в звездной выси краи́
Поспешит,— мой привет к вам домчится, друзья!

Волей звезд я унесся из тесной ограды.
Быть свободным, как я, будьте, смертные, рады!»

Царь письмо запечатал и в милый свой край
Отослал и забылся: направился в рай.

В ночь до самой зари все стенал он от боли,
Днем страдал Венценосец все боле и боле.

Снова ночь. В черный саван простор облачен.
Небосвод — под попоною черною слон.

Солнце лик свой, укрытый за мрака краями,
Стало с горестным стоном царапать ногтями.

Звезды ногти остригли в печали,— и мгла
В серебристых ногтях над землей потекла.

Царь свой лик опустил; царь склонился на локти,
И вдавила луна в лик свой горестный ногти.

Всю полночную мглу тканью сделать смогли
Чьи-то руки, и мгла скрыла плечи земли.

Яд смертельный, добытый из глотки Денеба,
В горло месяца влили, не слушаясь неба.

Государь изменился, печалью томим,
Смертный час он увидел над ложем своим.

Кровь застыла в ногах, словно сдавленных гнетом,
От кипения крови покрылся он потом.

Смертный миг отобрал черноту его глаз.
Погасал его свет, наступил его час.

Изнемог он душой, и душа улетела:
Срок пришел для души, поспешавшей из тела.

С благодатной улыбкой, стремясь к забытью,
Возвратил он создателю душу свою.

Так легко он угас в тьме мучительной ночи,
Что сей миг пропустили взирающих очи.

Птица быстрая тотчас взлетела туда,
Где приметила свет неземного гнезда.

Много мудрых. Но мудрости даже бескрайной
Овладеть невозможно великою тайной.

Если знающий вник в суть неведомых дел,
Почему сам себе он помочь не сумел?

Царь покинул свой дом в мире темном и бурном
И престол свой поставил в пределе лазурном.

Много благ от него видел горестный свет,
Но обидой и злом был от света ответ.

Уходя за завесу, овеянный славой,
Все ж он лютой земли суд изведал неправый.

Хоть устал он душой, по дорогам спеша,
Новый путь обретя, торопилась душа.

Отовсюду, куда бы ни гнал он гнедого,
Слал он вести; текли они снова и снова.

Почему же, отправясь в безвестность, не смог
Хоть бы весть он прислать с неизвестных дорог?

Да! Ушедшие вдаль из-под самого крова
Забывают все тропы звучащего слова.

Если б знать нам о том, что укрыто от глаз,
О таимых путях мой поведал бы сказ.

...Царь велел, уж предчувствуя с миром разлуку,
Вверх из гроба поднять его правую руку

И, вложив горстку праха в бессильный кулак,
Возвещать, всем подав этот горестный знак:

«Царь семи областей! Царь пространства земного!
Царь! Единственный царь! Всех могуществ основа!

Все богатства стяжал сей прославленный шах,
Но в его кулаке ныне только лишь прах.

Так и вы, уходя,— звезды злы и упрямы! —
Горстку праха возьмете сей мусорной ямы!»

Шахразур покидая, царя унесли
От врагов в даль египетской мирной земли.

...И, покинув царя, от Египта границы
Все ушли. Царь остался во мраке гробницы.

Нрав у мира таков: с многомощным царем
До конца он дойдет и забудет о нем.

Много тысяч владык эту участь познали,
И течет этот счет в бесконечные дали.

Но избегнуть нельзя рокового пути,
И конца этой нити вовек не найти.

Не постичь звездной тьмы над пределами шара,
Ты для песен о том струн не трогай дутара!

...Дел мирских избегай, перед ними дрожа,
Ведь безмолвная рыба избегла ножа.

В бурю дня правосудья, поверь, не могли бы
Утонуть только люди, что были б как рыбы.

Мир лавчонкой мотальщика шелка я счел:
В ней и с пламенем печь, и с водою котел.

В ней на обод один мастер тянет все нити,
А с другого снимает. В уме сохраните

Изреченье: «Весь мир наш, который так стар,—
Снизу сумрачный прах, сверху — блещущий пар».

Все в борьбе тяжкий прах с легкой областью пара,
И друг другу они словно вовсе не пара.

Если б ладило небо с землею, пойми,
Издеваться не стало б оно над людьми.

Низами! Не влекись в сеть подлунного края,
Ничего не страшась и других не пугая.

Если в гости к себе приглашает султан,
Не раздумывай: знак отправления дан.

На пиру, распрощавшись с обителью нашей,
Ты предстань пред султаном с подъятою чашей.

Искендер, выпив чашу, как роза, расцвел,
Вспомнил бога, уснул, бросил горестный дол.

Всем испившим ту чашу,— благая дорога!
Все забыв, поминайте единого бога!

ПРИБЫТИЕ ПОСЛАНИЯ ИСКЕНДЕРА К ЕГО МАТЕРИ

Глава открывается описанием зимы. В Рум приходит весть о смерти Искендера. Ожидают восшествия на престол его сына Искендеруса. Мать Искендера исполняет его просьбы. Вскоре она, тоскуя о сыне, умирает.

ПЛАЧ ИСКЕНДЕРУСА ПО ОТЦУ И ЕГО ОТКАЗ ОТ ПРЕСТОЛА

Искендерус был достоин престола, говорит Низами, военачальники хотели его возвести на трон, но он не желал владеть ничем бренным, временным и думал только о боге. И Искендерус, вызвав всеобщее изумление, отказался от власти, предпочитая ей высшие ценности духовной жизни, и удалился в горную обитель.

КОНЧИНА АРИСТОТЕЛЯ

Прошли великие времена, умер Искендер, вслед за ним стали умирать все его мудрые спутники. Аристотель на смертном ложе. К нему приходят мудрецы задать последние вопросы. Аристотель говорит, что «ведал о мире невежды не боле», и советует им бросить пустые попытки познать этот мир. Он держит в руке яблоко. Когда душа его отлетела, яблоко упало к ногам собравшихся мудрецов (эпизод из античной «Книги яблока», переведенной на арабский язык).

КОНЧИНА ХЕРМИСА

Почувствовав приближение смерти, он идет на берег моря, говорит краткую речь о тяжкой обузе бытия, сравнивает себя с загнанной газелью, ждущей стрелы охотника, вспоминает о своем едином прибежище — боге, и засыпает вечным сном.

КОНЧИНА ПЛАТОНА

Платон говорит перед смертью, что его считают самым великим мудрецом, заглянувшим даже за завесу смерти, он же чувствует себя лишь малым ребенком, засыпающим в колыбели. Никаких загадок он на самом деле не разгадал... Он тихо угасает.

КОНЧИНА ВАЛИСА

Валис узнает по звездам, что его кончина близка. Он говорит собравшимся мудрецам: все в мире — добро и зло, счастье и несчастье — зависит от звезд, планет. Сказав это, он умирает.

КОНЧИНА БУЛИНАСА

Булинас говорит перед смертью о переселении душ, о том, что его душа бессмертна, подобно Хызру, и свободно порхает в бытии. Сказав это, он покидает друзей.

КОНЧИНА ФАРФОРИЯ (ФУРФУРИУСА)

Он говорит о непостоянстве мира, о том, что добро в нем не уравновешивает зло, и умирает.

КОНЧИНА СОКРАТА

Я слыхал, говорит Низами, что Сократа тайно отравили (это, разумеется, искажение известной античной традиции). Почувствовав приближение смерти, он не горевал. Его спросили, где его похоронить. Сократ ответил: «Не думайте о мертвецах, где хотите зарыйте»,— и умер.

КОНЧИНА НИЗАМИ

(Эту главу пытались приписывать сыну Низами и считали составленной после его смерти; скорее всего, она написана самим автором для композиционного равновесия — сравни главы, где речи мудрецов о сотворении мира завершаются речью Низами.) В главе сказано, что Низами исполнилось шестьдесят три года и шесть месяцев...

Все сказав о мужах, озарявших своими
Поученьями всех, он ушел вслед за ними...
Он умолк. Ты сказал бы, что сон его нежил.
Он уснул, он как будто бы вовсе и не жил.

ОБРАЩЕНИЕ К МЕЛИКУ ИЗЗ-АД-ДИНУ МАСУДУ СЫНУ АРСЛАНА, И ПЕРЕДАЧА ЕМУ СЫНОМ НИЗАМИ «КНИГИ О СЧАСТЬЕ»

Традиционное восхваление второго адресата поэмы — правителя Мосула Масуда II. Далее Низами кратко говорит о содержании «Искендер-наме», о своей тяжкой болезни, близкой смерти и препоручает шаху своего сына и поэму.

ОКОНЧАНИЕ «КНИГИ О СЧАСТЬЕ»

В этой главе Низами говорит о том, что он желает своей поэме внимательного читателя, который смог бы понять всю ее глубину и оценить ее по достоинству. Он боится глупых читателей, боится «бросить жемчуг в кипенье бегущей волны». Далее следуют намеки, которые можно понять в том смысле, что уже написанную поэму у него отнял, очевидно, правитель Гянджи. Затем он снова жалуется на свой недуг (несмотря на болезнь, вдохновение не покидает поэта), говорит о близкой смерти, готовится к ней. Завершает главу еще одно славословие Масуду.

ПРИМЕЧАНИЯ

После шести веков рукописной передачи текста поэм Низами на Востоке в середине XIX века в Иране и Индии появляются первые, страдающие многими недостатками, литографированные издания «Пятерицы». В это же время в Европе и России делаются первые попытки критически издать тексты отдельных поэм и их отрывков, выходят немногочисленные переводы Низами на европейские языки, работы о нем. Лишь в 30-е годы XX века в Иране выходит семитомное научно проверенное издание всего сохранившегося наследия Низами, подготовленное Вахидом Дастгирди, а в Праге издается прекрасно выполненный Я. Рыпкой и Г. Риттером критический текст «Семи красавиц».

В конце 30-х годов в СССР было принято решение провести в 1941 году всесоюзное торжественное празднование восьмисотлетнего юбилея Низами. Перед учеными Азербайджана, родины поэта, а также Ленинграда, где тогда находился крупный востоковедческий центр, была поставлена задача составить к юбилею полный критический текст персидского оригинала «Пятерицы» по старейшим и лучшим рукописям. Издание В. Дастгирди, при всех своих достоинствах, не удовлетворяло многим современным требованиям текстологии (выбор чтений там был в значительной степени произвольный, разночтения почти не давались и т. п.). Новое издание должно было заменить его. На базе нового издания намечалось подготовить словарь-конкорданс языка Низами, подобный словарю языка Пушкина и словарю языка Руставели. Работа была возглавлена Е. Э. Бертельсом и А. А. Али-заде. Е. Э. Бертельсом параллельно были подготовлены две монографии о Низами, изданные в 1940, 1949, 1956 и 1962 годах и занявшие значительное место среди вышедшей до и после юбилея литературы (работы Г. Араслы, М. Шагинян, А. Н. Болдырева, Ю. Н. Марра, К. И. Чайкина, И. С. Брагинского и др.). К весне 1941 года критический текст «Пятерицы» был готов, однако

война помешала его опубликованию. Ко времени состоявшегося в 1947 году в Азербайджане юбилея Низами увидели свет две части «Искендернаме». После смерти Е. Э. Бертельса (1957) А. А. Али-заде довел до конца издание «Сокровищницы тайн» (Баку, 1960), «Хосров и Ширин» (Баку, 1960), «Лейли и Меджнун» (1965). «Семь красавиц» не изданы по настоящее время ввиду наличия хорошего издания Я. Рыпки и Г. Риттера.

Одновременно с подготовкой критического текста «Пятерицы» А. А. Ромаскевич, Е. Э. Бертельс и другие перевели подстрочно все поэмы Низами на русский язык по изданию В. Дастгирди. На основании этого подстрочника русские поэты начали создавать поэтические переводы, и готовые к тому времени части переводов увидели свет перед юбилеем (Низами, Пять поэм, М. 1946). В последующие годы вышли почти полные поэтические переводы на русский язык всех пяти поэм: «Сокровищница тайн», перевод К. А. Липскерова и С. В. Шервинского, М. 1959; «Хосров и Ширин», перевод К. А. Липскерова, М. 1953 (есть другие издания); «Лейли и Меджнун», перевод Павла Антокольского, М. 1957; «Семь красавиц», перевод Владимира Державина, М. 1959; «Искендер-наме», перевод К. А. Липскерова, М. 1955.

В основу настоящего издания положены перечисленные пять переводов. Все переводы полностью сверены с упомянутым критическим текстом под редакцией Е. Э. Бертельса и А. А. Али-заде. Улучшения текста оригинала, основанные на старейших и лучших рукописях поэм, по мере возможности учтены при редактировании. К сожалению, автора большей части перевода «Пятерицы» К. А. Липскерова уже давно нет в живых. В его переводы редакторы внесли все же отдельные мелкие уточнения.

В соответствии с требованиями этого популярного издания «Пятерица» Низами сокращена почти наполовину и опущенные главы заменены довольно подробным изложением их содержания. Включены в издание лучшие главы поэм, наиболее близкие и понятные по содержанию современному русскому читателю, по мере возможности, таким образом, чтобы сохранить связное изложение сюжетов. Философские вступительные главы «Сокровищницы тайн», содержащие наиболее полное изложение религиозно-философской концепции Низами, включены в том полностью, в остальных поэмах аналогичные главы опущены. Пропуски отдельных стихов и частей глав отмечены многоточиями. Это сокращенное издание должно дать русскому читателю общее представление о «Пятерице» Низами.

* * *

Нет надобности много говорить о том, что поэтический перевод на русский язык Низами, поэта, относящегося к иному культурному кругу и отстоящего от нас на семь веков, представляет огромные трудности. Затруднения здесь не только в передаче национального, идеологического, психологического своеобразия, передаче языковых средств, идиоматики. Они возникают и при переводе прозы[1]. Основная трудность поэтического перевода Низами состоит в том, что его художественное мировоззрение, как и у каждого великого поэта, слито со словесной тканью произведения. Как сказал В. Брюсов, «стихи пишутся затем, чтобы сказать больше, чем можно в прозе». Низами, применяя обычную для средневековья религиозную фразеологию, так выражает эту же мысль в «Сокровищнице тайн»:

«Речи мудрецов не принадлежат ни к одному из известных языков;
Под языком поэта лежит ключ к сокровищнице мысли,
Пророк и поэт — ядро ореха, все прочие — скорлупа».

Великие идеи «Пятерицы» обрели плоть и кровь в гениальном творении поэта, они кристаллизовались по мере создания поэм, ви́дение мира Низами воплощалось в смысловых словесных сопротивопоставлениях, строение содержания, по мере его выражения, сливалось со строением словесной ткани. А эта словесная ткань, разумеется, не может иметь полного эквивалента в другом языке. Надо еще напомнить, что стиль Низами очень сложен, а многие мысли он старался специально шифровать, чтобы они не стали известны непосвященным. Все эти препятствия кажутся просто непреодолимыми.

Преодолеть все эти трудности помогла русским поэтам, как и при любом переводе, избыточность языковых средств поэзии и общность ее человеческого содержания. Читатель оригинала поэм Низами, даже если он знает философию его времени, не сразу овладевает его «речью мудреца, не принадлежащей ни к одному из языков», его системой терминов и символов. Но по мере чтения их повторения в разных сочетаниях делают ясными намерения автора. Русские поэты постепенно овладели поэтическим языком Низами и научились посильно передавать его.

В традиции лучших русских поэтических переводов — следование не формальной точности, не формальному соответствию элементов стихосложения, а стремление к функциональной адекватности перевода. Шестистопный ямб давно уже передает у нас французский александрийский стих, а «русский гекзаметр» — гекзаметр греческий, хотя по языковой природе они совершенно различны. В системе соответствий жан-

[1] Ср. здесь и далее: М. Ю. Лотман, Поэтика, Тарту, 1964, стр. 110, 182.

ров и размеров французской и русской, греческой и русской они выполняют аналогичные функции, и это гораздо важнее формального соответствия. Именно задача достижения функциональной адекватности формы была поставлена перед поэтами-переводчиками первым редактором переводов Низами Е. Э. Бертельсом. Положения, из которых он исходил, ясно изложены в предисловии к изданию «Пяти поэм» 1946 года. Далее цитируем это предисловие Е. Э. Бертельса.

«Сказать, что мы сейчас понимаем Низами до самого конца, еще невозможно. Вероятно, что во многих деталях мы еще заблуждаемся, не чувствуем ряда тончайших намеков. Но одно для нас несомненно: основная линия его творчества, его место в литературе народов Востока стали ясны. А это, в свою очередь, помогало распутывать и те бесчисленные трудности, которые вставали перед коллективом переводчиков в их напряженной, кропотливой работе. «Улучшать» произведения Низами мы не собирались, ибо они в этом не нуждаются. Мы хотели быть настолько точными, насколько это позволяет перевод на иной язык с совсем другой системой мышления. Мы хотели показать Низами таким, каким он был на самом деле.

Ознакомить русского читателя с творчеством такого исключительного поэта, как Низами,— задача крайне трудная. Первое и, может быть, самое главное препятствие, которое здесь приходится преодолеть, это вопрос о характере передачи стихов Низами русскими стихами. Русская поэзия еще в начале прошлого столетия вступила на путь разработки восточных мотивов. Однако поэты-романтики использовали восточные мотивы преимущественно как экзотику. Если и делались попытки переводить, то переводы эти обычно покоились на западноевропейских переводах, уже успевших разрушить форму оригинала. Поэтому исходить из накопленного опыта сейчас уже невозможно.

Характерный для нашей страны интерес к творчеству народов, населяющих восточные республики Союза, привел к громадному росту переводов с различных восточных языков. Достигнут ряд солидных успехов. Однако все же нужно сказать, что некоторые вопросы окончательного разрешения не получили и по сей день.

Это в первую очередь вопрос о передаче формы поэзии тех народов, которые пользовались арабско-персидской метрикой, так называемым арузом. Метрика эта имеет известное сходство с метрикой античной. Она тоже построена на качестве слога и различает слоги долгие и краткие. Напомним, что все попытки передачи античных размеров в русской поэзии обычно исходили из замены долгого слога на слог ударный. Эта замена, конечно, не дает языкового эквивалента оригинала, но все же как некоторый функциональный суррогат принята быть могла бы. Однако применение ее к арузу возможно лишь в очень редких случаях. Никакая стихотворная техника переводчика не поможет, если стопа со-

держит три долгих слога, то есть должна была бы передаваться тремя ударными подряд.

Но даже если бы переводчику и удалось передать при таких условиях схему восточного метра, мы все же по существу почти ничего не добились бы. Дело в том, что ударение в поэзии этих народов отнюдь не играет той роли, которая свойственна ему в поэзии русской. Долгий слог может оказаться ударным, но может им и не быть. Однако тем не менее долгота его крайне существенна, ибо стихи эти в те века, когда складывалась эта поэзия, не читались, а пелись особым речитативным напевом, несколько напоминающим распев наших исполнителей былин. Каждая определенная тема эпической поэзии имела свой напев, и только на этот напев и могла исполняться. К сожалению, мы почти ни одной записи этих напевов не имеем. И нужно прямо сказать, что сейчас уже почти нет надежды выяснить, какие напевы были присущи поэмам Низами.

Традиция подлинного исполнения этих поэм утрачена. В настоящее время при чтении их метрическая схема уже не учитывается. Они читаются с теми же ударениями, которые свойственны обычной разговорной речи. Но при таком чтении наше ухо ритма уже почти не улавливает. Он делается крайне капризным, варьирует почти для каждой строки, и попытка передачи его по-русски привела бы к стиху, для нас совершенно неприемлемому.

Можно было бы прийти к выводу, что при таких условиях нет смысла добиваться в переводе каких-то эквивалентов. Надлежит просто использовать те русские размеры, которые окажутся наиболее удобными. Может быть, в некоторых случаях это и допустимо, но в применении к Низами все же так поступить невозможно.

Труд жизни этого великого поэта — его «Хамсе» или «Пятерица» — пять больших поэм. Каждая из них написана своим размером, выбор которого, конечно, был не случаен. Как уже отмечалось выше, поэмы вызвали на Востоке сотни подражаний, причем каждый данный сюжет раз и навсегда оказался связанным с избранным для него Низами размером. Следовательно, не учесть этого обстоятельства — означало бы не учесть очень важный в культурном и художественном отношении фактор. В данном издании вопрос разрешен так, что из всех возможных в русской поэзии размеров выбраны те, которые наиболее близко подходят к данному метру оригинала, но, конечно, к сожалению, его схеме, а не его напеву.

Второй вопрос — передача рифмы. Эпическая поэзия Ближнего Востока уже с десятого века приняла систему парных рифм, так называемых бейтов. При передаче ее наши поэты сперва придерживались правила применения только мужской рифмы, исходя из того положения, что в языках иранской и тюркской систем ударение падает на последний слог. Это положение верно, но не совсем. Во-первых, ударения в этих

языках много слабее, чем в русском, во-вторых, часто на конце строки оказываются вспомогательные глаголы, энклитики и т. п., ударения почти не несущие. Таким образом, у русского слушателя многие рифмы Низами могут вызвать впечатление женских и даже дактилических. Поэтому переводчики позволяют себе разнообразить рифму, не стараясь, однако, в точности повторить расположение мужских и женских рифм оригинала. Так как никакой системы в этом отношении у Низами нет, то соблюдение его расстановки оказалось бы педантичной схоластикой, излишне затрудняющей переводчика и ничего не дающей читателю.

Наконец, третья трудность — передача всего того изобилия образов, которыми переполнены стихи Низами. Поэзия Азербайджана в XII веке пользовалась особым стилем, который можно было бы условно назвать «орнаментальным». Характерная черта его — стремление к максимальному повышению веса каждого слова в строке, путем введения многочисленных фигур, широчайшего использования игры словами, чему в значительной степени содействует полисемантичность лексики персидского литературного языка того времени. Совершенно очевидно, что весьма многие из этих фигур, особенно там, где использованы омонимы, в переводе сохранены быть не могут. Крайнее затруднение вызывают и метафорические эпитеты, приложение которых к данному имени обусловливается вторым и третьим его значениями.

Вместе с тем переводчик не может вступить на путь передачи только смысловой стороны строки, не считаясь с той формой, в которую этот смысл заключен. Такой перевод представлял бы собой только пересказ содержания поэм Низами. При переводе была сделана попытка сохранить, где это только возможно, всю «орнаментальность» стиля Низами. Результатом этого является тот своеобразный «затрудненный» язык, которым отличаются переводы этого однотомника... Наиболее сложные строки снабжены нами комментарием, позволяющим русскому читателю понять содержащиеся в них намеки».

Эти комментарии Е. Э. Бертельса использованы нами при составлении новых, расширенных комментариев к данному изданию «Пяти поэм».

* * *

Начертания собственных имен и непереведенных слов, по мере возможности, унифицированы во всей книге. Однако в некоторых случаях это оказалось невозможным. Например, покойный К. А. Липскеров принял всюду написание «Бехрам», и в соответствии с таким произношением инструментованы гласными строки его перевода. У В. Державина же принято всюду «Бахрам». Менять перевод Липскерова мы не решились. Одни переводчики предпочитали написание «Зухре», и это слово

у них рифмуется, другие же предпочли «Зухра» (несколько иная система транскрипции). Размер требует иногда чтения «чоуган», иногда «човган». Такого рода незначительные различия оставлены без изменений и отмечены в примечаниях и словаре.

В качестве иллюстраций для этого тома воспроизведены миниатюры, которые в XVI веке исполнили на страницах рукописи «Хамсе» («Пятерицы») Низами лучшие художники Тебриза. Рукопись предназначалась для шаха Тахмаспа из династии Сефевидов. Переписал ее в 1539—1543 годах первоклассный каллиграф Низамеддин Шах-Махмуд Нишапури. На миниатюрах есть подписи прославленных азербайджанских художников того времени: Султан Мухаммеда, Ага Мирека, Мирза Али, Мир Сеид Али, Мир Мусаввира и Музаффар Али. На титуле рукописи безвестный восточный ценитель изящного начертал по-персидски слова: «Око времени никогда не видело подобного». Рукопись в настоящее время хранится в Британском музее в Лондоне.

СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН

Стр. 25. *«В прославленье Аллаха, что благом и милостью щедр!»* — дословно: «Во имя Аллаха всемилостивого и всемилосердного» — первые слова Корана, которые мусульмане, по обычаю, ставят в начале каждой книги. Низами ввел их в стихотворный метр поэмы.

Вот к премудрости ключ, к тайнику сокровеннейших недр.— Намек на то, что *тайник-сокровищница,* поэма «Сокровищница тайн», написана символическим языком, понятным во всех аспектах лишь посвященным, суфиям. Первые слова Корана, будучи истолкованы с помощью числовых значений букв и прочими способами, применяющимися суфиями, являются ключом к шифру «Сокровищницы тайн». Это не исключает, конечно, прямое восприятие символов и притч поэмы.

Испокон пребывающий, сущего предбытие...— Здесь начинается сложнейшее символическое изложение принятой суфиями мусульманской космогонической концепции. *Предбытие* — идеальный «горний мир», потусторонний мир, из которого, согласно этой концепции, путем волевого акта Аллаха-демиурга, метафорически описываемого формулой приказа «Будь!», эманировали перворазум («порядок мира»), мировая душа («источник движения»), первонатура («порядок» материального мира) и материя.

Каламу времен...— *Калам* — символическое «перо», упоминаемое в Коране, которым Аллах до творения начертал на скрижали все судьбы вселенной.

Стр. 25. *Всех творец родников...*— *Родники* — первые эманации (перворазум и т. д.), явившиеся источником следующих эманаций.

Поощряет он тех, кто свой внутренний мир изощряет.— Речь идет о пророках и мудрецах-суфиях, которые, благодаря силе волевого акта Аллаха, создавшего мир, оказываются способными познать тайны этого мира. Источником глубочайшей интуиции мудреца сочтено здесь божественное вдохновение, которое Аллах посылает по своей воле, подобно тому, как он по своей воле сотворил мир. Параллельность творения и интуитивного познания — основа мусульманской концепции.

Стр. 26. *Все и было и не было, все что высоко и низко, // Может быть и не быть, от не сущего сущее близко.*— Низами касается здесь учения о том, что истинным бытием обладает лишь Аллах, материальные формы мира же — преходящи во времени и потому не имеют абсолютного бытия.

Свет нарциссов твоих...— *Нарциссы* — глаза, обычный образ поэзии того времени.

В неуемном стремленье к двум-трем деревням разоренным.— Под деревнями Низами подразумевает материальный мир, или, согласно средневековому комментарию, всю обитаемую часть земли. Мир материальный ничтожен и неустроен по сравнению с потусторонним миром, потому он подобен разоренным деревням.

Узел, мысль сожигающий, не был еще разрешен, // Локон ночи тогда был ланитами (буквально: лицом) *дня полонен.*— В этом бейте двойной символ: почь не была отделена от дня, свет от мрака, и плотные, материальные эманации (материя) не были отделены от тонких, духовных эманаций (перворазум и т. п.). Сравнение «горнего мира» с сияющим белизной и красотой лицом красавицы, а материального мира — с ее черными вьющимися («запутанными») локонами — обычный образ суфийской поэзии.

Стр. 27. *Жемчуг небес* — семь планет, семь «подвижных звезд» тогдашней астрономии.

Семь узлов — семь климатических поясов обитаемой части земли — деление географии времени Низами.

Тучи желчный пузырь из морских он исторгнул глубин.— Так Низами описывает то, что мы сейчас называем «круговорот воды в природе». Сопоставление тучи с желчным пузырем основано на распространенной во времена Низами взаимной символизации микрокосма (человека) и макрокосма (вселенной) — кости подобны горам, деревья подобны волосам, сердце — солнцу и т. д.

Из огня и воды...— Низами намекает здесь на древнее учение о «четырех элементах» (огонь, ветер, вода и земля), встречающееся у Гераклита, в Упанишадах и т. п. Согласно этому учению, все материальное составлено из названных четырех элементов.

Непокорности мушку навел на ланиту Адама.— Мушка — черная, она символизирует землю, глину, прах, плотные эманации (Джалал ад-Дин Руми, например, называет весь материальный мир мушкой на лике Аллаха), лицо — светлое. Адам, человек, сотворен Аллахом из праха и духовных субстанций, и его материальная природа мешает ему быть только духовным, светлым, во всем покорным Аллаху.

Он Венере велел стать певицею.— Планета *Венера* — покровительница музыки.

Стр. 28. *О стопу его речи, чьи силы от века велики, // Камень лоб раздробил у шатра, что достоин владыки.*— Согласно средневековому комментарию, здесь и далее речь идет о силе слова, которому нет преград, и слабости человеческого разума, неспособного познать Аллаха.

Но из праха у врат его зернышко вышло такое.— Низами под *зернышком* подразумевает сердце, которое материально, создано из праха, но, согласно суфийскому учению, силой любви, страсти может познать бога.

Стр. 29. *То воскликнуть: «Я — истина!» — ты лишь единственный вправе.*— Низами намекает здесь на известного суфия X века Халладжа, который, согласно преданию, достигнув мистического единения с богом, воскликнул: «Я — истина!» (то есть: «Я — бог!»), за что был жестоко казнен по решению совета духовных особ, признавших его еретиком.

Стр. 30. *Столик шестиугольный своим разломай ты ударом // И расправься решительно с девятиножным мимбаром.— Столик* — земной мир, имеющий шесть сторон, шесть направлений (верхнее, нижнее, переднее, заднее, правое и левое); *мимбар* — престол Аллаха, покоящийся, по средневековым представлениям, на девяти небесах. Низами призывает здесь Аллаха уничтожить землю и небо, призывает приблизить день Страшного суда. В последующих бейтах он говорит об уничтожении планет, ночи и дня, вращения сфер («пыль» — ночь, «шатер» — небо, «покой» — полюс).

Стр. 31. *...пыль твоих ног — исцеленье для глаз.*— Распространенный поэтический образ, обозначающий высшую степень покорности. Прах под ногами того, кому поклоняются, сравнивают с сурьмой, которой подводят глаза. Сурьма, по тогдашним представлениям, улучшает зрение и исцеляет от глазных болезней.

Носим в ухе кольцо, словно дверь в твоем горнем жилище.— Сложный образ. Рабы во времена Низами носили в ухе кольцо, серьгу; *носим в ухе кольцо* — значит: мы — твои рабы. Кольцо в ухе раба Низами сравнивает с кольцом на двери, которым стучат в дверь, прося отпереть. Он хочет этим сказать, что покорность делает молитву доходчивой, проникающей в «горнее жилище» Аллаха.

Стр. 32. *Но хадис «О постигшем Аллаха»...*— Намек на изречение, приписываемое пророку Мухаммеду: «Кто познал Аллаха, совершенны речи его».

Стр. 33. *«Алиф», только лишь был он на первой начертан скрижали.*— Здесь и далее Низами описывает воцарение пророка Мухаммеда над миром через аллегорию последовательного написания арабских букв, составляющих его имя: алиф, ха, мим, даль — Ахмад — иная грамматическая форма имени Мухаммед, которая также значит «Прославленный».

«Был пророком» — хадис...— Низами имеет в виду изречение, приписываемое Мухаммеду: «Я был пророком тогда, когда Адам был еще между водой и прахом». Согласно мусульманскому учению, пророк Мухаммед, хотя и явился на землю самым последним, после Адама, Авраама, Ноя, Моисея и Христа, получил свою миссию от Аллаха ранее Адама. В христианстве пришествие Христа на землю открывает во времени новую историческую эру, в исламе же временная последовательность второстепенна, на первом месте — особого рода иерархия пророков, последний из них — самый главный, и потому он в известном смысле — «ранее Адама», «выше Адама».

Стр. 34. *С Мекки дань собирает его на чужбину уход.*— Согласно жизнеописанию Мухаммеда, его уход из родного города Мекки в чужую Медину (622 г., начало мусульманского летоисчисления) привел в конечном счете к окончательной победе и подчинению Мекки, с которой пророк впоследствии получал дань.

Вознесение пророка (по-арабски — ми'радж) — описано в Коране. Согласно этому преданию, вознесение было вне времени — вода из опрокинутого ногой пророка кувшина не успела вылиться, но за этот миг дух («сердце») Мухаммеда оставил материальный мир, преодолел на мифическом коне Бураке все девять небес с их планетами и созвездиями и лицезрел Аллаха.

Стр. 35. *Ночью темной, как амбра, жемчужину неба ночного // Бык небесный похитил, изъяв из ноздри у земного.*— Один из сложнейших поэтических образов Низами. Общий смысл этого бейта таков: ночью дух пророка с земли поднялся на небо. Образ построен так: *жемчужина* — дух, божественная суть пророка, *бык небесный* — созвездие Тельца. Согласно средневековому поверью, у мускусного быка в носу есть светящаяся жемчужина, при свете которой он пасется по ночам. Этот мускусный бык — *земной бык* — здесь символ земли. Жемчужина — божественная суть пророка — находилась «в носу мускусного быка» — на земле, потом небесный бык — созвездие Тельца — похитил ее,— божественная суть вознеслась на небо. В последующих бейтах говорится о том, как дух пророка пролетал через различные созвездия.

Неба Колос...— созвездие Девы, названное по-арабски «Колос».

Стр. 36. *...губительный вред Козерога.*— В созвездии Козерога в момент вознесения пророка находилась планета Сатурн, насылающая, по астрологическим представлениям того времени, всякие беды.

Стал Иосифом в Кладезе, солнцу подобно, пророк, // Стал Ионою Рыб, ибо Кладезь от них недалек.— Кладезь — колодец — перевод арабского названия созвездия Водолея. Дух пророка оказался в созвездии Водолея, и Низами сравнивает это с преданием о том, как библейский Иосиф Прекрасный был брошен в колодец, затем дух пророка пролетал созвездие Рыб — и Низами снова сравнивает это с преданием о том, как библейский Иона попал во чрево кита («рыбы»).

Вечный «лотос предела» — сорочки пророка перед.—Лотос предела— обычный перевод арабского названия упомянутого в Коране мифического «райского древа» — «Сидрат ал-мунтаха». Это древо, по Корану, находится на краю девятого неба, перед престолом Аллаха. Коснувшись грудью «лотоса», дух пророка пролетел дальше.

Глаз-нарцисс лишь один насурьмлен был стихом: «Не косись!» — В Коране Аллах говорит Мухаммеду: «Не смотри по сторонам!» По мысли Низами, пророк почтительно приложил этот стих Корана к глазам — как бы «насурьмил» этим стихом глаза — и выполнил веление Аллаха, не смотрел по сторонам.

Стр. 37. *С рукава у небес он списал сокровенный «а-лям».— «А-лям»* — криптограмма, начинающая некоторые главы Корана. Смысл ее неизвестен. Суфии придавали ей глубокое мистическое значение.

Стр. 38. *...лицезрение бога возможно.*— Тема жарких схоластических споров эпохи Низами о том, какими глазами видел Мухаммед Аллаха во время вознесения. Низами отстаивает здесь суфийскую точку зрения, согласно которой плоть Мухаммеда претерпела такие изменения, что он видел Аллаха телесным зрением. В противоположность ортодоксальному духовенству, буквалистам, он описывает вознесение Мухаммеда не как физический полет, а как внутреннее странствие, подобное странствию Данте по кругам рая. Тело Мухаммеда физически оставалось на месте, но дух, божественная суть его, вне времени осуществила описанный Низами путь. Если принять во внимание, что, согласно суфийским астрологическим представлениям, органы человеческого тела мистически соответствуют созвездиям, входящим в двенадцать созвездий зодиака, противоречие между вознесением духа пророка на небо, участием тела пророка в этом вознесении (ср. стих: «Вместе с клеткой плотской из земной унеслась западни Птица сердца...») и физической неподвижностью тела пророка — снимается.

Стр. 39. *Девой звездной встает гиацинт среди неба дневного, // В алом яхонте солнца его изначальна основа.*— Очень сложный образ. *Дева* — созвездие Девы, *гиацинт* — черные волосы пророка («созвездие

Девы» и «гиацинт» на фарси — омонимы). Сияние волос пророка породило свет солнца, подобно тому как свет солнца порождает яхонты в глуби скал (представление средневековой мусульманской минералогии).

Стр. 39. *Как же камень пророку мог выбить жемчужину зуба?* — В жизнеописании Мухаммеда рассказано о том, что во время одного из сражений с противниками ислама воин метнул из пращи камень и выбил пророку зуб.

Стр. 40. *Стала вирой победа...* — то есть победа пророка в этом сражении стала вирой за его выбитый зуб.

Стр. 41. *Ты у слова «страданье» начальную точку унес.* — Если у написанного арабскими буквами слова «страданье» (захмат) снять одну диакритическую точку с первой буквы, получится «милосердие» (рахмат).

Стр. 42. *На четыре основы твое оперлось мусульманство, // Пять моленний на дню — твоего ноубаты султанства.* — *Четыре основы* — четыре «столпа» ислама: ежедневная пятикратная молитва, пост в месяце рамазане, налог в пользу бедных, паломничество к храму Каабы в Мекке. Пятикратную молитву Низами сравнивает с *ноубат* — игрой султанского оркестра перед дворцом в определенное время дня, а пророка сравнивает с султаном.

Не твои ли шаги... По небесному своду... — Речь идет о вознесении пророка, описанном в одной из предыдущих глав.

Если б зеркала круг не был утром предвечным воздет, // То на низменный прах не упал бы твой истинный свет. — Смысл бейта таков: если бы начало творения не отбросило божественный свет, подобно тому как зеркало отбрасывает отблеск, свет пророчества не пришел бы на землю. Ср. выше, прим. к стр. 25 — о параллельности творения и божественного откровения.

Стр. 43. *Дужка горней бадьи — лишь веревка ведра твоего.* — *Бадья* — переносное обозначение созвездия Водолея. Смысл бейта: самый верх созвездия Водолея все же ниже того места на небе, где восседает пророк.

Двое — черный и белый... — то есть ночь и день.

Ты, с мединским плащом и мекканской вуалью!.. — Обращение к Мухаммеду, который родился, жил и начал проповедь новой религии — ислама в Мекке, подвергся там преследованиям и был вынужден переехать со своими сторонниками в Медину.

Дэвы в дом забрались... — Здесь и далее Низами резко осуждает лицемерное, жадное, лживое ортодоксальное духовенство, давно отступившее, по его мнению, от истинных заветов Мухаммеда и вместо духовной религии предавшееся схоластике и приобретению мирских благ.

Стр. 44. *Если мы муравьи, ты для нас окажись Соломоном.* — Согласно легенде, муравей принес царю Соломону «посильную лепту» —

высохшую лапку саранчи, но был благосклонно принят царем как потрудившийся в меру своих сил.

Дней пятьсот пятьдесят мы проспали...— то есть со дня смерти пророка прошло пятьсот пятьдесят лет.

...прикажи Исрафилу задуть // Тех светильников пламя...— По Корану, в день Страшного суда архангел Исрафил вострубит в трубу и Солнце и Луна погаснут.

Власяницы свои оба мира совлечь не преминут — то есть оба мира, земной и духовный, будут вне себя от радости. Суфии в момент экстаза сбрасывали с себя власяницы, которые они обычно носили.

Стр. 45. *Тот, кем бейт бытия был во имя посланника начат, // Знал, что имя его только рифмой конец обозначит.*— То есть Аллах, начав творить мир («писать стих бытия»), знал, что в конце концов в мир придет пророк, неизбежно появится, как рифма в конце стиха.

Съел Адам то зерно...— По Корану, Адам, совершая грехопадение, съел зерна пшеницы, а не яблоко, как в Библии. Здесь и далее Низами утверждает превосходство Мухаммеда над всеми другими, прежними пророками, включая в их перечисление, как и некоторые другие мусульманские авторы, Давида и Иосифа.

Но когда его конь устремился пшеницу топтать, // Мяч пришлось ему бросить и в угол ристалища стать.— Сравнения взяты здесь из игры в човган (конное поло). Конь Адама потянулся к пшенице (произошло грехопадение), и Адам не смог «повести мяч» (осуществить свою миссию пророка), «выбыл из игры». Аллах велел ему «стать в сторону», как игроку в човган, под которым заупрямилась лошадь.

Стр. 46. *Колыбель Авраамова много ль смогла обрести? // Полпути проплыла и три раза тонула в пути.*— То есть пророк Авраам не только выполнил свою пророческую миссию лишь наполовину, но и три раза в жизни лгал, отступал от покорности Аллаху. Библейское предание о Моисее, плывшем по реке в колыбели, Низами относит к Аврааму.

Увидал Моисей, что он чаши лишен послушанья, // И о гору «Явись мне» сосуд он разбил упованья.— То есть Моисей не достиг той степени покорности Аллаху, которой впоследствии достиг Мухаммед. Согласно преданию, Моисей сказал богу на горе Синай: «Явись мне»,— и в ответ услышал: «Ты меня не увидишь!»

Стр. 47. *Шестидневный нарцисс...*— то есть весь материальный мир, сотворенный за шесть дней.

Не бывало, чтоб буквы писал ты своими перстами.— Согласно жизнеописанию Мухаммеда, пророк никогда ничего не писал, чтобы неверные не сочли ничтожным и не истребили написанное им.

Стр. 48. *...прославлена свежая роза моя.*— Имеется в виду поэма «Сокровищница тайн». Низами, говоря в этой главе о достоинствах поэмы, сравнивает себя с соловьем, поющим хвалы розе.

Я дышу лишь тобой... — Обращение к Бахрамшаху. Эта глава — продолжение предыдущей.

В двух краях засверкали две книги. В своей благодати // Два на них Бахрамшаха свои положили печати. — Низами говорит здесь и далее о двух книгах: своей «Сокровищнице тайн», поднесенной Фахраддину Бахрамшаху, правителю Эрзинджана (в Малой Азии, Руме), и поэме «Сад истин» Санаи, которая была поднесена около 1140 года правителю Газны, по случайному совпадению также носившему имя Бахрамшаха.

Поэма Санаи — первое поэтическое изложение мистических суфийских учений на персидском языке, зашифрованное сложнейшими символами и понятное полностью только тем, кто эти учения знает. Другой знаменитый суфий — Джалал ад-Дин Руми (XIII в.) — написал свое «Месневи» по просьбе учеников, которые не могли понять «Сад истин», как пояснение глубокого содержания этой поэмы. Низами в этих бейтах противопоставляет «Сокровищницу тайн» «Саду истин» (указывая на много меньший объем своей поэмы), очевидно, в том смысле, что в «Сокровищнице тайн» применен совсем новый метод поэтического изложения отдельных частей учения суфиев.

В небольшой поэме, тематически связанной с «Садом истин», Санаи излагает суфийское учение об аде, поразительно напоминающее «Божественную комедию». Как полагает один испанский востоковед, части того же учения, через переводы с арабского на латынь произведений суфия XIII века Ибн ал-Араби, были известны Данте. Отсюда — отдельные совпадения между «Сокровищницей тайн» и «Божественной комедией».

Дар из пучины возник. — *Пучина* — море, по-персидски омоним слова, которое значит «стихотворный метр». Низами говорит здесь о том, что его поэма написана другим стихотворным метром, чем «Сад истин».

Стр. 50. *...я в кольце, и заказан мне путь.* — Низами говорит здесь о том, что в то время, когда он пишет эти строки, кругом идет война, и он не может приехать к Бахрамшаху.

Стр. 51. *В час как начал надзвездный свои начертанья калам.* — По мусульманскому учению, предвечно сотворенный калам (тростниковое перо) начертал на скрижали в горнем мире все судьбы вселенной (ср. выше). Таким образом, первым в порядке сотворения мира было слово. Эта гностическая теория встречается в Коране (божественный приказ «будь!» ср. выше), в Евангелии от Иоанна («Вначале было слово, и слово от бога...») и других источниках. Исходя из нее, Низами придает слову особое мистическое значение.

Стр. 53. *Двух сокровищниц ключ,— достижений великих основа,— // Есть язык искушенных, умеющих взвешивать слово.* — Одна сокровищ-

ница — поэма Низами, вторая сокровищница — божественные тайны суфиев, изложенные символическим языком. В этом и последующих бейтах содержится намек на такую легенду. В ночь вознесения (см. выше) Мухаммед увидел над небесным престолом закрытое на замок помещение. Он спросил архангела Гавриила, что это. Тот ответил: «Это — сокровищница глубоких смыслов, а языки поэтов — ключи к ней».

Есть два друга у Друга...— Друг — Аллах, *два друга* — пророки и поэты, несущие людям божественные тайны.

Клювом бренным ее исторгали.— Клюв — рот человека, созданного, по Корану, из праха.

Стр. 54. *Жарким сердцем горя, на колена чело он положит.*— Здесь и далее описана поза мистической медитации — глубокого раздумья,— когда сидящий по-восточному, поджав ноги, склоняет в раздумье голову до самых колен, как бы замыкаясь кольцом.

Он вдевает кольцо даже в ухо твое, небосвод! — То есть человек может подчинить себе, сделать рабом (см. выше) даже небосвод, судьбу.

Стр. 55 *...куском подавился железным...* — то есть ему перерезали горло по приказу шаха.

От железа Санджара — ведь он серебро! — ускользнул...— то есть тот, кто не унижается ради подачек шаха, может не опасаться и его гнева, и казни.

До поры, как Закон...— подразумевается шариат.

Стр. 56. *...шар у дневного светила отобрал...*— Образ, взятый из игры в човган. Отобрать шар — значит выиграть, победить. Эти слова стали в языке фарси идиоматическим выражением.

Стр. 57. *О наступлении ночи и познании сердца.— Сердце* — в терминологии суфиев — вместилище самых высоких помыслов и чувств, той мистической любви, которая делает возможным единение с Аллахом. Вся глава представляет собой сложное символическое описание личных мистических переживаний Низами, до некоторой степени аналогичных вознесению пророка.

Если падает бык, хоть он был ожерельем украшен, // Все клинки обнажают. Ведь он уже больше не страшен.— Согласно средневековому комментарию, Низами сравнивает заходящее солнце с околевающим быком, которого хозяин спешит прирезать, пока он еще не издох, чтобы выпустить кровь. В образах этих первых стихов главы можно видеть отголоски древних иранских мистерий и жертвоприношений Митре — «солнцу-быку».

Стр. 58. *«Мир с неверными схож, потому-то и сделался черным!»* — Согласно мусульманскому представлению, у «неверных» в день Страшного суда лица станут черными.

Но огонь ты отдай огневому, благому рубину.— Под рубином Низами подразумевает человеческий язык, произносящий благие речи.

Стр. 59. *Синий кувшин* — небо.

Тем, чье чистое племя к девятому небу пришло.— Поэт говорит здесь о праведниках, приблизившихся к престолу Аллаха.

Сорок лет ожидать...— Суфии считали, что глубокие мистические переживания становятся доступными человеку только после сорока лет. Под сорокалетним возрастом они подразумевали срок наступления духовной зрелости. У Низами эта зрелость наступила, очевидно, около тридцати лет.

Ныне друга зови.— *Друг* — Аллах, и одновременно «искренний друг», «помощник», «возлюбленная». Через любовь и искренность, согласно суфийскому учению, лежит путь к богу. Вместилище и любви, и способности познать бога — сердце.

Стр. 61. *Я направился к сердцу...*— Далее идет символическое описание «вознесения Низами».

Из чела сделав ноги, я голову сделал из ног.— Описание сложной позы медитации, применяемой суфиями, а также йогами в Индии (ср. выше, где описана другая поза медитации).

Стр. 62. *Был я в свете лампад, был я в блеске большого покоя.*— Речь идет о проникновении в «мир тела», об осознании, в ходе медитации, своего тела микрокосмом и затем дворцом с султаном, придворными и т. п. В соответствии с этим представлением, Низами говорит далее символически о внутренних органах своего тела: «селенье дыханья» — легкие, «царь полудня» — сердце (или мозг), «красный всадник» — печень, «некий отрок» — желчный пузырь, «мастер засады» — кишечник, «бронзовый стан» — почки, и т. п.

Стр. 63. *От узлов девяти был намерен избавить меня.*— То есть Аллах хотел освободить Низами от власти девяти небес, от оков всего земного. Дальнейшее описание явно перекликается с отдельными местами «Божественной комедии».

Стр. 65. *Травы змей ослепляли: всегда их слепит изумруд.*— Сложный образ. Согласно поверью, изложенному в средневековом комментарии, если змея посмотрит на изумруд, она ослепнет, а изумруд растечется, растает. Таким сложным путем Низами сравнивает свежую зелень лужайки с растекшимся изумрудом.

Стр. 67. *Как еврей, вся земля в ярко-желтом касабе.*— Во времена Низами евреи ходили в желтых одеждах.

Стр. 70. *Говорили о ткани, вещавшей, что прибыл Иосиф.*— *Ткань* — рубашка Иосифа. Согласно Корану, отец Иосифа Иаков, ослепший от горя об утраченном сыне, прозрел, вдохнув запах рубашки Иосифа. Так стало известно, что Иосиф скоро вернется. Этот стих — гиперболическое описание аромата неизъяснимой прелести.

Стр. 71. *Пламень птицы рассвета...*— Речь идет о солнце, которое в древности изображалось в виде крылатого диска.

Стр. 72. *Для лобзанья — фисташка...*— Приоткрытый рот красавицы часто сравнивают в поэзии на фарси с раскрывшейся фисташкой.

Стр. 77. *Он был сыном...*— Речь идет об Адаме.

Свой утратил он стяг.— Намек на грехопадение.

Стр. 78. *Пшеничное зернышко...*— См. прим. к стр. 45.

Лишь один возмутившийся пасть не хотел перед ним.— Намек на Иблиса, дьявола, согласно Корану, не пожелавшего поклониться Адаму и извергнутого за это Аллахом из сонма ангелов.

Стр. 82. *Тот, кто взвешивал ветер...*— то есть занимался бесполезным делом, предавался страстям.

Стр. 85. *Знай, крупица алмазная веры, ведущей из плена, // Камня магов грузней, хоть он был бы увесистей мена.*— То есть крупица веры ценнее мена (около трех килограммов) «философского камня» алхимиков («камень магов»), превращающего свинец в золото.

Стр. 88. *От огня его сердца коня размягчились подковы.*— То есть шах так распалился и так погнал коня, что подковы чуть не расплавились от бешеной скачки.

В том краю он сейчас же тяжелый калам уничтожил.— *Калам* — здесь, в переносном смысле, налоговая запись. То есть он исключил тот край из налоговых списков, снял с него тяжелые налоги.

Стр. 89. *...с земным разлучился он станом...*— то есть умер.

Следуй солнечным всадникам...— то есть иди за теми, от кого исходит свет добра.

Стр. 90. *Ведь всегда молодым оставался прославленный Сам, // Хоть склонял свои взоры он к сына седым волосам.*— Речь здесь идет о легендарных богатырях Саме и его сыне Зале — персонажах «Шах-наме». По легенде, Сам прожил много сот лет. Его сын Заль родился с белыми («седыми») волосами.

Стр. 91. *На двуцветном ковре...*— *Двуцветный ковер* — коварный, быстротечный, переменчивый материальный мир, в котором темную (черную) ночь постоянно сменяет ясный (белый) день.

Стр. 95. *Рабию ты припомни; она ведь в пустыне однажды // Разлучилась с косой для собаки, понурой от жажды.*— Речь идет о персонаже легенды — благочестивой женщине, по имени Рабия, которая, увидев в пустыне умирающую от жажды собаку (для мусульманина — поганое животное) отрезала свою косу, привязала к ней свою рубашку, опустила в колодец и выжатой из мокрой рубашки водой напоила собаку.

Сглаз опасен, поверь... // ...ему подвергался Махмуд.— По легенде, прославленный завоеватель — султан Махмуд из Газны (XI в.) во

время похода в Индию заболел, так как два индийских колдуна наслали на него «порчу», «сглаз».

Стр. 97. *Ты получишь его в день расчета* — то есть в день Страшного суда, когда все люди получат справедливое воздаяние за хорошие и дурные поступки.

Стр. 98. *Что же стало с Санджаром, что встарь захватил Хорасан? // Знай: не внявшему старой урок был губительный дан.*— Султан Санджар сперва завоевал область Хорасан и другие края, достиг могущества, а потом потерпел поражение и попал в плен к правителю из династии Гуридов.

Знать, на крыльях Симурга оно улетело куда-то.— *Симург* — сказочная птица, которую никто никогда не видел. Правосудие улетело на крыльях Симурга — то есть исчезло бесследно.

Стр. 102. *Водяным колесом купол неба поднялся...*— *Водяное колесо* — гидравлическое колесо, поднимающее воду из каналов на поля в восточных оросительных системах. Низами сравнивает его с вращающимся небосводом.

Стр. 104. *Ты — не пес, не тебе предназначен ошейник Плеяд.*— По представлениям астрологов, созвездие Плеяд охватывает созвездие Пса.

Стр 109. *Нат мгновенно постлали, песком весь посыпали нат.*— Когда казнь производилась во дворце, в присутствии шаха, жертву ставили на колени на небольшой кожаный коврик и перерезали ей ножом горло. Песком засыпали лужи крови.

ХОСРОВ И ШИРИН

Стр. 119. *Любовь — михраб ветров, к зениту вознесенных, // И смерть иссушит мир без вод страны влюбленных.*— Для Низами земная любовь — лишь отражение великого не познаваемого разумом мирового принципа, высшей реальности, истины. Только очищенная от всего земного, любовь к богу может приблизить человека к познанию истинной сущности бога. Низами пишет любовную поэму лишь потому, что сказание о благородной, самоотверженной человеческой любви может повести его читателей к познанию любви высшей (ср. выше). Вся эта глава развивает мысль о космической роли любви.

Стр. 120. *Любовь поет кыблу, но помнит и о Лате, // К Каабе льнет, горит в языческой палате.*— *Лат* — идол в оазисе Таиф, недалеко от Мекки, которому арабы поклонялись до ислама. В этом бейте выражено суфийское положение о том, что поклонение идолу, проникнутое искрен-

ней любовью, ценнее поклонения Аллаху, лишенного жаркого религиозного чувства, основанного лишь на рассудке и обычае. Эта мысль была позднее развита Джалал ад-Дином Руми в его «Месневи».

...бесценный гаухар — непереводимая игра слов. *Гаухар* — значит драгоценный камень, жемчужина и вместе с тем суть, сущность (см. словарь — гаухар).

Стр. 121. *...луна Кисры во мрак укрылась...* — *Кисра* — примененная здесь Низами ради соблюдения метра арабизированная форма имени «Хосров». Речь идет здесь о смерти деда героя поэмы, иранского шаха из династии Сасанидов, Хосрова I Ануширвана (531—579), после которого на престол вступил отец Хосрова Парвиза — Ормуз (579—590). Герой поэмы — Хосров II Парвиз (590—628).

Стр. 122. *Парвизом назван был затем царевич мой, // Что для родных он был красивой бахромой.* — Непереводимая игра слов. Низами искусственно этимологизирует прозвание героя поэмы Парвиз как «парвиз» — «бахрома». Он хочет сказать этим стихом, что Хосров был красивым и любимым ребенком, всегда у родных на руках, подобно тому, как всегда на руке, на рукаве — бахрома, золотая обшивка края рукава царского халата.

Его, как мускус, в шелк кормилица укрыла... — Мускус хранили завернутым в шелк.

И всех шести сторон мог свойства он учесть. — В науке того времени большое значение придавалось мистическим свойствам шести направлений физического мира (верх, низ, перед — или север, зад — или юг, запад — или налево, восток — или направо).

Стр. 123. *Как лучник, превращал, на бранном целясь поле, // Он барабан Зухре в свой барабан соколий.* — Сложный образ. *Зухре* — планета Венера, покровительница музыки, она кругла, и иносказательно она — «обладательница барабана». *Соколий барабан* — барабанчик для приманивания охотничьего сокола. Планеты, по астрологическим представлениям того времени, управляют судьбами людей. Низами хочет сказать этим бейтом, что при стрельбе из лука Хосров покорял своим искусством веления судьбы — вероятность попадания в цель, и сама Венера была ему покорна, как соколий барабанчик.

Белый див — чудовищный злой дух, побежденный богатырем Рустамом (об этом рассказано в «Шах-наме» Фирдоуси). В оригинале игра слов: див дрожал, как лист ивы перед, буквально, «иволистым» Хосрова — то есть перед копьем, наконечник которого имел форму ивового листа.

Стр. 124. *У длинноруких всех он руки обкорнал.* — *Длиннорукие* — грабители, насильники, правители, злоупотребляющие властью, грабящие подданных. То есть Ормуз установил справедливость.

Стр. 125. *Златая роза* — солнце.

...алоэ разожгло.— Низами сравнивает заходящее солнце, окруженное облаками, с благовонным алоэ (см. словарь), горящим в курильнице и окруженным клубами дыма.

Стр. 126. *...гурский нежный раб...*— *Гурский* — от «Гур» — названия горной области, составляющей сейчас центральную часть Афганистана.

Стр. 127. *...с арфы... сорвать велели шелк.*— Струны на Востоке делали из особых крученых шелковых нитей.

Стр. 128. *И саван он надел...*— Когда идущий на суд царя хотел показать, что не будет защищаться и готов принять любую кару, он надевал саван. (Ср. притчу о справедливом старце в «Сокровищнице тайн».)

Юсуфа не считай ты виноватым волком...— то есть не считай меня, подобного красой Юсуфу, оскверненным, как волк, который якобы растерзал Юсуфа. Братья, продав Иосифа в рабство, сказали отцу, что его растерзал волк. По мусульманской легенде, волк потом получил дар речи и, придя к убитому горем Иакову, отцу Иосифа, сказал, что его оклеветали.

Стр. 129. *Кудесник* — луна, по астрологическим представлениям, насылающая чары.

...вкусил столь горький виноград...— То есть был огорчен потерей гурского раба, соблазнившегося незрелым виноградом.

Стр. 131. *По шестисводному шатру...*— то есть по земному миру, имеющему шесть направлений (см. выше).

Стр. 132. *«Шемора» — так звучит у них «Михин-Бану».*— *Шемора, Шамира* — древняя царица Семирамида, с именем которой связано много легенд. *Михин-Бану* — буквально: «Великая госпожа».

В дни розы Госпожа отправится в Муганъ...— то есть весной она едет в Муганскую степь — низменность к югу от нижнего течения Аракса, покрытую в это время цветами.

Стр. 133. *Улыбка уст ее всечасно солона.*— «Соленый» в поэзии на фарси — и «привлекательный» и «остроумный»

То мил ему бобер, то горностай милей.— *Бобер* — черные волосы, *горностай* — белое, прекрасное лицо.

...Очей газельих вид // Тем, кто сильнее льва, сном заячьим грозит.— *Заячий сон* — здесь: потеря сознания. То есть даже те, кто сильнее льва, при виде ее прекрасных глаз бывают очарованы до потери сознания.

Стр. 134. *Меджнун и Лейли* — герои арабского предания, послужившего основой третьей поэмы Низами.

Пятью каламами рука ее владеет...— Низами сравнивает здесь красивые пальцы с каламами — тростниковыми перьями.

По родинкам ее предскажешь путь ночей.— В оригинале: «Ночи учатся черноте у ее родинок».

И лал и жемчуг тот, смеясь, она взяла, // И от различных бед лекарство создала.— В состав лекарства от меланхолии во времена Низами входили растертые рубины (гранаты) и жемчуга.

Ее назвали Сладкой...— Ширин — значит «Сладкая», «Сладостная».

Стр. 135. *...небесных семь арен.*— Семь небес семи планет, по астрономии времен Низами.

Стр. 136. *...грустит Ночная птица.*— *Ночная птица* — шебавиз (см. словарь).

Ведь живописью он прельстил бы и Китай.— Во времена Низами с Китаем связывали имя Мани (см. словарь — Китай, Мани), несравненного живописца. Под прекрасной «китайской живописью» подразумевалась, очевидно, роспись буддийских храмов на крайнем востоке мусульманского мира.

Стр. 138. *...вершины Анхарака.*— *Анхарак* — название горы, находящейся неподалеку от Гянджи. В 1139 году вершина этой горы во время сильного землетрясения рухнула и загородила ущелье, в результате чего образовалось славящееся и сейчас красотами горное озеро Гёк-Гёль.

Стр. 139. *...черною доской... Закрыли желтые, сверкающие кости...*— День здесь сравнен с игрой в нарды; день погас — игра окончена, желтые кости — солнце убрали в ларец черного дерева — ночь.

Всплыл яркий Муштари, держа в руках указ: // «Шах выбрался из пут, Шапуру — добрый час».— *Муштари* — Юпитер, планета, покровитель писцов, поэтому она несет написанное веление звезд — гороскоп, сулящий затее Хосрова и Шапура удачу.

...кипарисов рой...— то есть красавиц, стройных, как кипарисы.

Стр. 140. *...листик «худжесте»...*— *Худжесте* — буквально: «благодатная» — название сорта и формата бумаги.

Стр. 144. *Нарциссов тысячи с крутящихся просторов // Скатились. Всплыл рубин меж облачных уборов.*— Описание рассвета. *Нарциссы*, с которыми обычно сравнивают глаза, здесь обозначают звезды, *рубин* — солнце.

Стр. 145. *...сахарный Сухейль...*— нежное, как сафьян, и сладостное тело Ширин (см. словарь — Сухейль).

Тиштрия — древнее название Сириуса.

Не рыба, а луна попалась ей в ладони.— То есть в сеть ее кос попалась не рыба, а подобное по красоте луне отражение ее лица.

Стр. 146. *Дирхемы с именем Парвиза отчеканил.*— *Дирхем* — название монеты (см. словарь). Чеканить монету со своим именем — прерогатива независимого властителя, поэтому Ормуз появление дирхемов с именем Хосрова должен был рассматривать как открытое выступление сына против него. На это и рассчитывали враги Хосрова.

Стр. 147. *К мускуснокудрым он... пошел...*— то есть пошел в гарем к наложницам.

Пошел, как Сулейман со свитою пери.— См. словарь — Сулейман.

Там, где Луна свой лик увидела в затоне — то есть там, где купа-

лась Ширин. Предыдущая глава кончается описанием того, как Ширин увидела в воде свое отражение.

Стр. 148. *Орел на привязи — и где восторгу мера? — // Не дивный ли фазан у чистых вод Ковсера?* — С орлом Низами сравнивает здесь быстроногого коня Ширин Шебдиза, сама Ширин сравнена по красоте с фазаном, источник же, в котором она купается,— с райским Ковсером (см. словарь).

...увидел сеть... — косы Ширин.

Нет, не луна она, а зеркало и ртуть. // Луны Нехшебской — стан... — то есть красота Ширин отражала божественную красоту горнего мира, как луна отражает свет солнца или как отражает его железное зеркало, натертое ртутью. *Луны Нехшебской стан* — буквально: «стан, рожденный из ртути, как Нехшебская луна» — то есть белое и сверкающее, как ртуть, тело Ширин. *Нехшебская луна.* — См. словарь — Муканна.

Стр. 149. *...змеи, тайны клада хранят...* — По восточному поверью, клады охраняют обычно змеи, не дающие к ним приблизиться. *Змеи* — косы Ширин, ее лицо — *клад*.

Наверно, выпал ключ из пальцев садовода, // Гранаты двух грудей открыли дверцы входа. — То есть груди Ширин обладали неземной, райской красотой. *Сад* — это рай; хранитель райских врат потерял ключ, и два граната исчезли из рая, став грудями Ширин.

И солнце... с дороги повернуло... — Солнце — Хосров, свернувший с пути к источнику.

...пред ней Хумой оседланный фазан... — Здесь Хосров метонимически отождествлен с Хумой (см. словарь), а его прекрасный конь сравнен с фазаном. То есть перед Ширин предстал Хосров на коне.

Стр. 151. *Вино в единый круг нельзя нам дважды пить...* — На пирах времен Низами вино пили только тогда, когда глава пира пускал по кругу чашу.

...смутил и Рыбу и Быка... — то есть и землю, и все подземное царство. По древней космологии, мир покоится на рогах огромного быка, стоящего на громадной рыбе. *Рыба* — сфера земли.

Стр. 152. *Царевич ивой стал* — то есть согнулся от горя, как плакучая ива.

...стал он клюшкой для човгана... — Клюшки для игры в човган делались из ивы. Они были изогнутыми.

Стр. 154. *...роз не розов цвет* — то есть щеки его побледнели.

Стр. 155. *Для поклонения Хосров искал огня.* — Хосров был по религии зороастрийцем, огнепоклонником.

Стр. 157. *Из Вавилонских гор // Колдунья прибыла...* — По легенде, в Вавилоне Харут и Марут (см. словарь) обучают людей магии, колдовству.

Стр. 158. *Кирманшахан.* — См. словарь.

Стр. 159. *...прибыл в Бахарзан.*— *Бахарзан* — название местности в Армении.

Стр. 162. *Он входа распахнуть велит сейчас же полог.*— У входа в царский покой висел занавес, хранитель которого (хаджиб) пользовался среди всех придворных наибольшим доверием шаха.

И поцелуями он прах разрисовал — то есть, согласно обычаю, поцеловал землю перед шахом. Низами говорит «разрисовал», так как Шапур — художник.

Стр. 163. *...смастерил луну, уподобясь Муканне...*— См. словарь — Муканна. С Нехшебской луной здесь сравнен портрет Хосрова, нарисованный Шапуром.

...к лику одному — другой припал с алчбой...— то есть Ширин прижалась лицом к изображению Хосрова, как описано выше.

...к шахскому ее направил Туркестану — то есть в шахский гарем. Во времена Низами особенно ценились красавицы рабыни, привезенные из восточной части Туркестана.

Был в лавке лучника твой мастер стрел умелый...— то есть, как мастер, изготовляющий стрелы, выбирает в лавке лучника подходящий лук, Шапур высматривал Ширин среди других красавиц.

Стр. 164. *...на рукаве... Парвизом вышито* — то есть Парвиз навсегда запомнил услуги Шапура.

И развернул Слону рассказ об Индостане...— то есть напомнил находящемуся на чужбине Хосрову о его родине. «Слон всегда помнит об Индии» — персидская пословица.

Стр. 168. *Ей тесно сделалось в пределах шадурвана...*— *Шадурван* — занавес перед входом в шахский дворец. Иными словами, Михин-Бану, от радости забыв об этике, выбежала из дворца навстречу Ширин.

Стр. 169. *Свет глиною укрыть...*— персидская пословица: «Нельзя замазать солнце глиной».

Бехрам Чубине — вельможа из рода Михран, в 589 году поднявший восстание против Хосрова Парвиза и сумевший захватить власть. Хосров бежал. Одолеть Бехрама ему удалось лишь с помощью византийского императора. Войско Бехрама было разбито неподалеку от Гянджи, Бехрам бежал в Среднюю Азию и искал убежища у хакана, предводителя тюркских племен, но был убит наемными убийцами, которых подослал к нему Хосров.

...Хосров пронзил глаза Ормузу.— По «Шах-наме» Фирдоуси и историческим хроникам, исторический Хосров Парвиз действительно ослепил отца, а потом убил его. Низами, создавая образ идеального правителя, прекрасного, благородного Хосрова, объявляет рассказы о его злодеяниях клеветой, распространенной Бехрамом. Далее он так же точно отрицает сведения о том, что Ширин отравила соперницу Мариам (см. прим. к стр. 222).

Якубу — света нет...— то есть Якуб ослеп от горя.

Стр. 170. *И слепоту врага он множил слепотою* — то есть Хосров ослеплял своих врагов, ослепленных ненавистью к нему, вызванной клеветой Бехрама.

Стр. 171. *Без «шаха» для него уж не было квадрата...*— то есть, куда бы ни бежал Хосров, всюду его ждала гибель,— «шах королю», как в шахматах.

Стр. 172. *...за ноги повесили разлуку* — то есть жестоко казнили ее.

Стр. 173. *...меч сохраняет он.*— Придворные, во избежание кровавых столкновений, во время пира не должны были иметь при себе оружия.

Стр. 174. *...горностай ее в шелку скрывался рдяном.— Горностай* — белоснежное тело Ширин, которое от жарких объятий покрывалось красными пятнами.

...меж румяных роз возникли васильки — то есть на щеках, подобных лепесткам роз, появились голубые следы поцелуев.

...луна шла... держа... белила в скляночке, подобно розе...— то есть Ширин, стыдясь следов поцелуев, подобно луне, стремилась спрятаться в темноте и вместо розы, которую обычно держат в руке красавицы, держала в руке белила, чтобы замазать эти следы.

Стр. 175. *Нушапуш!* — возглас на пирах, означающий: «На здоровье! Да будет сладостно вино!»

Забывши о перстах, простершихся над нами...— то есть, забыв о «руке судьбы».

Стр. 176. *Овечьей печени ждет пес у мясника,— // Да знает лишь свою...*— «Есть свою печень» — на фарси значит: страдать, тосковать. Собака жадно ждет подачки, но только зря мучается.

...тьма солончаков, казавшихся водою...— Солончаки в пустыне издали, в мареве, кажутся водою, жаждущие, устремившись к ним, погибают.

Стр. 177. *Ведь индиго, торгаш, находит спрос; унылo // Не хмурься. Вскрой тюки, будь ты хоть в глубях Нила.*— Общий смысл бейта: как бы ты ни была далека и недоступна, все же сдайся.

Кто сахар ест в жару? Не вышло бы вреда! — Сахар — Ширин, *жар* — состояние влюбленного Хосрова. Образ построен на основе общеизвестного во времена Низами учения восточной медицины: лекарства и пища делятся по своим внутренним свойствам на четыре условные группы: «холодное», «горячее», «сухое» и «влажное». На эти же группы делятся и болезни. Лечение строится по принципу противоположности: при «холодной» болезни дают «горячее» и т. п. У Хосрова «жар» — «горячая болезнь», сахар — тоже «горячий», он вреден при этой болезни.

...на ее губе жемчужинка зажглась — то есть она прикусила губу.

...змеями она от уст обереглась... — она закрыла лицо кудрями, косами, подобными змеям.

Стр. 178. *Явила блеск спины...* — отвернулась.

Стр. 182. *...осла завел на эту крышу!* — Образное выражение, значит: поставил себя в трудное и нелепое положение.

Стр. 183. *...коль хлеба ты мне сунула в суму.* — По старинному обычаю, гостю перед его уходом клали в суму продовольствие на дорогу. Хосров хочет сказать, что понял речи Ширин как намек: пора уходить.

Четырехкрылый... орел — конь, *дракон* — меч.

Стр. 184. *...о том сказал иной...* — *Иной* — Фирдоуси; поездка Хосрова в Рум, пророчество монаха-астролога, союз с кесарем и брак Хосрова с Мариам, поход Хосрова и Ниатуса — все это подробно описано в «Шах-наме».

Стр. 186. *К чертогу горному...* — то есть она едет в замок, построенный для нее в горной бесплодной местности.

И в раковине блеск... — Здесь и далее образно говорится о том, как прекрасная Ширин («жемчужина», «лал») приехала в каменистое ущелье, где стоял замок.

Стр. 187. *Ису он поминал...* — то есть, говоря с христианкой Мариам, Хосров клялся именем Христа.

Стр. 188. *...лишь бездымною все тешатся халвой...* — то есть халвой, при изготовлении которой не было чада.

Стр. 189. *Петлею мускусной тоску я утолю...* — то есть я повешусь на своих косах, черных и благоуханных, как мускус.

Стр. 191. *Евклида он познал и Меджисте постиг.* — Творения прославленного древнегреческого математика *Евклида* (315—255 гг. до н. э.) были хорошо известны на Востоке. *Меджисте* — см. словарь — Альмагест.

Стр. 192. *Пред ним поник весь Рум...* — очевидно, Низами знал об искусстве греческих скульпторов.

...встал пред широкой тканью. — То есть Ферхад, как ремесленник, «низкий» по рождению, не был допущен за завесу покоя Ширин.

Стр. 193. *Два сахарных замка сняла Ширин с жемчужин.* — *Замки* — губы, *жемчужины* — зубы. То есть Ширин заговорила.

Стр. 199. *С золотом та смесь целебная всегда.* — Во времена Низами готовили средство от черной меланхолии, в состав которого входило золото.

Стр. 201. *Больным нужна ограда от луны.* — В дни появления молодого месяца припадки душевнобольных обычно усиливаются. Намеки на это встречаются у Низами несколько раз. Ферхад так объясняет Хосрову то, что он не ищет близости с Ширин, прекрасной, как луна.

Стр. 204. *...султан огнистый...* — солнце.

Стр. 211. *...уж больше нету масла...* — то есть силы иссякли, как масло в светильнике.

Стр. 212. *Оседлан ветерок разубранною зыбкой* — то есть на коня, быстрого как ветер, надели седло с разукрашенным, богатым паланкином.

Стр. 213. *Сиял, как солнце, лик, и перед нею рдяно // В скале заискрились рубины Бадахшана.*— Имеется в виду, что ее красные, как рубины, щеки своей красотой так претворили все вокруг, что и простые осколки разбитой Фархадом скалы стали подобны рубинам (см. словарь — Бадахшан).

Мчит гору... — то есть огромного коня; сравнение богатырского коня с горой часто встречается в поэзии на фарси.

С гранитным сердцем друг... — то есть непреклонная Ширин.

...радости он ждал и милой от гранита — то есть, по договору с Хосровом, он ждал, что, если он прокопает гранитную гору, он получит свою милую, Ширин.

Стр. 217. *Волк жертву нищего из стада унесет.*— Это парафраза персидской поговорки: «Сколько бы овец ни было, волк всегда выберет овцу бедняка».

Стр. 219. *Сей костью глиняной...* — то есть этим бренным земным («глиняным») миром, ничтожным, как кость.

О, коврик кожаный — земля! — То есть земля, на которой все обречены умереть, подобна кожаному коврику палача.

В песчинках взвившихся... // Несется Кейкобад иль мчится Феридун.— То есть несущаяся в вихре пыль, возможно, была некогда частицами тел этих могущественных царей — мотив, встречающийся у Хайяма, у которого в одном рубаи глина говорит гончару: «Не мни меня грубо, я была когда-то частицами нежных тел», а в других упоминается и прах великих царей прошлого.

Стр. 220. *...кажется тебе, что ты с невестой? Мудрый!.. не будь с сереброкудрой.*— То есть тебе кажется, что земная жизнь — как невеста, она полна радостей, а на самом деле, не успеешь оглянуться, уже пришла старость, и *невеста*—жизнь — оказывается *сереброкудрой,* седой старухой.

...не присыпать... израненную руку! — Раны присыпали землей, чтобы остановить кровь.

Свое дыхание, что управляет нами, // Мы ветром осени прикармливаем сами.— Каждое наше дыхание приближает нас к смерти, ведет нас к ней, *управляет* нами, но мы еще и сами торопим, подгоняем жизнь напрасными сожалениями, тяжкими вздохами, подобными ветрам осени.

Стр. 222. *Низвергнул Мариам лишь властной мысли яд.*— Имеется в виду, что Мариам умерла лишь потому, что этого страстно желали и

Хосров и Ширин. В «Шах-наме» Фирдоуси прямо сказано, что Ширин ее отравила. Низами, ставя перед собой задачу — создание образа «положительного героя»,— это отрицает.

...шах расцвел, как «дерево Марии» — то есть как финиковая пальма, которая, по преданию, начала плодоносить по молитве девы Марии (см. словарь — Мариам). Игра слов: когда умерла Мариам (Мария), Хосров ожил, как пальма Марии.

Стр. 225. *...в колодцы заключенных...*— то есть заключенных в тюрьму. Восточная тюрьма — зиндан, колодец, сужающийся кверху.

Кляпусь я пламенем, укрывшимся за тканью...— то есть клянусь богом. Бог скрыт всем материальным началом в мире, как свет свечи скрыт плотной тканью занавеса — обычный суфийский образ. Молитва Ширин построена как мусульманская, хотя Низами, в соответствие с историей, считает своих героев зороастрийцами. Однако же любой бейт этой главы может быть объяснен и как немусульманский («стих Корана» — «чудо» и т. д.).

Стр. 231. *...с небес несется камфора.*— То есть снег, он холоден, охлаждает страсти.

...ни шаира ласк... нет.— По-арабски *шаир* — буквально: ячменное зерно — название мелкой меры веса.

Стр. 232. *Твой дротик будто бы дейлемский их топор.*— *Дротик* — оружие царей. *Топор* — национальное оружие придворной стражи, набиравшейся из племени дейлемцев, жителей области на севере Ирана.

Стр. 234. *...капельки дождя...*— слезы Хосрова.

Стр. 240. *...он скажет о калыме* — то есть заведет речь о свадьбе.

Стр. 245. *К лицу прибавив семь искусных украшений...*— Семь украшений: 1) хна, которой красили кончики пальцев, 2) басма, которой красили брови, 3) румяна, 4) белила, 5) сурьма, 6) золотая фольга, 7) галие — смесь мускуса и амбры для придания аромата волосам и бровям.

Стр. 246. *...как безумцы... смущен он был Луною...*— См. прим. к стр. 201.

Стр. 247. *Сементурк, Хумаюн, Хумейла* — имена подруг Ширин.

Стр. 249. *Он в юных днях — как я — постиг свою кончину* — то есть, подобно самому Низами, уже в молодости стал думать о смерти.

Стр. 250. *И старой женщины молитва...*— Здесь и далее сравни речи о справедливости в «Сокровищнице тайн».

Стр. 252. *Казалось — это львенок.*— Шируйе — значит «львенок».

Стр. 262. *Хабешский негр, во тьме...*— Следующие два стиха содержат два образных описания наступления утра. В первом ночь — чернокожий из Абиссинии (Хабеш), наступление утра — внезапно просыпан-

ная им белая камфора. Во втором описании ночь — негр, крепость — горизонты, утро — сверкание белых зубов рассмеявшегося негра.

Стр. 265. *Мутриба в Африке, мутриба на Руси...* — *Русский мутриб* — день, *африканский мутриб* (негр) — ночь. То есть ни днем, ни ночью, в смысле: никогда на земле.

ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН

Стр. 270. *...повести своей...* — то есть собрания своих стихов.

Стр. 271. *Посланье шаха мне принес гонец.* — Речь идет о прибытии гонца от Ширваншаха Ахситана, заказчика «Лейли и Меджнун».

Арабской ли, фарсидской ли фатой... — то есть ты можешь написать поэму по-персидски с употреблением арабских слов.

По к тюркским нравам непричастен двор, // Нам тюркский неприличен разговор. — На этот бейт существуют различные комментарии. Иранский ученый В. Дастгирди понимал его так: «Мои обещания заплатить за поэму не таковы, как у тюрка султана Махмуда Газневи, обманувшего Фирдоуси» (согласно известной на Востоке легенде). Другое толкование: «Не пиши поэму на тюркском языке». Е. Э. Бертельс считал этот стих позднейшей вставкой, не принадлежащей Низами.

Стр. 273. *Сухой песок, пустыня...* — то есть арабская легенда о Лейли и Меджнуне суха, как Аравийская пустыня.

Стр. 274. *Размер стиха, как море...* — Образ построен на омонимах: «бахр» — море и «бахр» — стихотворный размер.

Стр. 275. *Чем глаже стих, тем ближе он ко лжи.* — Буквально: «Самые прекрасные стихи — самые лживые из них». Это изречение приписывается пророку Мухаммеду, который, по преданию, не любил светскую панегирическую поэзию, развитую у арабов в его время.

Стр. 276. *Познай себя...* — буквально: «Тот, кто познал себя, познал господа своего». Это изречение также приписывается Мухаммеду. Его приводят почти все суфийские авторы. Для них, как и для многих других мистиков, познание человека ведет к познанию бога. Суфии с целью самопознания, развивали своеобразную «аватомию», соединенную с психоанализом, сходную с тайным знанием индийских йогов. Низами часто называет себя «хаким», что в его время и позднее значило «мудрец» и одновременно «врач».

Растертый в прах — лекарство... — Растертый жемчуг во времена Низами входил в состав многих лекарств.

Стр. 280. *Пускай прочел ты семь седьмых Корана...* — Коран условно разделен мусульманским духовенством на семь частей для чтения в каждый день недели и для изучения по частям в школе.

Стр. 289. *Зовут ее, как ночь саму,— Лейли.*— Имя *Лейли* созвучно со словом арабского языка, которое значит «ночь». Этимология же имени неясна. Возможно, это древнесемитское имя «Лилит», встречающееся в Библии.

Стр. 290. *Ножом себе царапали ладонь.*— Выше восходящее солнце сравнено с ликом Юсуфа — Иосифа Прекрасного. В этом же стихе содержится намек на такой эпизод легенды о Юсуфе, содержащийся в Коране. Женщины осуждали Зулейху за ее преступную любовь к Юсуфу. Она собрала их и дала каждой по апельсину и ножу, чтобы его очистить. Неожиданно вошел Юсуф. Увидев его красоту, все женщины порезали себе руки.

Стр. 291. *Его Меджнуном странным называл.*— *Меджнун* — значит по-арабски «одержимый джиннами, нечистой силой», «бесноватый», «безумный».

Стр. 296. *«Ла хауль»* — первые слова молитвенной формулы: «Ла хаула ва ла куввата илла биллахи» — «Нет мощи и нет могущества, кроме как у Аллаха». Эту молитву мусульмане произносят при виде чего-нибудь очень странного, ужасного, поразительного, грозного.

Стр. 298. *Схватись же за кольцо священной Каабы...*— *Кольцо* — на дверях храма. По поверью, молитва, совершаемая человеком, который взялся за это кольцо, дойдет до бога и желание его исполнится.

Стр. 301. *...всей подлунной джан...*— *Джан*— значит «душа», «жизнь».

Стр. 302. *И шах и мат светилам возвещает* — то есть она побеждает красотой даже небесные светила.

Стр. 309. *Постой! Велит охотничий обычай...*— Существовал обычай, согласно которому, если кто-либо подойдет к охотнику в тот момент, когда он только что добыл дичь, охотник обязан уступить подошедшему часть добычи.

...не гневайся напрасно! — В оригинале: «...тех, на кого не гневаются» — часть цитаты из Корана (I, 6): «Поведи нас путем... тех... на кого не падает гнев твой».

Стр. 310. *Он сунул пальцы в рот...*— На Востоке — жест удивления.

Стр. 313. *Пускай не в золотой оправе зуб...*— Зубы оленя оправляли в золото и надевали на шею (обычно детям), так как считалось, что это талисман, предохраняющий от дурного глаза.

Стр. 323. *Муширф казны, что див заворожил, // Ты пьявкой стал своих открытых жил.*— *Муширф* — глава финансового ведомства. В оригинале сказано: «Ты — муширф обиталища дивов (демонов)», то есть ты живешь в пустынях, где обитают демоны, и стал как бы их хранителем, и, живя в пустыне, губишь себя, истекаешь кровью.

Стр. 343. *Встретился, по счастью, // Ей странник — старичок...*— Этот старик — Селим, дядя Меджнуна.

Стр. 366. *Прибыло ко мне посланье тайное царя...*— Речь идет о прибытии гонца от правителя Мераги из династии Аксонкоридов Аллааддина Корпа-Арслана (1174—1208) — заказчика поэмы «Семь красавиц».

Стр. 367. *На арабском прочитал я все и на дари, // Книгу Бухари прочел я, книгу Табари.— Дари* — иное название языка фарси. Бухари (ум. в 870 г.) — знаменитый собиратель изречений Мухаммеда и преданий о нем (хадисы), составитель их сборника под названием «Правильный». Табари (ум. в 923 г.) — автор огромного исторического свода под названием «История пророков и царей», переведенного в X веке на язык дари (фарси), а также автор обширного комментария на Коран. Упоминание имен Бухари и Табари рядом как будто говорит о мусульманских источниках, однако упоминание языка дари, скорее, указывает на персидский перевод хроники Табари, где упоминаются герои «Шах-наме» и «Семи красавиц». Неясно, что взял Низами из Бухари — прямого использования преданий о пророке в поэме нет.

Пусть Небесные Невесты...— то есть семь планет, с которыми символически сопоставлены в поэме семь красавиц, упомянутые далее в семи притчах.

...подобна пальме Мариам.— См. прим. к стр. 222.

Стр. 369. *Но блажен себя познавший...*— Познавший самого себя обретает бессмертную душу.

Стр. 370. *Сколько бы ячменных зерен птицам ни скормить...*— Обычный суфийский образ вечности: птица без крыльев сидит у амбара и клюет в год по одному зерну. *Птица* — солнце, *зерно* — дни. Образ идет из какой-то древней мифологии.

Стр. 372. *Из-за трех монет фальшивых...*— то есть из-за трех золотистых тычинок. Образ продолжается в следующем стихе, но там он непереводим. Полынь на фарси — «дермене», она, говорит Низами, не имеет монет — «дерам»; в арабской графике, даже не в звучании, получается красивое поэтическое «сопротивопоставление», по-русски, разумеется, непередаваемое.

Стр. 374. *Тот, кто стражем...*— то есть рассказавший повесть о Бахраме — сюжет «Семи красавиц».

А двуцветный мир...— то есть черный и белый мир, в котором черная ночь сменяется ясным днем.

Но они чистейшей пробы золото нашли...— описанное далее положение планет, найденное астрологами, предвещает, согласно этой науке, счастье, о чем и сказано далее.

Стр. 375. *...в страну арабов надо отослать, // ...у мужа чести надо воспитать.*— Эти строки у Низами, очевидно, ответ на обвинения в том, что он воспевает героев иранской древности, не «просвещенных светом

ислама». *Страна арабов,* откуда вышел основатель ислама Мухаммед, оказывается здесь краем чести и доблести. О том, что обвинения в недостаточном уважении к исламу и пристрастии к древнему Ирану Низами приходилось выслушивать, он сам подробно говорит в поэме «Хосров и Ширин».

Стр. 377. *Он из рода Сима, имя славному — Симнар.*— Низами вольно возводит архитектора Симнара к библейскому Симу. На самом деле имя его вавилонского происхождения: Син-иммар — от древнего божества Син. «Н» и «м» у Низами поменялись местами.

Стр. 378. *...сказочным Лушой.— Луша,* или Танкалуша,— искаженное имя астролога Тевкра Вавилонского (I в.), автора книги «Об эклиптике и зодиаке», снабженной рисунками. Перевод этого труда пользовался на Востоке большой известностью. Низами хочет сказать, что на куполе были изображения созвездий, как в книге Танкалуши.

Гурия завязывала очи полотном.— То есть гурий, находящихся в раю, на небе, так слепило блистание купола, что им приходилось завязывать глаза.

Стр. 381. *Назвался «Кумирней Чина», «Кыблою второй»* — то есть дворец был необыкновенно разукрашен, и его красота вызывала преклонение (см. словарь — Чин, кыбла).

Над Йеменом засияла вновь Сухейль-звезда...— Снова метафорическое описание красоты замка (см. словарь — Йемен, Сухейль).

...светил Бахрам.— Игра слов: Бахрам — имя царевича и название планеты Марс. Замок сравнен по красоте с созвездием Овна, а царевич — с планетой.

Стр. 382. *...семь небесных... крепостей...*— семь сфер семи планет тогдашней астрологии.

Стр. 384. *Мяч выигрывал у неба...*— то есть побеждал судьбу (небо), своим умением преодолевал неблагоприятные случайности игры в поло (човган).

Стр. 387. *Вот Фурак, дочь магарджи...*— то есть индийская красавица.

В одеянии румийском... русская княжна.— В оригинале — «дочь шаха саклабов». «Саклаб» — так называют обычно арабские источники юго-западных славян. Низами говорит, что она одета в «румийские одежды». Очевидно, ему было что-то известно о связях Киевской Руси с Византией (см. словарь — Рус).

Дочь из рода Кей-Кавуса — иранская царевна.

Стр. 388. *Это было предсказанье, речь семи светил...*— В символике, примененной здесь Низами, семь красавиц символизируют семь климатических областей земли тогдашней географии (Индия, Чин, Хорезм, Саклаб, Магриб, Рум, Иран), семь планет астрологии того времени, семь цветов радуги.

Стр. 395. *Если б в Исфахан из Рея двинулся слепец, // Сам по кровлям он пришел бы к цели наконец.*— Исфахан отстоит от окраины Тегерана, того места, где стоял древний Рей, приблизительно на четыреста километров. Между ними лежит пустыня. Низами хочет сказать этим бейтом, что во времена Бахрама вся местность от Исфахана до Рея была населена. Разумеется, это гипербола, как явствует из последующих стихов. Низами сам не решается верить такому преувеличению, взятому из хроники.

Стр. 396. *Разве скорбь приличествует...*— В предшествующем и этом стихах снова описано счастливое, с точки зрения тогдашней астрологии, стечение планет и созвездий.

Стр. 398. *...царевна Кеева дворца...*— то есть иранская царевна.

Стр. 400. *От индийца родом ворон, говорят, идет, // Диво ль, что индиец вором стал и сам крадет.*— В персидской поэзии «индиец» в значении «грабитель» — обычнан метафора (см. словарь). Лица у индийцев темные, ворон — черный. Смысл этого и следующего бейта таков: наступила зима, и черные, как индийцы, вороны, подобно грабителям, забрались в сады. В прекрасных садах Ирана действительно зимой много огромных черных воронов с красноватыми лапами и клювами.

Холод... из воды мечи кует...— Низами имеет в виду либо сосульки, либо замерзшие реки, ручьи, похожие на изогнутые сверкающие мечи.

Стр. 401. *В благовонья тот алхимик розы превратил...*— Речь идет либо о розовой воде, либо о вине, красном, как розы, и заключенном в кувшины.

Как индийцы на молитве, дым вокруг вставал.— То есть дым был черный, как темнолицые индийцы, и стоял вокруг огня, как индийцы-огнепоклонники на молитве. Зная, очевидно, о культе Агни, современники Низами часто называли вообще всех индийцев огнепоклонниками, что, конечно, неправильно.

...дым на нем — дракон.— По представлению времен Низами, отраженному и в одной из глав этой поэмы, змеи, драконы, охраняют клады. Это представление характерно и для славянского фольклора.

Стр. 407. *Вот на мускусном мешочке узел распустила...*— то есть начала рассказ, прекрасный, как благоухание мускуса.

И открой, о чем горюешь, слиток серебра? // Черноту твоей печали выбелить пора! — Слиток серебра — белое тело красавицы. Серебряный слиток до очистки — черного цвета, печаль — «черная» («черная меланхолия»), «выбелить слиток» — разогнать печаль красавицы.

Стр. 409. *...как вода живая, в мраке заключен.*— По легенде, изложенной в «Искендер-наме» Низами, источник сказочной «живой воды» находится в царстве вечного мрака.

Стр. 412. *И когда под амброй ночи скрылась камфора...*— *Амбра* —

черная, символизирует ночь; *камфора* — белая, символизирует день. То есть наступила ночь.

Стр. 417. *Белое румийцев войско...* — то есть лицо ее бело, как у жителей Византии, а кудри черны, как лица индийцев.

Стр. 422. *...словно одержимый в новолунья день.* — См. прим. к стр. 201.

Стр. 425. *В мрак ушла я с Искендером за живой водой!..* — то есть по примеру царя я облачилась в черное, ища духовного просветления.

И над царским троном черный должен быть покров. — *Черный* — придворный цвет аббасидских халифов (750—1258) и их вассалов Сельджукидов, правивших во времена Низами.

...цвет прекрасен черный — лучший из цветов. — Персидская поговорка гласит: «Выше черного цвета нет», то есть любой цвет можно окрасить в черный, но черное ни в какой цвет не перекрасить.

Стр. 429. *Но вкраплен жемчуг в тот коралл.* — То есть губы ее как кораллы, а зубы — как жемчуг.

Стр. 432. *Пусть в «Скрижаль Запоминанья» там он поглядит.* — «Скрижаль Запоминанья» — лаух ал-махфуз — скрижаль, на которой, согласно Корану, предвечный калам начертал до сотворения все судьбы мира (ср. прим. к стр. 25).

Стр. 438. *Не из печки ли старушки мне потоп грозит?* — Согласно мусульманской легенде, всемирный потоп начался из печи старухи, жившей в Куфе.

Стр. 439. *О хосров благословенный!..* — В данном случае хосров — в значении «царь», «владыка».

Стр. 440. *...солнце подошло к Тельцу...* — то есть наступила весна.

Стр. 441. *Видишь смех, что вызывает золотой шафран?* — Согласно медицине времен Низами, шафран прогоняет грусть, веселит.

Глина ценится, что, словно золото, желта. — Речь идет о глине, которой в те времена мылись в бане. Особенно ценилась мягкая желтая глина.

Стр. 443. *Двинуться к святому дому мне — в Иерусалим?* — Мусульмане совершают паломничество в Иерусалим к мечети, построенной на скале, на которой останавливался, по преданию, пророк Мухаммед во время вознесения на небо.

Стр. 452. *День Бахрама — рдел он, блеском равен был огню...* — *Бахрам* — имя собственное и старое иранское название планеты Марс, покровителя вторника (ср. французское Mardi — Martis dies; на Востоке эта традиция не сохранилась). Вторнику соответствует красный цвет.

Стр. 453. *Там розовощекая славянская княжна...* — В подлиннике даже «краснолицая», что, однако, имеет по-персидски и значение «радостная, счастливая». Славяне и русы у Низами всегда упоминаются в сочетании с красным цветом. Трудно, однако, решить, случайно это или

у Низами были сведения об одной этимологии слова «рус» («красный») и роли красного цвета в славянском фольклоре. Возможно, он почерпнул такие сведения в трудах арабских географов X века.

Стр. 475. *Будь сегодня ремненогом...* — *Ремненог* — нечистый дух, обитающий в пустынных местах. Это по виду слабый старик, ноги у него тонкие и гибкие, как ремень или плеть, стоять на них и ходить он не может. Завидев путника, он начинает жаловаться на жажду и просит взять его на спину и донести до воды. Стоит путнику согласиться, как он крепко обвивает его своими ремнями-ногами и начинает гонять по пустыне до тех пор, пока, выбившись из сил, путник не погибает.

Стр. 481. *Каждый в синей был одежде...* — У Низами синий цвет — всегда цвет траура.

Голубой цветок... — Согласно комментарию, речь идет о голубом лотосе.

Стр. 482. *День четверг... Муштари... древле посвящен.* — *Муштари* — планета Юпитер, она — покровитель четверга (ср. французское jeudi из Jovis dies — день Юпитера).

Только раковина ночи, встав из океана, // Перлами наполнила пасть Левиафана... — то есть наступила звездная ночь. Ночь сравнивается с раскрытой пастью чудовища, в которой сверкнули зубы-жемчуга.

И из финика источник сладкий извлекла. — То есть из ротика, сладостного, как финик, повела сладостные речи.

И шафрана съесть сегодня хочет он для смеха. — По представлениям тогдашней медицины, шафран прогоняет печаль, радует.

Я раскрою свиток — пусть он писан вкривь и вкось... — то есть красавица не умеет хорошо говорить на том языке, на котором говорит Бахрам, и просит прощения за ошибки.

Стр. 484. *Развернул пред Хейром свиток с именем своим* — то есть проявил таившееся в нем зло (его имя «Шерр» — значит «зло»).

Стр. 487. *Их белки и туз их белый рделся, как порфир...* — *Туз* — очень прочная кора белого тополя, применявшаяся для обмотки луков. Низами хочет сказать, что белки Хейра были, на его счастье, крепки, как туз, и оказались лишь рассеченвыми по поверхности, глазные яблоки же сохранились, глаза не вытекли.

Стр. 490. *А давно ль с волом, вертящим жернов, схож он был!* — Волам, вертящим на старинных примитивных мельницах жернова, завязывают глаза.

Мать и дочь сердца раскрыли, но закрыли лица. — То есть они его полюбили, но закрыли лица покрывалами, ибо он теперь прозрел, мог их видеть, а, по мусульманскому религиозному закону, посторонний мужчина не должен видеть лицо женщины.

Стр. 494. *...сел султан востока...* — то есть солнце. Сложное описание его восхода.

Стр. 496. *...тюрчанка Чина...* — то есть румийская царевна была прекрасна, как тюрчанка.

А когда сурьмой небесной сумрак обострил... — Во времена Низами считалось, что сурьма не только украшает глаза, но и обостряет зрение. Здесь сгущающаяся ночная тьма сравнена с черной сурьмой, от которой «глаза неба» — светила, оттененные, стали светить ярче, «свет их глаз усилился», зрение их обострилось.

Стр. 504. *...огнем индийцы в храмах пленены.* — См. прим. к стр. 401

Стр. 509. *Словно вор, укравший масло...* — Очевидно, намек на какой-то широко известный во времена Низами анекдот. В оригинале: «Как рабы, которые украли масло и по дороге наняли за деньги комнату». Смысл бейта: юноша спрятался, уединился.

Стр. 517. *И как Сам — одним ударом острых двух мечей...* — *Сам* — богатырь из иранской области Систан, дед Рустама, легендарный герой «Шах-наме» Фирдоуси. Он поразил одним ударом двух мечей огромного дракона, за что получил прозвание «Сам одного удара».

Стр. 527. *Заплясал...* — то есть исполнил мистический танец суфиев — дервишей и пригласил Бахрама также стать мудрецом-мистиком, как он.

Лал — замóк жемчужной нити истины нетленной... — Согласно комментарию, поэт подразумевает здесь древнюю летопись, из которой он черпал материал для поэмы. Можно предположить также, что речь идет об устной передаче (лал — язык).

Стр. 528. *Вечный пламенник под каждым сводом засветил...* — то есть во всех дворцах он устроил зороастрийские храмы, в которых на жертвенниках горел неугасимый огонь.

Каждый повергал... То онагра... — *Лишь Бахрам искал... Одинокую могилу...* — Игра слов, построенная на омонимах: 1) гур — онагр, 2) гур — могила. Все искали онагров, состарившийся Бахрам — лишь могилу.

Стр. 529. *И в мозгу змеи — змеиный камень заключен.* — То есть эта загадка не имеет решения (см. словарь — змеиный камень).

Стр. 531. *...четыре чашки с краской в лавке маляра.* — *Четыре чашки* — четыре «темперамента» тогдашней медицины, соотношение которых определяет состояние тела человека. Это: кровь, флегма, желтая желчь и черная желчь. Отсюда выводили четыре типа человеческого характера, по преобладанию в теле одного из темпераментов. Преобладание крови дает сангвиника, флегмы — флегматика, желчи — холерика, черной желчи — меланхолика.

Стр. 532. *...четыре дымохода...* — упомянутые выше четыре элемента, из которых состоит тело человека и весь видимый мир.

Стр. 533. *Только пробой осветился звонкий золотой, // Что в Гяндже был по-румийски отчеканен мной.*— Низами сравнивает свою поэму с золотой монетой, на которой стоит «проба», то есть надпись-посвящение — имя Корпа-Арслана, правителя из Рума (Малой Азии).

Стр. 535. *На четырнадцатых сутках...*— Все вместе дает дату, которая в переводе на европейское летоисчисление будет 31 июля 1196 года.

ИСКЕНДЕР-НАМЕ

Стр. 541. *Быть им все же с печатью дневного светила.*— То есть украденные у Низами плагиаторами стихи будут нести на себе отпечаток его творческой индивидуальности столь же неизменно, как луна отражает свет солнца.

Стр. 542. *Ненадежен шатер семикрасочный...*— Речь идет о небе, делящемся, по тогдашним представлениям, на семь сфер.

Ты не красная сера.— Имеется в виду «красная сера» — составная часть философского камня алхимиков, которую добыть очень трудно. Здесь в смысле — «нечто редкостное».

Стр. 543. *Был красив кипарис, да согнулся он вдвое...*— то есть стан Низами согнулся, он сгорбился от старости.

Стр. 544. *Дождь седой камфоры пробежал над горою.*— Эта строка — парафраза знаменитых жалоб на старость из последней части «Шахнаме» Фирдоуси. Как и там, здесь «белая камфора» — седые волосы и снег, а наступление старости, усмиряющей страсти, сравнивается с действием камфоры на организм человека (ослабляет мужскую силу).

Стр. 545. *Коль в венце щеголять хочет радостный гость, // Нужен мускус ему, не слоновая кость.*— «Надевать венец» — идиом, значит — радоваться, *мускус* — черные кудри, *слоновая кость* — белые, седые волосы или же лысина. Смысл бейта: радоваться, веселиться может молодой человек, старику это не дано.

Я умчусь через мост на гилянском коне...— Обычный образ, построенный на омониме: «гэль» — «прах, земля», и «Гилян» — название области в Иране, которое в поэтической речи можно воспринять как множественное число от «гэль». Таким образом, *гилянский конь* — земное, физическое тело человека, сотворенное из праха,— а «Гилян» — земной, бренный мир.

Стр. 547. *От Быка и от Рыбы...*— См. прим. к стр. 151.

Что Хорезм или Дженд, Дихистан или Рей! — Хорезм — современная Каракалпакия, *Дженд* — ныне несуществующий город восточнее Аму-Дарьи, *Дихистан* — древняя область на реке Атрек, восточнее Гур-

гана, *Рей* — район теперешнего Тегерана. Перечисляя здесь и далее области с востока на запад, до так называемого персидского Ирака (северо-запад современного Ирана), Низами говорит, что там всюду царит голод, Ирак же процветает.

Стр. 549. *Почитают за праведность божьим пророком.*— В III веке римские императоры Каракалла и Александр Север действительно ввели официальный культ Александра Македонского, слившийся с культом Юпитера Аммона. Пророком Александр сочтен и в Коране. В этой и предыдущих строках Низами называет три основных раздела «Искендернаме»: 1) Александр — воин, завоеватель (вся «Книга о славе»), 2) Александр— мудрец, философ (первая половина «Книги о счастье») и 3) Александр — пророк (вторая половина «Книги о счастье»).

Стр. 552. *Это был, всеми славимый, царь Филикус.*— Речь идет о македонском царе Филиппе II (359—336 гг. до н. э.), отце Александра. Арабы передавали имя этого царя «Филифус» (греч. Филиппос). Очевидно, из-за возникшей когда-то неправильной расстановки диакритических точек над буквами арабского алфавита «ф» и «к» в арабских, а затем и персидских источниках появилась форма «Филикус», принятая Низами.

Он был правнук Исхака...— *Исхак* — библейский Исаак, сын Иакова (Якуба). Низами возводит родословную македонских царей к Исааку.

Что повергнул он Дария...— Речь идет о Дарии III Кодомане (335—330 гг. до н. э.), последнем правителе из иранской династии Ахеменидов. Потерпев поражение от Александра Македонского, он пытался спастись бегством, но был убит своими сатрапами Бессом и Барзаентом (июль 330 г.).

Стр 553. *Старцы Рума составили книгу... Про отшельницу...*— Источник этой «румской» легенды о рождении Александра, изложенной у Низами, остается неизвестным. Хорошо известны две другие легенды о его происхождении: египетская, о рождении Александра от жреца Нектанеба, обольстившего его мать, и иранская — о происхождении Александра от Дария II. Обе они придуманы, чтобы обосновать законность власти Александра над Египтом и Ираном, где были распространены теории божественного происхождения и незыблемости власти фараонов и Ахеменидов, поколебленные вторжением македонян. Низами отвергает известные ему «румскую» и «иранскую» версии и утверждает далее: «Искендера отец — Рума праведный царь» — то есть Филипп.

Стр. 554. *...кусал он свой палец.*— Прикусить палец зубами — на Востоке знак удивления, смятения, на чем и построен содержащийся в этом бейте интересный образ.

...приверженец веры святой...— то есть, вероятно, Фирдоуси, который излагает иранскую версию о происхождении Александра.

Стр. 555. *И вступил в свой шестой, полный славою, дом.*— Восточная астрология для каждой планеты отводит два «дома» и определяет дом подъема и дом падения. В своем доме и в подъеме планеты приносят успех. В описанном здесь гороскопе Александра все планеты либо в своем доме, либо в подъеме, и, следовательно, гороскоп предвещает успех, не омраченный никакими неудачами.

Стр. 557. *Никумаджис-премудрый...*— Никомах, придворный врач Филиппа, отец Аристотеля. Принятое Низами начертание «Никумаджис», подобно начертанию «Филикус» (см. прим. к стр. 552), получилось из греческого Никомахос путем перестановки точек букв арабского алфавита («дж» и «х»).

Стр. 559. *И чертеж ему дал...*— Речь идет об особой каббалистической «таблице побежденного и победителя». В этой таблице в клетки внесен ряд букв арабского алфавита, часть нанесена черным цветом, часть красным, часть зеленым. Вычислив по цифровому значению арабских букв цифровое значение имен соперников в каком-нибудь конфликте, затем, пользуясь таблицей, производят вычисление результата борьбы. Красная буква предвещает победу, черная — поражение, зеленая — борьба закончится вничью. Образцы подобных таблиц до нас дошли.

Стр. 560. *Это древо с шестью сторонами четыре // Держат корня...*— *Древо* — мир, в котором имеется шесть направлений, *корни* — четыре элемента — огонь, ветер, вода и земля.

Стр. 562. *Хитрость Искендера.*— Существует английская баллада времен крестовых походов, совершенно аналогичная по содержанию этому эпизоду. Главное действующее лицо в ней, разумеется, не Александр, а Ричард Львиное Сердце (кстати, современник Низами, ум. в 1199 г.), воюющий против сарацинов. Следует отметить, что герой английской баллады в действительности поедает головы врагов, в то время как гуманный Искендер Низами лишь прикидывается каннибалом, чтобы устрашить врагов и избежать лишнего кровопролития. Баллада приведена в романе Вальтера Скотта «Талисман».

Стр. 567. *Поднимаю в руке апельсин огневой...*— то есть новую поэму, с которой Низами выходит из своего уединения к людям.

Стр. 568. *Тронул черных, о царь — ты и белых затронь!* — то есть, если ты победил зинджей, то почему бы теперь тебе не завоевать и Иран?

Стр. 575. *И когда в свой чертеж ты вглядишься...*— См. прим. к стр. 559 — о каббалистической таблице.

Но о знаках недобрых не лучше ль молчать? — По мнению Низами, астрологи могут верно предсказать судьбу, но они не в силах изменить ее, она все равно постигнет человека. Так уж лучше молчать о дурных

предсказаниях — ведь бед не избежать, они все равно постигнут несчастного.

Стр. 576. *Но железо...*— До изобретения стеклянного зеркала с ртутной амальгамой зеркала делали из полированного железа.

Стр. 582. *...горячий лаваш* — то есть солнце.

Сотни гор из булата воздвиг он...— Так Низами описывает построение войск.

Стр. 584. *Только синий кафтан...*— синий цвет — цвет траура.

Стр. 585. *Сотрясая простор, пало дерево Кея...*— то есть древо иранских царей — Кеев, Кеянидов — пало. С падением и смертью Дария их род пал, прекратился.

Стр. 586. *...кейский венец...*— то есть древняя корона Кеянидов.

Стр. 589. *Мне на тающем льду написал про шербет.*— То есть его обещания победы и славы не сбылись — написанное на льду растает и исчезнет.

Стр. 590. *...прекрасная дочь у меня, Роушенек.*— Древнеиранское имя этого персонажа Низами — Раохшна — «Светлая» — греками было передано «Роксане». Это Роксана европейских исторических романов об Александре. Историческая Раохшна, жена Александра, была дочерью не Дария, а сатрапа Бактрии Оксиаста. Другую жену Александра, дочь Дария III, звали Статира, или Барсине. Литературный персонаж — Роксана, дочь Дария, жена Александра — появился, однако, задолго до Низами.

Стр. 592. *Кто б узнать в этой «Башне молчанья»...*— *«Башня молчанья»* — дахма, место захоронения у зороастрийцев. Считая воду, огонь и землю чистыми, а труп — поганым, они выставляли тела усопших на башнях за чертой города, где их растаскивали птицы.

Стр. 593. *«Человек» или «смерть»...*— Образ, построенный на начертании двух слов арабским шрифтом, без гласных: «мардум» — «люди», «мурдам» — «я умер» — пишется одинаково.

Стр. 594. *...в прах обратили кумирни во всех городах...*— Искоренение зороастризма в Иране Александром — исторический факт. Среднеперсидская «Книга Артак-Вираза» пишет об этом так: «Искендер Румский... пришел и сжег все священные книги. И убил он многих зороастрийских жрецов». Пять веков спустя восстановить зороастрийские книги удалось Сасанидам с большим трудом.

Стр. 595. *В день весенний Джемшида и в праздник Саде...*— Два основных зороастрийских праздника, приходившихся на весеннее (март — новруз, день Джемшида) и зимнее (январь — саде) равноденствия.

Стр. 596. *Нравы магов отринув, надеть покрывало...*— Низами приписывает Искендеру то, что сделал ислам в VII веке — введение чадры.

Надо сказать, что на самом деле чадру носили в огнепоклонническом Иране и до ислама.

Стр. 597. *Чтоб, склонясь к Авраамовой вере...* — См. прим. к стр. 33.

...великий певец... — то есть Фирдоуси.

Стр. 598. *Азурбадакан... посетил...* — посетил Азербайджан.

Худи-суз — буквально: «сам по себе горящий». Возможно, речь идет о горящей нефти или газе.

Стр. 600. *Взял он горстку судáба...* — *Судаб* — разновидность руты, по поверью, помогающей от дурного глаза.

Стр. 607. *От Хизана до мест, где журчал Зинде-руд...* — *Хизан* — деревня недалеко от Исфахана, *Зинде-руд* — правильнее — Заянде-руд — река в Исфахане.

Черный мускус таразский... — то есть мускус, привезенный из Тараза, древнего города, развалины которого находятся сейчас недалеко от города Джамбул Казахской ССР.

Стр. 608. *Бу-исхакскою все же пленясь бирюзой...* — то есть бирюзой из копей около Нишапура в Иране, прозванной Бу-исхакской.

С той, что в сад облекла... — то есть с матерью Роушенек.

В твоем ухе кольцо... — то есть ты покорна ему, как рабы, которые носят в ухе серьгу.

Стр. 611. *Царь семи областей...* — то есть семи кишверов (см. словарь).

Стр. 613. *«Белый сад» переполнен цветами Ирема...* — *«Белый сад»* — название какого-то, очевидно шахского, парка в Берда'а, *Ирем* — см. словарь.

Но Берда неспроверженута... — См. словарь — Берда'а.

Стр. 614. *Этот край прозывался Харумом...* — *Харум* — название страны амазонок в главе об Искендере «Шах-наме» Фирдоуси. Эпизод поэмы Низами «Повествование о Нушабе» восходит, через «Шах-наме» и другие источники, к двум главам древнегреческого романа об Александре Псевдо-Каллисфена: 1) встреча с царицей Кандакэ (у Фирдоуси — Кайдафэ) и 2) война с амазонками. Низами произвольно отождествляет Харум Фирдоуси с близким и известным ему городом Берда'а, расположенным в его области — Азербайджане.

Стр. 615. *А по крови она чище лучших жемчужин.* — В оригинале игра слов: *гоухар* — значит «происхождение, род» и одновременно «жемчуг, драгоценный камень».

Стр. 617. *Дол казался «алхимиков камня» ценней.* — То есть прекрасная природа края казалась прекраснее и драгоценнее «философского камня» алхимиков, по поверью, превращающего простые металлы в золото.

Стр. 618. *Сумрак ночи — Шебдиз — над горами большими // Был подкован подковами дня золотыми.* — То есть наступил день. Ночь, чер-

ную, как конь Хосрова Парвиза Шебдиз, день подковал золотыми подковами — лучами солнца, и она умчалась.

Стр. 620. *...ты бы пролил немало жемчужин* — то есть слез, выступивших на глазах от блеска драгоценностей.

Стр. 623. *Вздумал солнечный свет он замазывать глиной.*— Распространенная поговорка, встречающаяся и в рубаи Хайяма: «Солнце не замазать глиной».

Стр. 625. *Одолею тебя, я ведь шаха запру.*— Сравнение взято из шахматной игры.

Стр. 626. *Что два шаха в игре...*— то есть в игре в шахматы.

Стр. 629. *Так пленил их «ричар», так смутил их «масус».*— *Ричар* — варенье из винограда и фиников или же любое варенье, сваренное не из одного сорта ягод, *масус* — блюдо из вареных молодых голубей и фазанов с уксусом.

«Палудé» — во времена Низами — миндальная халва с камфорой, *«фукá»* — род пива, приготовленного из ячменя и изюма. У Низами сказано: «Фука с розовой водой».

Стр. 632. *Шар игральный у дня ночь взяла...*— то есть, как в игре в човган, игрок-ночь «отняла» шар-солнце у другого игрока — дня, иными словами: солнце скрылось и наступила ночь.

Стр. 634. *Лишь лепешки одной...*— Обычное сравнение круглого хлеба, лепешки, с солнцем. Общий смысл: из всех сортов лепешек на столе не было только солнца. Надо помнить, что и наш масленичный блин — изображение солнца.

Стр. 635. *...столетний коралл...*— то есть старое красное вино.

Черный соболь нежданно стал рыжей лисою...— то есть рассвело.

Стр. 638. *То от чаши и зеркала...*— *Чаша* — Кей-Хосрова, *зеркало* — Искендера (о его изобретении речь шла выше).

...нет царя Ахситана! — *Ахситан* — заказчик поэмы «Лейли и Меджнун» (см. прим. к стр. 271), который ко времени написания этих строк уже умер.

Стр. 642. *И укрыл камень мудрости в пламени серы.*— *Камень мудрости* — то есть «философский камень» алхимиков. Иными словами, мудрый царь Кей-Хосров скрылся среди горящей серы, подобно тому как в раскаленных сере и ртути, по представлениям алхимиков, скрывается философский камень.

...павлин отобрал у блестящей Хумы белоснежную кость...— то есть вращение «разноцветного» (изменчивого) небосвода отняло свет у солнца — наступила ночь.

Стр. 647. *...может брать Вавилон... в свой волшебный полон.*— См. словарь — Харут и Марут.

Стр. 649. *В наведении лоска всех выше Китай.*— Эта притча имеет широко распространенное суфийское толкование. Подобно художнику

из Чина, Китая, суфий должен очищать, «полировать» свое сердце, пока оно не отразит бога.

Стр. 651. *...ты всем народам... кыбла...* — *Кыбла* — направление Мекки, сторона, в которую обращаются мусульмане во время молитвы. Переносно это слово употребляется в значении «очень уважаемый человек», «тот, кому все поклоняются» (мусульманская молитва обязательно сопровождается поклонами).

...нужен влажной тучи навес для рожденья жемчужин. — По поверью того времени, жемчужина зарождается в раковине оттого, что в месяц нисан (апрель) капля дождя пробивает толщу морской воды и попадает в ее раскрытые створки.

На челе у китайцев не стало морщин. — Много раз повторенный здесь образ, основанный на омониме: «Чин» — Китай, «чин» — «морщина, складка».

Стр. 652. *Есть две бабочки...* — то есть ночь и день. Низами призывает освободиться от круговращения времени.

Стр. 653. *Разостлавший ковер...* — то есть рассказчик, сам Низами.

Пересек он широкие степи славян. // Там кыпчакских племен он увидел немало. — *Кыпчаки* — тюркское племя, которое наши предки называли «половцами». В XI веке равнины к северу от Кавказского хребта носили название «Кыпчакская степь». Следует отметить, что здесь Низами, очевидно, умышленно переносит действие в родные ему места. Это такого же типа сознательный поэтический анахронизм, как изображения воинов у распятия Христа в костюмах XV—XVI веков на итальянских картинах эпохи Возрождения. Так Низами приближает Искендера к себе, своему окружению. Следует отметить, что первая жена Низами была кыпчачка, и подарил ее поэту правитель Дербента, а разграбление Берда'а русами за сто лет до рождения Низами было ему, конечно, хорошо известно по местным преданиям, о походе же русов на Закавказье в 1170 году он не мог не знать.

Стр. 654. *Счел обычай такой не достойным похвал...* — Ср. прим. к стр. 596 — о введении Искендером чадры в Иране. Низами, очевидно, слыхал от своей первой жены, кыпчачки Аппак, что тюрчанки-кочевницы не носят чадры. В кочевой быт этот обычай в действительности так почти и не вошел, несмотря на противоположные утверждения Низами.

Стр. 657. *И теперь в тех степях... встретишься ты с талисманом.* — Возможно, Низами что-то знал о «скифских каменных бабах» прикаспийских степей или же о «золотой богине» тюркских племен и на этой основе создал свою поэтическую легенду.

Стр. 658. *Продавец жемчугов...* — то есть рассказчик, поэт, сам Низами (стихи — жемчуга).

Стр. 660. *Бык небесный...* — созвездие Тельца, упомянутая Рыба — та, на которой, по поверью, покоится земля.

И Платон перед ним не Платон — Филатус.— Не совсем ясный стих, построенный на неполной омонимии: Филатун (Платон) — Филатус. Филатус — персонаж романтической поэмы «Вамик и Азра» Унсури, учитель Азры, разумеется, несравнимый с Платоном.

Стр. 664. *...рассыпался прахом индийский сандал.*— То есть Тартус победил Рейского богатыря Хинди, имя которого созвучно с названием Индии, откуда обычно привозили сандал.

Стр. 669. *Он был за ногу цепью привязан...*— Высказывалось предположение, что до Низами доходили слухи о дрессированных медведях, которых водят на цепи и заставляют плясать на ярмарках в краю русов, и на этой основе он поэтически измыслил описанное здесь чудовище с рогом на лбу. У Фирдоуси встречается описание чудовища, очень похожее на это — Ширкапи («Львообезьяна») из дестана о Бехраме Чубине.

Стр. 681. *...он видел не змея,— // Он узрел изумруд...*— Обычный для Низами образ: сокровище и охраняющий его змей, дракон. *Изумруд*, сокровище — Нистандарджихан; она оказалась красавицей, а не витязем, подобным дракону.

От Малика бежавшая к розам Ризвана.— То есть из ада плена у русов попавшая в рай шатра Искендера (*Малик* — страж ада, *Ризван* — хранитель райских врат).

Стр. 692. *Там прекрасней Тубы были сени древес...*— *Туба* — дерево, по Корану, растущее в раю. То есть эти рощи были прекраснее рая.

Стр. 694. *Это — деньги...*— У славян меха действительно служили деньгами.

Стр. 696. *...Дувала ремень... завязала.*— Образ построен на неполных омонимах: *Дувал* — имя властителя Абхазии, *дэваль* — ремень.

Стр. 698. *Ночью первою Урдибехишта Двурогий...*— *Урдибехишт* — второй месяц иранского солнечного календаря, приблизительно с 20 апреля по 20 мая. *Двурогий* — так назван здесь Искендер, Александр Македонский. История этого прозвания такова. В Коране упоминается некий «Зу-ль-Карнейн» (буквально: «Обладающий двумя рогами»), который странствовал по всему миру, а потом, по велению Аллаха, построил вал, стену, защищающую от нашествия народов Яджудж и Маджудж. Из Корана можно заключить, что «Двурогий» был как будто бы второстепенным пророком (во всяком случае, Аллах к нему обращался, а это — признак пророческой миссии). Средневековая мусульманская традиция, по неизвестным причинам, объявила «Двурогого» из Корана Александром Македонским. Само по себе изображение «двурогого царя» — нечто очень древнее (аккадский царь Нарам-Син в Сузах, некоторые изображения Моисея и т. п.). Арабы до Мухаммеда называли «Зу-ль-Карнейн» нескольких доисламских правителей (Мунзира, Шамира и др.). В отношении Александра предполагают, что его культ (см. прим. к стр. 549) слился в Египте с культом Юпитера Аммона, двурогого божества; изображение

«двурогого Александра» выбивали на монетах, и сведения об этом божестве — Александре — попали в Коран. В недавнее время в Индии была сделана попытка доказать, что «Зу-ль-Карнейн» из Корана — совсем не Александр, а персидский царь Кир — основатель династии Ахеменидов.

...лежат самоцветы сверкая.— То есть ночь, золотой ключ которой — солнце, лишь будучи «заперта» этим ключом, показывает самоцветы — звезды.

В омовенья часы...— Имеется в виду мусульманское ритуальное омовение перед молитвой.

Стр. 700. *В серебро было чистое влито вино.*— То есть белоснежный конь выпил живой воды, и это было подобно тому, как в чашу из «белого» серебра наливают вино, оживляющее душу.

Стр. 701. *Было мельницы две этим светлым дано.*— То есть у них различные обязанности: Хызр помогает странникам на суше, а Ильяс помогает плывущим по морю.

Стр. 702. *Пыль — мутна, тень — студена.*— В плане символа под пылью здесь подразумеваются мирские страсти, привязанность к мирским благам, мешающая человеку «испить живой воды познания Аллаха», а под тенью — неведение.

Стр. 703. *И пред вами... не предстал Исрафил.*— Об Исрафиле в царстве мрака рассказано в «Шах-наме» Фирдоуси.

Стр. 712. *Старики — на огонь их кладут...*— То есть юноша может скакать на коне так, что подковы раскалятся докрасна, а старики способны лишь класть подковы ночью в огонь ради «приворотных чар».

Стр. 713. *Но благого певца...*— то есть Фирдоуси.

Шах Арслан — то есть Кызыл-Арслан, дядя атабека Нусрет-ад-Дина и его предшественник в династии Ильдигизидов. Умер в 1191 году.

Башня стража...— *Страж* — солнце; *башня* — знак зодиака, созвездие, в котором оно находится; *газели* — звезды.

Стр. 715. *Обладал он Луной...*— то есть у него была «луноликая» возлюбленная.

Стр. 722. *Чтил его Аристотель...*— Архимед и Аристотель, разумеется, не современники, но Низами вольно делает в своей поэме одного учеником другого.

Как рабыня индийская...— то есть темноликая, у тоски — темное лицо.

Стр. 724. *Муж при множестве жен...*— Сюжет многочисленных восточных рассказов о мужьях, которых все их четыре жены по очереди выгоняют. Низами здесь выступает против освященного исламом обычая многоженства.

Стр. 725. *Семь отцов у нее, матерей же — четыре.*— *Отцы* — семь планет, влияющих на формирование всего в мире, *матери* — четыре элемента тогдашней науки.

Стр. 726. *Красотой, как ладьей...* — сравнение взято из игры в шахматы и вновь построено на омониме: рох — щека и рох — ладья (в шахматах).

И Ризвану я дал новобрачную снова. — Низами говорит здесь и выше о смерти трех своих жен.

Стр. 738. *Приютился он в бочке...* — Мусульманская традиция задолго до Низами соединила легенды о Платоне с легендами о Диогене, жившем якобы в бочке.

Стр. 740. *...Харут и Зухре в нескончаемом споре.* — То есть чародей Платон соперничает с самой покровительницей музыки — планетой Венерой.

Стр. 741. *За наставником следовать должно...* — Здесь изложен сюжет хорошо известного в Европе и популяризированного музыкой П. Дюка́ «Ученика чародея» Гете, взятый им с Востока. Суфийское положение: тот ученик, у которого нет учителя, учитель его — дьявол.

Стр. 745. *Становился пастух недоступен для глаз...* — Весь этот рассказ, совершенно справедливо вложенный в уста Платона — легенда о пастухе Гигесе, почти слово в слово пересказанная из второй книги Платонова «Государства». Низами, очевидно, заимствовал сюжет из арабского перевода этой книги, изменив лишь некоторые детали, непонятные мусульманскому читателю XII века.

Стр. 748. *За Сократом пошли.* — Сократ и Александр Македонский, разумеется, не были современниками, но Низами вольно объединяет в своем поэтическом вымысле всех греческих мудрецов в один «круг Александра». Сюда попали и Фалес, и Гермес Трисмегист, которые, если и существовали, то совсем в разное время.

Стр. 751. *Ни к кому для забавы не шел Гавриил.* — По мусульманской легенде, архангел Гавриил приносил пророку Мухаммеду частями Коран — божественное откровение. Сократ хочет здесь сказать, что он, великий мудрец, не желает идти к Искендеру лишь ради приятных разговоров. В исламе уже очень рано сложилось учение, согласно которому «свет мудрости мудрецов древности — из ниши светоча пророчества». Иными словами, чтобы не приводить в резкое противоречие ортодоксальный ислам с положительным знанием древней Греции, тогда жизненно необходимым, мусульманские схоласты приравняли интуицию греческого ученого, его «даймонион» к божественному откровению доисламского пророка. Таким образом греческая наука была узаконена в исламе, однако не всех мусульманских ригористов это устраивало. Науку преследовали на всем протяжении истории ислама. Упоминание у Низами здесь Гавриила, весьма осторожное, можно связать с отголосками сведений о «даймонионе» Сократа.

Стр. 752. *...один «пошел-воны».— Пошел вон* — перевод слова *дурбаш* — названия секиры шахских стражников.

Стр. 755. *Ты и душу свою...*— Ср. прим. к стр. 649.

Стр. 756. *...сгори, словно ива...*— Толченым ивовым углем в те времена бедные люди чистили зубы (богатые пользовались зубочистками из благовонного дерева).

Стр. 757. *...даже яростный лев // Стал опорой...*— Речь идет о ножках или подлокотниках трона, изваянных в виде львиных голов и лап.

Стр. 764. *Народ Яджудж.— Яджудж и Маджудж* — сказочные народы, упомянутые в Коране, которые обычно отождествляют с библейским Гогом и Магогом. По Корану, Яджудж и Маджудж должны явиться перед Страшным судом и опустошить землю. Зу-ль-Карнейн, Искендер, воздвиг вал, который пока охраняет населенную часть земли от этой опасности. Низами, следуя кораническому преданию, вводит здесь рассказ о постройке вала. Некоторые исследователи считают, что легенда о вале Искендера появилась под влиянием сведений о Великой китайской стене.

Шелком саза...— Струны тогда делали из крученого шелка.

...не впускал Скорпион.— То есть солнце еще не вступило в созвездие Скорпиона, где оно бывает осенью.

Стр. 765. *В песьи дни...* — то есть, когда солнце в созвездии Пса (июль — август).

Хирхиз — источники времен Низами называют так Южный Урал.

Стр. 767. *Правоверные жили... но пророка не знали...*— то есть они обладали истинной верой по откровению, как объяснено дальше.

Стр. 769. *...многомощного Уджа.— Удж* — библейский Ог, великан, царь страны Башан — северо-восточного Заморданья.

И порядок... встретил он и покой...— Последующее изложение Низами восходит к главе древнегреческого романа об Александре Псевдо-Каллисфена, описывающей беседы Александра с брахманами-отшельниками. Западноевропейские востоковеды считали, что Низами описывает здесь идеальную общину суфиев — аскетов. Е. Э. Бертельс видит тут описание идеального устройства человеческого общества, которого так долго искал Искендер, кульминационную точку всей «Пятерицы» Низами, на протяжении пяти поэм искавшего вместе со своими героями высшего общественного блага и пришедшего к идее имущественного равенства и отказа от власти золота.

Стр. 776. *Музыкант... Ты согдийскую птицу заставь пробудиться...*— *Согд* — район Самарканда — славился лучшими музыкальными инструментами.

Стр. 779. *Кульзумское море* — Красное море.

Стр. 780. *Каннаудж* — город в Индии.

Кульзум — город в Египте, недалеко от горы Синай.

Кайруван — город в северо-западной Африке.

Фур — индийский царь Пор, противник исторического Александра.

....в Китае... Джайпал...— *Джайпал* — фантастический титул индийских правителей, часто встречающийся в мусульманской литературе. К Китаю отнес его Низами, очевидно, случайно.

Насик — неверные, *Мансак* — правоверные.

Кабил — Каин, *Хабил* — Авель. Все это перечисление, начиная с Кульзумского моря, должно, очевидно, по мысли Низами, показать размах походов Искендера.

Стр. 781. *Тридцать шесть...*— Исторический Александр умер, не достигнув тридцати трех лет.

Стр. 783. *О горбун!* — Небосвод изогнут и поэтому в персидской поэзии его часто называют «горбатым», «злым горбуном», насылающим беды.

Стр. 784. *Бубенцы...*— Низами предсмертные стоны Искендера сравнивает со звоном колокольчика, возвещающим об отправлении каравана.

Стр. 786. *...к матерям четырем...*— *Матери* — четыре элемента тогдашней науки, из которых составлен весь мир. То есть обращение Искендера ко всему миру.

Стр. 788. *Тою раной...*— то есть любовью.

Стр. 790. *...в восемь садов...*— то есть в рай.

Стр. 793. *...рыба избегла ножа.*— По мусульманским обычаям, рыбу нельзя резать ножом.

В бурю дня правосудья...— то есть в день Страшного суда.

...приглашает султан...— то есть бог зовет к себе, иными словами — смерть пришла.

СЛОВАРЬ
НЕПЕРЕВЕДЕННЫХ СЛОВ, СОБСТВЕННЫХ ИМЕН И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Аджам — все неарабские страны, находившиеся в средние века под властью халифата. Источники этим словом чаще всего обозначают Иран.

Айар, айары — беднота, «городская чернь» средневекового мусульманского города, имевшая свою организацию, деклассированные элементы, из которых формировались отряды для «священной войны против неверных» (газават). Айар — синоним ловкости, хитрости, проворства. Айары зачастую выступали против притеснителей.

Айван — крытая терраса перед домом, а также обширный портик дворца, приемный зал, отделенный от двора лишь аркой, в котором правитель давал аудиенции. Иногда слово употребляется в значении «дворец».

Аланы — древнее племя, говорившее на одном из языков иранской группы, предположительно — предки современных осетин.

Алоэ — вернее — «алойное дерево», по-арабски — «уд» — благовонное дерево, которое во времена Низами привозили чаще всего из Индии (кемарское алоэ, алоэ из Кемара). Его сжигали в курильницах. Созвучие с названием известного у нас «столетника» — чисто случайное.

Альбурз, Эльбурз — название горной цепи на севере Ирана.

Альмагест — арабизированная форма названия широко известного на Востоке в переводах главного математического и астрономического сочинения античного ученого Клавдия Птолемея (II в.). Альмагест — от греч. *магисте* — «величайшая». Настоящее название сочинения «Математике́ синта́ксис» («Свод по математике»).

Амбра — благовонное вещество, широко применявшееся на Востоке. Добывается из желудка и кишечника кашалота.

Амириты — европеизированная форма названия арабского племени Бени Амир.

Анка — огромная мифическая птица, о которой средневековые восточные источники говорят, что она «известна по названию, но не известна телом». Синоним всего невидимого, несуществующего материально.

Ануширван — буквально: «бессмертный» — прозвание иранского царя из династии Сасанидов Хосрова I (531—579). После него царствовал Ормуз (579—590), а после Ормуза — прототип героя «Хосров и Ширин» Низами Хосров II Парвиз (590—628). При Хосрове I была произведена опись всех земель и были установлены точные размеры налогов, до него взимавшихся произвольно, за что знать и зороастрийское духовенство дали Хосрову Анушпрвану прозвание «Справедливый». Легенда о его справедливости была широко известна во времена Низами.

Аргаван — распространенное на Востоке и у нас в Крыму дерево (полукустарник), которое весной, до появления листвы, цветет ярко-розовыми цветами, прорывающими светло-серую кору и осыпающими его ствол и ветви. Продолговатые бутоны цветов аргавана похожи на струйки крови, бьющие из трещин в коре. Сравнение цветов аргавана со струйками крови и вина широко распространено в восточной поэзии.

Аржанг, Эрженг — священная книга Мани (см.). Согласно легенде, она была украшена изумительными миниатюрами с многочисленными изображениями красивых лиц. Манихейские храмы действительно были украшены прекрасной росписью. Во времена Низами «Аржанг» — символ всего прекрасного, изящного.

Арран — древнее название области — западной части современного Азербайджана.

Ахриман, Ариман — имя злого духа древней дуалистической иранской мифологии. Ахриман — создатель всего злого на земле, враг человека, постоянный враг создателя всего доброго, доброго божества Ормузда (Ахура Мазды).

Бадахшан — в средние века — обширная область, охватывавшая юго-восток Памира (Горно-Бадахшанская автономная область Таджикской ССР) и горные районы северного Афганистана. Во времена Низами там добывали драгоценные камни — гранаты. Часто ошибочно пишут, что там добывали рубины. Добыча гранатов, после перерыва в несколько сот лет, недавно возобновлена на Памире. «Бадахшанские лалы» — гранаты чистой воды — обычный у Низами образ — губы красавицы.

Балкис, Билькис — библейская царица Савская, жена царя Соломона.

Барбат — восточный струнный музыкальный инструмент.

Берда'а, Барда, Берда — в X веке главный город Аррана, западной части теперешнего Азербайджана, лежавший недалеко от впадения Тертера в Куру. В 943 году был разграблен и сожжен русами и с тех пор утратил значение. Возвысилась и заняла его место Гянджа. Развалины Берда находятся недалеко от селения Барда в Азербайджанской ССР.

Бисутун — древнее Багастана («Обитель богов») — скала у дороги из Хамадана в Керманшах (Северо-западный Иран). На этой скале до наших дней сохранилась клинописная надпись, высеченная по приказу Ахеменида Дария I (V в. до н. э.), и рельефные изображения. Молва связала эти барельефы с легендой о Ферхаде. Развалины ахеменидского дворца в этом районе сейчас известны под народным названием «Замок Ширин». Этимология слова Бисутун во времена Низами была забыта, и значение его поясняли: «Лишенный колонн», что нашло отражение в поэтических образах.

Булинас Румийский — знаменитый Аполлоний Тианский, аскет, философ-неопифагореец, математик (ум. ок. 100 г. н. э. в столетнем возрасте). Путешествовал по всему Востоку, включая Вавилон, Ниневию, Египет и даже Индию, обучаясь всюду восточной мистике и магии. Его биографы приписывают ему способность творить чудеса, предсказывать будущее, воскрешать мертвых, считают его магом, «великим посвященным». Многие мыслители (Гиерокл — III в., Вольтер) противопоставляли его Христу, современником которого его считают. Школа Аполлония существовала после его смерти. Легенды о нем были широко известны на Востоке. Низами связывает с ним представление о чарах, заклинаниях, талисманах.

Буртасы — племя тюркского или, возможно, финно-угорского происхождения, обитавшее в низовьях Волги. Предположительно, предки теперешней мордвы.

Бухтишу, Бахтишу, Бухт Ишу — сириец, врач и философ из Гундешапурской школы (основана Хосровом Ануширваном — см.). Был призван халифом Мансуром в Багдад, где принял участие в работе по переводу греческих книг на сирийский и арабский языки. Во времена Низами был известен как мудрец, знаменитый врач.

Вавилон, вавилонские чародеи.— См. *Харут* и *Марут*.

Везир — главный советник шаха, министр.

Газель —небольшое лирическое стихотворение, построенное на монорифме (аа, оа, оа и т. д.).

Газна — средневековый город, столица знаменитого завоевателя, султана Махмуда из Газны (999—1030), основателя династии Газневидов. Развалины Газны находятся около города Газнин в Афганистане.

Гуахар — драгоценный камень, жемчужина. Это слово — омоним слова, обозначающего первичную субстанцию. В стихах Низами омонимия этих слов часто используется при построении образа. Исток омонима — в мифе о происхождении мира из белой жемчужины (Древний Египет, Коран).

Гебры — распространенное и сейчас в Иране мусульманское название зороастрийцев. В Индии их называют парсами. Низами гебрами называет и индийских огнепоклонников, не зороастрийцев.

Гилян — область на севере Ирана, на берегу Каспийского моря. По-персидски «земля», «прах» — *гэль*, множественное число (искусственное) — *гэлан*. «Гилян» у Низами — символ материального мира, «обители праха». Он часто использует эти омонимы в образах.

Гулям — раб, слуга, обычно тюрок или славянин. Из купленных на невольничьих рынках гулямов формировалась гвардия халифов и прочих средневековых правителей. Отсюда второе значение — «гвардеец», «воин».

Гуль — злой дух, который, по поверью, незаметно сбивает путника в пустыне с дороги, заставляет его плутать, а когда тот измучается от голода и жажды, пожирает его.

Гульгун — конь Ширин, принесенный той же кобылицей, которая принесла Шебдиза, и равный ему в быстроте бега.

Гур, онагр — дикий осел. Название этого животного созвучно слову, которое по-персидски значит «могила». Низами часто обыгрывает эти омонимы.

Гур — с гортанным «г» — средневековое название области, занимавшей часть территории современного Афганистана.

Гурия, гурии — райские девы, вечно девственные и вечно пятнадцатилетние красавицы, которые, по Корану, достанутся праведникам в раю. Суфии были склонны считать этот коранический образ лишь символом безграничного райского блаженства.

Гюлистан — розовый сад, сад роз, цветник.

Гяз — мера длины, соответствует старому «локтю», немного менее метра.

Данаб, Денеб — звезда Альфа Лебедя, в астрологии считалась вредоносной.

Дастан — предание, сюжетный рассказ, часто «роман» — история влюбленных («Заль и Рудабе», «Бижан и Маниже» — дастаны — части «Шах-наме» Фирдоуси). Иногда слово употребляется в значении «притча», «мудрое изречение».

Дебир — писец, секретарь, состоящий при шахе и записывающий его послания.

Дей — десятый месяц древнего иранского солнечного календаря (с 23 декабря по 21 января).

Демавенд — покрытая вечными снегами (5500 м) гора к северу от Тегерана.

Дестур — у Низами — советник шаха.

Джейхун — арабское название Аму-Дарьи.

Джемшид, Джем — мифический царь древнего Ирана, в царствование которого на земле было полное счастье, не было ни болезней, ни смерти, ни вражды. Джемшид возгордился, и бог в наказание дал над ним власть тирану Заххаку, который зверски казнил его — распилил пилой пополам. Джемшид считался обладателем чудесной чаши, с помощью которой он мог в любой момент видеть, что происходит в любой точке земли. В Авесте Джемшид («Пресветлый Йима») — лунное божество.

Джинн — злой дух, демон.

Джуляб — сироп из лепестков роз, который кладут в халву, применяют как лекарство и т. п.

Див, Дивы — злые духи, демоны (иранское слово, ср. *джинн* — слово арабское).

Дирхем — от греч. драхма, мера веса и название монеты, обычно серебряной, содержавшей 3,148 гр. серебра.

Дихкан, дехкан — звание представителей старой иранской родовой аристократии, почти исчезнувшей во времена Низами. Начиная с Фирдоуси, поэты описывают дихкана как хранителя древних преданий, знатока родной старины. Сейчас «дехкан» значит «крестьянин».

Ездигерд — иранский шах из династии Сасанидов (ум. в 420 г.), отец Варахрана V, явившегося прототипом Бехрама Гура, героя «Семи красавиц». Ездигерд пытался урезать права зороастрийского духовенства, за что получил в истории династии прозвание «Грешник».

Занг, Зангибар — Занзибар. У Низами, однако, «Зангибар» — неопределенное понятие, «страна, населенная неграми, чернокожими».

Заратустра.— См. *Зардушт.*

Зардушт — основатель зороастризма, государственной религии Ирана до арабского завоевания и распространения ислама (VII в.). Главным в этой религии было поклонение огню.

Зардушти — зороастриец.

Захме — медиатор, которым играют на струнных музыкальных инструментах.

Земзем — священный колодец в Мекке, около храма Каабы — величайшей святыни мусульман. Существует предание, что он вырыт библейским пророком Авраамом. Его воде приписывают чудотворные свойства. Вода эта — минеральная.

Зенд, Зенд-Авеста — неправильное название священной книги зороастризма, распространенное во времена Низами. Книга называлась Авеста, а Зенд — позднейший комментарий к ней на языке пехлеви.

Зербафт — плотная узорная ткань из шелковых и золотых ниток.

Змеиный камень.— По восточному поверью, в голове змеи имеется камешек, который является противоядием против ее укуса.

Зороастр.— См. *Зардушт.*

Зухра, Зухре — планета Венера. Считается покровительницей музыки и чародейства (см. *Харут и Марут).*

Изед.— См. *Яздан, Ездан.*

Иклим — так называемый климатический пояс, зона географии времен Низами, иногда название областей, на которые делили тогда всю населенную часть земли. Одно из этих делений: Хорасан, Ирак, Туркестан, Зангибар, Рум, Индостан, Египет. В символике того времени эти области имеют соответствия в теле человека: Хорасан — сердце, Ирак — легкие, Туркестан — печень и т. д. На этих соответствиях построены некоторые образы Низами. Иное средневековое мусульманское деление обитаемой части земли — семь поясов между воображаемыми линиями, проведенными параллельно экватору: до 20°, 27°, 33°, 38°, 43° 47°, 53° с. ш. Более северные широты считались необитаемыми.

Ильяс — Илья-пророк, постоянный персонаж восточных преданий, святой, помогающий мореплавателям, спасающий терпящих кораблекрушение, подобно православному *Николе Морскому, Хызр* (см.) помогает путникам на суше, *Ильяс* — на море; в фольклоре, например турецком, эти два пророка слились в одно лицо — *Хызрильяс (Хадерильяс* у Лермонтова). Низами говорит в «Искендер-наме» о «разделении обязанностей» между Хызром и Ильясом.

Индиго — самая распространенная во времена Низами синяя краска для тканей. Синяя одежда — знак траура на Востоке (например, до наших дней у таджиков). В образах Низами индиго — синоним траура.

Ирак — Низами имеет в виду обычно «Ирак Иранский» географии его времени — обширную область, занимавшую северо-запад современной территории Ирана.

Ирем — название сада, созданного мифическим тираном *Шеддадом,* который, обладая властью над людьми и духами, решил устроить на земле подобия ада и рая. Ирем и есть это подобие рая. Он упоминается в Коране, где назван «Ирем, обладающий великими колоннами». Легенда говорит, что Шеддад умер, не успев войти в свой рай. Об этой легенде Низами говорит в «Искендер-наме». Ирем у него часто синоним рая или прекрасного сада.

Иса — Иисус Христос, один из шести великих пророков, признаваемых исламом (Адам, Авраам, Ной, Моисей, Иисус, Мухаммед). Мусульманский, коранический Иса — не богочеловек, а лишь пророк, человек, передавший людям божественное откровение (соответствует ереси эбионитов). В поэзии времен Низами часто упоминается «дыхание Исы», которое могло воскрешать мертвых (синоним нежного

весеннего ветерка, напоенного ароматом цветов), «ослик Исы», на котором Иисус въехал в Иерусалим.

Исрафил — архангел, упомянутый в Коране, который звуком трубы возвестит о начале Страшного суда. От звука его трубы расколется земля, рассыплются в прах горы и мертвые восстанут из могил.

Ифрит.— Ифриты — самый страшный и злобный вид нечистых духов (ср. *гули, дивы*).

Йемен — страна на юге Аравийского полуострова; в системе образов Низами — синоним счастья, счастливого предзнаменования (см. *Сухейль*).

Кааба — храм в Мекке, величайшая святыня ислама, к которой совершают паломничество и в сторону которой обращаются во время молитвы мусульмане.

Каба — кафтан без воротника, халат из шерстяной ткани, обычная верхняя одежда во времена Низами, распространенная в Иране и в настоящее время.

Кавеев стяг — знамя, поднятое Каве, предводителем восстания против тирана Заххака. Согласно легенде, изложенной в «Шах-наме», кузнец Каве, подняв восстание, надел на острие пики свой кожаный фартук. Когда с помощью Каве Заххак был свергнут и на престол взошел шах Феридун, фартук Каве вышили жемчугом и драгоценными камнями и сделали шахским штандартом. Последний «кавеев стяг», кожаный штандарт иранских шахов, был захвачен арабами в VII веке во время завоевания Ирана.

Кайван, Кейван — планета Сатурн, символ необратимого времени несущего беды и смерть (ср. *греческий Хронос*).

Кайсар — арабизированная форма слова кесарь, цезарь. Во времена Низами — восточное обозначение византийского императора.

Калила и Димна — знаменитый индийский животный эпос Панчатантра, очень рано переведенный на арабский, а затем на персидский языки, этика и политика, советы царям в форме басен, широко известная во времена Низами книга.

Калым — тюркское обозначение брачного выкупа, платы за невесту ее родителям. До ислама арабы покупали невест. Мухаммед заменил этот обычай выплатой махра — суммы, обеспечивающей жену в случае развода; однако калым сохранился в мусульманских странах до наших дней. Низами, говоря о браке Лейли, имеет в виду, очевидно, и доисламский арабский обычай, и практику своего времени.

Канон.— См. *Сухейль*.

Карун — библейский Корей, легендарный богач, который был проклят Моисеем за скупость и поглощен землей вместе со всеми своими богатствами. Библия размеры богатства Каруна не подчеркивает, пре-

дание об их сказочных размерах внесено уже мусульманской традицией.

Касыда — большое стихотворение с монорифмой (аа, оа, оа и т. д.) обычно панегирического (ода) или философского содержания.

Каф, горы Каф, Кафские горы, хребты — легендарные горы мифологической географии времен Низами, находящиеся на краю земли и окружающие ее. В этих горах обитает птица *Симург* (см.).

Кей — титул древних иранских шахов из мифической династии *кеянидов* (см.). Иногда просто значит «шах».

Кейкобад — легендарный шах древнего Ирана, прославившийся своим могуществом, пышными пирами, которые он задавал.

Кей-Хосров — легендарный шах древнего Ирана. По «Шах-наме», где изложена история его правления, Кей-Хосров в зените своего могущества отрекся от власти и таинственно исчез в снежную бурю в горах.

Кеяниды, Кей — легендарная династия древних иранских шахов, мифологизированная история которой подробно изложена в «Шах-наме».

Кипарис — в поэзии времен Низами — синоним стройности, стройного стана, прямоты.

Кирманшахан, Керманшах — город на северо-западе Ирана, недалеко от которого находится «Замок Ширин» (см. *Бисутун*).

Кишвер — то же, что *иклим* (см.)

Ковус — Кей-Ковус — древний иранский шах из мифической династии Кеянидов, отец светлого героя Сиявуша, невинно погубленного туранским шахом Афрасиябом и его братом — коварным Гарсивазом.

Коусер, Ковсер — один из райских источников, упомянутых в Коране.

Китай — у Низами совсем не соответствует нашему современному географическому представлению. Согласно поэзии того времени, в Китае живут тюрки (тогда лучше знали так называемый Китайский Туркестан), оттуда привозят прекрасных белокожих рабынь — тюрчанок, там живут искусные художники (сведения о буддийских кумирнях Китайского Туркестана, красиво расписанных, в которых стояли изваяния Будды). Китай — Восток, оттуда восходит солнце, идет свет. Белая кожа «китаянок» (тюрчанок), красота кумирен, «белый» свет солнца, восход, восток — обычные составные части образов Низами.

Кулах — войлочная шапка, которую носят крестьяне Ирана. *Дехканы* (см.) носили высокие войлочные шапки, расшитые жемчугом и драгоценными камнями. Кулах иногда обозначает корону, шахский венец.

Кыбла — направление Мекки, *Каабы* (см.), величайшей святыни ислама, куда мусульмане обращаются лицом во время молитвы. Кыбла в поэзии — синоним всего почитаемого, того, чему поклоняются.

Кыпчаки, Кыпчакская степь — кыпчаки — тюркское племя, которое старые русские летописи называли «половцами»; кыпчакская степь — равнины к северу от Кавказского хребта, где во времена Низами захватывали кыпчаков в плен и продавали их потом на невольничьих рынках Гянджи. Кыпчакской рабыней была жена Низами Афак (Аппак — «Белешенькая», «Беляночка»), подаренная ему правителем Дербента.

Лахор — известный индийский город, сейчас на территории Пакистана.

Маг, Маги — первоначально название древнего иранского племени, обитавшего в Мидии (северо-западный Иран и Азербайджан), из которого вышли жрецы (маги), создатели раннего маздеизма — религии, предшествовавшей зороастризму. Впоследствии магами стали называть зороастрийское духовенство. В поэзии времен Низами маги — огнепоклонники, они делают, пьют и продают вино, они — кудесники, волшебники. Такое представление о магах создает основу для ряда поэтических образов.

Магриб — западная часть мусульманского мира времен Низами, особенно западная часть северного побережья Африки (Алжир, Тунис, Марокко), иногда и Египет, арабская Испания.

Мандрагора — «адамова голова», кустарниковое растение с плодами, напоминающими гранат. По поверью, корень мандрагоры имеет форму человечка (как женьшень), причем корни эти бывают мужскими и женским и тяготеют одни к другим. Мандрагоре приписывали и другие волшебные свойства. На этих поверьях построены образы Низами.

Мани — (казнен в 244 г.) — основатель религии манихейства, своеобразного соединения раннехристианских, зороастрийских и гностических верований. Религия эта была распространена в Иране и Средней Азии до X века и позднее. В системе образов Низами Мани — прежде всего искусный художник (см. *Аржанг*).

Мариам — дева Мария, мать Иисуса Христа (см. *Иса*). В Коране имеются легенды о ней, отличные от христианской традиции, идущие из апокрифических Евангелий. В частности, рассказывается, что когда Мария бежала в Египет, она, обессиленная, села отдохнуть под пальмой. Пальма тут же расцвела и принесла плоды. Низами сравнивает свой плодотворный поэтический дар с «пальмой Мариам».

Марут.— См. *Харут и Марут*.

Медаин — арабское название Ктесифона, древней столицы иранских царей династии Сасанидов, лежавшей на реке Тигр в районе теперешнего Багдада. *Медаин* по-арабски значит «города». Такое название было дано Ктесифону арабами из-за его многочисленных пригородов. Недалеко от Багдада до сих пор сохранились развалины колоссального сасанидского дворца, известные под народным названием «Дворец Хосрова».

Меджлис — шахский прием, на котором читали стихи, слушали музыку, так же духовная беседа суфийского старца со своими учениками, сопровождавшаяся иногда пением.

Мейдан — площадь, ристалище для игры в конное поле, иногда — мера площади.

Мессия, Масиха — переводом древнееврейского слова «Масиха», из которого получилось «мессия», служит греческое слово «Христос», что значит «Помазанник (божий)». (См. *Иса.*)

Мискаль — мера веса, равная 4,6 грамма.

Михрган — древний иранский праздник в честь бога Митры (солнца), справлявшийся осенью во время сбора плодов.

Михраб — стрельчатая ниша в мечети, указывающая направление мекканского храма (см. *кыбла, Кааба).* Во время молитвы лицо молящегося должно быть обращено к михрабу. На этом построено много образов поэзии времен Низами. Например, брови красавицы, к которой влюбленный обращается с мольбой, сравниваются с дугообразным завершением михраба и т. п.

Мобед — зороастрийский жрец, огнепоклонник; у Низами часто — жрец — идолопоклонник, огнепоклонник вообще (напр., индийский мобед).

Мосул — соответствует современному городу Мосулу в Ираке.

Муганъ — Муганская степь, низменность к югу от нижнего течения Аракса.

Муканна — буквально: «Человек с закрытым лицом» — прозвание Хашима ибн Хакима из Мерва, поднявшего около 776 года восстание против арабских завоевателей, так называемое «движение людей в белых одеждах». Он утверждал, что в нем воплотилось божество, и закрывал лицо зеленым покрывалом, потому что иначе простые смертные не могли будто бы вытерпеть исходящего от него ослепительного сияния. Легенда утверждает, что он в доказательство своих чудотворных сил изготовил из ртути искусственную луну, которую заставлял по ночам подниматься на небо из колодца в городе Несефе (Нехшебе, позднее Карши, к югу от Бухары). Упоминание об «искусственной луне Муканны» — составная часть нескольких образов Низами.

Мукарнас — сталактитовый свод восточной архитектуры, у Низами — зал во дворце со сталактитовым сводом.

Мутриб — певец и музыкант, менестрель, трубадур. Слова «мутриб» и «трубадур» произведены от одного арабского корня, отглагольное имя которого «тараб» значит «радость» и «веселье».

Мушриф — глава финансового ведомства.

Муштари — планета Юпитер. Согласно астрологии, покровительствует мудрости.

Муэззин — лицо, возглашающее пять раз в день с минарета призыв к мусульманской молитве.

Мухтасиб — должностное лицо в мусульманском городе, которое должно было следить за внешним соблюдением шариата. Мухтасиб объезжал город, базары, следил за правильностью гирь (на чем построен один образ Низами), ловил продавцов вина и пьяниц, наблюдал за своевременным возглашением призыва на молитву и т. п.

Набиз — крепкий напиток вроде водки, выпаренное или перегнанное вино.

Най — небольшая тростниковая флейта. Пронзительными звуками флейты подавали сигнал к началу сражения.

Намаз — обязательная ежедневная пятикратная молитва у мусульман.

Нард — благовоние, *Нарды* — известная настольная игра, распространенная на Востоке.

Нахид.— См. *планета Венера.*

Неджд — обширное плоскогорье на Аравийском полуострове, в его северо-восточной части, где кочевало племя Бени Амир (см. *Амириты*).

Ниатус — арабское искажение греческого имени Тиадус — Феодосий. Историческое лицо, брат византийского императора, которому было поручено командование византийской армией, направленной на помощь Хосрову Парвизу.

Нисан, Нейсан — месяц древнего солнечного сирийского календаря, соответствующий нашему апрелю.

Новруз — новый год древнего солнечного иранского календаря, приходящийся на 22 марта. Весна, пора цветения и обновления природы.

Нисар — древний обычай осыпания новобрачных, вступившего на престол шаха золотыми монетами, драгоценными камнями, карамелью. Аналогичен старинному русскому обычаю, по которому новобрачных осыпали хмелем, «чтобы им весело жилось».

Нубиец — чернокожий из Нубии, у Низами — символ черноты, ночи. Ослепительная улыбка нубийца на черном лице — рассвет.

Ормуз.— См. *Анушарван.*

Органон — распространенный во времена Низами небольшой музыкальный инструмент с мехами, предшественник современного органа.

Пери — «пáрика» зороастрийцев, злой дух, женщина, прекрасная лицом и злая душой. В поэзии сопоставляется с *гурией* (см.) как символ женской красоты.

Рахш — огромный рыжий в яблоках конь мифического богатыря *Рустама* (см.) — символ рассвета.

Рейхан — базилик, благовонная трава вроде мяты.

Ризван — страж райских врат, упомянутый в Коране.

Роузан — волоковое окно, отверстие в потолке для доступа света и воздуха.

Рубаб — струнный музыкальный инструмент.

Руд — струнный музыкальный инструмент.

Рус, русы — у Низами мало соответствуют представлению о русских. В X—XII веках на Азербайджан совершали набеги союзные силы тюркских, славянских и финских племен, обитавших в нижнем течении Волги. Их всех называли русами. Именно об этих «русах» и говорит Низами, не различая тюрков и славян. Впрочем, сведения именно о славянах, или скандинавах у него проскальзывают (русы — рослые, светлые, рыжие, любят красный цвет).

Рустам — главный герой так называемого систанского (Систан — область на востоке Ирана) цикла иранского героического эпоса, самый сильный и непобедимый богатырь, великан, вооруженный палицей с навершием в виде бычьей головы, одетый в шкуру барса.

Рута — сипандж, растение, мелкими зернами которого окуривали от «дурного глаза».

Саз — любой струнный музыкальный инструмент, чаще всего *рубаб* (см.).

Саклабы — арабское название славян.

Сам — легендарный богатырь систанского цикла иранского героического эпоса, дед *Рустама* (см.).

Саманиды — независимая от халифата династия иранского происхождения, правившая с 888 по 999 год Хорасаном и Мавераннахром — Средней Азией. Их столицей была Бухара.

Сарандиб — Цейлон, на который, по мусульманской легенде, был изгнан из рая Адам. Считается, что на одной из цейлонских гор есть отпечаток ноги Адама.

Сиавуш, Сиявуш.— См. о нем *Ковус.*

Силь — паводок, бурный горный поток, сметающий все на своем пути.

Симург — мифическая огромная птица, «царь птиц», обитающий на горах *Каф* (см.). Символ всего невидимого, таинственного, у суфиев — символ очищенной от всего земного, познавшей бога, души человека.

Сират — мост над адской бездной, «тонкий, как волос, и острый, как меч», по которому, согласно коранической эсхатологии, должны пройти все люди во время Страшного суда. Праведники пройдут, а грешники сорвутся и упадут прямо в адское пламя.

Сулейман — библейский великий, мудрый и могучий царь Соломон, включенный исламом в число второстепенных пророков, бывших до Мухаммеда. Согласно мусульманским легендам, Сулейману были подвластны не только люди, но и звери, и прекрасные *пери*, и злые *джинны* (см.), которые носили его на ковре-самолете по всему его беспредельному царству. Низами сравнивает Хосрова, окруженного красавицами, с Сулейманом, окруженным пери.

Суруш — древний Сраоша, один из ангелов зороастрийского пантеона;

сохранился в мусульманских преданиях как божественный вестник, несущий откровение, внутренний голос, голос совести.

Суфа — глинобитное возвышение в саду, около дома. Его покрывают коврами, на нем угощают гостей. В летнее время на нем спят ночью.

Сухейль — звезда Канопус, или Канопус, главная звезда созвездия Корабль Арго. Эта звезда появляется в определенное время года в южной части неба. Долее всего она видна в Йемене — самой южной части «мусульманского мира» времен Низами, поэтому в его системе образов она всегда связана с Йеменом, где до настоящего времени появление на небе Сухейля — знак начала поры уборки урожая. В эти дни в селениях устраивается особое празднество. Низами, как объясняют комментаторы, намекает в своих стихах также на то, что из Йемена вывозился в его время лучший сорт сафьяна «адим», причем считалось, что высокое качество йеменскому адиму придает воздействие Сухейля. Сухейль, Йемен, звезда, счастье, белизна, свет, мягкость сафьяна, кожи — тесно связанные составные части образов Низами.

Табарзад — кусковой сахар, также вареная из сахара карамель, синоним сладости, сладких речей из прекрасных уст красавицы.

Тамуз — месяц июль сирийского календаря, синоним палящей жары.

Тараз, Талас — область и город в Туркестане, откуда вывозили белокожих красивых рабынь; в образах Низами — символ белизны, света, утра, противоположность *Хабешу* (см.). Развалины Тараза — недалеко от теперешнего Джамбула.

Тарикат — суфийский путь духовного совершенствования, приближения к единению с богом. Делился на этапы: покаяние, осмотрительность, воздержанность, бедность, терпение, упование на Аллаха, покорность, небытие, вечность в единении с богом.

Тенур — врытая в землю глинобитная печь для выпечки лепешек.

Тир — четвертый месяц иранского древнего солнечного календаря (с 23 июня по 23 июля). Пора самых коротких ночей.

Торандж — померанец, небольшой горько-кислый апельсин, из сока которого готовят соусы.

Туран — мифическая страна иранского героического эпоса, где живут туранцы — народ общего с иранцами происхождения, но враждебный им. Позднее Тураном стали называть область обитания тюркских племен. «Туранские кумиры» — красавицы рабыни, тюрчанки. Представление, очевидно, связано опять же с буддийскими храмами восточного Туркестана (см. *Китай*).

Турач, Дурраджа — горная куропатка, бормотание которой считают на Востоке приятным.

Утарид — планета Меркурий.

Унаб — «грудная ягода» — красный сладкий плод. С ним сравнивают губы красавицы.

Фагфур — титул китайского императора (отсюда русское — фарфор).

Фарр — божественная благодать, которой, по теократическим представлениям древнего Ирана, должен был обладать законный правитель. Фарр передается на старых изображениях шахов в виде сияния вокруг головы.

Фарсанг, Фарсах — старинная восточная путевая мера, столько, сколько может пройти конь за один час, шесть-семь (иногда десять) километров.

Фарси — персидский язык, язык классической литературы на фарси.

Феридун — один из мифических царей древнего Ирана, о котором подробно повествует «Шах-наме» Фирдоуси. Когда кузнец Каве (см. *Кавеев стяг)* поднял восстание против тирана Заххака, Феридун с его помощью одолел тирана и вернул себе трон предков. Феридун, состарившись, собирался разделить свою державу между тремя сыновьями, которых звали Сальм, Тур и Иредж, но братья из зависти к Иреджу, которому достался самый Иран (им достались Рум и Туран), убили Иреджа, и так возникла длившаяся веками вражда Ирана и Турана.

Хабеш — Абиссиния, откуда во времена Низами привозили темнокожих рабов, в его поэзии — синоним мрака, ночи, противоположность *Тарразу* (см.), *Хотану* (см.).

Хадж — паломничество, которое мусульмане совершают в определенное время лунного года к своей величайшей святыне — храму *Каабы* (см.) в Мекке.

Хаким — мудрец, провидец, суфийский старец, также врач (см. предисловие, описание круга знаний средневекового ученого).

Халиф — распорядитель дел мусульманской общины после смерти пророка, духовный и светский глава мусульманского государства-халифата.

Халлух — в поэзии — полумифический город и область в Восточном Туркестане, откуда привозили белокожих прекрасных рабынь-тюрчанок, на самом деле название одного из тюркских племен. Как *Тараз* (см.) и *Китай* (см.) — синоним белизны, света и т. п.

Ханзол — колоквинт, горький плод пустынного растения.

Харвар — буквально: «ослиный вьюк», крупная мера веса, колеблющаяся, как и любая средневековая мера, в зависимости от места, где она применяется. В среднем от ста до четырехсот килограммов.

Хакан, китайский хакан, хакан Чина — полумифический титул предводителя тюркских племен. Как *Рум* (см.) и *Туран* (см.) — Запад и Восток — в поэзии Низами противоположности, так и хакан Чина, Турана — противоположность *кайсару* (см.) Рума. Это противопостав-

ление в поэзии эпохи Низами идет как из действительной истории Ирана, боровшегося с Византией на Западе и тюрками на Востоке, так и из легенды о сыновьях *Феридуна* (см). В этой поэзии хакан и кайсар — постоянные персонажи, появляющиеся, независимо от действительной истории, даже в описании времен Александра Македонского.

Харут и Марут — имена двух ангелов, которые, по мусульманской легенде, выражали презрение к роду человеческому, погрязшему в грехах. Для испытания Харут и Марут были ниспосланы на землю в человеческом облике. На земле они влюбились в красавицу Зухру и под действием охватившей их страсти совершили ряд тяжких преступлений. В наказание за это они были низвергнуты в колодец в Вавилоне, где и будут пребывать до Страшного суда. Из глубины этого колодца они обучают желающих магии. Зухра, бывшая причиной их падения, вознесена на небо в виде планеты Венеры, покровительницы красоты и музыки. Отсюда в поэзии Низами — Зухра, вавилонская колдунья,— символ красавицы чаровницы.

Хатун — тюркский титул правительницы, или жены *хакана* (см.), благородной тюркской дамы.

Хермис — Гермес Трисмегист («Трижды великий») античных источников, греческое обозначение египетского бога Луны Тота, персонаж египетской мифологии. В Египте его изображали на фресках с головой ибиса. Это бог времени и его деления, бог измерения, «великий измеритель». Он отводит также души умерших на тот свет. Кроме того, он бог человеческого интеллекта и искусства. Египетские источники приписывают ему все анонимные сочинения по математике, астрономии, музыке, медицине. В Греции эти книги при переводе получили название «герметических». К ним относятся также книги по алхимии и магии. У греков существовало мнение, что Тот-Гермес был великим мудрецом, философом, который передал свое сокровенное знание непосредственно своим ученикам, и от него идет тайная цепь «посвященных». Дошедшая до нас «герметическая литература» относится к III в. и пронизана идеями неоплатонизма и пантеизма. В Европе последователем Гермеса считался алхимик Парацельс. От легенд о чудесной способности Гермеса запирать клады произведен наш современный термин «герметический». Нет сомнения, что в герметической литературе содержались облеченные в мистическую форму сведения об открытиях в области физики и химии, на много столетий опережавшие те отдаленные эпохи. На арабский язык герметическую литературу перевели очень рано, и на Востоке появилась школа «восточных герметистов». Суфии считали Гермеса одним из второстепенных пророков, посланных Аллахом к первым на земле людям, чтобы научить их ремеслам и технике. Суфий Сухраварди

(ум. в 1191 г.) — современник Низами — претендовал на то, что его посвящение идет непосредственно от Гермеса. Понятен повышенный интерес Низами к Гермесу, заметный в «Искендер-наме».

Ходжа — особый феодальный придворный титул, впоследствии — «господин», «почтенный человек».

Хорасан — обширная область средневековой географии, занимавшая территорию современного Ирана (от Тегерана-Рея) до берегов Аму-Дарьи (Средняя Азия) и часть Афганистана (Балх, Газна).

Хорезм, Хива — древняя богатая культурная страна, занимавшая территорию современной Каракалпакии и прилегающих областей.

Хосров, Хосрой, Хосрои — в значении «шах», «царь», «могучий правитель» (обычно Ирана). Как имя Юлия Цезаря в Риме и Византии стало нарицательным — *кесарь, кайсар* (см.), так имя Хосрова *Ануширвана* (см.) стало нарицательным в Иране.

Хотан — как и *Тараз* (см.) и *Китай* (см.) — в поэзии Низами — синоним света, белизны, дня, угра, красоты. Также название области в Туркестане, откуда привозили красивых рабынь. Противоположность *Хабешу* (см.), *Зангибару* (см.).

Хузистан — область на юго-западе Ирана, откуда во времена Низами привозили финики. Синоним сладости, прелести.

Хума — сказочная огромная птица, приносящая счастье. По поверью, на кого падет тень этой птицы, тот станет царем. Гамаюн русских сказок.

Хурджин — матерчатая переметная сума.

Хутба — торжественное провозглашение имени правителя во время пятничной мусульманской общей молитвы в мечети, молитва за «богоданного» государя, ектинья.

Хутталян — средневековая область, занимавшая часть современного Таджикистана (Куляб), откуда вывозили хороших лошадей (хуттальские кони).

Хызр — таинственное существо в зеленых одеждах, не божественное, но обладающее вечной жизнью (см. рассказ о том, как Хызр нашел источник живой воды в «Искендер-наме»). Имеет способность чудесно передвигаться в пространстве и приходить на помощь путникам, погибающим в пустыне (ср. *Ильяс*). Имя Хызра в Коране не упоминается, но считают, что в рассказе о Моисее и его таинственном спутнике имеется в виду Хызр, когда говорится: «И встретили они некоего раба из рабов наших (то есть Аллаха), которому ниспослали мы от нас милости и научили его мудрости нашей». Суфии считали Хызра второстепенным (после шести главных) пророком и свои самые великие тайны приписывали полученному от него вдохновению. *Тарикат* (см.) — путь по пустыне мира для суфиев, *Хызр* — водитель заблудших.

Чанг — во времена Низами — большой струнный инструмент, напоминавший арфу. Современный чанг ближе к цимбалам, на нем играют молоточками.

Чин.— См. *Китай.*

Шабчираг — сказочный драгоценный камень, который светится по ночам.

Шадурван — шахский шатер.

Шаханшах — буквально: «царь царей» — титул иранских царей из династий Ахеменидов и Сасанидов, которым были подчинены цари ряда стран.

Шахид — мусульманский мученик, павший в «священной войне» (газават), в битве с «неверными».

Шебавиз — легендарная птица, которая по ночам, свесившись вниз головой, жалобно стонет, тоскуя по дню.

Шебдиз — черный конь Хосрова Парвиза, символ ночи.

Шеддад.— См. *Ирем.*

Шейх — буквально: старец — предводитель арабского племени.

Ширван — область в Азербайджане.

Ширин — значит «Сладкая», «Сладостная».

Юнан — Греция.

Эрженг.— См. *Аржанг.*

Эрпат — зороастрийский жрец, огнепоклонник.

Яздан — буквально: тот, кому надлежит приносить жертву,— древнее зороастрийское обозначение божества.

Ягма — как и *Тараз* (см.), *Хотан* (см.), *Халлух* (см.), *Китай* (см.) — в поэзии Низами — местность в Туркестане, откуда привозят красавиц, символ красоты, белизны.

Л. Бертельс

СОДЕРЖАНИЕ

А. Бертельс. Низами 5

ПЯТЬ ПОЭМ

Сокровищница тайн. *Перевод К. Липскерова и С. Шервинского* 25
Хосров и Ширин. *Перевод К. Липскерова* 117
Лейли и Меджнун. *Перевод П. Антокольского* . . . 269
Семь красавиц. *Перевод В. Державина* 363
Искендер-наме. *Перевод К. Липскерова* 539

Примечания *А. Бертельса* 797

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ПЕРВАЯ

Том 25

Низами

ПЯТЬ ПОЭМ

*

Редактор Б. Грибанов

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Портрет
Ф. Абдурахманова

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Заселяева

Корректор М. Муромцева

*

Сдано в набор 14/V 1968 г. Подписано к печати 26/VIII 1968 г. Бумага типографская № 1 60×84 1/16 54 печ. л. 50,3 усл. печ. л. 38,9 уч. изд. л. + 1 вкл. + 8 накидок = 39,92 л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 2679. Цена 1 р. 77 к.

Издательство «Художественная литература».
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР.
Москва, Ж-54, Валовая, 28